РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ

ПОЛЕВЫЕ СТРУКТУРЫ

Санкт-Петербург
«Наука»
2005

УДК 81' 36
ББК 81.2–2
П 78

Коллективная монография отражает дальнейшее развитие научного направления, представленного в ранее опубликованных трудах по проблемам функциональной грамматики. Исследуются компоненты системно-структурной организации языковой семантики и средств ее выражения, связанные с понятиями «полевая структура», «центр — периферия», «прототипы и их окружение». Проводится анализ семантики и средств выражения аспектуальности, темпоральности, таксиса, модальности, персональности, субъектности, качественности, количественности и некоторых других категорий. В различных разделах монографии исследование осуществляется на материале русского, английского, немецкого, французского, персидского, латинского и других языков. Значительное внимание уделяется становлению и развитию полевых структур в детской речи.

Книга предназначена для читателей, интересующихся теорией и методологией системно-функциональных исследований.

This monograph reflects recent developments in linguistic research in the field of functional grammar. Components of the system-structural organization of the Language Semantics and means of its expression related to the concepts '*field structure*', '*center — periphery*', '*prototypes and their environment*' are being discussed. Semantics and means of expression of *aspectuality*, *temporality*, *taxis*, *modality*, *qualitativity*, *quantitativity* and come other categories are being analyzed. Research is based on the facts of Russian, English, German, French, Persian, Latin and other languages. Considerable attention is paid to the process of forming and development of field structures in child language.

This book is addressed to those who are interested in the theory and methodology of system-functional research.

Авторы:

Я. Э. Ахапкина, А. В. Бондарко, М. Д. Воейкова, М. Гиро-Вебер, М. Я. Дымарский, В. В. Казаковская, И. П. Матханова, И. В. Недялков, В. М. Павлов, Е. В. Петрухина, Ю. А. Пупынин, С. Е. Родионова, М. К. Сабанеева, И. А. Смирнова, С. Н. Цейтлин, В. С. Храковский, С. А. Шубик

Редакционная коллегия:

А. В. Бондарко (ответственный редактор),
С. А. Шубик (ответственный редактор),
Я. Э. Ахапкина, М. Д. Воейкова, М. Я. Дымарский,
В. В. Казаковская (ответственный секретарь), С. Н. Цейтлин

Рецензенты:

д-р. филол. наук Б. А. Дюбо, канд. филол. наук М. В. Русакова

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) (проект № 04–04–16208д)

ТП–2005–I–276
ISBN 5–02–026996–4

© Коллектив авторов, 2005
© Издательство «Наука», 2005

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 10

ВВЕДЕНИЕ. Полевые структуры в системе функциональной грамматики (*А. В. Бондарко*) 12
1. Из литературы вопроса 12
2. Категория залога 21
3. Категория лица и поле персональности 25

I. ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ В СТРУКТУРЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

ГЛАВА I. Таксис следования в современном русском языке (*В. С. Храковский*) 29
1. Вступительные замечания 29
2. Конструкции со специализированными таксисными формами 32
3. Конструкции с неспециализированными таксисными формами следования 36
   3.1. Конструкции с союзами *перед тем как*; *до того как*; *прежде чем*; *раньше чем* 36
   3.2. Конструкции с союзом *пока* 47
      3.2.1. Конструкции невалентностного таксиса 49
         3.2.1.1. Конструкция, в обеих частях которой употребляются формы несовершенного вида . . . 49
         3.2.1.2. Конструкция, в зависимой части которой употребляется форма несовершенного вида, а в главной части — форма совершенного вида . . 53
         3.2.1.3. Конструкция, в зависимой части которой употребляется форма совершенного вида, а в главной части — форма несовершенного вида . 53
         3.2.1.4. Конструкция, в обеих частях которой употребляются формы совершенного вида 59
      3.2.2. Конструкции валентностного таксиса 63
      3.2.3. Итоговые замечания 68
   3.3. Конструкции с предлогами *перед*, *до* и *накануне* . . . 69

ГЛАВА II. Проблемы актуализации перфектной семантики в русском языке (*Ю. А. Пупынин*) 86
1. Перфектность и полевые структуры 86
2. Перфектность и проблемы актуализации 92

3. Перфектность в условиях ситуативно-актуализированной речи . . . 93
4. Перфектность в условиях ситуативно-неактуализированной речи . . . 95

ГЛАВА III. Поле состояния в современном русском языке: прототип и его окружение (*И. П. Матханова*) 103
1. Вступительные замечания . . . 103
2. Общая характеристика поля статальности и способы языковой категоризации состояния . . . 104
3. Критерии выделения центра поля состояния и понятие прототипа . . . 108
4. Критерий «фамильного сходства» и характеристика периферии поля состояния . . . 112

ГЛАВА IV. Регулярные и окказиональные средства выражения семантики времени в поэтическом идиостиле (*Я. Э. Ахапкина*) . . . 114
1. Вступительные замечания . . . 114
2. Дистрибуция элементов поля темпоральности в текстах Ахматовой и Мандельштама . . . 116
3. Функции временных форм глагола в акмеистических текстах . . . 128
   3.1. Образно-поэтическое настоящее актуальное . . . 128
   3.2. Перфектные употребления глагольных форм . . . 131
   3.3. Непрототипические варианты настоящего актуального . . . 132
   3.4. Семантика глагольных форм прошедшего времени . 134
   3.5. Семантика глагольных форм будущего времени . . 135
4. Выводы . . . 148

ГЛАВА V. Семантика интенсивности и ее выражение в современном русском языке (*С. Е. Родионова*) . . . 150
1. Аспекты изучения интенсифицирующих средств языка в лингвистической литературе . . . 150
2. Интенсивность как особая семантическая категория . . . 152
3. Природа категории интенсивности и ее место среди близких семантических категорий . . . 154
4. Экспрессивный характер семантической категории интенсивности . . . 157
5. Функционально-семантическое поле интенсивности в русском языке . . . 158

5.1. Лексические средства 159
5.2. Фразеологизмы 163
5.3. Морфологические средства 164
5.4. Словообразовательные средства 164
5.5. Синтаксические средства 165
5.6. Фонетические средства 166

6. Выбор говорящим средств выражения интенсификации в тексте 166

II. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

ГЛАВА VI. Предметно-относительный атрибут как типологическая константа (*В. М. Павлов*) 169

1. Семантическая основа противопоставления качественных и относительных прилагательных (на материале русского языка) 170
2. Функция обобщенного (нереферентного) предметно-относительного атрибута как типологическая константа . 185

ГЛАВА VII. Выражение квалитативной характеристики человека в русском и немецком языках (*М. Д. Воейкова*) 193

1. Вступительные замечания 193
2. Лексико-грамматические различия в системе средств выражения качественной характеристики в русском и немецком языках 200
   2.1. Прототипические средства выражения качественности в русском и немецком языках 200
   2.2. Качественность и квалификация по данным продуктивных словообразовательных процессов . . 204
   2.3. Сравнительный анализ квалитативных ситуаций на материале параллельных текстов 205
3. Вопрос о воспроизводимости атрибутивных сочетаний в русском языке 210
4. Выводы 214

ГЛАВА VIII. Соотношение глагольных и контекстных средств выражения аспектуальной семантики в русском и чешском языках (*Е. В. Петрухина*) . . . 219

1. Вступительные замечания 219

2. Аспектуальная характеристика действия в минимальном высказывании . . . 219
3. Взаимодействие форм глагольного вида с аспектуальными лексическими элементами контекста. . . . 220
4. Употребление видов при обозначении завершенного действия в прошлом . . . 222
5. Соотношение глагольных и контекстных показателей при выражении повторяющихся действий . . . 223
6. Аспектуальная семантика фазисно-временных дериватов совершенного вида . . . 225
7. Семантика предела и определение видовой принадлежности глагола . . . 229
8. Выводы . . . 232

ГЛАВА IX. Английские и русские безличные конструкции: полевые структуры, центр и периферия (*И. В. Недялков*) . . . 233
1. Вступительные замечания . . . 233
2. Семантическая характеристика русских и английских безличных конструкций . . . 235
2.1. Обозначение природных явлений и состояний окружающей среды . . . 237
2.2. Физиологические состояния (ситуации) . . . 238
2.3. Психоэмоциональные состояния (ситуации) . . . 238
2.4. Ситуации, связанные с чувственным восприятием . 239
2.5. Модальные ситуации . . . 240
2.6. Другие типы ситуаций . . . 241
3. Заключение . . . 242

III. ДИАХРОНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛЕВЫХ СТРУКТУР

ГЛАВА X. Поле футуральности в истории немецкого языка (*С. А. Шубик*) . . . 244
1. Футуральность в древневерхненемецкий период и в современном немецком языке . . . 244
2. Формирование современной структуры поля футуральности . . . 248

ГЛАВА XI. Поле долженствования в латинском языке (*М. К. Сабанеева*) . . . 252
1. Исходные позиции . . . 252

2. Средства выражения долженствования в латинском языке и их функциональный диапазон 254
3. Долженствование и воля 263
4. Долженствование и время 268
5. Долженствование и критическая модальность высказывания 272

ГЛАВА XII. Функционально-семантическое поле количественности в иранских языках: структура и динамика развития (*И. А. Смирнова*) . . 277
1. Структура функционально-семантического поля количественности 279
2. Особенности корреляции предметных и неактивных одушевленных имен в форме единственного числа 280
3. Изменения в системе категории числа предметных имен . 284
4. Границы поля количественности 287
5. Заключение 290

IV. ТЕОРИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ВОПРОСЫ СИНТАКСИСА

ГЛАВА XIII. Высказывание и коммуникативность (*М. Я. Дымарский*) 292
1. Исходные положения 292
2. Понятие модели высказывания 293
3. Коммуникативность и предикативность 298
3.1. Из истории вопроса о предикативности 299
3.2. Понятие высказывания: из литературы вопроса . . 301
3.3. Коммуникативная функция и коммуникативность . 310
3.4. Соотношение коммуникативности и предикативности 323
4. Инвариант и прототип в сфере высказывания 327

ГЛАВА XIV. К определению понятия «субъект» в синтаксисе русского языка (*М. Гиро-Вебер*) 333
1. Существующие концепции и предлагаемая постановка вопроса 333
2. Подлежащее, не выраженное именем существительным . . 335
3. Субъектные свойства 336
4. Проявление субъектных свойств у дополнений в косвенных падежах 338

5. Дательный падеж в функции экспериенцера в безличных предложениях . . . 338
6. Аккузативные конструкции . . . 340
7. Конструкции с творительным падежом . . . 341
8. Результаты анализа . . . 342

V. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЕВЫХ СТРУКТУР В ДЕТСКОЙ РЕЧИ

ГЛАВА XV. Категория рода в детской речи (*С. Н. Цейтлин*) . . . 346
1. Вступительные замечания . . . 346
2. Категория рода в современном русском языке . . . 347
3. Освоение словоизменительных парадигм существительного, прилагательного и глагола как одна из важных предпосылок овладения родом . . . 350
4. Ментальный лексикон и его грамматическая организация в индивидуальной языковой системе человека . . . 355
5. Начальный этап освоения категории рода . . . 357
6. Трудности в освоении детьми категории рода . . . 367
6.1. Проблема среднего рода . . . 367
6.2. Судьба III склонения . . . 368
6.3. Судьба существительных на *-а* мужского рода . . . 369
6.4. Маркирование семантической категории пола . . . 369
6.5. Освоение существительных общего рода . . . 371
6.6. Освоение системы родовых коррелятов . . . 372
7. Метаязыковые высказывания детей, связанные с осознанием категории рода . . . 372
8. Выводы . . . 374

ГЛАВА XVI. Выражение согласия / несогласия в диалоге «взрослый — ребенок» (на материале русского языка) (*В. В. Казаковская*) . . . 376
1. Вступительные замечания . . . 376
2. Согласие / несогласие и структура коммуникативной компетенции ребенка . . . 380
3. Общий вопрос (анализ речи взрослого, обращенной к ребенку) . . . 381
3.1. Роль вопросов взрослого в формировании коммуникативной компетенции ребенка . . . 381
3.2. Возрастная динамика функций общего вопроса . . . 383

3.3. Семантическая структура общего вопроса с точки зрения отношений «центр — периферия» 386
3.4. Формальное представление общего вопроса 388

4. Поле согласия / несогласия: вопросо-ответные единства в диалоге «взрослый — взрослый» 389
4.1. Семантическая структура поля 389
4.2. Выражение согласия / несогласия в речи взрослых . 391
4.3. Ядерно-периферийная организация поля согласия / несогласия 394
4.3.1. Прямые способы выражения согласия / несогласия . 394
4.3.2. Косвенные способы выражения согласия / несогласия 398

5. Становление и развитие полевой структуры согласия / несогласия в речевом онтогенезе 400
5.1. Этапы развития ответного компонента реплицирования 400
5.2. Коммуникативные ситуации согласия / несогласия в диалоге с ребенком: динамический аспект 402
5.3. Становление системы средств выражения согласия / несогласия в диалоге; типы ответных реплик 404
5.4. Динамические (возрастные) особенности функционирования типов вопросо-ответных диалогических единств с семантикой согласия / несогласия 408
5.5. Коммуникативные неудачи в сфере ответного реплицирования 410

6. Репрезентация модуса в ответных репликах ребенка . . . 411
6.1. Точка зрения говорящего: модус и авторство 411
6.2. Система средств выражения авторства в речи взрослых 413
6.3. Экспликация модуса в речи ребенка 415
6.4. Становление системы средств выражения авторства (данные речевого онтогенеза) 417

7. Заключение 423

Литература 426
Именной указатель 460
Предметный указатель 468

Предисловие

На современном этапе развития теории языкознания особую актуальность приобретают системно-структурные аспекты лингвистического анализа в единстве с аспектами коммуникативно-функциональными. Результаты семантических исследований требуют поисков нового в сфере системности, охватывающей различные типы языкового содержания в их отношении к средствам формального выражения. Интенсивное развитие лингвистической семантики становится стимулом для осмысления роли формы, системы и структуры в целостном комплексе научного познания языка и речи.

В различных разделах коллективного труда рассматриваются системные отношения, отражаемые в понятиях, отчасти отличающихся друг от друга, но вместе с тем имеющих нечто общее. Связи концепций, интерпретирующих сходные явления с разных точек зрения и в разных терминах («центр и периферия», «полевые структуры», «прототипы и их окружение»), до сих пор недостаточно обращали на себя внимание.

В коллективной монографии развивается направление исследований, представленное в шеститомной серии «Теория функциональной грамматики» (см. [ТФГ 1987; 1990; 1991; 1996а; 1996б]) и в двух томах серии «Проблемы функциональной грамматики» [ПФГ 2000; 2003].

Общая проблематика полевых структур, обсуждаемая во «Введении», получает многоаспектную конкретизацию при рассмотрении соотношения центра и периферии в структуре функционально-семантических полей с семантикой таксиса, перфектности, статальности, темпоральности и интенсивности в русском языке (раздел I, главы I–V), в сопоставительном анализе конструкций с элементами предметно-относительной атрибутивности, квалитативности, аспектуальности и безличности (раздел II, главы VI–IX). Диахронические аспекты полевых структур анализируются на материале полей футуральности, долженствования и количественности (раздел III, главы X–XII). В разделе IV (главы XIII–XIV) рассматриваются вопросы, связанные с теорией высказывания и коммуникативности, а также с понятиями «субъект» и «подлежащее». В разделе V (главы XV–XVI) нашли отражение связи функционально-грамматических исследований с изучением детской речи. В целом проблематика полевых структур раскрывается в конкретном анализе элементов системы языка и системы речи.

Отличительным признаком представленного в этой книге направления исследований является развитие принципа системности на современном уровне изучения семантики в ее языковой интерпретации. Включение проблемы полевых структур в теорию, разрабатываемую петербургской школой функциональной грамматики, направлено на конкретизацию связей этой теории с различными аспектами системного анализа.

В коллективной монографии нашло отражение сотрудничество отдела теории грамматики ИЛИ РАН с лабораторией типологического изучения языков, Санкт-Петербургским государственным университетом, Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена, Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова, Новосибирским государственным педагогическим университетом и Башкирским государственным университетом. Автор одного из разделов — профессор М. Гиро-Вебер (университет в г. Экс-ан-Прованс, Франция).

В различных разделах монографии анализ проводится на материале русского, немецкого, английского, латинского, персидского и ряда других языков.

Редакционная коллегия выражает искреннюю благодарность коллегам, принявшим участие в подготовке коллективного труда, — Э. Р. Бариевой, Е. Л. Бровко, Е. Г. Сосновцевой.

ВВЕДЕНИЕ
ПОЛЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ*

1. Из литературы вопроса

Отношение «центр — периферия». Принцип «центр и периферия — постепенные переходы — пересечения системных объектов» коренится в языковедческой традиции. Этот принцип играет важную роль в проводимом в трудах В. В. Виноградова анализе частей речи и грамматических категорий (см., в частности: [Виноградов 1972: 46–56, 151–158, 169–172, 213–219, 221–230, 293–295, 304–317, 319–336, 337–345 и сл.]). Концепция В. В. Виноградова в полной мере сохраняет свою актуальность для современной теории языкознания, в особенности для разработки проблем взаимодействия грамматических категорий и лексики.

Примечательны суждения представителей Пражского лингвистического кружка о соотношении центра и периферии в языковой системе [Travaux linguistiques de Prague 1966]. По мысли Ф. Данеша, «классы (и подклассы) элементов должны рассматриваться не как „ящики“ („boxes“) с четкими границами, а как структуры с компактным ядром (центром) и постепенным переходом к диффузной периферии, которая в свою очередь постепенно переходит (проникает) в периферийную сферу ближайшей категории» [Daneš 1966: 11]. В рассматриваемом соотношении выделяются качественные и количественные аспекты, элементы синхронии и диахронии [там же: 9, 19]. Отношение «центр — периферия» трактуется как универсальное свойство языка, лингвистическая универсалия. Имеется в виду свойство, проявляющееся на разных уровнях языковой системы, а также в сфере речи, в частности, на уровне функциональной перспективы высказывания. Лишь в свете этого отношения могут получить системную значимость такие понятия, как «нечеткость» («vagueness») и «неопределенность» («uncertainty») [там же: 19]. Значимость понятия «нечеткость» как «методологического принципа первого ранга» раскрывается в статье И. Неуступного [Neustupný 1966: 39–51].

Из других работ по рассматриваемой проблеме сошлюсь на статью Б. А. Успенского и В. М. Живова, в которой соотношение «центр — периферия» связывается с проблемой языковых универсалий [Uspensky, Zhivov 1977].

Теория полевой структуры. К принципу «центр и периферия, континуальность, пересечения системных объектов» близка теория

*Данный раздел подготовлен при финансовом содействии Фонда Президента РФ для поддержки ведущих научных школ, грант № НШ-1510.2003.6.

© А. В. Бондарко, 2005

полевой структуры. Как известно, термин «поле» используется в разных науках. Речь идет, естественно, о различных объектах и подходах к их изучению, однако можно выделить некоторые общие признаки в интерпретации данного термина. Термин «поле» основан на метафоре, связанной с идеей пространства. В естественных и гуманитарных науках употребление термина «поле» означает, что речь идет о некоторой сфере взаимодействия элементов, объединенных общностью выделяемых признаков, наличием определенной структурной организации, включающей постепенные переходы и частичные пересечения. Возможны некоторые частные аналогии, ср., например, такое понятие, как «пересечение полей».

Черты «полевого подхода» связаны с лингвистической традицией. Нередко ученые, не использовавшие термин «поле», замечали и анализировали многое из того, чем занимается теория полевых структур (ср., в частности, теорию модальности В. В. Виноградова). Не имея возможности остановиться на ряде работ, связанных с теорией полевой структуры, ограничусь лишь ссылками и краткими замечаниями. Анализируя грамматико-лексические поля в немецком языке, Е. В. Гулыга и Е. И. Шендельс отмечают, что доминантой поля является конституент, «а) наиболее специализированный для выражения данного значения; б) передающий его наиболее однозначно; в) систематически используемый» [Гулыга, Шендельс 1969: 10]. Важное значение имеет книга Г. С. Щура «Теория поля в лингвистике» [Щур 1974]. Заслуживают внимания высказанные в ряде работ суждения о грамматическом поле (см. [Гухман 1968; Гулыга, Шендельс 1969; Uspensky, Zhivov 1977]). С теорией поля связаны высказывания А. Ф. Лосева о таких понятиях, как «окрестность», «предел», «принцип непрерывности», «континуум значений», в частности применительно к категории падежа [Лосев 1968: 218–256]. Упомянутые работы сохраняют свою значимость и в настоящее время.

Теория полевой структуры получила интересную интерпретацию в трудах В. Г. Адмони. Самое главное, что характеризует полевую структуру, — полнота и максимальная интенсивность признаков в центре структуры и их разреженность и ослабление на периферии. Как один из вариантов полевой структуры рассматривается частичное совпадение полей разных грамматических единиц, т.е. наличие у двух полей общего сегмента. Отмечается неравномерная насыщенность разных секторов периферии, более или менее равномерно удаленных от сердцевины, теми или иными признаками данной единицы. Эта периферия, формирующаяся разными способами, асимметрична [Адмони 1964: 51].

Наличие полевой структуры В. Г. Адмони связывает с множественностью и неоднородностью признаков, свойственных разным сторонам, формам и проявлениям рассматриваемых объектов. Обращает-

ся внимание на то, что признаки данного объекта обычно в той или иной мере и в разных сочетаниях свойственны и другим предметам анализа. В качестве одного из примеров переходности грамматических явлений приводится категория состояния в русском языке, которая по своим морфологическим свойствам совпадает с наречием, а по синтаксической (предикативной) функции сближается с глаголом [там же: 47–49]. В книге 1988 г. понятие полевой структуры распространяется на значения грамматических форм. Эти значения, как правило, обладают полевым строением. «Асимметрия между планом выражения и планом содержания проявляется здесь в том, что только у части реализаций грамматической формы определенное обобщенное значение представлено отчетливо и однозначно, между тем как у других реализаций этой грамматической формы данное обобщенное значение представлено нечетко, половинчато или даже вообще отсутствует» [Адмони 1988: 28]. Подчеркивается, что полевая структура свойственна не только грамматическим категориям и формам, но и другим языковым явлениям. Имеется в виду «некая совокупность взаимосвязанных явлений, расположенных так, что одно находится в центре того пространства, которое занято этими явлениями, а остальные группируются вокруг него, соотносясь и тем самым сцепляясь друг с другом наличием многих смысловых и формальных признаков, т.е. находятся на периферии» [там же: 77]. Говоря о термине «поле» в применении к грамматическим категориям, В. Г. Адмони отмечает ряд сходных черт, оправдывающих перенос в языкознание понятия, заимствованного из физики: «наличие в грамматической категории центра и периферии, соприкосновение и взаимодействие периферий смежных полей, разная степень сцепления компонентов поля» [там же: 77–78].

В работах В. Г. Адмони содержится целостная и детальная характеристика наиболее существенных сторон рассматриваемого аспекта системно-структурных отношений в строе языка. Эту характеристику, многие элементы которой были определены уже в книге 1964 г., важно учитывать в настоящее время, в частности, для более точного понимания данного, уже известного в науке, и нового в современных работах, связанных с «прототипическим подходом».

Из работ других авторов по теории полевой структуры выделим труды В. М. Павлова [1996б; 1998а; 2001]. В книге 1996 г. в центре внимания находятся такие вопросы, как полевой принцип строения языковой системы, поле как воплощение континуального начала в языковой системе и проблема классификации ее единиц. Обсуждаемые теоретические принципы реализуются в анализе словосочетания, сложного и аффиксально-производного слова в их отношении к синтаксису и лексике, при рассмотрении переходов между разрядами качественных и относительных прилагательных в русском языке. В статье

1998 г. речь идет о «полевом подходе» к изучению противоположных свойств языковых системных объектов — прерывности (дискретности) и непрерывности (континуальности). Это направление теории полевой структуры получает дальнейшее развитие в работе 2001 г.

В разрабатываемой нами модели функциональной грамматики принцип поля играет важную роль в анализе семантических категорий в их языковой интерпретации (см. раздел «Истолкование полевых структур в теории функциональной грамматики).

Системные аспекты теории прототипов. Теория прототипов (см. [Lakoff 1988; Лакофф 1988: 31–51; 2004; Givón 1986: 77–102; 1995: 111–299; Кубрякова и др. 1996: 140–145]) привлекает к себе внимание при рассмотрении основных идей современной когнитивной семантики (см., в частности [Рахилина 1997; 1998; Скребцова 2000]). Е. В. Рахилина пишет: «Прототипы — одна из „психологических идей“ Э. Рош, вызвавших огромный резонанс в лингвистике, целые потоки статей и книг „за“ и „против“. Суть ее в том, что человек воспринимает семантические категории как имеющие центр и периферию и, следовательно, имеющие „более прототипических“ и „менее прототипических“ представителей, связанных между собой отношениями семейного сходства (family resemblance)» [Рахилина 1997: 371]. Разработка данной проблематики в различных направлениях психологии и когнитивной семантики заключает в себе многое из того, что не было представлено в языковедческой традиции (ср., например, анализ структуры выражаемых значений на основе понятий «профиль» и «база» [Langacker 1987]). Вместе с тем следует подчеркнуть, что системные признаки «прототипического подхода» в интерпретации представителей современной когнитивной лингвистики в ряде отношений сближаются с концепциями, рассматривающими закономерности языковой категоризации в терминах «центр — периферия» и «полевая структура». Близость теории прототипов к этим концепциям четко выявляется в интерпретации данной проблематики, представленной в работах Р. Лангакера. Характеризуя прототипическую модель, в которой категория определяется через прототип, т.е. схематичное представление ее типичных представителей, автор подчеркивает, что соответствующая прототипу сущность относится к центральным членам категории. Отличающиеся от прототипа сущности могут быть причислены к категории в качестве ее периферийных элементов в том случае, если они в некоторых отношениях сходны с прототипом. Противопоставление центральных и периферийных членов категории формирует ее внутреннюю структуру. Членство в категории оказывается относительным, оно зависит от удаленности элемента от прототипа (см. [Лангаккер 1997: 167]; следует заметить, что фамилия автора по-русски в различных изданиях передается по-разному).

В работах ряда представителей когнитивной лингвистики развиваемая ими концепция рассматривается как преодоление «классического подхода к категоризации» (см. [Lakoff 1988; Лакофф 2004; Ченки 1997]). А. Ченки выделяет следующие «основные принципы классического подхода» (названного классическим потому, что «он восходит к греческой античности, а также потому, что он властвует над психологией, философией и языкознанием в течение большей части XX века» [Ченки 1997: 341]): «1. Категории определяются на основе необходимых и достаточных признаков. 2. Признаки являются бинарными. 3. Категории имеют четкие границы (т.е. предполагается, что мир четко поделен на классы предметов). 4. Все члены категории имеют одинаковый статус (нет разных степеней вхождения в категорию)» [там же: 341–342]. По мнению А. Ченки, фонологи, исходя из того принципа, что фонемы определяются посредством набора признаков, обогатили аристотелевскую модель категорий следующими предположениями: «5. Признаки являются элементарными (т.е. далее неразложимы). 6. Признаки универсальны. (В фонологии это означает, что можно определить фонемы всех языков универсальным набором признаков. В семантике это означало бы выделение универсального набора концептуальных признаков.) 7. Признаки абстрактны (т.е. абстрагированы от отдельных случаев). 8. Признаки врожденны. (Это согласуется с точкой зрения Хомского, что концепты — как фонологические, так и семантические — врожденны)» [там же: 342]. Думается, что «классический подход» в данной интерпретации представлен весьма упрощенно, без учета широкой, гораздо более сложной и далекой от примитивности системы существующих теорий (в языковедческой традиции и в литературе последнего времени за пределами той научной парадигмы, которая характеризуется А. Ченки). Примечательно, что к числу «основных проблем когнитивной лингвистики» А. Ченки относит многое из того, что, конечно, заслуживает внимания, но давно уже известно. Автор выделяет следующие проблемы: «... свойства категоризации в естественных языках (включая прототипичность, метафору и когнитивные модели), отношения между языком и мышлением (как употребление языка отражает толкование мира говорящим, ограниченное имеющимися в распоряжении говорящего словами и грамматическими конструкциями), пограничная область (interface) между синтаксисом и семантикой (исходя из посылки, что не только лексические единицы, но и грамматические формы и порядок слов имеют значение)» [там же: 343–344].

Говоря о принципах, сближающих существенные аспекты прототипического подхода с рассмотренными выше концепциями, уместно сослаться на ряд положений, высказанных в работах Т. Гивона (замечу, что для этих работ характерно соотнесение разных подходов

к рассматриваемой проблеме). Автор сопоставляет альтернативные подходы к проблеме категоризации, восходящие, с одной стороны, к Платону, а с другой — к концепции Л. Витгенштейна. С точки зрения концептуальной системы Платона, «категории понимания» являются дискретными и абсолютными. Статус члена таких категорий (или групп) определяется наличием или отсутствием необходимых и достаточных признаков. Альтернативный подход, наиболее полно представленный в теории Л. Витгенштейна [Wittgenstein 1953], предполагает, что категории являются не дискретными и абсолютными, а скорее диффузными и относительными. Т. Гивон отдает предпочтение решению данной проблемы, которое представляет собой своего рода компромисс по отношению к указанным выше альтернативным точкам зрения. По его мнению, именно такой — компромиссный — подход характерен для современной теории прототипов. Эта теория учитывает недискретное континуальное пространство как внутри категорий, так и между ними, обращая внимание на пересечения характерных признаков. Выделяются «наиболее типичные» члены данной категории (ее прототипы) и зоны пересечения, представляющие различные степени прототипичности (см. [Givón 1986: 77–79; 1995: 228–229]).

Необходимо еще раз подчеркнуть: при всех различиях в исходных позициях и в используемой терминологии между существующими истолкованиями рассматриваемых отношений выявляется и нечто общее. Причина общности обсуждаемых концепций с точки зрения принципов «центр — периферия — постепенные переходы — частичные пересечения» и «прототипы и их окружение» коренится в глубинных свойствах изучаемых объектов, в самом предмете исследования и лингвистического описания. Именно этим объясняется тот факт, что типичность рассматриваемых отношений признается многими исследователями. Перед нами один из редких случаев, когда наблюдается сходство или сближение системных принципов анализа, осуществляемого в разное время в работах, относящихся к различным научным направлениям и школам.

Истолкование полевых структур в теории функциональной грамматики. Разрабатываемая нами модель функциональной грамматики основана на понятиях «функционально-семантическое поле» и «категориальная ситуация». Функционально-семантическое поле (ФСП) — это базирующаяся на определенной семантической категории группировка разноуровневых средств данного языка, взаимодействующих на основе общности их семантических функций. В условном пространстве функций и средств устанавливается конфигурация центральных и периферийных компонентов поля, очерчиваются зоны пересечения с другими полями.

Выделяются два основных структурных типа ФСП: моноцентрические и полицентрические. Моноцентрический тип структуры ФСП наиболее четко представлен полями, в центре которых находится определенная грамматическая категория, концентрирующая в целостной системе наиболее специализированное и наиболее регулярное выражение данного круга функций. Ср. отношения «вид глагола и аспектуальность», «глагольное время и темпоральность», «наклонение и объективная модальность», «лицо и персональность», «залог и залоговость». Полицентрическими являются такие поля, как таксис, качественность, количественность, посессивность, локативность, бытийность. Грамматика, базирующаяся на принципе поля, имеет возможность интегрировать в единой системе те языковые средства, которые в традиционной грамматике оказываются разделенными в зависимости от их принадлежности к той или иной формальной подсистеме. Ср., например, интеграцию различных языковых средств в рамках поля таксиса.

Соотношение центра и периферии ФСП характеризуется совокупностью следующих черт: 1) максимальная концентрация базисных семантических признаков, определяющих качественную специфику данного ФСП (центр), — разреженность таких признаков (периферия); 2) сосредоточение связей, участие в максимальном числе оппозиций (центр) — рассредоточение «сетки связей», их ослабление, проявление той или иной степени изолированности (периферия); 3) наибольшая специализированность данного языкового средства или системы таких средств для реализации определенных семантических функций (центр) — меньшая степень специализации (периферия); 4) регулярность функционирования данного языкового средства или комплекса средств (центр) — нерегулярность или меньшая степень регулярности, меньшая употребительность (периферия). Рассматриваются такие вопросы, как иерархия признаков центра и периферии, постепенность переходов от центра к периферии, частичные пересечения ФСП, общие сегменты (см. [Бондарко 1976: 204–244; 1984: 58–70; 2002: 289–661]).

В рассматриваемой системе функциональной грамматики выделены следующие группировки ФСП: 1) ФСП с предикативным ядром: аспектуальность, временная локализованность, таксис, темпоральность, модальность, персональность, залоговость; 2) ФСП с субъектно-объектным ядром: субъектность, объектность, коммуникативная перспектива высказывания, определенность / неопределенность; 3) ФСП с качественно-количественным ядром: качественность, количественность; 4) ФСП с предикативно-обстоятельственным ядром: локативность, бытийность, посессивность, обусловленность (комплекс полей условия, причины, цели, следствия и уступительности). Система ФСП анализируется в шеститомном коллектив-

ном труде «Теория функциональной грамматики» [ТФГ 1987; 1990; 1991; 1992; 1996а; 1996б]. Данное направление функционально-грамматических исследований также представлено в коллективных монографиях [Межкатегориальные связи... 1996; ПФГ 2000; 2003].

Понятие ФСП соотносится с понятием «категориальная ситуация» (КС). Имеется в виду типовая содержательная структура, а) представляющая собой один из аспектов передаваемой высказыванием общей сигнификативной (семантической) ситуации, б) базирующаяся на определенной семантической категории и соответствующем поле, в) интерпретируемая как родовое понятие, по отношению к которому аспектуальные, темпоральные и другие подобные ситуации являются понятиями видовыми. Ср. ситуации аспектуальные (*Догонял, да не догнал*), таксисные (аспектуально-таксисные), например, «длительность — одновременная ей длительность», «длительность — наступление факта», «предшествование — следование», «цепь фактов» и т.п., бытийные (*Есть такие люди*), посессивные (*Эта книга у меня есть*) и т.п.

Понятие КС непосредственно связано с принципом полевой структуры. В данном случае предметом анализа является структура типовых ситуаций и их вариантов, выступающих в речи. Значимость понятия КС в рассматриваемой модели функциональной грамматики не менее существенна, чем роль понятия ФСП (о соотношении системно-структурных и коммуникативных аспектов рассматриваемой модели функциональной грамматики см. [Бондарко 2000]).

Теория КС представляет собой продолжение и развитие теории ФСП. Когда речь идет о ФСП, о его компонентах и связях между ними, о структуре поля, то имеется в виду поле в абстрактном парадигматическом пространстве языковой системы. Что же касается КС, то это понятие ориентировано на реализацию элементов данного поля в речи, в высказывании, на закономерности и типы функционирования рассматриваемых языковых единиц (см. [Бондарко 1983; 1984; 1999; 2002]). Понятие КС широко используется в серии «Теория функциональной грамматики».

КС связывают «игру» семантических элементов, варьирующихся в речи, с системными константами — семантическими категориями, лежащими в основе ФСП данного языка. Тем самым КС становится одним из понятий, направленных на анализ системы речи в ее неразрывной связи с системой языка. Конкретно-речевой аспект семантики высказывания связывается с аспектом системно-языковым, системно-категориальным (более подробная характеристика понятий ФСП и КС с точки зрения современного этапа развития рассматриваемой концепции функциональной грамматики дана в [Бондарко 2002: 289–338]).

В дальнейшей перспективе развития теории поля в грамматике особенно существенным представляется детальное обоснование критериев установления признаков, на основе которых определяется тип структуры поля, соотношение центральных и периферийных компонентов. Необходима специальная разработка методов анализа пересечений исследуемых полей.

Определение понятия «прототип» (в сфере языковых единиц, классов и категорий) может быть сформулировано следующим образом: прототип — это наиболее репрезентативный (канонический, эталонный) вариант определенного инвариантного системного объекта, характеризующийся наибольшей специфичностью (концентрацией специфических признаков данного объекта), способностью к воздействию на производные варианты и (во многих случаях) наиболее высокой степенью регулярности функционирования. Таким образом, в самом определении обсуждаемого понятия отражается связь прототипов с дихотомией инвариантности / вариативности (подробнее о соотношении понятий «прототип» и «инвариант» см. [Бондарко 2002: 263–266; 2003б: 18–22]).

Ход анализа в системе инвариантности / вариативности в сочетании с понятиями прототипа и степени прототипичности может быть представлен следующим образом: 1) ставится вопрос (как своего рода предварительная гипотеза) о возможности истолкования определенного семантического элемента как категориального значения, представляющего собой инвариант; 2) раскрывается система вариантов; именно в этой области целесообразно использование понятия прототипа как эталона, наиболее точно и полно представляющего специфику данного признака; 3) анализ вариантов начинается с прототипа как эталонного варианта, затем прослеживается цепочка постепенных переходов от эталона к его окружению — шаг за шагом, сначала к ближайшему окружению, которое чаще всего не отделено четкой гранью от прототипа, а затем к ближней и, наконец, к дальней периферии данного семантического пространства. Рассмотрение таких переходов дает возможность ввести в анализ вариантов элементы системности.

Далее следуют фрагменты анализа грамматических категорий и функционально-семантических полей на основе принципа полевой структуры. Речь идет о залоге глагола, о категории лица и поле персональности. В ходе анализа помимо сочетания «полевая структура» используются и сочетания, связанные с отношением «центр — периферия», а также с термином «прототип». Это лишний раз подчеркивает общность анализируемых отношений, рассматриваемых в различных терминологических системах.

2. Категория залога

Предварительные этапы анализа. Принцип полевой структуры изучаемых системных объектов предполагает определенную последовательность этапов проводимого анализа. Последовательность распространяется и на подход к дефинициям предмета исследования. Сначала целесообразно дать предварительное определение, ориентированное на центр изучаемого системного объекта, где сконцентрированы его специфические признаки, а затем уже ввести необходимые уточнения, учитывающие более широкий круг элементов языковой системы и их соотношений.

С данной точки зрения далее рассматривается категория залога в русском языке. Предварительное определение оппозиции активности / пассивности (А/П) таково: активность — представление действия как исходящего от субъекта, который выступает в позиции подлежащего; пассивность — такое представление действия, при котором субъект устраняется с указанной позиции и ее занимает объект (это не раз отмечалось исследователями). Ср.: 1) *Бухгалтер составил смету*; 2) *Смета составлена*; *Смета составлена бухгалтером.* Данное выше определение различия А/П «рассчитано на центр» в сфере формального выражения залоговой оппозиции — предложения подлежащно-сказуемостной структуры.

На втором этапе анализа, учитывающего более широкий круг средств выражения залоговых отношений, необходимо обратить внимание на такие предложения, в которых подлежащее как особый вербально выраженный член предложения отсутствует, однако можно говорить об ином носителе предикативного признака. Ср., например, неопределенно-личные конструкции типа *Вас ждут*; *Мне о нем говорили.*

Остановимся на упомянутом выше понятии «носитель предикативного признака» (НПП), играющем важную роль в характеристике семантики залога (а также категории лица). Это понятие трактуется нами как выделяемый на функциональной основе класс синтаксических элементов, основным представителем которого (репрезентирующим центр рассматриваемого класса, его прототипическую разновидность) является подлежащее. Таким образом, говоря о НПП, мы имеем в виду подлежащее и другие синтаксические средства, выполняющие функцию предицируемого компонента синтаксической структуры предложения (ср. предложения типа *Он здесь был*; *Его здесь не было*; *Исследователи рассматривали этот вопрос*; *Исследователям, рассматривавшим этот вопрос...*; *Пришло более трехсот человек*). Во всех случаях имеются в виду языковые средства, обладающие функцией «быть тем элементом синтаксической структуры предложения, которому соответствует (в активных конструкциях) се-

мантический субъект (в пассивных — объект) как субстанция, которой приписывается предикативный признак».

НПП заключает в себе дискретное (выступающее в отдельной словоформе) или недискретное (совмещенное с формой предиката) выражение предицируемой субстанции. Дискретное выражение указанная функция получает в тех случаях, когда НПП представлен подлежащим (*Директор подписал документ*), заместителем (аналогом) подлежащего (*Курить вредно* и т.п.) или главным членом определительного сочетания (*Директору, подписавшему документ, сказали...*). Недискретное выражение данной функции налицо в высказываниях типа *Звонят*; *Не знаешь, что и делать*; *Люблю тебя*; *Клянемся!*; *Пиши!* и т.п.

Понятие НПП в данном истолковании, охватывающем подлежащее и другие элементы синтаксической структуры предложения, соотносимые с подлежащим по указанной функции, следует отличать от семантического предицируемого компонента (предикандума), каковым в активных конструкциях является семантический субъект (в пассиве эту роль выполняет семантический объект).

Трактовка НПП как родового понятия, охватывающего и подлежащее (его прототипическую разновидность), требует пояснений по поводу истолкования понятия «подлежащее». Существуют различные подходы к анализу «трудных случаев», когда в синтаксической конструкции отсутствует вербально выраженное подлежащее, но может идти речь о каких-то его аналогах. Так, А. В. Исаченко, обратив внимание при рассмотрении категории залога на конструкции типа *Я вижу бегущую лошадь*; *Я получил посланную братом книгу*, вводит расширенное понимание подлежащего: «Термин „подлежащее“ употребляется здесь в самом широком смысле. Это тот член глагольно-именной синтагмы, который либо выступает в функции подлежащего полной предикации (*Брат послал книгу — Книга послана братом*), либо является „подлежащим“ (здесь примечательны кавычки, свидетельствующие о несобственном или необычном смысле термина. — *А. Б.*) полупредикативных конструкций (причастных, деепричастных). В предложении *Я вижу бегущую лошадь* синтагма *бегущую лошадь* является объектом предложения, но внутри этой синтагмы слово *лошадь* является „подлежащим“ по отношению к *бегущую* (ср.: *лошадь бежит*). В предложении *Я получил посланную братом книгу* синтагма *посланную книгу* является объектом предложения; но внутри этой синтагмы слово *книгу* является подлежащим пассивного словосочетания *посланная книга* (ср.: *Книга была послана*)» [Исаченко 1960: 345; 2003: 345].

Понятие НПП оказывается особенно необходимым при анализе тех синтаксических конструкций, в которых нет подлежащего, но имеется другая структура, выполняющая функцию НПП. Целесо-

образность использования понятия НПП подтверждается возможностью его применения в тех случаях (в частности, при анализе активных и пассивных конструкций), когда понятие подлежащего в его традиционном истолковании оказывается недостаточным. Использование понятия НПП позволяет избежать такого расширения понятия «подлежащее», которое привело бы к его расплывчатости и неопределенности. Ориентация на центр (прототип), сочетающаяся с учетом периферийных репрезентаций класса объектов, охватываемого понятием НПП, как нам представляется, может способствовать более последовательной реализации принципа системности в осмыслении формально-синтаксической и семантической структуры предложения. В данном случае речь идет о той стороне системного подхода, которая связана с полевой структурой (см. более подробную характеристику понятия НПП в статье [Бондарко 1991а]).

Обратимся вновь к характеристике оппозиции «активность / пассивность». Определение различия А/П может быть сформулировано следующим образом: активность — представление действия как исходящего от субъекта, который выступает в позиции подлежащего или какого-либо иного носителя предикативного признака; пассивность — такое представление действия, при котором субъект устраняется с указанной позиции и ее занимает объект.

Это определение охватывает более широкий круг конструкций, чем определение, сформулированное выше. Однако и оно подходит не для всех случаев. В частности, значительные трудности представляют безличные конструкции типа *Темнеет*; *Моросит*; *Смеркается*, где нет ни подлежащего, ни какого-либо иного носителя предикативного признака. В связи с этим возникает вопрос о такой интерпретации соотношения членов оппозиции А/П, которая могла бы объяснить ряд «сложных случаев», не укладывающихся в данные выше определения. Об этом речь пойдет ниже.

Противопоставление компонентов категории залога как привативная оппозиция. В предшествующем изложении оппозиция А/П трактовалась нами как эквиполентная (предполагающая противопоставленные друг другу положительные семантические признаки). Такой подход к А/П позволяет выявить противостоящие друг другу «крайние точки», но оказывается слишком жестким для истолкования ряда репрезентаций активности, не выдерживающих критерия равноправности с пассивностью. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть возможности трактовки анализируемой оппозиции как привативной. Маркированным членом оппозиции А/П является пассивность. Именно пассивные конструкции обнаруживают более четкую дискретность семантического признака, тогда как в сфере активности наблюдается широкий и диффузный спектр по-

степенных переходов от противоположного значения собственно активности к значениям, близким к пассивности.

Одно из проявлений асимметричности оппозиции А/П заключается в следующем: пассивность — это значение, по поводу которого не приходится говорить о расширенном понимании, отвлеченности смысла, в котором употребляется термин, и т.п. Речь идет о пассивности, страдательности в полном смысле слова (разумеется, смысле грамматическом): в роли носителя предикативного признака выступает объект, подвергающийся действию, испытывающий на себе действие. Если проводить различие между собственно действием (в узком смысле) и состоянием, то следует добавить, что может обозначаться такое состояние, которое является результатом действия, направленного на объект, выступающий в роли НПП (*Вопрос решен*; *Работа выполнена*; *Выход найден* и т.п.). Что же касается активности, то следует подчеркнуть именно расширенный и отвлеченный характер этого понятия. Речь идет не об активности в обычном и прямом смысле активных проявлений какого-то действия и не об активности его производителя (это лишь один из возможных частных случаев употребления форм актива). Имеется в виду представление действия (в широком смысле, включающем и состояние, а также отношение) как исходящего от субъекта — носителя предикативного признака. Собственно говоря, активность — это в большинстве случаев лишь непассивность.

Привативный характер рассматриваемой оппозиции предполагает возможность такого употребления беспризнаковой формы актива, при котором допускается передача и лексическая конкретизация семантики, близкой к значению признаковой формы пассива. Именно так, на наш взгляд, можно объяснить функции активных по грамматической форме конструкций с неканоническими средствами выражения пассивности: *быть (являться / явиться) объектом анализа*; *являться предметом изучения*; *встречать / встретить осуждение*; *претерпевать деформацию*; *нести / понести наказание*.

По существу средства выражения пассивности в подобных случаях являются лексическими (ср. понятие «лексический пассив», используемое С. Е. Яхонтовым по отношению к предложениям типа *Он терпит обиды*; *Это вызывает удивление*; *Этот вопрос заслуживает обсуждения* [Яхонтов 1970: 45–48]). Что же касается самой формы активной конструкции, то она в таких случаях проявляет свойство беспризнакового члена оппозиции, заключающееся в способности употребляться и при передаче значения, близкого к тому, которое в обычных условиях выражается признаковой формой (в данном случае — формой пассива).

Трактовка актива как беспризнакового члена оппозиции активных / пассивных конструкций позволяет считать, что все те кон-

струкции, которые не являются пассивными, следует рассматривать как активные (см. [Исаченко 1960: 356–357; 2003: 356–357]). По отношению к конструкциям с неканоническими средствами выражения пассивности приходится добавить: «по крайней мере по форме».

Рассматриваемый подход к языковому материалу связан с истолкованием широкого круга непереходных (невозвратных и возвратных) глаголов как activa tantum. Этот принцип — все непассивные конструкции относятся к активу — помогает установить залоговую принадлежность глагольных форм в ряде «трудных случаев», где нет явного положительного признака актива — соответствия «субъект / подлежащее» и шире — «субъект / носитель предикативного признака», поскольку нет ни подлежащего, ни какого бы то ни было другого носителя предикативного признака. Таковы, например, безличные предложения типа *Вечереет*; *Морозит*; *Смеркается*; *Меня знобит*. Отсутствие содержательных и формальных признаков пассивности, т.е. непассивность, является достаточным признаком принадлежности таких предложений к активу.

Итак, определение различия А/П, основанное на принципе привативной оппозиции, может быть сформулировано следующим образом: значение пассивности заключается в представлении действия как направленного на объект, выступающий в позиции подлежащего или какого-либо иного носителя предикативного признака, значение активности сводится к отсутствию такой направленности.

В ходе предшествующих шагов анализа мы двигались от центра микрополя А/П, где наиболее четко представлено как рассматриваемое семантическое противопоставление, так и его формальное грамматическое выражение, к периферии, где в одних случаях выявляется неполная или нечеткая противопоставленность семантики А/П, а в других — неполнота структурно-синтаксических признаков данного различия. В этих фактах находит отражение полевая структура категории залога, характеризующейся полнотой специфических признаков в центре грамматического противопоставления (прежде всего в предложениях подлежащно-сказуемостной структуры) и неполнотой таких признаков на периферии, в частности, в сфере безличных конструкций (подробнее данное истолкование семантики А/П изложено в книге [ТФГ 1991: 125–141]; см. также [Бондарко 2002: 592–608]).

3. Категория лица и поле персональности

Полевая структура семантики лица. Семантика лица представляет собой структуру, в которой выделяются центр и периферия, причем в каждой из этих сфер намечается определенная иерархия.

Вершинное положение занимает 1-е лицо — *я*, представляющее говорящего (о семантической уникальности 1-го лица глаголов и местоимений см. [Бенвенист 1974: 259–269, 285–300; Падучева 1985: 136–142]). С ним соотносится 2-е лицо *ты* (*мы* и *вы* занимают подчиненное положение по отношению к *я* и *ты*, поскольку значения *мы* и *вы* представляют собой указания на классы лиц, включающие соответственно *я* и *ты*). Ближайшую периферию семантического пространства персональности (или, может быть, промежуточную область между центром и периферией) представляет та сфера семантики 3-го лица, которая связана с указанием именно на лицо (лица). Сфера «третьих лиц» активно взаимодействует с семантическим ядром персональности. То же следует сказать и о семантике обобщенноличности (связанной с обобщенным и модифицированным отношением к говорящему и слушающему) и неопределенноличности (связанной прежде всего с неопределенностью класса «третьих лиц»). Что же касается предметного 3-го лица, то оно имеет явно выраженный периферийный характер, поскольку речь идет о внешней среде, противопоставленной собственно лицам, которые либо реально участвуют, либо могут участвовать в акте речи. На крайней периферии, где признаки семантики лица отчасти размыты, находится значение форм безличности.

Структура поля персональности. Соотношение центральных и периферийных компонентов семантики лица следует отличать от определения центральных и периферийных компонентов персональности как функционально-семантического поля в том или ином языке, когда анализируются двусторонние языковые единицы, в частности глагольные формы лица, личные местоимения, лексические средства, участвующие в выражении семантики персональности. Центральную роль в рассматриваемом поле играют грамматические формы лица глаголов и личных местоимений (выступающих в позиции подлежащего). Другие средства выражения семантики лица, представляющие более частные подсистемы и ограниченные по выявляемым условиям функционирования языковых элементов, относятся к периферии данного поля.

Грамматический центр поля персональности — лицо как грамматическая категория — сам по себе выступает как полевая структура, в которой выделяются ядро (глагольные и местоименные формы 1-го и 2-го лица) и его окружение — формы 3-го лица, функционально обособленные от указания на участников акта речи. По своему содержанию 3-е лицо связано с переходом от центра к периферии (при обозначении лиц) и с собственно периферийной сферой семантики персональности (при обозначении предметов и при выражении безличности). Таким образом, грамматическая категория лица, с одной стороны (поскольку речь идет о формах 1-го и 2-го лица), относится

к центральной сфере семантики персональности, а с другой (в том, что касается форм 3-го лица и форм безличности) — к сфере переходной от центра к периферии (при обозначении «третьих лиц») и к собственно периферийной — при обозначении предметов и при выражении безличности (подробнее о поле персональности см. [ТФГ 1991: 5–124]).

Выше было высказано замечание о том, что к центру поля персональности относятся не все формы личных местоимений, а лишь формы именительного падежа, выступающие в роли подлежащего. Это положение требует особых пояснений. Формы личных местоимений в косвенных падежах, выступающие в роли дополнений со значением объекта (*Скажу тебе...*; *От тебя я этого не ожидал*), а также субъекта (*Тебе дежурить*; *Нами было отмечено...* и т.п.), мы относим не к центру поля персональности, а к ближайшей периферии (или к переходной зоне от центра к периферии — четкое различие здесь провести трудно). Таким образом, наличие любой формы личного местоимения, в которой представлена грамматическая категория лица, еще не является достаточным основанием для того, чтобы отнести эту форму к центру поля персональности. Как уже было отмечено выше, грамматическая категория лица находит выражение не только в личных, но и в притяжательных местоимениях (ср. противопоставление форм типа *мой — твой — его / наш — ваш — их*). Эти формы мы также относим не к центру, а к ближней периферии рассматриваемого поля или к зоне, занимающей промежуточное положение между центром и периферией.

Итак, выделяются персональные элементы 1-го ранга — выражающие отношение к лицу, касающиеся субъекта-подлежащего, и персональные элементы 2-го ранга — в тех случаях, когда отношение к лицу касается субъекта, выраженного дополнением, а также объекта и атрибута.

Предлагаемое широкое понимание персональности как семантической категории и функционально-семантического поля не должно, на наш взгляд, вести к расширенному истолкованию лица как грамматической категории. В языках с полиперсональным субъектно-объектным спряжением грамматическая категория лица, естественно, включает отношение к лицу, выраженному как субъектом-подлежащим, так и объектом-дополнением. В языках же без субъектно-объектного спряжения должна быть специально выделена центральная система форм лица, представленная в глаголе и в личных местоимениях, соотносящихся с личными формами глагола и выступающих в позиции субъекта-подлежащего. Формы косвенных падежей личных местоимений (*меня, мне* и т.д.), а также формы притяжательных местоимений, различающиеся по лицу (*мой, наш, твой, ваш, его, ее, их*), представляют собой такие грамматические средства, ко-

торые относятся к ближней периферии поля персональности (или к промежуточной зоне между центром и периферией). Поэтому традиционные «узкие» определения грамматической категории лица, ориентированные на центр данной категории, на наш взгляд, сохраняют свою значимость.

* * *

Представленные выше фрагменты анализа полевых структур лишний раз свидетельствуют о том, что в характеристике типов грамматического описания понятие «функциональный» отнюдь не исключает признака системности. Системность (в разных ее проявлениях) характерна как для традиционной, так и для функциональной грамматики. На наш взгляд, перспектива дальнейшего развития функционального анализа предполагает необходимость специальной разработки системных аспектов исследования и описания категоризации семантики. Полевые структуры — один из важнейших компонентов этой проблематики.

I. ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ В СТРУКТУРЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

ГЛАВА I
ТАКСИС СЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ*

1. Вступительные замечания

В литературе как будто бы нет серьезных разногласий относительно того, что таксис (относительное время) представляет собой категорию, которая реализуется в бипредикативных (и шире полипредикативных) конструкциях, где грамматическими средствами маркируется временная локализация (одновременность / неодновременность: предшествование, следование) одной ситуации P_1 относительно другой ситуации P_2, чья временная локализация характеризуется относительно времени речи, т.е. независимо от какой-либо еще ситуации P_n. Если конкретные таксисные значения маркируются с помощью тех или иных специализированных глагольных форм, то в этом и только в этом случае можно говорить о таксисе как о нешифтерной грамматической категории глагола, которая в соответствии с работой [Мельчук 1998: 69] имеет не больше трех граммем: одновременность, предшествование, следование.

Однако эти граммемы не являются минимальными, далее неделимыми семантическими сущностями, которые необходимы и достаточны для адекватной характеристики категории таксиса и тех форм, с помощью которых эта категория выражается в языке. Каждая из них в принципе доступна субкатегоризации.

Будем исходить из того, что существует универсальная шкала, включающая девять таксисных значений, в которой все сопредельные значения связаны семантическими мостиками. В сфере таксиса предшествования это 1) прерывающее предшествование (ситуация P_2 следует за ситуацией P_1, прерывая ее — *Перебегая* (НСВ) *улицу*, *Петя упал* (СВ)); 2) контактное предшествование (ситуация P_2 следует непосредственно за ситуацией P_1 после ее естественного завершения — *Как только Петя вышел* (СВ) *из комнаты*, *Маша* (*тут же*)

*Работа выполнена при финансовом содействии Фонда Президента РФ для поддержки ведущих научных школ (грант № НШ-2325.2003.6) и гранта РГНФ № 03–04–00216а.

© В. С. Храковский, 2005

включила (СВ) *телевизор*); 3) дистантное предшествование (ситуация P_2 следует за ситуацией P_1 через какой-то интервал после ее естественного завершения — *Через два часа после того как Петя ушел* (СВ), *Маша включила* (СВ) *телевизор*). В сфере таксиса одновременности это 1) полная одновременность (ситуация P_1 занимает тот же временной период, что и ситуация P_2, — *Когда Петя делал* (НСВ) *уроки*, *Маша читала* (НСВ) *книгу*); 2) неполная одновременность$_1$ (ситуация P_2 локализуется в рамках временного периода, занимаемого ситуацией P_1, — *Когда Петя делал* (НСВ) *уроки*, *в комнату вошла* (СВ) *Маша*); 3) неполная одновременность$_2$ (ситуация P_1 локализуется в рамках временного периода, занимаемого ситуацией P_2 — *Когда в комнату вошла* (СВ) *Маша*, *Петя делал* (НСВ) *уроки*). В сфере таксиса следования это 1) прерывающее следование (ситуация P_1 следует за ситуацией P_2, прерывая ее — *Петя делал* (НСВ) *уроки*, *пока не пришла* (СВ) *Маша*); 2) контактное следование (ситуация P_1 следует непосредственно за ситуацией P_2 после ее естественного завершения — *Прежде чем выйти* (СВ) *из дому*, *Петя выключил* (СВ) *свет*); 3) дистантное следование (ситуация P_1 следует за ситуацией P_2 через какой-то интервал после ее естественного завершения — *За два дня до того как Петя уехал* (СВ), *он получил* (СВ) *письмо от Маши*), ср. [Мальчуков 2001; Храковский 2003б].

Если согласиться с приведенным рассуждением, то для адекватной характеристики и таксиса предшествования, и таксиса одновременности, и таксиса следования нужно учитывать один параметр, который принимает три значения, ср. [Храковский 1999]. В случае таксиса предшествования и таксиса следования эти значения по существу характеризуют все теоретические возможности с л е д о в а н и я двух ситуаций друг за другом на хронологической оси, а в случае таксиса одновременности эти значения характеризуют все теоретические возможности заполнения двумя ситуациями одного периода времени.

Все выделенные частные таксисные значения (всего их девять) удобно представить на следующей шкале, которая строится на базе презумпции, что соседние значения на этой шкале связаны семантическими мостиками и наиболее близки друг другу:

Дист.	Конт.	Прер.	Непол.	Пол.	Непол.	Прер.	Конт.	Дист.
Предшествование			Одновременность			Следование		

Что касается показателей таксисных значений, то можно думать, что их полисемия обычно ограничивается сопредельными значениями на этой шкале, хотя отдельные показатели могут выражать и значения, не являющиеся сопредельными; ср. [Храковский 2003б].

Опираясь на приведенные базисные рассуждения, мы в этой работе хотим проанализировать таксис следования в русском языке, а именно рассмотреть все специализированные и неспециализированные глагольные формы, выступающие в этой роли, указав, какие частные таксисные значения следования они могут выполнять, и обратить особое внимание на их семантическую специфику. Попутно будут рассмотрены и те значения таксиса предшествования и одновременности, которые выражаются показателями таксиса следования.

Однако прежде чем перейти непосредственно к анализу таксиса следования в русском языке, нам необходимо обратить внимание на следующие два обстоятельства. Первое. Известно, что ситуации P_1 и P_2 прототипически представлены глагольными формами, которые составляют таксисную пару. Одна из форм этой пары — синтаксически зависимая — обозначает ситуацию P_1, которая ориентирована относительно ситуации P_2, а другая форма — опорная (прототипически независимая) — обозначает ситуацию P_2, которая служит временным ориентиром для ситуации P_1. Термины «таксисная пара», «зависимая форма» и «опорная (независимая) форма» принадлежат В. П. Недялкову [Недялков, Отаина 1987: 299]. Вместе с тем важно подчеркнуть, что таксисные значения предшествования, одновременности и следования в принципе могут обозначаться как одной зависимой глагольной формой, так и зависимой глагольной формой вместе с таксисным союзом, предлогом, послелогом. Особое внимание к этому факту необходимо для адекватного описания таксиса следования в русском языке. Второе. Анализ существующей литературы позволяет предположить, что из трех таксисных значений наиболее периферийным является значение следования. Об этом говорят следующие факты. Если в языке есть специализированные глагольные формы, выражающие предшествование, одновременность и следование, то форм, выражающих следование, обычно меньше, чем форм, выражающих предшествование и одновременность, к тому же формы, выражающие следование, встречаются в текстах значительно реже, чем формы, выражающие предшествование и одновременность; ср. [Yevseyev 2002]. Вместе с тем в языке могут быть специализированные таксисные формы предшествования и одновременности при отсутствии специализированных таксисных форм следования. Данное обстоятельство позволяет сформулировать следующую импликацию. Если в языке есть специализированные таксисные формы, выражающие следование, то в этом языке есть и специализированные таксисные формы, выражающие предшествование и одновременность. Обратное неверно.

2. Конструкции со специализированными таксисными формами

Переходя к формальной характеристике форм, выражающих в русском языке таксисное значение следования, мы сразу же можем сказать, что для русского языка верна сформулированная выше импликация. Дело в том, что в этом языке по существу нет специализированных глагольных форм, предназначенных для выражения значения следования, тогда как специализированные нефинитные формы, предназначенные для выражения значений предшествования и одновременности в этом языке есть. Это деепричастие СВ и деепричастие НСВ, которые употребляются в так называемых осложненных предложениях, т.е. в предложениях с деепричастным оборотом. Ситуация, называемая деепричастием СВ в обороте, прототипически предшествует ситуации, называемой финитным глаголом в предложении, причем ситуация, называемая финитным глаголом и соотносимая с временем речи, может локализоваться и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, а сам финитный глагол может выступать как в форме НСВ, так и в форме СВ:

(1 а) *Сходив* (СВ) за водой, Петя работал (НСВ) в саду;

(1 б) *Сходив* (СВ) за водой, Петя поработал (СВ) в саду;

(1 в) *Сходив* (СВ) за водой, Петя работает (НСВ) в саду;

(1 г) *Сходив* (СВ) за водой, Петя будет работать (НСВ) в саду;

(1 д) *Сходив* (СВ) за водой, Петя поработает (СВ) в саду.

Обратим внимание на то обстоятельство, что ситуация, называемая деепричастием СВ в примерах (1 а)–(1 в), фактически локализуется в прошлом. Иными словами, и при финитном глаголе настоящего времени, и при финитном глаголе прошедшего времени деепричастие СВ называет ситуацию, относимую к плану прошлого. Другое дело, что в примерах (1 а)–(1 б) деепричастие СВ называет ситуацию, которая предшествует ситуации, тоже локализуемой в прошлом, тогда как в примере (1 в) деепричастие СВ называет ситуацию, которая предшествует ситуации, относимой к плану настоящего времени. Эта последняя ситуация фактически началась до времени речи, осуществляется во время речи и будет продолжаться после времени речи. Что касается примеров (1 г)–(1 д), то в них и ситуация, называемая деепричастием СВ, и ситуация, называемая финитным глаголом, локализуются в будущем времени.

Существенно подчеркнуть, что иногда перед деепричастием СВ может употребляться союз *едва*, который эксплицитно указывает на то, что ситуация, обозначаемая финитным глаголом, следует за ситуацией, обозначаемой деепричастием СВ, практически без какого-

либо временного интервала, иначе говоря, речь идет о контактном предшествовании:

(2) *Едва проснувшись* (СВ), Петя включил (СВ) телевизор.

Условия, при которых допускается употребление союза *едва*, требуют дальнейшего изучения.

Необходимо заметить, что деепричастие СВ может обозначать результат ранее осуществившейся ситуации, который наблюдается одновременно с ситуацией, выражаемой финитным глаголом, причем, если финитный глагол является глаголом НСВ, за кадром остается информация о том, когда осуществилась ситуация, приведшая к этому результату: то ли до начала ситуации, называемой финитным глаголом, то ли уже после ее начала:

(3) Петя шел (НСВ), *опустив* (СВ) голову;

(4) *Высунув* (СВ) язык, мордку *поднявши* (СВ), / прибежал (СВ) бесенок, задыхаясь (А. Пушкин).

К числу конструкций со специализированными таксисными формами относятся также предложения, осложненные оборотом с деепричастием НСВ. Ситуация, называемая деепричастием НСВ в обороте, прототипически одновременна, ситуации, называемой финитным глаголом в основном предложении, причем ситуация, называемая финитным глаголом и соотносимая с временем речи, может локализоваться и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, а сам финитный глагол может выступать как в форме СВ, так и в форме НСВ:

(5 а) Петя бежал (НСВ), *размахивая* (СВ) руками;

(5 б) Петя побежал (СВ), *размахивая* (СВ) руками;

(5 в) Петя бежит (НСВ), *размахивая* (СВ) руками;

(5 г) Петя будет бежать (НСВ), *размахивая* (СВ) руками;

(5 д) Петя побежит (СВ), *размахивая* (СВ) руками.

Обе ситуации, выражаемые в каждом из приведенных примеров, можно характеризовать как независимые в том смысле, что в принципе Петя, с одной стороны, может бегать и не размахивать при этом руками, а с другой — он может размахивать руками и не во время бега. Вместе с тем в предложении, осложненном оборотом с деепричастием НСВ, могут выражаться такие две ситуации, одна из которых, будучи в принципе самостоятельной, существует, только сопровождая вторую ситуацию:

(6) Петя шел (НСВ) *прихрамывая* (НСВ).

Комментируя этот пример, следует отметить, что идти в принципе можно, вовсе не прихрамывая, тогда как прихрамывать нельзя иначе как во время ходьбы. Таким образом можно говорить о естественной иерархии ситуаций, в соответствии с которой одни ситуации могут существовать независимо от наличия каких-либо других ситуаций, в то время как остальные ситуации могут существовать только при наличии некоторых других определенных ситуаций.

Более сложным является случай, когда одно и то же положение дел концептуализируется посредством двух самостоятельных сигнификативных ситуаций, выражаемых в предложении, которое осложнено оборотом с деепричастием НСВ:

(7 а) Спортсмен скользил (НСВ) по льду, *вычерчивая* (НСВ) замысловатые фигуры.

В данном случае и скольжение по льду, и вычерчивание замысловатых фигур представляют собой две концептуализации одного и того же положения вещей. Данное обстоятельство, видимо, способствует тому, что деепричастие легко преобразовать в финитный глагол, а исходный финитный глагол соответственно легко преобразовать в деепричастие:

(7 б) Спортсмен, *скользя* (НСВ) по льду, вычерчивал (НСВ) замысловатые фигуры.

Принято считать, что общее свойство всех предложений, осложненных оборотом с деепричастием СВ или НСВ, состоит в том, что привилегированные первые участники (обычно выступающие в роли агенса) ситуации, называемой деепричастием, и ситуации, называемой финитным глаголом, стандартно кореферентны, причем первый участник ситуации, называемой деепричастием, в принципе не может быть выражен. На фоне этого утверждения требуют объяснения те немногочисленные стилистически приемлемые случаи, когда деепричастным оборотом осложняется не активное, а пассивное предложение:

(8) *Войдя* (СВ) в полное доверие, я иногда приглашался (НСВ) к хозяйке и домой (В. Розов);

(9) Ученых разоблачали, снимали с заведывания кафедрой, исследования отбрасывались (НСВ) назад, *принося* (НСВ) огромный ущерб народному хозяйству (В. Амлинский).

Особенность примеров типа (8)–(9) состоит в том, что в них первый участник ситуации, называемой деепричастием, кореферентен не первому, а второму участнику ситуации, называемой финитным

глаголом. Таким образом, в этих примерах нарушено правило о том, что в предложениях с деепричастным оборотом должны быть кореферентны первые участники обеих ситуаций. Из создавшейся ситуации есть два выхода. Первый заключается в том, чтобы считать предложения типа (8)–(9) запрещенными, несмотря на то что они встречаются в текстах, поскольку они нарушают правило о кореферентности первых участников обеих ситуаций. Второй выход, который представляется более гуманным, состоит в том, чтобы придать правилу о кореферентности участников более общий вид. В этом случае правило о кореферентности будет формулироваться следующим образом: первый участник ситуации, называемой деепричастием, должен быть кореферентен тому участнику ситуации, называемой финитным глаголом, который занимает позицию подлежащего. Это правило действует без исключений, когда позицию подлежащего при финитном глаголе занимает первый участник ситуации (предложение — активное), и со многими исключениями (которые требуют дальнейшего изучения), когда позицию подлежащего при финитном глаголе занимает не первый участник ситуации (предложение — пассивное); ср. [Храковский 1991: 173–174]. Наличие кореферентных участников в обеих ситуациях, вне всякого сомнения, усиливает семантическую спаянность этих ситуаций.

Высказав выше утверждение о том, что в русском языке нет специализированных глагольных форм, предназначенных для выражения таксиса следования, мы несколько погрешили против истины. Дело в том, что в ряде работ [Грамматика... 1970; Акимова, Козинцева 1987: 262–263] было сделано важное наблюдение, согласно которому деепричастие СВ, прототипически выражающее предшествующее второстепенное действие, находясь в постпозиции относительно основного финитного глагола, может иногда выражать не предшествующее, а последующее действие. Вот примеры, с помощью которых Т. Г. Акимова и Н. А. Козинцева иллюстрируют это положение:

(10 а) Мать уложила (СВ) его в постель, *накрыв* (СВ) бледный лоб полотенцем (М. Горький);

(11 а) ... он рассказал (СВ) мне все дело, *прибавив* (СВ), что именно потому поторопился приехать, чтоб предупредить меня... (А. Герцен).

Любопытно отметить, что если в примере (10 а) изменить порядок следования частей конструкции, то деепричастие СВ, как ему и положено, будет обозначать предшествующее действие, тогда как, проведя ту же самую операцию в примере (11 а), мы получим неосмысленное предложение, см. (10 б) и (11 б):

(10 б) *Накрыв* (СВ) (его) лоб полотенцем, мать уложила (СВ) его в постель;

(11 б) **Прибавив* (СВ), что именно потому поторопился приехать, он рассказал (СВ) мне все дело.

Добавим к приведенным примерам (10 а) и (11 а) еще один пример:

(12 а) Петя вышел (СВ) из квартиры, *захлопнув* (СВ) за собой дверь.

Как и в примерах (10 а) и (11 а), в этом примере деепричастие СВ, находясь в постпозиции относительно финитного глагола, выражает последующее действие, однако в отличие от примеров (10 а) и (11 а) при перестановке в этом примере частей конструкции деепричастие СВ по-прежнему будет обозначать последующее действие:

(12 б) *Захлопнув* (СВ) за собой дверь, Петя вышел (СВ) из квартиры.

Таким образом, можно думать, что семантика деепричастия СВ, детерминирующая возможность его употребления либо только в постпозиции относительно финитного глагола, либо как в постпозиции, так и в препозиции, в сочетании с семантикой финитного глагола служит импульсом для того, чтобы деепричастие СВ обозначало не предшествующую (прототипический случай), а последующую (маргинальный случай) ситуацию.

3. Конструкции с неспециализированными таксисными формами следования

3.1. Конструкции с союзами *перед тем как*; *до того как*; *прежде чем*; *раньше чем*.

В русском языке к таксисным конструкциям с неспециализированными глагольными формами, в которых прототипически выражается значение следования, прежде всего относятся сложноподчиненные предложения с союзами *перед тем как*; *до того как*; *прежде чем*; *раньше чем*, которые относительно неплохо охарактеризованы в работе [Русская грамматика 1980: II]; см. также [Акимова, Козинцева 1987: 278] и [Храковский 2004]:

(13 а) *Перед тем как* мы *уехали*, мы побывали в музее;

(13 б) *До того как* мы *уехали*, мы побывали в музее;

(13 в) *Прежде чем* мы *уехали*, мы побывали в музее;

(13 г) *Раньше чем мы уехали*, мы побывали в музее.

Все четыре приведенных предложения, которые отличаются друг от друга только союзами, интуитивно кажутся синонимичными. В общем такая трактовка представляется правильной, хотя у этих предложений и можно усмотреть некоторые семантические отличия. В частности, в работе [Барентсен, Пупынин 1999: 113] отмечается, что «формальный параллелизм между союзами *до того как* и *перед тем как*, с одной стороны, и *прежде чем* (*раньше чем*), с другой — не случаен. С ними связаны представления разного характера. У союзов *до того как* и *перед тем как* преобладает идея л о к а л и з а ц и и („когда это было“), в то время как у *прежде чем* (*раньше чем*) преобладает идея п о с л е д о в а т е л ь н о с т и („какое событие реализуется первым“)».

Специфика представленных в (13 а)–(13 г) таксисных конструкций состоит в том, что в них автоматически, без изменения смысла, придаточное предложение может быть заменено соотносительным инфинитивным оборотом, вследствие чего сложноподчиненное предложение превращается в осложненное предложение:

(14 а) *Перед тем как уехать*, мы побывали в музее;

(14 б) *До того как уехать*, мы побывали в музее;

(14 в) *Прежде чем уехать*, мы побывали в музее;

(14 г) *Раньше чем уехать*, мы побывали в музее.

Автоматическая замена придаточного предложения инфинитивным оборотом возможна не во всех случаях. Для ее осуществления необходимо и достаточно, чтобы первые участники обеих соотносимых ситуаций имели один и тот же референт, как в примерах (13 а)–(13 г). Если же у первых участников обеих соотносимых ситуаций референты разные, то при замене придаточного предложения инфинитивным оборотом получаемая конструкция, на наш взгляд, становится если не запрещенной, то, по крайней мере, стилистически не корректной:

(15 а) *Перед тем как* мы *уехали*, у нас побывали гости
$\longrightarrow$ **Перед тем как* нам *уехать*, у нас побывали гости;

(15 б) *До того как* мы *уехали*, у нас побывали гости
$\longrightarrow$ **До того как* нам *уехать*, у нас побывали гости;

(15 в) *Прежде чем* мы *уехали*, у нас побывали гости
$\longrightarrow$ **Прежде чем* нам *уехать*, у нас побывали гости;

(15 г) *Раньше чем* мы *уехали*, у нас побывали гости
$\longrightarrow$ **Раньше чем* нам *уехать*, у нас побывали гости.

Правда, в работе [Русская грамматика 1980: II, 549] приводится пример, как будто бы опровергающий наше утверждение:

(16) *Перед тем, как растаять* речке, к нам приехала тетушка Пелагея Ивановна (Н. Лесков).

Однако, с нашей точки зрения, этот пример, возможно, вполне приемлемый в период творчества Лескова, в наши дни уже не кажется стилистически безупречным.

Как уже было отмечено выше, когда речь идет о хронологическом соотношении двух ситуаций, естественно возникает вопрос о характере следования этих ситуаций друг за другом. Как мы уже знаем, в случае таксиса следования существуют три логические возможности хронологического соотношения ситуаций: 1) ситуация P_1 прерывает ситуацию P_2 (перерывающее следование); 2) ситуация P_1 следует непосредственно за ситуацией P_2 (контактное следование); 3) ситуация P_1 следует за ситуацией P_2 через некоторый интервал (дистантное следование). Сразу же скажем, что во всех рассматриваемых таксисных конструкциях не выражается прерывающее следование.

В то же время в конструкциях с союзами *перед тем как* и *до того как* либо отсутствует информация о характере интервала между следующими друг за другом ситуациями, т.е. о том, является ли это следование контактным или дистантным (см. (17 а) и (17 б)), либо эта информация выражается с помощью лексических конкретизаторов, непосредственно предшествующих союзу. Важно обратить внимание на то, что длительность временных интервалов, обозначаемых лексическими средствами, в принципе может быть любой. Иначе говоря, интервалы могут быть и достаточно большими (см. (18 а) и (18 б)), и очень маленькими (см. (19 а) и (19 б)):

(17 а) (Макеев) Обиделся? (Трубников) Нет, я пойду немножко почитаю, поработаю над собой, *перед тем как продолжать* наш разговор (К. Симонов);

(17 б) Накануне, как и за день до того, я сделал вид, что заснул, как только мы легли, а встал *до того, как* она *проснулась* (В. Набоков);

(18 а) *Недели за три перед тем, как* матушке *приходилось* родить, послали в город за бабушкой-повитушкой Ульяной Ивановной (М. Салтыков-Щедрин);

(18 б) «Милости просим» лопнуло *еще за три года до того, как* Ипполит Матвеевич *осел* в городе N, а мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб (И. Ильф и Е. Петров);

(19 а) Как-то чувствуя, что даже белого офицера надо было бы *за мгновение перед тем, как вцепиться* в его шею, предупредить, я старался слегка разжать его руки, ослабить закруты его

щипков и в то же время делал вид, что охотно принимаю участие в игре (Ф. Искандер);

(19 б) *За несколько минут до того, как* из вертолета *посыпались* отборные молодчики спецгруппы ГБ, темно-вишневый «фольксваген» Востокова успел завернуть за угол «Курьера», а потом нырнул в ближайший туннельчик Подземного Узла (В. Аксенов).

Что касается конструкции с союзом *прежде чем*, то в ней либо отсутствует информация о характере интервала между следующими друг за другом ситуациями (см. (20)), либо в главной части сложноподчиненного предложения обозначается ситуация, представляющая собой интервал, разделяющий во времени ситуацию, выражаемую в придаточной части предложения, и некоторое предшествующее ей событие (см. (21), (22)).

(20) *Прежде чем наляпывать* буквы, он отбил вымеленной веревочкой две параллельных линии и, тихо ругая неповинного Воробьянинова, приступил к изображению слов (И. Ильф и Е. Петров);

(21) *Прошло полгода* в невыразимых мучениях, *прежде чем* отшельник *обратился* к старику снова (И. Ильф и Е. Петров);

(22) Вместо ответа Николай Петрович обнял его; но *полтора года прошло* после этого разговора, *прежде чем* Павел Петрович *решился* осуществить свое намерение (И. Тургенев).

В примере (21) предшествующим событием является первое обращение отшельника к старику, а в примере (22) — эксплицитно обозначенный разговор Николая Петровича с Павлом Петровичем. Всего в нашей выборке 20 таких примеров.

Итак, можно полагать, что при отсутствии лексических конкретизаторов в конструкции с союзом *прежде чем* по умолчанию обозначается некоторый интервал между следующими друг за другом ситуациями. Однако более существенно другое: последующая ситуация, обозначаемая в зависимой части конструкции, вообще может не осуществляться, превращаясь таким образом из реальной в потенциальную. Это происходит тогда, когда предшествующая ситуация, обозначаемая в главной части конструкции, предотвращает осуществление ситуации, обозначаемой в зависимой части конструкции, делает ее ненужной.[1] Иными словами, если бы не осуществилась ситуация, выражаемая в главной части конструкции, то тогда бы непременно осуществилась ситуация, выражаемая в зависимой части конструкции. Здесь целесообразно различать два случая. В первом

[1] Такое явление в принципе возможно лишь в том случае, когда у первых участников обеих ситуаций разные референты.

случае речь идет о последовательности ситуаций, противоречащей существующей норме:

(23) Швейцар отворил дверь еще *прежде*, *чем* Алексей Александрович *позвонил* (Л. Толстой).

Специфика примера (23) состоит в том, что в нем представлена ненормальная последовательность ситуаций. В норме сначала в дверь звонят, после чего ее открывают. Если же дверь уже открыта, отпадает необходимость в звонке.

Во втором случае ситуация, выражающаяся в главной части конструкции возникает для того, чтобы не допустить осуществления практически уже начавшейся ситуации, выраженной в зависимой части конструкции:

(24) Зонтик выскользнул из ее рук. Она поспешно поймала его, *прежде чем* он *упал* на дорожку (И. Тургенев).

В этом примере говорится о том, что зонтик ловится в тот момент, когда он практически начал падать.

В обоих указанных случаях в зависимой части конструкции с союзом *прежде чем* активно используется глагол *успеть*, управляющий инфинитивом знаменательного глагола. При наличии этого глагола подчеркивается тот факт, что ситуация, выражаемая в главной части конструкции, осуществляется досрочно, т.е. раньше, чем завершился период времени, необходимый и достаточный для того, чтобы могла начать осуществляться ситуация, обозначаемая в зависимой части конструкции:

(25) — Это вы погнали машину, *прежде чем* я *успел сесть*? — спросил командор грозно. — Ей-богу... — начал Паниковский (И. Ильф и Е. Петров);

(26) Но, *прежде чем* Зося *успела спросить*, в чем дело, он уже нашел квитанцию на чемоданишко, покоящийся в камере хранения ручного багажа, между камышовой корзинкой с черешнями и байковым портпледом. — Случайно выронил, — сказал он, напряженно улыбаясь и бережно пряча квитанцию (И. Ильф и Е. Петров);

(27) Платок скользнул по коленям Лизы, Лаврецкий подхватил его, *прежде чем* он *успел упасть* на пол (И. Тургенев).

С примером (25) как будто бы все ясно. В машину сначала садятся, для чего требуется затратить определенное время, а лишь потом пускаются в дорогу. Таким же образом интерпретируется и пример (26). Здесь герой повествования неожиданно для Зоси занимается поисками затерявшейся квитанции, о которой Зося не имеет понятия,

и, с точки зрения повествователя, Зосе было бы уместно поинтересоваться, в чем дело. Однако квитанция находится, и необходимость в вопросе отпадает. В примере (27) говорится о платке, который практически уже начал падать и упал бы, если бы Лаврецкий его во время не подхватил.

Остается добавить, что глагол *успеть*, управляющий инфинитивом знаменательного глагола в зависимой части конструкции, может употребляться и в прототипическом случае, т.е. когда ситуация, обозначаемая в зависимой части конструкции, является не потенциальной, а реально осуществляющейся:

(28) В леспромхозе Босталоева прожила целую декаду, *прежде чем успела добиться* любви к «Родительским Дворикам» у всего треугольника (А. Платонов);

(29) Напившись кофею, Левин уехал опять на покос, *прежде чем* Сергей Иванович *успел* одеться и выйти в столовую (Л. Толстой).

В конструкции с союзом *прежде чем*, как и в любых таксисных конструкциях, да и в любых бипредикативных конструкциях, зависимая часть в принципе может либо предшествовать главной части (см. (30)), либо следовать за ней (см. (31)), либо вклиниваться в нее (см. (32)):

(30) Но гость уходить не спешил. *Прежде чем покинуть* Учреждение, он попросил вернуть ему голенища и выписать направление в областную поликлинику для ремонта зубных протезов (В. Войнович);

(31) Но поздно подоспели козаки: уже успело ему углубиться под сердце копье *прежде, чем были отогнаны* обступившие его враги (Н. Гоголь);

(32) Лоран не знала, что профессор Керн, *прежде чем принять* ее, наводил о ней тщательные справки (А. Беляев).

Всего наша выборка, полученная в результате сплошной росписи целого ряда текстов, включает 250 примеров на употребление конструкции с союзом *прежде чем*. Из них в 106 примерах представлена препозиция зависимой части, в 126 примерах — постпозиция и в 18 примерах — интерпозиция. Выбор конкретной позиции определяется коммуникативной структурой дискурса.

Говоря о порядке следования частей конструкции, уместно поставить вопрос о формальном статусе союза *прежде чем*. Дело в том, что этот союз составной, и в текстах зафиксированы две возможности его оформления. В одном случае части союза не разделены запятой. В данных условиях при препозиции зависимой части запятая ставится после нее, отделяя ее от главной части:

(33) *Прежде чем погрузиться* в морскую пучину, Остапу пришлось много поработать на континенте (И. Ильф и Е. Петров).

При постпозиции зависимой части в рассматриваемом случае запятая ставится после главной части, т.е. перед союзом *прежде чем*:

(34) ... в начале века два льва утащили и съели по меньшей мере 28 человек, работавших на строительстве железной дороги Момбаса—Найроби, *прежде чем* их *застрелил* инженер, руководивший строительством (Огонек).

Если же части союза разделены запятой, то при препозиции зависимой части еще одна запятая ставится после зависимой части, формально отделяя ее от главной:

(35) Но *прежде*, *чем решиться* на что-нибудь, кухарка решила поточнее узнать, какое еще волшебство осталось у Бастинды (А. Волков).

В этой же ситуации при постпозиции зависимой части после главной части ставится только одна запятая, но ставится она не перед словом *прежде*, а после него перед словом *чем*, и таким образом слово *прежде* формально относится к главной части, а не к зависимой:

(36) Он дал бы отрубить себе руку *прежде*, *чем позволить* себе словом, намеком не только оскорбить ее, но не выказать ей того уважения, на какое только может рассчитывать женщина (Л. Толстой);

(37) Сердце командора *качнулось* еще *прежде*, *чем* он узнал Зосю, и он зашагал за ней по мокрым тротуарным плитам, невольно держась на некоторой дистанции (И. Ильф и Е. Петров).

Если слова *прежде* и *чем* не разделены запятой, то это является знаком того, что обе части союза произносятся слитно и что союз не находится в фокусе внимания говорящего. Если же слова *прежде* и *чем* разделены запятой, то это является знаком того, что обе части союза произносятся раздельно, а в фокусе внимания говорящего находится слово *прежде*, на которое падает ударение. При интерпозиции зависимой части конструкции в просмотренном материале случаев разделения частей союза с помощью запятой не обнаружено. При препозиции зависимой части конструкции части союза отделяются друг от друга исключительно редко, а при постпозиции зависимой части рассматриваемое явление оказывается вполне обычным. Возникает вполне закономерный вопрос: если части союза в тексте разделены запятой, то можно ли эту запятую убрать при препозиции зависимой части и поставить перед словом *прежде* при

ее постпозиции, и если это допустимо, то что изменится в трансформированном предложении по сравнению с исходным. Эксперимент показывает, что такая трансформация возможна во многих случаях, но не во всех. В тех случаях, когда трансформация допускается, в производном предложении союз, как и следовало ожидать, перестает находиться в фокусе внимания говорящего (ср. (35 а) и (36 а)):

(35 а) Но *прежде чем решиться* на что-нибудь, кухарка решила поточнее узнать, какое еще волшебство осталось у Бастинды (А. Волков);

(36 а) Он дал бы отрубить себе руку, *прежде чем позволить* себе словом, намеком не только оскорбить ее, но не выказать ей того уважения, на какое только может рассчитывать женщина (Л. Толстой).

А вот пример (37) такой трансформации как будто бы не допускает, и происходит это, на наш взгляд, потому, что слово *прежде* образует интонационное и смысловое единство с предшествующим словом *еще* и это единство не может быть нарушено паузой, которую отражает на письме запятая. Соответственно, в данном случае речь, возможно, должна идти о составном союзе *еще прежде чем*.

Выше уже говорилось о том, что партиципанты обеих ситуаций, выражаемых в таксисной конструкции, могут иметь либо одинаковые, либо разные референты. Для формального статуса таксисной конструкции с союзом *прежде чем* принципиально важен тот случай, когда первые участники обеих ситуаций имеют один и тот же референт. Только в этом случае зависимая часть конструкции может репрезентироваться либо в виде инфинитивного оборота (см. (38) и (39)), либо в виде придаточного предложения (см. (40) и (41)):

(38) *Прежде чем* навсегда *уехать*, я скажу ему все. Никогда никого не ненавидела так, как этого человека!» — думала она (Л. Толстой);

(39) *Прежде чем стать* писателем, мне, как видите, пришлось кое-чем обзавестись, а это не так просто (Н. Носов);

(40) Но *прежде чем* вы *уйдете* отсюда, вы будете свидетельницей того, как я отниму жизнь у головы Доуэля и растворю эту голову в химическом растворе (А. Беляев);

(41) *Прежде чем* он *заработал* свой первый рубль, ему *пришлось* побороться за само право жить (СПб.-ведомости).

Формальная особенность предложений с инфинитивным оборотом (см. (38), (39)) состоит в том, что при инфинитиве стандартно

не выражается первый участник ситуации. В то же время в сложноподчиненных предложениях первые участники обеих ситуаций, имеющие один и тот же референт, могут быть выражены и в главном, и в придаточном предложении (см. (40), (41)). Интересно обратить внимание на то обстоятельство, что в нашей выборке представлено 117 предложений с инфинитивным оборотом и 37 сложноподчиненных предложений. Таким образом, число предложений с инфинитивным оборотом примерно в три раза превышает число сложноподчиненных предложений. Причины подобного распределения синонимичных конструкций заслуживают специального анализа.

В связи со сказанным особых комментариев требуют примеры типа:

(42) И я, знаешь, просила бы тебя советоваться со мной, *прежде чем посылать* ей конфеты (В. Набоков).

В этом примере представлена таксисная конструкция с инфинитивным оборотом. Соответственно первые участники ситуаций, представленных в главной и зависимой частях конструкции должны иметь один и тот же референт. Однако в главной части представлена ситуация, состоящая из двух частей: модусной, представленной глаголом *просить*, и диктумной, представленной глаголом *советоваться*. Один и тот же референт в данном случае имеет первый участник диктумной (не модусной!) ситуации и первый участник ситуации, выраженной в зависимой части конструкции.

Если же первые участники обеих ситуаций соотносятся с разными референтами, то зависимая часть конструкции может репрезентироваться только в виде придаточного предложения. При этом не существенно, есть ли у участников обеих ситуаций одинаковые референты, или нет:

(43) Она увидала его *прежде*, *чем* он ее, и она поняла, что он думал о ней (Л. Толстой);

(44) Палец его прижимал гашетку *прежде*, *чем* он *брал* на цель птицу (Л. Толстой);

(45) Еще *прежде чем вернулись* Вронский и Облонский, дамы узнали эти подробности от дворецкого (Л. Толстой).

Приведенные примеры отличаются друг от друга по характеру референционной отнесенности участников выражаемых ситуаций. В примере (43) в обеих частях конструкции обозначаются одинаковые ситуации, причем агенс первой ситуации и пациенс второй ситуации имеют один и тот же референт, равно как и агенс второй ситуации и пациенс первой также имеют один и тот же референт. В примере (44) агенс первой ситуации представляет собой неотторжимую часть

агенса второй ситуации, из чего вытекает их референционная тождественность, хотя и не полная. Лишь в примере (45) все участники обеих ситуаций имеют разные референты. Однако поскольку во всех этих примерах первые участники не имеют абсолютно одинаковых референтов, зависимая часть конструкции представлена придаточным предложением, которое не может быть заменено инфинитивным оборотом. Всего в нашей выборке 76 таких примеров.

Нельзя исключить того, что высказанные выше соображения относительно статуса таксисной конструкции с инфинитивным оборотом нуждаются в коррекции. К такому выводу можно прийти, если привлечь к анализу примеры типа:

(46) «Маленькая Нимфа» (1940) ... давалась 280 раз в провинции за одну зиму, *прежде чем дойти* до Нью-Йорка (В. Набоков);

(47) Вот почему, бреясь, он напевает свою любимую неаполитанскую песенку: «В неапольском порту с пробоиной в борту Джанетта поправляла такелаж, но *прежде чем уйти* в далекие пути, на берег был отправлен экипаж» (М. Соколов).

Специфика этих относительно немногочисленных и стилистически, может быть, не вполне безукоризненных примеров (в нашей выборке других таких примеров нет) заключается в том, что в главной части таксисных конструкций представлена пассивная конструкция, в которой первую синтаксическую позицию (позицию подлежащего) занимает второй участник, а первый участник вообще не обозначается в конструкции. Таким образом, реально одинаковые референты присущи первому участнику инфинитивного оборота и участнику, занимающему первую синтаксическую позицию в главной части конструкции. Такой формулировке удовлетворяют и те случаи, когда в главной части выступает активная конструкция, и те, скажем прямо, редкие случаи, когда в главной части выступает пассивная конструкция.

В соответствии с существующими представлениями «ведущую роль в... истолковании понятия „таксис“ играет указание на целостный (единый) период времени, в рамках которого передаются те или иные временные соотношения действий» [Бондарко 1987в: 237–238]. Этот целостный период времени может относиться либо к плану прошлого — чаще всего (см. (48), (49)), либо к плану будущего (см. (50), (51)):

(48) А Кох, так тот, *прежде чем* к старухе *заходить*, внизу у серебряника полчаса сидел и ровно без четверти восемь от него к старухе наверх пошел (Ф. Достоевский);

(49) Мы долго притирались, *прежде чем* она в себя *поверила* (Московские новости);

(50) Стреляйте еще, я жду, — тихо проговорил Свидригайлов, все еще усмехаясь, но как-то мрачно, — этак я вас схватить успею, *прежде чем* вы *взведете* курок! (Ф. Достоевский);

(51) — Хорошо, я уйду, хотя мне грустно покидать комнату, где я прожил сто лет, — ответил Говорящий Сверчок, — но, *прежде чем я уйду*, выслушай полезный совет (А. Толстой).

Наряду с единичными ситуациями в таксисных конструкциях с союзом *прежде чем* могут выражаться итеративные ситуации:

(52) Встречались ему тоже пышные коляски, наездники и наездницы; он провожал их с любопытством глазами и забывал о них *прежде*, *чем* они *скрывались* из глаз (Ф. Достоевский);

(53) Приезжающие на отдых москвичи и северяне скупают полрынка, опьянев от изобилия и низких цен, *прежде чем возьмут* себя в руки (Аргументы и факты).

Таксисная конструкция с союзом *прежде чем*, может представлять собой нереферентное высказывание, в котором выражаются различного рода правила, рекомендации и советы:

(54) *Прежде чем познакомишься* с человеком, узнай: приятно ли его знакомство другим? (К. Прутков).

Соответственно в главной части таких нереферентных высказываний довольно часто употребляются модальные слова типа *нужно*, *необходимо*:

(55) *Прежде чем ехать* в край сосен, янтаря и холодного, но приветливого моря, *надо получить* в литовском посольстве транзитную визу ($ 25, оформляется за день) («Автопилот»).

Таксисные конструкции с союзом *прежде чем* употребляются в текстах не только как самостоятельные синтаксические единицы (см. (56), (57)), но могут также выступать и как части различных сложных синтаксических единиц (см. (58)–(60)):

(56) Он услыхал этот звук *прежде*, *чем почувствовал* боль (Л. Толстой);

(57) И снова Гута чуть помедлила, *прежде чем ответить* (Стругацкие);

(58) У меня язык не повернулся объявить ему, что если бы не Катя, быть может, еще немало времени прошло бы, *прежде чем* я *вернулся* в родной город, в родной дом (В. Каверин);

(59) Что же касается Кембриджа, а также других британских колледжей и университетов, то, *прежде чем поступать* туда, надо выдержать айлс-экзамен, определяющий уровень подготовки по английскому языку (Учительская газета);

(60) Итак, мы собрались здесь, чтобы принять великие решения <...> и раз уж так случилось по воле творца и собственному нашему недомыслию, что мы собрались тут лишь в самый роковой миг у кормила свобод и цивилизации, то, *прежде чем* попустительством малопочтенного мистера Боулдера мы все снова *растворимся* в первозданной огнедышащей стихии, из которой господь ввел нас однажды в этот мир делать наш скромный бизнес, господа, давайте совершим все положенное нам с достоинством, присущим нашему биологическому виду (Л. Леонов).

Завершая наше в какой-то мере предварительное описание таксисных конструкций с союзом *прежде чем*, обратим внимание на то обстоятельство, что в нашей выборке, включающей 250 примеров, оказалось всего три примера, где употреблено приглагольное отрицание, причем в двух из них отрицание представлено в обеих частях конструкции:

(61) Должно быть, обижалась, что Марья Васильевна *не* посоветовалась с ней, *прежде чем отказать* Кораблеву (В. Каверин);

(62) Он был мне так нужен, что, кажется, *не* стоило и умирать, *прежде чем* я *не увижу* его! (В. Каверин);

(63) Я знал, что Наташа *не* будет покойна, *прежде чем* я *не принесу* ей известий о Кате, и решился ехать (Ф. Достоевский).

Можно думать, что этот факт не случаен и требует специального анализа.

3.2. Конструкции с союзом *пока*

К таксисным конструкциям с неспециализированными глагольными формами, в которых выражается значение следования, относятся также сложноподчиненные предложения с союзом *пока*. Однако в зависимости от типа комбинации видовых форм глагола в зависимой и главной частях сложноподчиненного предложения в предложениях с союзом *пока* выражаются значения полной одновременности, неполной одновременности и прерывающего следования, которые являются соседними на шкале таксисных значений и в силу этого связаны семантическими мостиками. Мы рассмотрим все три таксисных значения, выражаемые в предложениях с союзом *пока* в указанной последовательности, которая представляется нам естественной, а также отдельно обратим внимание и на тот случай, когда в предложении с союзом *пока* реализуется конструкция валентностного таксиса.

Таксисным конструкциям с союзом *пока* посвящено относительно много работ (см., например [Costello 1962; Никитина 1964; Хализева 1969; Барентсен 1973; 1979; 1980; Кадыров 1974; Афифи, Саенкова 1975; Bartschaft 1976; Зорихина-Нильссон 2001; 2002]), среди которых выделяются статьи А. Барентсена, где представлена исчерпывающая выборка примеров на все случаи употребления этих конструкций и применены интересные теоретические ходы, воспринимать которые, к сожалению, иногда мешает несколько усложненный язык изложения. Такой интерес к указанным конструкциям не случаен и объясняется рядом обстоятельств.

Одно обстоятельство заключается в том, что, несмотря на относительно четко очерченную таксисную семантику союза *пока*, конкретная семантическая интерпретация конструкций с этим союзом и его просторечными и устарелыми синонимами *покуда*, *покудова*, *покамест*, *поколь*, *доколь* зависит от соответствующей комбинации видовременных форм глаголов в главной и зависимой частях конструкции, а также, хотя и в меньшей степени, от принадлежности глаголов к определенному семантическому классу. Другое обстоятельство состоит в том, что союз *пока* употребляется как в конструкциях невалентностного таксиса, т.е. в конструкциях, где в главной и зависимой частях выражаются относительно самостоятельные ситуации, так и в конструкциях валентностного таксиса, т.е. в конструкциях, где в главной части выступают глаголы синонимического ряда *ждать*, *дожидаться*, *дождаться*, *ожидать*, *подождать*, *пережидать*, *переждать*, *выжидать*, *выждать*, а в зависимой части, вводимой союзом *пока*, выражается событие, являющееся предикатным актантом глагола, выступающего в главной части конструкции.[2] Еще одно обстоятельство заключается в том, что перед глаголом СВ в зависимой части конструкции может употребляться частица *не*, которая не служит отрицанием ситуации, называемой этим глаголом, вследствие чего некоторые исследователи наряду с союзом *пока* выделяют отдельный составной союз *пока не* [Кадыров 1974].

Полагая, что союз *пока* во всех таксисных конструкциях, в которых он употребляется, указывает на то, что ситуация, названная в зависимой части, играет роль временного ограничителя ситуации, названной в главной части, мы в этой публикации хотим обратить особое внимание на то, каким образом общее значение союза *пока* уточняется в конструкциях, отличающихся друг от друга комбинацией видовых форм в их обеих частях. При анализе конструкций будут использоваться различные формальные и содержательные параметры: в частности, односубъектность / разносубъектность ситуаций, обозначаемых в конструкции, их контролируемость / неконтро-

[2] О различении конструкций невалентностного и валентностного таксиса см. работы [Храковский 2001а; 2003б].

лируемость, возможность употребления в обеих частях конструкции приглагольного отрицания с учетом его функции, равно как и возможность употребления в обеих частях конструкции обстоятельств, обозначающих период / момент времени.

В изложении в основном будут использоваться экспериментальные авторские примеры, которые, как нам представляется, адекватно отражают все типы конструкций, представленных в картотеке. Ориентация на авторские примеры связана с тем, что в работе активно будут применяться различные трансформации, которые, как хорошо известно, удобнее проводить с авторскими примерами.

3.2.1. Конструкции невалентностного таксиса

3.2.1.1. Конструкция, в обеих частях которой употребляются формы несовершенного вида

Следующие примеры, в которых зависимая часть предшествует главной, можно считать прототипическими для рассматриваемой конструкции:

(64) Пока Петя смотрел телевизор, Маша мыла посуду;

(65) Пока Петя ехал на работу, шел дождь;

(66) Пока шел дождь, температура воздуха понижалась;

(67) Пока Петя завтракал, он думал о предстоящем экзамене.

В соответствии с существующими представлениями в русском языке «каждая из двух видовых форм имеет простой семантический инвариант. <...> Форма НСВ описывает ситуацию в ее развитии во времени, т.е. как проходящую через ряд последовательных временных фаз» [Падучева 1996: 24]. Сходная, но несколько иная трактовка семантического инварианта НСВ дается в работе [Храковский 2001б: 97–98], где говорится, что глаголы НСВ обозначают срединную фазу ситуации — '(в момент t ситуация P начала иметь место); в период T, непосредственно следующий за моментом t, ситуация P имеет место'. Иначе говоря, глаголы НСВ называют ситуацию P, не упоминая о ее начале и конце. Если использовать другую терминологию, то правомерно утверждать, что глаголы НСВ обозначают процессы.

Учитывая семантику глаголов НСВ, можно говорить о том, что в этой конструкции ограничивающая функция союза *пока* проявляется в том, что ситуация, выражаемая в главной части, занимает тот же временной период, что и ситуация в зависимой части. Соответственно этой конструкции присуще значение полной одновременности, причем эксплицитно с помощью обстоятельства может быть назван тот период времени, в течение которого осуществлялись обе ситуации:

(64 а) Все десять минут, пока Петя смотрел телевизор, Маша мыла посуду;

(65 а) Все десять минут, пока Петя ехал на работу, шел дождь;

(66 а) Все десять минут, пока шел дождь, температура воздуха понижалась;

(67 а) Все десять минут, пока Петя завтракал, он думал о предстоящем экзамене.

Анализируя прототипические конструкции, мы видим, что они могут быть как разносубъектными (см. (64)–(66)), так и односубъектными (см. (67)). Кроме того, мы замечаем, что и в главной, и в зависимой частях конструкции могут быть представлены как контролируемые, так и неконтролируемые ситуации в разных комбинациях. В (64) представлена комбинация «контролируемая ситуация в главной части + контролируемая ситуация в зависимой части», в (65) и (67) — комбинация «неконтролируемая ситуация в главной части + контролируемая ситуация в зависимой части», в (66) — комбинация «неконтролируемая ситуация в главной части + неконтролируемая ситуация в зависимой части». Еще одна теоретически возможная комбинация «контролируемая ситуация в главной части + неконтролируемая ситуация в зависимой части» представлена в следующем примере:

(68) Пока шел дождь, Петя играл на пианино.

Теперь мы попробуем трансформировать приведенные конструкции, переставляя ситуацию, выражаемую в главной части, в зависимую часть и соответственно — ситуацию, выражаемую в зависимой части, в главную часть:

(64 б) Пока Маша мыла посуду, Петя смотрел телевизор;

(65 б) ?Пока шел дождь, Петя ехал на работу;

(66 б) Пока температура воздуха понижалась, шел дождь;

(67 б) ?Пока Петя думал о предстоящем экзамене, он завтракал.

(68 б) ?Пока Петя играл на пианино, шел дождь.

Результаты проведенной трансформации мы можем прокомментировать следующим образом. Если в обеих частях конструкции представлены контролируемые ситуации, то трансформация осуществляется свободно и у нее нет никаких прагматических ограничений (см. (64) ⟶ (64 б)). Аналогично обстоит дело, если в обеих частях конструкции представлены неконтролируемые ситуации (см. (66) ⟶

(66 б)). Несколько иначе выглядит трансформация в том случае, если в зависимой части конструкции выступает контролируемая ситуация, а в главной — неконтролируемая. С грамматической точки зрения преобразование остается безупречным, однако с прагматической точки зрения результат преобразования выглядит несколько странным. Прагматически крайне редко поездка на работу ограничивается тем временем, когда идет дождь (см. (65) ⟶ (65 б)). Точно так же странным кажется то, что завтрак ограничивается периодом размышлений о предстоящем экзамене (см. (67) ⟶ (67 б)). Но и контролируемая ситуация в роли временного ограничителя неконтролируемой ситуации не всегда выглядит естественной. Так, кажется странным, когда время игры на пианино выступает в роли ограничителя для дождя (см. (68) ⟶ (68 б)). Иначе говоря, неконтролируемая ситуация как будто бы не очень приспособлена для того, чтобы выступать временным ограничителем для контролируемой ситуации и наоборот контролируемая ситуация не всегда выглядит естественным ограничителем для неконтролируемой ситуации.

Теперь рассмотрим вопрос о возможности употребления в рассматриваемой конструкции приглагольного отрицания *не*. В принципе допустимы три случая использования отрицания: 1) отрицание представлено в зависимой части конструкции, 2) отрицание представлено в главной части конструкции, 3) отрицание представлено в обеих частях конструкции. Грамматических запретов для реализации этих трех возможностей нет:

> (64 в) Пока Петя не смотрел телевизор, Маша мыла посуду; Пока Петя смотрел телевизор, Маша не мыла посуду; Пока Петя не смотрел телевизор, Маша не мыла посуду;
>
> (65 в) Пока Петя не ехал на работу, шел дождь; Пока Петя ехал на работу, дождь не шел; Пока Петя не ехал на работу, дождь не шел;
>
> (66 в) Пока дождь не шел, температура воздуха понижалась; Пока шел дождь, температура воздуха не понижалась; Пока дождь не шел, температура воздуха не понижалась;
>
> (67 в) Пока Петя не завтракал, он думал о предстоящем экзамене; Пока Петя завтракал, он не думал о предстоящем экзамене; Пока Петя не завтракал, он не думал о предстоящем экзамене.

Что касается непрототипических случаев употребления формы НСВ в рассматриваемой конструкции, то прежде всего следует отметить возможность ее использования в обеих частях конструкции в итеративном значении, приметой которого служит наличие в тексте соответствующего обстоятельства:

(64 г) По вечерам, пока Петя смотрел телевизор, Маша мыла посуду;

(65 г) Не меньше раза в неделю, пока Петя ехал на работу, шел дождь;

(66 г) Всякий раз, пока шел дождь, температура воздуха понижалась;

(67 г) Всю предыдущую неделю, пока Петя завтракал, он думал о предстоящем экзамене.

Легко понять, что в данном случае на исходное таксисное значение конструкции просто наслаивается итеративное значение.

Кроме того, следует упомянуть возможность употребления в главной части конструкции формы НСВ в повторительном значении, приметой которого также служит соответствующее обстоятельство:

(64 д) Пока Петя смотрел телевизор, Маша время от времени мыла посуду;

(65 д) Пока Петя ехал на работу, изредка шел дождь;

(66 д) Пока шел дождь, температура воздуха время от времени понижалась;

(67 д) Пока Петя завтракал, он то и дело думал о предстоящем экзамене.

В этом случае несколько меняется семантическая интерпретация конструкции. Теперь следует говорить о том, что совокупность повторяющихся ситуаций, выражаемых в главной части конструкции, занимает тот же временной период, что и ситуация в ее зависимой части.

Также необходимо учесть возможность, когда в главной части конструкции употребляются глаголы НСВ типа *приходить*, у которых нет основного актуально-длительного значения:

(69) Пока Петя смотрел телевизор, приходила Маша.

Семантическая интерпретация этой конструкция меняется в большей степени, поскольку ситуация, обозначаемая в ее главной части, занимает лишь часть периода времени, в течение которого происходит ситуация, выражаемая ее зависимой частью. Соответственно значение полной одновременности ситуаций уступает место значению неполной одновременности ситуаций, которое прототипически обозначается с помощью комбинации формы НСВ в зависимой части конструкции и формы СВ в главной части конструкции, к рассмотрению которой мы сейчас и переходим.

3.2.1.2. Конструкция, в зависимой части которой употребляется форма несовершенного вида, а в главной части — форма совершенного вида

Для рассматриваемой конструкции прототипическими можно считать следующие примеры, в которых зависимая часть предшествует главной:

(70) Пока Петя смотрел телевизор, Маша домыла посуду и отстряпалась;

(71) Пока Петя ехал на работу, пошел дождь;

(72) Пока шел дождь, температура воздуха понизилась;

(73) Пока Петя завтракал, он прочитал газету.

Мы уже знаем, что в своем основном значении форма НСВ обозначает срединную фазу ситуации. Что же касается формы СВ, то она «всегда описывает ситуацию изменения, то есть предполагает момент, когда некоторое положение вещей не имело места, и момент, когда имеет (или наоборот)» [Падучева 1996: 24]. Уточняя и детализируя это определение, можно утверждать, что существует шесть разновидностей ситуации изменения, которые выражаются с помощью СВ: 1) обозначается начальная фаза ситуации '(до момента t ситуация P не имеет места; в момент t ситуация P начинает иметь место'; 2) обозначается конечная фаза ситуации: '(до момента t_f ситуация P имеет место); в момент t_f ситуация P перестает иметь место; (соответственно начинает иметь место новая ситуация не-P)' (ср. (70)); 3) обозначаются начальная и срединная фазы ситуации: '(до момента t ситуация P не имеет места); в момент t ситуация P начинает иметь место и имеет место в период T, непосредственно следующий за моментом t' (ср. (71)); 4) обозначаются начальная и конечная фазы ситуации: '(до момента t ситуация P не имеет места); в момент t ситуация P начинает иметь место и в тот же момент t (он же момент t_f) ситуация P перестает иметь место; (соответственно начинает иметь место новая ситуация не-P)'; 5) обозначаются срединная и конечная фазы ситуации: 'ситуация P имеет место в период T, непосредственно предшествующий моменту t_f; в момент t_f ситуация P перестает иметь место (обычно вследствие достижения естественного предела); (соответственно начинает иметь место новая ситуация не-P)' (ср. (70)); 6) обозначаются начальная, срединная и конечная фазы ситуации: '(до момента t ситуация P не имеет места); в момент t ситуация P начинает иметь место и длится в течение периода T, непосредственно следующего за моментом t, до момента t_f; в момент t_f ситуация P перестает иметь место; (соответственно начинает иметь место новая ситуация не-P, которая в частном случае представляет собой результат

предшествующей ситуации P)' (ср. (72) и (73)).[3] Используя другую терминологию, можно говорить о том, что прототипически глаголы НСВ обозначают в этой конструкции процессы, тогда как глаголы СВ обозначают факты. Учитывая семантику глаголов НСВ и СВ, будем говорить, что в этой конструкции ограничивающая функция союза *пока* проявляется следующим образом: ситуация, выражаемая в главной части, занимает любую часть (вплоть до момента) временного периода, занимаемого ситуацией в зависимой части. Таким образом, этой конструкции присуще значение неполной или частичной одновременности.[4] Соответственно с помощью обстоятельств в принципе эксплицитно могут быть по отдельности названы как период времени, в течение которого осуществлялась ситуация, названная в зависимой части конструкции, так и период / момент времени, в течение которого осуществлялась ситуация, названная в главной части конструкции:

(70) ⟶ (70 а) За то время, пока Петя смотрел телевизор, Маша домыла посуду и отстряпалась;

(71) ⟶ (71 а) Пока Петя ехал на работу, в 9 ч. 15 мин. пошел дождь;

(73) ⟶ (73 а) Пока Петя завтракал, он буквально за несколько минут прочитал газету.

Впрочем, надо признать, что в текстовых примерах подобные обстоятельства встречаются крайне редко. А вот одновременное употребление обоих обстоятельства прагматически не кажется естественным:

(70) ⟶ (70 б) ?За то время, пока Петя смотрел телевизор, Маша за три минуты домыла посуду и отстряпалась;

(73) ⟶ (73 б) ?В те полчаса, пока Петя завтракал, он буквально за несколько минут прочитал газету.

В текстах подобные примеры практически не встречаются.

[3] Первую возможность иллюстрирует пример

(74′) Пока мамы не было дома, Петя заболел.

Четвертую возможность иллюстрирует пример

(75) Пока я смотрел на дорогу, неожиданно скрипнула калитка.

Более подробно проблема исчисления основных значений СВ и НСВ представлена в работе [Храковский 2001б].

[4] Впрочем, в отдельных периферийных случаях временной период, занимаемый ситуацией в главной части конструкции, как будто бы может совпадать с временным периодом, занимаемым ситуацией в зависимой части конструкции (см. (72)), и тогда конструкции присуще значение полной одновременности.

Рассматривая прототипические конструкции, мы замечаем, что они могут быть как разносубъектными (см. (70)–(72)), так и односубъектными (см. (73)). Таким образом, по этому параметру они не отличаются от конструкций, в обеих частях которых употребляются глаголы НСВ. Кроме того, мы замечаем, что и в главной, и в зависимой частях конструкции могут быть представлены как контролируемые, так и неконтролируемые ситуации в разных комбинациях. В (70) и (73) представлена комбинация «контролируемая ситуация в главной части + контролируемая ситуация в зависимой части», в (71) — комбинация «неконтролируемая ситуация в главной части + контролируемая ситуация в зависимой части», в (72) — комбинация «неконтролируемая ситуация в главной части + неконтролируемая ситуация в зависимой части». Еще одной теоретически возможной комбинации «контролируемая ситуация в главной части + неконтролируемая ситуация в зависимой части» в прототипических конструкциях нет. Однако и эта комбинация вполне допустима:

(74) Пока шел дождь, Петя сыграл на пианино вальс Штрауса.

Соответственно и по этому параметру рассматриваемые конструкции не отличаются от конструкций, в обеих частях которых употребляются глаголы НСВ.

Теперь рассмотрим вопрос о возможности употребления в рассматриваемых конструкциях приглагольного отрицания *не*. Как мы знаем, в принципе допустимы три случая использования отрицания: 1) отрицание представлено в зависимой части конструкции, 2) отрицание представлено в главной части конструкции, 3) отрицание представлено в обеих частях конструкции. Грамматических запретов для реализации этих трех возможностей нет:

(70 в) Пока Петя не смотрел телевизор, Маша домыла посуду и отстряпалась; Пока Петя смотрел телевизор, Маша не домыла посуду и не отстряпалась; Пока Петя не смотрел телевизор, Маша не домыла посуду и не отстряпалась;

(71 в) Пока Петя не ехал на работу, пошел дождь; Пока Петя ехал на работу, дождь не пошел; Пока Петя не ехал на работу, дождь не пошел;

(72 в) Пока дождь не шел, температура воздуха понизилась; Пока шел дождь, температура воздуха не понизилась; Пока дождь не шел, температура воздуха не понизилась;

(73 в) Пока Петя не завтракал, он прочитал газету; Пока Петя завтракал, он не прочитал газету; Пока Петя не завтракал, он не прочитал газету.

Некоторые из предложений с приглагольными отрицаниями на первый взгляд могут показаться прагматически странными в нейтральном контексте, однако, очевидно, всегда можно найти контекст, в котором эти предложения окажутся вполне уместными. Таково, например, предложение *Пока Петя смотрел телевизор, Маша не домыла посуду и не отстряпалась.* Однако в следующем контексте оно становится вполне приемлемым: *Пока Петя смотрел телевизор, Маша не домыла посуду и не отстряпалась, хотя клятвенно обещала сделать это.*

Говоря о непрототипических случаях употребления формы СВ в главной части рассматриваемой конструкции, прежде всего следует отметить возможность ее употребления в так называемом суммарном значении, приметой которого служит наличие в тексте какого-либо обстоятельства ограниченной кратности:

(76) Пока чай остывал, Петя два раза посмотрел на Машу.

В совокупности с обстоятельством, обозначающим период времени, в течение которого совершается ситуация, выражаемая в зависимой части конструкции, глаголы СВ так называемого пердуративного (длительно-ограничительного) СД типа *прождать*, *проработать*, *просидеть* обозначают в ее главной части ситуацию, которая практически одновременна ситуации, называемой в зависимой части:

(77 а) Все время, пока шел дождь, мы просидели на скамейке;

(77 б) Пока шел дождь, мы все время просидели на скамейке.

Соответственно глагол СВ пердуративного СД может быть заменен соотносительным глаголом НСВ без какого-либо заметного изменения смысла конструкции:

(77 а′) Все время, пока шел дождь, мы сидели на скамейке;

(77 б′) Пока шел дождь, мы все время сидели на скамейке.

Примерно так же обстоит дело, если в главной части конструкции употребляется глагол СВ так называемого делимитативного (ограничительного) СД типа *полежать*, *посидеть*, *всплакнуть*. Похоже, что глаголы этого СД, так же, как и глаголы пердуративного СД, обозначают ситуацию, которая практически одновременна ситуации, выражаемой в зависимой части конструкции:

(78) Пока студенты собирались, мы с Петей поговорили о нашем семинаре.

И в данном случае глагол СВ делимитативного СД может быть заменен соотносительным глаголом НСВ без какого-либо заметного изменения смысла конструкции:

(79) Пока студенты собирались, мы с Петей говорили о нашем семинаре.

3.2.1.3. Конструкция, в зависимой части которой употребляется форма совершенного вида, а в главной части — форма несовершенного вида

Прототипическими для этой конструкции можно считать следующие примеры, в которых зависимая часть следует за главной:

(80) Петя читал книгу, пока не пришла Маша;

(81) Маша лежала на диване, пока ей не надоело;

(82) Лампа горела, пока Петя не погасил ее;

(83) Лампа долго горела, пока внезапно не перегорела.

Учитывая семантику глаголов СВ и НСВ, мы вправе считать, что в этой конструкции ограничивающая функция союза *пока* проявляется следующим образом: ситуация, обозначаемая в главной части, прерывается ситуацией, называемой в зависимой части. Таким образом, этой конструкции присуще таксисное значение следования (ситуация, обозначаемая в зависимой части, следует за ситуаций, обозначаемой в главной части, прерывая и тем самым ликвидируя ее). При этом следует различать два принципиально различных случая: 1) прерываемая ситуация в принципе может возобновиться (см. (80)–(82)); 2) прерываемая ситуация в принципе не может возобновиться и замещается той ситуацией, которая ее прерывает (см. (83)). Проводя данную классификацию, нужно учитывать следующее обстоятельство. Анализируемая конструкция может быть либо разносубъектной (см. (80), (82)), либо односубъектной (см. (81), (83)). Однако если продолжение прерываемой ситуации возможно и тогда, когда конструкция разносубъектна (см. (80), (82)), и тогда, когда она односубъектна (см. (81)), то ликвидация прерываемой ситуации прерывающей ситуацией возможна лишь тогда, когда конструкция односубъектна (см. (83)).

В обеих частях конструкции д о п у с т и м ы различные комбинации контролируемых и неконтролируемых ситуаций. В (80) и (81) представлена комбинация «контролируемая ситуация в главной части + контролируемая ситуация в зависимой части», в (82) — комбинация «неконтролируемая ситуация в главной части + контролируемая ситуация в зависимой части», в (83) — комбинация «неконтролируемая ситуация в главной части + неконтролируемая ситуация в зависимой части». Еще одна комбинация «контролируемая ситуация в главной части + неконтролируемая ситуация в зависимой части» представлена в следующем примере:

(84) Петя читал книгу, пока не стемнело.

С прагматической точки зрения, по-видимому, имеет смысл различать два варианта замены прерываемой ситуации прерывающей ситуацией. Вариант первый: прерывающая ситуация естественным образом сменяет прерываемую ситуацию, т.е. служит ее ожидаемым продолжением:

(85) Самолет плавно снижался, пока не коснулся земли.

Вариант второй: прерывающая ситуация неестественным образом сменяет прерываемую ситуацию, т.е. выступает в роли ее неожиданного продолжения:

(86) Танки быстро двигались вперед, пока внезапно не начали рваться вражеские снаряды.

Характерная особенность этой конструкции, неизменно привлекающая внимание исследователей, состоит в том, что в ее зависимой части при финитном глаголе в обязательном порядке выступает частица *не*, которая не служит отрицанием ситуации, обозначаемой этим глаголом. Вполне естественно возникает вопрос о том, какую функцию в этом случае выполняет данная частица. В этой связи вспомним, что ситуация, называемая в главной части конструкции, перестает иметь место, т.е. начинает не иметь места с того момента, как осуществляется ситуация, называемая в зависимой части конструкции. Тогда встает еще один вопрос: каким же образом в поверхностной структуре предложения маркируется это прекращение ситуации? Ответ напрашивается сам собой. С помощью отрицательной частицы, которая, однако, стоит при глаголе в другой части конструкции. Эта неожиданная на первый взгляд позиция частицы объясняется тем, что перед глаголом в главной части конструкции она не может стоять, потому что в этом случае она бы обозначала отсутствие ситуации, а не ее прекращение в момент осуществления последующей ситуации. Ср. (80) и (80 а):

(80 а) ?Петя не читал книги, пока пришла Маша.

В этом не вполне корректном примере очевидным образом обозначается то, что чтения книги не было до прихода Маши, а не то, что чтение книги прекратилось в момент прихода Маши. Еще более показателен следующий, уже вполне корректный пример:

(80 б) Петя не читал книги, пока не пришла Маша.

Как и в примере (80 а), здесь обозначается то, что до прихода Маши чтения не было, однако здесь передается дополнительно и та информация, что в момент прихода Маши Петя начинает читать книгу.[5]

3.2.1.4. Конструкция, в обеих частях которой употребляются формы совершенного вида

Прототипическими для этой конструкции можно считать следующие примеры, в которых зависимая часть следует за главной:

(87) Петя очень устал, пока дошел до дому;

(88) Маша совсем измучилась, пока вышла из леса;

(89) Мама поцарапала руку, пока растопила печку;

(90) Поезд ушел, пока мы добрались до вокзала.

Эта конструкция может быть как односубъектной (см. (87)–(89)), так и разносубъектной (см. (90)), однако в основной массе примеров представлена односубъектная конструкция, причем в зависимой части такой конструкции субъект контролирует ситуацию, а в главной части он не является контролером ситуации. При этом следует обратить внимание на то, что в зависимой части преимущественно употребляются глаголы движения и перемещения, а в главной части — глаголы так называемых непроизвольно накапливаемых состояний типа *согреться*, *замерзнуть*, *устать*, *побледнеть*.

Если учитывать специфическую семантику глаголов СВ, употребляющихся в этой конструкции, то ограничивающая функция союза *пока* в ней проявляется в том, что ситуация, выражаемая в главной части, занимает период или момент времени, который предшествует тому моменту, когда осуществляется ситуация в зависимой части. Соответственно этой конструкции присуще таксисное значение следования, поскольку ситуация, обозначаемая в зависимой части, непосредственно следует за ситуацией, обозначаемой в главной части конструкции. Другой вопрос, что ситуация, названная в главной части, как будто бы реально не прекращается в момент наступления ситуации, названной в зависимой части, а только отходит на задний план, оставаясь в качестве фона для «прервавшей» ее ситуации. Из житейского опыта знаем, что, скажем, Петина усталость в (87) вряд ли прекратилась в тот момент, когда он дошел до дому, Машины муки в (88) исчезли в тот момент, когда она вышла из леса, а маминых царапин в (89) не стало, когда печка была растоплена. Формальным

[5] Ср.: «Отличительной чертой оборота *пока не* является то, что он, несмотря на присутствие отрицательной частицы *не* при сказуемом, все же не образует отрицательного предложения» [Трофимов 1952: 100].

показателем того, что ситуация, названная в главной части, не ликвидируется, служит отсутствие отрицания перед глаголом СВ в зависимой части конструкции. Как мы уже знаем, именно наличие этого отрицания при глаголе СВ в зависимой части служит знаком того, что ситуация, выражаемая в главной части конструкции, прекращает свое существование (см. 3).

Заметим, что эксплицитно с помощью обстоятельства может быть назван тот период времени, в течение которого осуществлялась или осуществилась ситуация, названная в главной части конструкции:

(87 а) Петя очень устал за те три часа, пока дошел до дому;

(88 а) Маша совсем измучилась за то время, пока вышла из леса;

(89 а) Мама поцарапала руку за те 5 минут, пока растопила печку;

(90 а) Поезд ушел за то время, пока мы добрались до вокзала.

Довольно сомнительной представляется возможность постановки обстоятельства, обозначающего момент осуществления ситуации, выражаемой в зависимой части:

(87 б) ?Петя очень устал, пока в 8 утра дошел до дому;

(88 б) ?Маша совсем измучилась, пока в час ночи вышла из леса;

(89 б) ?Мама поцарапала руку, пока в 6 часов 15 минут растопила печку;

(90 б) ?Поезд ушел, пока мы в 7 часов добрались до вокзала.

Соответственно, полностью исключается одновременная постановка обоих обстоятельств:

(87 в) *Петя очень устал за те три часа, пока в 8 утра дошел до дому;

(88 в) *Маша совсем измучилась за то время, пока в час ночи вышла из леса.

Как известно, говоря о будущем, мы часто не утверждаем наступление некоторого события, а лишь прогнозируем его наступление. Вот и в данном случае при переносе анализируемых конструкций в план будущего для говорящего естественно высказывать лишь предположение о наступлении события, обозначаемого в главной части, с помощью показателей типа *я думаю*, *мне кажется*, *возможно*, *наверное* и т.п., а не утверждать его обязательное наступление:

(87 г) Петя, я думаю, очень устанет, пока дойдет до дому;

(88 г) Маша, наверное, совсем измучится, пока выйдет из леса.

В этой конструкции вполне возможна постановка приглагольного отрицания в главной части конструкции:

(87 д) Петя не очень устал, пока дошел до дому;

(88 д) Маша совсем не измучилась, пока вышла из леса.

Что касается постановки приглагольного отрицания в зависимой части конструкции, то она если и возможна, то не меняет (!) смысла конструкции:

(87 е) ?Петя очень устал, пока не дошел до дому;

(88 е) ?Маша совсем измучилась, пока не вышла из леса.

Аналогичным образом при наличии приглагольного отрицания в главной части конструкции, постановка такого же отрицания в зависимой части, если и возможна, то также не меняет смысла конструкции:

(87 ж) ?Петя не очень устал, пока не дошел до дому;

(88 ж) ?Маша совсем не измучилась, пока не вышла из леса.

Непрототипическими для этой конструкции являются примеры типа:

(91) Маша просидела в кресле у камина часа два, пока внезапно не уснула;

(92) Мы поговорили с Петей совсем недолго, пока в палату не вошел врач.

Специфика этих примеров состоит прежде всего в том, что в их главной части употребляются только глаголы так называемого пердуративного (длительно-ограничительного) СД типа *проработать*, *просидеть* и делимитативного (ограничительного) СД типа *поспать*, *поговорить*. Эти глаголы, как известно, обозначают ограниченно-длительные процессы и соответственно могут замещаться соотносительными глаголами НСВ при наличии обстоятельств, обозначающих ограниченный период времени, без какого-либо существенного изменения смысла (см. 2):

(91 а) Маша сидела в кресле у камина два часа, пока внезапно не уснула;

(92 а) Мы говорили с Петей совсем недолго, пока в палату не вошел врач.

Можно думать, что содержательное сходство глаголов СВ пердуративного и делимитативного СД с глаголами НСВ предопределяет ту особенность этих примеров, что перед глаголами в их зависимой части стоит приглагольная отрицательная частица *не*, не имеющая в данном случае отрицательного значения, и способная даже, кажется, опускаться, хотя примеры без частицы представляются менее приемлемыми:

(91 б) ?Маша просидела в кресле у камина два часа, пока внезапно уснула;

(92 б) ?Мы поговорили с Петей совсем недолго, пока в палату вошел врач.

Еще одна особенность этих конструкций заключается в том, что они могут быть как односубъектными (см. (91)), так и разносубъектными (см. (92)).

Также непрототипическими для этой конструкции можно считать следующие типовые примеры:

(93) Прошло долгих два года, пока Петя признал свою ошибку;

(94) Прошло довольно много времени, пока Маша рассказала, что в действительности произошло на экзамене.

В данном случае в главной части конструкции обозначается ситуация, представляющая собой период времени, по окончании которого осуществляется ситуация, названная в зависимой части. Этот период времени служит интервалом между ситуацией, названной в зависимой части конструкции, и некоторым предшествующим событием, которое хотя эксплицитно и не названо, но о котором можно найти ту или иную информацию в контексте. Так, в примере (93) имеется в виду какой-то Петин поступок, который случился за два года до того, как Петя признал его ошибочным. Что касается примера (94), то здесь речь идет о ситуации на экзамене, происходившем задолго до того, как Маша об этом рассказала.

Отметим, что главная часть конструкции в данном случае устроена стандартным образом. Позицию сказуемого в ней занимает глагол *пройти* в своей служебной функции, а позицию подлежащего занимает имя или именная группа, обозначающая тот или другой период времени, который интуитивно представляется достаточно протяженным. Соответственно приводимые ниже примеры (93 а) и (94 а) в отличие от примеров (93) и (94) кажутся не вполне приемлемыми:

(93 а) ?Прошло всего 15 минут, пока Петя признал свою ошибку;

(94 а) ?Прошло совсем немного времени, пока Маша рассказала, что в действительности произошло на экзамене.

Вполне очевидно, что рассматриваемая конструкция является только разносубъектной. Что же касается приглагольных отрицаний, то в главную часть конструкции их нельзя вставлять, поскольку в этом случае конструкция становится неосмысленной:

(93 б) *Не прошло долгих двух лет, пока Петя признал свою ошибку;

(94 б) *Не прошло довольно много времени, пока Маша рассказала, что в действительности произошло на экзамене.

Напротив, в зависимую часть приглагольное отрицание как будто бы вставить можно, но при этом смысл конструкции не меняется:

(93 в) ?Прошло долгих два года, пока Петя не признал свою ошибку;

(94 в) ?Прошло довольно много времени, пока Маша не рассказала, что в действительности произошло на экзамене.

3.2.2. Конструкции валентностного таксиса

Как уже отмечалось выше, союз *пока* употребляется не только в конструкциях невалентностного таксиса, т.е. в конструкциях, где в главной и зависимой частях выражаются самостоятельные ситуации, но и в конструкциях валентностного таксиса, т.е. в конструкциях, где в главной части выступают глаголы синонимического ряда *ждать*, *дожидаться*, *дождаться*, *ожидать*, *подождать*, *пережидать*, *переждать*, *выжидать*, *выждать*, а в зависимой части выражается ситуация, являющаяся предикатным актантом глагола, названного в главной части.[6]

Как нам представляется, в этой конструкции ограничивающая функция союза *пока* проявляется следующим образом: ситуация, обозначаемая в главной части одним из глаголов синонимического ряда ожидания, прерывается ситуацией, называемой в зависимой части глаголом СВ (редко глаголом НСВ) и являющейся предикатным актантом глагола из главной части. Таким образом, этой конструкции присуще таксисное значение прерывающего следования (ситуация,

[6]Приведем в качестве примера толкование глагола *ждать 1*, являющегося основным в приведенном синонимическом ряду, данное в работе [Апресян 2001: 5–6]: «Зная или считая, что должно или может произойти некое событие, нужное субъекту или касающееся его, быть в состоянии готовности к нему и обычно находиться в том месте, где оно произойдет». Однако в этой же работе отмечается, что в интересующих нас конструкциях валентностного таксиса наблюдается особое употребление глагола *ждать 1*, когда из толкования изымается указание на место ожидания, т.е. «когда вторая валентность глагола *ждать 1* насыщается придаточным предложением со значением времени или предикатным существительным в форме РОД, обозначающим событие, приуроченное к определенному моменту времени, или момент времени» [там же].

обозначаемая в зависимой части, следует за ситуаций, обозначаемой в главной части, прерывая ее).

Следующие примеры с глаголом СВ в зависимой части, которая следует за главной, можно считать типичными для конструкций валентностного таксиса:

(95) Петя ждал, пока стемнеет;

(96) Петя ждал, пока я уйду;

(97) Я ждал, пока я успокоюсь.

Судя по приведенным примерам, анализируемая конструкция может быть либо разносубъектной (см. (95), (96)), либо односубъектной (см. (97)). Однако надо сразу же заметить, что односубъектная конструкция должна рассматриваться как периферийная и по прагматическим соображениям (для человека естественно ждать ситуации, в которой он не является основным участником), и по формальным соображениям (конструкция может оказаться двусмысленной, когда в зависимой части употребляется анафорическое местоимение 3-го лица):

(98) Петя ждал, пока он успокоится.

Очевидно, что у этого примера два прочтения: 1) 'Петя ждал, пока успокоится он сам, т.е. Петя', 2) 'Петя ждал, пока успокоится какое-то 3-е лицо, т.е. не Петя'.

Как и многие другие конструкции валентностного таксиса, рассматриваемая конструкция при временной отнесенности ситуации из главной части к прошлому выступает в двух вариантах. В одном варианте глагол СВ в зависимой части выступает в форме будущего времени:

(99) Маша ждала, пока Петя прочитает записку.

В другом варианте глагол СВ в зависимой части выступает в форме прошедшего времени:

(100) Маша ждала, пока Петя прочитал записку.

Указанные различия семантически релевантны. В первом случае ситуация, обозначаемая в зависимой части конструкции, характеризуется как еще не наступившая и соответственно может быть указана цель ожидания этой ситуации:

(99 а) Маша ждала, пока Петя прочитает записку, чтобы задать ему несколько вопросов.

Во втором случае ситуация, обозначаемая во второй части конструкции, характеризуется как уже наступившая и, соответственно, как наступившая может быть охарактеризована целевая ситуация:

(100 а) Маша ждала, пока Петя прочитал записку, и задала ему несколько вопросов.

Если же ситуация, названная в главной части конструкции, локализуется в плане настоящего или будущего, то ситуация, обозначаемая в зависимой части, выражается только глаголом в форме будущего времени:

(99 б) Маша ждет, пока Петя прочитает записку, чтобы задать ему несколько вопросов;

(99 в) Маша будет ждать, пока Петя прочитает записку, чтобы задать ему несколько вопросов.

Сказанное справедливо для тех случаев, когда глагол в главной части конструкции выступает в форме НСВ. Если же этот глагол выступает в форме СВ, то ситуация несколько меняется. При временной отнесенности ситуации в главной части к плану прошлого конструкция выступает в тех же двух вариантах:

(101) Маша подождала, пока Петя прочитает записку;

(102) Маша подождала, пока Петя прочитал записку.

Однако теперь в обоих вариантах целевая ситуация характеризуется как наступившая:

(101 а) Маша подождала, пока Петя прочитает записку, и задала ему несколько вопросов;

(102 а) Маша подождала, пока Петя прочитал записку, и задала ему несколько вопросов.

Если же ситуация, названная в главной части конструкции, локализуется в плане будущего времени, то ситуация, обозначаемая в зависимой части, выражается только глаголом в форме будущего времени, но при этом либо указана цель ожидания ситуации, либо целевая ситуация охарактеризована как наступившая в будущем:

(103) Маша подождет, пока Петя прочитает записку, чтобы задать ему несколько вопросов;

(103 а) Маша подождет, пока Петя прочитает записку, и задаст ему несколько вопросов.

Говоря об употреблении приглагольного отрицания *не* в рассматриваемой конструкции, заметим следующее. Если глагол в главной части конструкции выступает в форме прошедшего времени, то отсутствие или наличие этого отрицания в зависимой части конструкции, по-видимому, никак не сказывается на смысле конструкции.[7] Всего возможно четыре варианта конструкции:

(104) Я ждал, пока придет Петя;

(104 а) Я ждал, пока не придет Петя;

(104 б) Я ждал, пока пришел Петя;

(104 в) Я ждал, пока не пришел Петя.

Если глагол в главной части конструкции выступает в форме настоящего или будущего времени, то смысловая характеристика конструкции не меняется, однако вместо четырех вариантов остается только два:

(105) Я жду, пока придет Петя;

(105 а) Я жду, пока не придет Петя;

(106) Я буду ждать, пока придет Петя;

(106 а) Я буду ждать, пока не придет Петя.

Не останавливаясь на довольно сложном и не вполне ясном вопросе о правилах выбора каждой из этих конструкций, заметим, что у одного и того же автора можно найти примеры, фактически отличающиеся только наличием / отсутствием отрицания и, на наш взгляд, не отличающиеся друг от друга по смыслу:

(107) Он подождал, пока дверь за Николаем закрылась, и нетерпеливо повернулся к Леше (В. Войнович);

(108) Ермошкин подождал, пока дверь за ними не закрылась, и вернулся к столу (В. Войнович).[8]

Иначе обстоит дело в главной части конструкции. Здесь приглагольное отрицание может употребляться, выступая в своем обычном значении. Однако в этом случае отрицание в зависимой части как будто бы не употребляется. Ср. (99) и (109):

(109) Маша не ждала, пока Петя прочитает записку.

[7] По подсчетам А. Барентсена, случаи употребления отрицания в зависимой части составляют около 20% от всех случаев употребления конструкций с глаголами ожидания [Барентсен 1980: 63].

[8] Примеры А. Барентсена [там же: 51].

Относительно редко в зависимой части конструкции употребляется глагол в форме НСВ. Самая обычная ситуация, когда и глагол в зависимой части, и глагол в главной части выступают в форме прошедшего времени:

(110) Петя ждал, пока Маша пересчитывала деньги.

Это предложение с семантической точки зрения довольно близко к стандартному предложению:

(111) Петя ждал, пока Маша пересчитает деньги.

Едва уловимое различие между этими двумя предложениями, как нам представляется, заключается в следующем. Первое предложение уместно в ситуации, когда пересчет денег уже происходит, тогда как второе предложение уместно как в этой ситуации, так и в ситуации, когда пересчет денег еще не начался. Иначе говоря, в первом случае ожидается окончание пересчета денег, тогда как во втором случае ожидается либо окончание пересчета денег, либо совершение этого события.

Рассмотрим также предложения (112) и (113):

(112) Петя ждал, пока Маша пересчитывает деньги;

(113) Петя ждал, пока Маша будет пересчитывать деньги.

Что касается предложения (112), то оно, по-видимому, передает примерно ту же информацию, что и предложение (110), тогда как предложение (113) уместно только в ситуации, когда пересчет денег еще не начался.

Если глагол в главной части выступает в форме настоящего времени, то глагол в зависимой части может выступать либо в форме настоящего времени, либо в форме будущего времени:

(114) Петя ждет, пока Маша пересчитывает деньги;

(115) Петя ждет, пока Маша будет пересчитывать деньги.

Первое из этих предложений уместно в ситуации, когда пересчет денег уже происходит, и оно передает примерно ту же информацию, что и предложение:

(116) Петя ждет, пока Маша пересчитает деньги.

Второе предложение уместно в ситуации, когда пересчет денег еще не начался.

Если глагол в главной части конструкции выступает в форме будущего времени, то и глагол в зависимой части выступает в форме будущего времени:

(117) Петя будет ждать, пока Маша будет пересчитывать деньги.

Это предложение уместно в ситуации, когда пересчет денег еще не начался. По смыслу это предложение довольно близко к предложению:

(118) Петя будет ждать, пока Маша пересчитает деньги.

Однако данное предложение уместно и в ситуации, когда пересчет денег еще не начался, и в ситуации, когда пересчет денег уже происходит.

3.2.3. Итоговые замечания

Как показало проведенное исследование, прототипически союз *пока* в конструкциях невалентностного таксиса используется для выражения следующих сопряженных значений таксисной шкалы: полная одновременность (в зависимой и главной частях конструкции употребляются глагольные формы НСВ), частичная одновременность (в зависимой части конструкции употребляется глагольная форма НСВ, а в главной части конструкции — глагольная форма СВ), прерывающее следование (в зависимой части конструкции употребляется глагольная форма СВ, а в главной части — глагольная форма НСВ) и псевдопрерывающее следование[9] (в обеих частях конструкции употребляются глагольные формы СВ). Основным для союза *пока* следует считать значение прерывающего следования. В пользу такого решения говорит как то, что в русском языке как будто бы нет других средств для выражения этого значения, так и то, что в текстах союз *пока* чаще всего выступает именно в этом значении.

Относительно редко значение следования, а именно дистантное следование, выражается в предложениях с союзом *когда.* Такая интерпретация этих предложений возникает, если в обеих частях употребляются финитные формы СВ, обозначающие переход в новое состояние, и при этом финитной форме в главной части предложения предшествует частица *уже*, семантика которой, собственно говоря, и определяет указанную интерпретацию. Важно обратить внимание на то, что лексическое обозначение интервала между ситуациями в этой конструкции исключается. При отсутствии этой частицы подобные предложения с союзом *когда* выражают значение предшествования (ср. (119 а) и (119 б)):

[9] Этот термин используется для обозначения того случая, когда последующая ситуация не столько прерывает предыдущую, сколько уводит ее из центра за кулисы. Формальным показателем псевдопрерывающего следования служит отсутствие отрицания при глаголе СВ в зависимой части конструкции, в то время как при прерывающем следовании наличие такого отрицания обязательно. В литературе по таксису значение псевдопрерывающего следования до сих пор как будто бы не выделялось.

(119 а) *Когда* я *пришел* (СВ) к Пете, он *уже* проснулся (СВ);

(119 б) *Когда* я *пришел* (СВ) к Пете, он проснулся (СВ).

3.3. Конструкции с предлогами *перед*, *до* и *накануне*

При, казалось бы, господствующем в теории понимании того, что таксисные формы могут иметь различный категориальный и формальный статус, на практике в сферу внимания исследователей попадают в основном только прототипические таксисные конструкции, а именно рассмотренные выше сложноподчиненные временные предложения и предложения, осложненные деепричастным, причастным и инфинитивным оборотом, т.е. конструкции, которые прежде всего предназначены для выражения бипропозитивных семантических структур; ср. [Козинцева 2001]. Что касается формально простых предложений, в которых тем не менее выражаются различные таксисные значения, то они, если я не ошибаюсь, не учитываются при анализе таксисных конструкций.

Вместе с тем в русском языке к таксисным конструкциям, выражающим значение следования, относятся также формально простые предложения, в состав которых входят имена ситуации, в том числе отглагольные, вводимые предлогами *перед*, *до* и *накануне*.[10] Эти имена вместе с предлогами как раз и являются таксисными формами следования. Существенно обратить внимание на то, что простые предложения с такими формами, как и рассмотренные выше сложноподчиненные предложения, могут быть как одномоментными (см. (120)), так и разномоментными (см. (121)); при этом имена ситуации, как и инфинитивы, в принципе могут сочетаться с любыми видовременными формами финитного глагола:

(120 а) *Перед* (нашим) *отъездом* мы побывали (СВ) / побываем (СВ) в музее;

(120 б) *До* (нашего) *отъезда* мы побывали (СВ) / побываем (СВ) в музее;

(120 в) *Накануне* (нашего) *отъезда* мы побывали (СВ) / побываем (СВ) в музее.

(121 а) *Перед отъездом* гостей / *праздником* мы побывали (СВ) / побываем (СВ) в музее;

(121 б) *До отъезда* гостей / *праздника* мы побывали (СВ) / побываем (СВ) в музее;

(121 в) *Накануне отъезда* гостей / *праздника* мы побывали (СВ) / побываем (СВ) в музее.

[10] В литературе XIX века был употребительным и предлог *прежде*: *Одна надежда ей оставалась: умереть прежде совершения ненавистного брака* (А. Пушкин).

Приступая к анализу этих таксисных конструкций, прежде всего вспомним, какие существуют логические возможности следования таксисной ситуации P_1 за опорной ситуацией P_2 с хронологической точки зрения. Мы уже отмечали, что всего таких возможностей три. Имеются в виду прерывающее следование, контактное следование и дистантное следование.

В свете этих данных обратимся к анализу таксисной конструкции с предлогом *до*. Прежде всего отметим, что в этой конструкции финитный глагол может выступать как в форме НСВ, так и в форме СВ, причем принадлежность глагола к тому или другому виду обычно влияет на таксисную интерпретацию конструкции. Когда глагол выступает в форме НСВ, то тогда прототипически опорная ситуация P_2, выражаемая финитным глаголом, перестает иметь место (не дойдя до естественного предела в случае, если она предельная) в момент осуществления таксисной ситуации P_1, выражаемой предикатным именем, вводимым предлогом *до*.[11]

Видимо, правомерно говорить о том, что ситуация P_1 прерывает ситуацию P_2, т.е. рассматриваемой конструкции присуще значение прерывающего следования; однако при этом следует учитывать, что стандартно агенс ситуации P_2 сам прерывает эту ситуацию, правда, под воздействием ситуации P_1:

(124) Петя читал (НСВ) книгу *до прихода* Маши;

(125) *До прихода* Маши Петя читал (НСВ) книгу;

(126) Я поспешил к И., поняв, что он остановился в том же домике, где жил *до отъезда* (К. Антарова);

(127) Лес этот необходимо было продать; но теперь, *до примирения* с женой, не могло быть о том речи (Л. Толстой).

Существуют лексические показатели (наречие *вплоть*, определительное местоимение *самый*), которые порознь или в совокупности подчеркивают то обстоятельство, что ситуация P_1 следует за ситуацией P_2 без какого-либо временного интервала, фактически прерывая ее:

(128) Петя читал (НСВ) книгу *вплоть до прихода* Маши;

[11] Следует обратить внимание на то, что, занимая зависимую синтаксическую позицию, финитный глагол может выступать в одной из нефинитных форм:

(122) Но если он понял, что ему вручается забота о жизни того, кого он несет на себе, он верностью своей будет стоек и тверд, до последнего дыхания *отстаивая* всадника в опасности (К. Антарова).

(123) И, *входя* однажды вечером в партер в Мариинском театре за несколько минут до поднятия занавеса, вдруг увидал и его и ее (И. Бунин).

(129) Петя читал (НСВ) книгу *до самого прихода* Маши;

(130) Петя читал (НСВ) книгу *вплоть до самого прихода* Маши;

(131) Не размыкай сети защитной между тобой и ею во все время пребывания здесь, *вплоть до возврата* домой (К. Антарова);

(132) *Вплоть до самого окончания* трапезы я не имел ни минуты подумать о нашем быстром отъезде (К. Антарова).

Вместе с тем существуют случаи, когда рассматриваемая конструкция допускает две интерпретации: одну прототипическую, т.е. прерывающее следование, и другую маргинальную (дистантное следование). Скажем, два прочтения, по-видимому, допускает конструкция типа:

(133) Петя поливал (НСВ) цветы *до Машиного прихода.*

Возможность первого прочтения подтверждается допустимостью введения в конструкцию лексических показателей *вплоть* и *самый*:

(134) Петя поливал (НСВ) цветы *вплоть до самого Машиного прихода.*

Что касается второго прочтения, то оно как будто бы выходит на первый план в вопросно-ответном диалоге типа

(135) Когда Петя поливал (НСВ) цветы? (Петя поливал (НСВ) цветы) *до Машиного прихода.*

Существуют также случаи, когда рассматриваемая конструкция допускает только маргинальное прочтение (дистантное следование). Данное прочтение возможно тогда, когда глагол НСВ обозначает такую ситуацию P_2, которая занимает небольшой промежуток времени и имеет аннулируемый результат:

(136) Петя открывал (НСВ) окно *до Машиного прихода.*

В данном случае возможно введение в конструкцию лексических показателей *вплоть* и *самый*, однако в конструкции будет выражаться не прерывающее следование, а значение попытки совершения ситуации P_2 до момента осуществления ситуации P_1 (контактное следование):

(137) Петя открывал (НСВ) окно *вплоть до самого Машиного прихода.*

Вместе с тем значение дистантного следования становится единственным при наличии в конструкции лексических показателей типа *задолго / незадолго*, *за полчаса*, *за несколько лет* и частицы *еще.* Обозначаемый интервал может быть сколь угодно большим и сколь угодно маленьким, однако на практике преимущественно маркируются интервалы, которые характеризуются как относительно небольшие:

(138) Петя читал (НСВ) книгу *незадолго / задолго / за два часа до прихода* Маши;

(139) Петя читал (НСВ) книгу *еще до прихода* Маши;

(140) Но за восемь часов *до запуска* многие жители Петрозаводска засыпали в каком-то мрачном предчувствии (В. Ажажа);

(141) *Еще до перехода* Наполеона через Березину и, следовательно, *до перспективы* его появления в Париже и организации новой армии Барклай уже не скрывал перед Александром, что русская армия не будет в состоянии в настоящем своем виде продолжать войну (К. Антарова).

Рассматриваемая таксисная конструкция может быть частью более сложного синтаксического целого, например, придаточным предложением в составе сложноподчиненного предложения:

(142) Я отомщу тебе так, *что до смерти помнить будешь* (К. Антарова).

Возможен случай, когда в рассматриваемой конструкции ситуация P_2 не выражается, а финитный глагол и зависящие от него слова обозначают временной интервал между не названной ситуацией P_2 и ситуацией P_1:

(143) И *до новой драгоценной, действенной встречи* могут пройти века (К. Антарова);

(144) Сейчас не так много времени остается *до выезда* в пустыню (К. Антарова).

Если в рассматриваемой конструкции финитный глагол выступает в форме СВ, то в этом случае таксисная ситуация P_1 следует за опорной ситуацией P_2, которая завершается независимо от ситуации $P_{1,}$ и между обеими ситуациями по умолчанию существует какой-либо временной интервал:

(145) Петя прочитал (СВ) книгу *до прихода* Маши;

(146) *До прихода* Маши Петя прочитал (СВ) книгу;

(147) Мы с Бронским простились с Францискoм и расстались, разойдясь по своим комнатам, *до нового скорого свидания* (К. Антарова);

(148) Он ведь *до смерти* едва три буквы выучит (К. Антарова).

На наличие временного интервала, в частности, указывает то обстоятельство, что лексические показатели (наречие *вплоть*, определительное местоимение *самый*), которые порознь или в совокупности друг с другом подчеркивают то, что ситуация P_1 следует за ситуацией P_2 без какого-либо временного интервала, в данной конструкции не употребляются:

(149) *Петя прочитал (СВ) книгу *вплоть до прихода* Маши;

(150) *Петя прочитал (СВ) книгу *до самого прихода* Маши.

Этот временной интервал в принципе может быть обозначен с помощью лексических показателей типа *задолго / незадолго*, *за полчаса*, *за несколько лет*, а также частиц типа *уже* и *еще*. Такой интервал может быть сколь угодно большим и сколь угодно маленьким, однако на практике преимущественно маркируются интервалы, которые характеризуются как относительно небольшие:

(151) Петя прочитал (СВ) книгу *незадолго / задолго / за два часа* до прихода Маши;

(152) *Задолго* до рассвета властный голос И. разбудил меня (К. Антарова);

(153) *Незадолго* до своей кончины Зинаида Михайловна передала мне на хранение 21 журнал и 64 тетради рукописей на теософические темы (К. Антарова);

(154) *За день* до отплытия прибыл последний перед началом навигации караван из Таиса (Э. Петров);

(155) Я *уже* до прихода к Вам объяснил Наталье Владимировне, что Вас надо очень закалить для того, чтобы общение с нею, с ее бурными силами не истощало Вас (К. Антарова);

(156) Так и в Риме, *еще* до упразднения так называемой царской власти, был разрушен древний общественный строй (Ф. Энгельс).

Можно думать, что при употреблении в рассматриваемой конструкции финитных глаголов делимитативного и пердуративного способов действия СВ типа *посидеть*, *проговорить*, ее таксисная интерпретация оказывается такой же, что и при употреблении глаголов НСВ, т.е. таксисная ситуация P_1, выражаемая предикатным именем, вводимым предлогом *до*, следует за опорной ситуацией P_2, выражаемой финитным глаголом, фактически прерывая ее:

(157) Петя *поговорил* (СВ) со студентами до прихода Маши;

(158) Петя *прождал* (СВ) Машу вплоть до прихода поезда;

(159) Пусть до самого ужина *проведет* (СВ) с ними день и распределит в нем занятия, как сама найдет нужным (К. Антарова).

Если говорить о семантике финитных глаголов НСВ и СВ, выражающих опорную ситуацию P_2, и предикатных, в том числе и отглагольных имен, выражающих таксисную ситуацию P_1, то, по нашим предварительным наблюдениям, каких-либо принципиальных семантических запретов или ограничений пока не обнаружено. В то же время показательно то обстоятельство, что в текстах чаще других употребляются предикатные имена с семантикой движения (*приход*, *уход*, *приезд*, *отъезд*, *переход*, *встреча*), с фазовой семантикой (*начало*, *окончание*), с семантикой частей суток (*рассвет*, *утро*, *вечер*), с семантикой приемов пищи, обычно приуроченных к определенному времени суток (*завтрак*, *обед*, *ужин*, *чай*), с семантикой ключевых событий в жизни человека (*рождение*, *свадьба*, *развод*, *смерть*, *арест*), с семантикой ключевых событий в жизни общества (*революция*, *война*).

Что касается порядка следования финитных глаголов НСВ и СВ и предикатных имен, то предикатное имя может либо предшествовать финитному глаголу, либо следовать за ним; ср., например, (124) и (125), (145) и (146).

Теперь мы обратимся к анализу конструкции, в которой предикатное имя вводится предлогом *перед*. И в этой конструкции финитный глагол может выступать как в форме НСВ, так и в форме СВ. В случае, если финитный глагол выступает в форме НСВ, таксисная ситуация P_1 следует за опорной ситуацией P_2, по умолчанию между ситуациями не существует временного интервала, (ситуация P_1 служит границей для ситуации P_2):[12]

(162) Петя читал (НСВ) книгу *перед приходом* Маши;

(163) *Перед приходом* Маши Петя читал (НСВ) книгу;

(164) В Англии ведь раньше чем где-либо узнали, о чем говорил Наполеон с графом Нарбонном *перед переходом* через Неман (Е. Тарле);

[12] Глагол НСВ может обозначать не единичную ситуацию P_2, а множество таких ситуаций:

(160) Ели русские люди икру и ездили в Ниццу, перед отъездом *закусывали* у Донона или Кюба или *ужинали* в Яре или у Тестова (А. Бушков);

(161) Рукописи постоянно переписывались с большой тщательностью и часто *жертвовались* перед смертью владельцами в монастыри «по душе» (С. Платонов).

(165) Во Франции *перед началом* Второй мировой войны имелось около двухсот тысяч русских эмигрантов (И. Солоневич).

Занимая зависимую синтаксическую позицию, финитный глагол естественно выступает в одной из нефинитных форм:

(166) Князь провел ночь с воеводами, *совещаясь* перед походом (Ю. Продан);

(167) Карамзин смотрел на него как на человека, страстно желавшего царства во что бы то ни стало и перед избранием своим *игравшего* низкую комедию (С. Платонов).

Временной интервал между ситуациями P_2 и P_1 может быть обозначен с помощью лексических показателей типа *незадолго*, *за несколько минут*:

(168) Петя читал (НСВ) книгу *незадолго / за несколько минут* перед приходом Маши;

(169) *Незадолго* перед собором Пожарский ссылался со шведами об избрании Филиппа, сына Карла IX (С. Платонов);

(170) Это всегда бывает *за несколько минут* перед его приходом (М. Загоскин).

Также с помощью лексических показателей (наречия *непосредственно* и определительного местоимения *самый*) может быть обозначен минимальный, практически нулевой интервал между ситуациями P_2 и P_1:

(171) Петя читал (НСВ) книгу *перед самым приходом* Маши;

(172) Петя читал (НСВ) книгу *непосредственно перед приходом* Маши;

(173) В медовые месяцы моего пребывания в Германии — *перед самой войной* и в несколько менее медовые — *перед самой советско-германской войной*, мне приходилось вести очень свирепые дискуссии с германскими экспертами по русским делам (И. Солоневич);

(174) К вечеру, *перед самыми сумерками*, проходил я по Вознесенскому проспекту (Ф. Достоевский).

С помощью наречия *буквально* маркируется такой небольшой временной интервал между ситуациями P_2 и P_1, который практически может восприниматься как нулевой:

(175) Петя читал (НСВ) книгу *буквально перед приходом* Маши;

(176) Петя читал (НСВ) книгу *буквально перед самым приходом* Маши.

Если финитный глагол выступает в форме СВ, то таксисная ситуация P_1 следует за опорной ситуацией P_2, между ситуациями по умолчанию существует временной интервал, прагматически оцениваемый как небольшой, ситуация P_2 совершается не под воздействием ситуации P_1:

(177) Петя прочитал (СВ) книгу *перед приходом* Маши;

(178) *Перед приходом* Маши Петя прочитал (СВ) книгу;

(179) Сенатор Оверман: Не могли бы вы повторить, что Троцкий сказал им *перед отъездом*? (Стенограмма протокола слушаний в сенате США о событиях русской революции — 1919);

(180) Тут, в Верее, Мортье доложил Наполеону, что *перед уходом* французов из Москвы его отряд захватил в плен генерала Винценгероде и состоявшего при нем ротмистра Нарышкина (Е. Тарле).

Занимая зависимую синтаксическую позицию, финитный глагол выступает в одной из своих нефинитных форм:

(181) Следствие, *произведенное* перед самым отъездом его за границу, выяснило, что главными заговорщиками на жизнь государя были бояре Соковнин и Пушкин и стрелецкий полковник Циклер (С. Платонов);

(182) У нее только было одно большое горе: она потеряла любимого жениха, принца Карла Голштинского, *умершего* перед свадьбой (С. Платонов);

(183) Жозеф покрыл себя несмываемым позором, перед самым своим бегством *объявив* в воззваниях, расклеенных повсюду, что он не покинет Парижа (А. Стендаль).

Временной интервал между ситуациями P_2 и P_1 может быть обозначен с помощью лексических показателей типа *незадолго*, *за несколько минут*:

(184) Петя прочитал (СВ) книгу *незадолго* / *за несколько минут перед приходом* Маши;

(185) *Незадолго перед свадьбой* произошла неожиданная болезнь невесты, пустая сама по себе, но получившая другой вид благодаря интригам Салтыковых (С. Платонов).

С помощью лексических показателей (наречия *непосредственно* и определительного местоимения *самый*) может быть обозначен минимальный, практически нулевой интервал между ситуациями P_2 и P_1:

(186) Петя прочитал (СВ) книгу *перед самым приходом* Маши;

(187) Петя прочитал (СВ) книгу *непосредственно перед приходом* Маши;

(188) *Непосредственно перед арестом* я прибыл в Царицын, надеясь выздороветь (Стенограмма протокола слушаний в сенате США о событиях русской революции — 1919);

(189) Постараемся вспомнить основное из того, что сделала Москва *перед самым появлением* на свет Божий нашего великого преобразователя (И. Солоневич).

С помощью наречия *буквально* маркируется такой небольшой временной интервал между ситуациями P_2 и P_1, который практически может восприниматься как нулевой:

(190) Петя прочитал (СВ) книгу *буквально перед приходом* Маши;

(191) Петя прочитал (СВ) книгу *буквально перед самым приходом* Маши;

(192) А соль здесь в том, что владыка Иосиф <...> был греком из Царьграда, поставленным царьградским патриархом и прибывшим в Киев *буквально перед самым «Батыевым нашествием»* (А. Бушков);

(193) *Буквально перед началом* первой мировой войны произошла так называемая Вторая Алия (35 тысяч евреев прибыли в Палестину в 1909–1914 гг.) (А. Бушков).

Сопоставление конструкций с финитным глаголом НСВ и СВ говорит о том, что различия в их интерпретации сводятся к семантическим отличиям глаголов НСВ и СВ: в случае глагола НСВ ситуация P_2 просто перестает иметь место, тогда как в случае глагола СВ ситуация P_2 совершается, доходя до своего естественного предела.

Если говорить о семантике предикатных имен, выражающих ситуацию P_1, то здесь чаще всего встречаются те же группы имен, что и в случае таксисной конструкции с предлогом *до*. Аналогичным образом предикатное имя может либо следовать за финитным глаголом НСВ или СВ, либо предшествовать ему; ср., например, (162) и (163), (177) и (178).

Поскольку интуитивно очевидно, что таксисные конструкции с предлогами *до* и *перед* имеют близкие значения, целесообразно сопоставить эти конструкции друг с другом, сравнивая значения одних и тех же параметров, и тем самым эксплицитно указать их действительные сходства и различия.

1. В конструкции с предлогом *до* и глаголом НСВ так же, как и в конструкции с предлогом *перед* и глаголом НСВ, по умолчанию отсутствует интервал между ситуациями P_2 и P_1.

2. И в конструкции с предлогом *до* и глаголом СВ, и в конструкции с предлогом *перед* и глаголом СВ по умолчанию интервал между ситуациями P_2 и P_1 есть.

3. Во всех конструкциях без исключения интервал может быть обозначен с помощью лексических показателей.

4. В конструкции с предлогом *до* по умолчанию интервал между ситуациями P_2 и P_1 прагматически может быть любым, в то время как в конструкции с предлогом *перед* по умолчанию интервал между ситуациями P_2 и P_1 прагматически оценивается как относительно небольшой.

Из сказанного следует, что конструкция с предлогом *до* и финитным глаголом НСВ и конструкция с предлогом *перед* и финитным глаголом НСВ оказываются синонимичными в том случае, если с помощью лексических показателей обозначается интервал между ситуациями P_2 и P_1 и этот интервал оценивается как небольшой:

(194) Петя читал (НСВ) книгу *незадолго до прихода* Маши = Петя читал (НСВ) книгу *незадолго перед* приходом Маши.

Также из сказанного следует, что синонимичны конструкция с предлогом *до* и глаголом СВ и конструкция с предлогом *перед* и глаголом СВ в том случае, если с помощью лексических показателей обозначается интервал между ситуациями P_2 и P_1 и этот интервал оценивается как небольшой:

(195) Петя прочитал (СВ) книгу *незадолго до прихода* Маши = Петя прочитал (СВ) книгу *незадолго перед приходом* Маши.

В остальных случаях эти конструкции оказываются несинонимичными.

Самый важный вывод из проанализированного материала состоит в том, что и предлог *перед* и предлог *до* сами по себе не содержат никакой информации о наличии интервала между двумя ситуациями и соответственно о его величине.

Совсем иную картину мы наблюдаем в случае предлога *накануне.* Начнем с того, что предлог *накануне*, вводящий имя ситуации, в отличие от предлогов *до* и *перед* относится к разряду так называемых

непервообразных предлогов [Русская грамматика 1980: I, 707]. Иными словами, этот предлог возник на базе наречия *накануне*, которое, судя по словарным толкованиям, примерно значит ‘в предыдущий день’:

(196) Снег в безветренном воздухе валил гуще, чем *накануне* (Б. Пастернак);

(197) *Накануне* он ходил на вокзал, узнал точный час прихода северного поезда: 8.05 (В. Набоков).

В свою очередь, наречие *накануне* восходит к существительному *канун*, которое толкуется как ‘день или период времени, предшествующий какому-либо событию’:

(198) *В канун* выступления роты Извеков решил навестить мать (К. Федин).

Фактически наречие *накануне* обозначает то, что ситуация, с которой это наречие соотносится, происходит в любой промежуток дня, предшествующего дню, принимаемому за точку отсчета. Существенно обратить внимание на то, что конкретный промежуток предшествующего дня, когда происходила называемая ситуация, может быть обозначен с помощью соответствующей лексемы:

(199) Лишь *накануне утром* он завершил курс химиотерапии (Комсомольская правда. 27 июля 1999);

(200) Еще *накануне вечером* почти все вещи были запакованы (Л. Лагин).

Важно обратить внимание на то, что в качестве временного промежутка может быть названа ночь, следующая за предыдущим днем:

(201) Все в порядке — и я не думал больше о том, что *накануне ночью* услышал от Вали (В. Каверин).

Следовательно, период времени, называемый наречием *накануне*, включает помимо предыдущего дня также и ночь, следующую за этим днем.

Что касается предлога *накануне*, вводящего имя, которое называет ситуацию, следующую за ситуацией, прототипически обозначаемой финитным глаголом, то он на первый взгляд сохраняет толкование, присущее наречию, с той лишь разницей, что теперь ситуация, называемая этим именем, соотносится с ситуацией, прототипически называемой финитным глаголом, и при этом имя, вводимое предлогом *накануне*, синтаксически зависит от финитного глагола:

(202) В субботу, 16 октября, как и каждый год *накануне скорбной даты*, в храме Николы в Хамовниках панихиду служил отец Димитрий Акинфеев. Пять лет назад этот священник отпевал нашего Диму перед теми же ликами икон (Московский комсомолец. 18 окт. 1999);

(203) Мы встречались каждый день, но только *накануне отъезда* я удосужился спросить Катю о старухах Бубенчиковых: правда ли, что они — оглашенные? Катя удивилась (В. Каверин);

(204) В эту ночь, *накануне премьеры* пяти цифровых каналов семейства «НТВ-Плюс», он сел смотреть новый проект <...> и увлекся сверх меры — смотрел до утра (Новая газета. 4 окт. 1999).

Соответственно, опираясь на примеры типа (202)–(204), можно сделать вывод, что интервал между таксисной ситуацией P_1, называемой предикатным именем, вводимым предлогом *накануне*, и предшествующей ей опорной ситуацией P_2, называемой финитным глаголом, существует и что он в принципе равен периоду времени, отделяющему предыдущий день от дня последующего. Если говорить более точно, то и ночь, разделяющая эти два дня, может пониматься как часть предыдущего дня.

Вместе с тем существуют примеры, которые свидетельствуют о том, что сделанный вывод, очевидно, является не вполне точным:

(205) Всеобщая нервозность *накануне открытия* сезона скорее всего объясняется предстоящей премьерой «Трех товарищей», которая обещает быть самой шумной в Москве (Московский комсомолец. 24 сент. 1999);

(206) *Накануне сентябрьских событий* в Буйнакском районе представители Духовного управления мусульман Дагестана, авторитетные богословы, начали разъяснять жителям горных селений опасность, исходящую от ваххабизма (Московские новости. 14 сент. 1999);

(207) И уж точно реальные и вымышленные кремлевские рокировочки не интересуют те 260 семей из Волгодонска, которые *накануне зимы* остались в буквальном смысле на улице (Новая газета. 23 сент. 1999).

Анализ примеров типа (205)–(207) свидетельствует о том, что в них предлог *накануне* должен толковаться как ‘незадолго до’, при этом интервал между двумя называемыми ситуациями заведомо больше, чем период времени, отделяющий предыдущий день от дня последующего. Об этом, в частности, говорит возможность замены предлога *накануне* в приведенных примерах выражением *незадолго до* без

какого-либо, на наш взгляд, изменения смысла, тогда как замена этого предлога выражением *в предшествующий день* приводит к заметному изменению исходного смысла, ср. примеры (205)–(207) и примеры (205 а)–(207 а), (205 б)–(207 б):

(205 а) Всеобщая нервозность *незадолго до открытия* сезона. . . ;

(206 а) *Незадолго до сентябрьских событий* в Буйнакском районе. . . ;

(207 а) И уж точно реальные и вымышленные кремлевские рокировочки не интересуют те 260 семей из Волгодонска, которые *незадолго до зимы*. . . ;

(205 б) Всеобщая нервозность *в день, предшествующий открытию* сезона. . . ;

(206 б) *В день, предшествующий сентябрьским событиям* в Буйнакском районе. . . ;

(207 б) И уж точно реальные и вымышленные кремлевские рокировочки не интересуют те 260 семей из Волгодонска, которые *в день, предшествующий зиме*. . .

Если согласиться с высказанными соображениями, то у предлога *накануне* в отличие от наречия *накануне* уже два толкования, а не одно. Первое толкование — общее. Оно значит приблизительно ‘в предыдущий день’, а второе — собственное. Оно примерно значит ‘незадолго до’, причем интервал между двумя ситуациями заведомо превышает одни сутки.

В связи с изложенным интересно рассмотреть примеры, в которых предлог *накануне* употребляется в сочетании с наречием *буквально*. В сочетании с предлогом *накануне* это наречие имеет следующее толкование: ‘не в предыдущий день, но так незадолго перед предыдущим днем, что можно считать в предыдущий день’; ср. [Храковский 2003а]:

(208) Выяснилось, что *буквально накануне нашей встречи* с операми по инициативе Северо-Кавказского РУБОПа по факту хищения сырья с Невинномысского завода было возбуждено уголовное дело (Московский комсомолец. 24 сент. 1999);

(209) И здесь надо отдать должное высшей судебной инстанции — Президиуму Верховного суда Российской Федерации, который неоднократно *буквально накануне дня выборов* сумел внести столь необходимый элемент здравого смысла в возникшую правовую коллизию, подтвердив правильность назначения выборов. В последний раз это имело место 1 сентября, то есть за 4 дня до проведения выборов губернатора Новгородской области (Независимая газета. 10 сент. 1999).

Зависимая часть анализируемой таксисной конструкции может либо предшествовать ее главной части (см. (210)), либо следовать за ней (см. (211)), либо, наконец, вставляться в нее (см. (212)):

(210) Но *накануне вылета* Шелленберга в Лондон ему позвонил Гиммлер (Ю. Семенов);

(211) По данным «МК», в последний раз, например, в Кремле готовились к возможному введению ЧП *накануне отставки* Примакова (Московский комсомолец. 6 июля 1999);

(212) С одной стороны, нет вроде бы ничего опасного в том, что пожилой человек *накануне сложной операции* хочет повидаться с теми, кто ему небезразличен (А. Маринина).

Наша небольшая выборка включает всего 132 примера. В 47 случаях зависимая часть предложения находится в препозиции относительно главной части, в 53 случаях — в постпозиции и в 32 случаях — в интерпозиции. Таким образом, по данным этой совсем нерепрезентативной выборки все три возможности реализуются примерно одинаково.

Может возникнуть вопрос о наличии грамматических, семантических или прагматических ограничений на использование тех или иных имен ситуации в этой конструкции. На первый взгляд ни грамматических, ни семантических ограничений как будто бы нет. Что же касается прагматических ограничений, то они есть. Странным, на наш взгляд, кажется пример типа:

(213) ? *Накануне завтрака* президент лег спать пораньше.

В то же время вполне нормальным представляется пример типа:

(214) *Накануне завтрака с принцем Уэльским* президент лег спать пораньше.

Неадекватность примера (213) объясняется тем, что в норме каждый человек, будь он президент или рядовой гражданин, каждый день по утрам завтракает, и потому завтрак не является тем значимым событием, с которым рационально как-то связывать ситуацию, происходящую в предшествующий день или незадолго до этого дня. Другое дело — пример (214), который является вполне адекватным, поскольку с принцем Уэльским не только рядовой гражданин, но и президент завтракает далеко не каждый день. Таким образом, прагматически приемлемыми представляются любые имена, называющие события, которые являются не повседневными и значимыми. В принципе они могут быть значимыми прежде всего только для тех лиц, о которых говорится в высказывании:

(215) Через несколько дней, как раз *накануне отъезда*, я должен был выступить со своим основным сводным докладом о дрейфе «Св. Марии» на выездной сессии Географического общества (В. Каверин);

(216) Мвен Масника не мог привести себя в то ясное, твердое, лишенное сомнений состояние, какое требовалось *накануне ответственного опыта* (И. Ефремов).

Вместе с тем они могут быть значимыми и для более широкого круга лиц. В частности, в примерах (217)–(218) речь идет о событиях, важных для многих любителей футбола:

(217) В западноевропейских странах *накануне важных матчей* президенты и тренеры клубов порой обращаются к болельщикам с просьбой поддержать команду (СПб. ведомости. 1 июля 1999);

(218) У меня постоянно стригся Валерий Шмаров, и кто-то заметил, что как только он пострижется *накануне игры* — забивает гол (Новая газета. 5 июля 1999).

Такие события могут быть значимыми и для общества в целом. Имеются в виду события типа выборов, референдумов, землетрясений, эпидемий, засух и т.п.:

(219) Генерал Квашнин запомнился Ельцину еще в 96-м году, *накануне президентских выборов*, когда он командовал войсками Северо-Кавказского военного округа и «останавливал» по его просьбе войну в Чечне (Московский комсомолец. 22 июля 1999);

(220) Негласный пока центр еще не объявленного, но уже существующего СОСа считал, что *накануне исторического выбора* они не имеют права скрывать ни грана правды об этой стране, об их стране, о той великой державе, в которую они зовут влиться островной народ... (В. Аксенов);

(221) Вы знаете, что один такой остров был построен *накануне эпохи* Кольца, — я говорю про «Надир», расположенный в восемнадцати миллионах километров от Земли (И. Ефремов).

Впрочем, значимость события — величина относительная. Четких границ здесь нет. Соответственно в примере (222) штурм Рязани может рассматриваться и как событие, значимое только для Бату-хана, о котором ведется повествование, и как событие, значимое для жителей Рязани и для судеб Руси:

(222) Вечер *накануне штурма* Рязани Бату-хан проводил в той же церкви (В. Ян).

В отдельных случаях предлог *накануне* вводит не имя ситуации, а предметное и даже собственное имя. Однако считать такие случаи отклонениями от нормы нельзя, поскольку такое имя выступает заместителем имени ситуации. В частности, в примере (223) название австралийского города Сиднея служит знаком Олимпийских игр, которые должны состояться в этом городе:

(223) С другой стороны, многие звезды, не успевшие до конца оправиться от травм, отказались от участия в первенстве, чтобы не рисковать здоровьем *накануне Сиднея* (СПб. ведомости. 20 авг. 1999).

Как уже отмечалось выше (это следует из многих примеров), прототипически имя ситуации, вводимое предлогом *накануне*, синтаксически зависит от финитного глагола. Однако это имя может зависеть и от имени ситуации. Ничего удивительного в этом нет, поскольку синтаксические свойства имени ситуации не слишком отличаются от синтаксических свойств финитного глагола:

(224) В гадании по внутренностям петуха *накануне решительного сражения* или в утверждениях о небесном содействии при успешном его исходе нет, разумеется, ничего нового (И. Бродский);

(225) Статистика свидетельствует о том, что после жаркой погоды велика вероятность зачатия мальчика и наоборот — холодная погода *накануне зачатия* способствует явлению на свет девочек (Политру. 22 июля 1999).

В примере (224) опорным для таксисного имени ситуации выступает имя ситуации *в гадании*, а в примере (225) — имя ситуации *холодная погода.*

Еще один момент, на который следует обратить внимание, состоит в том, что имя ситуации, вводимое предлогом *накануне*, может синтаксически зависеть от нулевого (связочного) глагола. Именно таким образом мы интерпретируем следующий пример:

(226) — Мы *накануне войны*, — продолжал директор, помолчав, каким-то совершенно иным тоном, тихим и задумчивым, — самой страшной, беспощадной войны (Ю. Домбровский).

Подытоживая изложенное, мы хотим обратить внимание на следующие наиболее важные результаты исследования, имеющие типологическую значимость. В таксисных конструкциях следования с предлогами *до* и *перед* сами предлоги не несут информации о наличии и величине интервала между опорной ситуацией P_2 и таксисной ситуацией P_1. Наличие / отсутствие интервала определяется комбинацией

предлога с финитным глаголом НСВ или СВ и лексическими показателями интервала, тогда как величина интервала определяется только лексическими показателями. В то же время в таксисной конструкции с предлогом *накануне* именно предлог указывает и на наличие интервала между опорной ситуацией P_2 и таксисной ситуацией $P_{1,}$ и на его величину, в силу чего лексические показатели интервала в этой конструкции не употребляются.

ГЛАВА II

ПРОБЛЕМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ПЕРФЕКТНОЙ СЕМАНТИКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ*

1. Перфектность и полевые структуры

Семантика перфектности в русском языке не раз являлась предметом обсуждения. Практически любая аспектологическая работа, в которой рассматривается функционирование форм совершенного вида (СВ), так или иначе затрагивает семантику перфектности, поскольку перфектный вариант семантики для русского СВ представляет собой одно из типичных значений наряду с аористическим значением. Например:

(1) — Как фамилия? — переспросил Егоров, но медсестра тоже ушла (С. Довлатов);

(2) Густав взглянул на меня и потушил сигарету о каблук:

— Терт ефо снает...

И ушел на питомник болтать с четвероногим адъютантом (С. Довлатов).

В примере (1) форма *ушла* с перфектным значением имплицирует результативно-статальную ситуацию, указывая на то, что собеседник в момент вопроса отсутствовал. В примере (2) форма *ушел* с аористическим значением обозначает новое событие в цепочке действий (*взглянул на меня*, *потушил сигарету*, *ушел*).

Особая форма, которая специализировалась бы на передаче исключительно перфектной семантики, в современном русском языке отсутствует. Существует тем не менее несколько языковых средств, которые способны выражать перфектное значение достаточно ярко. Помимо грамматических форм, в его выражении принимают определенное участие лексические средства (например, наречия *уже*, *давно* и др.), некоторые типы синтаксических конструкций. Кроме того, реализация перфектного значения обнаруживает зависимость от характера речевой ситуации. Наличие общей семантической базы у данных средств, принадлежащих к различным языковым уровням, дает основание для попытки использовать принцип поля в характеристике явления перфектности в русском языке. Или, иначе говоря, обсудить, насколько соответствует русская перфектность классическим полевым структурам.

*Данная глава подготовлена при финансовом содействии Фонда Президента РФ для поддержки ведущих научных школ, грант № НШ-1510.2003.6.

© Ю. А. Пупынин, 2005

Одной из наиболее серьезных попыток рассмотреть организацию семантики перфектности в русском языке с интересующей нас точки зрения, т.е. с точки зрения ее соответствия полевым структурам, является работа классика современной аспектологии Ю. С. Маслова, представленная в I томе «Теории функциональной грамматики» [Маслов 1987]. Ю. С. Маслов не часто использует в этой работе термин «поле», употребляя его скорее в метафорическом, нежели в терминологическом смысле. Тем не менее понятие поля, как некое скрытое «зеркало», постоянно присутствует в его анализе русской перфектности, формируя принципы и стиль описания. Для нашего исследования важно, что Ю. С. Маслов различает эксплицитную и имплицитную перфектность. Первая опирается на формы пассивных причастий СВ (по сути дела, автор включает в этот круг все причастия на *-н-*, *-т-*), иначе говоря, эксплицитная перфектность имеет специальное формальное средство выражения. Имплицитная перфектность опирается на активные формы глаголов СВ прошедшего времени на *-л*. Поскольку указанные формы на *-л* выражают также и аористическое значение, то, как уже говорилось, они не могут рассматриваться в качестве специального формального средства выражения перфектности. Хотя Ю. С. Маслов не развивает специально проводимого противопоставления, в контексте первого тома «Теории функциональной грамматики», где опубликован данный раздел и сформулированы основные принципы полевого подхода, под эксплицитной перфектностью возможно было бы подразумевать характеристику центра поля перфектности в русском языке, в то время как имплицитная перфектность должна быть отнесена к явлениям периферийной сферы. Этот взгляд поддерживается и распределением объема внутри раздела: автор подробно характеризует эксплицитную перфектность, между тем как описанию имплицитной перфектности уделяется менее значительное место.

Рассуждая об имплицитной перфектности, Ю. С. Маслов показывает ее разнообразную зависимость от лексики и синтаксических условий, опираясь на существующую в русской литературе традицию, а также дополняя ее тонкими новыми наблюдениями. Его внимание концентрируется в области влияния лексики и синтаксиса на выражение перфектной семантики. Так, отмечается, что лексической предрасположенности к выражению перфектного значения может оказаться недостаточно, если глагол попадает в окружение других глаголов СВ. Например, в содержании глагола *покраснеть* перфектность представлена более ярко в случаях типа *Девушка покраснела*, чем в таких случаях, как *Девушка покраснела и убежала* (примеры наши; ср. также [Пупынин 1990], где указанная особенность анализируется на материале пассивно-причастных аналитических образований СВ). Кроме того, Ю. С. Маслов указывает, что выражению семан-

тики перфектности могут способствовать прагматические факторы; данное замечание вообще является новым в традиции исследования рассматриваемых значений.

Работа Ю. С. Маслова исключительна по своей значимости для анализа перфектности, и к ряду ее положений мы еще будем возвращаться.

Как указывает А. В. Бондарко, понятие поля может трактоваться в процессе исследования в двух аспектах: 1) как особенность устройства изучаемого объекта (онтологический аспект) и 2) как принцип (метод) исследования [Бондарко 1976]. Ниже мы попытаемся обсудить систему реализации семантики перфектности в русском языке с точки зрения ее онтологического соответствия полевым структурам. В части случаев, вероятно, речь пойдет и о различиях между устройством рассматриваемой системы и полем.

Одной из важнейших характеристик поля признается особый тип членения, а именно: поле обнаруживает в своем составе центр и периферию [Бондарко 1976; 1987б; 2002]. Существенно также, что известно несколько разновидностей полевых структур, причем разновидности выделяются в различных аспектах. С одной стороны, различаются поля с моноцентрической и полицентрической структурой. Кроме того, противопоставлены друг другу поля сильноцентрированные и слабоцентрированные [Бондарко 1987б].

С точки зрения данной классификации, необходимо признать, что поле перфектности обладает следующими особенностями: оно является слабоцентрированным и, кроме того, имеет несколько центров, т.е. имеет полицентрическую структуру.

Помимо пассивно-причастных форм СВ, мы считаем возможным рассматривать как второй центр данного поля (или нечто подобное центру, «слабый» центр) также и активные формы СВ прошедшего времени. В противном случае оказывается, что центр реализации перфектности в русском языке (эксплицитная перфектность, по Ю. С. Маслову) связан исключительно с пассивом, а достаточно широко разработанная и разветвленная система выражения перфектных значений в активных конструкциях в русском языке относится к периферийным явлениям (ср. понятие имплицитной перфектности Ю. С. Маслова). Такое решение выглядело бы слишком «формальным» и не отвечало бы сути дела, в частности, потому, что перфектная семантика, представленная глаголами СВ на *-л*, имеет прототипическую природу и занимает значительно большую часть общей картины реализации перфектности в русском языке, чем сравнительно редкие пассивные конструкции. Активные формы СВ прошедшего времени являются вполне специализированным грамматическим средством выражения перфектной семантики (напомним, что грам-

матическая специализация считается одним из важнейших свойств центра поля, см. [Бондарко 1976]).

Тем не менее представляется достаточно ясным, что в данном случае можно говорить лишь о «слабой центрированности», т.е. о явлении, не полностью отвечающем понятию центра поля. Перфектная семантика, выражаемая данным центральным средством, не обладает признаком обязательности; иначе говоря, использование формы СВ на *-л* вовсе не всегда, не автоматически приводит к выражению перфектного значения. В частности, необходимо учитывать лексические и лексико-грамматические ограничения. Так, глаголы *повеселеть*, *приуныть*, *устать*, *застыть* лексически «предрасположены» к выражению перфектной семантики и в форме прошедшего времени на *-л* представляют ее центральную зону. Между тем глаголы *постоять*, *съездить*, *толкнуть*, *проговорить* не подразумевают в своей лексической семантике связей с последующим результативным состоянием и, следовательно, не относятся к центру поля перфектности.

В теории функциональной грамматики известны поля, опирающиеся на определенный (иногда весьма ограниченный) круг лексем. Таково, например, поле бытийности, которое в основе своей бицентрично, а в части, включающей глагольные предикаты, опирается лишь на небольшую их группу: *быть*, *существовать*, *иметься* и др. (см. подробнее [Воейкова 1996]). Следовательно, признавая наличие у поля перфектности лексически ограниченного грамматического центра, мы не выходим за рамки существующей классификации полей.

Отметим, что указанное ограничение является не только лексическим, но, скорее, лексико-грамматическим. Оно определенным образом связано с переходностью, которая делит все глаголы на два лексико-грамматических класса: переходные и непереходные. Как неоднократно отмечалось, в русском языке перфектные значения чаще связаны с непереходными глаголами, чем с переходными (см., например: [Лебедева 1959]). Ср. примеры *Оля обрадовалась* vs. *Оля получила письмо*. Впрочем, здесь следует заметить, что указанное ограничение не имеет жесткого характера. Известны случаи, когда перфектное значение имплицируют переходные глаголы, ср.: — *Почему ты улыбаешься?* — *Получил хорошее письмо*.

Развивая характеристику «слабоцентрированных» полей, можно, по-видимому, сказать о них следующее. Они отличаются тем, что грамматические единицы, формирующие их центры, вместо признака обязательности выражения семантики поля, обладают лишь признаком высокой вероятности такого выражения. Иначе говоря, грамматические элементы «слабого» центра выражают семантику поля не в 100 % случаев их употребления, а «в большой части случаев»,

«достаточно часто», «с высокой долей вероятности» (точное указание процентного соотношения здесь не является возможным).

Очевидно, такова языковая реальность, которая включает в свою организацию не только четкие грамматические единства, но и более расплывчатые фигуры. В указанных вероятностных характеристиках имеется определенная информативность, они не бесполезны. Так, возвращаясь к уже упоминавшемуся влиянию переходности / непереходности на выражение перфектного значения активными формами СВ прошедшего времени, отметим следующее. Действительно, непереходные (и даже лексически «предрасположенные» к перфектности) глаголы вовсе не в 100 % случаев выражают перфектное значение. Точно так же далеко не в 100 % случаев переходные глаголы выражают аористическое значение. Под влиянием контекста и прагматических факторов они могут выражать прямо противоположное значение. Однако при этом их взаимодействие с контекстом протекает совершенно различно, — именно в силу вероятностной связи переходных активных глаголов с аористической семантикой, а непереходных — с перфектной. В случае переходных глаголов усилия контекста направлены на то, чтобы преодолеть аористическую семантику, привлечь внимание слушающего к результативному состоянию, сменяющему описываемое действие. Например, в приводившемся высказывании *Получил хорошее письмо* роль подобного средства выполняет атрибутивная характеристика письма. В случае непереходных, «лексически перфектных», глаголов усилия контекста обычно направлены на то, чтобы преодолеть перфектную семантику, переключить внимание слушающего с результативного состояния на другое действие, немедленно сменяющее предыдущее, например: *лег, но тут же встал и пошел варить кофе*.

К особенностям рассматриваемого центра, а также, по-видимому, вообще центров любых слабоцентрированных полей следует отнести своеобразную «размытость», отсутствие четкой границы между центром и периферийными явлениями. Одна и та же грамматическая форма СВ прошедшего времени в части случаев, обусловленных лексической и грамматической семантикой, играет центральную, организующую роль в выражении перфектных значений (ср.: *Сарай покосился*), между тем как в другой части случаев, обусловленных другими типами лексической семантики, она ведет себя нейтрально или даже противостоит перфектному значению в качестве значения аористического (ср.: *Девочка дважды подпрыгнула*). В третьей части случаев форма СВ может выражать как перфектное, так и аористическое значение, но это становится достаточно ясным лишь благодаря контексту (ср.: *Его нет*: *он уехал в Москву* vs. *Он уехал в Москву и вернулся через два дня*).

Другим центром выражения перфектной семантики следует признать уже упоминавшиеся в связи с работой [Маслов 1987] конструкции с пассивно-причастными формами СВ, например:

(3) . . . Ни меда, ни пчел не нашли. Улей был разграблен медведями (В. Арсеньев).

Таким образом, поле перфектности можно считать бицентрическим. Рассмотрим его второй центр подробнее.

На первый взгляд, он кажется в значительно большей степени грамматикализованным, чем центр с активными формами СВ прошедшего времени, которые, как мы помним, испытывают серьезные ограничения со стороны лексических значений. Иначе говоря, можно предположить, что в сфере пассива поле перфектности является не слабо-, а сильноцентрированным, т.е. обладает центром с вполне стандартными характеристиками (в частности, здесь как будто бы обнаруживается свойство обязательности и высокая степень грамматической специализации средств в выражении данного типа семантики).

Однако это не совсем так. Как неоднократно отмечалось в литературе, русские пассивно-причастные формы СВ включены в глагольное спряжение, и, с современной точки зрения, шахматовский перфект — лишь компонент общей подсистемы совершенного вида в пассиве. Временная часть данной подсистемы является трехчленной, ср.: *была закрыта — закрыта — будет закрыта*. В работах [Пупынин 1990; 2001] мы стремились показать, что в содержании пассивно-причастной формы СВ представлена комбинация двух семантических элементов: 1) конкретного-фактического и 2) статально-результативного. Речь идет о системно-грамматическом, наиболее абстрактном уровне семантики. В конкретных условиях употребления благодаря лексическому значению глагольной формы, а также контекстуальному воздействию один из указанных элементов обычно актуализируется, а другой ослабевает. По этой причине указанные формы далеко не всегда выражают перфектное значение (ср. иную точку зрения в [Князев 2002]). Точно с таким же успехом они могут выражать и аористическое значение, ср. (4) и (5):

(4) Все съедено, холодильник пуст;

(5) Наконец все съедено, посуда отнесена на кухню, стол отодвинут, начинаются танцы.

Таким образом, и здесь мы сталкивается с определенным (и весьма существенным) ограничением в выражении перфектной семантики, как и в случае «слабого» центра, представленного активными формами СВ прошедшего времени.

2. Перфектность и проблемы актуализации

Под семантической актуализацией в данном случае будет пониматься тот аспект языковых значений высказывания, который связывает их содержание с конкретными условиями акта речи: говорящим, слушающим, временем и местом осуществления речевой ситуации. Иначе говоря, актуализация — это та операция, которая превращает предложение в высказывание. Совершенно очевидно, что в таком понимании актуализация тесно связана с дейксисом; в частности, термины-прилагательные «актуализационный» и «дейктический» можно считать синонимичными. Подчеркнем, что в нашем понимании «сионимичный» не означает «семантически тождественный». Одним из отличий термина «актуализация» от термина «дейксис» является то, что первый вносит в понимание данной проблематики определенный динамизм: именно говорящий приводит семантику предложения в соответствие с конкретными речевыми условиями, превращая его в высказывание. Указанное отличие представляется важным для нашего исследования, так как позволяет в дальнейшем включить в рамки анализа вопросы, которые не относятся к прототипической актуализации, но пересекаются с нею. Такова, например, проблема реализации в содержании высказывания интенции говорящего.

Связь перфектности с дейксисом подчеркивал Ю. С. Маслов [1987: 195]. Он отмечал, что о «собственно-перфектном» значении можно говорить лишь в том случае, если более поздний план последствий совершившегося действия включается в «здесь» и «сейчас» говорящего. В других случаях, когда возникают иные точки отсчета, приходится говорить о «темпорально смещенных» перфектных значениях, например о плюсквамперфектном.

Подобный подход позволяет оценить содержание перфектности с точки зрения полевых структур еще в одном аспекте — актуализационном. Имеется в виду, в частности, определенная семантическая яркость, «первичность», прототипичность ситуативно-актуализированного варианта перфектной семантики и «бледность», вторичность ситуативно-неактуализированного (текстового) варианта. Первый вариант в большей степени зависит от прагматических факторов и от интенции говорящего, второй — в меньшей степени зависит от них и в значительной мере регламентирован лексико-грамматическими средствами и строением текста.

Рассмотрим данный вопрос подробнее на примере функционирования некоторых приставочных глаголов движения.

Мы сосредоточимся на анализе перфектного значения, выражаемого тремя приставочными образованиями совершенного вида от глагола *идти*: *уйти*, *выйти* и *подойти*. Цель анализа — выявление различий между перфектной семантикой данных глаголов, выража-

емой в условиях ситуативно-актуализированной и ситуативно-неактуализированной речи (т.е. первичного и вторичного дейксиса).

3. Перфектность в условиях ситуативно-актуализированной речи

В условиях ситуативно-актуализированной речи указанные глаголы специализируются прежде всего на том, чтобы выразить в момент речи (т.е. «сейчас») отсутствие лица, о котором говорится в диалоге. Имеется в виду отсутствие лица в локальной сфере, которая обозначается словом «здесь» и связана с местонахождением говорящего («я»). Часто «здесь» является общим для говорящего и слушающего, но это не является обязательным. В частности, при использовании материалов телефонных разговоров нужно иметь в виду, что параметр «здесь» для участников диалога, как правило, различен.

Варианты указанного отсутствия с точки зрения его длительности, «тотальности», времени прекращения или начала могут быть весьма различны. Так, глагол *уйти* выражает перспективу достаточно длительного отсутствия, не оставляющего спрашивающему о данном лице никаких надежд, по крайней мере на ближайшие часы. Например:

(6) — Александра Николаевича? Он ушел.

Речь может идти не только о лице, но и о животном, ср.:

(7) — Кого ты ищешь? — спросил я его.

— Козулю, — отвечал он.

— Да ведь она ушла.

— Нет, — сказал он уверенно. — Моя в голову его попади (В. Арсеньев).

«Непоправимость» отсутствия во многих случаях подкрепляется наречием *уже*:

(8) — Сережа уже ушел. Позвоните завтра.

Остается отметить, что транспозиция (прошедшее в значении будущего) *Я ушел*, *Мы ушли* (так же как и *Я пошел*, *Мы пошли*), которая используется для обозначения не совершившихся, а только еще предстоящих действий, тоже дейктически детерминирована. Она возможна только в условиях ситуативно-актуализированной речи. Перцепция слушающим говорящего исключает понимание подобной конструкции в прямом значении и индуцирует переносное значение. В условиях ситуативно-неактуализированной речи, т.е. в тексте, при вторичном дейксисе, указанное значение невозможно.

Глагол *выйти* в диалогах рассматриваемого типа также способен имплицировать отсутствие какого-либо лица. Однако в этом случае выражается кратковременное отсутствие; кроме того, сама реплика звучит более мягко, часто включая приглашение к новой попытке контакта, например:

(9) — Таню? Она вышла. Позвоните попозже.

С одной стороны, глагол *выйти* выражает здесь вполне стандартное значение, связанное с приставкой *вы-*: 'покинуть пределы чего-нибудь', ср.: *выйти из комнаты*. С другой стороны, мы имеем дело с дополнительным семантическим элементом «недлительное отсутствие в каком-либо месте». Возможно, появление элемента недлительного отсутствия связано с тем, что глагол *выйти* (в отличие от глагола *уйти*) не выражает удаление от покинутого объекта. Поэтому отсутствие лица, обозначенное глаголом *выйти*, дает спрашивающему определенную надежду на то, что лицо это скоро вернется. Так или иначе, при упоминании о данной разновидности значения глагола *выйти* как особом лексико-семантическом варианте необходимо уточнять, что его реализация связана исключительно с ситуативно-актуализированной речью, т.е. с первичным дейксисом.

Следующий приставочный дериват, широко употребляющийся в условиях первичного дейксиса (правда, он находится на грани литературной речи и просторечия), — это глагол *подойти*:

(10) — Романа Тимофеевича? Он сейчас подойдет. Позвоните через пятнадцать минут.

Несмотря на то, что этот глагол употребляется в подобных диалогах преимущественно в форме будущего времени, речь идет, несомненно, о перфектном значении. Для говорящего и слушающего важен не факт прихода, а его результат, который заключается в присутствии субъекта действия в определенном месте. Использование формы прошедшего времени возможно, но встречается реже. Например, при повторном звонке:

(11) — Роман Тимофеевич еще не подошел? — Подошел. Сейчас позову.

На наш взгляд, в семантике этого глагола возникает контаминация двух значений приставки: значения приближения к определенному месту и смягчительности. Причем смягчительность, вероятно, преобладает, как видно из ответной реплики в примере (11). Доминирование значения смягчительности проявляется, в частности, в том, что хотя глагол *подойти* и выражает приближение, однако его употребление с предлогом *к* в рассматриваемой функции невозможно.

Подчеркнем, что мы не обсуждаем такие случаи, как *Подождите, он сейчас подойдет к телефону*, где лицо, о котором говорится, уже находится в пространственной зоне «здесь». Глагол *подойти* в интересующем нас значении выражает приближение не как движение к определенному предмету (*подойти к дому*), а как вхождение в сферу, доступную для непосредственного восприятия, т.е. приближение к «здесь». Причем сама эта сфера как ориентир не эксплицируется. Остается отметить, что в отличие от глаголов *уйти* и *выйти*, перфектная семантика которых связана с наступившим отсутствием субъекта действия, у глагола *подойти* перфектная семантика связана с ожидаемым присутствием субъекта.

4. Перфектность в условиях ситуативно-неактуализированной речи

Рассмотрим теперь функционирование приставочных дериватов от глагола *идти* в ситуативно-неактуализированной речи, т.е. в условиях вторичного дейксиса.

Прежде всего необходимо условиться, что́ мы будем принимать в качестве базы для перфектного значения, выражаемого в тексте. Мы считаем нужным отказаться от учета случаев так называемой акциональной перфектности, когда результатом действия является другое действие. Ее содержание, как кажется, трудно определить достаточно четко. Кроме того, акциональная перфектность обычно не имеет регулярной связи с лексическим значением глагола, между тем как нас интересует перфектность, определенным образом связанная с семантической природой глаголов движения. Поэтому мы сконцентрируемся далее на так называемой статальной перфектности, легче поддающейся идентификации и таксономии.

Наиболее простое решение, которое мы и примем, заключается в следующем. Перфектным значением перечисленных глаголов будем считать такое, когда после окончания действия возникает некоторая статичная (или статальная) ситуация, наступившая в результате того, что субъект действия переместился в пространстве. Эта статичная ситуация должна быть на определенное время актуализирована в ходе повествования либо для самого субъекта действия, либо для наблюдателя. Возможно, разумеется, совпадение субъекта действия и наблюдателя в одном лице.

Естественно предположить, что такой ситуацией может быть прекращение движения в результате достижения им внутреннего предела: *выходить — и наконец выйти*, *подходить — и наконец подойти*. Однако прекращение движения регулярно наблюдается лишь в случае глагола *подойти*. Например:

(12) Затем он подошел к стойке.

— Бутылочку водки, естественно... И чего-нибудь легонького, типа на брудершафт... (С. Довлатов).

В случае глагола *уходить — уйти* семантический признак прекращения движения явным образом не выражается, как и при употреблении многих других приставок, ср. *перейти* (*улицу*), *обойти* (*дерево с правой стороны*). В подобных примерах есть результативность, но не всегда имеется перфектность, поскольку перфектность связана с «застывшим» результатом, некоторое время неизменным во времени.

Достижение предела в предложениях с противопоставлением *уходить — и наконец уйти* связано не с прекращением движения, а с дейктическим по характеру «отсутствием субъекта действия в том месте, где находится наблюдатель». Однако за пределами указанного места движение может продолжаться:

(13) Пустая юрта, видимо, часто служила охотникам для ночевок. Кругом нее весь сухой лес давно уже был вырублен и пожжен. Дерсу это не смутило. Он ушел поглубже в тайгу и издалека приволок сухой ясень (В. Арсеньев).

Рассмотрим подробнее особенности перфектного значения глагола *уйти* в условиях ситуативно-неактуализированной речи.

Данный глагол выражает перфектное значение в тексте сравнительно редко. В некоторых вариантах его употребления как будто бы возможно говорить о том, что статичная ситуация «отсутствие субъекта действия в зоне местонахождения наблюдателя» возникла. Однако данная ситуация не получает никакой актуализации, а следовательно (согласно принятой нами трактовке перфектности), перфектного значения нет:

(14) Девушка села у окна, вынула пудреницу. Митя ушел. Я продолжал трудиться без особого рвения. Фельетон, который я писал, назывался «ВМК без ретуши». Что такое «ВМК» — начисто забыл... (С. Довлатов).

Для того чтобы статичная ситуация отсутствия, возникающая в результате действия *уйти*, была актуализирована, необходимо, в частности, какое-то ее описание в контексте, т.е. определенная языковая экспликация. Если такое описание существует, то можно говорить о реализации перфектной семантики, например:

(15) В лавке хозяина не оказалось: он ушел к зубному врачу, и его заменяла довольно случайная барышня, читавшая в углу в неудобной позе «Туннель» Келлермана по-русски (В. Набоков).

В примере специально подчеркивается отсутствие субъекта действия *уйти* («В лавке хозяина не оказалось»).

Кроме того, перфектная семантика возможна также в тех случаях, когда контекст все же свидетельствует, что движение прекратилось. В таких примерах статичная ситуация не связана с отсутствием субъекта в зоне местонахождения наблюдателя, а заключается именно в остановке движения субъекта. Например:

> (16) Эти попытки ни к чему не привели бы, кроме того, что он был бы схвачен, а быть задержанным в этот день никоим образом не входило в его план.
>
> И вот он ушел в сторону к расщелине, где было спокойнее и никто ему не мешал (М. Булгаков).

Глагол *отошел* выражал бы в данном предложении наступившее прекращение движения более явным образом, но глагол *уйти*, хотя и не выражает этого специально, однако и не исключает.

Довольно часто действие *уйти* совершается самим наблюдателем. Например:

> (17) Буш поблагодарил и сразу же устремился за выпивкой. Я не стал ждать и ушел (С. Довлатов).

В подобной ситуации для выражения перфектного значения остается еще меньше возможностей, поскольку, как уже отмечалось, глагол *уйти* не означает прекращения движения после достижения предела (*уходить — уйти*).

Перфектное значение при этом может выражаться лишь при определенных условиях. Наблюдатель как бы раздваивается и, будучи субъектом движения, остается в своем воображении наблюдателем в том месте, которое он покинул. Если это каким-либо образом получает языковое выражение, то, на наш взгляд, возможно говорить об актуализации статичной ситуации его собственного отсутствия в каком-то месте:

> (18) Утром мы рано ушли, оставив старика спать в его фанзе, которую он не хотел нам уступить и которую мы не собирались у него отнимать (В. Арсеньев).

Для воссоздания ситуации в том месте, где наблюдатель уже отсутствует, используется деепричастный оборот. Повествователь представляет, как старик-китаец спит и продолжает спать после ухода участников экспедиции, т.е. рассказчик незримо присутствует в «здесь», хотя оно уже превратилось в «там».

Обратимся теперь к глаголу *выйти*. С точки зрения прекращения движения по достижении предела глагол *выйти* ведет себя двойственно. В наших примерах преобладают случаи, когда движение, после того как субъект покинул определенное место, прекращается:

(19) Есть там начальник вспомогательного цеха — Мироненко. Как-то раз вышел из столовой, закурил у третьего причала (С. Довлатов).

Однако иногда встречаются противоположные примеры:

(20) Осторожно, от дерева к дереву, от камня к камню, я стал удаляться от опасного места и, когда почувствовал себя вне выстрелов, вышел на тропинку и спешно пошел назад к своему отряду (В. Арсеньев).

При этом значение перфектности обычно не выражается.

Конечно, в условиях прекращения движения перфектность также не выражается автоматически. Необходима еще, как уже говорилось, актуализация статичной ситуации в контексте. Следующий пример интересен тем, что он создает иллюзию перфектности, которой на самом деле нет:

(21) Минут через пять из зарослей вышел человек. Увидев нас, он остановился как вкопанный. На лице его изобразилась тревога (В. Арсеньев).

Дело в том, что само действие *вышел* в данном примере не влечет за собой остановки и статики, хотя, казалось бы, статичная ситуация актуализируется. Однако субъект остановился не потому, что вышел из зарослей, а потому, что испугался.

Как правило, перфектная семантика у данного глагола выражается при следующих условиях: 1) субъект действия выходит из какого-либо места, и на этом его движение прекращается; 2) выйдя откуда-либо, он становится доступным наблюдателю, и это фиксируется в контексте, актуализируя данную статичную ситуацию:

(22) Из кулисы вышла на сцену средних лет дама, одетая по моде, то есть в пальто без воротника и в крошечной шляпке. Дама имела встревоженный вид, а Дунчиль поглядел на нее, не шевельнув бровью (М. Булгаков).

Если же наблюдатель и субъект действия — одно и то же лицо, условия выражения перфектности немного изменяются: 1) субъект действия выходит из какого-либо места; 2) выйдя откуда-либо, он начинает процесс наблюдения, и это фиксируется в контексте, актуализируя данную статичную ситуацию:

(23) Федор Константинович решил этого избежать и вышел на улицу. Всё было мокро, солнечно и как-то обнаженно ярко (В. Набоков).

Вопрос о прекращении движения в данном случае остается открытым. Важно (и, по-видимому, достаточно для констатации перфектности) то, что ситуация выхода субъекта откуда-либо имеет следствием статичную ситуацию наблюдения. При этом наблюдатель может продолжать двигаться. Для реализации этого варианта существенно, что субъект движения и субъект наблюдения — одно и то же лицо.

Самыми трудными вариантами квалификации семантики глагола *вышел* как перфектной являются такие, когда движение субъекта после выхода откуда-либо не прекращается, но при этом он становится доступным для чьего-либо наблюдения, и это специально отмечается в контексте:

(24) И Маргарита в черном плаще, мастер в больничном халате вышли в коридор ювелиршиной квартиры, в котором горела свеча и где их дожидалась свита Воланда. Когда пошли из коридора, Гелла несла чемодан, в котором был роман и небольшое имущество Маргариты Николаевны, а кот помогал Гелле (М. Булгаков).

В данном отрывке, несомненно, выражена статичность ситуации, наступившей вслед за тем, как Маргарита и мастер вышли в коридор, однако из контекста никоим образом не следует, что они на какое-либо время останавливались в коридоре. Статичность состоит в том, что, выйдя в коридор, они стали доступны наблюдению свиты Воланда (и соответственно свита Воланда стала доступной их наблюдению).

Такая разновидность употребления, на наш взгляд, может быть названа «квазиперфектностью». Иногда можно говорить о том, что автор художественного текста пользуется ею как специальным литературным приемом, делая в движении персонажа искусственную остановку для того, чтобы описать его самого или окружающую его ситуацию:

(25) Вдруг из чащи леса вышел китаец. На вид ему было лет сорок. Его загорелое лицо, изорванная одежда и изношенная обувь свидетельствовали о том, что он шел издалека. За спиной у него была тяжелая котомка. На одном плече он нес винтовку, а в руках имел палку, приспособленную для того, чтобы стрелять с нее, как с упора. Увидев нас, китаец испугался и хотел было убежать, но казаки закричали ему, чтобы он остановился (В. Арсеньев).

Иногда фактор наблюдения является настолько сильным, что у данной разновидности перфектности можно убрать приставку «квази». Это бывает, в частности, когда ситуацию наблюдает несколько человек, публика:

> (26) Из кулис тут вышел артист в смокинге, гладко выбритый и причесанный на пробор, молодой и с очень приятными чертами лица. Публика в зале оживилась, и все повернулись к сцене. Артист подошел к будке и потер руки (М. Булгаков).

Здесь после завершения действия *вышел* остановка артиста не зафиксирована. Возможно (и вероятно), что она была, однако ее могло и не быть, поскольку прекращение движения зафиксировано лишь после действия *подошел*. Однако была другая остановка: не в движении, а в повествовании, когда автор дал нам краткий портрет артиста, упомянув даже его прическу, и изобразил реакцию публики на его появление.

Подытожим наблюдения над особенностями перфектной семантики глагола *выйти* во вторичном (текстовом) дейксисе. Перфектная семантика в данном случае связана с тем, что субъект действия после своего выхода откуда-либо (или куда-либо) становится доступным наблюдению (при ситуативно-актуализированной речи перфектность связана с тем, что субъект действия как раз отсутствует в зоне наблюдения говорящего). В другом случае субъект действия после выхода сам становится наблюдателем. Подобная разновидность в первичном дейксисе вообще невозможна.

Рассмотрим теперь особенности функционирования глагола *подойти*. Как мы уже отмечали, данный глагол вполне регулярно выражает прекращение движения после достижения предела. Это прекращение, остановка, фиксируемые в контексте, вполне могут претендовать на интерпретацию в качестве статичной ситуации, которая, как мы помним, является условием перфектности:

> (27) Федор Константинович подошел к столику, где были разложены эмигрантские периодические издания. Он развернул литературный номер парижской «Газеты» и с холодком внезапного волнения увидел большой фельетон Христофора Мортуса, посвященный «Сообщению» (В. Набоков).

В приведенном примере остановка движения имплицируется глаголом *развернул*. Хотя этот глагол обозначает действие, но перед нами вовсе не акциональная перфектность: действие *подошел* не является причиной действия *развернул*. Однако действие *развернул* стало возможным благодаря прекращению движения и поэтому является косвенным показателем статичной ситуации.

Как и в примерах с глаголом *вышел*, статичная ситуация может быть связана с тем, что субъект движения стал доступен наблюдению. В тексте при этом следует его описание:

(28) — Стреляй не надо! Моя люди!.. — послышался из темноты голос, и через несколько минут к нашему огню подошел человек. Одет он был в куртку из выделанной оленьей кожи и такие же штаны (В. Арсеньев).

Однако гораздо чаще статичная ситуация заключается в том, что субъект действия, подойдя к какому-либо объекту, сам становится его наблюдателем:

(29) Часа два я бродил по окрестностям и наконец опять подошел к обрыву. День склонялся к вечеру. По небу медленно ползли легкие розовые облачка (В. Арсеньев).

Ср. также сравнительно частое употребление однородных предикатов типа *подошел и увидел*, а также глагола *подошел* с инфинитивами, выражающими перцепцию (*подошел посмотреть*), например:

(30) Воланд поднялся с своего табурета, подошел к балюстраде и долго, молча, один, повернувшись спиной к своей свите, глядел вдаль (М. Булгаков);

(31) За одним столиком челюсть разглядывают, за другим... Швейцар подошел взглянуть... (С. Довлатов).

В отношении глагола *подойти* можно отметить, что один из вариантов его перфектного значения, рассматривавшийся выше, сближается с той перфектной семантикой, которая наблюдается у него в первичном дейксисе, т.е. в условиях ситуативно-актуализированной речи. Мы имеем в виду значение остановки субъекта и его последующей доступности наблюдению. Различие, однако, состоит в том, что в первичном дейксисе данный глагол употребляется преимущественно в будущем времени, т.е. присутствие субъекта в определенном месте рассматривается лишь как перспектива. Между тем во вторичном дейксисе, как правило, подразумевается уже осуществившееся присутствие субъекта.

В завершение наших наблюдений скажем несколько слов об актуализации статичной ситуации, наступающей после достижения предела действиями *уходить — уйти*, *выходить — выйти*, *подходить — подойти*. Рассуждая о вторичном дейксисе, приходится говорить о слабой актуализации, обязательно нуждающейся в каком-то подкреплении со стороны контекста. Если поддержки контекста нет, то перфектность остается нереализованной возможностью семантики глагола. В условиях первичного дейксиса сама проекция результата действия на ситуацию момента речи является мощным актуализатором

указанного результата. Его наблюдаемость в данном случае не нуждается в экспликации, она — необходимый элемент актуальной ситуации «я — здесь — сейчас». Таким образом, коммуникативно-речевые условия могут способствовать сильной актуализации перфектной семантики.

ГЛАВА III

ПОЛЕ СОСТОЯНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ПРОТОТИП И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ*

1. Вступительные замечания

Само понятие функционально-семантического поля (ФСП), определяемое как «базирующаяся на определенной семантической категории группировка грамматических и «строевых» лексических единиц, а также комбинированных (лексико-синтаксических и т.п.) средств данного языка, взаимодействующих на основе общности их семантических функций» [Бондарко 1987б], предполагает изучение многообразных структур, связанных с разными типами ФСП. Характеристика любого ФСП включает описание его структуры, для чего необходимо решить следующие проблемы: установить границы поля, определив критерии включения в него тех или иных языковых элементов (лексем, форм, конструкций), а также выявить принципы их распределения относительно центра и периферии.

Для решения этих задач в современной лингвистике используются понятия инварианта и прототипа, причем в одних исследованиях они рассматриваются альтернативно, а в других — на основе взаимодополнения. Это объясняется тем, что длительное время способы грамматической и лексической категоризации изучались относительно автономно, но поскольку грамматическая система характеризуется более высокой степенью упорядоченности (ограниченным количеством членов категории и их формальной выраженностью) и абстрактности, при ее анализе чаще используется понятие инварианта.

Понятие прототипа, как отмечают некоторые исследователи, появилось в лингвистике именно для характеристики лексической составляющей языка, «которая оказалась забытой формальными синтаксическими моделями», так как «глобальная структура лексики не может быть адекватно описана в единой таксономии» [Анисимова 1997: 5]. Многие лексические единицы тесно связаны с конкретными представлениями, для анализа которых прототипические эффекты наиболее удачны (ср. приводимый Э. Рош [Rosch 1973] анализ прототипов на примере слов *птица* и *стул*). Конкретная лексика служит основой различного рода ассоциаций, порождение ассоциативных связей также ставит вопрос о вхождении того или иного элемента

*Данная глава подготовлена при финансовом содействии Фонда Президента РФ для поддержки ведущих научных школ, грант № НШ-1510.2003.6.

© И. П. Матханова, 2005

в характеризуемую категорию. Таким образом, в лексической системе границы между категориями размыты и более остро стоит вопрос об отнесении определенного элемента к данной категории (количество членов категории неопределенно), чем при анализе классических грамматических категорий, «где выделяется определенная система рядов грамматических форм и анализируется с точки зрения структуры и функций» [Бондарко 2000: 19]. Связь лексического значения с конкретным представлением затрудняет введение абстрактного понятия инварианта, тем не менее и при анализе определенных групп лексики оно может успешно применяться. В то же время лингвисты отмечают возможность и необходимость введения понятия прототипа в грамматические исследования (см., например, [Лакофф 1996]).

Представляется, что использование понятий инварианта и прототипа при описании поля состояния поможет найти новые особенности в характеристике данного семантического феномена и в то же время позволит уточнить их функции и сферу применения.

2. Общая характеристика поля статальности и способы языковой категоризации состояния

Состояние как семантическое явление может быть выражено лексически и грамматически; на уровне словоформы, высказывания и целого текста. Существование различных способов выражения состояния в языке приводит к многообразию его истолкования и описаний, которое объясняется трудностью выделения доминирующего способа языковой категоризации его семантики.

ФСП состояния включается в особую группировку полей пропозитивного типа (вопрос о возможности выделения подобного рода группировки полей поднимался Е. В. Клобуковым [2001]). К ним можно также отнести ФСП бытийности, посессивности, качественности и другие поля, основными элементами которых выступают к о н с т р у к ц и и. Не случайно при описании этих полей [ТФГ 1996а, 1996б] была отмечена такая их особенность, как бицентричность, причем в качестве второго центра всегда выступает не грамматическая категория, а целая конструкция. В качестве первичной формы выражения пропозитивных смыслов выступает предложение [Данеш, Гаузенблас 1974; Колосова 1980; Черемисина, Колосова 1987], а другие языковые элементы, которые также способны отражать данную ситуацию (отдельные словоформы, словосочетания, причастные и деепричастные обороты), но менее полно и дифференцированно, являются производными, вторичными.

Определение конструкции как основного элемента ФСП состояния можно соотнести с понятием «базового уровня в иерархии» [Лакофф 1996: 163]. Именно в конструкции проявляются основные чер-

ты, которые приписываются базовому уровню, психологически наиболее важному и находящемуся в центре иерархии: конструкции в первую очередь используются говорящим для выражения состояния, которое в этом случае быстрее всего идентифицируется, воспринимается по сходным общим очертаниям, в конструкции отражаются его основные свойства.

В функциональной грамматике, использующей понятие ФСП, более детально изучены поля, группирующиеся вокруг тех семантических категорий, где доминирует грамматический способ категоризации семантики. В этом случае грамматические средства выражают семантику, способную передаваться и другими языковыми единицами, однако, как правило, являются наиболее специализированными, обязательными и регулярными, что позволяет им выступать в качестве ядра ФСП [Бондарко 1987б]. При этом возможно наметить довольно четкие границы между элементами, включаемыми в ФСП по их уровневой принадлежности (грамматические категории, синтаксические конструкции, лексемы). Для ФСП пропозитивного типа выделение центра более проблематично, поскольку в пределах конструкции происходит взаимодействие разноуровневых средств, причем не только на межсловном уровне, для ФСП этого типа важно и внутрисловное взаимодействие лексических и грамматических сем (см. об этом [Воейкова 1988б]).

Состоянию (как, впрочем, и другим типам пропозитивной семантики) свойственна двойная категоризация — лексическая и грамматическая. Оба способа обладают равным статусом, т.е. могут накладывать запрет на образование определенных форм, модифицировать их семантику.

Е. В. Падучева [1998], Л. Г. Бабенко [1989] отмечают, что в лексическом значении слова существует несколько слоев: «тематический», или «категориально-лексический» (движение, речь, чувство, звук и т.п.), и «таксономический», «категориально-семантический», «суперклассификатор» (например, действие, деятельность, состояние, отношение). Они тесно связаны между собой, так что сохраняется «память» о преимущественной, прототипической отнесенности той или иной реалии к более абстрактному понятийному классу. Так, связь с качественностью проявляется при номинации черт характера человека, размера и цвета предмета (*умный*, *поглупеть*, *хитрец*; *квадратный*, *округлиться*; *сиреневый*). Значение качественности при этом реализуется не только в высказываниях с типичным предикатом качества, но и в иных случаях. Такие же явления можно наблюдать и при анализе реляционной семантики: языковые единицы со значением родства, тождества, принадлежности и некоторые другие тематические группы «привязаны» к таксономическому классу отношения. Все это свидетельствует о том, что в сознании человека существует

тесная (хотя и не абсолютная) связь между тематическими и таксономическими категориями.

Эмоции, физиологические симптомы организма, температура, влажность, освещенность соотносятся в нашем сознании с понятием с о с т о я н и я. Именно поэтому, даже если в значении словоформы появляются семантические признаки, не свойственные этому понятию, мы продолжаем говорить об изменении, становлении с о с т о я н и я, о воздействии *состояния* (на кого-либо), внешнем выражении с о с т о я н и я. Таким образом, состояние не существует автономно, изолированно от тематического класса: *Ей было грустно* (эмоциональное состояние), *Боль все усиливалась* (изменение физиологического состояния), *За окном еще темно* (состояние природы, характеризующее степень освещенности), *Вода из крана ледяная* (состояние предмета, фиксирующее его температуру). При этом признаки состояния могут накладываться на признаки тематического класса, отдельные признаки могут отсутствовать или быть избыточными.

Кроме того, семантика состояния, как уже отмечалось, обладает двойной категоризацией: лексической и грамматической, поэтому выделить каждую составляющую весьма трудно. Представить существование разных способов категоризации становится возможным при их несовпадении; ср. нестатальные глагольные и адъективные высказывания: *Он смеется*, *Он смешон*, *Он скучен* и статальные высказывания с однокоренными безлично-предикативными словами: *Ему смешно*, *Ему скучно*. Возможность такого преобразования предполагает грамматический способ его категоризации наряду с лексическим. Это подтверждают и окказиональные образования соответствующих частей речи: *Нам было* ***молодо*** *обоим* (Е. Евтушенко), ***Я в тревоге***, ***тоске и мольбе*** (А. Блок). (Подробнее о способах выявления и наличии дифференциальных семантических признаков состояния в семантике разных грамматических форм см. [Матханова 2003а].)

Для того чтобы выявить критерии включения тех или иных конструкций в ФСП состояния, наиболее целесообразным было бы воспользоваться комплексом инвариантных семантических признаков состояния. В этот комплекс включаются статичность, длительность, инактивность субъекта состояния (базовый уровень); также для него характерны признаки временной дискретности, ориентированности на субъект, неконтролируемости (нерелевантности контролируемости) ситуации. Указанные семантические признаки представляют собой иерархизированную структуру, в которой базовые признаки характеризуют предикаты состояния. Однако для конструкции в целом необходимо учитывать весь комплекс (см. [Матханова 2000]). Применение понятия инварианта к анализу семантики состояния как целостного явления соответствует двухступенчатости восприятия, на

которое ссылается А. А. Залевская [1997]: сначала опознается целостный образ, после чего выделяются признаки, его составляющие. Инвариант при этом является фактом онтологии, а не чисто гносеологическим понятием [Бондарко 2003б: 6], несмотря на его абстрактный характер (ср. утверждение о гносеологическом характере инварианта [Болдырев 2003]). Отсутствие конкретно-чувственного образа в инварианте не может служить доказательством его «неонтологичности». В этом смысле можно провести сравнение с химической формулой воды: отсутствие в формуле H_2O впечатления прозрачной, безвкусной жидкости, данной нам в ощущениях, не отменяет того, что в действительности вода состоит из соответствующих элементов, причем эта формула позволяет идентифицировать вещество даже в том случае, если оно не является жидкостью (пар, лед), непрозрачно, имеет вкус и запах. Можно считать, что, во-первых, инвариант является столь же онтологичным, как и прототип; во-вторых, он требует определенных логических операций для своего выявления; в-третьих, в силу своей о б о б щ е н н о с т и и «глубинности» (для разных уровней учитывается различная степень абстрактности) может служить средством для выявления границ разных типов категорий, в том числе и гетерогенных.

Использование комплекса инвариантных признаков состояния позволяет следующим образом квалифицировать конструкции, относимые разными исследователями к статальным: 1. *Социолог Пронин искажал данные опроса населения* [Русские глагольные предложения 2002], 2. *Наша семья тогда очень нуждалась* и 3. *Отец у нас работает, брат служит в армии, а сестра учится* [Всеволодова, Го Шуфень 1999]. Первую и третью конструкции к статальным отнести нельзя, так как в них наличествуют семы, препятствующие реализации семантики состояния: субъект активен и осуществляет целенаправленную деятельность; они не обладают полной статичностью (в данном случае скорее следует говорить о квазистатичности — нерелевантности для говорящего существующих в действительности реальных изменений в названных процессах); высказывания не характеризуются временной дискретностью (передают обобщенные факты). Что касается второй конструкции (*Наша семья тогда очень нуждалась*), то возможно ее считать статальной, поскольку большинство семантических признаков, свойственных состоянию, здесь присутствует: процессная статичность, длительность (подчеркнутая временным показателем *тогда*), инактивность субъекта. Правда, это высказывание также не относится к центральным явлениям, так как семантика состояния передана главным образом лексическим значением глагола, а грамматические средства лишь не препятствуют ее выражению, но это уже следующий вопрос — о принципах выделения центра поля.

Итак, для определения границ ФСП состояния целесообразно использовать комплекс и н в а р и а н т н ы х семантических признаков (общий для лексики и грамматики) учитывать бóльшую часть признаков, но не их абсолютную представленность, а также тот факт, что опознание класса явлений осуществляется каждый раз по неполному набору признаков (ср. положение Л. В. Щербы о естественной классификации [1957]).

3. Критерии выделения центра поля состояния и понятие прототипа

В русском языке существует ряд конструкций, которые с большей или меньшей регулярностью включаются исследователями в ядерную зону поля нерезультативного состояния [Булыгина 1982; Всеволодова, Го Шуфень 1999]. К ним относятся конструкции с безлично-предикативными словами, безличными модально-деагентивными глаголами типа (*не*) *спится*, (*хорошо*) *работается*, предложно-падежными формами существительных ('в + предл. п.'): *Теперь уж ему не было ни* ***страшно***, *ни* ***стыдно***, ***дышалось*** *легко и свободно* (А. Чехов); *Здесь вы* ***в тепле***. *Здесь* ***светло*** *и* ***тепло*** (И. Одоевцева). Иногда сюда же относят и конструкции с краткими прилагательными: *Капитолина была* ***пьяна*** *и качалась из стороны в сторону* (М. Горький) и субстантивную конструкцию 'у Х есть Р': *У него боль в ушах* (А. Чехов). Возникает вопрос о критериях включения тех или иных конструкций в центр ФСП состояния. Представляется, что в этом случае можно использовать критерий прототипичности конструкции для выражения данной семантической категории.

Прототипичность связана с наличием в сознании человека некоторого «лучшего примера», образца, в котором разные свойства какого-либо явления закреплены как его атрибуты (см., в частности, работы Э. Рош, Дж. Лакоффа, В. З. Демьянкова, Е. С. Кубряковой, А. В. Бондарко). Таким образом, в прототипе могут быть отражены не только обязательные, но и некоторые факультативные свойства явления, которые осознаются носителем языка как таковые только при включении объекта в некий класс, обладающий более высоким уровнем абстракции. В качестве такого класса могут выступать родовые понятия по отношению к видовым, а также инвариант по отношению к конкретным вариантам. В инварианте, в отличие от прототипа, учитывается только минимум необходимых системообразующих признаков преимущественно одного порядка, а также присутствует их иерархия. Прототип, представляя собой явление (в отличие от сущности), обладает более свободным набором признаков, которые могут осознаваться, с одной стороны, как отдельные характеристики, а с другой — как своего рода единства. Сущностные признаки при этом

соседствуют с необязательными, создавая определенный сплав, и, таким образом, можно говорить о сочетании гетерогенных признаков, существовании «признаков и свойств разного веса» [Рахилина 1997: 375]. Набор признаков жестко не закреплен, у разных представителей данного класса он не обязательно проявляется во всей полноте. Так, приводимая Э. Рош в качестве примера анализа прототипов характеристика видов птиц и близких им по разным параметрам животных показывает, что родовому понятию «птица» в обыденном сознании соответствует несколько конкретных видов; степень же прототипичности определяется неоднопорядковыми характеристиками объекта: в прототип включаются особи, обладающие как обязательными, так и факультативными признаками (в частности, наличие крыльев, умение летать, «неодомашненность», способность петь).

Движение от прототипа к явлениям непрототипичным осуществляется по разным критериям, в связи с чем особенно актуальным становится положение Л. Витгенштейна [1985] о фамильном сходстве как основании классификации. Весьма важной особенностью прототипа (помимо специфичности и регулярности) является то, что он становится источником производности [Бондарко 2002]. Эта черта прототипа, как представляется, коррелирует с положением, выдвигаемым Дж. Лакоффом относительно языковой метафоры, для которой выделяются область-источник (source) и область-мишень (target), причем область-источник интуитивно понятнее, конкретнее, известна более детально, более центральна в нашем опыте (см. [Ченки 1997: 351–352]), иными словами, прототип связан скорее с областью-источником, нежели с областью-мишенью. (Ср. обычное: *Их отношения зашли в тупик*: область-источник — движение, область-мишень — отношения между людьми.)

Анализ конструкций с безлично-предикативными словами, безличными модально-деагентивными глаголами, предложно-падежной формой имени существительного ‘*в* + *предл.п.*’ показал, что все они обладают более или менее полным набором признаков, характерных для семантики состояния, однако не все из них можно отнести к прототипичным. Для этого необходимо учитывать и такие факторы, как совпадение лексической и грамматической категоризации состояния, а также производность / первичность данной конструкции (прототип должен быть источником производности, а не его результатом).

Таким условиям, по нашему мнению, удовлетворяют конструкции с безлично-предикативными словами, которые можно считать прототипичными для русского языка, поскольку они обладают существенными признаками состояния, наиболее яркими являются инактивность и (внутренняя) перцептивность; статичность характеризуется маркированностью, длительность обусловлена перцептивностью, состояние ориентировано на субъект вос-

приятия. Кроме того, эти конструкции характеризуются совпадением лексической и грамматической категоризации, с их помощью можно передавать разные типы состояния: *Мне скучно и как-то особенно неловко* (М. Горький); *Вы чувствуете, что вам холодно* (А. Чехов); *Когда я шла к станции, было уже совсем темно... Тепло. Тихо* (Н. Ильина). В них также выражаются психическое и физическое состояние лица, амбиентное состояние природы и окружающей среды. Невозможно представление лишь одного типа состояния — физического состояния предмета, что связано со спецификой перцепции. Данный способ выражения состояния является непроизводным, относится к области-источнику (по Дж. Лакоффу), представляет собой естественный для русского языка способ представления данной семантической категории (см. также материалы психотренингов, которые подтверждают тот факт, что безлично-предикативная модель превалирует в первичной спонтанной и непосредственной реакции говорящего при характеристике состояния [Рулева 1998]). Другие модели появляются при повторном возвращении к описываемой ситуации, ее осмыслении и интерпретации. Безлично-предикативная модель является источником производности, особенно при образовании окказионализмов, ср.: *Хорошо им было*, ***многолесно***. *Тихо и тесно* (А. Яшин); *Мне стало гадко, противно,* ***грубо***... (Л. Толстой); ***Воздушно*** *мне, как малышу от воли* (Д. Ковалев). Во всех этих случаях передается внутреннее состояние, воспринимаемое говорящим, причем образуются слова категории состояния от лексем, не имеющих в своем значении семы перцептивности, ощущаемости и вследствие этого не способных образовывать безлично-предикативные слова в узусе. Вероятно, перцептивность, не будучи обязательным семантическим признаком состояния, закреплена в сознании говорящих как атрибут данной семантики. Именно поэтому фрагмент текста, включающий не только статальные высказывания, часто оценивается как описание состояния.

С у б с т а н т и в н у ю к о н с т р у к ц и ю '*в* + *предл. п.*' по наличию в ее семантике признаков, свойственных состоянию, можно охарактеризовать следующим образом: в ее значении закреплены признаки статичности и ориентированности на субъект, длительность является немаркированным признаком, а признаки инактивности субъекта и перцептивности отсутствуют в ее семантике [Матханова 2003а]. Наличие большинства необходимых семантических признаков позволяет данной конструкции выступать в качестве источника производности для окказиональных построений, однако вряд ли ее можно признать прототипичной, так как она сама является вторичной, производной от типичной метафоры движения-местонахождения [Золотова 1973; Ченки 1997]. Семантика состояния передается в ней за счет взаимодействия с локативностью, воспринимается на фоне мета-

форы пути: «*прийти в состояние — быть в состоянии — выйти из состояния*»: *Петя несколько раз впадал в забытье* (В. Катаев); *Весь следующий день пробыл он в забытьи* (Б. Полевой); *Он наконец вышел из забытья и спрашивает вас* (Р. Р.). Именно существование в языке устойчивой триады позволяет этой конструкции передавать семантику состояния как признака, способного потенциально изменяться. Тем не менее производность конструкции препятствует тому, чтобы отнести ее к прототипичным, в этом случае трудно говорить и об интуитивной понятности: метафоричность конструкции предполагает некую двойственность ее семантики.

Конструкции с безличными модально-деагентивными глаголами также содержат все существенные семантические признаки состояния, и это позволяет отнести их к основным средствам его выражения в русском языке. Состояние, передаваемое при помощи данных глаголов, воспринимается прежде всего как модальное, например: *Вспоминаю. И не хочешь вспоминать, а вспоминается* (И. Гофф). В первой части конструкции (*и не хочешь вспоминать*) субъект волюнтативности и субъект предметной ситуации совпадают, во второй части (*а вспоминается*) ситуация осуществляется независимо от воли действующего субъекта, поэтому можно говорить о квазиразносубъектности как особой черте, свойственной именно субъектно-модальным рефлексивам. Признак квазиразносубъектности заключается в том, что реально единый субъект представлен как бы расщепленным на два: субъект предметной ситуации и субъект волюнтативности, причем субъект волюнтативности якобы отчужден от субъекта предметной ситуации, для которого характерна инактивность. Именно на этом основана модальная характеристика состояния. Данной конструкции также присущи признаки внутренней перцептивности, процессуальной статичности и длительности (о выявлении этих признаков см. [Матханова 2003б]). Тем не менее, несмотря на полноту представленности необходимых семантических признаков, данную конструкцию также нельзя считать прототипичной, так как для нее нехарактерно функционирование лексем тех тематических групп, которые закреплены в нашем сознании за состоянием (насчитывается несколько лексем со значением эмоции (*груститься*, *любиться*), физиологических симптомов (*недужиться*, *дрематься*, *спаться*), отсутствуют лексемы, передающие состояние окружающей среды). Чаще в рамках данной конструкции происходит преобразование действия в состояние: *Кате не пелось сегодня* (Э. Казакевич); *По морозцу-то легко бежится* (А. Латынина). В этом случае частотно несовпадение двух способов категоризации: лексического и грамматического, — а кроме того, состояние, передаваемое данной конструкцией, обязательно сопровождается модаль-

ным значением возможности / невозможности, предрасположенности, которое, как правило, доминирует.

Таким образом, у ФСП состояния (а возможно, и у других ФСП пропозитивного типа с лексико-грамматическим ядром) понятие центра может быть шире, чем понятие прототипа, так как в последнем случае важен не только комплекс необходимых признаков, но и такие характеристики прототипа, которые служат основанием для спонтанного выбора говорящим именно этой модели.

4. Критерий «фамильного сходства» и характеристика периферии поля состояния

Движение к периферии ФСП состояния осуществляется по разным основаниям (что возможно, если учитывать принцип фамильного сходства, который в этом случае реализуется). Безусловно, центральную роль здесь играет полнота представленной в содержании конструкции признаков состояния. На этом основании нельзя считать адъективную и субстантивную (*у X есть P*) конструкции относящимися к центру поля состояния. Для адъективной конструкции характерен следующий набор признаков состояния: немаркированная статичность, ориентированность на грамматический субъект, логический, рациональный характер представления ситуации. Поскольку набор признаков состояния оказывается неполным, адъективные конструкции способны передавать значение состояния не всегда, а лишь при значительном доминировании лексической категоризации (ср.: *Он печален — Он скучен*). Способность адъективных конструкций передавать значение состояния обусловлена отсутствием в их семантике признаков, препятствующих этому, а также возможностью компенсировать необходимые признаки за счет окружающего контекста. Так, в следующем высказывании состояние передается в том числе и благодаря показателю временного ограничения признака (*в течение всего вечера*): *Инсаров был очень* ***молчалив*** *и пасмурен в течение всего вечера* (И. Тургенев), ср.: *Инсаров был очень молчалив* — квалитативное, а не статальное высказывание. Ведущую роль в выражении состояния адъективными конструкциями выполняет главным образом лексическое значение слова, грамматический способ категоризации в этом случае не столь значим.

За счет лексического значения передается семантика состояния и в субстантивной конструкции (семантических признаков, свойственных состоянию, у данной конструкции значительно меньше). Кроме того, конструкция ‘*у X есть P*’ является не первичной, а производной (областью-мишенью), соответствующей образной схеме Дж. Лакоффа. Здесь первично значение посессивности: *У него есть дом.* Остальные значения: внутренней характеристики субъекта (*У нее*

врожденная глухота), внешних признаков (*У него усы*), события (*У них репетиция*) — вторичны, и статальное значение лишь одно из них (*У нее тоска*). В этом случае движение к периферии обусловлено несколькими разнопорядковыми факторами: полнотой семантических признаков, соотношением лексической и грамматической категоризации, производностью.

Если продолжить исследование путей движения к периферии, то можно отметить еще один автономный параметр: свернутость / полнота представления ситуации. Состояние может быть передано и пропозитивными существительными (*тревога*, *усталость*, *голод*, *холод*): *Зверь оцепенел* ***от боли*** (А. Куприн); *Я смотрел на Сильвио* ***с изумлением*** (А. Пушкин); прилагательными: *Я писал статью* ***больной и утомленный*** (М. Слонимский); наречиями (*радостно*, *тревожно*, *устало*): *Иштван* ***раздраженно*** *думал: «Что значит это ее предложение?»* (*В. Жукровский*). Свернутая пропозиция, выраженная в указанных словоформах, также не может быть отнесена к центру поля состояния, так как не является первичной, лексическая категоризация доминирует.

Таким образом, ФСП состояния обладает сложной структурой, которая обусловлена в значительной степени пропозитивным характером исследуемой семантической категории. Можно предположить, что в структурах подобного типа центр поля (определяемый по комплексу обязательных признаков) не совпадает с понятием прототипа, при характеристике которого учитываются и другие факторы, относящиеся к различным сферам. В первую очередь имеется в виду соотношение лексической и грамматической категоризации, выражаемой в рассматриваемых конструкциях, а также принадлежность к первичным или производным моделям. При разграничении центра и периферии помимо указанных параметров необходимо учитывать полноту / неполноту инвариантных признаков состояния и свернутость / развернутость смысла, передаваемого данной конструкцией. На каждом уровне структурирования существуют разные основания, что характерно для естественных классов, способных объединяться по принципу фамильного сходства.

ГЛАВА IV

РЕГУЛЯРНЫЕ И ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СЕМАНТИКИ ВРЕМЕНИ В ПОЭТИЧЕСКОМ ИДИОСТИЛЕ*

1. Вступительные замечания

Проблема времени была поставлена исследователями поэтики Анны Ахматовой и Осипа Мандельштама как определяющая специфику их видения мира [Виноградов 1976; Топоров 1990; Иванов 2000; Тарановский 2000; Левин 1998; Terras 1969; Verheul 1971], а ее частные аспекты продолжают разрабатываться [Акаткин 1992; Антонов 1999; Бегун, Волощук 1993; Беренштейн 1991; Беркович 1989; Комиссаров, Халина 1997; Кузина 1994; 1995; Леонтьева 1991; Магун 1999; Мишайкина 1997; Насрулаева 1997; Оцуки 1996; Панова 1996; 1998; 2003; Редькин 1991; Седых 2001; Семчук 1991; Фаустов 1994; Фэвр-Дюпэгр 1991; Ketchian 1986]. Однако даже при том обостренном внимании к проблеме художественного времени, которое характеризовало филологию 1970–1980-х гг., сравнительное изучение идиостилей с точки зрения темпорального анализа не получило широкого распространения. В частности, на материале творчества Ахматовой и Мандельштама сопоставительный анализ темпоральной организации текстов до сих пор не проводился.

Сравнение темпорального аспекта идиостилей осталось маргинальной областью исследования художественного времени (исключение составляют отдельные работы, в которых, как правило, рассматривается преемственность в конструировании временных моделей авторами, принадлежащими разным эпохам или культурам [Барбачаков 1993; Смирнов 1992; Квасова 1993; Комиссаров, Халина 1997; Мейор 1996; Телетова 2002; Orban 1992]; см. также о линейном времени Ш. Бодлера и цикличном времени П. Верлена [Анисимова 1989]). Это объясняется необходимостью предваряющего такое сопоставление детального описания темпорального фрагмента картины мира, репрезентированной в творчестве каждого из авторов. Поскольку время в поэтике Ахматовой и Мандельштама отчасти уже описано, а аппарат анализа художественного времени, в том числе времени в лирике, детально разработан [Казанцева 1991; Петрова 1987; Золотова 1996; Михайлова 1983; Чередниченко 1987], очевидно, что необходимые предпосылки для осуществления сопоставительного анализа темпорального аспекта идиостилей этих авторов появились.

*Данная глава подготовлена при финансовом содействии Фонда Президента РФ для поддержки ведущих научных школ, грант № НШ-1510.2003.6.

© Я. Э. Ахапкина, 2005

Материалом исследования являются тексты авторов, условно объединяемых по принципу принадлежности к одному направлению, что обеспечивает основание для сопоставления (общность некоторых черт поэтики, исходных принципов организации текста). Акмеизм — «неореализм», по определению В. М. Жирмунского, — ориентирован прежде всего на «точную, мало искаженную субъективным душевным и эстетическим опытом передачу раздельных и отчетливых впечатлений преимущественно внешней жизни, а также и жизни душевной, воспринимаемой с внешней, наиболее раздельной и отчетливой стороны» [Жирмунский 1977: 131]. Эта «раздельность и отчетливость» представляется чрезвычайно важной при описании семантики времени, поскольку подразумевает четкое осознание поэтом различения временных планов и установку на их сопоставление при раскрытии событий «внешней / внутренней жизни» в их единстве. Сама степень осознанности выбора тех или иных средств для реализации темпоральной (как и любой другой) семантики при этом может быть различной: «Бывает, что текст по своей глубине превосходит намерения автора, когда активизируется не эрудиция, не логика, а интуиция <...> часто наши языковые игры или ошибки воплощают в себе отголоски неизвестной нам архаики в фонетике, грамматике, лексике <...> Кроме того, они могут указывать на альтернативные возможности развития слов и форм и становиться сигналами будущих свойств языка» [Зубова 2000: 7].

В данной работе анализируются тексты условно выделяемого акмеистического периода творчества поэтов. Нижней границей этого периода в истории русской поэзии принято считать либо конец 1911 г. (если вести отсчет от создания «Цеха поэтов» и вступления в него Ахматовой и Мандельштама) [Баженов 1991: 87], либо 1912 г. (если отталкиваться от появления поэтических сборников, выпущенных Цехом; при этом акмеизм, по выражению Ахматовой, был «решен» на одном из собраний Цеха осенью 1912 г. [Жирмунский 1973: 33]), хотя манифесты появились позже: статьи Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» и С. М. Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии» опубликованы в первом номере журнала «Аполлон» за 1913 г. Верхней границей периода условно можно признать год смерти Н. С. Гумилева — 1921 (см., например, историю возникновения акмеизма в работе Б. М. Эйхенбаума [1980]).

В творчестве Ахматовой выделяют три периода [Кихней 1997а, б], из которых в рамки акмеизма укладываются первые два, точнее — вторая половина первого и начало второго (от сборника «Четки» до стихотворений 1921 г. из сборника «Подорожник»). Для Мандельштама, осознанно перешедшего на позиции акмеизма в 1912 г. [Кихней 1997б: 30] (первый период творчества поэта считается символистским), установлены даже поворотные от символизма к акмеизму тек-

сты: традиционно таковым считается стихотворение «Нет, не луна, а светлый циферблат» (с точки зрения поэтического видения мира) или, согласно новейшим наблюдениям, «Золотой» и «Царское село» (с точки зрения грамматических инноваций [Панова 2003]). В периодизации творчества поэта, предложенной Ю. И. Левиным [1972: 7], из пяти основных периодов (1. 1908–1915 — «Камень», 2. 1916–1920 — «Tristia», 3. 1921–1926 — последний раздел книги «Стихотворения», сб. 1928 г.; 4. 1930–1934 — «Новые стихи»; 5. 1935–1937 — «Воронежские тетради») к акмеизму следует отнести часть первого, второй и начало третьего периода. Итак, материал исследования ограничен текстами, датированными 1912–1921 гг. (132 основных текста Мандельштама и 188 основных текстов Ахматовой общим объемом более 3 000 строк).

2. Дистрибуция элементов поля темпоральности в текстах А. Ахматовой и О. Мандельштама

Часть употреблений, описанных в теоретических исследованиях авторами классификаций элементов ФСП темпоральности русского языка, закономерно игнорируется поэтическим текстом, другие возникают в лирике с высокой степенью регулярности. Обе указанные особенности характеризуют поэтический текст в отличие от прозаического и являются константными для лирики как рода литературы. Однако гипотетически можно предполагать аспектуально-темпоральные особенности лирического текста, обусловленные спецификой индивидуального поэтического языка — идиостиля (о существовании таких особенностей писали основоположники «грамматики поэзии» Р. О. Якобсон [1983; 1987], В. В. Виноградов [1976], Г. О. Винокур [1990]). Выделим такие употребления, характерные для лирики Ахматовой и Мандельштама акмеистического периода (1912–1921 гг.).

Реконструкцию индивидуально-поэтического ФСП темпоральности логично начать с выявления регулярных и редких употреблений, следуя в анализе от формы к значению. Затем, установив частотность употреблений форм, мы переходим к анализу способов выражения разных типов темпоральных значений (следуя от содержания к форме) и высказываем суждения о специализации тех или иных средств для выражения определенной семантики. В результате такое совмещение семасиологического и ономасиологического подходов позволяет выстроить искомое ФСП (ср. этот алгоритм действий с вопросами, сформулированными Г. О. Винокуром при изучении персональности в лирике в одной из первых в истории филологии работ, посвященных собственно грамматике поэзии: «Вопрос в целом может быть формулирован так: 1) какими средствами языка достигается обозначение

субъекта и адресата речи и 2) какое конкретное содержание может принадлежать этим средствам языка и различным видам их сочетаний в различных случаях их употребления» [Винокур 1990: 244]).

Материалом исследования послужил список из 2 359 лексических единиц, полученный методом сплошной выборки из 132 текстов Мандельштама и 188 текстов Ахматовой изучаемого периода.

Сложность первого этапа анализа заключается в квалификации некоторых конструкций как относящихся к определенному типу средств выражения темпоральной семантики, в основном принадлежащих к ближней или дальней периферии общеязыкового ФСП темпоральности. Ситуация с ядром поля представляется более очевидной, хотя и здесь есть определенные трудности. Так, с одной стороны, нет сомнения, что подсчету подлежат все формы изъявительного наклонения. Например, в отрывке «***Было душно*** *от жгучего света, а взгляды его — как лучи. Я только* ***вздрогнула***: *этот* ***может*** *меня* ***приручить***. ***Наклонился*** *— он что-то* ***скажет***... *От лица* ***отхлынула*** *кровь*» атрибуция темпоральных форм глаголов сложностей не вызывает: в тексте присутствуют три формы прошедшего времени глаголов СВ (*вздрогнула*, *наклонился*, *отхлынула*), одна форма будущего времени глагола СВ (*скажет*), одна форма настоящего времени вспомогательного модального глагола НСВ (*может*), одна форма прошедшего времени отвлеченного глагола-связки НСВ (*было*). Тем не менее, Е. В. Падучева трактует конструкцию *взгляды его как лучи* как импликацию глагола НСВ настоящего времени [Падучева 1996: 372], восстанавливая опущенную связку. Для наших целей корректнее считать эту конструкцию безглагольной, соотносимой с конструкциями с бытийной связкой в прошедшем и будущем времени. Однако, например, глагол «быть» как вспомогательный в форме аналитического будущего времени при глаголе НСВ и как связка в составном именном сказуемом будущего времени, очевидно, выполняет не вполне идентичные функции (ср. *буду плакать — буду веселой*: ***Будешь жить***, *не зная лиха*, ***править*** *и* ***судить***, *со своей подругой тихой сыновей* ***растить*** *—* ***Будет*** *сын твой и* ***жив***, *и* ***здоров***). Хотя обе эти формы в нашей классификации элементов ФСП темпоральности относятся к группе будущего времени глагола НСВ, но в первом случае имеется в виду смысловой глагол НСВ, во втором — собственно бытийный. Поэтому есть основания подсчитывать эти формы отдельно.

Также отдельно представлено в табл. 1–3 количество синтаксических конструкций, репрезентирующих настоящее время, с элементом *есть*, поскольку их не вполне корректно считать безглагольными из-за присутствия в них бытийного предиката (в терминологии А. В. Исаченко — предикатива наличия), а по структуре и темпоральной охарактеризованности они идентичны безглагольным конструк-

циям, репрезентирующим семантику настоящего времени и соотносимым с конструкциями, в состав которых входят глагольные формы прошедшего и будущего времени *был / буду* (ср. *Протертый коврик под иконой, в прохладной комнате темно — Есть в близости людей заветная черта*).

Очевидно, что императив (в широком смысле, включая глагольные формы 3-го лица с частицами *пусть / пускай*: *Пусть камнем надгробным ляжет на жизни моей любовь*) относится к группе модальных конструкций, имплицирующих футуральную семантику. Однако аналогичная квалификация форм сослагательного наклонения не всегда правомерна. В случае невыполнимого условия эти конструкции выражают идею прошедшего или настоящего времени и должны включаться в соответствующую группу, ср. *Я с удовольствием поехал бы в отпуск <на следующий год> в Крым* (т.е. поеду в Крым, если будет такая возможность) и *Я пришел бы <тогда, в прошлом> вовремя, если бы не метель*. В первом примере передана семантика гипотетического действия в рамках будущего условного, во втором — в рамках прошедшего СВ с аористическим значением. Следовательно, первый пример следует отнести к группе модальных конструкций с импликацией футурального значения, второй — к группе модальных конструкций, имплицирующих значение прошедшего времени СВ. Вместе с тем, некоторые конструкции с инфинитивами, в том числе придаточные цели — в частности, в том случае, когда главное предложение выражает семантику настоящего времени или перфекта, — также разумно включить в модальную группу: *Он вчера взял отпуск / сегодня берет отпуск,* ***чтобы поехать на неделю со всеми в Крым***.

К сходному типу относятся конструкции типа *Долго ль мне гулять на свете то в коляске, то верхом?* В них имплицируется семантика будущего: в данном примере (из лирики А. С. Пушкина) риторический вопрос состоит в том, долго ли *еще* предстоит герою «гулять». Сам по себе инфинитив не имеет темпоральной квалификации, но контекстные показатели могут создавать модальный оттенок высказывания, позволяющий выделить в анализируемом фрагменте элемент футуральной семантики. Отрицательные односоставные конструкции относятся к группе безглагольных предложений, соотносимых с парадигматическими вариантами с бытийной связкой в будущем и прошедшем времени: *У него нет* (*не было*, *не будет*) *желания возвращаться*.

В случае однородных подлежащих в двусоставном предложении подсчет ведется по количеству пропозиций. При наличии однородных знаменательных элементов составного сказуемого подсчитываются все формы. К лексическим показателям собственно темпоральности добавляются при подсчетах аспектуальные маркеры (*опять*, *снова*,

вновь и т.п.), о значении которых для формирования темпоральной семантики в лирике Мандельштама подробно писала Л. Г. Панова [1998]. Аналитические формы кратких страдательных причастий при подсчетах выделены в особую группу, прилагательные в аналогичных конструкциях включены в группу безглагольных конструкций или конструкций со сказуемым в форме прошедшего времени НСВ (*разбужен / был разбужен* — краткое страдательное причастие; *он весел* — безглагольная конструкция с семантикой настоящего времени; *был весел* — прошедшее время глагола НСВ).

Приведем образцы анализа текстов, послужившего при подсчетах основой квалификации тех или иных употреблений как определенных элементов ФСП темпоральности.

1. *Мальчик сказал мне*: «*Как это больно!*» *И мальчика очень жаль. Еще так недавно он был довольным и только слыхал про печаль. Сказал* — прошедшее время глагола СВ; *как это больно*, *мальчика жаль* — безглагольные синтаксические конструкции (настоящее время); (*еще так*) *недавно* — лексический показатель прошедшего времени; *был довольным*, *слыхал* — прошедшее время глагола НСВ.

2. *И вслед за тем*, *как жалкий Сумароков пролепетал заученную роль*, *как царский посох в скинии пророков, у нас цвела торжественная боль. И вслед за тем*, *как жалкий Сумароков пролепетал заученную роль* — конструкция с временным союзом; *пролепетал* — прошедшее время глагола СВ; *заученную* — полное причастие прошедшего времени; *цвела* — прошедшее время глагола НСВ.

Рассмотрим более сложные варианты идентификации модального элемента ФСП — в конструкциях, отсылающих к идее возможного мира, в котором описанные действия сбудутся или могли бы сбыться.

1. *В мою торжественную ночь* ***не приходи***. *Тебя* ***не знаю***. *И чем* ***могла б*** *тебе* ***помочь****?* В отрывке три элемента ФСП темпоральности: модальная конструкция со значением футуральности, форма настоящего времени глагола НСВ (охвачен временной план от момента условного настоящего в тексте с неограниченной футуральной перспективой: *отныне тебя не знаю*), модальная конструкция со значением футуральности — сослагательное наклонение по контекстным показателям относится к плану будущего времени.

2. *Я* ***надела*** *узкую юбку*, ***чтоб казаться*** *еще стройней* — прошедшее время глагола СВ и придаточное цели, которое характеризует последующий временной план относительно перфектного прошедшего в главном предложении и может быть отнесено к модальным конструкциям с семантикой будущего (возможно, точнее было бы сказать «будущего в прошедшем»: *надела*, *чтобы потом / после этого казаться*). В принципе эту конструкцию можно было бы исключить из рассмотрения, сочтя ее темпорально немаркированной (инфинитив цели), однако в контексте ситуации настоящего времени,

развивающейся в стихотворении, темпоральные переключения оказываются важны именно на уровне нюансов. Перфект главной части нуждается в соотносительном элементе, и этот элемент дается в придаточном цели.

3. *Но* ***я не путник тот***, ***мелькающий*** *на* ***выцветших*** *листах, и подлинно во мне печаль* ***поет***. В примере последовательно представлены: 1) безглагольная конструкция с семантикой настоящего времени; 2) полное причастие настоящего времени; 3) полное причастие прошедшего времени; 4) форма настоящего времени глагола НСВ.

Приведем результаты подсчетов. В табл. 1 даны абсолютные показатели — часто́ты употреблений, полученные при анализе корпуса изучаемых текстов методом сплошной выборки.

Таблица 1. Элементы ФСП темпоральности (абсолютные частоты)[1]

О. Мандельштам (1912–1921, 132 текста)

Регулярные средства выражения семантики времени в акмеистическом тексте		Периферийные и окказиональные средства выражения семантики времени в акмеистическом тексте	
Настоящее время	632	Контекстуальные показатели темпоральных отношений различных типов	36
Безглагольные синтаксические конструкции (настоящее время)	448	Полные причастия настоящего времени	32
(+конструкции с предикатом *есть*)	9	Конструкции с временными союзами	27
Прошедшее время глаголов СВ	207	Будущее время глаголов НСВ	4
Прошедшее время глаголов НСВ	143	(+в качестве связки при именах и наречиях)	8
Модальные конструкции (имплицитное будущее)	129	Образования со значением давнего обыкновения	—
Будущее время глаголов СВ	105		
Лексические показатели	105		
Деепричастия	89		

[1] Граница между регулярными и периферийными средствами условна: если число употреблений средства X составляет не менее 50% от числа стихотворений, то средство признается регулярным, если менее — периферийным.

Таблица 1 (продолжение)

Краткие страдательные причастия	72		
Полные причастия прошедшего времени	68		

А. Ахматова (1912–1921, 188 текстов)

Регулярные средства выражения семантики времени в акмеистическом тексте		Периферийные и окказиональные средства выражения семантики времени в акмеистическом тексте	
(+конструкции с предикатом *есть*)	9	Деепричастия	74
Прошедшее время глаголов СВ	317	Будущее время глаголов НСВ	21 (+38 при именах и наречиях)
Лексические показатели	236	Краткие страдательные причастия	35
Прошедшее время глаголов НСВ	228	Полные причастия настоящего времени	33
Модальные конструкции (имплицитное будущее)	214	Конструкции с временными союзами	21
Будущее время глаголов СВ	131	Образования со значением давнего обыкновения	Нет
Полные причастия прошедшего времени	108		
Контекстуальные средства передачи темпоральных отношений различных типов	107		

Выразим полученные данные в процентах, чтобы получить возможность сравнить относительные часто́ты — «плотность» употребления различных элементов ФСП темпоральности (см. табл. 2). У Мандельштама общая сумма выявленных элементов изучаемого ФСП (100%) составляет 2 114 единиц, у Ахматовой — 2 594 единицы.

Таблица 2. Элементы ФСП темпоральности (процентное выражение)

Средства выражения семантики времени	Мандельштам	Ахматова
Настоящее время	29,9	20,2
Безглагольные синтаксические конструкции (настоящее время)	21,2	19,2
(+конструкции с предикатом *есть*)	0,4	0,4
Прошедшее время глаголов СВ	9,8	12,2
Лексические показатели	4,9	9,1
Прошедшее время глаголов НСВ	6,8	8,8
Модальные конструкции (имплицитное будущее)	6,1	8,3
Будущее время глаголов СВ	5	5,1
Полные причастия прошедшего времени	3,2	4,2
Контекстуальные средства передачи темпоральных отношений различных типов	1,7	4,1
Деепричастия	4,2	2,8
Будущее время глаголов НСВ	0,2	0,8
(+в качестве связки при именах и наречиях)	0,4	1,5
Краткие страдательные причастия	3,4	1,2
Полные причастия настоящего времени	1,5	1,3
Конструкции с временными союзами	1,3	0,8
Образования со значением давнего обыкновения	—	—

Обращает на себя внимание относительное преобладание глагольных форм презенса у Мандельштама сравнительно с данными, полученными при анализе текстов Ахматовой (при том, что корпус его текстов меньше, численное соотношение стихотворений Мандельштама и Ахматовой — 132:188, т.е. приблизительно 7:10; количество данных форм у Мандельштама в полтора раза больше, т.е. приблизительно 3:2). Это обстоятельство корректирует традиционное представление об именном стиле поэзии Мандельштама сравнительно с нейтральным стилем Ахматовой [Лотман 1996]: роль глаголов

в его стиле не настолько второстепенна, насколько предлагает считать М. Ю. Лотман. Однако, делая такой вывод, необходимо учитывать неоднозначность трактовки именного стиля: согласно концепции Вяч. Вс. Иванова, впервые спроецировавшего понятие именного стиля на русскую поэзию в анализе стихотворения А. Блока «Шаги командора», синтаксические построения, избегающие личных форм глагола, типичны для поэзии XX века в целом, и даже шире — для поэзии как таковой, поскольку язык поэзии ориентирован на точку зрения говорящего субъекта, именующего мир [Иванов 1981; 1987]. Вяч. Вс. Иванов находит элементы именного стиля даже у Б. Пастернака, тогда как М. Ю. Лотман противопоставление именного и глагольного стиля демонстрирует на материале лирики Мандельштама (пример именного стиля) и Пастернака (пример глагольного стиля). Кроме того, на ослабление роли глагола в ахматовском синтаксисе указывал еще Эйхенбаум в одной из первых лингвистических работ о ранней лирике Анны Ахматовой [Эйхенбаум 1980: 49–58].

Периферия акмеистического ФСП темпоральности представлена деепричастиями, краткими страдательными причастиями, конструкциями с временны́ми союзами, полными причастиями настоящего времени (также характеризующими обычно глагольный стиль в отличие от именного). Элементы периферийного типа в стихотворениях Мандельштама также встречаются несколько чаще, чем в стихотворениях Ахматовой. Несколько больше в текстах Мандельштама по сравнению с текстами Ахматовой оказывается и безглагольных синтаксических конструкций, в том числе конструкций с элементом «есть», занимающих второе место по встречаемости в текстах обоих авторов. У Ахматовой выше частотность глаголов СВ и НСВ в форме прошедшего времени, лексических обстоятельственных и контекстуальных показателей, модальных конструкций с импликацией футуральности, глаголов СВ и НСВ будущего времени, что приближает ее лирику к глагольному стилю. Таким образом, если у Мандельштама абсолютно доминирует презенсный временной план, то у Ахматовой темпоральная картина богаче: при сопоставлении с Мандельштамом у нее оказывается больше конструкций, репрезентирующих план будущего и прошедшего времени.

В обоих идиостилях доминируют личные глагольные формы настоящего времени. Даже учитывая контексты, реализующие транспозицию (ср., например, использование этих форм для передачи семантики настоящего исторического: *Я был на улице. Свистел осенний шелк. И горло* ***греет*** *шелк щекочущего шарфа*), очевидно, что ведущая функция данных форм — собственно выражение семантики настоящего времени. Преобладание подобных форм закономерно для лирики как рода литературы [Потебня 1905; Медриш 1967; Сильман

1977; Москальская 1981]. Тот же временной план выражается безглагольными конструкциями и конструкциями с предикатом *есть*, которые по численности занимают второе место в обоих идиостилях. Преобладание их у Мандельштама, в отличие от преобладания личных глагольных форм настоящего времени, естественно, поскольку эти конструкции характерны в первую очередь для именного стиля. Одной из функций указанных конструкций является роль инициального элемента текста — зачина. У Мандельштама четыре таких стихотворения («Есть иволги в лесах...», «Есть обитаемая духом свобода...», «Есть целомудренные чары...», «Есть ценностей незыблемая скала...»), у Ахматовой — два («Есть в близости людей заветная черта...» и «Есть три эпохи у воспоминаний...»). Стихотворения, начинающиеся предложением с бытийным предикатом «есть», генезис этой композиционной модели, античные источники и функционирование в истории русской литературы были проанализированы Е. В. Душечкиной [1998: 57].

Третья позиция по частотности, ключевая, хотя и не доминирующая численно, принадлежит формам прошедшего времени СВ, функция которых — выражение перфектного прошедшего (у Ахматовой на 121 глагол со значением перфекта СВ приходится 179 глаголов с аористическим значением, у Мандельштама на 96 глаголов со значением перфекта приходится 111 глаголов с аористическим значением; для перфектного значения характерны контексты, констатирующие физическое или психическое состояние, детали внешности субъекта, состояние предмета или явления [Бондарко 1971а: 98–99], поэтому значительное количество перфектных употреблений глаголов СВ в описательной лирике естественно). Глагол со значением перфекта зачастую выполняет подготовительную, экспозиционную функцию по отношению к появлению в тексте презенсных форм, и эта композиционная роль объясняет обилие форм СВ с перфектным значением. Глаголы с аористической семантикой служат развитию лирического сюжета, что важно для нарративной по своей природе лирики Ахматовой.

Формы прошедшего времени глаголов СВ в процентном соотношении преобладают в текстах Ахматовой по сравнению с текстами Мандельштама. Дальнейшее распределение форм у Ахматовой и Мандельштама не совпадает, что дает основания говорить о качественной специфике идиостилей. У Мандельштама возникает последовательность по убыванию: 1) формы прошедшего времени глаголов НСВ; 2) модальные конструкции; 3) лексические обстоятельственные показатели и формы будущего времени СВ; 4) деепричастия (Д); 5) краткие страдательные причастия (КСП); 6) полные причастия прошедшего времени (ППП), контекстуальные темпоральные показатели (КОНТ); 7) полные причастия настоящего времени; 8) кон-

струкции с временными союзами; 9) формы будущего времени глаголов НСВ. У Ахматовой лексические обстоятельственные показатели занимают отдельную, причем ведущую, первую позицию (о смещении смыслового акцента с глагола на наречие в ранней лирике Ахматовой писал еще Б. М. Эйхенбаум [1980: 57]); затем следуют доминирующие у Мандельштама глаголы НСВ в прошедшем времени; модальные конструкции, формы будущего времени глаголов СВ (порядок трех последних элементов совпадает); далее снова возникает несовпадение: полные причастия прошедшего времени и контекстуальные показатели времени идут в том же порядке, но у Ахматовой — перед деепричастиями и краткими страдательными причастиями (у Мандельштама [Д–КСП]–[ППП–КОНТ], у Ахматовой [ППП–КОНТ]–[Д–КСП] — получается своего рода зеркальная оппозиция); при этом у Ахматовой между двумя последними элементами оказываются формы НСВ будущего времени, которые у Мандельштама завершают ряд; у Ахматовой завершают ряд полные причастия настоящего времени и конструкции с временными союзами (последовательность этих элементов ФСП совпадает). При этом у обоих авторов нет образований со значением давнего обыкновения типа *хаживал*.

Сопоставление с текстами А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, А. А. Блока (табл. 3). Приведем для сопоставления данные подсчетов, проведенных на другом материале: обработано 25 страниц (с начала повести «Первая любовь», около 1 000 строк) прозы И. С. Тургенева и по 100 страниц лирики — А. С. Пушкина (1826–1833 гг.), 145 текстов, и А. А. Блока (1908–1914 гг.), 86 стихотворений.

Сравним полученные результаты (в табл. 3 все данные приведены в процентах).

Таблица 3. Элементы ФСП темпоральности в текстах Мандельштама (М), Ахматовой (А), Пушкина (П), Тургенева (Т), Блока (Б)

Элементы ФСП темпоральности	М	А	П	Т	Б
Настоящее время (НАСТ)	29,9	20,2	23,2	5,0	17,9
Прошедшее время глаголов СВ (ПрСВ)	9,8	12,2	11,7	29,6	9,9
Прошедшее время глаголов НСВ (ПрНСВ)	6,8	8,8	10,1	9,4	9,4
Будущее время глаголов СВ (БудСВ)	5,0	5,1	5,1	2,8	5,9
Полные причастия прошедшего времени (ППП)	3,2	4,2	4,1	4,0	3,6
Полные причастия настоящего времени (ППН)	1,5	1,3	1,1	0,8	2,4

Таблица 3 (продолжение)

Элементы ФСП темпоральности	М	А	П	Т	Б
Краткие страдательные причастия (КСП)	3,4	1,2	1,6	0,4	2,5
Деепричастия (Д)	4,2	2,8	5,3	5,6	4,4
Безглагольные синтаксические конструкции (БЕЗГЛ) + конструкции с глаголов *есть*	21,2, +0,4	19,2 +0,4	18,3 +0,4	7,6 +0,1	17,7 +0,4
Модальные конструкции (МОД)	6,1	8,3	7,8	3,7	9,8
Будущее время глаголов НСВ + в качестве связки при именах и наречиях (БудНСВ)	0,2 +0,4	0,8 +1,5	1,2 +0,5	0,5	0,3 +0,5
Лексические показатели (ЛЕКС)	4,9	9,1	6,5	8,2	7,5
Контекстуальные темпоральные показатели (КОНТ)	1,7	4,1	1,7	1,5	6,3
Деепричастные обороты	0	0	0,1	0,1	0
Временны́е союзы	1,3	0,8	1,3	0,7	1,8

Из табл. 3 видно, что с точки зрения частотности употребления элементов ФСП темпоральности идиостиль Пушкина в первых четырех позициях (после трех универсальных для лирики: НАСТ–БЕЗГЛ–ПрСВ) совпадает с идиостилем Мандельштама (ПрНСВ–МОД–ЛЕКС–Д), далее — с идиостилем Ахматовой (БудСВ–ППП–КОНТ), затем возникает близкий к ахматовскому вариант (КСП–ППН у Пушкина, КСП–ППН у Ахматовой), а завершается ряд снова так же, как у Мандельштама (БудНСВ). У Пушкина финальную позицию занимают отсутствующие у акмеистов образования со значением давнего обыкновения.

Отметим, что в рамках «лирического презенса» доля форм настоящего времени у разных поэтов неодинакова, причем в текстах Мандельштама удельный вес этих форм наибольший (выше, чем у Ахматовой, представительницы того же, что и Мандельштам, направления). Эта разница значима, поскольку составляет около трети всех употреблений форм настоящего времени в текстах Мандельштама. Какие философские черты поэтики Мандельштама отражает данная ситуация? Скорее всего, так воплотилось декларированное акмеистами стремление к предметности поэзии. Согласно установкам Мандельштама, предметы даны нам в ощущении, они существуют тогда и только тогда, когда есть видящий их наблюдатель, т.е. «здесь» и «сейчас». В данном случае поэтическая практика полностью соответствует теоретическим положениям статьи-манифеста «Утро акмеизма». Как пишет Мандельштам, «существовать — высшее самолюбие художника. Он не хочет другого рая, кроме бытия <...> Любите существование вещи больше самой вещи и самое бытие больше са-

мих себя, — вот высшая заповедь акмеизма» [Мандельштам 1991, II: 320–324]. С этой точки зрения доминирование в лирике Мандельштама актуального и расширенного презенса, а также прошедшего СВ в перфектном значении и кратких страдательных причастий в том же значении (в конструкциях типа *Как раковина без жемчужин, я* ***выброшен*** *на берег твой*) закономерно, поскольку именно эти временные значения служат изображению «вещи в ощущении», создают эффект непосредственной наблюдаемости, т.е. являются средством создания перцептивной ситуации. Прошедшее время НСВ таким качеством не обладает, поэтому форм данного типа у Мандельштама существенно меньше, чем у других поэтов. У Ахматовой эта тенденция прослеживается в меньшей степени, что объясняется особенностью доминирующих синтаксических конструкций — меньшей «глагольностью» стиля (о критериях противопоставления глагольного и именного стилей см. [Лотман 1996]).

Высокий процент форм прошедшего времени СВ у Мандельштама (высокий относительно произведений других поэтов) также может быть интерпретирован в рамках основных принципов акмеистической поэтики. Эта особенность рассматривается нами как отражение идеи «тоски по мировой культуре», культуре уже завершенной, которая может и должна быть отражена в современном тексте, являющемся только напоминанием об утраченной сущности. Исчерпанность этой культурной традиции находит грамматическое выражение в употреблении глаголов СВ в прошедшем времени и кратких страдательных причастий прошедшего времени (см., например, «Айя-София», «Notre Dame», «Домби и сын», «Отравлен хлеб и воздух выпит. . . », «На площадь выбежав, свободен. . . », «Посох», «Аббат» и др.), а преемственность нынешней культуры по отношению к ушедшей — в соположении перфектных и презенсных употреблений глагола. (Ср. другой способ отражения этой тенденции в грамматическом строе текста, обнаруженный Я. И. Гином: «Грамматический парадокс здесь [в стихотворении „О временах простых и грубых“: *На стук в железные ворота привратник, царственно ленив, встал, и звериная зевота напомнила твой образ, скиф. . . — Я. А.*] состоит в том, что о близком (в пространстве и во времени) привратнике говорится в 3 л., а о далеком скифе — во 2 л. Поэт добивается обратной перспективы: хронотоп внутреннего мира оказывается обращенным внешним (реальным) хронотопом, трансформируется речевая коммуникативная ось „я-здесь-сейчас“» [Гин 1996: 83]).

В прозе, как и следовало ожидать, доминируют формы прошедшего времени, в том числе НСВ. Дальнейшее распределение также оказывается качественно иным, чем в лирике (см. табл.3).

Подводя итог количественному анализу распределения элементов ФСП темпоральности в текстах акмеистической лирики, можно кон-

статировать, что центром поля оказываются формы презенса и безглагольные конструкции с семантикой настоящего времени, ближнюю периферию образуют формы глаголов СВ и НСВ прошедшего времени, модальные конструкции с футуральной импликацией, лексические обстоятельственные показатели. Остальные элементы (исключая отсутствующие в данном корпусе текстов формы со значением давнего обыкновения) формируют дальнюю периферию. Это перераспределение языковых ресурсов обнаруживает довольно значительное отступление от общеязыкового поля времени.

3. Функции временных форм глагола в акмеистических текстах

У форм времени глаголов НСВ в зависимости от типов их употребления выделяют следующие оттенки значений: у глаголов настоящего времени — настоящее актуальное (время момента речи, расширенное настоящее, настоящее постоянного действия), настоящее неактуальное (повторяющегося действия, узуальное, гномическое); у глаголов прошедшего времени — значения конкретного единичного действия в прошлом, повторяющегося и обычного действия, обобщенного факта (прошедшее аористическое), перфектное значение; у глаголов будущего времени — значения единичного конкретного действия, постоянного действия, повторяющегося и обычного действия, обобщенного факта. У глаголов прошедшего совершенного — перфектное и аористическое значения. У глаголов настоящего-будущего совершенного — значение будущего (конкретного единичного действия, повторяющегося и обычного действия) и значение настоящего неактуального (абстрактного и потенциального) [Бондарко 1971а: 64–112]. Выделение регулярных употреблений глагольных форм в том или ином значении в идиостиле позволяет выявить семантические предпочтения, характерные для поэтики акмеизма.

3.1. Образно-поэтическое настоящее актуальное

Настоящее неактуальное, помимо настоящего абстрактного, включает в себя еще некоторые разновидности, одна из которых — настоящее изобразительное. Сочетание признаков актуальности и вневременности типично таким образом для настоящего изобразительного. Эту разновидность выделил Н. С. Поспелов [1960], она отмечена также А. В. Бондарко [1971а; Русская грамматика 1980]. «Цель и сфера функционирования изобразительного настоящего определяют особое его отношение к семантическому признаку локализованности / нелокализованности действия во времени <...> Действия предстают перед взором говорящего. Они как будто конкретны и актуальны.

И вместе с тем они выходят за рамки простой конкретности и актуальности. То, что изображает такое настоящее, актуально и вместе с тем „вневременно“, „типично“» [Бондарко 1971а: 74]. Однако соотношение указанных оттенков значения в разных контекстных употреблениях может быть различным. Так, прототипическим, с точки зрения соотношения данных семантических компонентов, можно считать вариант, максимально приближенный к разговорному регистру и описывающий ситуацию как совпадающую с условным моментом речи (каждое обращение к поэтическому тексту воссоздает эту ситуацию). Это момент прототипической поэтической перцептивности, воссоздающий событие, вписанное в дейктическую триаду «я-здесь-сейчас» [Бондарко 2001в: 156–157]. С учетом четырехкомпонентной трактовки хронотопа (субъект, место, время, алгоритм действия [Казанцева 1991]) получаем вариант «я-здесь-сейчас-являюсь участником / наблюдателем события / субъектом переживания». Иллюстрацией прототипа служат следующие варианты употребления форм настоящего времени в поэтическом тексте: (1) ***Вот*** *неподвижная земля, и вместе с ней я христианства* ***пью*** *холодный горный воздух*; (2) ***Уже*** *светло,* ***поет*** *сирена в седьмом часу утра*; (3) ***Слышу*** *с крепости сигналы,* ***замечаю***, *как тепло*; (4) *Я так и знал, кто* ***здесь*** *присутствовал незримо: кошмарный человек* ***читает*** *«Улялюм»*; (5) *То, что я* ***сейчас говорю***, ***говорю*** *не я*; (6) *Выходит офицер, кичась,* — ***Не сомневаюсь*** — ***это*** *князь...* (О. Мандельштам); (7) *Мне очи* ***застит*** *туман,* ***сливаются*** *вещи и лица, и только красный тюльпан,* ***тюльпан у тебя в петлице***; (8) ***Где-то*** *кошки жалобно* ***мяукают***, *звук шагов я издали* ***ловлю***; (9) *А глаза* ***глядят уже*** *сурово в потемневшее трюмо* (А. Ахматова). Сходство с настоящим актуальным момента речи достигается при таком употреблении совпадением формальных средств выражения темпоральной семантики, вплоть до дейктических показателей (например, *вот*, *здесь*, *сейчас*, *это*, *уже*), однако мы имеем дело с воображаемой ситуацией, актуализируемой при каждом новом обращении к тексту.

В примере (1) показатель «вот» служит пространственным локализатором, помещая лирического героя в рамки описываемой ситуации, и, выполняя дейктическую функцию, автоматически указывает на значение «сейчас», актуализируя семантику настоящего времени условно-поэтического момента речи. Ср. примеры непоэтической речи: *Вот книга, я ее просматриваю*, но: *Вот комната, я в ней живу.* В первом случае контекстом подчеркивается настоящее актуальное, причем эта семантика возникает благодаря конкретности объекта и отчасти связанной с ней конкретности действия (замена глагола на другой — *читаю* — уже усложнит временной план ситуации: появится оттенок настоящего актуального расширенного, поскольку из контекста неясно, читается книга в данный момент или имеется в виду чте-

ние данной книги на протяжении некоторого периода времени: *Вот книга, я ее читаю <уже неделю>*; *Вот твоя книга, <но вернуть ее пока не могу,> я ее читаю*). Глагол из примера (1) — глагол физиологического действия, формирующего темпоральную ситуацию конкретного момента, что сближает ситуацию с рассмотренной разговорной иллюстрацией, однако он входит в метафорическое сочетание, усложняющее семантику (объект «воздух христианства» расширяет временной план, как это происходит во втором примере из разговорного языка благодаря семантике глагола «жить»). Итак, предпочтительное прочтение примера (1) — прочтение в настоящем актуальном (аргументом являются компоненты *вот*, *пью* — ср. функцию показателя «это» в примере (6)), однако лирический герой уподобляется земле, существующей в «христианском воздухе» на протяжении длительного времени, в силу чего становится возможным второе прочтение темпоральной семантики — как настоящего расширенного.

В примере (2) точку отсчета задает показатель «уже»: это настоящее актуальное с оттенком статальной перфектности (уже рассвело, результат наблюдается). Синтаксический строй первой части (безглагольная конструкция, соотносимая с конструкциями с глаголом *быть* в прошедшем и будущем) позволяет отнести этот фрагмент к средствам выражения презентной семантики, типичным для репрезентации настоящего актуального момента речи. Собственно глагол в настоящем времени появляется во второй части фразы вместе с временным показателем «в седьмом часу утра». Употребление этого темпорального маркера, однако, снижает эффект актуализации настоящего, поскольку вносит в контекст намек на возможное осмысление ситуации в плане, близком семантике настоящего исторического: изображению события из прошлого грамматическими средствами с семантикой настоящего. Конструкция «в седьмом часу утра» воспринимается как элемент нарратива или неактуального настоящего (ср. изолированное *Поет сирена в седьмом часу утра* как вариант настоящего узуального — обычно поет). При нормативном настоящем актуальном момента речи более естественно воспринималась бы номинативная конструкция «седьмой час утра», вариант «в седьмом часу утра» возможен, скорее, при эмоциональной актуализации: *Да как они смеют так распевать в седьмом часу утра!* Ср. возможное прочтение в плане настоящего расширенного примера (9).

В примере (3) актуализация происходит за счет лексической семантики глаголов восприятия, употребленных в презентных формах (ср. семантику глаголов в примере (7)). В (4) — при помощи сочетания локализатора «здесь» и презентной формы глагола «читает»; ср. контекст, сочетающий презенс глаголов с неопределенным локализатором в той же функции, в примере (8). Наконец, в примере (5) ситуацию характеризует в плане настоящего темпоральный ло-

кализатор «сейчас», который относится в равной мере к сюжетной ситуации текста и к внешней ситуации каждого нового обращения читателя к тексту.

Игра времен (термин В. В. Виноградова) дублируется, когда Мандельштам подключает новый ракурс видения ситуации: пересказывает содержание фильма, имитируя момент просмотра кинокартины («Кинематограф»). Актуальное настоящее текста может восприниматься 1) как описание происходящего на глазах у зрителя; 2) как пересказ сюжета фильма в нарративном настоящем историческом; 3) как образно-поэтическое настоящее актуальное стихотворного текста с лирическим сюжетом, имеющим нормативную темпоральную структуру.

3.2. Перфектные употребления глагольных форм

Актуальность описываемой ситуации усиливается при помощи семантического сближения глагольных форм настоящего НСВ в актуальном употреблении и прошедшего СВ с перфектным значением (значением результата, актуального для настоящего, поскольку «перфектом можно назвать только такие глагольные формы <...> в значении которых совмещены два временных плана, предшествующий и последующий, причем между двумя ситуациями, относящимися к этим двум планам, существует та или иная связь» [Маслов 1984: 32]. О трактовке перфекта как разновидности настоящего писал Н. С. Поспелов, анализируя морфологию времени в «онегинской» строфе: «Временной план прошлого выражен „имперфектными“ формами прошедшего несовершенного (*качал*, *ходили*, *плакали*). Временной план „настоящего“ устанавливается причастной и глагольной формами с перфектным значением (*забыт*, *заглох*)...» [Поспелов 1990: 161]).

Прием сближения форм глаголов НСВ со значением актуального настоящего и форм СВ с перфектной семантикой характерен для поэтики Мандельштама и может быть признан особенностью его идиостиля. Перфектные зачины (П) позволяют сконцентрировать экспозицию и служат опорной точкой для развертывания лирического сюжета в настоящем актуальном (А) (отметим, что статив менее характерен для Мандельштама, в его текстах преобладает акциональный перфект): ***Заснула*** (П) *чернь.* ***Зияет*** (А) *площадь аркой*; *Природа — тот же Рим и* ***отразилась*** (П) *в нем. Мы* ***видим*** (А) *образы его гражданской мощи.* Аналогичные случаи в лирике Ахматовой менее частотны. Кроме того, Ахматова уходит от использования глаголов с перфектной семантикой в роли зачина, функциональная нагрузка форм с перфектным значением увеличивается: ***Пахнет*** *гарью* (А). *Четыре недели торф сухой по болотам горит <...>* ***Стало*** (П) *солнце немилостью божьей*; *От любви твоей загадочной, как*

от боли, в крик ***кричу*** (А), ***стала*** *желтой и припадочной* (П); *Ты* ***куришь*** (А) *черную трубку, так странен дымок над ней, я* ***надела*** (П) *узкую юбку, чтоб казаться еще стройней*; ***Чувствую*** (А), *что кровь во мне уже совсем* ***похолодела*** (П).

Большинство перфектных употреблений у Мандельштама представлено причастными (краткими страдательными причастиями прошедшего времени СВ) и деепричастными формами: *Купол твой, по слову очевидца, как на цепи* ***подвешен*** *к небесам*; *Как средиземный краб или звезда морская,* ***был выброшен*** *водой последний материк*; ***Рассеян*** *утренник тяжелый*; *На площадь* ***выбежав****, свободен стал колоннады полукруг*; *Как плуги* ***брошены****, ржавеют якоря, и вот* ***разорваны*** *трех измерений узы и открываются всемирные моря.* В текстах Ахматовой деепричастия редки: *Не оттого ль,* ***уйдя*** *от легкости проклятой, смотрю взволнованно на темные палаты*; перфектным значением обычно обладают формы прошедшего времени глаголов СВ: *В прохладной комнате темно, и густо плющ темно-зеленый* ***завил*** *широкое окно*, реже — причастия: *Окна тканью белою* ***завешены****, полумрак струится голубой*; *Все* ***отнято****: и сила, и любовь.*

3.3. Непрототипические варианты настоящего актуального

Как было показано при рассмотрении иллюстраций прототипа настоящего актуального условно-поэтического момента речи, существует изобразительно-поэтический аналог настоящего расширенного, охватывающего, помимо условного момента речи, временной интервал, предшествующий точке временной локализации события (условному *здесь* и *сейчас*) и / или следующий за ним. Эта семантика может быть как факультативной, дополнительной (в рассмотренных прототипических примерах настоящего актуального момента речи), так и основной, доминирующей: ***Уничтожает*** *пламень сухую жизнь мою, и ныне я не камень, я дерево* ***пою***; *Он все еще* ***проходит*** *мимо, в тумане полдня, вдоль межи*; *Мне холодно. Прозрачная весна в зеленый пух Петрополь* ***одевает*** (ср. собственно настоящее актуальное: *А я* ***вверяюсь*** *их заботе, мне холодно, я спать* ***хочу***). Элемент вневременности здесь усилен, поскольку актуализация события задана не точечным, а протяженным вариантом — формой глагола НСВ с дополнительными лексическими показателями длительности описываемого временного периода (*все еще, весна, жизнь*) — и тем самым ослаблена. Ср. у Ахматовой: *Новогодний праздник* ***длится*** *пышно, влажны стебли новогодних роз*; *Он* ***длится*** *без конца — янтарный, тяжкий день*; *Прозрачная* ***ложится*** *пелена на свежий дерн и незаметно* ***тает***; *Хорошо твои слова* ***баюкают****: третий месяц я от них* ***не сплю***; *Со дня Купальницы-Аграфены малиновый*

платок ***хранит***; *Я недаром печальной* ***слыву*** *с той поры, как привиделся ты.*

Третью ступень субкатегоризации (или второй шаг на пути удаления от прототипа) представляет собой поэтический аналог настоящего постоянного (действие или состояние длится «всегда», подобная характеристика относится в первую очередь к описаниям постоянных закономерностей, пейзажным или портретным зарисовкам): *В моей крови* ***живет*** *декабрьская Лигейя*; *В разноголосице девического хора все церкви нежные* ***поют*** *на голос свой*; *Не город Рим* ***живет*** *среди веков, а место человека во вселенной* (О. Мандельштам); *Ты* ***дышишь*** *солнцем, я* ***дышу*** *луною, но живы мы любовию одною*; *Все мне* ***видится*** *Павловск холмистый, круглый холм, неживая вода, самый томный и самый тенистый, ведь его не забыть никогда*; *Где под душным сводом моста* ***стынет*** *грязная вода* (А. Ахматова). В приведенных примерах удельный вес семантики вневременности постепенно приближается к настоящему неактуальному, утрачивающему локализацию во времени. Однако на смену континуальному процессу, длящемуся «сейчас и всегда», в этом случае иногда приходит дискретность, повторяемость действия.

Исходя из сказанного, можно констатировать, что настоящее неактуальное является следующей ступенью удаления от прототипического ядра образно-поэтического настоящего актуального. Различают три типа временной нелокализованности: простую повторяемость, узуальность и вневременность [Смирнов 1987]. Эти типы и объединены следующим (в нашем порядке изложения — четвертым) вариантом употребления форм настоящего времени — настоящим неактуальным: *Мы в каждом вздохе смертный воздух* ***пьем*** (повторяемость / узуальность); *И не знать, что от счастья и славы безнадежно* ***дряхлеют*** *сердца* (узуальность / вневременность); *В пожатье рук мучительный обряд, на улицах ночные поцелуи, когда речные* ***тяжелеют*** *струи и фонари, как факелы,* ***горят*** (повторяемость / узуальность); *Когда* ***шуршат*** *в овраге лопухи и* ***никнет*** *гроздь рябины желто-красной,* ***слагаю*** *я веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной* (повторяемость); *Так* ***гладят*** *кошек или птиц, так на наездниц* ***смотрят*** *стройных* (узуальность / вневременность); *У разлюбленной просьб* ***не бывает*** (узуальность / вневременность).

В лирике Ахматовой композиция текста, как правило, строится на основе сопоставления общего и частного, всечеловеческого и переживаемого лирической героиней, абстрактного настоящего и образно-поэтического настоящего актуального. Автору важен темпоральный контраст, поэтому временные формы глаголов трактуются в рамках текста значительно легче, чем у Мандельштама. Мандельштам, напротив, зачастую объединяет наблюдаемую частную ситуацию со

всей историей вселенной, поэтому многие формы можно (а часто и нужно) трактовать как настоящее актуальное и настоящее абстрактное одновременно, ср. [Панова 1996; 1998; 2003].

Так, в стихотворении «Старик» глаголы первых четырех строф передают семантику настоящего актуального, а в предпоследнем четверостишии к этой трактовке добавляется идея повтора (*... плетется он, когда глядит из каждой подворотни суровая беда* — каждый раз, когда...). Презенсные формы в главном и придаточном фрагментах предложения в сочетании с временным союзом «когда» задают семантику неединичности действия (ср.: *Я прихожу <всегда, каждый раз>, когда ты уходишь* [идея повтора] и *Я пришел, когда ты уходил / ушел* [идея единичности ситуации в прошлом] или *Я пришел, а ты уходишь* [идея единичности презенсной ситуации]). Учитывая эту грамматическую специфику фразы, приходится признать допустимость трактовки двух последних строф как выдержанных в плане настоящего абстрактного, подразумевая элемент повтора ситуации. В таком случае допустима реинтерпретация первых четырех строф как частной иллюстрации обычной, регулярно (еженедельно, поскольку речь идет о субботе) воспроизводимой ситуации.

Описание презенсного плана в виде полевой структуры основано на принципе постепенного ослабления актуализации по мере удаления от прототипа (при переходе от настоящего актуального через настоящее расширенное и настоящее постоянного действия к настоящему неактуальному — повторяющегося действия, узуальному и гномическому). Темпоральность в сфере настоящего времени интерпретируется в тесной связи с перцептивностью. Поскольку критерий актуализации неприменим к «неперцептивному» прошедшему и будущему времени, дескрипция этих временных планов строится иначе.

3.4. Семантика глагольных форм прошедшего времени

Прошедшее время распадается на группы НСВ и СВ глаголов, первая из которых включает, во-первых, прошедшее конкретного единичного действия: *Чужая речь* ***не достигала*** *слуха, и только упряжь тонкая* ***сияла****, да мостовая праздничная глухо ленивые подковы* ***отражала***; ***Собирались*** *эллины войною на прелестный остров Саламин*; ***Шумели*** *в первый раз германские дубы* (О. Мандельштам); ***Было душно*** *от жгучего света*; ***Томилось*** *сердце, не зная даже причины горя своего*; ***Звенела*** *музыка в саду* (А. Ахматова); во-вторых, прошедшее постоянное: *И никогда он Рима* ***не любил*** (О. Мандельштам); *Прости, что я* ***жила*** *скорбя и солнцу* ***радовалась*** *мало*; *За то, что я земным отрадам* ***не предавалась*** *никогда, за то, что я* ***не говорила*** *возлюбленному*: *«Ты любим»* (А. Ахматова); в-третьих, прошедшее повторяющегося действия: *С каким глухим негодованьем ты* ***собирал*** *с князей оброк*

или с рассеянным вниманьем на фортепьянный ***шел*** *урок*; *Я* ***не искал*** *в цветущие мгновенья твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз* (О. Мандельштам); *А еще так недавно, недавно* ***замирали*** *вокруг тополя и* ***звенела*** *и* ***пела*** *отравно несказанная радость моя*; *И печальная Муза моя, как слепую,* ***водила*** *меня*; *Пусть не ты над моими устами* ***наклонялся****, моля о любви*; *Столько раз я* ***проклинала*** *это небо, эту землю*; *На набережной, где всегда* ***встречались*** (А. Ахматова); в-четвертых, прошедшее обобщенного факта: *Знаю, милый, можешь мало обо мне припоминать*: ***не бранила,не ласкала,не водила причащать*** (А. Ахматова).

Вторая группа включает два основных употребления глаголов СВ в форме прошедшего времени — в перфектном значении: *Природа — тот же Рим и* ***отразилась*** *в нем. Мы видим образы его гражданской мощи*; *На площадь выбежав, свободен* ***стал*** *колоннады полукруг — и* ***распластался*** *храм Господень, как легкий крестовик-паук* (О. Мандельштам); *Я* ***надела*** *узкую юбку, чтоб казаться еще стройней*; ***Потускнели*** *и, кажется,* ***стали уже*** *зрачки ослепительных глаз*; *Я* ***научилась*** *просто, мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу*; *Солнце комнату* ***наполнило*** *пылью желтой и сквозной* (А. Ахматова); в аористическом: *Я на прогулке похороны* ***встретил*** *близ протестантской кирки, в воскресенье. Рассеянный прохожий, я* ***заметил*** *тех прихожан суровое волненье*; *И всем векам — пример Юстиниана, когда похитить для чужих богов* ***позволила*** *Эфесская Диана сто семь зеленых мраморных столбов*; *В таверне воровская шайка всю ночь играла в домино,* ***пришла*** *с яичницей хозяйка, солдаты* ***выпили*** *вино*; *Кто* ***потерял*** *в песке колчан, кто* ***выменял*** *коня — событий рассеивается туман* (О. Мандельштам); ***Подошел*** *ко мне,* ***улыбнулся***; ***Родилась*** *я ни поздно, ни рано*; *Я к нему* ***протянула*** *ребенка* (А. Ахматова).

3.5. Семантика глагольных форм будущего времени

План будущего охватывает конкретное единичное действие (как правило, это глаголы СВ, формы НСВ — преимущественно формы глагола «быть» в составных именных сказуемых или в качестве экзистенциального предиката, гораздо реже — собственно в составе аналитического будущего времени): *По тебе* ***будут плакать*** *леса, олень*; *И* ***грянут*** *«здравия» раскаты на крик «здорово, молодцы!»*; *Из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное* ***создам*** (О. Мандельштам); *Но я боюсь, что раньше всех* ***умрет*** *тот, у кого тревожно-красный рот и на глаза спадающая челка*; *А за грех твой, милый мой, я пред Господом* ***отвечу***; *Не верится, что скоро* ***будут*** *святки*; *Одною песней* ***больше будет***; *Я* ***не буду*** *тебя* ***винить***; *Скоро* ***будет*** *последний суд* (А. Ахматова); повторное (СВ и НСВ): ***Будешь****, милый, к маме в гости в воскресенье* ***прибегать***; *Изда-*

лека, мальчик зоркий, ***будешь*** *крест мой* ***узнавать***; *Серой белкой* ***прыгну*** *на ольху, ласочкой пугливой* ***пробегу****, лебедью тебя я* ***стану звать***; *Всем он* ***станет мерить*** *мой белый башмачок*; *Всю жизнь* ***ловить*** *он* ***будет*** *стих*; *О, как ты часто* ***будешь вспоминать*** *внезапную тоску неназванных желаний* (А. Ахматова); *И не одно сокровище, быть может, минуя внуков, к правнукам* ***уйдет****, и снова скальд чужую песню* ***сложит*** *и как свою ее* ***произнесет*** (О. Мандельштам); постоянное (НСВ): ***Буду*** *тихо на погосте под доской дубовой* ***спать***; ***Будет*** *сын твой и* ***жив****, и* ***здоров*** (А. Ахматова); *Ты* ***будешь Лия****,* ***не Елена*** (О. Мандельштам); абстрактное, в том числе потенциальное (СВ): ***Не просветлеет*** *темная гора*; *Эту легкую корону никогда я* ***не сниму***; *Но музыка от бездны* ***не спасет***; *И мудрое сферическое зданье народы и века* ***переживет****, и серафимов гулкое рыданье* ***не покоробит*** *темных позолот*; *Никак* ***не уляжется*** *крови сухая возня* (О. Мандельштам); *Сколько лет я* ***проживу*** (А. Ахматова).

В идиостиле Мандельштама в изучаемый период футуральные формы НСВ со значением обобщенного факта крайне редки: *Мы* ***будем помнить*** *и в летейской стуже, что десяти небес нам стоила земля* (трактовка весьма условна, нет весомых аргументов против отнесения этого примера к группе футуральных форм НСВ со значением постоянного действия), ср. у Ахматовой, в творчестве которой эти формы не так редки: *А та, что сейчас танцует, непременно* ***будет в аду***; ***Не будем пить*** *из одного стакана ни воду мы, ни красное вино*; ***Ни розою, ни былинкою не буду*** *в садах отца*; ***Будешь жить****, не зная лиха,* ***править*** *и* ***судить****, со своей подругой тихой сыновей* ***растить***; *Мы* ***будем друзьями... Гулять,целоваться,стареть***. У Мандельштама, в свою очередь, сходным значением обладают формы будущего глаголов СВ: *И мудрое сферическое зданье народы и века* ***переживет****, и серафимов гулкое рыданье* ***не покоробит*** *темных позолот.* Однако футуральные формы СВ могут употребляться только в трех значениях: единичного конкретного действия, повтора или настоящего неактуального с модальным оттенком. Если для употребления *не покоробит* последняя функция вполне допустима, то для *переживет* актуально собственно проспективное значение будущего времени, причем, с одной стороны, имеется в виду финальный результат, который можно трактовать как конкретное единичное действие (ничего не останется, не будет самого времени, а собор выстоит), а с другой стороны, сообщается, что предварительно погибнут все народы и кончится время — пройдут все века, один за другим, повторяя одну и ту же судьбу — здесь можно усмотреть и семантику повтора. Поскольку употребление глагольной формы *переживет* в данном контексте метафорично, для выбора более точного значения необходимо выяснить, какая

сема более акцентирована — результата или повтора. Исходя из контекста стихотворения, можно предположить, что статический (описательный, фактический) аспект здесь превалирует над динамическим (повествовательным, событийным). В таком случае первая трактовка оказывается более приемлемой, и выражаемое содержание следует интерпретировать как будущее единичного конкретного действия.

У будущего времени в зависимости от соотношения темпоральной и субъективной модальной семантики можно выделить следующие оттенки значения: реальное будущее, потенциально возможное будущее, потенциально невозможное будущее, желательное будущее (оптатив), нежелательное будущее. Соотношение нескольких темпоральных ситуаций позволяет выделить также значение будущего в прошедшем, которое, в свою очередь, может осложняться модальными семами.

Первое значение выражается футуральными формами индикатива (СВ и НСВ), остальные — императивом, сослагательным наклонением, соотношением главного и придаточного компонентов сложного предложения, презенсными формами и формами прошедшего времени, безглагольными конструкциями с лексическими спецификаторами, инфинитивом, причастиями и деепричастиями. Можно построить следующую предварительную классификацию вариантов значения будущего времени во взаимодействии с модальными оттенками значения.

1. Реальное будущее: а) уверенность в прогнозе: *Когда же счастия гроши ты проживешь с подругой милой и для пресыщенной души все станет сразу так постыло — в мою торжественную ночь не приходи*; *А та, что сейчас танцует, непременно будет в аду*; *И мудрое сферическое зданье народы и века переживет*; *Он осыпается с телеги — не хватит на мешки рогож*; *И снова скальд чужую песню сложит и как свою ее произнесет*; *Все повторится снова*; б) намерение, обещание: *И я стану — Христос, помоги! — на покров этот, светлый и ломкий*; *Приду и стану на порог, скажу: отдай мне мой платок*; *Я с тобой не стану пить вино*; *Из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам*; *Эту легкую корону никогда я не сниму*; *Мы же песнью похоронной... солнце черное уймем.*

2. Потенциальное будущее: а) возможное — вера в способность субъекта действия осуществить его или в неизбежность законов природы: *Только ты, соловей безголосый, эту муку сумеешь понять*; *Все прощу, следя, как луч взбегает и сбегает по влажному весеннему плющу*; *О Европа, новая Эллада, охраняй Акрополь и Пирей*; *Католиком умрете вы*; предположение, ожидание: *Скоро будет последний суд*; *И мнится: голос человека здесь никогда не прозвучит*; *Одною песней больше будет*; *И не*

одно сокровище, быть может, минуя внуков, к правнукам уйдет; *Ну кто ее <лиру> такую приласкает, кто спящую ее перевернет*; *И, мнится, заворкует вдруг*; б) невозможное – в негативных конструкциях: *Не будем пить из одного стакана ни воду мы, ни красное вино, не поцелуемся мы утром рано, а ввечеру не поглядим в окно*; *Я знаю: он с болью своей не сладит*; *Но никакие звезды не убьют морской воды тяжелый изумруд*; *Далеко в шалаше голоса: не поймешь, не ответишь*; собственно ирреальное в силу необратимости хода времени или очевидности законов природы: *Иль ворон заклюет орлов, иль потечет обратно Висла? Или снега не будут больше зимою покрывать ковыль?*; *Я не увижу знаменитой «Федры» в старинном многоярусном театре с прокопченной высокой галереи при свете оплывающих свечей.*

3. Экспрессивно-оценочное выражение футуральности: а) желаемое – мечта: *Стать бы снова приморской девчонкой, туфли на босу ногу носить*; *Солнце, возьми мой черный плащ, но сохрани живую мощь*; сомнение: *Простишь ли мне эти ноябрьские дни*; *Коснется ли огонь небесный моих сомкнувшихся ресниц*; *И если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу*; надежда, пожелание: *Да будет жизнь пустынна и светла*; *Кто, скажите, мне сознанье виноградом замутит*; *Скоро ль истиной народа станет истина моя*; *Да будет в старости печаль моя светла*; допущение, разрешение: *Пусть они улыбнутся лукаво*; *Пусть имена цветущих городов ласкают слух значительностью бренной*; *Пускай уходит в ночь глухую мной всполошенное зверье*; и условие, приближенное к императиву: *Если ты еще со мной побудешь, я у Бога вымолю прощенье*; б) нежелательное – опасение: *Только страшно так, что скоро, скоро он вернет свою добычу сам*; *Неужели ты обидишь так, как в прошлый раз*; *Но если я умру, то кто же мои стихи напишет вам, кто стать звенящими поможет еще не сказанным словам*; *Когда-нибудь в столице шалой... сорвут платок с прекрасной головы*; сожаление: *И сердцу горько верить, что близок, близок срок, что всем он станет мерить мой белый башмачок*; негативное условие (даже если), уступка (хотя): *Пусть снега на черных пашнях не растают никогда, но печаль моих домашних мне по-прежнему чужда*; *Пусть говорят: любовь крылата, смерть окрыленнее стократ.*

Перечислим варианты формального выражения футуральной семантики в рассматриваемом корпусе текстов:

1) индикатив (в том числе с футуральной связкой в составных предикатах): *Я* ***спою*** *тебе, чтоб ты не плакал, песенку о вечере разлук*; *Мы* ***будем*** *друзьями:* ***гулять***, ***целоваться***, ***стареть***; *И я не*

верить не могла, что ***будет дружен*** *он со мною*; *По тебе* ***будут плакать*** *леса, олень*; *Священникам налог исправно* ***будет послан***;

2) формы прошедшего времени индикатива в значении будущего (в том числе будущего в прошедшем) в придаточном цели: *Я спою тебе, чтоб ты* ***не плакал****, песенку о вечере разлук*; *Сядет на ветку и станет петь, чтоб тот, кто спокоен в своем дому, раскрывши окно,* ***сказал***; *А чтоб тебя благодарить я* ***смела*** *совершенней, позволь мне миру подарить то, что любви нетленней*; *А чтобы она* ***не запела*** *о прежнем, он белую птицу мою убил*; *Здесь позаботилась подпружных арок сила, чтоб масса грозная стены* ***не сокрушила***;

3) презенсные формы индикатива с семантикой настоящего-будущего времени (эти формы глагола выражают значение следования по отношению к исходной точке отсчета как основное временное значение и при этом имеют возможность в некоторых контекстах выражать значение настоящего неактуального [Бондарко 1971а: 102]) в уступительных конструкциях (частица *пусть* в этих конструкциях не передает побудительной семантики): *Пусть* (в значении «хотя») *он* ***не хочет*** *глаз моих, пророческих и неизменных, всю жизнь ловить он будет стих, молитву губ моих надменных*; *Есть в близости людей заветная черта — ее не перейти влюбленности и страсти. Пусть* (в значении «несмотря на то что») *в жуткой тишине* ***сливаются*** *уста и сердце бьется от любви на части*; *Пусть* (в значении «хотя») *в душной комнате, где клочья серой ваты и склянки с кислотой, часы* ***хрипят*** *и* ***бьют, — гигантские шаги, с которых петли сняты, — в туманной памяти виденья оживут***;

4) императив: ***Пусть*** *камнем надгробным* ***ляжет*** *на жизни моей любовь! В мою торжественную ночь* ***не приходи***; ***Пусть*** *когда-нибудь имя мое* ***прочитают*** *в учебнике дети*; *Мне любви и покоя не дав,* ***подари*** *меня горькою славой*; *Если ты к ногам моим положен, ласковый,* ***лежи***. ***Поедем*** *в Царское Село!* ***Разменяйте*** *мне мой золотой!* ***Вбивайте*** *крепче сваи,* ***стучите****, молотки*;

5) сослагательное наклонение: *В мою торжественную ночь не приходи, тебя не знаю, чем я* ***могла б*** *тебе* ***помочь***; *Какая линия* ***могла бы передать*** *хрусталь высоких нот в эфире укрепленном*; *Я* ***бы приветствовал*** *кремень точильщика как избавленье*;

6) инфинитив: *Иволги кричат в широких кленах, их ничем до ночи* ***не унять***; *Милый, не дрогнет твоя рука и мне недолго* ***терпеть***; ***Стать бы*** *снова приморской девчонкой, туфли на босу ногу* ***носить***; *Он сказал: «****Быть*** *с тобой в аду!»*; *Мне в дыму твоем* ***петь*** *и* ***гореть***; *Ее* ***не перейти*** *влюбленности и страсти*; *Так вот кому* ***летать*** *и* ***петь****, и слова пламенная ковкость, чтоб прирожденную неловкость врожденным ритмом одолеть*;

7) неличные формы глагола при индикативе как носителе футуральной семантики: *Чтоб тот, кто спокоен в своем дому*, ***раскрывши*** *окно, сказал*; *Будешь жить*, ***не зная*** *лиха*;

8) безглагольные конструкции с лексическими спецификаторами: *Он тихий, он нежный, он мне покорный,****влюбленный в меня навсегда***.

Итак, семантика будущего времени в рассматриваемых текстах, как правило, оказывается осложнена субъективно-модальными оттенками и в ряде случаев допускает сосуществование с презентной семантикой потенциального действия или наглядно-примерным значением СВ / неограниченно-кратным значением НСВ. В этих случаях футуральная семантика репрезентирует единичное конкретное положение дел, а подключение презентного значения генерализует ситуацию, выводя ее в план типичного, повторяющегося состояния мира («Мороженно!», «Американ бар») — таким образом конструкция оказывается полисемантической в темпоральном плане: совмещает футуральное и презентное неактуальное значения. В первом тексте глагольные формы *появится*, *возьмет*, *исчезнет* выступают в наглядно-примерном значении СВ; во втором стихотворении формы будущего времени *взгрустнется*, *обернется*, *не оскорбит*, с одной стороны, выражают темпоральную семантику продолжения длящейся ситуации в собственно футуральном значении, а с другой — выводят конкретную ситуацию в разряд обычных, типичных, повторяющихся. Подведем итог сделанным наблюдениям. Способы выражения ключевого временного плана лирики Мандельштама акмеистического периода — настоящего — разнообразны. Основным является употребление форм настоящего времени глаголов НСВ изъявительного наклонения (632 формы глаголов НСВ в настоящем времени, 350 глаголов СВ и НСВ в прошедшем и 117 в будущем). Второе место по частотности занимают безглагольные конструкции нескольких типов. Существенно, что актуализация настоящего регулярно осуществляется при помощи соположения перфектного и презентного употреблений (его можно трактовать двояко: 1) как контраст темпоральных вариантов прошедшего и настоящего или 2) как фазовое разложение презентной ситуации на подготовительный, перфектный, и основной, актуальный, фрагменты).

Статистически (если учитывать безглагольные конструкции и подсчитывать формы СВ и НСВ прошедшего и будущего времени отдельно) в лирике Ахматовой также доминирует презентный план. Однако доля текстов с темпоральной структурой, отражающей временные планы прошедшего и будущего, у нее выше, чем у Мандельштама, причем футуральных структур меньше, чем текстов-воспоминаний, обращенных в прошлое. Среди глаголов в текстах Ахматовой, в отличие от Мандельштама, преобладают формы прошедшего вре-

мени (545 форм прошедшего СВ и НСВ при 525 настоящего НСВ и 190 будущего СВ и НСВ).

Приведем результаты подсчетов частных значений временных форм глаголов (формы сослагательного и повелительного наклонений не учитывались). Употребление временных форм в несобственном значении вынесено в табл. 4 в отдельные графы.

Таблица 4. Частные значения времени в текстах А. Ахматовой и О. Мандельштама акмеистического периода[2]

Значение временной формы	Ахматова	Мандельштам
Настоящее момента речи	140 (11,1)	173 (15,8)
Настоящее расширенное	155 (12,3)	97 (8,8)
Настоящее постоянное	64 (5,1)	41 (3,7)
Настоящее неактуальное (простая повторяемость, узуальность, вневременность)	154 (12,2)	297 (27,0)
Прошедшее аористическое	284 (22,5); (179 СВ)	160 (14,6); (111 СВ)
Прошедшее перфектное	123 (9,8); (121 СВ)	97 (8,8); (96 СВ)
Прошедшее НСВ конкретного единичного действия	98 (7,8)	74 (6,7)
Прошедшее НСВ повторяющегося / обычного действия	22 (1,7)	9 (0,8)
Будущее конкретного единичного действия	95 (7,5)	55 (5.0)
Будущее повторяющегося и обычного действия	13 (1,0)	9 (0,8)
Будущее постоянного действия	19 (1,5)	2 (0,2)
Будущее обобщенного факта	12 (1)	1 (0,1)
Формы будущего времени в значении настоящего (с модальным оттенком или в значении обычного, повторяющегося действия — в наглядно-примерном частном видовом значении)	39 (3,1)	49 (4,5)
Настоящее историческое и относительное употребление формы настоящего в значении прошедшего (в том числе в диалоге, включенном в рассказ о прошлом)	12 (1)	24 (2,2)

[2]В скобках указаны доли данных значений в текстах каждого автора (в процентах).

Таблица 4 (продолжение)

Значение временной формы	Ахматова	Мандельштам
Будущее в прошедшем (напр.: *И я не верить не могла, что будет дружен он со мною*; *И мне казалось, наяву тебя увижу, незабытый*; *Я, с утра угадав минуту, когда ты ко мне войдешь, ощущала в руках согнутых слабо колющую дрожь*; *Я спросила у кукушки, сколько лет я проживу*)	12 (1)	1 (0,1)
Формы прошедшего с семантикой настоящего (комментарий прямой и несобственно-прямой речи)	1 (0,1)	0
Формы прошедшего с семантикой будущего в придаточных (как правило, в придаточных цели; реже — времени или изъяснительных; употребления преимущественно с модальным оттенком)	13+буд. в прош. 4 (1,3)	10 (0,9)

Как видно из табл. 4, у Ахматовой доминирует прошедшее аористическое, вторую позицию занимают настоящее расширенное и настоящее абстрактное, третью — настоящее актуальное. Репертуар временных значений в лирике Ахматовой богаче, использование темпоральных форм в несобственном значении встречается чаще, чем у Мандельштама. В стихотворных текстах Мандельштама преобладает настоящее абстрактное, вторую позицию по частотности занимает настоящее актуальное, третью — прошедшее аористическое. В отличие от поэзии Ахматовой, в творчестве Мандельштама преобладают неоднозначные трактовки темпоральной семантики, допускающие в ряде случаев сосуществование двух и даже трех интерпретаций.

Таблица 5. Способы выражения оттенков семантики времени за пределами индикатива в текстах А. Ахматовой и О. Мандельштама акмеистического периода

Частное временное значение	Средства выражения темпоральной семантики	Ахматова (примеры)	Мандельштам (примеры)
Настоящее актуальное момента речи	Безглагольные конструкции разных типов, дейктические указатели, аналитические причастные страдательные формы (однородные прилагательным в составе предложения / в ряду однотипных предложений с прилагательным в роли смыслового компонента предиката)	*Безветрен вечер и грустью скован*; *Бессмертник сух и розов. Облака на свежем небе вылеплены грубо*; *Ты опять, опять со мной, бессонница*; *Оттого и оснеженная даль за окнами тепла*; *Ни тропинки, ни дорожки, только проруби темны*; *Стоит на небе месяц чуть живой средь облаков струящихся и мелких*	*Дев полуночных отвага*; *Кинематограф. Три скамейки*; *Мне холодно*; *Вот неподвижная земля*; *Старик, похожий на Верлена, теперь твоя пора*; *Мелкие чиновники, японцы, теоретики чужой казны*; *Грозовых туч клочки*; *Прозрачный стакан с ледяною водою*

Таблица 5 (продолжение)

Частное временное значение	Средства выражения темпоральной семантики	Ахматова (примеры)	Мандельштам (примеры)
Настоящее расширенное момента речи	Безглагольные конструкции, в т.ч. модальные, аналитические причастно-страдательные формы в сочетании с лексическими спецификаторами, полные причастия	*Он длится без конца, янтарный, тяжкий день. Как невозможна грусть, как тщетно ожиданье*; *Но все мне памятна до боли тверская скудная земля*; *Но, как прежде, жгучее объятье...*; *Мне не надо ожиданий у постылого окна и томительных свиданий, вся любовь утолена*; *И давно удары бубна не слышны*; *Целый год ты со мной неразлучен*; *Оттого мы любим небо... и чернеющие ветки за оградою чугунной*; *Ни на что не променяем... широких рек сияющие льды*; *И окровавлены листы неспешно зреющей рябины*	*А у вас еще светло*; *Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни — далеко в шалаше голоса...*; *И столько воздуха и шелка и ветра в шепоте твоем, и как слепые ночью долгой мы смесь бессолнечную пьем*; *Еще жива несправедливость Рима*; *Ни триумфа, ни войны! О железные, доколе безопасный Капитолий мы хранить осуждены*
Настоящее постоянное	Безглагольные конструкции, аналитические причастно-страдательные формы	*А этим дурочкам нужней сознанье полное победы*; *Покорно мне воображенье в изображенье серых глаз*; *Да в стране болот и пашен и в помине башен нет*; *Ты в своих путях всегда уверенный*; *Как счастливая любовь, рассудительна и зла*	*Батюшкова мне противна спесь*; *Я ласточкой доволен в небесах*; *Я не путник тот*; *Прекрасен храм, купающийся в мире, и сорок окон — света торжество*; *На парусах, под куполом четыре архангела прекраснее всего*; *На луне полутьма и дома опрятней*

Таблица 5 (продолжение)

Частное временное значение	Средства выражения темпоральной семантики	Ахматова (примеры)	Мандельштам (примеры)
Настоящее абстрактное (повтор, узуальность, вневременность)	Безглагольные конструкции, лексические показатели-кванторы	*Много нас таких бездомных, сила наша в том, что для нас, слепых и темных, светел Божий дом*; *Но грустен, взволнован и нежен ты только в святилище тьмы*	*Подчас природа — серое пятно*; *Паденье — неизменный спутник страха*; *Слово — чистое веселье, исцеленье от тоски*; *Но если ты мгновеньем озабочен — твой жребий страшен и твой дом непрочен*; *И всем векам — пример Юстиниана*; *А над Невой — посольства полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина*; *Как трудно раны врачевать*
Прошедшее перфектного значения	Причастия, деепричастия, краткие прилагательные	*И словно тушью нарисован в альбоме старом Булонский лес*; *Окна тканью белою завешены*; *И, туго косы на ночь заплетя, как будто завтра нужны будут косы, в окно гляжу*; *Весь нахохлившись смотришь — не дышишь, если песня чужая звучит*; *Так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен*	*Уже бросает исполнитель испепеленную тетрадь*; *Время вспахано плугом*; *Гнев народа обманув, отдыхает острый клюв*; *На площадь выбежав, свободен стал...*; *Не услыхать в меха обутой тени*; *И пред людьми русалка виновата*; *Прав народ, вручивший посох мне, увидевшему Рим*
Прошедшее аористного значения	Причастия	*Жестокая, студеная весна наливщиеся почки убивает*	*Хоть говоривший мне о Риме в священном сумраке исчез*

Таблица 5 (продолжение)

Частное временное значение	Средства выражения темпоральной семантики	Ахматова (примеры)	Мандельштам (примеры)
Прошедшее конкретного действия	Деепричастия, причастия, безглагольные конструкции	*Красной влагой тепло окропились затоптанные поля*	*И говоря со мной, заметил*; *И, дрожа от желтого тумана, я спустился в маленький подвал*; *И шли пешком заплаканные дамы, румянец под вуалью*; *Когда, с дряхлеющей любовью мешая в песнях Рим и снег, Овидий пел арбу воловью*
Прошедшее повторяющегося/ постоянного действия или состояния	Безглагольная конструкция в соотнесении с показателями прошедшего времени	*Думали: нищие мы, нету у нас ничего*	Отсутствуют
Будущее конкретного действия	Императив, сослагательное наклонение, придаточные цели, инфинитив	*Помолись о нищей, о потерянной, о моей живой душе*; *Мне в дыму твоем петь и гореть*	*Чтоб прирожденную неловкость врожденным ритмом одолеть*; *В Познани и Польше не всем воевать*
Будущее повторяющегося/ постоянного действия	Инфинитив, деепричастие, безглагольная конструкция, модальные показатели	*Все глядеть бы на смуглые главы Херсонесского храма с крыльца*	*Так вот кому летать и петь, и слова пламенная ковкость*

Таблица 5 (продолжение)

Частное временное значение	Средства выражения темпоральной семантики	Ахматова (примеры)	Мандельштам (примеры)
Будущее обобщенного факта	Инфинитив, императив, модальные конструкции; деепричастия	*То пятое время года, только его славословь, дыши последней свободой, оттого что это — любовь*; *На земле тебя можно искать или только в вечерней думе по усопшем светло горевать*; *Как навеки приручить ту, что мельком полюбилась*; *Пусть хоть голые красные черти, пусть хоть чан зловонной смолы*; *Да будет жизнь пустынна и светла*; *Пусть их забота и печаль минует*; *И жниц ликующую рать благослови, о Боже*; *Все прощу, следя, как луч взбегает и сбегает*	*Не нам гадать о греческом Эребе*; *О если бы вернуть и зрячих пальцев стыд*

Цепи безглагольных конструкций по-разному осмысляются в отношении таксиса: как одновременные положения вещей, компоненты одной темпоральной ситуации (*Журавль у ветхого колодца, над ним, как кипень, облака, в полях скрипучие воротца, и запах хлеба, и тоска* [А. Ахматова]) или как последовательность событий (*Край неба, тусклый и червонный, и милый сон под Рождество, и Пасхи ветер многозвонный, и прутья красные лозы, и парковые водопады, и две большие стрекозы на ржавом чугуне ограды* [А. Ахматова]). Интересно, что в обоих приведенных примерах цепи безглагольных конструкций характеризуют не план настоящего времени, а воспоминание (в первом случае фрагмент вводится рамочным компонентом *все мне памятна до боли тверская скудная земля*, во втором — *все обещало мне его*).

4. Выводы

1. У Мандельштама преобладают формы со значением презенса (в лирике Ахматовой их меньше; суммарно преобладают формы прошедшего времени СВ и НСВ). Это обстоятельство корректирует традиционное представление об именном стиле поэзии Мандельштама сравнительно с нейтральным стилем Ахматовой. Однако если в текстах Мандельштама доминирует презенсный временной план, то у Ахматовой темпоральная картина богаче: при сопоставлении с Мандельштамом у нее оказывается больше конструкций, репрезентирующих план будущего и прошедшего времени (что корректирует представление об ослабленной глагольности ее текстов).

2. Если подсчитывать формы прошедшего СВ и НСВ отдельно, в обоих идиостилях доминируют личные глагольные формы настоящего времени. Вторую позицию занимают безглагольные конструкции. Третья по частотности позиция — ключевая, хотя и не доминирующая численно — принадлежит формам прошедшего времени СВ, функция которых — выражение перфектного прошедшего. Глагол со значением перфекта в текстах Мандельштама зачастую выполняет подготовительную, экспозиционную функцию по отношению к появлению в тексте презенсных форм, и эта композиционная роль объясняет обилие форм СВ с перфектным значением. В лирике Ахматовой функция форм с перфектным значением шире: подключение ретроспективного плана к настоящему актуальному. Лирический сюжет развивается за счет глаголов с аористической семантикой, что особенно важно для нарративной по своей природе лирики Ахматовой.

3. Формы прошедшего времени глаголов СВ в процентном соотношении у Ахматовой, по сравнению с Мандельштамом, преобладают. Дальнейшее распределение форм у Ахматовой и Мандельштама не совпадает, что дает основания говорить о качественной специфике идиостиля.

4. Центром поля темпоральности у обоих авторов оказываются формы презенса и безглагольные конструкции с семантикой настоящего времени, ближнюю периферию образуют формы глаголов СВ и НСВ прошедшего времени, модальные конструкции с футуральной импликацией, лексические обстоятельственные показатели. Остальные элементы (исключая отсутствующие у акмеистов в данном корпусе текстов формы со значением давнего обыкновения) формируют дальнюю периферию. Это перераспределение языковых ресурсов обнаруживает довольно значительное отступление от общеязыкового поля времени, о структуре которого см. [ТФГ 1990; Бондарко 1999].

5. Прототипическим вариантом образно-поэтического настоящего актуального в акмеистической лирике следует считать ситуацию, маркированную дейктическими показателями «я-здесь-сейчас». Бли-

жайшее окружение прототипа составляют варианты замены или пропуска персонального и / или локального дейктического маркера при сохранении темпорального.

6. Среди непрототипических вариантов образно-поэтического настоящего в лирике акмеистов выделяются 1) изобразительно-поэтический аналог настоящего расширенного, 2) поэтический аналог настоящего постоянного. По мере удаления от прототипа доля семантики вневременности постепенно нарастает, приближаясь по количественным показателям к числу форм со значением настоящего неактуального. На смену континуальному процессу в этом случае приходит дискретность и повторяемость действия.

7. В семантике форм прошедшего времени доминируют перфектное и аористическое значения. В рассмотренном материале нет преобладания перфектного значения над аористическим. Семантика форм будущего времени в акмеистической лирике преимущественно осложнена модальными оттенками. В ряде случаев футуральная семантика сосуществует с презенсным значением потенциального действия или наглядно-примерным значением СВ / неограниченно-кратным НСВ.

Источники

Ахматова А. А. Стихотворения и поэмы. Л., 1977.
Ахматова А. А. Соч.: В 2 т. М., 1990.
Мандельштам О. Э. Камень. Л., 1990.
Мандельштам О. Э. Соч.: В 2 т. М., 1990.
Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 4 т. М., 1991.

ГЛАВА V

СЕМАНТИКА ИНТЕНСИВНОСТИ И ЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

1. Аспекты изучения интенсифицирующих средств языка в лингвистической литературе

Современный русский язык характеризуется высокой частотностью оценочных суждений (имеются в виду квалификативные суждения, определяющие компоненты ситуации не только по шкале «хорошо — плохо», но и «много — мало», «похоже — непохоже» и т.п.). А. Вежбицкая отмечает «высокий эмоциональный накал русской речи», «любовь к крайним и категоричным моральным суждениям» и говорит о том, что «русская речь отдает предпочтение гиперболам для выражения любых оценок, как положительных, так и отрицательных, и, в частности, моральных» [Вежбицкая 1997: 33–34, 84]. Это свойство русской речи заметно усиливается на рубеже XX–XXI вв., особенно в языке средств массовой информации, в котором «наиболее отчетливо и быстро отражаются изменения, происходящие в наше время во всех сферах языка» [Русский язык конца XX столетия 1996: 10]. Многие исследователи современного языка отмечают ряд фактов, складывающихся в общую картину активизации употребления разноуровневых языковых средств, объединенных интенсифицирующей функцией. Так, все более широким становится употребление приставок *супер-*, *сверх-* и других средств интенсификации, прежде всего в сфере субстантивного словообразования; наблюдается весьма заметное увеличение частотности употребления и расширение сочетаемости слов *крутой, обвальный* и других показателей высокой степени проявления признака (см. об этом в работах [Русский язык конца XX столетия 1996; Костомаров 1999; Валгина 2001]). Достаточно просмотреть несколько страниц периодического издания, рассчитанного на любую аудиторию[1], чтобы обнаружить большое количество примеров подобного рода: *заговор организован* ***преотлично***; ***дикая*** *жара*; ***до боли*** *знакомая картина*; *из каких глубин поднялась эта* ***испепеляющая ненависть***; ***самые животрепещущие*** *вопросы современности*; *у них* ***огромный*** *бизнес,* ***гигантские*** *деньги, поэтому им* ***до зарезу*** *нужна эта нефть*; ***головокружительный взлет*** *прокурорской карьеры*; ***отпадные*** *наклейки*; *Вадим* ***суперский*** *экстремал и* ***классно*** *целуется* (разумеется, в этих примерах представлены различия, зависящие от пуб-

[1] Кроме научных, научно-технических и других специализированных изданий. — *Прим. ред.*

© С. Е. Родионова, 2005

лицистического жанра, ориентированности средств массовой информации на молодежь или взрослых читателей и т.д.).

Существует ряд работ, в которых рассматриваются частные аспекты категории интенсивности. Анализируются лексические средства выражения интенсивности в сфере глагольной и адъективной лексики, фразеологические средства, синтаксические и словообразовательные средства выражения интенсивности, в том числе с помощью показателей способов глагольного действия. Опубликованы работы, посвященные изучению эксплицитных интенсификаторов, прежде всего наречий и прилагательных (типа *непомерно глубокий, железная дисциплина*), выделению наиболее частотных в русском языке «семантических вариантов» интенсивности (меры признака действия, меры количества, меры и степени длительности, степени силы, меры качества и т.п.), «типов усиления» (общего, выделительного, актантного, покомпонентного). Предпринимаются попытки проследить взаимодействие интенсивности с другими компонентами лексического значения слова. Существуют исследования интенсивности на материале диалектной лексики (см. [Титова 1964; Червенкова 1975; Фетискина 1977; Маманова 1978; Ермакова 1982; Мусиенко 1984; Акуленко 1987; Полянский 1987; Цой 1989; Гаврилова 1993; Ерофеева 1996; Гриднева 1997; Бельская 2001; Сафонова 2002]).

Известны работы, в которых анализируются категории интенсивности на материале английского [Герасимова 1970; Убин 1974; Семейко 1975; Сергеева 1967; Суворина 1976; Садовская 1978; Котнюк 1986; Лексина 2000; Шейгал 2000; Трошкина 2001], немецкого [Рсалдинов 1980; Сущинский 1997], французского [Воробьева 1958], испанского [Карповская 1998] языков. Данная категория оказывается важной для решения задач практического перевода: созданы специальные двуязычные словари усилительных словосочетаний (см., например, [Убин 1995; Сущинский 1997]).

В последнее десятилетие написано несколько работ обобщающего характера, существенных для изучения категории интенсивности. Это монографии и докторские диссертации Ю. Л. Воротникова [1999], Н. В. Халиной [1997], С. М. Колесниковой [2000], Л. А. Беловольской [1999], исследующие близкие семантическим категориям категории меры признака, градуальности, недискретного количества. В этих работах реализуется функционально-семантический подход к изучению русского языка. В докторской диссертации И. И. Туранского [1990] рассматривается собственно категория интенсивности на материале только английского языка.

Вместе с тем до сих пор отсутствуют обобщающие работы на материале русского языка, рассматривающие интенсивность как самостоятельную лингвистическую категорию, имеющую свое специфи-

ческое содержание и средства выражения. Как нам представляется, изучение категории интенсивности, механизмов интенсификации, ее роли в формировании «ментальных миров» [Степанов 1995: 36] в разных типах дискурса является актуальным. Работы такого рода могут способствовать изучению «роли естественного языка как основной формы фиксации наших знаний о мире» [Фрумкина 1995: 86] и как формы отражения аксиологических приоритетов современного русского языкового сознания.

2. Интенсивность как особая семантическая категория

Понятия «категория интенсивности», «интенсивность», «интенсификация», «интенсификатор» часто употребляются как само собой разумеющиеся, привычные. Ш. Балли отмечал, что «под термином и н т е н с и в н о с т ь следует понимать все различия, сводящиеся к категориям количества, величины, ценности, силы и т.п., вне зависимости от того, идет ли речь о конкретных представлениях или об абстрактных идеях» [Балли 1961: 202]. Большинство современных исследователей разделяет широкое истолкование интенсивности как количественного изменения признака. Речь идет об анализе «уровня развития признака в рамках данной меры, не влекущего за собой изменение данного качества» [Шейгал 1981: 13]. Нам представляется, что такое определение не отражает в должной мере специфику интенсивности, ее отличие от меры признака, градуальности и других подобных категорий.

Мы исходим из того, что значение количественных изменений признака, не переходящих в новое качество, является одной из базовых как понятийных, так и языковых категорий. А. Вежбицкая среди выделенных ею семантических примитивов — «нескольких десятков понятий, получающих, по-видимому, лексическое воплощение во всех языках мира <...> из которых строятся все остальные понятия» [Вежбицкая 1997: 297], — называет такие, как *несколько* (*немного*), *весь* (*все*), *много* (*многие*), *очень*, *больше*. Заметим, что среди весьма ограниченного количества, как она пишет, «кандидатов в универсальные элементарные смыслы» (около 60) все же выделяется несколько количественных смыслов, принципиально не сводимых друг к другу [Вежбицкая 2001: 52–53]. На различие этих количественных смыслов обращается внимание и в работах по описанию семантики конкретных единиц русского языка.

Могут быть выделены следующие виды количественной характеризации признака: 1) т о ч н о и з м е р е н н а я в е л и ч и н а (*скорость ветра 20 метров в секунду*) (ср. универсальные языковые

смыслы *один, два, много* в книге А. Вежбицкой); 2) сравнительная величина (*ветер сильнее, чем вчера*) (ср. универсальный языковой смысл *больше*); 3) достаточная или чрезмерная величина — величина признака с точки зрения соответствия тем или иным внешним требованиям (следует отличать это от соответствия норме) (*ветер слишком сильный, чтобы сегодня выходить в море*; *река достаточно глубокая, чтобы купаться*); 4) предельно возможная величина (*абсолютно чистая страница*) (ср. универсальный языковой смысл *весь*); 5) существенная величина — величина признака, заметно превышающая обычную и поэтому существенная для человека (*очень сильный ветер*) (ср. универсальный языковой смысл *очень*).

Как нам представляется, последний вид количественной характеризации отличается от других прежде всего ярко выраженной субъективностью. Действительно, в первых четырех случаях всегда существует более или менее объективный критерий истинности суждения, некая внешняя система отсчета, относительно которой и определяется величина признака: установленная система мер, наличие другого сравнимого признака, объективные физические свойства предмета, практические требования ситуации. В последнем (пятом) случае такую внешнюю объективную точку отсчета указать трудно. Можно предположить, что такой точкой отсчета является норма — «узаконенное установление // обычный, общепринятый порядок, состояние чего-либо // образец, правило» [МАС, 2: 508]. Н. А. Лукьянова отмечает, что интенсивность связана «не с любой количественной квалификацией явления, а только с такой, которая демонстрирует отклонение от „нормальной“ меры» [Лукьянова 1986: 56]. Нормальным при этом признается, во-первых, узаконенный, требуемый (в частности, обществом) порядок вещей, а во-вторых, — обычный, повседневный, не привлекающий к себе внимания.

Как видно, налицо особый способ количественной характеризации признака, лексическим воплощением, маркером которого можно, по-видимому, считать слово *очень* (один из семантических примитивов, по А. Вежбицкой). Специфику значения данного интенсификатора можно выявить, обратившись к этимологии слова *очень*, возводимой исследователями к словам *око* [Фасмер 1996, 3: 177], *очнуться*, древнерусскому *очутити* — ‘заметить, услышать, распознать’ [Черных 1999, 2: 613]. Можно предположить, что первичный смысл интенсификатора *очень* — ‘заметно, ощутимо’ (*очень бояться* ‘бояться так, что это становится заметным’).

Можно выделить некоторые семантические составляющие, определенный алгоритм, с помощью которого расшифровывается значение интенсивности — значение *очень*: «Говорящий хочет передать, что мера проявления качественного признака превышает обычную,

нормальную. Говорящий считает, что это очевидно, этого нельзя не заметить, что это количественное изменение приводит к некоему качественному изменению, что, возможно, влияет на все параметры обозначаемой стереотипной ситуации и требует переосмысления всей ситуации. Таким образом, говорящий считает, что знание о силе этого качественного признака имеет особую значимость для слушающего и должно повлиять на его ориентацию во внеязыковой действительности».

Выражение предельно возможной величины признака при помощи слов *абсолютно*, *совсем*, *совершенно*, *предельно* и т.п. очень близко по смыслу к интенсификации и не случайно эти лексемы считаются синонимами интенсификатора *очень* (см., например [Новый объяснительный словарь... 2000: 260]). Названные слова присоединяются, как правило, к именам существительным и прилагательным, называющим такой признак, который предполагает объективное отсутствие чего-либо: *абсолютная чистота* — полное отсутствие грязи, *абсолютно гладкий* — полное отсутствие морщин, неровностей и т.п. Вместе с тем использование данных слов часто имеет субъективно-оценочный характер, присущий именно интенсификации. Так, употребление словосочетаний типа *абсолютно безразличный*, *совершенно непонятный*, *предельно неинтересный*, *совсем безмозглый* вряд ли предполагает наличие объективных критериев, при помощи которых можно было бы измерить степень безразличия и глупости. Невозможно также, по-видимому, установить реальные различия в величине признака, выраженного словосочетаниями *чрезвычайно неинтересный — ужасно неинтересный — предельно неинтересный — совершенно неинтересный*. Все это позволяет предположить, что слова *абсолютно, совсем* и т.п., выражающие предельную величину признака, являются в ряде случаев средством выражения интенсивности, находясь на периферии этой категории.

3. Природа категории интенсивности и ее место среди близких семантических категорий

Категория интенсивности является одной из семантических категорий, причем категорией производной, промежуточной между базовыми категориями качественности и количественности. Это соответствует идеям функциональной грамматики, утверждению о том, что «семантика компаративности представляет собой синтез категорий качественности и количественности» [Бондарко 2001г: 21]. В работах по функциональной грамматике компаративность все же относится к сфере качественности, «поскольку квантитативный элемент меры (степени) накладывается на квалитативную основу, причем результат взаимодействия указанных признаков — это именно качество:

количественный элемент меры (степени) по отношению к определенному («исходному») качеству порождает новое качество» [там же]. Взаимодействие количественных и качественных характеристик при интенсификации оказывается также весьма непростым. С одной стороны, все изменения происходят в рамках данного качества, с другой стороны, эти изменения ведут к чему-то новому: хотя *ливень* — это всего лишь *сильный дождь*, все же возможно высказывание «*Это уже не дождь, а ливень!*» (ср. также: *вопль* — это уже не просто *крик*, *ураган* — уже не просто *ветер*).[2] Отдавая предпочтение включению компаративности в поле количественности, А. В. Бондарко отмечает, что может быть и другой вариант решения проблемы: считать, что категории, подобные компаративности, могут трактоваться как самостоятельные функционально-семантические поля (ФСП), занимающие «срединное положение между полями качественности и количественности (пересекаясь и с тем и с другим)» [там же].

Действительно, большинство исследователей признает категорию интенсивности качественно-количественной семантической категорией. «Категорию интенсивности можно представить как находящуюся на пересечении категории качества (неопределенного, недискретного) и количества (градуируемого, поддающегося количественной оценке)» [Шейгал 1981: 21–22]. Но «срединное положение» между категориями качественности и количественности явно занимают и категория меры признака [Воротников 1999], и категория недискретного количества [Беловольская 1999], и категория градуальности [Колесникова 1999]. Обратим внимание на то, что во всех названных работах, посвященных изучению категорий меры признака, недискретного количества и градуальности, используется функционально-семантический подход к их описанию.

Мы полагаем, что и в рамках функционально-семантического подхода к описанию названных категорий можно увидеть существующее между ними различие. В связи с этим можно сослаться на суждение А. В. Бондарко о возможности выделения полей, по «своему прагматическому содержанию занимающих особое положение» среди других ФСП, например «поля респективности» (вежливости) [ТФГ 1987: 33]. Прагматическим характером, на наш взгляд, отличается и функция интенсификации. «Выражение усиления или ослабления признака может совмещаться с прагматическими задачами, а иногда и вытесняться ими. Средства выражения усиления признака (интенсификаторы) <...> могут использоваться для повышения убедительности высказывания. <...> Совмещение этих двух функций — обозна-

[2] «Кто может <...> точно сказать <...> где граница между дождем и ливнем, мелким дождем и изморосью? Границы таких объектов четко не определены, хотя у нас есть ощущение, что они существуют в реальном мире. <...> Следовательно, классификация физических параметров является скорее мыслительным процессом, чем проявлением свойств в самой природе» [Болдырев 2000: 73–74].

чения объективной степени признака относительно нормы и выражения субъективного впечатления от него — делает положение на шкале обозначаемого признака неопределенным» [ТФГ 1996а: 141]. Именно об интенсификации, а не о градации и не об увеличении или уменьшении размера пишет по поводу ряда примеров Н. Д. Арутюнова: «Едва ли можно с уверенностью сказать, какое здание больше — громадное или огромное. Столь же трудно определить, какая дырка меньше — крошечная или малюсенькая» [Арутюнова 1988: 248].

Таким образом, весьма близкие к категории интенсивности семантические категории — такие как градуальность, компаративность, недискретное количество, мера признака и т.п. — все же имеют некоторые существенные особенности. Так, для категории градуальности важнейшим является «упорядочивание (градуирование) качественного признака по отношению к нулевой системе измерения (норме) по шкале градаций» [Колесникова 1999: 17]; в семантике компаративности на первый план выдвигается идея сравнения; в семантике недискретного количества качественность отходит на второй план, главной становится идея количества; для категории меры признака важны объективные показатели «количества признака» (высокая — средняя — низкая интенсивность, избыточность — достаточность — недостаточность и т.п.).

Для категории интенсивности важнейшим становится прагматический аспект — субъективная значимость для участников ситуации данного увеличения количества признака. Не случайно В. Матезиус под интенсификацией подразумевал «оценочным оттенком сопровождаемое выражение высокой степени качества или же интенсивности действия или состояния», отмечая, что «простое выражение количества, хотя и значительно большего, интенсификацией не является» [Mathesius 1947: 203]. Функция интенсификации отличается от функций других количественных определителей значительной степенью конкретности и объективности восприятия ситуации. В связи с этим следует обратить внимание на то, что, хотя в высказывании возможна (и даже очень распространена) многократная интенсификация (*бешеная овация*, *мчаться сломя голову*, *безумно ненавидеть*), она вовсе не обязательно означает реальное усиление признака (*холодный — прохладный — теплый — горячий*).

Таким образом, в нашем понимании категория интенсивности — это семантическая категория прагматического характера, являющаяся производной, с одной стороны, от категорий количественности и качественности, а с другой — от особой прагматической категории, содержание которой может быть осмыслено в рамках когнитивной лингвистики при помощи понятий «выделенность (релевантность)» и «выдвижение» [Кубрякова и др. 1996: 21–25]. Можно предположить, что методы когнитивной семантики, «в которой принимается,

что значение выражения не может быть сведено к объективной характеризации ситуации, описываемой высказыванием: не менее важным является и ракурс, выбираемый „концептуализатором“ при рассмотрении ситуации и для выразительного портретирования ее» [там же: 73], могут оказаться эффективными для описания категории интенсивности. Основное различие между интенсивностью и другими количественными изменениями качества лежит не в сфере денотативной семантики, а в сфере ее субъективной интерпретации. Интенсификация, с этой точки зрения, — это количественная модификация качества (отражающая отклонение от «нормальной» меры), делающая это качество существенным (релевантным) для говорящего и/или слушающего и выдвигающая данную форму на первый план по ее значимости.

Такой подход к предмету анализа позволяет выявить двоякую функцию интенсификации: включение в семантику языковой единицы смысла *очень* приводит, во-первых, к появлению значения «сила признака выше обычной», а во-вторых, к обязательному подчеркиванию, выделению модифицируемого признака.

4. Экспрессивный характер семантической категории интенсивности

При использовании интенсификатора *очень* «фоновые предположения и ожидания» [Кубрякова и др. 1996: 73–74] говорящего включают в себя необходимость для слушающего обратить особое внимание на силу признака и привести свое поведение в соответствие с возникшей новой ситуацией. Эти фоновые ожидания сближают интенсивность с экспрессивностью, и в ряде случаев интенсификация превращается в чисто экспрессивное средство (*безумно ненавидеть, истинная правда*). При этом экспрессивность понимается нами широко, как коммуникативная категория, не только обеспечивающая способность любой языковой единицы выражать субъективное отношение говорящего [ЛЭС 1990: 591], но и позволяющая автору текста «усилить эмоциональное воздействие на собеседника, иными словами, увеличить перлокутивный эффект $<\ldots>$ высказывания» [Вольф 2002: 42].

Интенсивность играет важнейшую роль в формировании семантики экспрессивности. Это достигается благодаря тому, что интенсификация признака позволяет выделить какой-либо референт из класса одноименных референтов. Вместе с тем такое выделение выражает не объективно высокую степень проявления признака, его реальную меру, а субъективное представление говорящего об этой мере как сильно отличающейся от нормальной [Лукьянова 1986: 56–57; Кузнецова 1989: 184].

Если говорить об интенсивности как о семантической категории, имеющей определенные средства выражения на различных уровнях языка, то, на наш взгляд, именно экспрессивный компонент отличает интенсивность от меры признака и градуальности. Однако нужно учитывать, что экспрессивность как языковая категория связывается прежде всего с внешней выразительной стороной высказывания и при ее описании обычно обращают внимание на такие средства выражения мысли, как стилистически окрашенные слова, нарушение сочетаемости, инверсия и т.п. Интенсивность же предполагает констатацию необычности, выделенности самой ситуации, а не обязательно средств ее описания. Можно говорить о двойственной природе категории интенсивности. «С одной стороны, она имеет онтологический статус как категория, лежащая в рамках количественных отношений, т.е. имеет внеязыковой референт, с другой, получая характер выделенности, переключается на коннотативный уровень языка и речи, взаимодействуя с категорией экспрессивности» [Сафонова 2002: 7].

Интенсификацию необходимо отличать от такого близкого явления, как гиперболизация — «заведомое преувеличение, усиливающее выразительность, придающее высказыванию эмфатический характер» [Ахманова 1969: 99]. По своим функциям это близкие явления, но при интенсификации нет того заведомого, явного, ирреального преувеличения, которое имеет место при гиперболизации. Это преувеличение есть в предложении *Я тебя убью за эту «двойку»* (*убить* — «1. Лишить жизни, умертвить»), но нет в предложении *Ты меня убил своей «двойкой»* (*убить* — «. . . 3. Сильно расстроить, привести в отчаяние»). Ср. также: *Я вас не видел тысячу лет*; *Он вино пьет бочками* — и *Я безумно давно не видел вас*; *Он чудовищно много пьет.* На границе гиперболизации и интенсификации находятся случаи использования фразеологизмов (*Да он тебя может просто по стенке размазать! Он этого бедолагу просто в грязь втоптал своим разбором его стихов*). Вместе с тем, как нам представляется, последнее явление относится к интенсификации, так как при использовании фразеологизма говорящий изначально учитывает специфику его значения — переносного: *размазать по стенке* ‘сильно избить’, *втоптать в грязь* — ‘сильно унизить’.

5. Функционально-семантическое поле интенсивности в русском языке

Можно говорить о наличии в языке особого ФСП интенсивности — «языкового представления <. . . > семантической категории в упорядоченном множестве разноуровневых языковых средств» [Бондарко 2001б: 31]. Значение усиления признака может выражаться фонетическими (*на улице до-о-ождь!*), словообразовательными

(*дождище*), лексическими (*ливень*), морфологическими (элатив *сильнейший дождь*), синтаксическими (*Вот это дождь!*) средствами (см. [ТФГ 1996а: 115–116]).

ФСП интенсивности является, по-видимому, полицентрическим. В данном поле можно выделить трехкомпонентное ядро, в которое входят лексические, морфологические и словообразовательные средства выражения интенсивности признака. На периферии поля находятся фонетические и синтаксические средства выражения данной семантики.

5.1. Лексические средства

Наиболее распространены и широко употребительны, несомненно, лексические средства интенсификации. Сложилась устойчивая традиция выделять среди них интенсификаторы — эксплицитные средства усиления (***очень*** *красивый*, ***безумно*** *плохой*) и интенсификаты — слова, имплицитно содержащие в своем значении сему интенсивности (*великолепный*, *чудовищный*).

Универсальным интенсификатором можно считать, по-видимому, наречие *очень* (со значением «высокая степень признака» — статического или динамического) и его синонимы — *сильно* и *весьма*. Круг таких эксплицитных интенсификаторов достаточно широк (например, наречия *ужасно*, *чертовски*, *смертельно*, *удивительно*, *поразительно*, *безмерно*, *бесконечно*, *крайне* и т.п.). Следует отличать их от других типов показателей количества признака, например, наречий а) *совершенно*, *абсолютно*, *совсем*, *полностью*, *целиком*, *предельно* (указывающих на предельную или полную степень признака, т.е. на степень, которая не может быть превышена); б) *чересчур*, *слишком* и т.п. (указывающих на чрезмерную степень признака, т.е. на то, что свойство представлено в большей степени, чем нужно или можно) [Новый объяснительный словарь 2000: 256–261]. Именно наречие *очень* и его синонимы указывают на эмоциональное небезразличие говорящего к предмету сообщения, сильное впечатление, которое производит на говорящего неожиданность высокой степени проявления признака, необходимость обратить внимание на этот признак и привести свое поведение в соответствие с требованиями ситуации.

Примечательно, что наиболее употребительный и не отягощенный никакими другими семантическими компонентами интенсификатор *очень* и его «ближайшие родственники» — *сильно*, *сильный*, *большой*, *весьма* и т.п. — являются и наиболее «стертыми», примелькавшимися в текстах. Ср.: *большая осторожность*, *большая симпатия*, *очень неоднозначный*, *серьезный нажим*, *весьма спорный*. Выражая, безусловно, выделенность самой ситуации вследствие отклонения признака от нормы, этот интенсификатор не имеет «внешней» экспрес-

сивности и часто кажется говорящему недостаточно эффективным средством воздействия на слушателя (читателя). Поэтому говорящий (как показывает анализ конкретных публицистических, художественных и разговорных текстов) стремится использовать многочисленные синонимы интенсификатора *очень* (*чудовищно*, *фантастически*, *дьявольски*, *божественно*, *умопомрачительно*, *смертельно*, *страшно*, *адски*, *безумно*, *баснословно*, *блестяще*, *гениально* и др.), эксплицирующие разнообразные дополнительные семантические компоненты — неожиданности, невероятности, необычайности события, удивления, возмущения, восхищения, одобрения, осуждения и т.п. [Кржижкова 1974]. Ср.: *не надо представлять нашего президента просто неправдоподобно наивным человеком*; *этот эпизод безмерной семейной скорби*; *дикая пошлость, на самом деле*; *с потрясающим упорством повторяет одно и то же.*

Исследование взаимодействия семы интенсивности с другими компонентами лексического значения слова, определение ее места в структуре лексического значения существенно для понимания механизма интенсификации. Представляют интерес как интенсификаторы (изученные в большей степени), так и интенсификаты — слова, в значении которых сема интенсивности содержится имплицитно. Такие слова встречаются во всех частях речи. Это существительные (*ливень* ‘сильный дождь’, *триумф* ‘большой успех’, *шквал* ‘очень сильный ветер’), прилагательные (*омерзительный* ‘очень неприятный’, *восхитительный* ‘очень хороший’, *бесценный* ‘очень дорогой’), глаголы (*ненавидеть* ‘очень не любить’, *преклоняться* ‘очень уважать’, *ликовать* ‘очень радоваться’), наречия (*безобразно* ‘очень некрасиво’, *виртуозно* ‘очень искусно’, *громоподобно* ‘очень громко’) и т.п. Общее количество интенсификаторов и интенсификатов, полученное методом сплошной выборки из толковых словарей (с учетом данных словарей интенсивных словосочетаний И. И. Убина и И. И. Сущинского), составляет более 1700 единиц. При этом следует учесть, что мы не рассматривали как самостоятельные единицы наречия с транспозиционным словообразовательным значением (например, *дикий — дико*), в отличие от словообразовательных пар типа *ангел — ангельский.*

Провести четкую грань между интенсификаторами и интенсификатами трудно: многие слова, имеющие имплицитную сему ‘*очень*’, могут эксплицитно усиливать другие слова. Например, интенсификат *адский* ‘очень сильный’, присоединяясь к слову *боль,* становится интенсификатором для этого слова: *адская боль* ‘очень сильная боль’; слова *безумно* ‘очень сильно’ и *ненавидеть* ‘очень не любить’, сочетаясь, эксплицитно выражают усиление динамического признака.

Большинство слов, имеющих в своем значении сему ‘*очень*’, составляют прилагательные и наречия. Существительных с усилительной семантикой насчитывается несколько более двухсот, глаголов —

около двухсот. При этом слов, имеющих усилительную семантику в своем первичном значении, явное меньшинство (*ливень, ураган, хохот, шквал, ненависть, страсть, ужас, восторг, восхищение, идиот, грохот*; *негодовать, ненавидеть, восхищаться, жаждать, орать, мчаться, преклоняться, ликовать* и т.д.). Кроме того, среди существительных и глаголов очень много стилистически маркированных слов (*вакханалия, гипертрофия, вкуснятина*; *бичевать, рыдать, вопить, наяривать, осточертеть* и др.) и слов с переносным метафорическим значением (*взрыв, казнь, град*; *гипнотизировать, оглушить, взыграть* и т.д.). Именно переносные, вторичные значения многих лексем несут в себе усиление, например: *болезненный* — «. . . 2. Неестественный, ненормальный, чрезмерный (*самолюбие*)»; *вечность* — «. . . 3. О времени, тянущемся очень долго»; *ядовитый* — «. . . 4. Очень сильно и неприятно действующий на органы чувств»; *фирменный* — «. . . 2. Очень хороший, отличного качества»; *умирать* — «. . . 2. Испытывать в сильной степени, предаваться в сильной степени»; *стихия* — «. . . 3. Могучее, сильное чувство»; *клокотать* — «. . . 3. Бурно проявляться (*ярость клокотала в груди*)»; *мечтать* — «. . . 2. Сильно желать чего-либо» и т.п.

Внутренний механизм интенсивности в имплицитных интенсификаторах достаточно сложен. Субъективный характер категории интенсивности, ее экспрессивность требуют изучения взаимодействия интенсивности с другими субъективными категориями — оценочности, эмоциональности и образности. Примечательно, что некоторые исследователи признают интенсивность, эмоциональность и образность однопорядковыми компонентами экспрессивности [Лукьянова 1986]. Нам представляется, однако, что во многих случаях именно образность, основанная на сравнении (стертом или явном), интенсифицирует признак и вместе с этим усилением создает эффект экспрессивности. Можно сказать, что образность и метафоризация являются средством создания усилительного значения в словах *ад, бегемот, богиня, бомба, буря, вал, град, осел, рай*; *ангельская* (*доброта*), *арктический* (*холод*), *голубиная* (*кротость*), *ювелирная* (*точность*); *жгуче* (*желал*); *бичевать, взлететь* (о цене), *зажечься* (*страстью*) и многих других. Такие примеры встречаются прежде всего в публицистических и художественных текстах: *адский рев турбин Ил-76 подавил все звуки вокруг*; *перешагивали через мертвецки пьяных*; *их фантазии безудержны, сказочны*; *пришлось пережить бурю эмоций*; *замшелый консерватор*; *безбрежная грусть*; *головокружительный взлет прокурорской карьеры*; *бушующее вокруг море псевдокультуры.*

В пределах значения одной лексемы часто совмещаются значения эмоциональности и интенсивности: *Он омерзительно грязен* — ‘Он очень грязен, и это вызывает у меня неприятное чувство’; *У нее*

чудовищное произношение — ‘У нее очень плохое произношение, и это меня огорчает’ (ср. также: *потрясающий, умопомрачительный, блистательный, сказочный, волшебный, гениальный* и т.п.). Вместе с тем, явное большинство слов со значением интенсивности служит непосредственно для усиления эмоций (и оценки): *всепоглощающая страсть*, *безумная ненависть*, *безграничное восхищение*, *безмерная нежность*, *убийственное потрясение* и т.п. Следует учесть использование интенсификации не для называния, а для выражении эмоций (*Богиня!*; *Блеск!*; *Мразь!*; *Отпад!*).

В сфере интенсификации в современном русском языке наглядно прослеживается неоднократно отмеченный процесс активизации внутренних заимствований — из жаргонов и просторечия: *крепко смахивает на крутых парней*; *знаменитая коробка из-под ксерокса с кучей баксов*; *мужики категорически одобрили такой способ отбывания наказания за преступления*; *такая бешеная заначка — 2 000 долларов*. Это явление особенно характерно для текстов молодежной прессы и разговорного языка, где приемы усиления сводятся зачастую к употреблению слов *суперский, классный, отпадный, круто, конкретно* и т.п.: *ты можешь купить здесь отпадные наклейки к первому сентября*; *вообще реально ты можешь добиться суперских успехов в жизни*; *это стиль панк-герл для экстремально стильных девочек*.

Часто употребляемые интенсифицирующие средства постепенно стираются, «изнашиваются» и перестают обращать на себя внимание. Это — одна из причин возникновения в тексте явления удвоенной интенсификации, когда усиливается уже интенсифицированный признак: *готовы впадать в* ***безмерное ликование***; *продемонстрировать свое* ***безграничное могущество***; *выражают* ***бурное негодование***; *ее герои живут, подчиняясь* ***буйной слепоте страстей***; *не могут отменить ни одну социальную льготу, даже если она* ***откровенно абсурдна***. Следует обратить внимание на то, что такой прием отнюдь не обязательно связан с реальным усилением признака.

Усиление не ограничивается удвоением: уже интенсифицированный признак может иметь при себе несколько интенсифицирующих слов (*она обожаемый, безусловный кумир*; *отупение сменялось припадками острого, безумного счастья*; *патологическая, всеуничтожающая, сжигающая его самого ненависть*). В таких случаях дополнительному усилению подвергаются разные стороны признака.

В пределах одного предложения могут одновременно усиливаться несколько признаков (*она невероятно красива, весьма интеллигентна, прекрасно воспитана*; *противника жалкого, беспомощного и необыкновенно комичного в своей ненависти к вам*; *начало — исключительно трудное, болезненное, полное промахов и страданий* —

строительства нового общества), что, естественно, увеличивает общую экспрессивную силу высказывания. В рамках одного высказывания могут усиливаться не только разные признаки одного предмета, но и взаимно интенсифицирующие признаки: *и весь воздух в этой комнатенке* ***буквально нашпигован безумной жаждой*** *самоутверждения* — 'чрезвычайно сильное желание' дополнительно характеризуется высокой степенью концентрации в данном пространстве.

5.2. Фразеологизмы

На границе между лексическими и синтаксическими средствами находятся фразеологизмы — одно из самых ярких экспрессивных средств интенсификации. Исследователи отмечают большое разнообразие таких средств и их способность так же, как и отдельных интенсифицированных и интенсифицирующих лексем, выражать, кроме усиления, еще и значения эмоциональности и оценочности (*реветь благим матом*, *лить как из ведра*, *душа в пятки ушла*, *до белого каления*, *с души воротит* и т.п.) (см., например, [Гриднева 1997]). Особое место среди фразеологизмов занимают так называемые устойчивые сравнения [Огольцов 1978; Лебедева 1999]: *бояться как огня*, *сладкий как мед*, *нужен как воздух.* Некоторые из них являются чистыми интенсификаторами (*голодный как волк*, *как зверь*), фактически утратившими характер реального сравнения. В других случаях живое сравнение еще ощущается (ср.: *худой как жердь* ('и высокий'), *худой как скелет* ('и страшный') и *худой как глиста* ('и бледный, противный') [Лебедева 1999: 31]. Встречаются и такие устойчивые сравнения, в которых «образный смысл опирается как на логико-предметное содержание устойчивого сравнения, так и на прямое значение других компонентов сравнительной формулы» [там же: 32]: *душно как в бане*, *безвкусный как трава.* Однако не все устойчивые сравнения реализуют смысл *очень.* Как отмечает А. Вежбицкая, *лысый как колено* — это, скорее, не 'очень лысый', а 'совсем лысый', *глухой как пень* — 'совсем глухой'. «С другой стороны, — считает А. Вежбицкая, — выражения *белый как снег*, *черный как уголь* $<\ldots>$ не допускают замены ни на слово *очень,* ни на слово *совсем*» [Вежбицкая 1990: 139].

Наиболее интересная проблема, связанная с изучением фразеологизмов и прежде всего устойчивых сравнений, — это, несомненно, проблема выявления эталонов высшей степени проявления того или иного признака, связанных во многом со стереотипами национальной культуры [Лебедева 1999: 65].

Лексические и фразеологические интенсифицирующие средства часто вступают в синонимические отношения (ср.: *очень тихо — за-*

таив дыхание, *очень крепкий — крепкий как алмаз*, *очень устал — устал до изнеможения* и т.п.).

5.3. Морфологические средства

Морфологическим средством выражения усиления можно считать превосходную степень имени прилагательного, называющую безотносительно большую меру признака — элатив [Ахманова 1969: 524]: *тончайшие оттенки*, *красивейший узор*. Именно это средство позволяет регулярно выражать «чистую» модификацию признака, не осложненную никакими добавочными смыслами (ср. суперлатив — *глубочайшая впадина мирового океана*), и вместе с тем передавать субъективно-оценочное, экспрессивное значение. При этом элативную форму часто получает прилагательное, уже содержащее в своем значении сему усиления: *величайшая ошибка, уникальнейшие возможности, прекраснейший вид*; создается эффект удвоенной интенсификации, о котором подробнее будет сказано ниже. Это явление особенно часто встречается в публицистическом тексте: *самые дикие слухи*; *один из самых дремучих наветов*; *самый всесильный современный диктатор*. Данное средство позволяет выразить только усиление статического признака предмета, передаваемого именем прилагательным. Нас же интересует интенсификация и статического, и динамического, и первичного, и вторичного признаков, воплощаемая как в именах прилагательных и существительных, так и в глаголах и наречиях.

5.4. Словообразовательные средства

Одним из компонентов ядра рассматриваемого функционально-семантического поля можно считать словообразовательные средства выражения усиления, которые неоднократно становились объектом изучения [Полянский 1987; Садовская 1978; Цой 1989; Лексина 2000]. С помощью различных словообразовательных аффиксов или их сочетаний можно выразить значение усиления признака в субстантивных, адъективных и глагольных лексемах. В сфере именного словообразования важную роль играют приставки (*раз-*, *пре-*, *архи-*, *ультра-*, *сверх-*, самая популярная в последние годы приставка *супер-*) и суффиксы (*-ищ-*, *-ин-*): *супероткрытый купальник, суперважное решение, сверхмобилизация, архижесткая эстетика, ультрамодный плащ, развеселый вид, прескверная ситуация, ветрище, домина* и т.п. Приставки в основном выполняют чисто интенсифицирующую функцию, не внося дополнительных элементов значения (кроме, вероятно, стилистической маркированности). Среди них особое место занимает приставка *супер-*. Кроме употребления в своем первичном

значении «очень»[3] (*суперхрабрый*), она в последние годы активно присоединяется к существительным и развивает ярко выраженное положительное оценочное значение, вносящее в производное слово семантику высшей и лучшей степени проявлений всех основных, принципиальных качеств того, что названо мотивирующим словом: *супермама, суперугонщик, супертоннель, суперпредложение.* Это значение отчасти может быть передано сочетаниями типа *Всем тоннелям тоннель!* и т.п.

В сфере глагольного словообразования значение интенсивности действия развивают многие приставочные, приставочно-постфиксальные и приставочно-суффиксальные глаголы, выражающие различные способы глагольного действия (*наглаживал, раскричался, дошумелся, упросил, промерз, наобещал, выплясывал, убегался, изволновался* и т.п.). Присоединение этих словообразовательных средств, кроме значения усиления, вносит и другие компоненты значения: внезапность, начинательность, тщательность, результативность, предельность, нежелательные последствия, направленность действия на множество объектов и т.п. Вместе с тем многие словообразовательные средства, традиционно относимые к интенсифицирующим, таковыми, по-видимому, не являются, так как не только не имеют никакой оценочно-экспрессивной семантики, но и выражают другие смыслы, например, достаточности, чрезмерности, долговременности действия (*пересолил, выбелил, износил, проварил* и т.п.), а не усиления.

5.5. Синтаксические средства

На периферии рассматриваемого поля находятся синтаксические приемы интенсификации. В чистом виде это явление встречается достаточно редко (*Вот это снег так снег! Громко, громко раздавались звуки тяжелых шагов за стеной*). Ср. также особые синтаксические конструкции (*Вот это...*; *Ну и...*; *Ох и...* и т.п.), повторы (*грустно-грустно*; *тихо-тихо*), сложноподчиненные предложения местоименно-союзного характера, построенные по модели *так, такой, настолько, столь, до того, до такой степени, столько, так много, так мало... что: Но атмосфера вечера была настолько теплой, что холода никто и не заметил*) [Сафонова 2002: 6–8]. Гораздо чаще используется сочетание интенсифицированных лексем и различных синтаксических средств, например, синтаксического повтора (*тишайшая дума и смиреннейшая общественная палата Саратова*) или сложноподчиненного местоименно-соотносительного предложения фразеологизированного типа (*Порой это так бесить начинает, что хочется убить того человека, который эти сериалы ставит*).

[3] Ср. толкование первичного значения приставки *супер-* в [Большой толковый словарь русского языка 1998: 1290].

5.6. Фонетические средства

К периферии ФСП интенсификации можно отнести реже всего используемые фонетические средства усиления: особое интонационное выделение отдельного слова, сопровождаемое удлиненным произношением ударного звука (*На улице до-о-ождь! Он из-за этого пла-а-акал вчера! До-о-олго он смотрел ей вслед!*). Применение этого средства в чистом виде также встречается достаточно редко: как правило, ему сопутствуют синтаксические, реже — лексические и словообразовательные средства усиления (*Ох и рыда-а-ал же он!*).

Одновременное использование разноуровневых средств выражения вообще является характерной чертой категории интенсивности, например: *Цены взлетели так, что это почувствовали даже семьи стабильно среднего достатка* (сочетание синтаксического и лексического средств интенсификации); *Ну и бешеный же дождище на улице!* (сочетание синтаксического, лексического и словообразовательного средств); *Он мчался сломя голову, так что проносившиеся мимо ветки слились в одну ярко-зеленую полосу* (сочетание синтаксического, лексического и фразеологического средств).

6. Выбор говорящим средств выражения интенсификации в тексте

Язык может предоставлять различные возможности для выражения требуемого смысла в тексте. Выбор интенсификатора при этом зависит от ряда причин. Прежде всего, этот выбор определяется наличием или отсутствием дополнительных семантических компонентов, способных осложнять семантику какого-либо интенсифицирующего средства. Например, если перед говорящим стоит задача выразить интенсификацию действия *плакать,* он может использовать лексические средства — интенсификаторы *очень, сильно, безумно, страшно, горько, навзрыд, отчаянно, ужасно, неудержимо, невыносимо, несмолкаемо, безутешно.* При этом, однако, следует иметь в виду, что только первые два слова не вносят в семантику глагола никаких побочных значений, кроме усилительного. Во всех остальных случаях появляются значения продолжительности, громкости, повышения эмоциональности, особенностей восприятия действия слушателями, не говоря уже о приобретении словосочетанием стилистической маркированности. Использование синонимов-интенсификатов *рыдать, реветь* и т.п. также меняет стилистическую окраску высказывания и, по-видимому, вносит еще элементы оценочной семантики (выражение сочувствия или осуждения говорящего по отношению к производителю данного действия). Использование словообразовательных средств, как нам кажется, вообще невозможно без привне-

сения дополнительных сем в значение интенсифицируемого глагола: *расплакаться* — 'внезапно и сильно начать плакать', *доплакаться* — 'сильно и долго плача, прийти к нежелательному результату' и т.д. Использование таких нейтральных в семантическом отношении средств, как фонетические и синтаксические, все же неизменно меняет по крайней мере стилистическую окраску текста: *Он вчера пла-а-акал! Ох и плакал же он!* (разговорный стиль речи).

Различные интенсифицирующие средства закреплены за разными частями речи. Так, морфологический способ — использование элатива — возможен только применительно к признаку, выраженному именем прилагательным. Строго закреплены за частями речи словообразовательные средства интенсификации. Наиболее распространенные лексические интенсификаторы также имеют ограничения в употреблении, зависящие от семантики как самого интенсификатора, так и интенсифицируемого слова.

Анализ всего массива интенсифицирующей лексики показывает, что число интенсификаторов с широкой сферой сочетаемости невелико, их количество не превышает двадцати единиц. Это лексемы *очень, большой, глубокий* (*глубоко*), *исключительный* (*исключительно*), *колоссальный* (*колоссально*), *огромный, поразительный* (*поразительно*), *сильный* (*сильно*), *страшный* (*страшно*), *удивительный* (*удивительно*), *ужасный* (*ужасно*), *чрезвычайный* (*чрезвычайно*), *крайний* (*крайне*), *необыкновенный* (*необыкновенно*), *необычайный* (*необычайно*), *потрясающий* (*потрясающе*). Высокая степень частотности и широкая сфера сочетаемости характерны для таких слов, как *абсолютный* (*абсолютно*), *полный* (*полностью*), *совершенный* (*совершенно*), *совсем*. В их семантике преобладает значение не просто высокой, а предельной, исчерпывающей степени признака (которая не может быть превышена). Перечисленные слова могут выражать усиление признака при сочетаемости с многими десятками и даже несколькими сотнями лексем. Около сорока интенсифицирующих лексем имеют относительно широкую сочетаемость (30–70 лексем): *выдающийся, высокий* (*высоко*), *широкий* (*широко*), *особенный* (*особенно*), *серьезный* (*серьезно*), *громадный, значительный* (*значительно*), *яркий* (*ярко*), *крупный* (*крупно*), *важный*.

В других случаях возможность выбора интенсификатора определяется прежде всего семантикой слова, обозначающего усиливаемый признак. Ср.: ***мастер*** — *большой, великий, выдающийся, гениальный, крупный, неподражаемый, непревзойденный, несравненный, первоклассный, прославленный* и т.п. и ***жажда*** — *адская, безумная, дикая, дьявольская, жгучая, изнуряющая, мучительная, невыносимая, неимоверная, неодолимая, нестерпимая, смертельная, страшная, чудовищная* и т.п. Очень многое здесь зависит и от возможности внутреннего сравнения, реализуемого интенсифицирующим словом:

адская жара, боль; *рабская покорность, угодливость*; *арктический холод*; *голубиная кротость*; *волчий аппетит, голод*; *царская награда, роскошь*; *обезьянья ловкость*; *райское блаженство, наслаждение.*

Некоторые из средств определенного языка могут быть наиболее распространенными, стандартными, стереотипными, и говорящий употребляет их не задумываясь. Таковы, например, в нашем случае слова *очень, сильно.* При этом, как уже сказано выше, данное средство является и наименее действенным, «стертым». Однако говорящий имеет возможность выбора именно того средства, которое выражает необходимый оттенок смысла или наиболее адекватно участвует в создании аффективного компонента смысла. Более того, говорящий (автор) может сознательно выбрать окказиональное интенсифицирующее средство, ставя перед собой цель повышения его экспрессивности: *несравненный лжец, вы чудовищно добры, суперидиот* и т.д.

Анализ интенсифицирующих слов в пределах текста показывает их сложную семантическую структуру и полифункциональность. Все подобные единицы прежде всего в той или иной степени отсылают читателя к объективной реальности, указывая на степень признака, превышающую нормальную (обычную). Вместе с тем во всех случаях интенсификации говорящий так или иначе выражает свою заинтересованность в ситуации, обусловленную интенсифицированным признаком, высокой «степенью включенности субъекта в высказывание», аффективностью [Вольф 2002: 43]. Включение интенсифицированных слов в текст должно, по замыслу говорящего, усилить его воздействие на собеседника — выполнить экспрессивную функцию. Коммуникативная цель интенсификации, таким образом, состоит не столько в том, чтобы показать, что признак превышает норму, сколько в том, чтобы «ввести в высказывание аффективный компонент значения, усилить таким образом „эмотивную“ сторону оценки — отношение субъект — объект и тем самым более эффективно воздействовать на адресата» [там же: 111].

Можно предположить, что в каждом интенсифицирующем языковом средстве заложены элементы, отражающие классическую модель речевой коммуникации Р. О. Якобсона, включающую шесть факторов: адресант, адресат, контекст, сообщение, контакт и код [Якобсон 1975: 198]. Применение интенсифицирующего средства предполагает комплекс факторов: заинтересованность адресанта в ситуации, желание усилить воздействие на адресата, указание на силу реального признака, внимание к способу сообщения (выбор стилистически, оценочно, эмоционально окрашенных средств интенсификации, ср.: *божественно красивый — чертовски красивый — обалденно красивый*), стремление облегчить контакт с собеседником (реализовать фатическую функцию), возможность выбора оптимального кода сообщения.

II. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

ГЛАВА VI
ПРЕДМЕТНО-ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ АТРИБУТ КАК ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТАНТА

В индоевропейских языках в функции определения (атрибута) выступают четыре основных класса слов. Это прилагательные (включая причастия как отглагольные прилагательные), местоимения (некоторые их подклассы), числительные, существительные. Атрибут — название члена предложения, точнее — зависимого члена субстантивного словосочетания, имеющего устойчивую структурно-семантическую организацию независимо от выполняемой им в предложении функции. Обобщение разных форм зависимого члена группы существительного под именем атрибута основывается на единстве его функции, которая состоит в выражении признаков предметов («предметов» в предельно абстрактном значении термина как обозначающего любые сущности, грамматически представленные так, что они могут выступать в предложении в позиции предикандума).

Сказуемое также выражает признак. Специфика предикативного отношения не будет здесь обсуждаться. Отметим лишь, что в прототипическом, двусоставном предложении сказуемое и подлежащее взаимно предполагают друг друга, их связь базируется на облигаторной взаимонаправленной сочетаемости [Адмони 1973: 22], тогда как связь определяемого и определения облигаторна — опять же прототипически — только со стороны определения. Что же касается часто проводимого противопоставления предикативного и атрибутивного способов выражения признаков в плоскости градаций «динамичности», «активности» производимых говорящим операций вычленения и приписывания признака его носителю, то обоснованность этого противопоставления более чем сомнительна. Определительное словосочетание может быть в не меньшей мере продуктом селекции и комбинации составляющих, осуществляемой говорящим в процессе формирования высказывания, чем соединение подлежащего и сказуемого. И наоборот, подлежащно-сказуемные комплексы могут быть столь же тривиально-обыденными, «готовыми», «заданными», как и многие сочетания атрибутивного типа. В чисто структурном плане (в отвлечении от коммуникативной перспективы высказывания с ее особыми выразительными средствами) атрибутивная связь распола-

© В. М. Павлов, 2005

гается на более низких уровнях иерархической организации предложения по сравнению с вершинной предикативной связью.

1. Семантическая основа противопоставления качественных и относительных прилагательных (на материале русского языка)

«Семантической основой имени прилагательного является понятие качества» [Виноградов 1947: 182]. Однако чуть выше читаем, что класс прилагательных объединяет слова, которые «означают признак предмета (качественный, относительный или указательно-определительный)». Качественные признаки, возможно, и составляют центральную зону «поля признака», передаваемого прилагательным в его предикативной или атрибутивной связи с существительным, но не исчерпывают эту зону. И семантические разряды могут не во всем совпадать с разрядами, границы между которыми определяются морфологическими различиями. Например, по признакам наличия полных и кратких форм, а также степеней сравнения прилагательные типа *хороший*, *плохой*, *превосходный*, *восхитительный*, *отвратительный*, *мерзкий* и т.п. принадлежат к разряду качественных. Однако они выражают субъективные эмоционально-оценочные или просто оценочные реакции на какие-то явления, ничего не сообщая о свойствах этих явлений. Это особый семантический разряд прилагательных, который в плане выражения не отличается от качественных прилагательных. Тот факт, что имеется немало прилагательных, относимых к качественному разряду, в которых к обозначению качественного признака присоединяется выражение оценки (ср., например, *душистый* и *вонючий*), с точки зрения полевого принципа строения языковых систем и подсистем, совершенно закономерен. Так же закономерны частичные взаимоналожения полей качественности и относительности, относительности и притяжательности.

Разграничение разрядов прилагательных связано со значительными трудностями и требует прежде всего анализа семантической основы проводимой дифференциации. Анализ не бывает «непредвзятым». Полевой подход предполагает отказ от установки на выявление замкнутых (непересекающихся) классов (подклассов) явлений рассматриваемой области, которые противостоят друг другу и по которым распределяется весь или почти весь входящий в эту область материал. Обычно некоторая часть материала плохо поддается четкому распределению по рубрикам устанавливаемой классификации, но противоположная ориентация, а именно установка на выявление системы, основу которой составляют исключительно оппозитивные отношения, побуждает всячески принижать значимость «неудобных»

фактов, делая мимоходом замечания о «подвижных границах» между устанавливаемыми классами и/или относя «переходные явления» к сфере процессов языковых изменений и оценивая их как нечто преходящее. Полевой подход исходит из такого онтологического образа языковой системы, в котором пересечения классов признаются столь же существенным признаком ее структурной организации, как и их противоположность в том или ином существенном отношении.

Классификации, опирающиеся на этот принцип, называют (в отличие от формально-логических) по-разному — естественными, реальными, содержательными. Уместно в этой связи напомнить следующие высказывания Б. М. Кедрова: «Содержательные классификации (например, в естествознании) опираются не на формальные, а на диалектические принципы и носят подлинно научный характер <...> В содержательных классификациях главным становится не проведение максимально четких разграничительных линий между различными группами, а раскрытие переходов между ними, обнаружение связующих областей, в которых предметы обнаруживают не один какой-либо отличительный признак, присущий определенной группе, а по меньшей мере два признака, присущие двум или более различным группам» [Кедров 1962: 523]. Подчеркнем прежде всего положения о подлинно научном характере содержательных классификаций и о том, что главным в ориентированном таким образом исследовании является «обнаружение связующих областей». Само наличие, множественность и разнообразие «связующих областей» в языковой системе представляет собой одно из проявлений взаимодополнительности свойств дискретности составляющих системы и ее глобальной континуальности.

Принцип полевой структуры языковой системы наиболее адекватным образом отображает эту объективную особенность ее строения — вместе со свойственными ей внутренними противоречиями. Два признака, о которых говорит Б. М. Кедров, принадлежащие двум различным группам, — это признаки, по которым соответствующие группы противостоят друг другу, следовательно, признаки взаимоисключающие. Объединяясь в рамках одного явления (на некотором основании, подлежащем выяснению), они противостоят друг другу как силы, которые конкурируют в этом явлении в плане притяжения к одной из двух противоположных групп.

Конечно, возможно равновесие этих сил. Связи в языковой системе между различными ее компонентами, связи парадигматические (по Ф. де Соссюру, «ассоциативные»), не просто базируются на их признаках, они и представляют собой признаки, которые своей общностью объединяют элементы системы в классы и подклассы, характеризуемые эквивалентностью в том или ином — основывающемся на соответствующем общем признаке — отношении. Что касается мето-

дики полевого анализа, нацеленного в качестве одного из ведущих направлений на обнаружение и анализ «связующих областей» в языковом материале, то начинать продвижение в этом направлении разумно с выявления и установления специфики тех противостоящих друг другу классов явлений, признаки которых объединяются в явлениях переходных между ними и опосредующих противостояние данных классов, их собственно оппозитивное взаимоотношение.

Вернемся после этих замечаний общего характера к вопросу о разрядах прилагательных. Остановимся вначале на прилагательных, единодушно объединяемых всеми грамматиками в разряде прилагательных качественных. Мы уже видели, что к этому разряду причисляются, в частности, прилагательные субъективно-оценочные (среди которых значительную долю составляют эмоционально-оценочные слова) и что эти прилагательные не являются качественными в смысле выражения признаков, принадлежащих самим по себе предметам. Это следствие многоаспектности языковых образований [Адмони 1961]. Прилагательные, располагающиеся в диапазоне значений от *превосходный* до *отвратительный*, обладают всеми формальными свойствами качественных прилагательных. Однако с качественностью соотносятся лишь косвенным образом, лишь имплицируя какие-то собственные признаки предметов, дающие основание для той или иной их оценки. Формальная и лексико-семантическая стороны языкового явления — по сравнению с его прототипической разновидностью — расходятся в силу своей относительной взаимной независимости. Грамматики приносят это различие в жертву стремлению классифицировать, не «умножая сущности». Против этого нечего возразить, кроме одного, но весьма существенного соображения. А именно: всякое упрощение должно быть эксплицитно освещено, причем разъяснению подлежат его цель (например, дидактико-методическая) и его мера, т.е. должно быть ясно определено, за счет каких «деталей» упрощается картина языковой действительности. Попутно заметим, что, как только мы переходим от субъективно-оценочных прилагательных к прилагательным качественно-оценочным (*пронырливый*, *злопамятный*, *губительный*, *изящный*, *приветливый*, *ласковый* и т.п.), включение последних в разряд качественных прилагательных уже не сопрягается с каким бы то ни было внутренним противодействием. Оценочный момент воспринимается как некая «добавка» к качественной основе семантического содержания прилагательного, которая в нем доминирует. Это, кстати, не означает, что оценочный элемент семантики одновременно не «привязывает» данные прилагательные к группе собственно субъективно-оценочных, так что двойственность в этом случае остается в силе и не может исключаться из описания. Вопрос ставится в плоскости доминации одной из противоположных характеристик.

Мы уже не раз употребили выше слова «качество», «качественный», «качественность». Закономерен вопрос: какое содержание следует связывать со словом «качество»? В имеющейся литературе — лингвистической, философской, лексикографической (в словарях) — ясный, тем более единообразный ответ на этот вопрос найти не удается. Приходится отчасти выбирать, отчасти брать ответственность на себя. Выражение «качество» имеет два следующих значения, которые релевантны с точки зрения лингвистического анализа.

1. Под «качеством» подразумевается отдельный признак, отображаемый сознанием как принадлежащий предмету самому по себе и так или иначе «порождаемый» предметом (и в этом смысле внутренний по отношению к нему). Указание на отображение признака сознанием опирается на тезис о том, что всякое ментальное содержание (а таковыми и являются языковые значения) представляет собой субъективный образ некоторого фрагмента объективного мира (объективность отображения подтверждается или не подтверждается практикой, в которую входит и практика общения). Признаки, конкретизирующие положение предмета в пространстве или во времени, не являются качественными: прилагательные типа *сегодняшний*, *позапрошлогодний*, *здешний*, *тамошний* являются относительными (отнаречными). Вряд ли можно с указанной точки зрения причислять к качественным отглагольные прилагательные со значениями направленных на предметы «извне» действий или отношений, если эти действия или отношения, находясь в значении прилагательного на переднем плане, не имплицируют одновременно те или иные признаки определяемого предмета (ср., например, *любимый* или *ненавидимый*), тогда как *съемный*, *складной* или *вязаный* — прилагательные качественные (занимающие среди качественных прилагательных особое место, так как они не причастны к категории интенсивности). Качественный момент может обнаруживаться и в пространственно ориентирующих прилагательных; ср. (в предложениях об обмене квартир): *Верхний и нижний этажи не предлагать.* Отношения полевого характера пронизывают всю область «разрядного» распределения имен прилагательных и иных пересекающихся с ними на почве атрибутивности грамматических классов слов. «Качество» в этом первом значении термина (близком до неразличимости к тому, что обычно определяется как «свойство») обнаруживается в общем случае как нечто одинаковое в некотором разнообразии предметов. Соответствующее смысловое образование представляет собой отвлечение (абстракцию) и обобщение «одинакового в разном» (ср. [Аксаков 1880: 112]). Благодаря этому качественное значение мыслится как некая определенная в своем содержании «отдельность», занимающая обособленное место в мире лексических значений и могущая получить автономное лексикографическое толкование.

2. На «качество» в ином значении, которое также затрагивает интересы лингвистики, пока претендует прежде всего философия. Это значение совпадает со значением выражения «качественная определенность» (предмета и вообще любой сущности). В отличие от значения «качества», о котором шла речь выше, «качество» в данном значении заключает в себе некоторое множество свойств, трактуемых как «существенная определенность предмета, явления или процесса, в силу которой он является данным, а не иным предметом, явлением или процессом» [Современный толковый словарь русского языка 2001: 266]. Мы предпочли философским определениям «качества» толкование собственно языкового значения слова (того из его значений, которое нас сейчас интересует), так как, несмотря на то, что эта формулировка сопровождается в словаре пометой «филос.», она отражает усредненный уровень понимания философского термина неспециалистами, т.е. в конечном счете большинством тех, кто встречается с этим термином в процессах коммуникации.

В слове «качество», претендующем в языкознании на статус термина, заключены, таким образом, существенно различные значения. Отображению в сознании «одинакового в разном» противостоит отображение любой сущности как комплекса ее отличительных признаков. Его можно было бы назвать х о л и с т и ч е с к и м. Такого рода семантические целостности представлены лексическими значениями знаменательных слов, они и образуют в виде «формальных понятий» «концептуальные ядра лексических значений» [Кацнельсон 1965: 14, 18–25]. Далеко не все знаменательные слова передают значения холистического типа. Асимметрические отношения плана выражения и плана содержания проявляются, в частности, в том, что признаковые значения, т.е. значения одного признака, могут грамматически «опредмечиваться». И напротив, слова, принадлежащие по своему синтаксическому поведению к признаковым грамматическим классам (прежде всего глаголы), могут обладать таким содержанием, которое не исчерпывается указанием на один какой-либо признак; например, в *настлать* выделяется значение «уложить плотно рядом (доски, бревна, плиты и т.п) по какой-л. поверхности» [Современный толковый словарь русского языка 2001: 389]. В этом толковании процесс представлен в его конкретности, он детализирован указаниями на ряд входящих в него признаков. Можно привести множество примеров такого рода. Холистическое содержание лексического значения представляет собой обобщенное знание комплекса отличительных признаков предмета («качества» как «качественной определенности»). В данной связи неизбежно возникает вопрос о специфике имен собственных, явным образом принадлежащих к языковому лексикону. Некоторыми исследователями отвергается распространенное мнение, согласно которому имена собственные кардинальным обра-

зом отличаются от имен нарицательных тем, что они не выражают «понятий», поскольку они указывают на единичный предмет, а понятие, будучи обобщением, должно соотноситься с предметным классом. С. Д. Кацнельсон пишет по этому поводу: «Все слова, как единицы языковой системы, выражают нечто общее. Даже собственные имена, которые часто упоминаются в этой связи как исключения, содержат в себе элемент обобщения. Выделяя какое-либо лицо, собственное имя объединяет различные состояния и аспекты его деятельности, различные периоды его физического и духовного развития» [Кацнельсон 1965: 9–10]. Пример именно «лица» здесь, разумеется, случаен. Гора Казбек тоже может представать взору в различных состояниях. Но, на наш взгляд, дело не в этом, точнее, главным образом не в этом. Чтó обобщается в значении имени собственного? В значении языковой лексической единицы обобщаются не прямо и непосредственно признаки объекта, в рассматриваемом случае уникального, а «мыслительные» отображения предмета в их социальном множестве. Поэтому класс обобщаемых величин как объект обобщения представлен и в этом случае, и он принципиально не отличается от класса соответствующих величин в случае обобщения, составляющего содержание имени нарицательного. Условием такого обобщения (как и условием самой принадлежности конкретного имени собственного к языковому лексикону) является значимость обозначаемого им предмета, его «вес» в социальной жизнедеятельности (включая роль, которую играет в ней историческая память) и, как следствие, распространенное знание о нем. Условием же правильного понимания соотношения конкретно-единичной референции имени собственного и его «понятийного» содержания является признание того, что объективность языковых значений есть объективность их существования — вместе с существованием самого языка — исключительно в человеке, точнее, в единстве индивида и социальной общности носителей конкретного языка.

Каково соотношение двух рассмотренных выше значений слова «качество»? Речь должна идти, разумеется, об этом соотношении в его языковых преломлениях, в формах языковых образований и их значениях. «Качество» в его холистическом смысле составляет (в отвлечении от коннотаций разного рода) то, что С. Д. Кацнельсон называет «концептуальным ядром» лексического значения, причем прежде всего — значений основной массы имен существительных, поскольку термин «предмет» в лингвистике — как означаемое — и есть средоточие некоторого комплекса отличительных признаков. Такие комплексы с той или иной степенью полноты и адекватности описываются лексикографами посредством словарных толкований значений существительных. Различие языковой репрезентации холистического качества и качества-свойства (в дальнейшем будем именовать

его также просто свойством) при обозначении первого существительным, а второго (преимущественно) качественным прилагательным представляется очень глубоким.

Общая картина рассматриваемых отношений определяется не только указанным различием, но и иерархическим строением понятийных систем. «Обыденные», или «формальные» понятия (по С. Д. Кацнельсону), так же как и понятия научные, вступают друг с другом в родо-видовые связи. Вид одновременно тождествен роду и выделяется из него чем-то, что отличает данный вид от прочих представителей общего рода. Родо-видовая иерархия может быть представлена различными существительными; ср. *организм — животное — млекопитающее — собака — терьер* и т.д. (научная точность в данном случае несущественна). Но класс предметов, воспринимаемый — в соответствии с формально-логической структурой genus proximum et differentia specifica — как вид определенного рода, может обозначаться и посредством атрибутивного словосочетания, в состав которого входит родовое имя и определение, указывающее на видовое отличие. То, что с точки зрения известных универсальных языковых тенденций можно считать недостатком этого способа выражения понятия о классе (подклассе) предметов, состоит в его усложненности, «неэкономности», однако этот недостаток уравновешивается преимуществом эксплицитного означения видо-родовых подчинений и соподчинений.

Когда речь идет о видовом понятии, его содержание обычно представляет собой не такой комплекс признаков, который, в основном совпадая с комплексом признаков родового понятия, отличается от последнего лишь какой-либо одной особенностью, так как видовое отличие от рода, как правило, также имеет комплексный характер. Поэтому глубинная функция атрибута в видовом определительном словосочетании состоит в том, чтобы безотносительно к принадлежности атрибута к тому или иному грамматическому классу и его морфологическому облику, к форме выражения его подчинения определяемому существительному и даже при относительной независимости от его собственного лексического значения указать на видовое отличие от родовой общности. Мы недаром говорим, что атрибут указывает на видовое отличие, а не выражает его во всей его полноте своим лексическим значением. В частности, качественное прилагательное, обозначая один определенный признак («одинаковое в разном»), уже поэтому не может своим лексическим значением охватить комплексную качественную характеристику видового класса предметов (во втором значении «качества»). Оно символизирует только осознание одной из граней многогранного видового содержания; ср. *большой палец*, *главная улица*, *клейкая лента*, *кислая капуста*, *глубокая тарелка*, *зеленый свет* (*светофора*), *бешеная собака*, *крепкий напиток*

и тысячи других подобных словосочетаний (устойчивых словесных соединений) в русском языке. Сюда же, вновь учитывая полевые отношения в общей массе прилагательных, следует отнести словосочетания аналогичного типа с прилагательными, которые, с одной стороны, не причисляются к «классическим» качественным (в первую очередь в силу их непричастности к категории интенсивности), но, с другой стороны, несмотря на более или менее явную производность и связанные с этим элементы относительности (в том числе процессуальной и по форме отглагольной), как и обычные качественные прилагательные, закрепляют в своих значениях обобщения одинаковых признаков, присущих разным классам предметов; ср., например, *ответственный редактор*, *спасательные работы* (*спасательный пояс*, *спасательное судно*, *спасательный отряд*), *принудительный труд*. Некоторые прилагательные характеризуются очень ограниченной сочетаемостью с определяемыми именами (вплоть до единичной подобной связи) в рамках соединений, представляющихся по значению и употреблению видовыми; ср. *скаковая лошадь* (*скаковая конюшня*, *скаковой ипподром*, *скаковой сезон*), *замужняя женщина, плетеная корзина*, *замедленная съемка*.

Излагаемый здесь анализ согласуется со «стратификационной» моделью языковой семантики [Бондарко 1978; 2002] (вариант «неоднослойности», в котором особое внимание уделяется единению в лексическом значении «страт» чувственного и отвлеченно-рационального порядков, представлен в работах [Павлов 1967; Михайлов, Павлов 1991; Михайлов 1992]). Языковедческие труды А. А. Потебни насквозь пронизаны идеей представления «ближайшими» значениями языковых форм, значениями, которые он называл «формальными» (настаивая при этом на «формальной» природе языка в целом), мыслительных содержаний (понятий и представлений), определявшихся им как «внеязычные». Положение о «внеязычности» того, что выходит за пределы «ближайших» (или народных) значений, не получило всеобщего признания. Да и различение «ближайшего» и «дальнейшего» в содержании слова, в котором (на определенном этапе его существования в языке) отсутствует производность, невозможно. Означаемое такого слова представляет собой — в языковом плане — социально обобщенное знание обозначаемого словом фрагмента действительности (в частном и особом случае лишь воображаемой).

Положение о том, что знание некоторого минимума отличительных признаков «вещи» составляет значение языкового выражения, в равной мере относится к отдельному знаменательному слову и к языковой «номинации», представляющей собой словосочетание. Главным признаком, по которому опознается принадлежность номинативного средства к инвентарю языковых средств номинации, т.е. к социальному лексикону, является то, что А. И. Смирницкий характеризовал как

«воспроизведение в общественном масштабе» [Смирницкий 1952: 20]. «Устойчивость» как признак особого рода словосочетания и его «воспроизводимость» — выражения, которые, в сущности, отражают одно и то же свойство словосочетаний, реализующих лексемную функцию. «Словарь» имеет очень сложную структуру, о которой неуместно бегло говорить. Вполне вероятно, что устойчивые словосочетания занимают в нем, с точки зрения представленности комплекса свойств прототипической знаменательной лексической единицы, периферийное положение. Устойчивость (воспроизводимость) номинативной единицы представляет собой следствие и проявление систематического обращения говорящих — на практике и «в мыслях» — к обозначаемой ею реалии. Поэтому семантическое содержание номинативной единицы неизбежно обогащается не представленными в лексических значениях наглядно-чувственными и функционально-прагматическими признаками. Постоянно наличествует проявляющееся в какой-то мере расхождение между «внутренней формой» номинативного словосочетания (всегда имеющего «внутреннюю форму») и ее полным семантическим содержанием.

«Качественность» в обоих значениях слова присуща, таким образом, словосочетаниям устойчивого типа, в которых атрибут представлен качественным прилагательным (качественным по критерию «одинакового в разном»). Расстояние между признаком, передаваемым атрибутивным членом словосочетания, и тем, что наслаивается на этот признак, возрастает весьма ощутимым образом, когда функцию атрибута принимает на себя не качественное прилагательное, а прилагательное, представляющее собой «переодетое» (транспонированное) имя существительное. Само имя существительное может выступать в атрибутивной функции, которая эксплицируется формой, подчиняющей его другому существительному.

Продолжая рассмотрение вопроса о распределении прилагательных по разрядам (под углом зрения полевой организации системы), мы должны остановиться прежде всего на прилагательных, отличающихся отмеченной выше особенностью. Их называют прилагательными относительными. Слова типа *горный*, *санный, песенный, световой*, *бельевой*, *поведенческий*, *городской, женский, чиновничий* и бесчисленное множество других подобных выражают своей формальной принадлежностью к прилагательным категориальное значение признака, относимого к определенной субстанции, но «вещественное» значение слова остается при этом субстанциональным, исчерпывается значением его субстантивной основы. Последняя же — в прототипическом случае — сама по себе не признак, а предметное понятие. Атрибутивная конкретизация определяемого предмета представлена, таким образом, как его связь с другим предметом. И здесь вступает в силу ряд обстоятельств, резко и определенно подчеркивающих

функциональную значимость знания реальной действительности как основы выражаемого языковым знаком смыслового содержания для оценки языковой действительности. Предметное отношение как признаковое значение отсубстантивного относительного прилагательного им самим, его формой представлено совершенно недифференцированным образом. В понимание этого отношения, разумеется, вносят свой вклад лексические значения сочетающихся слов, однако решающая роль в этом принадлежит все же знанию того, каким именно (как правило, единственным) образом могут в действительности (в известном носителям языка опыте ее познания) относиться друг к другу соответствующие предметы. *Домовая книга* — это *книга,* которая имеет определенное отношение к *дому*, но, несмотря на то, что «дом» — понятие пространственное, отношение такой *книги* к *дому* безразлично к пространственной плоскости признаков, потому что под «домом» имеются в виду населяющие его люди, а «книга» предназначена прежде всего для их регистрации в этом качестве. Сочетание слов *лучевая болезнь* передает сложное содержание, понимание и знание которого лишь отталкивается от причинной связи между *лучами* (определенного рода) и *болезнью.* Ср. также, например, анализ прилагательного *автомобильный* в статье [Павлов 1960]. Мы вновь сталкиваемся здесь с расслоением семантического содержания на «ближайшее» и «дальнейшее» значение языкового образования, в данном случае — устойчивого определительного сочетания слов. Особенностью такого сочетания с участием относительного прилагательного является то, что знание реальной действительности актуально уже на начальном и поверхностном уровне «расшифровки» смыслового отношения лексических значений определения и определяемого, поскольку это взаимоотношение двух предметных понятий. Выше мы уже останавливались на том, что в случае языковых номинативных средств понятийное содержание таким поверхностным уровнем не ограничивается, что оно включает в себя обобществленное знание некоторого минимума отличительных признаков обозначаемой реалии, выходящего за пределы содержания его «внутренней формы».

Обращаясь к русскому языковому материалу, мы концентрировали внимание на определительных словосочетаниях, узуально воспроизводимых носителями языка. Это связано с тем, что они выражают понятийные содержания («формальные понятия», как их определяет С. Д. Кацнельсон) в единстве своих частей. Когда в речевой ситуации такое словосочетание обозначает конкретный единичный предмет, оно, выражая видовое значение, подводит обозначаемый предмет под обобщение свойств таких предметов, представляет предмет как экземпляр предметов «такого рода», типизирует обозначаемый предмет (это сложное соотношение упрощается при употреблении видового словосочетания в «генерическом» контексте, без отне-

сения к единичному). Видовые словосочетания определительного типа с атрибутивным качественным прилагательным и с атрибутивным относительным прилагательным, разделяя указанные функциональные свойства, существенно различаются в другом отношении. В словосочетаниях с качественным прилагательным видовое содержание наращивается на непосредственно выражаемую значением прилагательного одностороннюю характеристику определяемого. Их «внутренняя форма» имеет структуру, не отличающуюся от структуры «свободных», собственно синтаксических словосочетаний с качественным прилагательным (исключения составляют в той или иной мере идиоматизированные соединения типа *красная цена*, *черная дыра*, *зеленый змий*, *писаная красавица*, *ломаный язык*, *горячая линия*, *холодное оружие* и т.п., которые мы здесь оставляем в стороне). Выражение видового семантического содержания не представляет собой специфической функции определительных словосочетаний с качественным прилагательным. Напротив, это и есть именно специфическая (и поэтому центральная, прототипическая) функция атрибутивных словосочетаний с относительным прилагательным.

Необходимо тщательно разобраться в формально-грамматической технологии, которая лежит в основе рассматриваемого функционально-семантического эффекта. Сначала этот анализ необходимо осуществить на материале русского языка, чтобы затем обсудить перспективу выявления определенной типологической константы в сфере атрибутивных отношений. Анализу в данном направлении будет способствовать сравнение двух основных способов выражения предметно-относительной атрибутивной связи — посредством отсубстантивного относительного прилагательного и при помощи существительного, подчинение которого другому существительному выражается падежной формой зависимого слова или при помощи предлога. В русском языке представлено также словосложение как средство выражения предметно-относительной связи, ср. *зернохранилище*, *хлебозавод*, *нефтепромысел*, *бомбоубежище*. Словосложение в рамках намечаемого сопоставления находится в основном в сфере словосочетаний с относительными прилагательными. Чтобы не усложнять изложение, русское словосложение мы далее не будем затрагивать.

Возможно референтное и нереферентное употребление предметных имен. С референтным употреблением мы связываем локализацию обозначаемого предмета в пространстве и/или во времени, в части случаев — потенциальную локализацию ограниченного множества либо даже всего класса предметов, если этот класс представлен множественным числом существительного как раздробленный на составляющие его единицы. С этой точки зрения нереферентно, например, употребление имени *тигр* не только в позиции предиката в предложении *Это животное — тигр*, но и в предложении *Тигр не име-*

ет других опасных для его жизни врагов, кроме человека. Обозначение какой-либо «общности» формой множественного числа неоднозначно в плане референтности / нереферентности. С одной стороны, множество предметов может представляться вне локализации, с другой стороны, поскольку множество есть совокупность (однородных в определенном отношении, но одновременно и разнообразных) элементов, его грамматическое означение репрезентирует предметный класс именно как класс ближе к реальности его существования; тем самым форма множественного числа репрезентирует предметный класс конкретнее, чем форма единственного числа, а конкретность является предпосылкой хотя бы потенциальной локализуемости. Потенциальная локализация референтов проявляется и в таких высказываниях генерического характера, как *Львы не принимают участия в охоте. Охотятся только львицы.*

Противоположность относительного прилагательного и атрибута-существительного (в ее прототипическом ракурсе) может быть осмыслена как привативная оппозиция, маркированный член которой — относительное прилагательное. Разграничительную линию образует признак референтности. Отсубстантивное относительное прилагательное, передавая отношение к предмету, вместе с тем нереферентно. Основа существительного — в составе относительного прилагательного — лишается способности к выражению категорий падежа и числа, а референция к конкретным единичным объектам и их группам неразрывно связана в русском языке с этими категориями. При употреблении же существительного в любой падежной форме единственного или множественного числа, как правило, имеется в виду предмет или группа предметов, локализуемые в пространстве и времени, однако не исключено и выражение этими формами обобщений на понятийном уровне, т.е. их нереферентное употребление. Самостоятельное существительное может употребляться нереферентно в любой синтаксической позиции в высказываниях генерического типа (ср. приведенные выше примеры), но нереферентное употребление наиболее характерно именно для существительного в роли атрибута. Второй член оппозиции «относительное прилагательное — атрибут в виде словесно автономного существительного» является немаркированным в плане референтности, поскольку он «открыт» для обоих видов употребления. Если (*эта*) *садовая скамейка* обладает комплексом признаков «таких» скамеек, то *скамейка в саду* может быть или не быть представителем скамеек определенного типа, во всяком случае ее принадлежность к некоторой разновидности «скамеек» остается невыраженной.

Языковой материал дает основание говорить о различных вариантах противопоставленности двух рассматриваемых нами атрибутивных структур. В русском языке от некоторых существительных

вообще не могут быть образованы относительные прилагательные (или они в лексиконе просто отсутствуют, «не приняты»). Атрибуция предметных отношений в обоих их ракурсах в плане референции может в таких случаях осуществляться только посредством одной и той же формы — формы словесно автономного существительного, ср. *мебель для спальни* (но *конторская мебель*, *офисная мебель*), *основа прилагательного* (но *глагольная основа*), *дом для престарелых*, *последнее слово подсудимого*, *сигнал отбоя, аренда помещения*, *спинка стула*, *набалдашник трости*. Возможно устойчивое употребление аналогичного атрибута-существительного во множественном числе, ср. *доска объявлений*, *суд присяжных*, *охота на волков*, *дуэль на шпагах*. Нереферентное употребление может быть свойственно субстантивному атрибуту, но не потому, что относительное прилагательное отсутствует, а потому, что между двумя формами распределено выражение разных предметных отношений (часто в связи с полисемией), ср., например, *история болезни* и *болезненный ребенок* ('подверженный болезням'), *болезненная худоба* ('вызванная болезнью'); *звено цепи*, *цепная собака* и *цепная реакция*; *желудочный сок* и *язва желудка*. Одна из разновидностей противопоставленности связана с тем, что относительное прилагательное осложнено качественным оттенком значения либо даже воспринимается именно как качественное, ср., например, *книга жалоб* и *жалобный взгляд*, *корм для скота* и *скотское поведение*, ср. также *пламя* (*языки пламени*) и *пламенный*, *убийство* (*обвинение в убийстве*) и *убийственный*, *урожай* (*сбор урожая*) и *урожайный* (характеризуемый богатым урожаем).

Приведя перечень (вероятно, не исчерпывающий) условий «принудительного» употребления автономного существительного-атрибута не только для обозначения «единичного», но и для выражения «общего», подчеркнем еще раз, что выражение «общего» таким атрибутом и тем самым выражение видового значения словосочетанием с этим атрибутом в целом не является специфической функцией словосочетаний данного типа. Эта функция, напротив, образует центр функционально-семантического поля определительных словосочетаний с относительным прилагательным. Устранить из субстантивного атрибута отношение к единичному предмету — значит представить это отношение как не единичное и случайное, а как такое, которому свойственно постоянство. При этом атрибутируемый признак, состоящий в отношении к общему и, стало быть, к типу предметов, оборачивается переносом на определяемое типических признаков, основывающихся на соответствующем предметном отношении. В одной из своих работ В. В. Виноградов высказал суждение о том, что «относительное прилагательное $<\ldots>$ обозначает не качество, а предметно-конкретное отношение» [Современный русский язык. Морфология 1952: 176]. Это верно, только если рассматривать прилагательное как

слово, изолированное от контекстов его употребления. Относительное прилагательное в его связях с определяемыми существительными служит выражению качеств, причем в соответствии с обозначением разных отношений к собственной природе определяемых предметов — различных качеств («качественных определенностей») разных видов предметов, входящих в те или иные предметные роды.

«Качество» в первом и «качество» во втором из рассмотренных значений в их адъективной репрезентации не изолированы друг от друга, но обнаруживают связи, причем связи полевого характера. Это означает, что классы качественных и относительных прилагательных пересекаются по их отдельным свойствам. Хотя для качественного прилагательного не характерно участие в построении «разновидностных» определительных словосочетаний, качественное прилагательное весьма часто выражает один из признаков, составляющих комплекс типических признаков предмета (класса предметов). Выражается признак, как бы выдвинутый на передний план, но не исчерпывающий общее призначное содержание словосочетания, как в случаях, уже упоминавшихся выше и, например, в словосочетаниях *молодое вино*, *главный врач*, *тяжелое ранение*, *красная икра*, *горячий источник*. Со стороны относительных прилагательных сближение с областью «качества» в смысле отдельного свойства базируется на разных основаниях. Определительное отношение к тому или иному предмету может быть у некоторой массы разных определяемых одним и тем же, так что в результате относительное прилагательное сближается с качественным по признаку выражения «одинакового в разном». Таковы (в основном) прилагательные, обозначающие признак по материалу (‘сделанный, состоящий из’), типа *каменный*, *стеклянный*, *оловянный*, *кожаный*, *волосяной*, *соломенный*. Осторожность уместна, поскольку, наряду с такими группами, как *каменная стена*, существуют и сочетания *каменный карьер*, *медный рудник*, *золотой запас*, *бронзовое литье*, *пшеничное поле* и другие подобные. Все же в этом подклассе прилагательных доминирует значение одинакового предметного отношения разных определяемых к «материалу». Встречаются и иные «однопорядковые» случаи. В частности, относительное прилагательное может одинаковым образом ориентировать разные определяемые в пространственном отношении, ср. *стенной* (‘на’ или ‘в’ стене), *уличный*, *вокзальный* и т.п. Отметим, что пространственная конкретизация, выражаемая предложным атрибутом-существительным, представляет собой чисто внешний признак, не затрагивающий «качества» ни в одном из значений этого слова, тогда как пространственно ориентирующие относительные прилагательные выполняют свою прототипическую «разновидностную» определительную функцию: *стенные часы* — это часы

особого типа (и являются таковыми не только на стене, но и где угодно).

Выражая обобщенные, понятийные содержания, словосочетания с относительными прилагательными тяготеют к лексической, лексемной функции, втягиваются в языковой лексикон, образуя периферию словарного состава, поскольку они одновременно многими нитями связаны с синтаксисом.[1] Как и словесные единицы лексикона, словосочетания подвержены семантическим сдвигам на основе сходства предметов по различным признакам (либо они и формируются на этой основе, ср., например, *звездный час*, *лунный камень*, *волчий билет*, *лебединая песня*). Относительное прилагательное, несущее на себе в определенном словосочетании (или в ряде словосочетаний) нагрузку выражения комплексной качественной характеристики «вида», отличающей его от «рода», способно в соединениях с другими существительными концентрировать в себе — на базе сравнения — то призначное значение, которое послужило основанием сравнения, tertium comparationis. Таким образом, оно переходит к выражению «одинакового в разном», т.е. к выражению значения качественного в ином (первом, см. выше) смысле. Ср., например, *героический эпос — героический поступок*, *театральный зал — театральный жест*, *ювелирная мастерская — ювелирная работа*, *головная боль — головной институт*, *красочный слой — красочное описание*; к этому можно добавить примеры типа *золотое сечение*, *железная воля* и т.п. В отдельных случаях относительное прилагательное функционирует (также на основе сравнения) только в качественном («однопризначном») значении, например, *мастерский*, *топорный*. Сравнение обусловливает тот же смысловой эффект, но лишь эпизодический, обнаруживаемый в отдельных словосочетаниях, что не всегда позволяет причислять «однопризначное» качественное значение к собственно лексическим значениям прилагательного, ср., например, *гусиная кожа*, *осиное гнездо*, *медовый месяц*, *бронзовый загар*, *медвежья услуга*, *орлиный нос*. Крайний случай — уникальная сочетаемость прилагательного, ср. *кучевые облака*.

В рассматриваемой области отчетливо выступают свойства полевой структуры. Во-первых, резко противопоставлены друг другу центральные зоны качественных и относительных прилагательных: качеству-свойству как семантическому содержанию качественного прилагательного, в основе которого лежит отвлечение и обобщение «одинакового в разном», противостоит выражаемое относительным прилагательным (в словосочетании) качество как качественная определенность вида, выделяемого из рода. Во-вторых, в обоих подклассах

[1] Объем данного раздела не позволяет останавливаться здесь на вопросе о взаимопересечении комплексов свойств составных лексических единиц и синтаксических соединений лексем. Этот вопрос подробно рассматривается в [Павлов 1996б].

выявляются периферийные зоны: с одной стороны, словосочетания с качественными прилагательными, которые передают «разновидностные» содержания (и приобретают свойство воспроизводимости), с другой — относительные прилагательные, более или менее последовательно выражающие свойства как «одинаковое в разном». Относительно последнего существенное значение имеет количественное различие, которое можно назвать различием в плоскости интенсивности, поскольку степень сближения относительного прилагательного с качественным зависит от количественного соотношения его употреблений со значением единообразной предметной связи или определенного признака на базе сравнения и его употреблений под знаком «отношения к ...» (различных отношений к обозначаемому субстантивной основой предмету).

2. Функция обобщенного (нереферентного) предметно-относительного атрибута как типологическая константа

Одна из важных сторон развития практической и познавательной деятельности человека состоит в том, что он познает и создает подклассы явлений природы, общества, техники, мира идей, явлений, которые ранее представлялись ему в более общем, внутренне менее расчлененном виде. Потребность в «разновидностной» дифференциации общих понятий следует поэтому полагать как универсальную. Язык отвечает на эту потребность тем, что в нем возникают специальные средства атрибуции определяемым именам комплексных типизирующих (классифицирующих) признаковых характеристик. Таким специфическим средством, наиболее емким с точки зрения комплексности атрибутивной характеристики, является некоторая форма выражения отношения определяемого предмета к другому предмету при условии, что обозначение последнего осуществляется нереферентным, обобщенно-понятийным образом. В русском языке (как и в славянских языках вообще) специфическим средством устранения референтных отношений существительного к отображаемым в речемыслительном процессе единичным «реалиям» является использование основы существительного в составе относительного прилагательного. Нужно, правда, учитывать одно существенное «но». В русском языке нередко тот же семантический эффект достигается такой формой, которая обслуживает и референтное употребление существительного, т.е. формой автономного субстантивного атрибута. Отсюда следует, что в том или ином языке возможно и отсутствие специальной грамматической формы нереферентного субстантивного атрибута. При этом соответствующая дифференциация не получает

внешнего выражения (в части случаев она не получает внешнего выражения в русском языке, ср. выше примеры типа *история болезни*, *доска объявлений*).

Наблюдения над отдельными языками подтверждают наличие в них тенденции к выработке особых форм обобщенного предметно-относительного атрибута. В ряде индоевропейских языков возник и получил развитие артикль. Немецкий язык сохранил категории падежа и числа существительного, в английском и французском языках сохраняется категория числа, в английском от категории падежа остается ограниченное определенными рамками употребление родительного падежа, во французском падежное словоизменение существительного утрачено. Но независимо от этих различий в названных языках главным средством варьирования референтных отношений существительного выступает — во взаимодействии с контекстом — артикль, определенный и неопределенный. Во всех этих языках на прототипическом фоне употребления существительного с артиклем употребление существительного без артикля в определенных присубстантивных позициях и формах наделяется той же семантической функцией, что и основа существительного в составе относительного прилагательного в русском языке, т.е. функцией выражения обобщенного предметного понятия — с тем же присущим словосочетанию в целом типизирующим, «разновидностным» значением.

На ранних этапах засвидетельствованной письменными памятниками истории немецкого языка в нем (как и в английском языке) преобладала унаследованная от прагерманского периода препозиция беспредложного атрибута-существительного в форме родительного падежа по отношению к определяемому имени. Структуры типа *bischofs stab* ('жезл епископа / епископский жезл'), *hanen schrey* ('крик петуха / петушиный крик'), *schwertes schlag* ('удар мечом'), *kerzen liecht* ('свет свечи / свечей') препятствовали употреблению артикля с каждым из сочетающихся существительных. На протяжении XIV–XVII вв. за генитивным атрибутом постепенно закрепляется и нормативно утверждается позиция после определяемого существительного (последними в этом процессе были нарицательные имена лиц). Это создавало беспрепятственную возможность употребления обоих членов субстантивной группы с различными формами артикля, конкретизирующими референтные отношения соответствующих имен. Одновременно с этим единственный артикль, который сопровождал субстантивные группы традиционного вида с препозитивным атрибутом-существительным, мог отныне связываться только со вторым, опорным членом группы, образуя тем самым «рамку», которая, замыкая внутри себя препозитивный атрибут, придавала ему безартиклевый статус в качестве его особого отличительного признака. Новая дифференциация приняла вид, который иллюстрируют примеры

типа *der sohn des königs* (= 'этот' сын 'этого' короля) — *der königs sohn* (= королевский сын, принц). О том, что эта дифференциация — с приданием препозитивному генитиву нереферентного статуса и группе в целом «разновидностного» содержания — установилась именно в ранненововонемецком периоде, свидетельствуют нередко встречающиеся в средневерхненемецких текстах субстантивные группы с именем собственным во «внутрирамочной» позиции; конкретно-референтное употребление имени собственного самоочевидно, ср., например, *daz Sigemundes lant* (Das Nibelungenlied), а это означает, что данная позиция допускала референтное употребление и нарицательных имен.

Ранненововонемецкие субстантивные словосочетания с препозитивным генитивом нарицательных имен постепенно преобразовывались в сложные слова. Их осознание в этом качестве отражалось во внедрении их слитного написания, которое к XVIII в. стало общепризнанной нормой. Следует полагать, что преобразование словосочетаний в композиты сопровождалось распространением на них типичной для немецкого сложного слова акцентной структуры (с более сильным ударением на первом члене композита). Обращение этого типа словесных соединений в композиты было неизбежным следствием ряда факторов.

Словосложение как средство формирования лексических единиц было представлено в немецком языке (как и в прочих германских языках) с доисторических времен, и наиболее многочисленными были именно субстантивные композиты. Атрибутивный член «старого» композита совпадал по форме с основой слова (*lant-hërro*, *chuningstuol*, *briute-chamera*), и в этом отношении «новое» сложное слово отличалось от древнего по происхождению соответствующей конструктивной модели. Тем не менее единообразие «разновидностного» семантического содержания создавало основу формального единообразия обоих типов субстантивных соединений.

Решающим фактором, определившим превращение нового типа определительных словосочетаний с обобщенным предметно-относительным атрибутом в композиты, явилось наличие в немецком языке склонения существительных, артиклей и местоимений (занимающих позицию артикля). В определенных случаях отнесение артикля ко второму члену субстантивного ряда и тем самым восприятие соединения как композита приобретало определенность только при объединении соединения слитным написанием, ср. *des königs sohnes* > *des königssohnes*. Та же ситуация возникала при раздельном написании композитов с основой существительного в качестве первого члена (раздельное написание таких композитов широко распространилось в XV–XVI вв. под обратным воздействием нового типа «разновидностных» соединений), ср. *der stadt mauer* > *der stadtmauer*, *der menschen satzung* > *der menschensatzung*. Вместе с тем в результате

обобщения типов предметных отношений формой первого члена новых, «неполносложных»,[2] композитов эти отношения в ряде случаев выходили за пределы инвентаря предметных отношений, передаваемых формой генитива (одновременно могли иметь место расхождения со значениями его числовой формы), ср. *kriegs lied*, *dornen krone*, *wolfs rudel*, *rinder braten*. Под воздействием перечисленных факторов форма препозитивного генитива нарицательного существительного (ед. или мн. числа) переосмысливалась в таких группах во «внепадежную» (и «внечисловую») форму существительного, выпадающую из парадигмы «нормального» субстантивного словоизменения и специализированную на особой присубстантивной позиции, в которой эта форма теряет словесную автономность. В этом качестве окончание генитива имен сильного склонения *-s* «неорганически» распространилось, начиная с XVI в., на широкий круг существительных женского рода (*Arbeitshaus*, *Einbildungskraft*, *Fortifikationsbau*).

В отличие от немецкого, английский язык эволюционировал в направлении утраты падежного словоизменения. В результате в английском языке отпал фактор «сцепления» падежных форм артикля и препозитивного атрибута с обобщенным предметно-относительным значением. Отпал и фактор противоречий между падежно-числовой формой атрибута и тем, что он представляет разнообразие предметных отношений определяемого к определению диффузно-обобщенным образом. Поэтому в английском языке в качестве прототипического средства реализации той типологической константы, которая в немецком языке находит выражение в форме сложного слова из двух существительных, утвердилась форма словосочетания, предваряемого артиклем, который нормативно соотносится с последним компонентом словосочетания, придавая его атрибутивному компоненту безартиклевый статус. В большинстве случаев атрибут имеет в таких соединениях форму самостоятельного слова, неотличимую от основы существительного: (*the*, *a*, *an*) *evening dress*, *business centre*, *state bank*, *police station*. В функциональном отношении эти соединения совпадают с немецкими композитами (ср. *Abendkleid*, *Geschäftszentrum*, *Staatsbank*, *Polizeirevier*). Несмотря на наличие в английском языке также и субстантивных композитов, ср. *horseshoe*, *schoolboy*, *railway*, *raindrop* (и значительного числа аналогичных соединений, которые принято писать через дефис, ср. *arm-chair*, *ear-ring*, *colour-blindness*, *table-cloth*), часто высказывается мнение, что словосложение в английском языке не получило значительного развития. Вполне очевидно, что такое суждение базируется на сопоставлении с другими германскими

[2] Традиционно принятый перевод на русский язык введенного Я. Гриммом термина «uneigentliche composition» (в противопоставлении «eigentliche composition» — «полносложному» типу словосложения).

языками (прежде всего с немецким) лишь на основе формального различия, часто сводимого к различию в написании.

Наша тема связана с проблемой полевого структурирования языковой системы и в том отношении, что «разновидностные», типизирующие субстантивные атрибутивные группы находятся на пересечении лексикона и синтаксиса. Этот вопрос детально освещается в других работах автора настоящего раздела, см. [Pavlov 1972; Павлов 1985; 1996б]. Промежуточное положение соответствующей конструкции между лексиконом и синтаксисом непосредственно отражается в английском языке на письме в трех типах написания (см. примеры выше; написание через дефис является компромиссным). Единообразие же слитного написания композитов в немецком языке затушевывает столкновения закономерностей, свойственных соответственно лексике и синтаксису. Орфографические варианты в английском языке в каждом конкретном случае частично опираются на традицию, но практика указывает и на частые колебания пишущих. Не поддаются содержательной мотивации ни обнаруживаемые в «The Concise Oxford Dictionary» различия между, например, *table tennis* и *table-talk* или *horsehair* и *horse-tail*, ни колебания при написании «несловарных» соединений, ср., например: *I just want you to be an antiques appraiser — in his capacity of antiques-expert*; *a kitchen helper — this kitchen-help being murdered too*; *dining room* при предписываемой словарями форме *dining-room*; структурно однотипные соединения *storytellers*, *world-changers* и *book byers* (у одного и того же автора).[3]

Одно из ярких проявлений синтаксических потенций как немецкого словосложения, так и аналогичной конструкции атрибутивного сочетания существительных в английском языке состоит в возможности соединения слова со словосочетанием посредством того же формального приема, который применяется для объединения слов в композит в немецком и в словосочетание в английском языке. Явления такого рода, как *die protestantische Kirchengeschichte* (= *die Geschichte der protestantischen Kirche*), подвергаются в немецких грамматиках осуждению как нарушения языковой нормы. Расчлененность английской конструкции, эквивалентной немецкому композиту, допускает распространение атрибутивного и опорного компонентов собственными атрибутами, встречается и одновременное атрибутивное распространение обоих членов конструкции. Ср. примеры (не нарушающие языковой нормы): *hot air balloons*, *your domestic violence cases*, *a real estate broker*; *the community mental health centers*, *his lady mystery-writing friend*, *a county social worker*; *the left hand little finger*. Более тесные связи внутри многочленных групп часто маркируются дефисом, но и в этом отношении проявляются постоянные колебания, ср. (в одном тексте): *Helen would already be in bed and unlikely to be happy*

[3] Для экономии места ссылки на источники опускаются.

with a late night phone call — his late-night phone call; *the wrought iron gate — the wrought-iron entrance gate.* Одна из возможностей сочетаний состоит в том, что к определяемому присоединяется сочинительное словосочетание. В этом случае написания также не следуют какому-либо единому правилу, ср. *a hot bacon and mushroom sandwich*, *the rag and bone shop — a life-and-death crisis*, *a husband-and-wife team*; ср. и необычную форму *bureau-and-bookcases*, вызванную, очевидно, тем, что *bookcase* по традиции пишется слитно. Родительный падеж (в пределах его лексемного и функционально-семантического диапазона) может, наряду с «общим падежом», выступать в нереферентном употреблении. Наиболее рельефно это свойство проявляется у родительного падежа в сопровождении притяжательного местоимения, указывающего на того, кому «принадлежит» означаемое следующего за ним словосочетания, ср. *his driver's license*, *his magician's fingers*, ср. также: *He does have a girl's name.* Определяющее значение может иметь словесное окружение, ср., например, *a murderer's victims* и *a women's rights activist* (как и в немецком языке, в английском множественное число существительного может употребляться нереферентно в позиции препозитивного атрибута, причем в немецком языке оно объединяется с определяемым именем в композит, ср. *Städtekrieg*, *Funktionentheorie — children's books*, *ladies' tailor*).

Продолжая сопоставление немецкого и английского языков, следует также отметить своеобразное преимущество английской конструкции в отношении ее потенциальной емкости. Наращивание числа объединяемых в немецком сложном существительном компонентов наталкивается на ограничения со стороны однословной формы, которая по мере увеличения ее длины становится труднообозримой, тогда как соответствующая английская конструкция легко разворачивается в многозвенную (и по-разному иерархизированную), ср. *the tape recorder's play button*, *the medical school's first-year human anatomy class.* Особенно распространены подобные построения в сфере научной и технической терминологии, ср. *radio frequency interference measurement.* Позицию атрибута часто замещают наречия, существительные с предлогами и группы существительного, включающие в себя предлоги, причем такие формы не производят впечатления особой оригинальности, они вполне нормативны, ср., например, *the overhead light*, *those long ago days*, *some behind-the-scenes people*, *a between-the-teeth articulation*, *a scene-of-crime team*, *the floor-to-ceiling bookcases.*

Во французском языке устранение артикля как средство «выключения» существительного-атрибута из референтных соотнесений осуществляется с сохранением типичной для этого языка постпозиции атрибутов различной частеречной принадлежности. В языке, в котором существительное не имеет категории падежа, оно подчиняется другому существительному посредством предлога. Для «разновид-

ностного» субстантивного атрибута типичны предлоги с наиболее диффузными значениями, а именно предлоги *de* и *à*. Таким образом, единственным — и не всегда четко однозначным — средством разграничения референтного и нереферентного употребления существительного-атрибута является здесь контраст между наличием и отсутствием при нем артикля при совпадении форм построения группы существительного во всех остальных отношениях. Ш. Балли специально рассматривал этот вопрос, и сейчас мы можем ограничиться упоминанием сопоставляемых им образований типа *fils de ce fonctionnaire*, *fils d'un fonctionnaire* — *fils de fonctionnaire*; *fils du roi* — *le fils de roi* [Балли 1955: 100, 107]; ср. также *masque à gaz*, *bateau à voiles*.

Во всех языках, материал которых мы рассматривали выше, представлен полный набор средств выражения обобщенного предметно-относительного атрибута: а) автономное существительное, атрибутивно подчиненное другому существительному, б) субстантивное словосложение, в) отсубстантивное относительное прилагательное. В настоящем разделе в центре внимания находится типологическая значимость грамматических форм, различных в разных языках, но выполняющих одинаковую и притом существенную как в познавательном, так и в коммуникативном плане функцию, которая должна учитываться и в конкретно-языковых грамматических описаниях. Здесь не могла ставиться задача полного освещения затрагиваемых полевых структур ни в одном из четырех языков, вовлеченных в поле зрения, ни в формо-центрической, но в семантико-центрической ориентации описания соответствующих полей. Не были даже упомянуты притяжательные прилагательные, прилагательные, образованные от собственных имен. Не введены в общую картину относительные прилагательные, входящие в число средств выражения обобщенных предметно-относительных признаков в немецком, английском и французском языках. Из этой картины выпадает и французская конструкция типа *articles réclames*, переходящая в некое подобие композита, ср. *bateau-hôpital*, *cigarette-filtre* [Павлов 1985: 113–117]. Более подробное рассмотрение русского языкового материала позволило разъяснить наше понимание атрибуции предметного отношения в его обобщенном виде как средства эксплицитной видовой дифференциации родовых понятий, вслед за чем из материала других языков отбирались только ведущие, наиболее профильные грамматические формы, типологически корреспондирующие с русским относительным прилагательным; ср., например, *пушечное ядро* — *Kanonenkugel* — *cannon ball* — *boulet de canon*.

Проведенные наблюдения дают основание для постановки вопроса о наличии и в других языках грамматических форм, специализирующихся на выражении обобщенного предметно-относительного атрибута как средства «разновидностной» дифференциации общих поня-

тийных содержаний. В этой связи заслуживают внимания изафетные конструкции в тюркских (возможно, и в иранских) языках (см. попытку рассмотрения узбекского языкового материала В. М. Павловым [1985: 105–110]; см. также [Эдельман, Поцелуевский 1990: 172]). В ряде исследований по языкам, в которых имеет место инкорпорация, отмечается, что основа существительного в составе субстантивного инкорпоративного комплекса приобретает обобщенное значение [Скорик 1961].

ГЛАВА VII

ВЫРАЖЕНИЕ КВАЛИТАТИВНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ*

1. Вступительные замечания

Функционально-семантическое поле (ФСП) качественности, или квалитативности представляет собой группировку разноуровневых средств, взаимодействующих на основе общности квалитативных функций [ТФГ 1996а: 5]. Необходимость описания данного ФСП с точки зрения языковой специфики связана с тем, что поле качественности в разных языках обладает существенными особенностями на уровне как семантики, так и средств ее выражения. В дальнейшем изложении ФСП качественности анализируется на основе немецких и параллельных русских текстов. Цель исследования — анализ небольшого корпуса текстов, направленный на выявление основных идиоэтнических различий в лексико-грамматическом оформлении квалитативных высказываний и на определение возможных направлений их изучения. Нас интересует также возможность выделения в русских текстах устойчивых (воспроизводимых) атрибутивных сочетаний и выявление способов их отграничения от сочетаний, возникающих спонтанно в процессе порождения речи (см. об этом в главе VI настоящего тома, написанной В. М. Павловым, с. 169).

Выборка проводилась на основе поиска в русских текстах высказываний со значением характеристики лица, один из компонентов которых выражен качественным прилагательным (или наречием), как в примере (1):

> (1) Мужчина, облаченный в *зелено-бурое* войлочное пальто, слегка оживляемое ветром, был *высокий густобровый* старик с сединой в бороде и усах, переходящей в рыжеватость около рта, в котором он бесчувственно держал *холодный* полуоблетевший сигарный окурок (В. Набоков).

Сами по себе качественные прилагательные в примере (1) не являются ни единственным, ни даже основным средством выражения квалитативной семантики. Важную роль играют относительные прилагательные (*войлочный*, *сигарный*, *полуоблетевший*), существительные — наименования качеств (*рыжеватость*), а также глагольные формы или причастия (*облаченный*, *оживляемое*, *переходящий*).

*Данная глава подготовлена при финансовом содействии Фонда Президента РФ для поддержки ведущих научных школ, грант № НШ-1510.2003.6.

© М. Д. Воейкова, 2005

Дополнительный поиск производился по отношению к глаголам в сочетании с наречиями оценки, таким как: *Он славно пишет, переводит* (А. Грибоедов), а также в сфере глаголов НСВ в высказываниях с семантикой узуальности: *Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми* (М. Булгаков). Вместе с тем высказывания данного типа не обязательно выполняют квалитативную функцию, ср. *Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми, но на этот раз справился с собой и говорил гладко и убедительно.* Событийная интерпретация, подчеркивание обстоятельств времени препятствует реализации квалитативной функции в глагольных конструкциях. Признаком качественности оказывается широкий временной план, охватывающий конкретные действия, события, состояния. Имеется в виду, что предикат квалитативного высказывания является временным фоном для большинства других предикатов, за исключением еще более протяженных во времени бытийных предикатов.

Целью квалитативного высказывания можно считать адекватное описание незнакомого слушающему лица, предмета или ситуации при помощи отсылки к сходному языковому и жизненному опыту собеседников. Очевидно, что при несходстве опыта цель не будет достигнута, как это часто случается в беседах с ребенком или с лицом, говорящим на иностранном языке. Не случайно именно в грамматическом классе имен прилагательных, специально предназначенных для выражения семантики качественности, наблюдаются существенные различия между языками. Известно также, что усвоение качественных отношений детьми на несколько месяцев запаздывает по сравнению с усвоением предметных понятий [Gasser, Smith 1998: 296–998; Воейкова 2001: 147–169; 2003: 206–235]. Это запаздывание отмечено в новейшей логопедической литературе, в частности, в адаптированных для российских родителей опросниках [Шапиро, Чистович 2000: 47].

Квалитативные конструкции могут служить ответом на множество вопросов, из которых наиболее общими являются : 1) Какой / каков?, например: — *Видели Петлюру? — Как же, господи, только что. — Ах, счастливица. Какой он? Какой? — Усы черные кверху, как у Вильгельма, и в шлеме* (М. Булгаков); 2) Что это за Х?, где Х является обозначением класса по отношению к носителю признака. Так, в примере *Что это за критик Латунский?* (М. Булгаков) Латунский — носитель признака, принадлежит к классу критиков и характеризуется как представитель этого класса.

Можно выделить также и частные вопросы об отдельных свойствах лица или объекта, представляющие собой целый пучок конструкций с родительным падежом: какого цвета, роста, размера, объема, какой консистенции, величины, крепости, густоты, степени готовности Х?, например: — *Какой, — спрашивает, — у тебя*

рост? — Никакого, — говорю. Поскольку этот вопрос мне давно надоел (С. Довлатов).

Признавая тезис о принципиальной переводимости любого высказывания, мы специально обращали внимание на те случаи, когда перевод на другой язык не вполне адекватно отражает содержание оригинального высказывания. Например, предложение (2) можно перевести на русский, однако при переводе трудно адекватно передать значение причастия *gestreßte* — 'замученный стрессом', буквально 'застрессованный':

> (2) Dr. Taylor ist wohl einer dieser gestreßten Ärzte, von denen man immer liest. Доктор Тэйлор как раз из тех замученных стрессом врачей, о которых часто приходится читать (S. Townsend / A. Gittinger).[1]

Нас в данном случае интересуют не лексические аспекты подобных несоответствий, а грамматические возможности оформления семантики качественности, не находящие себе прямых аналогов в русской языковой системе. Проблемы с неадекватностью перевода решаются с помощью различных интерпретационных возможностей грамматических конструкций. Пример (2) показывает, что в немецком языке границы между частями речи более проницаемы, так как можно образовать окказиональное причастие *gestreßt* от существительного, минуя глагол.

Двуязычные словари дают несколько «ложных причастий» от несуществующих глаголов *geblümt* — 'в цветочек, букв. зацветоченный', *gesinnt* — 'настроенный, придерживающийся некоторого мнения, взглядов', *gestiefelt* — 'обутый, в сапогах', с которыми по строению соотносятся в русском языке прилагательные, образующиеся по модели *пятнистый*, *клетчатый*, *крапчатый* и т.д., хотя связь с мотивирующей основой в русском языке не всегда актуализируется. Для сознания носителей языка небезразлично, как интерпретируются признаки, ср. *крапчатый*, т.е. 'имеющий крапинки' в русском языке и *getupft* 'в крапинку', букв. 'крапленый' в немецком языке. В русском языке прилагательные с суффиксами *-ист/-аст* обозначают превышение обычной нормы содержания некоторого признака, ср. *мясистый*, *голосистый* [Павлов 1996а: 27–28].

Этого оттенка значения у немецких ложных причастий нет. Они вызывают в сознании говорящих невольное представление о том, что характеризуемый предмет или лицо являлись объектом приложения

[1] В переводных примерах мы ставим вначале фамилию автора оригинального текста, а затем, после знака / фамилию переводчика. В данном случае мы воспользовались немецким переводом английского романа С. Таундсенд «Дневник Адриана Моля», выполненным А. Гиттингером, русский подстрочник сделан мною.

некоего действия. Можно предположить, что такие представления не присутствуют в активном сознании говорящих, ср. русские прилагательные, восходящие к причастиям *червленый*, *крапленый*, в которых утрачена идея субъекта действия, обозначенного производящим глаголом. Однако идея признака как результата воздействия на его носителя сохраняется даже в тех случаях, когда производящий глагол в немецком языке отсутствует.

В качестве материала для сравнения мы пользуемся немецкими оригинальными текстами из Амстердамского корпуса параллельных текстов. Для анализа были взяты две повести А. Шнитцлера и одна повесть Ф. Кафки.[2]

Таблица 1. Количественная характеристика текстов

Автор оригинала	Название русской версии	Переводчик	Количество слов оригинала	Количество слов перевода
А. Шнитцлер	Жена мудреца	Ф. Зайбель	5 731	4 881
А. Шнитцлер	Возвращение Казановы	А. Зеленина	36 556	31 707
Ф. Кафка	Превращение	С. Апт	19 272	16 297

То, что перевод всегда оказывается короче оригинала, объясняется наличием в немецком языке отделяемых приставок и сложных временных форм. Количество слов в оригинале и в переводе может послужить важной характеристикой идиоэтнического своеобразия, если найти возможность учета только полнозначных слов[3] (без артиклей, отделяемых приставок и вспомогательных глаголов в немецком языке, а также частей аналитических форм будущего времени или форм сравнительной и превосходной степени в русском языке). Общий объем анализируемых текстов составляет более 60 000 слов.

Система языковых средств выражения качественной характеристики в русском языке не ограничивается набором лексических и морфологических единиц, важнейшими из которых считаются имена прилагательные и оценочные существительные. Текст (3) иллюстрирует стандартные синтаксические возможности качественной характеристики лица в русском языке:

[2] Все параллельные тексты были любезно предоставлены мне профессором А. Барентсеном (Амстердам). Пользуясь случаем, я хочу сердечно поблагодарить его за помощь.

[3] Разработка автоматизированной программы, позволяющей при подсчете лексем исключить аналитические формы в немецком тексте, проводилась Г. Дюрье (Университет г. Антверпен) для Международного проекта «Ранние стадии развития морфологии» (Руководитель проекта — В. У. Дресслер, Австрийская Академия наук) — см. пакет программ AWK.

(3) Самым нарядным уличным персонажем была кормилица у «господ». У них была как бы «парадная форма», квазикрестьянский костюм весьма театрального вида (костюм сохранился и позже, вплоть до самой войны 14-го года!). И постоянно можно было встретить чинно выступавшую рядом со своей по моде одетой барыней толстую краснощекую мамку в парчевой[4] кофте с пелеринкой, увешанную бусами и в кокошнике — розовом, если она кормила девочку, и голубом, если мальчика (М. Добужинский).

К типичным языковым средствам качественной характеристики внешности в этом примере можно отнести 1) синтаксическую конструкцию тождества (или включения в класс): «Им. пад. + (связка) + Твор. пад.» (*самым нарядным персонажем была кормилица*) [Nichols 1981; Николс 1985: 366–367; Гиро-Вебер 1996: 73–79], 2) посессивную конструкцию «У Род. п. + (связка) + Им. п.» с субъектом, описывающим детали внешности и одежды (*у них была парадная форма*) [Мельчук 1995: 137–167; Kantorczyk 1993], 3) узуальную безличную глагольную конструкцию, подчеркивающую привычное действие субъекта (*постоянно можно было встретить*) [Акимова, Козинцева 1996; Смирнов 1987; 1996]. Вместе с тем ни одно из этих синтаксических построений нельзя считать специализированным средством выражения качественности, если бы они не были насыщены различными определениями. Все подобные конструкции, помимо квалитативной нагрузки, способны выполнять и свои основные функции, ср. следующие нейтральные употребления: 1) высказывание со значением тождества — *он был режиссером этого фильма*, 2) посессивное высказывание — *у него была маленькая собачка*, 3) глагольное высказывание с семантикой узуальности — *его можно встретить на филфаке или в книжном магазине*. Можно заметить, что квалитативный смысл высказываниям в примере (2) придают лексическое наполнение и особый описательный контекст, который можно назвать «качественным ключом текста» [Воейкова, Пупынин 1996: 54–55].

Лексико-грамматическая система средств выражения качественности отличается значительным идиоэтническим своеобразием: существуют языки, в которых количество прилагательных не превышает двадцати лексем [Dixon 1982]. Таким образом, хотя мыслительная информация в принципе может быть передана на любом языке, одно и то же суждение, высказанное на русском языке и на одном из указанных языков, описанных Диксоном, будет нести отпечаток языковой интерпретации.

Русский и немецкий языки лишь на первый взгляд не различаются так явно, как русский язык и языки с небольшим набором при-

[4] У слова *парчовый* в данном тексте мы сохраняем написание, принятое в книге М. В. Добужинского.

лагательных, описанные Диксоном. Существенное различие между ними представлено в сфере распределения информации по частям речи. Немецкий язык характеризуется тем, что в нем наблюдается значительное количество композитов, которые по своей продуктивности превышают соответствующие русские словообразовательные модели. Не случайно явление композитов рассматривается как находящееся на стыке словообразования и синтаксиса [Павлов 1985], так как результирующие образования не обязательно включаются в словарь и являются по сути дела временным соединением двух свободных корней (ср. также описанные в главе VI В. М. Павловым соответствия между немецкими композитами и английскими словосочетаниями, с. 169 данной книги). Отсутствие слов-композитов в русском языке приводит к изменению лексико-грамматической структуры текста при переводе с немецкого языка на русский и обратно. Первой проблемой сравнительного описания, таким образом, является установление грамматического соответствия между русскими и немецкими текстами в сфере качественной характеристики лица, поиск грамматических сдвигов и описание тенденций таких сдвигов.

Второй проблемой описания качественности в русском языке можно считать психолингвистическую проблему воспроизводимости высказываний [Павлов 1996а: 36–38]. Во многих случаях речь идет о различии в стилях говорения между теми носителями языка, которые склонны пользоваться готовыми клише, и теми, кто конструирует высказывания, добиваясь максимального соответствия языкового и мыслительного содержания. К последним можно отнести писателей, заботящихся о стиле (например, авторов текстов (1) и (3) — В. В. Набокова и М. В. Добужинского). Тексты (1) и (3) иллюстрируют те возможности, которые русский язык предоставляет для оформления квалитативного высказывания говорящему, владеющему всей палитрой языковых средств и использующему их преднамеренно (интенционально), т.е. сознательно различающему смысловые оттенки. Это может быть показано на примере употребления причастий в примере (1).

Причастие *облаченный* снабжено в [МАС 1982, II: 538] пометами «*книжн. устар., теперь шутл.*», но в тексте В. Набокова нет оттенка иронии. Говоря о том, что мужчина был «облачен в пальто», писатель сообщает о статусе, осанке, барственном облике героя. Его неподвижность подчеркивается тем, что пальто было «оживляемо» только ветром и оттеняется атрибутивным сочетанием «полуоблетевший окурок», напоминающем об осенних деревьях. Выбирая неожиданные, неочевидные определения, писатель в полной мере использует семантический потенциал не только самих слов, но и их ассоциативных связей.

Переводы на русский язык также несут на себе отпечаток индивидуальных языковых пристрастий авторов. В этом случае ситуация выбора сложнее, чем при создании текста на родном языке, так как на выбор грамматических средств влияет язык оригинала. Чтобы проверить, встречаются ли употребленные переводчиками атрибутивные сочетания в оригинальных русских текстах, использовались данные Национального корпуса русского языка (далее — НКРЯ http://www.ruscorpora.ru), который позволяет производить автоматический поиск выделенных в параллельных текстах атрибутивных сочетаний. Количество подобных сочетаний в НКРЯ в дальнейшем изложении называется «число вхождений», или «индекс встречаемости» (ИВ).

Например, сочетание *высокий старик* встретилось в текстах НКРЯ 22 раза, причем в 18 случаях между определением *высокий* и определяемым словом *старик* современными авторами употреблено еще одно прилагательное: *высокий* (*неопрятный*, *стройный*, *худощавый*, *тощий*, *худой*, *усталый*, *нелюдимый*, *седой*, *прямой*, *подтянутый*, *немецкий*, *костлявый*, *сутулый*, *немного кривобокий* и т.д.) *старик*. На наш взгляд, это показывает, что вопрос о клишированности атрибутивных сочетаний не исчерпывается бинарными единицами. В данном случае налицо тенденция к употреблению некоторого «рамочного» клише с открытой позицией, которая в литературных текстах заполняется свободно избираемым прилагательным. Заметим, что ни одно из употребленных В. Набоковым в примере (1) атрибутивных сочетаний в НКРЯ не встречается. Это показывает, что они сконструированы автором при создании данного текста.

Приемы М. В. Добужинского в тексте (3) ближе к языковой стратегии обычного говорящего, то есть к тому, чтобы воспроизводить сочетания прилагательного и существительного «в готовом виде» — *уличный персонаж*, *театральный вид* и т.п. Вместе с тем атрибутивные сочетания в данном тексте также не относятся к тривиальным. Например, *уличный персонаж* не встречается в НКРЯ ни разу, в то время как типичны сочетания «уличный + название профессии, рода занятий», например: *уличный регулировщик*, *художник*, *музыкант*, *хулиган*, *бандит* и т.д., «уличный + название объекта» — *уличный фонарь* (8 раз). Можно сказать, что и в данном случае сочетание конструируется на основе некоторого образца с открытой позицией, без прямого соединения единичных частей. Открытые модели, таким образом, противопоставлены готовым клише типа *парадная форма* (4 вхождения в НКРЯ).

Уникальность описания М. В. Добужинского — не языковая, а художественная: он видит, запоминает и точно отображает в описании свои зрительные образы. Для этого используются лексические средства, не входящие в среднестатистический лексический запас — ред-

кие названия цветов, материалов и объектов: *парчовая* (1 вхождение) *кофта*, *пелеринка* (0 вхождений), *кокошник* (9 вхождений).

Знание того, какие клише часто используются говорящими, должно входить в описание арсенала средств, так как далеко не каждое высказывание складывается в процессе речепорождения. Детальный анализ таких аспектов разговорной речи связан с необходимостью специального исследования, а возможно, и с проведением экспериментов. Считая такое описание важной и актуальной задачей, мы в данной главе ограничились литературным языком в его письменной разновидности, стараясь понять при помощи сравнения, каково соотношение различных грамматических и лексических элементов в передаче сходной семантики в русском и немецком языках.

2. Лексико-грамматические различия в системе средств выражения качественной характеристики в русском и немецком языках

2.1. Прототипические средства выражения качественности в русском и немецком языках

В исследованиях, связанных с проблематикой языковой картины мира, грамматические аспекты до сих пор менее изучены, чем аспекты, касающиеся семантики и сочетаемости. Так, атрибутивные сочетания с когнитивной точки зрения подробно рассматриваются в работе [Рахилина 2000: 104–234]. При этом выявляется ряд важнейших особенностей, присущих употреблению основных групп прилагательных в русском языке (ср. суждения о составе и количестве конвенциональных прилагательных [там же: 176–177]). Существенны результаты исследования сочетаемости прилагательных, например, тот факт, что прилагательные, обозначающие форму, в прямом значении не сочетаются с названиями живых существ (ср. примеры, приведенные Е. В. Рахилиной: **косой жук*, **кривая рыба* [там же: 168]). Заслуживает внимания избирательность прилагательных размера по отношению к определяемому слову [там же: 117]. Такие явления очень важны для преподавания русского языка как иностранного. В нашем случае в качестве говорящего выступает переводчик, владеющий русским языком как родным и интуитивно учитывающий особенности сочетаемости прилагательного с существительным при создании текста.

Значительный интерес представляет то, каким способом языки «обслуживают» те или иные семантические функции и какие из них остаются принципиально различными в языковом воплощении, трудно переводимыми. В соответствии с принципами теории функциональной грамматики, сначала следует очертить круг прототипиче-

ских средств выражения качественной характеристики — центр ФСП. Уже на этом этапе выясняются значительные различия между русским и немецким языком. Для русского языка характерен адъективно-глагольный тип выражения качественной характеристики, представленный в примерах (1), (3), в то время как в немецком языке преобладает субстантивный тип, ср. русский и немецкий варианты примера (4):

(4) Der Autofahrer hat gebrüllt: Seniler Sauschädel, Sturer!

Водитель заорал: «Маразматический свиной череп, упрямец!» (S. Townsend / A. Gittinger).

В соответствующем русском выражении *маразматический свиной череп* устраняется избыточная спецификация (буквальный перевод «свиночереп»), в которой для немецкого языка кроется эффект комического или экспрессивного воздействия. Обычное квалитативное высказывание, не содержащее экспрессивного компонента, скорее отличается «недоспецификацией», причем употребляются воспроизводимые сочинительные или подчинительные сочетания, ср. пример (5) с клишированным сочинительным сочетанием прилагательных:

(5) Мой дядя казался печальным и тихим. Словно обрел какую-то высшую мудрость (С. Довлатов).

Такие качественные прилагательные, как *печальный и тихий*, многозначны, они не замыкаются на одной субстанции или ряде субстанций и одновременно принадлежат разным смысловым областям (*тихий — неразговорчивый*, *производящий мало шума*, *не склонный к скандалам*, *скромный* и т.д.). Об этом свойстве прилагательных говорит неоднократно цитированное определение качества, данное К. С. Аксаковым: «Качество есть отвлеченная и понятая та общая сторона предмета, которая в нем находит осуществление, но которая не принадлежит ему непременно и, как общее, может принадлежать всякому явлению» [Аксаков 1880: 112]. К аналогичному выводу пришли уже в наше время компьютерные лингвисты, представители коннекционистского направления М. Гассер и Л. Смит: «... идеальное существительное единообразно и строго ограничено по всем направлениям (имеются в виду семантические признаки-составляющие. — *М. В.*). Напротив, представители класса прилагательных ограничены только по одному (релевантному) признаку, но бесконечно простираются во всех других направлениях <...> Объем понятия, выраженного ограниченным по всем параметрам идеальным существительным, сравнительно невелик, в то время как объем идеального прилагательного, которое бесконечно распространяется во всех на-

правлениях, кроме одного, огромен» [Gasser, Smith 1998: 273].[5] Перекличка этой идеи с идеей К. С. Аксакова очевидна, так как М. Гассер и Л. Смит показывают в своей статье на многих примерах, что под семантической «ограниченностью» существительного они понимают наличие у него определенных параметров по нескольким измерениям. Так, говоря о щенке, мы подразумеваем молодое четвероногое домашнее животное, причем каждое из этих понятий также можно конкретизировать. В отличие от существительных, прилагательные имеют ограничение только по одному параметру. Говоря о «большом», мы понимаем, что определяемое занимает положение около одного из полюсов по шкале размера, но бесконечно распространено по всем остальным признаковым шкалам (может быть или не быть плохим и хорошим, иметь цветовые признаки, обладать вертикальными и горизонтальными размерами и т.д.). Следовательно, характеристика, выраженная при помощи существительных, более определенна и категорична, чем та, которая передается прилагательными.

При анализе средств выражения качественности в обоих языках рассматриваются сочетания семантических единиц «носитель признака — признак» в различных синтаксических позициях. В русском языке выделяются следующие основные функционально-структурные разновидности квалитативных высказываний: 1) атрибутивная качественность — атрибутивные сочетания имен существительных с прилагательными и причастиями, например: *Есть* ***больные воспоминания***, *мой милый...* (Ф. Достоевский); 2) предикативная качественность — предикативные сочетания существительного с прилагательным или целым атрибутивным сочетанием, например: *Он* ***славный малый***, ***гвардейский щеголь*** (В. Соллогуб); 3) качественность, выраженная в экзистенциальных высказываниях, где носитель признака представлен как вместилище: *Есть* ***в ней что-то змеиное*** (А. Чехов) [Воейкова 1986; 1988а, б; Voeikova 2000: 54–73]; 4) качественность, представленная в глагольном предикате, обозначающем привычное или потенциальное действие субъекта, например: *Приехав, он никогда* ***не расскажет***, *где был, что делал* (И. Гончаров) — пример из [Акимова, Козинцева 1996], см. также [Смирнов 1987; 1996]. Наиболее релевантными для нашего описания являются три группы качественных прилагательных: цветовые, параметрические и оценочные.

Для сравнения фактов русского и немецкого языков существенно, что в русском языке редко встречаются композиты с внутренней се-

[5] «The idealized noun is uniformly and closely bounded in all directions. In contrast, members of an adjective category are tightly constrained in only one direction (the relevant dimension) but extend indefinitely in all others. Further, the volume of idealized noun categories, compact in all dimensional directions, is relatively small whereas the volume of idealized noun categories, extending indefinitely in all directions but one, is great».

мантической структурой: «признак — носитель признака» (типа *долгострой* — затянувшееся строительство). Такие примеры в русском языке единичны, в то время как в немецком языке они составляют заметный феномен, ср.: *Mieskerl* — 'негодяй', *Kleingeld* — 'мелочь', *Rotkäpchen* — 'Красная Шапочка'. Слитное выражение признака и его носителя, с одной стороны, приводит к большей идиоматичности речи, а с другой — усиливает аналитические процессы в языке. Парадигма прилагательного в немецком языке по составу форм значительно проще русской (по критериям В. Кемпе и Б. МакУинни [Kempe и MacWhinney 1998]) и устроена по другим принципам (принцип синтагматического контраста в немецком языке vs. принцип парадигматического контраста в русском).

Система прилагательных в русском языке выражает качественность (*белый*, *маленький*, *плохой*), посессивность (*мамин*, *лисий*, *Машин*) и относительность (*городской*, *автомобильный*). В немецком языке — только качественность (*schnell*, *rot*, *klein*) и отчасти относительность (*kindisch*, *kindlich*).

Русские прилагательные в высокой степени грамматикализованы [Якобсон 1985], их парадигма основана на контрасте со словарной формой; они приспособлены для выражения постоянных и переменных признаков при помощи краткой и полной формы (*Он болен — Он больной*), обладают (по сравнению с немецким языком) ограниченной способностью к субстантивации (ср. *Вместе рубали белых шашками на скаку*). Необходимо, однако, заметить, что относительные прилагательные регулярно субстантивируются в социальных и профессиональных жаргонах (ср. *балетные*, *коверный*). Из новых жаргонных образований такого рода, свидетельствующих о продуктивности данного способа номинации, следует упомянуть слово *карманная* — 'гражданская жена; женщина, состоящая с мужчиной в экономическом, но не в официально зарегистрированном союзе', *комбезные* — 'автостопщики, которые являются членами клубов и носят специальные комбинезоны'. Субстантивированные относительные прилагательные приобретают в процессе их жаргонного бытования новые, не свойственные им в обычной речи семантические спецификации, характерные для имен существительных ограничения по нескольким параметрам, в соответствии с определением М. Гассер и Л. Смита, свойственные именам существительным ограничения по нескольким параметрам. Сходные процессы наблюдаются в немецком разговорном языке при образовании новых композитов, зачастую включающих относительные прилагательные.

Прилагательное в германских языках слабо грамматикализовано [Bhat 1994]. Одна и та же форма (*klein* — 'маленький, мелкий') может выступать как часть композита с основным производящим словом — существительным или причастием (*Kleingeld* — 'мелочь, мелкие день-

ги', *kleinkariert* — 'в мелкую клеточку'), вместе с артиклем может использоваться как существительное (*die Kleine* — 'малышка'), а при раздельном написании с глаголом является обычным наречием (*klein schneiden* — 'мелко нарезать'). Из необычных для русского языка субстантиватов следует отметить регулярные анафорические образования, служащие для обозначения человека по возрасту. Так, слово *der Achtundsechzigjährige* — 'шестидесятивосьмилетний' — может свободно употребляться в публицистическом стиле для обозначения известного человека (актера, политика или спортсмена) в контексте, где его имя уже было названо. «Возрастное местоимение» позволяет не повторять слишком часто имя героя сюжета, а также содержит новую, небезынтересную для читателя информацию.

2.2. Качественность и квалификация по данным продуктивных словообразовательных процессов

Актуальные словообразовательные процессы разговорной речи также свидетельствуют о различиях в способе передачи качественной характеристики. В немецком языке пополняется и без того обширный класс композитов (ср. *Frauenversteher* — 'тот, кто понимает женщин', *Vorwärtsparker* — 'тот, кто ставит машину передним ходом; недостаточно умелый, но осторожный водитель, который опасается ставить машину задним ходом'). Образование новых композитов может превратиться в языковую игру. По данным Т. Шмитт, эта игра началась с того, что ведущий телепрограммы «Шоу поздней ночью» Ю. Клинсманн назвал одного из гостей программы любителем теплого душа — Warmduscher. Слова по данной модели стали употребляться в различных сферах жизни, и общее число таких окказиональных композитов превысило две с половиной тысячи [Schmitt 2000: 7].

Смысл игры в новые композиты состоит в том, чтобы выделить класс людей или предметов по одному признаку. Однако значение такого композита будет шире, чем названный признак. Например, тот, кто ставит машину передним ходом, обладает и другими признаками: он неуверенно себя чувствует на дороге, возможно, ездит нерегулярно и, таким образом, становится объектом иронического отношения более опытных водителей.

Зачастую с первого раза трудно угадать, какие именно сопутствующие признаки класса названы тем или иным композитом.[6] У слова *Schattenparker* — 'тот, кто ставит машину в тени' признаки довольно прозрачны: это человек, который любит порядок, заботится о своих

[6] Я благодарна студентам-славистам Гамбургского университета, с которыми мы занимались практическим переводом в сентябре 2003 года в Санкт-Петербурге, за то, что они значительно пополнили мой запас окказиональных композитов. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность д-ру В. Гайлену за его подарок — словарь новых композитов Т. Шмитт [Schmitt 2000].

вещах, а косвенно — и о своей выгоде. Не всегда, однако, при полной ясности обоих составляющих значение композита так же прозрачно. Например, слово *Dühnbrettbohrer* — 'тот, кто сверлит тонкие доски' — обозначает человека, старающегося выбрать для себя задание полегче. «Игра в композиты» состоит в распространении индивидуального опыта, претендующего на то, чтобы сделаться опытом коллективным. Одного объяснения хватает для того, чтобы следующий говорящий смог употреблять новое слово в его свежем значении. Конечно, само строение этих слов свидетельствует об их тяготении к устной разговорной форме речи, а также — к определенной социальной или профессиональной среде. Например, очевидно, что слово *Turnbeutelvergesser* — 'тот, кто забывает физкультурный мешок' — родилось в среде школьников или студентов, а вышеупомянутые любители специальной парковки в тени связаны с водительской средой. Вместе с тем есть слова, которые касаются человеческих привычек и могли появиться в любом общественном слое. Например, слово *Spaßbremser* — 'тот, кто портит всем удовольствие, буквально «тормозит» удовольствие' — отчасти является синонимом слова *Spielverderber* — 'тот, кто портит игру', а в широком смысле оба они обозначают человека, не склонного разделять общее веселье или поддерживать шутку.

Состав таких композитов достаточно однороден: они образованы сложением основ с суффиксацией, причем исходным, производящим словосочетанием послужили сочетания глагола с существительным-объектом, такие как *Spiel verderben* — 'портить игру'. От глагола образовано существительное со значением деятеля (ср. *Bremser* — 'тот, кто тормозит', *Verderber* — 'тот, кто портит'), обычно не существующее вне композита, по крайней мере, не всегда отмеченное в словарях. Первая часть композита чаще всего восходит к существительному — объекту глагольного сочетания, ср. например, *Frostkühler* — 'охлаждатель мороза', тот, кто занимается чем-то ненужным, избыточным, с исходным объектом *Frost* — 'мороз'. Немецкие композиты синтезируют свойства различных частей речи, сохраняя семантический элемент «класс явлений», отсутствующий эксплицитно в русских глагольных или адъективных конструкциях.

2.3. Сравнительный анализ квалитативных ситуаций на материале параллельных текстов

Набор существующих в языке средств выражения качественной характеристики сам по себе еще не дает представления о том, как данная семантическая функция реализуется в конкретных высказываниях. Те средства выражения, которые обращают на себя внимание благодаря их яркости, самобытности и продуктивности, не обязательно являются наиболее частотными в речи. Для первоначального иссле-

дования были избраны переводы с немецкого языка на русский. При этом мы понимаем, что в этом случае происходит изменение русского текста в сторону немецкой языковой системы, так как переводчик старается передать смысл наиболее адекватными грамматическими средствами, в некотором роде подвергаясь влиянию не свойственных русскому языку оборотов.

Русские тексты были обследованы при помощи программы MORCOMM [Voeikova 2000: 2–5; Gagarina, Voeikova, Gruzincev 2003], нацеленной на поиск имен прилагательных. Первый этап исследования включал контексты, в которых речь идет о характеристике лица (одушевленного персонажа), так как это один из прототипических случаев качественной характеризации. Это ограничение невозможно осуществить автоматически, так как во многих случаях такая характеристика дается через неодушевленные предметы, принадлежащие этому лицу. Так, в примере (6) описываются части тела героя, появившиеся у него после превращения:

(6) Лежа на панцирно-твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. (С. Апт).

Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewolbten, braunen, von bogenformigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Hohe sich die Bettdecke, zum ganzlichen Niedergleiten bereit, kaum noch erhalten konnte. (F. Kafka).

Пример (6) демонстрирует высокую степень соответствия перевода оригиналу, так как в русском варианте сохранены не только смысловые соотношения частей характеристики, но и грамматические средства их выражения. Некоторые сдвиги наблюдаются за пределами качественной характеристики: так, в русском варианте «*готовое к полному сползанию одеяло*» превратилось в «*одеяло, готовое вот-вот окончательно сползти*». Хотя в примере (6) это расхождение не имеет существенного значения, так как не относится к непосредственной характеристике, в дальнейшем мы увидим, что сдвиг в сторону субстантивности в немецком языке по сравнению с русским становится важной сравнительной характеристикой квалитативности. Примеры типа (6) рассматривались нами как соответствие перевода оригиналу. Несоответствие представлено примером (7), в котором наблюдается существенное сокращение имен существительных в переводе по сравнению с немецким оригиналом:

(7) Уж не должна ли была зарабатывать деньги старая мать, которая страдала астмой, с трудом передвигалась даже по кварти-

ре и через день, задыхаясь, лежала на кушетке возле открытого окна? (С. Апт).

Und die alte Mutter sollte nun vielleicht Geld verdienen, die an Asthma litt, der eine Wanderung durch die Wohnung schon Anstrengung verursachte, und die jeden zweiten Tag in Atembeschwerden auf dem Sopha beim offenen Fenster verbrachte? (F. Kafka).

В русском переводе характеристика героини дается с помощью конструкции с формой НСВ глагола *передвигаться* в узуально-характеризующем значении [Бондарко 1971а: 30–32; Гловинская 1989: 120; Акимова, Козинцева 1996: 85–87]. Оригинальная конструкция Ф. Кафки содержит три имени существительных *der eine Wanderung durch die Wohnung schon Anstrengung verursachte* — досл. 'которой проход по квартире уже вызывал усилия'. Аналогично, предложное сочетание *in Atembeschwerden* (досл. 'в дыхательных недугах') переведено на русский язык при помощи деепричастия *задыхаясь*. Такие примеры мы анализировали как грамматическое несоответствие перевода оригиналу (со сдвигом в сторону глагольных конструкций). Разумеется, несоответствие этого рода ни в коем случае не говорит о недостатках перевода; во многих случаях следование грамматической структуре оригинала привело бы к снижению художественного уровня текста. Отметим лишь, что направление сдвига в сторону глагола оказывается характерным для перевода с немецкого языка на русский.

В некоторых случаях отмечается, напротив, большая «прилагательность» русского текста по сравнению с «глагольностью» немецкого текста, однако, такие примеры, как (8), можно считать единичными:

(8) Конечно, он уже не так молод и красив, чтобы соблазнить добродетельную девушку, и уже не так ловок и гибок, чтобы совершать побеги из тюрем и ходить по скатам крыш, но он по-прежнему умнее всех! (А. Зеленина).

Er war freilich nicht mehr jung und schön genug, um ein tugendhaftes Mädchen zu verführen – und kaum mehr gewandt und gelenkig genug, um aus Kerkern zu entwischen und auf Dachfirsten zu turnen – aber klüger war er noch immer als alle! (A. Schnitzler).

Под «глагольностью» здесь подразумевается, что слово *gewandt* — 'ловкий' в немецком языке связано с глаголом wenden — 'поворачиваться', так что *ловкий* имеет внутреннюю форму *поворотливый, способный поворачиваться.* Слово *gelenkig* — 'гибкий' мотивировано существительным *Gelenk* — 'сустав', в свою очередь, восходящим к глаголу *lenken* — 'управлять', так что *гибкий* букв. выражено как 'на-

деленный суставами'. В этих примерах можно усматривать исторический сдвиг в сторону именной части грамматической системы, в которой глагольные формы лексикализуются и употребляются как именные. Статистически эту закономерность трудно подтвердить в рамках нашего материала без анализа целого корпуса исторических текстов, но на уровне отдельных примеров она реализуется.

Количественное соотношение морфологических сдвигов в переводах невелико. Основные результаты подсчетов представлены в таблице 2. Мы выбрали для рассмотрения только те высказывания, в которых дается характеристика лица, и считаем полными соответствиями такие параллельные примеры, в которых перевод и оригинал совпадают друг с другом по морфологической структуре. К неполным соответствиям относятся те случаи, в которых существительное (композит) или глагол из немецкого текста заменены в русском тексте прилагательным. Другие замены, даже немногочисленные, фиксировались отдельно.

В колонке «другие несоответствия» отмечены примеры, в которых морфологическая замена форм не представляет собой выраженной тенденции. К ним можно было бы отнести способы передачи на русский язык немецких композитов-прилагательных, ср. пример (9):

(9) А вся в оспинах, но стройная возлюбленная Перотти? (A. Schnitzler).

Und die blatternarbige, aber wohlgebaute Geliebte Perottis? (А. Зеленина).

Оба немецких прилагательных представляют собой композиты (букв. 'оспенношрамная' и 'хорошосложенная'). Перевод на русский язык не до конца передает особенности их грамматического строения, однако и не нарушает сложившихся в русском языке правил построения квалитативных комплексов. Композиты-прилагательные в русском языке довольно редки и непродуктивны. Они образуются чаще всего из сочетаний наречия или местоимения с прилагательным или причастием (ср. *вечнозеленый*, *долгоиграющий*, *самопроизвольный*) и являются устойчивыми единицами лексикона. Существуют также немногочисленные русские композиты-прилагательные, образованные способом сложения основ с дополнительной суффиксацией (например, *белолицый*, *чернобровый*, *краснорожий*). Они отмечаются в словарях как полноправные лексемы, но возможности свободного формирования таких композитов в речи ограничены.

Таблица 2. Грамматическое соответствие в способах оформления квалитативной характеристики

Название	Полные соответствия	Сущ. → прил.	Глаг. → прил.	Другие замены
Жена мудреца	5	3	1	0
Возвращение Казановы	72	12	1	4
Превращение	7	7	0	1

Помимо грамматического сдвига, можно также говорить о меньшей проницаемости границ между частями речи в русском языке по сравнению с немецким. По сути дела, одна и та же форма в немецком языке может выступать как существительное, прилагательное или наречие в зависимости от целей говорящего (ср. примеры с корнем *klein* на с. 203). В русском языке отмечаются случаи формального неразличения имен прилагательных среднего рода в краткой форме, наречий и слов категории состояния (*это плохо*, *плохо говорит*, *мне плохо*), а также субстантивированных прилагательных и исходных прилагательных.

В некоторых случаях соотношение частей речи остается количественно неизменным, но одна и та же «суммарная» семантика распределяется по-разному между членами атрибутивного сочетания. Примером такой избирательности являются предложения в примере (10):

(10) Sie merkte es kaum; sie hatte sich in meinen Arm gehängt und hielt es wohl für zärtliches Schweigen (A. Schnitzler).

Едва ли она заметила это; она взяла меня под руку; мое молчание она, вероятно, сочла за немую нежность (Ф. Зайбель).

Почему переводчик не мог сохранить структуру оригинального сочетания *zärtliches Schweigen* — ‘нежное молчание’ и вынужден заменить его на ‘немую нежность’? Скорее всего это происходит потому, что *нежное молчание* в немецком языке обладает некоторой воспроизводимостью. Употребляя это сочетание, говорящий «ссылается» на прецеденты, известные всем говорящим по-немецки. В русском языке *нежное молчание* как воспроизводимое сочетание не встречается, в то время как *немая нежность* относится к употреблявшимся в художественной литературе клише. Заметим, что наше суждение о *немой нежности* в данном случае интуитивно: это сочетание ни разу не встретилось в НКРЯ. Хотя на сегодняшний день насыщение корпуса текстами еще продолжается и поэтому нельзя считать, что полученные нами ответы окончательны, мы попробовали определить

степень воспроизводимости атрибутивных сочетаний, встретившихся в русских переводах, при помощи компьютерного поиска.

3. Вопрос о воспроизводимости атрибутивных сочетаний в русском языке

Исследователей атрибутивных сочетаний всегда занимал вопрос о том, воспроизводятся ли эти сочетания в речи носителей языка «в готовом виде», называя известный всем подкласс явлений, или создаются заново в процессе порождения речи [Павлов 1996а: 41–49]. В. М. Павлов приводит ряд примеров устойчивых атрибутивных сочетаний со значением степени, меры явления, которые регулярно воспроизводятся в речи. Вопрос о том, какие атрибутивные сочетания созданы в процессе речепроизводства, а какие из них относятся к единицам лексикона, наряду с одиночными существительными, не всегда может быть разрешен при помощи интуиции. Существуют сочетания, которые встречаются чаще других, а также такие, которые зафиксированы лишь в одном тексте. Возникает проблема разработки такой методики исследования, при помощи которой можно было бы высказать предположения о менее очевидных случаях. Можно предположить, что единично употребленные сочетания были созданы в процессе коммуникации, в то время как сочетания, обладающие высоким индексом повторяемости в текстах, скорее следует отнести к воспроизводимым единицам лексикона. Пример (11) является цитатой из русского перевода текста А. Шнитцлера:

(11) Это был красивый смуглый мальчик со светлыми глазами (Ф. Зайбель).

Сложное атрибутивное сочетание *красивый смуглый мальчик* состоит из двух простых частей. Сочетание *красивый мальчик* встретилось в корпусе 17 раз, сочетание *смуглый мальчик* встречается один раз, комбинация двух сочетаний в таком виде не встречается. Можно предположить, что *красивый мальчик* — это воспроизводимое сочетание, а *смуглый мальчик* остается под вопросом. Другая интерпретация этого факта состоит в том, что высокочастотные прилагательные и существительные, каковыми являются и прилагательное *красивый*, и существительное *мальчик*, имеют шанс встретиться в свободном сочетании значительно чаще, чем более низкое по частотности прилагательное *смуглый*.

Мы проанализировали, насколько часто встречаются атрибутивные сочетания из русских переводов нашего материала в НКРЯ. Необходимо сразу же сделать следующие оговорки: 1) набор текстов НКРЯ к моменту анализа составлял 30 000 слов, что является недостаточной выборкой для окончательных выводов; 2) доступные в настоящее

время тексты представляют собой литературные и публицистические произведения XX века, обладающие некоторыми особенностями. Это новейший пласт русского литературного языка, который отличается от разговорного языка более ранних периодов или языка классической русской литературы.

Недостаточным в настоящее время объемом корпуса объясняется, например, что такие привычные сочетания, как *доброе лицо*, *молодая женщина*, *грациозная девушка*, *простое серое платье*, *пожилая женщина*, не встретились ни разу, хотя мы могли бы ожидать, что индекс встречаемости у них будет больше единицы (список сочетаний с индексами дается в Приложениях, стр. 216–218). Возможно, тематикой новейших текстов объясняется то, что сочетание *богатый человек* оказалось самым частотным. Его индекс составляет 150 употреблений (ср. также *состоятельный человек* (41)). Существует, однако, и другое объяснение. Атрибутивные сочетания с существительными-гиперонимами (неспециализированными словами широкой семантики, названиями классов) обладают в целом большой частотностью, ср. *старый человек* (106), *здоровый человек* (59), *состоятельный человек* (41), *опытный человек* (35), *спокойный человек* (14).

Объектом компьютерного поиска послужили сочетания из двух лексем (в некоторых случаях — из трех лексем) с расстоянием в пять слов, чтобы не потерялись те примеры, в которых атрибутивное сочетание содержит определения или дополнения, ср., например, *постаревшее от ранних потерь лицо*. Чтобы обнаружить простое атрибутивное сочетание *постаревшее лицо* в этом сложном сочетании, нужно ввести допустимую дистанцию между словами не менее трех лексем. В большинстве случаев не было необходимости в использовании грамматических фильтров, кроме нескольких сочетаний, в которых нужно было исключить омонимичные наречия. Например, в исследуемом тексте встречается сочетание *гениальный старик*. В текстах НКРЯ два раза встретилось сочетание *гениально*, *старик!*, которое, разумеется, не идентично искомому. Использование грамматического фильтра, ограничивающего морфологические признаки прилагательного мужским родом, позволило снять омонимию в этом и нескольких других случаях.

В некоторых примерах минимальное атрибутивное сочетание из двух слов не встречается, так как определение и определяемое слово не сочетаются друг с другом. Так, можно было ожидать, что бинарное сочетание *мужиковатый отец* маловероятно. В данном случае имеет смысл проверить, встречается ли вообще слово *мужиковатый* в НКРЯ. Поиск показал, что его индекс в текстах даже на сегодняшний день равен 10, причем в десяти различных контекстах невозможно заметить никакой тенденции к синтагматической связанности сочинительного или подчинительного типа. Для того чтобы это сло-

во появилось в тексте в заданном сочетании, необходимо как минимум еще одно определение (*ее мужиковатый отец*) или другое распространение (*мужиковатый и толстый отец семейства*). Проще всего это объяснить тем, что релятивное существительное требует посессивного распространителя (указания на то, кому некто приходится отцом). В других случаях разгадка не столь очевидна.

Например, сочетание *безбородый офицер* ни разу не встретилось в корпусе, в то время как *молодой офицер* является, по-видимому, обычным, хотя и встречается всего один раз. В тексте к слову *офицер* дается несколько определений, ср.:

> (12) За ним следовала маркиза рядом с рослым безбородым молодым офицером (Ф. Зайбель).

Очевидно, что определение *безбородый* относится к числу тех прилагательных, которые всегда присоединяются к определяемому слову в момент речи, в отличие от прилагательного *безусый*, ср. *безусый юнец*. Некоторые прилагательные тяготеют к такому употреблению. Примером могут служить названия цветов. Кроме привычного сочетания *синий мундир* (3), ни одно атрибутивное сочетание не попало в список воспроизводимых. Эта ситуация может измениться с расширением объема текстов НКРЯ. Можно предположить, что *черные глаза* неоднократно упоминаются в классической литературе, но поиск данного сочетания в корпусе положительного результата не дал. Вместе с тем, даже если его индекс был бы высок, мы не могли бы сказать с уверенностью, что это сочетание сохраняется в ментальном лексиконе, так как, употребляя цветовые прилагательные, говорящий всякий раз заново сопоставляет признак и предмет характеризации. Хотя *черные глаза* не являются в строгом смысле этого слова абсолютно черными, к определению цвета глаз можно применить конвенциональное представление говорящих о том, что темные глаза являются такими же черными, как и прототипически черные объекты (о различии свободных и конвенциональных цветов см. [Рахилина 2000: 175–180]). Существенно также и то, что с сочетанием *черные глаза* не обязательно (хотя в некоторых случаях и возможно) связаны какие-либо дополнительные представления о характере или внешности человека. Такие добавочные ассоциации как раз и являются условием, благоприятствующим лексикализации атрибутивного сочетания, ср. устойчивые сочетания *синий чулок*, *голубые береты*, *белые манжеты*, говорящие не столько о внешних признаках, сколько о принадлежности характеризуемого лица к подклассу. В данном случае возникают смысловые ассоциации, аналогичные тем, которые связаны у носителей немецкого языка с композитами-существительными. Таким образом, частота встречаемости словосочетания в од-

ном и том же предложении лишь косвенно свидетельствует о его воспроизводимости.

В приложении 2 перечислены словосочетания, которые по каким-либо причинам не встретились в НКРЯ. Они также неоднородны по отношению к признаку воспроизводимости. Интуитивно сочетания *похотливая готовность*, *дерзкий окрик*, *неуклюжая колымага*, *насмешливое любопытство*, *благонравная соседка*, *смехотворная скудость*, *неопасный* (*опустившийся*) *горемыка*, *благонравная соседка*, *опасный* (*необузданный*) *соблазнитель*, *восхитительная подруга*, *стройная возлюбленная* мы оцениваем как сконструированные в тексте. В то же время сочетания *молодая* (*статная*, *жалкая*, *пожилая*, *бледная*, *кроткая*) *женщина*, *доброе* (*усталое*, *детское*) *лицо*, *радостное возбуждение*, *полуобнаженное тело*, *грациозная девушка*, *простое* (*серое*) *платье*, *необычный интерес*, *привлекательная* (*молодая*) *девушка*, *юная грудь*, *смуглое лицо*, *превосходная память*, *темно-русые волосы*, *резкие черты*, *чудаковатый старик* знакомы нам по предшествующему языковому опыту. Конечно, интуитивные представления не могут служить критерием, тем более что во многих случаях нет единого мнения относительно того, знакомо или не знакомо данное атрибутивное сочетание носителям языка.

Возникает также вопрос о том, может ли данное сочетание рассматриваться как частотное и/или воспроизводимое, если оно редко встречается в минимальном виде. Так, сочетание *старый человек* (с индексом 106) в большинстве контекстов содержит дополнительные определения (*старый сгорбленный человек*, *старый седой человек*, *высокий старый человек* и т.д.). Это обстоятельство свидетельствует в пользу невоспроизводимости данного сочетания, так как обычные фразеологизированные воспроизводимые сочетания с трудом допускают распространение: *безусый стройный юнец*. Если воспользоваться психолингвистической терминологией, такие сочетания можно рассматривать как частично воспроизводимые, с одной незаполненной позицией. В этом случае для исследования важны также и сочинительные связи между определениями.

С семантической точки зрения необъяснимо, почему сочетание *пожилой господин* встречается в НКРЯ 12 раз, а сочетание *молодая дама* — ни одного раза. Если же придерживаться гипотезы, согласно которой высокая частотность сочетаний связана в первую очередь с частотностью их составляющих, а не со степенью их спаянности (воспроизводимостью), то можно предположить, что слово *господин* обладает значительно большей частотностью в современных текстах, чем слово *дама*, которое почти не встречается за пределами сочинительного сочетания *дамы и господа*. Для более полного представления о сочетаемости и связях слов необходимо, следовательно, учитывать не только их способность к вступлению в подчинительные от-

ношения, но и распространенные сочинительные ряды, включающие данное слово.

В приложении 3 приводятся данные по частотности сочинительных сочетаний, способных служить для характеристики лица. Частотность сочинительных связей свидетельствует о том, что при свободной синтагматической сочетаемости существительного с прилагательным возможна также несвободная сочинительная связь между двумя прилагательными. Так сочетания *внутренний* (*внешний*) *блеск*, как показывают данные приложения 2, не являются ни частотными, ни воспроизводимыми. В то же время сочетание *внутренний и внешний* само по себе, независимо от определяемого существительного, встретилось в текстах 141 раз. Особую роль в этом играют такие распространенные в современной публицистике обозначения, как *внутренняя и внешняя политика*, *внутренние и внешние проблемы* и т.д., которые применяются по отношению не к лицу, а к государству. Однако устойчивое употребление сочинительного сочетания даже в другом контексте влияет на вероятность, с которой говорящий снова и снова прибегнет к уже услышанной комбинации.

Если нас интересует, какими механизмами пользуется говорящий (в нашем случае переводчик) при составлении текста, необходимо учитывать и эти устойчивые синтагматические единства. Высокие индексы у сочетаний *внутренний и внешний* и *молодой и красивый* (66) свидетельствуют о том, что данные сочетания превратились в своего рода клише. Некоторые из сочетаний, имеющих нулевой индекс в современном составе НКРЯ, могут с расширением корпуса пополнить список воспроизводимых (ср., например, комбинацию признаков *мягкий и добрый*).

4. Выводы

Исследование параллельных текстов и более детальный анализ русских текстов были направлены на то, чтобы, с одной стороны, выявить расхождения между грамматическим оформлением высказываний, характеризующих лицо, в немецком и русском языке, а с другой — выяснить, какие из атрибутивных сочетаний, используемых переводчиками, можно отнести к воспроизводимым, а какие из них были созданы переводчиками в процессе порождения текста. Разумеется, на сравнительно небольшом материале прийти к окончательным выводам невозможно. Можно лишь наметить перспективу дальнейшего исследования с тем, чтобы добиться решения интересующих нас вопросов.

Исходя из значительных различий в способах оформления качественной характеристики в грамматической системе русского и немецкого языков, мы предполагали, что в параллельных текстах будет

выявлено большее расхождение в частеречном составе высказываний. Однако подсчеты, приведенные в таблице 2, не дают статистически существенных параметров различия. Это можно объяснить тем, что переводчики интуитивно стремятся передать не только общий смысл, но и внутренний грамматический состав указанных сочетаний. Чтобы избежать влияния чужого языка, можно использовать 1) данные разговорной речи, организованные тематически (например, записи телепередач), 2) специально записанные тексты, содержащие характеристику одних и тех же героев (исторических лиц или героев кинофильмов). Некоторым доказательством того, что наши предположения о соотношении частей речи в русском и немецком тексте были правильны, является то обстоятельство, что все сдвиги, даже немногочисленные, происходят в одном направлении: имена существительные в немецком языке заменяются на имена прилагательные или глагольные формы в русском языке, причем обратная тенденция отсутствует.

Вопрос о воспроизводимости атрибутивных сочетаний не удается решить при помощи простой отсылки к корпусу текстов на данном языке. Во-первых, необходим значительный массив текстов различного времени и жанров. Показательно то, что многие из привычных и повторяющихся как в речи, так и в литературных текстах словосочетаний не были обнаружены при поиске. Было бы интересно проверить индекс встречаемости тех же самых сочетаний русского языка на более широком материале, например, на материале НКРЯ через некоторое время, когда число размеченных текстов увеличится. Созданная программа поиска и грамматические фильтры позволяют сделать такую проверку за короткий срок.

Важной проблемой является выяснение того, какие линейные последовательности воспроизводимы. На роль воспроизводимых сочетаний могут претендовать минимальные атрибутивные пары (*седой старик*), расширенные атрибутивные сочетания (*молодой и красивый юноша*), сочетания, в которых две позиции оказываются воспроизводимыми, а одна — свободной (*худощавый седой старик*), и сочинительные сочетания (*мягкий и добрый*). При количественном анализе таких сочетаний следует учитывать частотность употребления их компонентов. Как показало предварительное исследование, чаще всего в корпусе встречаются сочетания из высокочастотных компонентов, причем высокий индекс встречаемости не обязательно свидетельствует об их связанности. Решение вопросов о количественных показателях воспроизводимости и о влиянии высокой частотности компонентов атрибутивных сочетаний на их общую частотность в текстах — это задачи следующей работы. В целом же вопрос о том, какие сочетания слов формируются в процессе речепорождения или

составления текста, а какие являются частью ментального лексикона, остается одной из актуальнейших задач исследования языка.

Приложение 1. Список атрибутивных сочетаний и индексы их встречаемости (ИВ) в НКРЯ (август 2004)

Атрибутивные сочетания	ИВ
старый друг	154
богатый человек	150
женский голос	137
старый человек	106
хриплый голос	75
здоровый человек	59
хорошо одетый мужчина	54
добрый знакомый	43
молодой офицер, состоятельный человек	41
высокий голос	39
опытный человек	35
короткий взгляд	18
красивый мальчик	17
душевный покой, красивый голос	16
хороший муж	15
спокойный человек	14
пожилой господин, белая борода	12
холодный взгляд	10
дородный мужчина, неумный человек	9
пьяный муж	7
синий мундир	6
древний старик	5
гладкий лоб, двойной подбородок	4
смехотворно малый,[7] блестящий стиль	3
зажиточный (бесхарактерный)[8] человек, седые волосы	2
покорный вид, большой подлец, избалованный (смуглый) мальчик, жирный подбородок	1

[7] Сочетания наречия с прилагательным, хотя и не являются в строгом смысле атрибутивными сочетаниями, были, тем не менее, включены в список из-за их высокого индекса встречаемости. В сочетании с определяемым существительным из наших текстов (например, *хорошо одетая дама*) они не встретились в НКРЯ ни разу.

[8] Скобки показывают, что поиск внутри сложного сочетания производился попарно, например, *зажиточный человек* и *бесхарактерный*. Такие сочетания даются в разных строках, если обладают различными индексами встречаемости, ср. *молодой офицер* и *безбородый офицер*.

Приложение 2.
Атрибутивные сочетания с нулевым ИВ в НКРЯ

Атрибутивные сочетания	ИВ
молодая (статная, жалкая, пожилая, бледная, кроткая)[9] женщина, насмешливое любопытство, искаженное (доброе, усталое, детское) лицо, похотливая готовность, дерзкий окрик, неуклюжая (деревенская) колымага, радостное возбуждение, мужиковатый (толстый) отец семейства, тощий юноша, непринужденное (грубоватое) любопытство, полуобнаженное тело, грациозная девушка, простое (серое) платье, необычный интерес, привлекательная (молодая) девушка, матовый блеск, юная (дряблая) грудь, властное (смуглое) лицо, превосходная память, желтый платок, опасный безумец, бледные (полуоткрытые) губы, темно-русые волосы, молодое (прекрасное, пленительное) создание, молодая (пышная, накрашенная) дама, безбородый офицер, резкие черты, чудаковатый (безобидный) человек, неопасный (опустившийся) горемыка, благонравная соседка, смехотворная скудость, веселая шуточка, необычайный (звериный) голод, добродетельная девушка, опасный (необузданный) соблазнитель, дорогая (восхитительная) подруга, чудаковатый старик, опасная крамола, стройная возлюбленная, гениальный старик, побитая собака, низкая (дрянная) потаскушка, бледное (старческое) лицо, грубая (непристойная) брань, сухие (спутанные, развевающиеся) волосы, неземная красота, злобное презрение, длинная борода, нечаянное свидание, безвозвратная утрата, скорбная жалоба, жгучее желание, рассудительный человек, хлопотливая (неудачливая) жизнь, старая мать, строгий мундир, высокий (тугой) воротник, черные глаза, кустистые брови, растрепанные волосы, тяжелая работа, костистая женщина, новые мечтания, прекрасные намерения, молодое тело, внутренний (внешний) блеск	0

[9] См. предыдущее примечание.

Приложение 3.
Список сочинительных сочетаний прилагательных и существительных, обозначающих качество, и их ИВ в НКРЯ

Сочинительные сочетания с характеризующими прилагательными	ИВ
внутренний и внешний	141
молодой и красивый	66
гнев и ненависть	5
красивый и дерзкий	3
мягкость и нежность, нежный и ревнивый	1
мужиковатый и толстый, черноволосый и темноглазый, непринужденный и грубоватый, стройная и моложавая, дерзкий и блестящий, неблагодарный и злопамятный, умелый и находчивый, неутомимый и пылкий, чудаковатый, но безобидный, мягкий и добрый, ловкий и гибкий, хитроумный и изощренный, лучшие и достойнейшие, молодой (прекрасный) и отважный, опасный и необузданный, обманутая (любимая) и единственная, юная (прелестная) и умная, бледная и (смертельно) больная	0

ГЛАВА VIII

СООТНОШЕНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ И КОНТЕКСТНЫХ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ АСПЕКТУАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ В РУССКОМ И ЧЕШСКОМ ЯЗЫКАХ

1. Вступительные замечания

В этой главе анализируется удельный вес различных языковых средств (грамматических, словообразовательных и лексических аспектуальных показателей) при выражении в высказывании «характера протекания и распределения действия во времени» [Пешковский 1956: 105]. В теории функциональной грамматики (ТФГ) изучено взаимодействие вида и способов действия, образующих центр функционально-семантического поля (ФСП) аспектуальности, с периферийными элементами ФСП — разнообразными лексическими контекстуальными элементами, выражающими аспектуальную характеристику «не только предиката, но всего высказывания в целом» [Бондарко 1987а: 40]. В предлагаемой главе более подробно и в сопоставительном плане исследуется, во-первых, соотношение собственно глагольных и контекстных лексических показателей в рамках конкретного высказывания, во-вторых, механизм семантического согласования различных аспектуальных показателей в славянских языках. По предварительным наблюдениям, в чешском языке при наличии лексических аспектуальных элементов центр тяжести выражения аспектуальной семантики в высказывании смещается с глагольных форм на лексические показатели[1], тогда как в русском языке, при более сложном механизме их согласования, основным средством выражения аспектуальной характеристики действия остается глагол.

2. Аспектуальная характеристика действия в минимальном высказывании

Как известно, в славянских языках сама глагольная лексема (ее основа) выражает аспектуально значимую информацию о параметрах протекания действия во времени, причем эта информация во многих случаях является обязательно выражаемой. Так, говорящий

[1] Возрастание роли лексических средств при выражении аспектуальных значений в некоторых славянских языках (что сближает эти языки с неславянскими) было отмечено В. Д. Климоновым при обсуждении с автором данной главы проблемы сопоставительного изучения категории аспектуальности в немецком и славянских языках.

© Е. В. Петрухина, 2005

по-русски при обозначении референтной ситуации всегда стоит перед выбором ее аспектуальных характеристик. Например, при обозначении пропозиции 'строить дачу недалеко от Москвы' в плане прошедшего времени говорящие по-русски должны выбрать глагол совершенного вида (СВ) или несовершенного вида (НСВ) в зависимости от факта завершенности / незавершенности строительства, ср.: *Мы* ***строили*** / ***построили*** *дачу недалеко от Москвы.* А пропозицию 'получать информацию от кого-то' в прошедшем времени можно представить либо как однократную, либо как повторяющуюся, ср.: *Я* ***получил*** / ***получал*** *информацию от него.* Но, как известно, при помощи претеритальной формы НСВ в общефактическом значении можно оставить аспектуальную информацию о результативности / нерезультативности, а также однократности / неоднократности действия невыраженной, ср.: *Я мыла эту чашку*; *Я его встречала раньше.* Таким образом, в русском языке в минимальном контексте (т.е. в предложении, не содержащем, кроме глагола, никаких аспектуально значимых элементов) именно вид глагола выражает аспектуальные параметры ситуации.

Аналогично в чешском языке в минимальном контексте глагол СВ обычно выражает однократное результативное действие, а глагол НСВ — однократное процессуальное или повторяющееся действие. Ср.: *Pouští* (сейчас или всегда) *si teplomet* // *Pustí si teplomet* (однажды) — *Он включает* (сейчас или вообще) *электрокамин* // *Он включит электрокамин* (однажды). В минимальном контексте функции глаголов СВ и НСВ в русском и чешском языках сходны, различия касаются выражения общефактического значения НСВ и употребления презентных форм СВ в гномическом значении (см. ниже).

3. Взаимодействие форм глагольного вида с аспектуальными лексическими элементами контекста

Контекстные элементы, выражающие длительность, протяженность, медленное течение действия, одновременность двух или нескольких действий, являются возможными и частыми, но не обязательными показателями, акцентирующими значение процессуальности глаголов НСВ. Ср.: *Корабль* (*все еще*, *медленно*, *в течение часа*) *погружался* — *Lod' se* (*ještě*, *stále*, *pomalu*, *celou hodinu*) *potápěla.* Подчеркнем, что НСВ как немаркированный член привативной оппозиции, по Р. О. Якобсону [1985: 221], характеризуется семантической двойственностью и в определенных типах контекста способен иметь свое собственное положительное значение, противопоставленное категориальному значению СВ: значение процессуальности, при кото-

ром фокусируются не предельные, а срединные моменты протекания действия. Поэтому в ряде случаев собственное аспектуальное значение глаголов НСВ препятствует замещению предельными глаголами НСВ парных глаголов СВ в тех контекстах, где имеются специальные средства, указывающие на завершение и результативность единичного действия. Ср.: *Вчера я переделала* (**переделывала*) *статью* ***за два часа***; *Завтра* ***за два часа*** *я переделаю* (**буду переделывать*) *статью.* Аналогично в чешском: *Ten článek jsem předělala* (**předělávala*) *včera* ***za dvě hodiny***. *Ten článek předělám* (**budu předělávat*) *zítra asi* ***za dvě hodiny.*** Однако при обозначении кратной ситуации сочетаемость НСВ с такими обстоятельствами в славянских языках проявляется по-разному: в русском языке она возможна, тогда как в чешском — нет, ср.: *Обычно она переписывала* (*перепечатывала*) *такой текст за час*; **Takový text přepisovala obyčejně za hodinu.* В чешском языке при обозначении данной кратной ситуации вероятны следующие предложения: *Takový text přepisovala obvykle* ***hodinu*** (*Такой текст она обычно переписывала* ***час***); *Takový text* ***přepsala*** (СВ) *obvykle za hodinu* (букв. **Текст она обычно переписала за час*). В рассмотренном случае русские глаголы НСВ, единственно возможные в подобном контексте повторяющегося действия (кратность при этом выражается лексически), выступают как аспектуально нейтральные формы и поэтому свободно сочетаются с инклюзивными обстоятельствами типа *за час*, подчеркивающими результативность и завершенность действия. В чешском же языке вторичные имперфективы типа *přepisovala* в таком контексте ведут себя не как полностью немаркированные формы, что связано с закономерностями употребления видов и функциональной нагрузкой глаголов СВ и НСВ [Петрухина 1998].

В расширенном контексте роль вида в формировании семантики предложения уменьшается, так как в выражении протекания действия участвуют разнообразные языковые элементы: помимо глагольного вида и способов действия, лексические показатели — наречия, местоименные слова и предложно-падежные сочетания с обстоятельственными временными значениями (*уже*, *еще*, *часто*, *каждый день*, *за час* и т.п); синтаксические конструкции (например, сложноподчиненные предложения с временными союзами типа *пока*, *до тех пор как*). В этом случае в русском и чешском языках (но в русском языке более последовательно) реализуется механизм семантического согласования всех аспектуальных элементов и нередкого их дублирования, ср., например: *Я* ***сделаю*** *эту работу* ***за два дня***, ***до понедельника***; ***Udělám*** *tuto práci* ***za dva dny***, ***do pondělka*** (конечный предел действия обозначен в самой глагольной форме СВ и временных обстоятельствах). Наиболее значительные функциональные расхождения между русским и чешским видом наблюдаются именно

в расширенном контексте: в русском языке существуют более строгие правила употребления одного определенного вида и семантического согласования видов с элементами контекста, чем в чешском языке, где определяющую роль в выражении аспектуальных значений играют элементы контекста.

4. Употребление видов при обозначении завершенного действия в прошлом

В русском и чешском языках НСВ, как немаркированный член видовой оппозиции, может имплицировать контекстные смыслы, относящиеся к сфере аспектуальности, но однозначное выражение единичного завершенного действия лексическими показателями требует употребления СВ. Это является источником ошибок для не-славян, изучающих русский язык: не принимается во внимание обязательное в подобных случаях семантическое согласование элементов контекста с формой СВ, например: **Он* ***уже все****, что я ему оставила, ел*; **Делайте это сегодня* ***полностью*** */* ***до 7 часов вечера***; **Вы* ***уже писали*** *свою статью? *Už všecko, co jsem mu nechala, jedl*; **Dělejte to všecko do konce / do 7. hodiny večer*; **Uz jste psala svůj článek?*

Несовершенный вид может замещать совершенный вид при обозначении завершенного действия в русском и чешском языках лишь в том случае, если его аспектуальная характеристика вытекает из ситуации или контекста, но не актуализируется специальными лексическими элементами. При этом русский язык отличается от чешского большей частотностью употребления формы прошедшего времени глаголов НСВ с общефактическим значением. Там, где в русском языке употребляется глагол НСВ в общефактическом значении, в чешском часто используется СВ в своем обычном употреблении. Ср.: *— Доктор Орлов, если не ошибаюсь? — Да, это я, а вы?... Простите, не узнаю. — Ян Сухи. Мы* ***встречались*** *с вами на симпозиуме генетиков в Варне*; чеш. *Jestli se nemýlím, jste doktor Orlov? — Ano, to jsem já. A vy?... Promiňte, nepoznávám vás. — Jan Suchý.* ***Setkali*** (СВ) ***jsme se*** *s vámi ve Varně na sympoziu genetiků.*

Аспектуально нейтральная претеритальная форма НСВ в дейктическом типе речи в русском языке имеет более богатый, чем в чешском, прагматический потенциал: если при обозначении одной и той же денотативной ситуации возможно употребление обеих видовых форм, то высказывания с этими формами будут различаться интерпретацией данной ситуации, причем не только в аспектуальном, но и в модально-прагматическом отношении.

В следующих типах предложений между русским и чешским языками в употреблении НСВ в общефактическом значении проявляется сходство: высказывания типа 1, 1′, 3, 3′ функционируют в качестве

своего рода предэтапного вопроса, после которого говорящий переходит к главному сообщению или вопросу (2, 2′, 4, 4′) [Тэк-Гю Хонг 2003: 97–112]. Ср.: (1) *Кто* ***записывал*** *лекцию?* (2) *В лекции много неточностей* — (1′) *Kdo tu přednášku* ***zapisoval****?* (2′) *Je v ní plno chyb*; (3) *Кто* ***убирал*** *на моем столе?* (4) *Где моя записная книжка?* — (3′) *Kdo mi* ***uklízel*** *na stole?* (4′) *Gde je můj diář?*

НСВ в общефактическом значении в русском языке активно участвует в создании риторического вопроса. В данных условиях употребление СВ в русском языке означало бы «иллокутивное самоубийство», так как пресуппозиция риторического вопроса предполагает, что говорящий заранее знает отрицательный ответ на этот вопрос. Ср. *Кто тебя* ***просил*** *это делать?* ('никто не просил, не надо было это делать'); *Кто тебя туда* ***посылал****?* ('никто не посылал, не надо было ходить'); *Я вас* ***перебивала****? Дайте и мне договорить* ('ясно, что не перебивала'). В чешском языке в аналогичных риторических вопросах может быть употреблен как НСВ, так и СВ: *Kdo se tě* ***prosil****, abys to dělal?* ***Poslal*** */* ***Posílal*** *tě tam* ***snad*** *někdo?* ***Přerušila*** */* ***Přerušovala*** *jsem vás* ***snad****? Nechte mě laskavě domluvit.* Обращает на себя внимание тот факт, что в чешском языке в подобных риторических вопросах активно используются модальные частицы (например, *snad*), т.е. в чешском языке тот смысл, который в русском языке выражается самой глагольной формой НСВ, требует поддержки контекста.

В русском языке вид может выступать как своего рода показатель определенности / неопределенности действия, в частности в отрицательных предложениях: СВ выражает отрицание известного, ожидаемого действия, тогда как глагол НСВ указывает лишь на то, что действия не было [Рассудова 1968: 20–21]. В чешском языке СВ возможен и во втором случае. Ср.: *Алексей мне книгу* ***не вернул****, хотя я его об этом очень просил*; *Никакой книги мне Алексей* ***не возвращал****, он обманывает*; *Alexej mi* ***nevrátil*** *knihu, i když jsem ho o to moc prosil*; *Žádnou knihu mi Alexej* ***nevrátil*** */* ***nevracel****, vymýšlí si.*

5. Соотношение глагольных и контекстных показателей при выражении повторяющихся действий

При выражении повторяющихся действий особенностью чешского языка, в сравнении с русским, является использование трех типов конструкций: с многократными глаголами НСВ (*pomáhávat*), глаголами НСВ (*pomáhat*), глаголами СВ (*pomoct*): *Často mi pomáhával / pomáhal / pomohl.* В русском языке трем приведенным предложениям соответствует лишь одно — с глаголом НСВ: *Он часто мне помогал*, так как многократных глаголов в русском языке практически

нет (за исключением единичных стилистически маркированных глаголов типа *хаживать*, *сиживать*), а СВ при обозначении повторяющегося действия требует сильной поддержки контекста (показателей нерегулярной повторяемости, кратно-цепной или кратно-парной синтаксических конструкций) [Маслов 1959; Бондарко 1971а], например: *Málokdy jsem* ***brával*** *do ruky noviny* / *Málokdy jsem* ***bral*** *do ruky noviny* / *Málokdy jsem* ***vzal*** *do ruky noviny* (пример А. Г. Широковой) — *Редко когда я* ***брал*** / ***взял*** *в руки газету.*

Фундаментальные исследования многократных глаголов в чешском языке, осуществленные А. Г. Широковой, показали следующее. Многократные глаголы не могут быть образованы от всех лексико-семантических групп глаголов НСВ, они соотносятся только с основным, первичным значением мотивирующих глаголов НСВ, их употребление факультативно и во многих случаях стилистически маркировано, а также ограничено жанровыми и стилистическими особенностями художественных произведений и территориальной принадлежностью авторов, что также связано с возможностью образовывать аффективные глаголы с удвоенным и утроенным суффиксом *-vává(vá)-* [Широкова 1996]. Все это позволяет сделать вывод о незначительной роли многократных глаголов в выражении повторяющихся действий в современном чешском языке. Такие действия, как правило, обозначаются обычными глаголами НСВ и СВ, причем по сравнению с русским языком отмечается большая функциональная активность глаголов СВ [Широкова 1996; Петрухина 2000: 64–73].

Глаголы НСВ в обоих языках могут выражать повторяющиеся действия без поддержки контекста в том случае, если контекст не содержит элементов, указывающих на актуальность действия, ср.: *Он встает в 7 часов — Vstává v sedm hodin.* В обоих языках глаголы СВ, употребленные в этих и подобных им предложениях, содержащих указание на конкретный временной момент, выражали бы однократное действие в будущем. Тем не менее в области презентных форм в чешском языке, в отличие от русского, глаголы СВ достаточно свободно выражают обобщенные повторяющиеся действия при формулировке общих законов и правил, например, *Země* ***oběhne*** (***obíhá***) *Slunce za rok — Земля делает полный оборот вокруг солнца* (букв. ***обегает*** *солнце*) *за год* [Петрухина 1983].

Чем регулярнее повторение, тем больше наблюдается ограничений в русском языке на употребление СВ в значении узуального действия, при этом употребление НСВ становится обязательным, ср.: *Она регулярно навещает* (**навестит*) *нас в субботу.* В чешском языке и при регулярном повторении возможно употребление обоих видов: *Navštěvuje* / *navštíví nás pravidelně v sobotu*, причем при возрастании нерегулярности повторения возрастает употребительность СВ в сравнении с возможным НСВ. В некоторых случаях, а именно при

выражении повторения случайных действий, в чешском языке возможны лишь формы СВ. Ср.: *Někdy polívku* ***přesolí*** *— Суп она иногда* ***пересаливает*** (букв. *пересолит*); *Ten autobus mi vždycky* ***ujede*** (букв. *уедет*) *— Я всегда* ***опаздываю*** (букв. *опоздаю*) *на этот автобус.* Употребление форм НСВ в этих чешских предложениях вело бы к изменению смысла высказывания, к выражению преднамеренности действия, тогда как в эквивалентных русских предложениях употребление НСВ не мешает восприятию действий именно как случайных, а не как целенаправленных. Все это свидетельствует о разной степени аспектуальной немаркированности НСВ в русском и чешском языках. Косвенное подтверждение этого вывода можно найти в «Грамматике чешского языка» Б. Гавранека и А. Едлички, где отмечается, что употребление форм НСВ в чешском языке для обозначения повторяющихся действий может подразумевать подчеркивание продолжительности повторяющегося действия [Havránek, Jedlička 1960: 226], поэтому в чешском языке во многих контекстах узуального действия более обычными являются формы СВ.

Таким образом, в чешском языке вид глагола в контексте, включающем показатели кратности, практически нерелевантен (в контексте узуального действия свободно употребляются оба вида), тогда как в русском языке употребление вида более нормировано: НСВ, в силу своей немаркированности, в большей степени соответствует показателям узуальности действия.

6. Аспектуальная семантика фазисно-временных дериватов совершенного вида

Во всех славянских языках дериваты с приставкой *по-* (*ро-*) выражают действие, ограниченное временными рамками, но не доведенное до конца, до результата (причем продолжительность действия часто оценивается как незначительная). Отсюда невозможность предложений типа: **Я почитал книгу до конца*; **Попил молоко до дна.* В русском языке это регулярная словообразовательная модификация: делимитативы образуются прежде всего от гомогенных непредельных глаголов деятельности (например, *поработать*, *погулять*). Данную модификацию могут иметь также гомогенные глаголы со значением психического, физического, эмоционального состояния субъекта, поведения, обобщенной деятельности, инактивных физических процессов, например: *побастовать*, *позаседать*, *поучаствовать*, *потерзать*(*ся*), *поцарствовать*, *погноиться*. В чешском языке делимитативы образуются значительно реже, чем в русском. В особенности это касается глаголов, обозначающих неконтролируемые процессы, ср.: *Свеча* ***погорела*** *и погасла — Svíčka* ***chvíli hořela*** *a pak zhasla*; *Голова* ***поболела*** *и перестала — Hlava ho* ***nějaký čas bolela*** *a pak*

přestala. В приведенных чешских предложениях ограниченность процесса непродолжительным отрезком времени выражается лексическими элементами контекста, а в русских — делимитативами.

Благодаря профилированию конечной границы действия русские делимитативы, образованные от глаголов целенаправленной деятельности, по своим функциям приближаются к видовым коррелятам. На первый план выступает не представление об ограниченной длительности, а семантический элемент окончания действия, которое может оцениваться с точки зрения его результата (*хорошо*, *плохо*). В чешском языке делимитативы, не обладая ярко выраженной семантикой окончания действия, в подобных случаях употребляются значительно реже, чем в русском, причем значение результата выражается контекстными элементами (например, наречием *dost* — *достаточно*), ср.: *Мы уже* ***потренировались***, *идем домой* — чеш. *Dneska* ***jsme se*** *už* ***dost pocvičili***, *jdeme domů*.

Между русскими и чешскими делимитативами нет однозначного соответствия: с одной стороны, чешским делимитативам в русском языке могут соответствовать как делимитативы, так и пердуративы; с другой — русским делимитативам нередко соответствуют чешские ограничительные модификации с приставкой *za-* (+ *si*). В чешском языке глаголы типа *zakřičet* обозначают цельный квант действия, ограниченный начальным и конечным пределом, при этом, в отличие от русского языка, в их семантике не актуализируется начальная граница. Дериваты *za-* + *si* могут обозначать как одноразовое действие, совершенное в конкретное время (*zalhat si* — *солгать* (*с удовольствием*); *zahřešit si* — *согрешить* (*с охотой*)), так и менее конкретную деятельность (*zařežírovat si* — *порежиссировать*; *zaúřadovat si* — *позаниматься администрированием*). Чешские дериваты *za-* + *si* функционально эквивалентны русским делимитативам: *Měsíc* ***si*** *tu* ***zašéfoval*** *a pak odešel* — *Он* ***поруководил*** *здесь месяц, а потом ушел*; *Впрочем,* ***постреляли***, ***пошумели***, ***повешали***, *оглянулись — где же та революция? Нет ее!* (А. Солженицын) — *Trochu* ***si zastříleli*** *a zarámusili, sem tam někoho pověsili a kdepak je ta naše revoluce? Nikde!* (инф.).

В русском языке вариативность семантики делимитативов касается оценки продолжительности действия: при поддержке контекста или соответствующей интонации делимитативы способны обозначать и продолжительное действие (на его большую продолжительность указывает контекст, в минимальном же контексте выражается оценка действия как непродолжительного). В чешском языке в этом случае используются другие средства, чаще всего модификации *na-* + *se*, *vy-* + *se*, а также — модель *za-* + *si*. Ср.: *Я* ***посмеялась*** *вволю* —

Nasmála jsem se *ažaž*; *В этом году мы* ***походили*** *за грибами!* — *Letos jsme* ***si*** *ale* ***zahoubařili!***

Особенность фазисно-временной семантики делимитативов в чешском языке делает их синонимичными пердуративам с приставкой *pro-*, которые в обоих языках выражают заполнение действием определенного промежутка времени, при этом действие может продолжаться за пределами этого отрезка, а сам временной интервал обычно оценивается как продолжительный. Ср.: *Мы* ***просидели*** *над этим несколько часов и продолжаем сидеть* — ***Proseděli*** (***poseděli***) ***jsme*** *nad tím pár hodin a pokračujeme dál.* В чешском языке, в отличие от русского, глаголы, выражающие положение в пространстве неживых предметов, физические процессы и состояния, как правило, пердуративы не образуют, ср.: *Трактора* ***простояли*** *без дела целое лето* — *Traktory* ***stály*** *nečinně po celé léto* (VRČS); *Письмо Энгельса 36 лет* ***пролежало*** *под сукном* — *Engelsův dopis* ***ležel*** *36 let v zásuvce* (VRČS).

Русский язык отличается от чешского и свободной сочетаемостью пердуративов с временными показателями конечной границы действия. В чешском языке при необходимости указать на эту границу используется либо беспрефиксный глагол, либо делимитатив. Например: *Соловей пропел до утра* — *Slavík zpíval až do rána*; *Мы просидели до утра* — *Seděli jsme až do rána.* Таким образом, и в данном случае аспектуальную характеристику действия в чешском языке выражают исключительно лексические элементы контекста, тогда как в русских предложениях в аспектуальной характеристике действия участвуют как собственно глагольные, так и лексические маркеры.

Начальная граница деятельности и гомогенных процессов (без выражения смысла интенсивности) по-чешски может быть эксплицитно выражена лишь фазовыми глаголами, например: *Ребенок скоро* ***заговорит*** — *Dítě brzy* ***začne mluvit***; *Все вдруг разом* ***заговорили*** — *Všichni* ***začali*** *najednou* ***mluvit.*** Как мы уже отмечали, дериваты с приставкой *za-* в чешском языке выражают целостную порцию процесса или деятельности без актуализации их начальной границы, ср.: *K večeru trochu* ***zapršelo*** — *К вечеру* ***прошел небольшой дождь***; *Nejlépe na olympiádě* ***zaskákal*** *devatenáctiletý Michal Doležal, na velkém můstku osmý a na středním jedenactý* (MFD 18.02.98) — *Лучше всего на олимпиаде* ***прыгал*** (букв. *прыгнул несколько раз*) *Михал Долежал, на большом трамплине он был восьмым, а на среднем одиннадцатым.*

В чешском языке продуктивной словообразовательной моделью является начинательно-усилительная (эволютивная) модификация *roz-* + *se*, образующаяся от глаголов со значением зрительного и акустического восприятия, а также восприятия по запаху, от глаголов психического состояния и деятельности, ср.: *Moucha* ***se rozbzučela*** —

Муха разжужжалась; *Obecenstvo* ***se roztleskalo*** *— Публика* (*горячо*) ***зааплодировала***. На русский язык такие дериваты часто переводятся глаголами с приставкой *за-*, при которых интенсивность должна быть выражена лексически. Такие дериваты, образованные в чешском языке от глаголов деятельности, а также от глаголов, обозначающих природные и физические процессы, помимо начинательности и интенсивности, выражают также усиление последней, ср.: *K ránu* ***se rozpršelo*** *— К утру дождь* ***пошел сильнее*** */* ***пошел сильный дождь***; ***Rozpovídal se*** *o svých potížích — Он* ***разговорился*** *о своих трудностях.* Это один из немногих случаев, когда роль морфологических маркеров при выражении определенной аспектуальной характеристики ситуации в чешском языке более значительна, чем в русском.

В сопоставляемых языках существует богатый репертуар словообразовательных и лексических средств выражения о к о н ч а н и я действий, деятельности, процессов: префиксы русск. *до-*, *от-*, чешск. *do-*, *od-*, глаголы *закончить*, *кончить*, *перестать*. Смыслы окончания действия без дополнительных оттенков и окончания с одновременной актуализацией последней фазы в семантике чешских глаголов с префиксом *do-* разграничены не так четко, как в русском языке, где два названных значения опираются на два разных префикса. Средством разграничения данных смыслов в чешском языке является внутренний (лексический) и внешний (прежде всего заполнение валентностей) контексты. Ср.: *Dnes jsem tu knihu dočetl — Сегодня я эту книгу дочитал*; *Dnes jsem už dočetl — На сегодня я уже закончил чтение*; *Ten už dočetl: nic nevidí — Он уже* (*свое*) *отчитал: ничего не видит.*

Между чешским и русским языками наблюдаются различия в том, какие нетерминативные глаголы комбинируются с модификационным значением актуализации последней фазы, представленной в совокупности с окончанием действия (СВ) или в процессе протекания (НСВ). Можно в общем определить группы глаголов, для которых такое несоответствие наиболее характерно. В русском языке конец колебательных, вращательных движений, как правило, обозначается при помощи фазисного глагола, в чешском же языке в подобных случаях активно используется префикс *do-*. Ср.: *Roleta se dotočila — Рулетка перестала вращаться* (*остановилась*); *Houpačka se dohoupala — Качели перестали качаться.* Окончание психических, эмоциональных переживаний и внешних проявлений чувств в русском языке может быть выражено синтетически, при помощи приставки *от-*, в чешском языке — только аналитически, ср.: *отгрустить — přestat se rmoutit*; *отвеселиться — přestat se bavit*; *отмучиться — přestat se trápit*; *отсмеяться — přestat se smát.* Русской модели *Я свое уже отработал*, способной выражать как а) выполнение долга (ср.: *Я свое уже отра-*

ботал, *теперь поработайте вы*), так и б) исчерпанность внутренних ресурсов и возможности совершать действие (ср.: *Я свое отработал, нет сил работать дальше*), в чешском языке соответствуют две модели: а) *Už jsem si svoje odpracoval* и б) *Už jsem dopracoval.*

Для выражения р е з у л ь т а т а интенсивной деятельности в русском и чешском языках используется сходная деривационная модель типа *докричаться до кого-либо — dokřičet se*; *достучаться — doklepat se*; *дозвониться / дозваниваться — dovolat se.* Однако комбинация этого модификационного смысла с глагольными лексемами в названных языках разная, имеются также другие средства выражения данного значения. Ср.: 1) *додуматься до чего-либо — přijít na co*, *dospět k četu*; 2) *dopracovat se (spěchu — добиться в результате работы успехов*, *хороших результатов*, *заработать на собственный дом*, *выработать новый метод*).

В русском языке является продуктивной модель типа *добегаться* (*до простуды*, *до неприятностей*), выражающая достижение определенной точки в развитии действия, после которой наступают его нежелательные последствия, либо эксплицитно выражаемые отдельной лексемой или синтаксической конструкцией, либо подразумеваемые, ср.: *Доигрался! Допрыгался!* В чешском языке подобные дериваты отсутствуют, нежелательные последствия действия могут быть выражены только описательно.

Таким образом, в чешском языке границы действия, а также другие его аспектуальные характеристики в целом чаще выражаются не глаголами, а лексическими элементами контекста (которые сочетаются либо с глаголами СВ, либо НСВ), тогда как соответствующие русские ограничительные или начинательные глаголы СВ в этом отношении более информативны.

В чешском языке наблюдается усиление роли словообразовательных средств при выражении интенсивности действия (в сочетании с начинательностью), а также конца деятельности, причем между чешским и русским языками здесь также нет полного соответствия: использование синтетических или аналитических средств выражения данных аспектуальных смыслов зависит от лексической группы глаголов.

7. Семантика предела и определение видовой принадлежности глагола

Особенности выражения отношения действия к его конечному пределу могут повлиять на определение видовой принадлежности глаголов в словаре. Оказывается, в славистике в данном традиционном вопросе остались еще дискуссионные моменты.

Во всех славянских языках есть глагольные дериваты типа *набегаться*, *находиться*, *насидеться*. В русском языке это типичный глагол СВ, во всех других языках, кроме чешского, он также определяется как СВ. Иначе обстоит дело в чешском языке. Глаголы рассматриваемого типа в целом ряде толковых словарей чешского языка (например, SSJČ, SSČ) последовательно определяются как СВ и НСВ, т.е. как двувидовые, ср.: *nasmát se* (dok. i nedok.). Лишь у некоторых глаголов это связано с разграничением в словаре двух значений, например: *najíst se*: 1) doc. (k nasycení — 'до насыщения'): *Dobře se najedl — Он наелся / Он хорошо поел*; 2) nedoc. 'mnoho a často jíst' — 'много и часто есть': *Toho jsem se v dětství něco najedl! — Ну и поел же я этого в детстве!*

В других дериватах, образованных по данной продуктивной модели, видовые значения не противопоставлены так четко, но именно с разграничением данных значений связывается определение вида то как СВ, то как НСВ. Приведем примеры, иллюстрирующие два выделенных типа употребления дериватов *na- se*, почерпнутые нами из чешского национального компьютерного корпуса текстов (ČNK).

Первый тип употребления (СВ): *V kanceláři jsem se* ***naseděl dost***, *tak proto raději chodím pěšky — Я* ***насиделся*** *в канцелярии, поэтому люблю ходить пешком. Otec se smál, a když* ***se dost nasmál***, *začal zase vážně... — Отец смеялся, а когда* ***насмеялся***, *серьезно сказал...*; *Pěšky* ***se nachodíme*** *ještě* ***dost*** *a* ***dost*** *— Пешком мы еще* ***находимся***.

В данных предложениях русские дериваты выражают смысл 'достижение определенного состояния удовлетворения или пресыщения', в чешских же предложениях, чтобы выразить этот смысл, надо употребить дополнительную лексему (*dost — достаточно*), так как сами дериваты *na- se* такой семантики не выражают. Поэтому подобные производные глаголы в русском языке могут быть употреблены при обозначении цепочки сменяющих друг друга действий в повествовательных претеритальных текстах, а в чешском — нет, ср.: *Они пошли на речку,* ***накупались***, ***назагорались*** *и вернулись домой.* В эквивалентных чешских предложениях вероятнее всего употребление глаголов НСВ *koupali se*, *opalovali se.*

Более частотны в чешском языке, особенно в разговорной речи, данные дериваты во втором значении — 'много и часто что-то делать'. Такое употребление стилистически не нейтрально, при этом оценка действия, вернее его количества, может быть как положительной, так и отрицательной. Именно с таким типом употребления связано определение вида соответствующих глаголов в SSJČ как НСВ, хотя какие-либо из рассмотренных выше признаков НСВ у них отсутствуют. Они не сочетаются с фазовыми глаголами, с показателями длительности типа *долго*, *год*, не имеют актуально-процессного значения, не образу-

ют форму аналитического будущего. Ср.: *Co jsme* ***se*** *jen do těch domů* ***nachodili!*** *— Сколько же мы* ***походили*** *по этим домам! Vždyt'* ***se*** *tolik* ***načekal****, než se mi narodila — Он же столько* ***ждал****, прежде чем я у него родилась*; *U doktora* ***se*** *člověk vždycky děsně* ***načeká*** *— У врача всегда приходится страшно долго* ***ждать***; *V životě jsem* ***se*** *během jediného dne tolik* ***nepačekal*** *jako dnes — В жизни я никогда в течение одного дня не* ***ждал*** *столько, сколько сегодня*; *Pozdravujte Marii, která* ***se*** *pro nás hodně* ***napracovala*** *— Передайте привет Марии, которая для нас очень много* ***работала.***

В приведенных предложениях глаголы типа *načekat se, namluvit se* выступают как синонимичные сочетаниям *dlouho čekat, hodně mluvit*, отличаясь от нейтральных словосочетаний лишь выражением экспрессивного отношения говорящего к действию.

Таким образом, трактовка производных глаголов *na- se* в чешской лексикографической традиции (которая, однако, в современной лингвистике не поддерживается) как двувидовых глаголов определяется особенностями их семантики. Такая трактовка связана с двумя типами употребления данных глаголов, различия между которыми определяются выражением / невыражением предельного момента в состоянии производителя действия.

В чешском языке имеются формы будущего времени *pobežím, pojedu, ponesu, poletím*, существующие без инфинитивов, отсутствуют также соответствующие формы прошедшего времени (**poběžet*, **poběžel*, **pojet*, **pojel*). По мнению большинства лингвистов [Havránek, Jedlička 1960: 245; Kopečný 1962: 46–50; Príruční mluvnice češtiny 1995: 317], это особые формы будущего простого, образованные от глаголов НСВ *běžet, jet, nést, letět* (*бежать, ехать, нести, лететь*). Так как нет инфинитива, то проверить их вид обычным способом, т.е. на сочетаемость с фазовыми глаголами, невозможно. Основной критерий определения вида — критерий функциональный: данные формы имеют лишь значение будущего времени и не могут выражать настоящее неактуальное (в том числе и узуальное), не употребляются в значении настоящего исторического, что сближает их с формами будущего времени НСВ, ср. *polezu — budu lézt* (*полезу — буду лезть*); *poteče — bude téci* (*потечет — будет течь*). Отличаясь от последних по форме, глагольные формы с *po-* выступают, по мнению Ф. Копечного, как их полные синонимы, что подтверждает характеристику их вида как несовершенного, ср.: *Kufr ponesu / budu nést já. Jak dlouho to ponese / bude nést? — Чемодан понесу / буду нести я*; *Как долго он это будет нести* (*ср.* ?*понесет*)*?*

В качестве примеров, свидетельствующих об отсутствии временных границ в восприятии обозначаемого действия, Ф. Копечный приводит такие, как *Ty to poneseš stále — Ты это будешь нести* (букв. *понесешь*) *все время* [Kopečný 1962: 48]; ср. также: *Jak dlouho to*

ponesu? — Как долго я это буду нести (букв. *понесу*); *Půjdete pořád přímo — Идите* (букв. *пойдете*) *все время прямо.*

Как представляется, исходные глаголы однонаправленного движения типа *jít* полностью соответствуют сущности двувидовых глаголов. Они используются и в функции НСВ (*Začal jít rychleji — Он пошел* (ср. *начал идти*) *быстрее*; *Šel dlouho sám — Он долго шел один*), и в функции СВ (*Kde je Jiří? — Šel domů — Где Иржи? — Пошел домой*). Синтетические формы будущего времени, а также формы императива *pojd'*, *pojed'*, *polez ven*, *poběžme*, *pones*, образованные от соответствующих бесприставочных двувидовых глаголов типа *jet*, *jít*, *lézt*, не способствуют устранению двувидовости, так как сами находятся на границе между НСВ и СВ, проявляя двувидовость в конкретной временной форме. Наличие таких форм в чешском языке подтверждает более значительную роль контекста в выражении аспектуальных значений в чешском языке, чем в русском.

8. Выводы

Таким образом, проанализировав соотношение глагольных и контекстных средств выражения аспектуальной семантики в русском и чешском высказываниях, мы пришли к выводу о большей аспектуальной информативности видов и способов глагольного действия в русском языке по сравнению с чешским. В последнем при выражении аспектуальных характеристик действия (повторяемости, начала, результата и последствий процессов или деятельности, ограничения их временными рамками) более существенна роль лексических показателей. Это соответствует отмеченной в настоящей работе более высокой степени нормированности употребления видовых форм в русском языке по сравнению с чешским, где свобода выбора вида больше, — в контексте узуального действия, в настоящем историческом, при повествовании в прошедшем времени и др. [Петрухина 2000].

Список сокращений

SSJČ	—	Slovník spisovného jazyka českého. D. 1–4. Praha, 1960–1971.
VRČS	—	Velký rusko-český slovník. D. 1–5. Praha, 1952–1960.
ČNK	—	Český národní korpus.

ГЛАВА IX

АНГЛИЙСКИЕ И РУССКИЕ БЕЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: ПОЛЕВЫЕ СТРУКТУРЫ, ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ*

1. Вступительные замечания

Сопоставлять английские и русские безличные конструкции (БК) весьма сложно ввиду того, что эти конструкции в каждом из языков характеризуются существенно различающимися формальными особенностями. Так, в русском языке безличными считаются конструкции, имеющие следующие признаки: 1) отсутствие (и невозможность) подлежащего (т.е. именной группы в именительном падеже, вершина которой обозначает носителя предикативного признака, выраженного сказуемым); 2) употребление финитной формы глагола 3-го лица ед. числа (среднего рода — в прошедшем времени) при невозможности форм глагола 1-го и 2-го лица (а в прошедшем времени — отсутствие форм мужского и женского рода) — *Светает* (**Светаю* / **Светаешь*), *Подморозило* (**Подморозил* / **Подморозила*), *Меня знобит* / *знобило* (**знобил* / **знобила*); 3) употребление предикативных наречий на *-о*, например: *Мне страшно* / *боязно*. В свою очередь, английские БК не могут иметь полнозначного подлежащего, вместо которого обязательно употребляется так называемое безличное *it* [Иванова и др. 1981]. При этом финитный глагол, как и в русском языке, может иметь только форму 3-го (но не 1-го или 2-го) лица ед. числа, ср.: *It is* (**I am* / **You are*) *raining* / *It is turning cold* / *It is warm today*.

В. М. Павлов, исследуя семантические особенности русских безличных предложений, определил их общую семантическую базу — «устраненность субъекта из смысла предложения» [Павлов 1998б: 3]. Однако следует признать, что во многих русских БК субъект присутствует в семантике высказывания (ср. ***Мне*** *нездоровится*; ***Меня*** *сильно знобит*). В случаях, когда субъект не выражается именем в именительном падеже, необходимо определить, почему говорящий употребляет безличную, а не личную форму глагола (и структуру предложения); ср. соответствующие личные предложения: *Я нездоров*; *Я чувствую сильный озноб*.

Основанием для сравнения БК в английском и русском языках является их общий смысловой признак, который можно определить как «устраненность из смысла высказывания представления об активно

*Данная глава подготовлена при финансовом содействии Фонда Президента РФ для поддержки ведущих научных школ, грант № НШ-1510.2003.6.

© И. В. Недялков, 2005

действующем субъекте». Этот признак является, на наш взгляд, центральным для всего микрополя безличности, входящего в функционально-семантическое поле (ФСП) персональности. С рассматриваемой проблемой непосредственно связаны (при всей их дискуссионности) рассуждения А. Вежбицкой о смысловых отношениях между русскими БК и такими категориями, как неконтролируемость чувств и иррациональность русского менталитета [Вежбицкая 1996: 44–45, 73–74].

Отметим, что БК входят в ФСП персональности как самостоятельное микрополе, имеющее свой центр и периферийные зоны, характеризующееся гомогенной семантикой (устраненность или «размытость» семантики персональности) и включающее разнотипные средства выражения соответствующих «безличных» ситуаций и состояний. Напомним, что, по определению А. В. Бондарко, «ФСП — это базирующаяся на определенной семантической категории группировка разноуровневых средств данного языка, взаимодействующих на основе общности их семантических функций» (см. Введение, написанное А. В. Бондарко, в настоящей монографии). Исследуя ФСП персональности в русском языке, А. В. Бондарко пишет, что «семантика форм безличности представляет дальнюю периферию рассматриваемого семантического пространства» [Бондарко 1991б: 7]. В то же время микрополе безличности, как показывают приводимые ниже материалы, пересекается с рядом других ФСП, в частности с ФСП модальности, отрицания и аспектуальности.

Среди работ, исследующих русские БК, обратим внимание на раздел «Глагольные безличные предложения» в книге А. М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении» [1938/2001], а также на монографию Е. М. Галкиной-Федорук «Безличные предложения в современном русском языке» [1958], работы А. В. Бондарко [1991б; 1992], Л. А. Бирюлина [1984; 1994], Г. А. Золотовой [1973], А. В. Корольковой [1980] и Е. И. Шутовой [1984]. Английские БК рассматривались, в частности, в работах Ю. С. Игнатюк [1978], Н. А. Кобриной и С. С. Лийв [1984], Т. Д. Максимовой [1984] и Т. А. Расторгуевой [1954]. Важной для исследования БК в сравнительном аспекте является статья Л. С. Ермолаевой и Е. В. Неласовой «Безличные глаголы в современных германских языках (на материале немецкого и исландского языков)» [1975].

В настоящей главе рассматриваются основные особенности английских и русских БК, выявляемые на основе контрастивно-переводческого метода, который позволяет сравнивать оригинальные и переводные БК с единой или близкой семантикой (рассматриваются способы перевода на английский язык русских БК, выявленных в тексте романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и в нескольких пьесах А. П. Чехова, а также те типы английских ори-

гинальных конструкций, которые переводятся русскими БК; в последнем случае рассматривался текст повести Джерома К. Джерома «Трое в одной лодке, не считая собаки» и два его перевода на русский язык).

2. Семантическая характеристика русских и английских безличных конструкций

Прежде чем будут рассмотрены оригинальные и переводные БК, выявленные в вышеназванных произведениях, необходимо обратить внимание на следующие моменты.

Первое. В русском языке имеются по крайней мере четыре основных синтактико-семантических типа БК: 1) БК, образуемые абсолютно безличными глаголами (ср.: *Смеркается*; *Ребенку нездоровится*); 2) БК, образуемые личными глаголами в безличном употреблении (ср. *В лесу пахнет грибами*; *Ураганом сорвало крышу*; *В висках стучит*); 3) БК, образуемые предикативными наречиями (ср. *Ей страшно*, *В лесу тихо*); 4) БК, образуемые отрицательными словами *нет / не было / не будет* (ср. *У меня нет времени*) [Современный русский язык 1999].

Второе. Продуктивность этих типов русских БК в отношении глагольного и наречного охвата такова: 1) абсолютно безличных глаголов в русском языке свыше 120, например: *ветреть*, *дождить*, *снежить*, *вечереть*, *недоставать*, *першить*; 2) количество глаголов, способных употребляться и как личные, и как безличные формы (либо вследствие омонимии — *повезти*, *сводить*, либо вследствие полисемии — *читаться*, *покалывать*), — свыше 170; 3) самую большую группу глаголов образуют слова, у которых безличное употребление возможно в определенных контекстных условиях, например: *брезжить*, *греметь*, *жечь*, *кольнуть*, *петься*; эта группа включает свыше 800 глаголов (количественные данные и примеры лексем взяты из статьи А. В. Корольковой [1980]). Общее же количество глагольных слов, способных употребляться безлично, по данным того же автора ненамного превышает 1 000 лексем. Что касается количества предикативных наречий на *-о*, то оно, по данным А. А. Бойко [1998], превышает 1000 слов.

Третье. В русском языке можно выделить не менее десяти смысловых типов БК, соответствующих тому или иному типу ситуаций объективного или субъективного мира, и, таким образом, связанных с тематическими и лексико-семантическими группами глаголов или наречий. Приводимый ниже список показывает, какие типы «положения вещей» в объективном или идеальном мире предрасполагают к «устраненности из смысла предложения активного и контролирующего свои действия (или свое состояние) субъекта». При этом первый

тип ситуаций, выражаемых БК (погодные / природные ситуации), представляет собой центр семантической категории безличности, поскольку в их семантической структуре в абсолютном большинстве случаев отсутствует одушевленный актант. В «природно-погодных» семантических структурах в принципе возможно появление и агенса (ср.: *шаман, своим камланием вызывающий дождь*), и пациенса (ср.: *человека, застигнутого дождем*). В таких случаях в некоторых языках иных структур, например, в эвенкийском, в конструкциях первого типа (с агенсом, вызывающим то или иное желательное природное явление) к глагольной основе, обозначающей соответствующее природное явление, присоединяется каузативная морфема, а в конструкциях второго типа (с пациенсом, подвергающимся тому или иному нежелательному природному явлению) принудительно употребляется страдательная конструкция с пассивной формой «погодного» глагола. Приведем центральный и периферийные типы русских БК в соответствии с такими признаками, установленными А. В. Бондарко (см. Введение, написанное данным автором в настоящей монографии), как 1) максимальная концентрация базисных семантических признаков центра ФСП — разреженность таких признаков на периферии; 2) наибольшая специализированность данного языкового средства для выражения определенных семантических функций (центр ФСП) — меньшая степень специализации средств (периферия); 3) регулярность функционирования данного языкового средства (центр ФСП) — нерегулярность, меньшая степень регулярности или употребительности средств (периферия ФСП):

1) погодные / природные БК (*Вечереет / Потеплело*) (центр семантической категории и ФСП безличности);

2) физиологические БК (*Меня укачивает / тошнит / мутит / трясет / вырвало*; *У меня в висках стучит*; *Мне нездоровится / ухо надуло / не спится*) (ближняя периферия семантической категории и ФСП безличности; все последующие типы составляют переход от ближней к дальней периферии семантической категории и ФСП безличности в соответствии с признаками, выделенными А. В. Бондарко);

3) психоэмотивные БК (*Мне взгрустнулось / мечталось / тоскливо / страшно*; *Меня тянет в лес*; *Ему хотелось уйти / Его подмывало уйти*);

4) БК чувственного восприятия (*Чем здесь пахнет / воняет?*; *Ничего не слышно / не видно*);

5) модальные-деонтические БК (*Мне пришлось / следует / надлежало / необходимо / нужно уйти / Вам незачем уходить*);

6) модальные-потенциальные БК (*Вам меня не догнать / Мне его не отыскать*);

7) оценочные БК (*Ей повезло* / *Ему (не) удалось решить задачу* / *Ей легко* / *трудно учиться* / *Нам стоит туда пойти*);

8) БК, обозначающие положение вещей в определенном месте (*В доме уютно* / *шумно*), в том числе, перфектные (*Снегом занесло дорогу* / *Кирпичом разбило окно* / *Камнем пробило голову* / *Ветром унесло сети*) и результативные ситуации, которые могут выражаться безлично-пассивными конструкциями (*В избе натоплено* / *накурено* / *убрано*);

9) БК, обозначающие отсутствие или недостаток чего-либо где-либо (*На небе ни облачка* / *В кармане ни гроша* / *Подобных случаев* / *бурь* / *наводнений у нас еще не было*; *У них со временем плохо* / *У нас на книги денег не хватает*);

10) ментальные БК (*Меня вдруг осенило*).

Рассмотрение английских конструкций, являющихся переводами русских БК, позволяет сделать следующее обобщение: основным (центральным) способом перевода русских БК являются английские личные конструкции, реже используются английские конструкции с безличным *it* (прежде всего — для выражения тех или иных состояний погоды / природы и модальных ситуаций) и совсем редко (на дальней периферии) отмечены конструкции с вводными словами *there* или *one*.

2.1. Обозначение природных явлений и состояний окружающей среды

Наиболее частым соответствием в этом случае является английская БК с безличным *it*, например: *И так прохладно было* (А. Чехов) — *And it was so cool*; *Было еще светло, но уже вечерело* (А. Чехов) — *It was still light, but beginning to get dark*; *Небось темно показалось, холодно* (А. Чехов) — *I suppose it seemed dark, cold*; *Должно быть, здесь бывало сыро и угарно зимой* (Ф. Достоевский) — *It must have been damp and full of fumes in the winter*; *Было душно* (Ф. Достоевский) — *It was insufferably close.* Английские конструкции с личными формами глаголов встречаются в этом случае реже; ср.: *Вечереет* (А. Чехов) — *The evening is drawing in.* Нередко встречаются конструкции с вводным словом *there*, ср.: *От окна было, впрочем, холодно и сыро* (А. Чехов) — *There was a cold damp draught from the window, however*; *Из окна повеяло свежестью* (А. Чехов) — *There was a breath of fresh air from the window*; *. . . но как-то особенно душно было в воздухе* (Ф. Достоевский) — *but there was a peculiar breathlessness in the air.* Отметим, что все конструкции этого типа связаны не только с выражением состояния окружающей среды, но и имплицитно предполагают восприятие этого природного состояния человеком.

В переводных русских текстах обычны русские конструкции, включающие личные, а не безличные глагольные формы (ср. прак-

тически не употребляемые сейчас безличные формы типа *Дождит / Снежит / Вьюжит* и т.п.): *How about when it rained?* (J. K. Jerome) — *А что если пойдет дождь?* Достаточно частым типом соответствия является перевод английской БК с безличным *it* посредством русской личной конструкции; ср.: *It is evening — Наступает вечер.* Соответствие типа 'английская БК с метеорологическим значением — русская БК' также является обычным, например: *It is a warm day — Сегодня довольно тепло.*

2.2. Физиологические состояния (ситуации)

Чаще всего русские БК этого типа переводятся на английский язык предложениями с личными формами (важно подчеркнуть тот факт, что в английских переводах русских БК этого типа часто появляется глагол *to feel*): *Даже в жар от него бросило!* (А. Чехов) — *He makes my blood boil!*; *Ей было и тошно, и стыдно, и сладко* (А. Чехов) — *She felt sick and ashamed and happy, too*; *... его стало знобить* (А. Чехов) — *... and he began to shiver*; *Даже чуть не смешно ему стало, и в то же время сдавило грудь до боли* (Ф. Достоевский) — *He felt it almost amusing, and yet it wrung his heart*; *На такой жаре ему становилось холодно* (Ф. Достоевский) — *In spite of the heat he felt cold*; *Ему стукнуло в голову и потемнело в глазах* (Ф. Достоевский) — *He felt a hammering in his head, and there was a darkness before his eyes.*

Все английские конструкции этого типа в оригинальных текстах, соответствующие переводным русским БК, являются личными; ср.: *I did feel a little queer once, I confess — Признаться, однажды меня слегка мутило*; *... and we dream that — ... и нам снится, что*[1] *...*; *... you've got a chill — ... тебя где-то продуло* (J. K. Jerome).

2.3. Психоэмоциональные состояния (ситуации)

Английские личные глагольные формы, как и в 2.2, являются наиболее обычными переводческими соответствиями русских БК этого типа, причем и в этих случаях в переводах нередко «восстанавливается» глагол *to feel,* смысл которого имплицитно присутствует в соответствующих русских БК, ср.: *Но теперь его вдруг потянуло к людям — But now all at once he felt a desire to be with other people // ... but now he suddenly felt drawn to people*; *... ему вдруг стало самому решительно все равно — he suddenly felt completely indifferent to anyone's opinion*; *Ему очень неприятно стало от этого рассматри-*

[1] Предложения, в которых придаточное занимает позицию подлежащего по отношению к глаголу в главном (ср. *и нам снится сон — и нам снится, что...*), находятся на периферии микрополя безличности и включены в объект нашего исследования, хотя вопрос об их принадлежности к БК является в русистике дискуссионным (см., например [Бабайцева 2000]).

вания, даже страшно — He felt uneasy, even frightened at her searching eyes; *Ему стало противно — He felt disgusted* (Ф. Достоевский).

Наиболее часто в рассмотренных текстах выражаются такие состояния, как *скука, грусть, желание*, например: *Неужели вам не скучно так сидеть?* (А. Чехов) — *Aren't you bored to be sitting here like this?*; *Скучно с ним* (А. Чехов) — *He bores me*; *... очень скучно* (А. Чехов) — *I am very bored*; *... мне так грустно, так грустно* (А. Чехов) — *I am so sad, so sad...*; *Ему хотелось выпить пива* (Ф. Достоевский) — *He longed for a drink of cold beer // What he needed was some cold beer*; *... тому очень хотелось начать разговор* (Ф. Достоевский) — *... he was obviously anxious (// eager) to enter into conversation.* Другие психологические состояния выражаются реже: *Вам здесь трудно живется!* (А. Чехов) — *You must find it difficult to live here!*; *... и на душе его стало вдруг легко и мирно* (А. Чехов) — *... and all at once there was a sense of relief and peace in his soul*; *А вам не стыдно?* (А. Чехов) — *And you, are you not ashamed?*

В большинстве случаев этого типа исходные английские конструкции также являются личными, например: *I wondered how long...* — *Мне стало любопытно...*; *... when I fancy I am ill — когда мне почудится, что я болен*; *when we felt inclined for a change — ... когда нам захочется разнообразия...*; *I don't feel somehow that I want that early morning bathe nearly so much as I did when I was in town — Я чувствую, <...> что меня не так тянет к <...> купанию, как тянуло, когда я был в городе*; *I feel more than I want to stop in bed — меня тянет валяться в постели* (J. K. Jerome).

Английские конструкции с вводными словами *it* или *there* в этом случае являются менее частыми: *It was so pleasant to wake up <...> in the fresh — ... что приятно проснуться, когда еще свежо*; *It surprises me myself sometimes — ... даже меня самого порой удивляет...*; *There is nothing does irritate me more than seeing other people... — Больше всего меня раздражает, когда другие...*; *It seemed to me... — мне показалось...* (J. K. Jerome).

2.4. Ситуации, связанные с чувственным восприятием

В английских переводных конструкциях этого типа нередко появляется глагол *can*: *В доме слышно* (А. Чехов) — *They can hear you*; *Слышно было, как она отперла комод* (Ф. Достоевский) — *He could hear her unlock the chest of drawers*; *... пахло известью, пылью, стоячею водой* (Ф. Достоевский) — *There was a smell of mortar, dust and stagnant water.* Личные английские конструкции без глагола *can* более редки; ср.: *Стало шумно — The room was filled with noise.*

Обе отмеченные английские конструкции оригинала, которые соответствовали русским БК, являются личными; ср.: *... the birds have*

ceased their song — Уже не слышно щебетанья птичек; *The High Street stunk of oil — На Хай-стрит воняло керосином* (J. K. Jerome).

2.5. Модальные ситуации

Обычными в этом случае являются английские переводы с неопределенно-личным местоимением *one*, например: *Можно было угадать, что...* (А. Чехов) — *One could see that...*; *Да ведь нельзя же молчать, когда чувствуешь...* (Ф. Достоевский) — *Well, one can't hold one's tongue when one has a feeling...*; *Одним словом, необходимо было помириться* (А. Чехов) — *It was essential, indeed, to be reconciled.*

Наиболее обычным типом английских конструкций, которые могут переводиться русскими БК, являются конструкции с модально-деонтическим значением, причем модальная интерпретация в русских переводах зачастую попросту домысливается или интерпретируется из других модальных значений, например, из волитивного, ср.:

а) в русском переводе появляется БК с модальным глаголом, который не имеет семантических соответствий в английском оригинале: *You get methylated pie — Приходится есть денатурированный пирог...*; *... where we yelled — ... где нам пришлось вопить*; *The hotel bill came to 15 guineas — За номер <нам> пришлось заплатить пятнадцать гиней*; *I lived with a man once (who)... — Однажды мне пришлось делить кров с приятелем...* (J. K. Jerome);

б) в русском переводе появляется БК с деонтической модальностью, которой в английском оригинале соответствует волитивный глагол *want*: *A dog like that don't want any encouragement — Этого пса не надо наущкивать*; *... <on things>, just when they were wanted to be packed — <на вещи>, когда их надо было укладывать* (J. K. Jerome).

Наиболее часто, как показывают приведенные примеры, в русских БК употребляется глагол *пришлось / приходится / придется*; ср.: *... but he had to fish them out again — ... но его <сыр> пришлось выловить оттуда*; *... that the passengers had to be tied into their births — ... пассажиров пришлось привязывать к койкам*; *I had to leave him — ... мне пришлось его оставить*; *But, when I had paid for... — Но после того как мне пришлось уплатить...*; *Then we had to find the rule again — а нам приходится снова искать линейку*; *... even if we did have to take a few more... — даже если нам придется взять несколько сот фунтов свестного*; *... and I have to unpack again... — и мне приходится рыться снова...*; *... and <I> have to rush upstairs — ... мне приходится мчаться...*; *I had to turn out... — мне пришлось перерыть...*; *... and they had to pick out <water> — ... и им пришлось вычерпывать воду* (J. K. Jerome).

Также нередко употребляются БК со словами *можно, нельзя, невозможно, надо, следует / следовало, выпало,* например: *... no*

tongue can tell — нельзя описать...; *... Where you can get — ... где можно хлебнуть стаканчик-другой...*; *... and you cannot smoke — и раскурить трубку невозможно*; *We must not think of... — Нужно думать не о том...*; *... where I have to pretend I liked it — ... где мне надо изображать, что мне это понравилось*; *... and had to reopen it — ... и что мне надо начинать все сначала*; *... that we should be wanting to start... — ... что <нам> надо выезжать через двенадцать часов*; *... (solution) which you mixed with water — <состав>, который следовало разбавлять водой*; *... and Harris had to sleep with me — ... и Гаррису выпало спать со мной* (J. K. Jerome).

2.6. Другие типы ситуаций

Другие смысловые типы ситуаций, отмеченные в русских оригинальных текстах, включают, например, ментальные и спонтанные ситуации, ср. соответственно: *... как бы невзначай мелькнуло в уме* (Ф. Достоевский) — *... was the thought that occurred to Raskolnikov*; *... если б действительно случилось до самого дела дойти* (Ф. Достоевский) — *If I actually happened to bring myself to put the job through.* Другие типы ситуаций, отмеченные в английских оригинальных текстах и выражаемые русскими переводными БК, включают ментальные и оценочные предикаты, а также ситуации, связанные с выражением того или иного положения вещей или отсутствия, недостатка / достаточности чего-либо. Далее приводится ряд вариантов рассматриваемых ситуаций.

а) Выражение ментальных ситуаций: *when it begins to dawn upon you that it is Jim — и вдруг вас осеняет, что это Джим*; *and all you know is that... — и вам ясно, (что...); We arranged to start next morning — Было решено...*; *We were to learn in the days to come — ... нам было суждено узнать* (J. K. Jerome).

б) Выражение оценочных ситуаций. Наиболее частым русским глаголом в этом случае является лексема *удаваться*, например: *You can never rouse Harris — Вам никогда не удастся оторвать Гарриса от прозы жизни*; *Just as you get your side beautifully fixed... — Только-только вам удалось закрепить свой край палатки...*; *... <answer> I could get — <все, что> мне удалось из него выжать*; *I could only see... — Мне удалось увидеть только...*; *My friend got rid of them at last — моему другу удалось избавиться от сыра*; *... but I got the bag finished at last — ... но мне удалось покончить с саквояжем*; *... after George had got it off his slipper — После того как Джорджу удалось отделить его от своей подошвы*; *... and when he has succeeded in accomplishing this — ... когда ему удается преуспеть в этом...*; *But when I get to the sea... — Но стоит мне приехать...*; *Somebody else seems in trouble too — Кажется, кому-то приходится туго* (J. K. Jerome).

в) Выражение положения вещей: *... and Uncle Podger <...> be precipitated against the wall — и дядюшку Поджера по инерции бросает к стене*; *It got shut up finally at 10.5 p. m. — С саквояжем было покончено в 10 часов 5 минут* (J. K. Jerome).

г) Выражение отсутствия, недостатка или достаточности чего-либо: *One has no time to watch... — тебе некогда взглянуть...*; *two suits would be sufficient — достаточно взять по два спортивных костюма...*; *... he'd had enough oratory for one night — На сегодня с него хватит прений*; *... as he hadn't returned home — ... когда его все еще не было*; *... all I have to say is that... — ... мне ничего другого не остается, как...*; *You will have time to think as well — Тебе хватит времени и на размышление* (J. K. Jerome).

3. Заключение

Приведенные материалы показывают, что формальное и смысловое разнообразие, а также образность и экспрессивность русских БК составляют одну из наиболее характерных особенностей системотехники русского языка, тесно связанной с такими семантическими уровнями высказывания, как прагматика, психосемантика и онтика (об определении этих понятий, связанных с разными уровнями семантики высказывания, см. [Недялков 2000: 58–59]). В меньшей степени семантика БК связана специфическими отношениями с диалогикой и информатикой высказывания.

В заключение отметим, что исследования контрастивно-переводческого направления, аналогичные наблюдениям, изложенным в этой главе, должны учитывать материалы нескольких переводов одного оригинального (русского или английского) текста. В таком случае исходный (оригинальный) текст может считаться записью некоторого смысла, оформленного с помощью системотехники языка, на котором написан оригинальный текст, тогда как ряд переводческих вариантов может исследоваться с точки зрения выявления возможностей вариативности языковых средств и интерпретации смысла оригинала в переводах. Подчеркнем, что вариативность языковых средств и интерпретативность семантики высказывания считаются при этом важнейшими свойствами языка и речи.

Источники

Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. М., 1983.

Dostoyevsky F. Crime and Punishment / Translated by Constance Garnett. Köln: Könneman, 1999.

Чехов А. П. Собр. соч.: В 12 т. Т. 9. Пьесы. М., 1963.

Chekhov A. The Major Plays / Translated by Ann Dunnigan. New York. 1964.

Джером К. Джером. Трое в одной лодке, не считая собаки / Перевод с английского М. Донского и Э. Линецкой. М., 1979.

Jerome K. Jerome. Three Men in a Boat. Moscow, 1976.

III. ДИАХРОНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛЕВЫХ СТРУКТУР

ГЛАВА X
ПОЛЕ ФУТУРАЛЬНОСТИ В ИСТОРИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА*

Одной из актуальных задач функциональной грамматики является изучение становления и развития функционально-семантических полей (ФСП). Исследования в этой области раскрывают закономерности формирования сложных подсистем языка, состоящих из взаимодействующих единиц разных типов — морфологических, синтаксических, словообразовательных, лексических; такие исследования способствуют также более глубокому пониманию семантических и формальных особенностей ФСП на современной стадии их развития (см. [Бондарко 2003а: 88–96]).

В данной главе рассматриваются диахронические аспекты поля футуральности (ПФ) в немецком языке. Глава состоит из двух разделов. В первом разделе проводится сопоставление двух синхронных срезов поля, один из которых относится к древневерхненемецкому периоду, а другой — к современному немецкому языку. Второй раздел посвящен вопросам образования современной структуры ПФ.

1. Футуральность в древневерхненемецкий период и в современном немецком языке

1.1. Рассмотрим поле футуральности (ПФ) в древневерхненемецкий период (750–1050 гг.). В эту эпоху темпоральная парадигма состояла всего лишь из двух форм — презенса (непрошедшее время) и претерита (прошедшее время). Презентная форма имела два основных значения — настоящего и будущего времени: оба эти значения она могла получать в минимальном контексте. В частности, значение будущего презентная форма выражала в минимальном контексте тогда, когда она была образована от перфективного глагола.[1] Например: Siu gibirit sun, inti thu ginemnis sinan namon Heilant [Tat. 5, 8]

* Данная глава подготовлена при финансовом содействии Фонда Президента РФ для поддержки ведущих научных школ, грант № НШ-1510.2003.6.

[1] Во избежание недоразумений подчеркнем, что термины «перфективные глаголы» и «имперфективные глаголы» в трудах по немецкому и другим германским языкам обозначают определенные семантико-грамматические разряды глаголов в системе способов действия (Aktionsarten), см., например [Admoni 1986: 175–178; Dal 1962: 98–99; Helbig / Buscha 1996: 72–75]. В русистике и — шире — славистике данные термины являются интернациональными дублетами терминов «глаголы совершенного вида» и «глаголы несовершенного вида» [Маслов 1965: 53–34, 61].

© С. А. Шубик, 2005

(Pariet autem filium, et vocabis nomen eius Jesum) ‘Она родит сына, и ты назовешь его Спасителем’; Ni forlazzu iuuuih uueison, ih quimu zi iu [Tat. 164, 4] (Non relinquam vos orphanos, veniam ad vos) ‘Не оставлю вас сиротами; я приду к вам’ (подробнее см. [Шубик 2000: 92–94]).

Древневерхненемецкий язык располагал значительным количеством перфективных глаголов. Преимущественно это были глаголы с неотделяемыми префиксами; среди неотделяемых префиксов выделялся префикс gi- (ge), с одной стороны, очень высокой частотой употребления, а с другой стороны, тем, что он, в отличие от других подобных префиксов, обычно изменял только аспектуальную характеристику глагола, а именно способ действия. Из простых (непрефиксальных) глаголов перфективными были bringan ‘принести’, findan ‘найти’, treffan ‘достичь’, queman ‘прийти’, werdan ‘стать’. Уже с конца древневерхненемецкого периода число перфективных глаголов постоянно сокращается, в первую очередь потому, что употребление префикса ge- в словообразовательной и — вместе с тем — перфективирующей функции идет на убыль, а в XVI в. вообще прекращается [Leiss 1992: 70; Смирницкая 2002: 12–18].

Значение будущего времени имперфективных глаголов передавалось сочетанием формы презенса с контекстуальными показателями футуральной семантики, например: Denne verit er ze deru mahalsteti, deru dar kimarchot ist [Musp. 77] ‘Потом он отправится к месту суда, которое там обозначено’. Здесь на футуральный смысл презентной формы указывает наречие denne ‘потом, позднее’ (подробнее см. [Шубик 2000: 95–96]).

Центром ПФ в древневерхненемецкий период был футуральный презенс. Презентная форма в значении будущего времени господствовала во всех памятниках данного периода. Так, в первых 25 псалмах, переведенных Ноткером (середина X в. — 1022 г.), из 175 форм латинского футурума 172 формы (98,3 %) переданы футуральным презенсом [Blackburn 1892: 11]. Самый низкий показатель употребительности футурального презенса отмечен в «Муспилли» — 83,5 % (из 79 случаев выражения будущего времени футурально-презентные формы использованы 66 раз) [Brandt 1987: 734].

Ближнюю периферию занимало модальное будущее — футурально-модальные описательные конструкции (перифразы) типа «sollen (sculan) + Infinitiv» и «wollen (wellen) + Infinitiv».[2] Первая конструкция представляет будущее событие как нечто неизбежное, предопределенное, вторая — как результат желания или воли субъекта действия, например: Endi siin hohsetli scal uuesan festista in euun [Is. 630] (et thronus eius erit firmissimus in perpetuum) ‘И престол его должен

[2]Футуральные сочетания других модальных глаголов с инфинитивом мы рассматривать не будем в связи с тем, что они играли незначительную роль как в древневерхненемецкий период, так и в последующие столетия.

стать прочным на веки'; Thir villu ih geban innan thes sluzila himiles [O. III, 12, 37] (Отфрид передает здесь следующий латинский текст из Евангелия, Mt. 16, 19: tibi dabo claves regni caelorum) 'Я дам тебе тогда ключи небес'. Футуральный смысл модальных конструкций создавался при помощи указывающих на будущее элементов контекста.

Футурально-модальная конструкция типа «sollen + Infinitiv» представлена во всех более или менее крупных древневерхненемецких текстах; в «Муспилли» на ее долю приходится 16,5 % всех случаев употребления будущего времени [Brandt 1987: 734]. Футурально-модальная перифраза типа «wollen + Infinitiv» неоднократно встречается у Отфрида — всего 8 примеров; еще 2 примера зафиксированы в переводах Ноткера [Hinsdale 1897: 33–34; Sehrt 1962: 272]. Из этих 10 примеров в семи случаях подлежащее выражено личным местоимением 1-го лица и в двух случаях — личным местоимением 2-го лица. Данная футурально-модальная перифраза была, очевидно, характерна для разговорной речи.

В зоне дальней периферии располагаются две описательные конструкции с перфективным глаголом werden — перифразы типа «werden + Infinitiv» и «werden + Partizip I». Конструкция первого типа используется в древневерхненемецких памятниках три раза [Saltveit 1962: 185–188; Schmid 2000: 16–17]. Вот пример из Отфрида: Suntar thaz giscrib min wirdit bezira sin, buazent sino guati thio mino missodati [O. V, 25, 45] 'Но изложение мое будет лучше, если его совершенство (= совершенство его содержания) искупит мои недостатки'. Конструкция второго типа представлена лишь двумя примерами из одного и того же памятника (Tat. 2, 9; 44, 21). В одном из них сохраняется начинательное значение глагола werden: Inti nu uuirdist thu suigenti inti ni maht sprehhan unzan then tag, in themo thisu uuerdent [Tat. 2, 9] (Et ecce eris tacens et non poteris loqui usque in diem quo haec fiant) 'И вот сейчас ты замолчишь (букв. станешь молчащим) и не сможешь говорить до того дня, когда это сбудется'.

1.2. Обратимся теперь к описанию ПФ в современном немецком языке.

В настоящее время темпоральная парадигма немецкого языка состоит из пяти форм: помимо презенса и претерита она включает также перфект, плюсквамперфект, футур (=футур I). Большинство грамматистов считают компонентом темпоральной парадигмы еще так называемый футур II, выражающий якобы будущее завершенное, однако нам такая точка зрения представляется ошибочной. Дело в том, что морфологическая форма так называемого футура II обозначает в минимальном контексте не будущее действие, а предположение относительно действия в прошлом: Er wird (gestern) die Stadt besichtigt haben; Die Kinder werden (neulich) im Gebirge viel gewandert sein. В таких предложениях возможны обстоятельства времени, ука-

зывающие на прошлое (gestern, neulich в приведенных примерах), но они не обязательны [Helbig, Buscha 1996: 156]. Значение будущего завершенного данная форма получает только в сочетании с футуральными показателями; употребляется она в этом значении крайне редко. Поэтому мы согласны с учеными, исключающими ее из числа парадигматических форм категории времени [Brinkmann 1971: 323–324; Мыркин 1993: 66].

В качестве центра ПФ в современном немецком языке выступает футур — наиболее специализированное и наиболее употребительное средство выражения будущего времени. Футур господствует во всех функциональных стилях, за исключением разговорной речи — здесь гораздо чаще используется футуральный презенс. По подсчетам А. А. Вейлерта, частота употребления футура в научных текстах может достигать 93,5 %, в художественной прозе она составляет 59 % [Вейлерт 1976: 111–112].

Ближнюю периферию поля занимает футуральный презенс. Значение будущего времени является побочной семантической функцией формы презенса, оно определяется речевой ситуацией, контекстом и в какой-то мере аспектуальной характеристикой глагола. В разговорной речи доля футурального презенса — в зависимости от условий и целей общения — колеблется от 68 до 94 % [Вейлерт 1976: 111; Thieroff 1992: 136].

К дальней периферии относятся модальное будущее и футуральный перфект. Модальные конструкции и форма перфекта получают футуральное значение только в сочетании с контекстуальными показателями будущего.

В футурально-модальной конструкции типа «wollen + Infinitiv» будущее действие выступает как проявление желания или воли говорящего либо представляемой им группы лиц, например: Ich will hier warten, bis du zurückkommst; Wenn wir heute abend frei sind, wollen wir zum Konzert gehen [Helbig, Buscha 1996: 135; Нарустранг 2004: 109]. В футурально-модальной конструкции типа «sollen + Infinitiv» обозначение предстоящего события сопряжено с выражением той или иной степени уверенности / неуверенности говорящего в его осуществлении, например: Damit soll er wohl bald fertig werden; Heute nachmittag soll Konzert sein [Жирмунский 1965: 294].

Футуральный перфект обозначает будущее завершенное; он употребляется как в абсолютной, так и в относительной функции (в этом случае он выражает будущее действие, которое предшествует другому будущему действию). Например: Morgen hat er diese Arbeit vollendet; Sie bekommen die Ware, wenn sie bezahlt haben.

1.3. Сопоставим структуру ПФ в современном немецком языке и в древневерхненемецкий период.

Состав материальных единиц поля изменился мало: в зоне дальней периферии исчезла конструкция типа «werden + Partizip I» и в то же время появилась аналитическая форма для выражения будущего завершенного (футуральный перфект).

Существенные изменения произошли в семантике грамматических форм, их системной значимости, их употребительности и — как следствие — их позиции в структуре поля.

Маргинальная в прошлом синтаксическая конструкция типа «werden + Infinitiv» стала теперь парадигматической формой футура и заняла центральную позицию в ПФ. Она основательно сузила сферу функционирования футурального презенса.

Футуральный презенс переместился из центра поля в зону ближней периферии. По частоте употребления он опережает форму футура только в разговорной речи. Форма презенса в современном немецком языке имеет одно основное значение — значение настоящего времени; футуральная функция формы презенса является теперь ее второстепенной функцией.

Футурально-модальные перифразы играют в настоящее время гораздо меньшую роль, чем в древневерхненемецкий период. Они переместились в зону дальней периферии.

2. Формирование современной структуры поля футуральности

Существенные сдвиги в древневерхненемецкой структуре ПФ относятся к концу XII — началу XIII века. С этого времени футуральный презенс начинает уступать место футуральным перифразам — модальному будущему и конструкциям типа «werden + Partizip I» и «werden + Infinitiv». Так, в «Песне о Нибелунгах» (около 1200 г.) доля футурального презенса среди различных способов передачи будущего времени составляет 62 %, в «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбаха (около 1200–1210 гг.) — 54 % [Напетваридзе 1984: 13]. В важнейших прозаических памятниках XIII в. (Давид Аугсбургский, около 1200–1272 гг.; Бертольд Регенсбургский, около 1220–1272 гг.) на долю футурального презенса приходится соответственно 70 и 72 % [там же]. Дальнейшее и притом значительное падение употребительности футурально-презентных форм наблюдается в XIV в. В таких прозаических памятниках этого периода, как «Евангельская гармония» (Evangelistar) и «Жития святых» Хермана фон Фрицлара, частота использования данных форм составляет 44 и 61 % соответственно [Напетваридзе 1984: 14].

Из футуральных перифраз в текстах XII–XIV вв. особенно широко представлено модальное будущее. Весьма высокие показатели употребления футурально-модальных конструкций зафиксированы

в таких памятниках, как «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха (44 %), «Жития святых» Хермана фон Фрицлара (37 %), «Песня о Нибелунгах» (36 %) [Напетваридзе 1984: 13–14]. В XIII в. заметное место занимают футуральные перифразы типа «werden + Partizip I». В алеманнских памятниках этого времени обнаружено около 200 таких конструкций [Leiss 1985: 257]. В прозе Давида Аугсбургского и Бертольда Регенсбургского их доля составляет 13 и 7 % соответственно [Напетваридзе 1984: 13]. К концу XIV в. данные конструкции почти полностью вытесняются футуральными перифразами типа «werden + Infinitiv».

Случаи использования футуральных перифраз типа «werden + Infinitiv» до середины XIII в. столь же единичны, как и в древневерхненемецкий период. Впервые значительное число таких перифраз встречается у Бертольда Регенсбургского [Saltveit 1962: 204–205]. В XIV в. футуральные перифразы указанного типа представлены во многих памятниках. И. Богнер исследовал 10 текстов, написанных, за исключением одного, во второй половине XIV в., — в 6 из них наличествуют футуральные конструкции типа «werden + Infinitiv» (всего 35 примеров, что составляет 16 % по отношению к числу футурально-модальных перифраз) [Bogner 1989: 74–75]. В отдельных памятниках данные конструкции были основным средством передачи будущего времени, например, в переводе библейской книги «Деяния апостолов» (Apostelgeschichte) [Напетваридзе 1984: 9].

В XV в. использование футуральных перифраз типа «werden + Infinitiv» стремительно возрастает. Согласно исследованию И. Богнера, в большинстве памятников второй половины XV в. они употребляются чаще, нежели футурально-модальные конструкции (из 10 обследованных им текстов в пяти предпочтение отдано перифразам типа «werden + Infinitiv», в четырех — футурально-модальным перифразам, в одном тексте нет конструкций как первого, так и второго типа) [Bogner 1989: 76, табл. 5].

Во многих текстах XV в. футуральные перифразы типа «werden + Infinitiv» оттесняют на второй план и футуральный презенс. Показательны количественные данные Х. Шмида, сопоставившего частоту употребления футурального презенса и футуральных перифраз типа «sollen + Infinitiv» и «werden + Infinitiv» в различных редакциях пророчества «15 знамений Страшного суда». Среди 30 редакций XII–XIV вв. ученый не обнаружил ни одного текста, в котором бы перифразы типа «werden + Infinitiv» занимали ведущее положение, между тем среди 47 редакций XV в. было найдено 16 таких текстов (т.е. 34 %) [Schmid 2000: 10–13].

XVI век — важнейший этап в истории ПФ. В 20–50-е годы XVI в. завершается грамматикализация футуральной структуры «werden + Infinitiv» и она — теперь уже в качестве аналитической формы футу-

ра — включается в темпоральную парадигму глагола. Результатом и в то же время существенным признаком грамматикализации данной структуры является ее чрезвычайно высокая употребительность в большинстве текстов различной функционально-стилистической направленности. В сочинениях М. Лютера (1483–1546 гг.), сыгравшего выдающуюся роль в выработке единых норм письменной формы немецкого литературного языка, доля футура составляет от 64 % («К христианскому дворянству немецкой нации...», 1520 г.) до 87,5 % («Послание князьям Саксонии...», 1524 г.); в этом же диапазоне колеблется частота использования футура в текстах его современников: Т. Мюнцер (около 1490–1525 гг.) — 87 %; И. Цвингли (1484–1531 гг.) — от 68 до 81,5 %, И. Экк (1486–1543 гг.) — 73 % (ср. [Напетваридзе 1984: 10, 16]). Другой существенный признак грамматикализации структуры «werden + Infinitiv» — это ее идиоматизация, утрата ею синтаксической членимости, что проявляется в невозможности замены презентной формы глагола werden на какую-либо другую временную форму.

В XVI в. футур решительно отодвигает на второй план футурально-презентные формы, ограничивая их функционирование узкими рамками (образование от перфективных глаголов, употребление в придаточных предложениях времени или условия, наличие лексических показателей футуральной семантики).

Резко падает употребительность модального будущего. Во второй половине XVI в. футурально-модальные конструкции встречаются в 4 раза реже, нежели футур [Bogner 1989: 77].

Случаи применения перфектного футура крайне редки.

В середине XVI в. складываются основы ПФ современного немецкого языка. В центре находится парадигматическая форма футура — наиболее грамматикализованное, наиболее специфическое и наиболее употребительное средство выражения будущего времени. Зону ближней периферии занимет футуральный презенс; в зоне дальней периферии располагаются модальное будущее и футуральный перфект. Данная структура ПФ получила яркое выражение в таких сочинениях второй половины XVI в., как сатирическая поэма «Охота на блох» И. Фишарта (1573 г.) или народная книга «История о д-ре Иоганне Фаусте» (1587 г.). В этих сочинениях среди средств передачи будущего времени доля футура составляет 53 и 60 % соответственно, доля футурального презенса — 29 и 18 %, доля модального будущего — 18 и 16,5 % [Напетваридзе 1984: 16].

С начала XVII в. развитие ПФ имеет скорее количественный, чем качественный характер. Расширяется использование футура в устно-разговорной речи, особенно в ее научной и официально-деловой разновидностях. Применение модального будущего сокращается.

Сокращения

Is.	—	Der althochdeutsche Isidor / Hrsg. von H. Eggers. Tübingen, 1964.
Musp.	—	Muspilli // Braune W. (Hrsg.) Althochdeutsches Lesebuch. 11. Aufl. von K. Helm. Halle (Saale), 1949. S. 74–76.
O.	—	Otfrids Evangelienbuch / Hrsg. von O. Erdmann. 3. Aufl. von L. Wolff. Tübingen, 1957.
Tat.	—	Tatian: Lateinisch und altdeutsch / Hrsg. von E. Sievers. Paderborn, 1872.

ГЛАВА XI

ПОЛЕ ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ*

1. Исходные позиции

Настоящая работа представляет результаты исследования в ономасиологическом ракурсе изначально семантической категории долженствования в латинском языке. Применительно к анализируемому материалу первичная направленность от содержания к средству выражения обладает преимуществом непредвзятости, поскольку не задает предварительных ограничений с точки зрения уровневой принадлежности соответствующего языкового поля (лексического, словообразовательного, морфологического или синтаксического), а также в плане соотношения «центр / периферия».

Преломление семантики долженствования в структурах латинского языка архаического, классического и позднего периодов является непосредственным предметом исследования, основанного на положении о том, что понятие функционально-семантической категории может быть использовано в диахроническом плане [Бондарко 1971а: 15].

Обращая внимание на сложность модальной семантики, А. В. Бондарко [2001а: 31–36] подчеркивает, что каждая из модальных категорий может быть представлена как функционально-семантическое поле и что возможны случаи, когда одно и то же значение (в зависимости от того, в каком аспекте оно рассматривается) входит в разные ряды.

Долженствование как «особая категориальная ситуация в пределах модального поля» [Бондарко 1996: 41], представляя собой функционально-семантическое микрополе, вполне может стать объектом соответствующего полевого подхода в исследовании.

Поскольку анализ языковых воплощений семантической категории долженствования в латинском языке основывается на теории функциональной грамматики, в центре внимания оказываются межуровневые связи, межкатегориальные взаимодействия, проблема моноцентричности / полицентричности полевой структуры, соотношение «центр / периферия» в его стабильности и изменчивости, пересечение сегментов различных полей [Адмони 1964: 41–51; 1988: 13; Бондарко 1971а: 11–35; 1972: 21–35; 1984: 21–26; 1999: 11–34; 2002: 261–272; Павлов 1996: 1–115; Daneš 1966: 1–21; Givón 1986: 71–100].

*Данная глава подготовлена при содействии Фонда Президента РФ на поддержку ведущих научных школ, грант № НШ-1510.2003.6.

© М. К. Сабанеева, 2005

В лингвистических исследованиях, анализирующих категорию модальности, нередко используется термин «необходимость» применительно к содержанию, обозначаемому в данной работе как «долженствование». Выбор этого термина обусловлен здесь стремлением соблюсти дифференциацию между категорией языкового сознания, с одной стороны, и категорией логики — с другой.

В логике необходимость характеризуется тотальностью, всеобщностью; это «субстанциальное тождество субъекта и предиката» [Гегель 1939: 91–91], которому противостоит единичное, случайное.

Необходимость — тип связи явлений, определяемый их устойчивой внутренней основой и совокупностью условий их возникновения, существования и развития [Широканов 1967: 35]. Необходимость проявляется отчетливо в законах природы (физики, химии, биологии), в законах математики. Необходимость есть «внутренняя объективная закономерность возникновения, существования и развития предметов и явлений материального мира» [Кондаков 1975: 328]. Как известно, логическая необходимость находит отражение в аподиктических суждениях типа *Человеку необходимо умереть* или *Наступление ночи после вечера необходимо*. Показательно, что в обыденной речи, за пределами логической терминологии, логическая необходимость и отображающие ее аподиктические суждения не находят особого языкового выражения. Необходимые, тотальные истины выражаются так же, как и частные, единичные ситуации: *Человек смертен* и *Петр умен*; *После вечера наступает ночь* и *После обеда он отправляется на прогулку*.

Все логически неизбежное является непременно действительным; поэтому языковая система реализует в данном случае экономию языковых средств [Сабанеева 1999: 110]. Кроме того, тотальность истины вполне передается настоящим обобщающим временем.

Языковая семантика долженствования, способная в принципе стать выражением логической необходимости (*После вечера должна наступить ночь*, *Человек должен умереть*), значительно шире по своему объему, чем логическая необходимость. Она включает понимание долга как принуждения в силу социальных, юридических, этических и эстетических норм, образующих содержание деонтической модальности; понимание долга как ситуативной вынужденности совершения того или иного действия; понимание долга как внутреннего побуждения, основанного либо на органической ассимиляции лицом социальных, этических и эстетических норм, либо на индивидуальной психической или физической потребности.

2. Средства выражения долженствования в латинском языке и их функциональный диапазон

Латинский язык располагал множеством лексем и конструкций для выражения семантики долженствования.

2.1. Конструкции с безличными глаголами и оборотами

Средством выражения долженствования в архаической латыни являются конструкции с безличными глаголами и оборотами. Это конструкции с предикатами aequum est 'справедливо, чтобы...'; convenit, означающее первично совместное согласие, договоренность; decet, имеющее общий корень с decus 'красота', выражает изначально этическую или эстетическую оценку ситуации как долженствующую иметь место в соответствии с указанными нормами; necesse est восходит к ne+ced+tis, что выражало невозможность (запрещение?) отступления, т.е. неизбежность; oportet, возводимое к сочетанию op+vortere, интерпретируемому как 'повернуться, обратиться куда-то' [Walde 1954: 193].

Таким образом, этимология безличных предикатов долженствования позволяет считать, что исходно они выражали разные поводы, мотивировки обязательности действия. М. А. Таривердиева [1973: 135] полагает, что главное различие между синонимическими предикатами долженствования в латинском языке заключается в разной степени стимулирования действия внешними факторами.

Показательны примеры, приводимые в этимологическом словаре А. Эрну и Ф. Тома [Ernout, Thomas 1939: 251–257, 701–705]: ... sic decet, sic fieri oportet (Pl. Merc., 705) '... так подобает, так следует быть сделанным' и ... ita fieri non solum oporteret, sed etiam necesse esset (Cic. In Verr., 2.4.39) '... так не только следовало бы, но даже и должно бы быть сделанным'. Здесь безличные конструкции выражают долженствование со все большей настойчивостью, в соответствии с расположением на линии речи.

Безличные конструкции долженствования широко распространены и в классической латыни. Приводимые ниже примеры иллюстрируют функционирование этих конструкций как в архаической, так и в классической латыни.[1]

(1) ... *Haud aequomst te inter oratores accipi* (Pl. St., 494) 'несправедливо (не надлежит) тебя считать среди ораторов';

(2) *Appius Romam ad senatum arbitrium eius rei totum reiciebat; percontandi etiam aequum esse potestatem fieri patribus...* (T. L.,

[1] Переводы на русский язык отражают возможные в ряде случаев варианты осмыслений.

XXVI, 15, 1–3) ‘Аппий отправил в Рим в сенат все разбирательство этого дела; ибо справедливо, чтобы патрициям были даны полномочия расследования...’;

(3) *Venire tu me gaudes; ego credo tibi. Hospitium et cenam pollicere, ut convenit, peregre advenienti* (Pl. Bac., 181–186) ‘Ты рад, что я пришел; я тебе верю. Ты обещаешь приют и ужин, как полагается, страннику, прибывшему издалека’;

(4) *... ex senatus consulto confestim te interfectum esse, Catilina, convenit* (Cic. In Catil., I, I) ‘... по решению сената тебя полагается немедленно убить, Катилина’;

(5) *Nam mi hodie natalis dies est, decet eum omnis vos concelebrare* (Pl. Pseud., 165) ‘Ибо сегодня мой день рождения, подобает всем его праздновать (пристойно, чтобы вы все его праздновали)’;

(6) *Non te mihi irasci decet* (Pl. Amph., 522) ‘Не пристало тебе на меня гневаться’;

(7) *Omnis homines, qui sese student praestare ceteris animalibus, summa ope niti decet, ne vitam silentio transeant veluti pecora...* (Sall. Catil. Conj., I, 1) ‘Всем людям, которые хотят превзойти прочих живущих, подобает изо всех сил стараться не пройти по жизни в бесславии, подобно скоту...’;

(8) *Nauteam bibere nalim si necessum sit quam illam oscularier* (Pl. Asin., 895) ‘Я предпочел бы выпить корабельные нечистоты, если бы было необходимо, чем ее целовать’;

(9) *Produci ad supplicium necesse est* (Cic. In Verr., II, V, V) ‘Необходимо, чтобы они были подвергнуты пытке’;

(10) *Non me istuc curare oportet* (Pl. Most., 283) ‘Мне не надлежит (не следует) об этом заботиться’;

(11) *Iste autem Hannibal, qui in suis castris virtute putaret oportere non genere certari, sic hanc <...> dilexit ut eam secum ex provincia deportaret* (Cic. In Verr., II, V, XII) ‘Этот Ганнибал, который считал, что в его лагерях надлежит (следует) состязаться в доблести, а не в знатности рода, так любил ту <...> что ее с собой увез из завоеванной области’.

Однако различные градации степени обязательности действия, выражаемые приведенными в примерах предикатами, не являются в данном случае предметом исследования. С нашей точки зрения принципиально важно обратить внимание на то, в какую грамматическую модель облечены глаголы долженствования. Это безличные глаголы, управляющие оборотом «аккузатив с инфинитивом», в котором инфинитивом обозначено действие, долженствующее быть

выполненным, а существительным либо местоимением в аккузативе — агенс (если инфинитив активный) или пациенс (если инфинитив пассивный) данного действия. Таким образом, долженствующая иметь место ситуация представлена как синтаксически зависимая. Субъект — агенс долженствующего иметь место действия подвергается тем самым «особой грамматической интерпретации» [Бондарко 2002: 571–582].

Глаголы (convenit, decet, oportet) и предикативные конструкции (aequum est, necesse est) выражают обобщенные и безличные представления о социальных, этических, эстетических, ситуативных факторах, под воздействием которых то или иное действие должно (должно было, должно будет) совершиться. Синтаксическая зависимость «аккузатива с инфинитивом» изоморфна семантической зависимости ситуации от норм, провоцирующих действие и лежащих изначально в основе лексических значений безличных модальных глаголов. Подобная синтаксическая структура может рассматриваться как своеобразный языковой аналог деонтической модальности в логике, при которой долженствование действия предписывается извне в составе прескриптивных высказываний [Кондаков 1975: 120; Ломтев 1972: 106; Kalinovski 1976: 11–18; Pottier 1976: 31–48].

Таким образом, выражение долженствования имеет место за счет взаимодействия трех языковых средств: 1) лексического значения глагола; 2) безличной формы глагола как особого типа отношения к лицу, находящемуся на крайней периферии персональности [Бондарко 2002: 571–579]; 3) представления агенса действия как синтаксически зависимой величины.

Если принять во внимание положение о диатезе как о соотношении между единицами синтаксического и семантического планов [Холодович 1979: 271–292], то следует заключить, что рассматриваемые конструкции представляют собой одно из специфических проявлений диатезы, при которой субъект глагола в личной форме является семантическим нулем, в то время как агенс действия в инфинитиве интерпретируется грамматически как подчиненная сущность. Не случайно в ряде работ безличность включается в категорию залога [Гак 2000: 366; Сабанеева, Щерба 1990: 167].

Итак, в выражении долженствования участвуют прежде всего лексические значения безличных глаголов, опирающиеся на семантику морфологии и синтаксиса. Налицо сложное взаимодействие семантики разных языковых уровней.

2.2. Конструкции — сочетания глагола-связки в личной форме с герундивом

Другим широко распространенным средством выражения долженствования были конструкции, представлявшие собой сочетание гла-

гола-связки в личной форме с герундивом, т.е. страдательным причастием будущего времени. В личных герундивных конструкциях подлежащее (имя лица или предмета) выполняло семантическую роль пациенса, а герундив обозначал действие в будущем, которое пациенсу предстоит испытать. В герундивных конструкциях также взаимодействуют разные типы языковых значений. В отличие от структур с безличными глаголами долженствования, здесь участвует только грамматическая семантика. Это, во-первых, грамматическое значение герундива, включающее временную сему футуральности и залоговую сему пассивности. Тем самым изначально ситуация представлялась как реализуемая в перспективе и производная от каких-то факторов, зависимая, в которой подлежащему — пациенсу предстоит подвергнуться действию. Семантика долженствования не находила здесь непосредственно лексических средств выражения, она имплицировалась сочетанием категориальных грамматических значений. Агенс долженствующего иметь место действия (если он был выражен) находился в форме дательного падежа, т.е. интерпретировался в языковой структуре как адресат долженствования. Подобно конструкциям с безличными глаголами долженствования, агенс действия осмыслялся как зависимая величина:

(12) *Consolandus hic mihist* (Pl. Bac., 625) ‘Мне следует (мне предстоит) его утешать’;

(13) *Captandust horum clanculum sermo mihi* (Pl. Cas., 444) ‘Мне следует тайно подслушать их речи’;

(14) *. . . novi imperatori apud novos milites pauca verba facienda sunt* (T. L., XXI, XL) ‘. . . неопытному военачальнику надлежит обращаться к неопытным воинам немногословно’.

Следует подчеркнуть, что в конструкциях с герундивом значение долженствования не является простой суммой значений составляющих. Здесь произошла на каком-то древнем этапе грамматизация, вследствие чего долженствование вполне могло быть выражено даже при отсутствии подлежащего — пациенса в безличной структуре с герундивом от непереходного глагола, например:

(15) *. . . nisi illud perdo argentum pereundum est mihi* (Pl. Asin., 244) ‘. . . если я не потеряю эти деньги, мне придется погибнуть’;

(16) *Extexam ego illum pulchre iam, si di nolunt. Haud dormitandumst* (Pl. Bac., 231–240) ‘Я его сейчас хорошенько обчищу, если боги не возражают. Не нужно спать’;

(17) *. . . tametsi dolor me non deficit* <. . . > *magis laborandum est* (Cic. In Verr., II, V, LXI) ‘. . . несмотря на то, что горя мне предостаточно, <. . . > надо стараться больше’.

Естественно поставить вопрос о месте конструкций с герундивом и с безличными глаголами в микрополе долженствования в связи с проблемой соотношения «центр / периферия».

В безличных конструкциях ведущим языковым средством выражения долженствования являются частные лексические значения безличных глаголов, а сопутствующим грамматическим — форма косвенного падежа для агенса действия. Поскольку отсутствует какая-либо избирательность по отношению к семантике инфинитива и поскольку данные конструкции широко употребительны, есть основание считать, что в архаической и классической латыни они образуют лексико-грамматический (но не единственный) центр микрополя долженствования.

Герундивные конструкции, также характеризующиеся широкой употребительностью и не проявляющие ограничений по отношению к каким-либо типам глагольной семантики, образуют второй, сугубо грамматический центр микрополя долженствования. Обе рассмотренные конструкции характеризуются одинаковой языковой интерпретацией долженствующего иметь место действия. Агенсу присуща «скрытая» грамматическая категория лица и «открытая» грамматическая категория косвенного падежа: аккузатива или датива (в отличие от лица агенса в пассиве, который выражен ablativus auctoris с предлогом ab).

По-видимому, два наиболее конкретных осмысления принудительности действия, т.е. деонтическая модальность, а именно зависимость от социальных, этических, эстетических норм, и динамическая модальность [Palmer 1979: 31–39, 71–73; Цвинария 2003: 12], т.е. зависимость от обстоятельств, естественнее всего вписываются в антропоцентрическую картину мира, а долженствующее иметь место действие ассоциируется в основном с одушевленностью агенса.

Как безличные, так и герундивные конструкции долженствования широко употребительны в латинском языке архаического и классического периодов.

2.3. Конструкции с личным глаголом debēre

В архаической латыни лишь слабо намечается новый тип языкового отображения модальности долженствования с помощью личного глагола debēre, который в дальнейшем станет конкурентом рассмотренных выше конструкций и будет унаследован романскими языками. По свидетельствам этимологических словарей [Ernout, Thomas 1939: 295; Walde 1938: 326], глагол debeo ‘я должен’ произошел от префигированного de+habeo ‘обладаю полученным от другого’, т.е. имел значение материального долга:

(18) *Decem minis plus adtuli quam tu danistae debes* (Pl. Epid., 347)
‘Я принес на десять мин больше, чем ты должен ростовщику’.

В результате проведенного сплошного обследования 20 комедий Плавта удалось выявить лишь три примера на глагол debeo в модальном значении долженствования, между тем как только в одной комедии «Curculio» этот глагол в значении материального долга встречается семь раз. В архаической латыни, представленной комедиями Плавта, у debeo только зарождается употребление в значении долженствования:

(19) *. . . debetis velle quae velimus* (Pl. Amph., 39) '. . . вы должны хотеть то, что мы хотим';

(20) *. . . istoc modo moratus vivere debebas* (Pl. Most., 320) '. . . ты должен был жить, придерживаясь таких нравственных устоев'.

Глагол debēre позволяет агенсу долженствующего действия выступать в синтаксической функции подлежащего, т.е. полностью независимого члена предложения, его «абсолютного определяемого» [Karcevski 1927: 129]. Таким образом, модальная семантика долженствования становится независимой от иконичного языкового отображения ситуации. Вступают в силу в данном случае более сложные интерпретирующие свойства языкового мышления. Имеет место «деиконизация» [Касевич 1989: 17].

В памятниках классической и поздней латыни глагол debēre в модальном значении широко употребителен:

(21) *Nunc vero cum loquar apud senatores populi Romani <. . . > timere non debeo* (Cic. In Verr., II, V, LXVII) 'Теперь же, хотя я говорю перед сенаторами римского народа, я не должен бояться';

(22) *. . . ut sculptorem, ut pictorem qui fili vestri imaginem faceret admoneretis quid exprimere, quid emendare deberet, ita me quoque formate, regite* (Pl. Min. Ep., 10, 11) '. . . как резчику, как художнику, который работал бы над изображением вашего сына, вы советовали бы, что он должен выразить, что поправить, так и меня наставляйте, учите'.

Использование глагола debeo обеспечивает предложению бóльшие структурно-синтаксические возможности, чем безличные и герундивные конструкции. Поскольку агенс действия является подлежащим, в структуре предложения остаются свободными позиции прямого и косвенного дополнений, что создает значительные преимущества при организации предложения по сравнению с герундивными и безличными конструкциями. В то время как построения типа id dicere illi debeo или rogare te debeo однозначны, безличные и герундивные конструкции долженствования двусмысленны, и декодирование их тесно связано либо с широким контекстом, либо со знанием ситуации в

связи с тем, что косвенный падеж агенса совпадет с косвенным падежом пациенса: mihi id illi dicendum est или me rogare illos oportet. Эти семантические и структурные преимущества способствовали закреплению глагола debēre в классической латыни, а затем и в романских языках как основного средства выражения модальности долженствования.

Обращает на себя внимание тот факт, что в обследованных литературных текстах классической латыни обнаружены лишь очень редкие примеры с глаголом debēre, в которых агенс является именем предмета, а не лица. Встречаются изредка сочетания debēre с подлежащим, выраженным именем персонифицированного абстрактного понятия:

> (23) *Sic in hoc loco falsa invidia imbecilla esse debet. Dominetur in concionibus, jaceat in judiciis* (Cic. Pro Cl., II) 'Так здесь коварная ненависть должна быть бессильной. Пусть она торжествует в народных собраниях, пусть она будет распростерта ниц в судах';
>
> (24) *Principia, et ceterae partes orationis habere hanc vim magnopere debent* (Cic. Or., 2, 77) 'Начала и остальные части ораторской речи должны обладать этой силой в высшей степени'.

Приведенные примеры представляют собой косвенный речевой акт предписания, прескриптивности.

Несмотря на то что в примерах (23) и (24) подлежащим при debēre в личной форме является отвлеченное понятие, подразумеваемым реальным агенсом долженствующей иметь место ситуации оказывается лицо. Цицерон обращается в примере (23) к сенату и судьям, употребляя абстрактные существительные метонимически. Пример (24) — это назидание в области ораторского искусства. Имеет место косвенный импульс к действию извне.

В сочинении Варрона «О сельском хозяйстве» первая книга содержит несколько примеров на сочетание личной формы debēre с подлежащим — именем предметного понятия. В отличие от примеров из текстов Цицерона, здесь подлежащее выражено конкретно-предметным именем, поскольку текст представляет собой разного рода рекомендации по ведению сельского хозяйства. Здесь также реализуется косвенный речевой акт, в котором debēre выступает как средство выражения прескриптивности:

> (25) *... quae moventur atque in fundo debeant esse culturae causa, est itidem bipertita, de hominibus, per quos colentur, et de reliquo instrumento* (V. R. Rust., I, 6) '... все, что движимо и должно бы находиться в поместье для земледелия, делится таким же образом на две части, на людей, которыми совершается возделывание, и на остальное оборудование';

(26) *. . . quae pars arbusti <. . . > prius debet descendere de vite* (V. R. Rust., I, 64) '. . . каковая часть куста <. . . > должна сначала спуститься с лозы'.

Всего в первой книге «О сельском хозяйстве» было обнаружено только 8 примеров на глагол debeo в личной форме, в то время как безличные и герундивные конструкции долженствования употребляются почти в каждом втором или третьем предложении на протяжении всей книги, включающей 69 глав:

(27) *Cuius surculi corticem integrum servandum* (V. R. Rust., I, 41) 'Кора какового черенка должна быть сохранена неповрежденной';

(28) *Idoneus locus eligendus* (V. R. Rust., I, 33) 'Следует выбрать удобное место'.

Из безличных глаголов долженствования у Варрона встречается только oportet, вероятно, как самый нейтральный:

(29) *. . . vindemiam ita fieri oportet ut videas a quo genere uvarum . . . incipias legere* (V. R. Rust., I, 54) '. . . сбор винограда надлежит так делать, чтобы ты видел (видно было), с какого сорта винограда начинать сбор';

(30) *Aedificium facere oportet, sub quod tectum totam subicere possis messem* (V. R. Rust., I, 13) 'Надлежит построить здание, под каковой крышей ты смог бы поместить весь урожай'.

Таким образом, есть основания считать, что благоприятным контекстом для расширения сочетаемости глагола debēre с разными семантическими группами имен существительных в функции подлежащего были прескриптивные речевые акты.

В отличие от безличных глаголов долженствования, выражавших, как указано ранее, различные частные стороны этой модальной семантики (например, aequom est 'должно по справедливости', decet 'пристойно, подобает' и т.д.) и разную степень ее интенсивности, глагол debēre выражает долженствование наиболее обобщенно. Очевидно, именно в связи с этим глагол debēre был унаследован большинством романских языков.

Личный характер глагола debēre освобождает его от синтаксических ограничений, присущих безличным и герундивным конструкциям. Постепенно исчезает избирательность по отношению к семантике имени подлежащего (лица), в круг возможных подлежащих уже в классической латыни начинают вовлекаться имена предметов.

Следовательно, есть основание заключить, что в классической латыни формируется наиболее обобщенный, свободный от каких-либо

ограничений, новый центр (лексический) микрополя долженствования. Между компонентами этого микрополя постепенно меняется соотношение сил. Начнут сдвигаться к периферии лексико-грамматические средства выражения долженствования (конструкции с безличными глаголами) и грамматизованные средства выражения долженствования (герундивные конструкции). Эти последние, как известно, вместе с исчезновением герундива не перешли в романские языки.

Диахронический подход к материалу позволяет выявить динамику в соотношении «центр / периферия» как в латинском языке, так и в перспективе латинский язык — романские языки.

Примечательно, что в латинско-романском развитии микрополя долженствования абстрактность лексической семантики и свобода синтаксической организации, сопряженная с личным характером глагола, обеспечили превращение глагола debēre в центр соответствующего микрополя. Тем самым агенс действия стал занимать позицию подлежащего, относимую к числу прототипических свойств агенса [Лакофф 1981: 362].

Вместе с тем обращает на себя внимание жизнеспособность модели, оттесненной на периферию и состоящей из безличного предиката долженствования (в новых лексических воплощениях) и агенса в форме косвенного дополнения. Так, например, в старофранцузском существует безличный глагол estoveir (сочетающийся с инфинитивом), который употребляется с местоимением — агенсом в дативе:

> (31) *Ne li estuet ostel changier por qu'oüst auques a mangier* (R. de Ren., 851–856) ‘Не требуется ему менять жилище, чтобы добыть немного пропитания’.

В современном французском языке существует безличная конструкция с глаголом falloir и с рядом именных предикатов: *Il me faudrait partir en voyage* ‘Мне следовало бы отправиться в путешествие’; *Il lui est nécessaire de suivre un traitement* ‘Ему необходимо пройти курс лечения’.

Это значит, что модель, в которой выражение долженствования сопряжено с зависимостью агенса, отраженной в морфологии, а тем самым в диатезе, представляет собой устойчивый, хотя и не центральный, прототип.

В поздней латыни изредка встречается еще одна новая периферийная конструкция долженствования с глаголом в личной форме. Это сочетание necesse (или necessarium) ‘необходимо’ + личная форма глагола habere:

> (32) *Conclamavit familia nec minus convivae* <...> *propter malum exitum cenae, ne necesse haberent alienum mortuum plorare* (Petr.

C. Trim., 54) ‘Закричала громко прислуга, а также и сотрапезники <...> из-за плохого исхода пира, чтобы не пришлось оплакивать чужого покойника’;

(33) *Non habeo necessarium hoc recipere, illud mihi sufficit* (Gr. Tur., III, 34) ‘Мне не нужно это принимать, мне того достаточно’.

Возникла личная аналитическая глагольная конструкция, в которой именной компонент при глаголе habere обозначает потребность агенса в совершении действия. Семантика внутренней потребности в совершении действия сопоставима с алетической модальностью в логике, при которой долженствование действия вытекает из внутренних свойств субъекта.

В отличие от конструкции с debēre, в данном случае семантика долженствования выражена лексическим значением не глагола, а объектного компонента, который морфологически является наречием (necesse) или прилагательным (necessarium). Эта конструкция представляет собой аналитическую лексическую единицу глагольного типа, послужившую моделью для старофранцузской аналогичной единицы avoir mestier и современной французской avoir besoin.

Как видно из приведенного материала, языковая интерпретация семантической категории долженствования в латыни осуществлялась при участии языковых значений различных уровней и разных категорий. Соотношение «центр / периферия» характеризуется динамикой. Полицентричности архаической латыни постепенно приходит на смену моноцентричность с лексическим ядром в виде личного глагола debēre, преимущество которого заключается в открытии всех возможных валентностных мест у инфинитива и в обобщенности лексического значения. Однако в классической латыни как безличные, так и герундивные конструкции еще вполне употребительны. Безоговорочная победа наступит у глагола debēre в романских языках.

3. Долженствование и воля

3.1. Семантическое родство долженствования и волеизъявления

В научной литературе неоднократно встречаются указания на содержательную близость долженствования и волеизъявления (см., например [Щейтлин 1990: 142; Зеленщиков 1997: 115]). Представляется, что в основе этого семантического родства лежат два обстоятельства. Во-первых, предписание социальных, этических и эстетических норм есть не что иное, как выражение коллективной воли социума, закрепленной традицией и превратившейся в общепринятые установления. Во-вторых, прагматика общения во многих ситуациях стирает грани между этими двумя семантическими зонами. При определенном

социальном или возрастном соотношении участников коммуникации для адресата воля субъекта речи может восприниматься как принуждение к действию, как обязательность его выполнения. Вместе с тем говорящий может использовать языковые средства выражения долженствования с целью завуалировать откровенно волевой призыв к действию. Далее, само выражение воли может быть результатом произведенной оценки ситуации и признанием целесообразности того или иного действия.

Тесная смысловая связь долженствования и волеизъявления отчетливо выступает в диалогических репликах, направленных на уточнение воли собеседника:

(34) — *Per Venerem hanc jurandum 'st tibi.* — *Quid jurem?* (Pl. Rud., 1334) 'Тебе в этом следует поклясться Венерой. — В чем ты хочешь, чтобы я поклялся?'

В инициирующей реплике говорящий использует в своем директивном речевом акте герундивную конструкцию долженствования. Собеседник, понимая, что имеет место изъявление воли, задает уточняющий вопрос с глаголом в презенсе конъюнктива, выражающем волеизъявление. 1 л. ед. ч. глагола соотносится с субъектом речи, т.е. с автором вопроса, который вместе с тем является адресатом волеизъявления, заключенного в первой реплике. Лексическая тождественность глаголов в репликах подчеркивает наличие переспроса.

Показательна синонимия описательных конструкций с безличным модальным глаголом долженствования (oportet), с личной формой глагола воли velle и с презенсом конъюнктива в значении волеизъявления. Во всех случаях имеет место переспрос, направленный на уточнение директивного речевого акта собеседника:

(35) *Quid me oportet facere?* (Pl. Capt., 955) 'Что мне надлежит (должно) сделать?';

(36) *Quid me facere vis?* (Pl. Merc., 621) 'Что ты хочешь, чтобы я сделал?';

(37) *Quid ego faciam?* (Pl. P., 26) 'Что мне сделать?'

Есть все основания полагать, что близость долженствования и воли, проистекающая из норм обыденного сознания и постоянно используемая в практике речевого общения, универсальна и не составляет специфики латинского языка.

3.2. Употребительность форм конъюнктива в семантической сфере волеизъявления

В латинском языке грамматические средства выражения волеизъявления, а именно формы конъюнктива, способны выражать в определенных случаях значение долженствования [Handford 1947: 51–62].

Конъюнктив в самостоятельном предложении независимо от какого-либо маркированного синтаксического или лексического контекста выражает волитивность по отношению к обозначаемому им действию [Сабанеева 1980: 21–24]. Вместе с тем независимое от типа окружения содержание конъюнктива как морфологической категории проявляется по-разному в различных формах этого наклонения в зависимости от категорий лица, времени и вида.

Семантика долженствования отчетливо выступает в форме конъюнктива при обращении волеизъявления к прошлому, т.е. в формах имперфекта и плюсквамперфекта. Так как при этом волеизъявление не может быть осуществлено, оно трансформируется прагматически, принимая характер суждения о том, как адресату речи следовало поступить. На первый план выступает оценка связи между лицом и действием как необходимой в некоторой ситуации прошлого:

(38) — *Ubi habitaret invenires saltem, si nomen nequis. — Nemo aibat scire. — At saltem hominis faciem exquireres* (Pl. Merc., 631–637) '— Тебе следовало узнать, по крайней мере, где он живет, если не можешь узнать имени. — Никто не говорил, что знает. — Но, по крайней мере, тебе следовало расспросить о внешности этого человека';

(39) *Juberes hunc praecipitem in pistrinam trahi* (Pl. Pseud., 491) 'Ты должен был приказать, чтобы его вниз головой бросили в мукомольню'.

Если в архаической латыни при отнесенности волеизъявления — долженствования к прошлому использовался имперфект конъюнктива, что видно в примерах (38) и (39), то в классической латыни употребляется плюсквамперфект конъюнктива в связи с общим процессом постепенного наступления этой формы на имперфект [Blasé 1894: 71–85]:

(40) *Sed concedo id quoque: placuit oppidum, regio delectavit. Emisses* (Cic. Pro Fl., XXIX) 'Но я также это допускаю: тебе понравился город, восхитила местность. Тебе следовало купить';

(41) *Imitatus esses ipsum illum Voconium* (Cic. In Verr., II, I, XLII) 'Тебе следовало бы подражать этому самому Воконию'.

Однако употребительность форм конъюнктива в семантической сфере долженствования сравнительно невелика, потому что значение долженствования в прошлом выражается преимущественно герундивными, безличными конструкциями и глаголом dēbēre, т.е. специализированными языковыми средствами во временных формах плана прошлого:

(42) *Prius te cavisse ergo, quam pudere, aequom fuit* (Pl. Bac., 1017) ‘Тебе, значит, подобало, прежде чем стыдиться, остерегаться’;

(43) *Illud potius praecipiendum fuit* (Cic. Lael., 60) ‘Скорее надо было это сделать главным принципом’;

(44) *Quem hominem sine supplicio dimittere non debuisti* (Cic. In Verr., II, III, 61) ‘Какового человека ты не должен был отпускать без наказания’.

3.3. Долженствование и волеизъявление в гипотаксисе

Своеобразное использование смысловой связи между долженствованием и волеизъявлением обнаруживается в некоторых синтаксических структурах позднелатинских памятников. Имеются в виду, казалось бы, на первый взгляд, избыточные употребления глагола debēre с инфинитивом в дополнительных придаточных, зависящих от волеизъявления, и в придаточных цели. Однако анализ материала позволяет заключить, что подобные употребления debēre вполне оправданы. Как правило, использование глагола debēre в конъюнктиве с инфинитивным дополнением в указанных типах придаточных связано с особой структурой сложноподчиненного предложения:

(45) *... mater eius <...> frenderet peteretque ab ea, ne humiliaret diutius nobile genus, sed, demisso servo, similem sibi de genere regio, quem mater providerat, deberet accipere* [Gr. Tur., III, 31] ‘... ее мать <...> неистовствовала и требовала от нее, чтобы она не унижала дольше знатный род, а, отпустив раба, взяла бы (букв.: должна была бы взять) себе равного из царского рода, которого ей прочила мать’.

Глагол-сказуемое второго из двух однородных дополнительных придаточных отстоит на линии речи далеко от управляющего волитивного глагола главного предложения и, кроме того, отделен от первого придаточного абсолютным оборотом и относительным придаточным. Глагол debēre в последнем придаточном способствует таким образом уточнению характера связи между данным придаточным и главным предложением. Debēre как бы напоминает о волеизъявлении, отдаленном от придаточного большим отрезком речевой цепи. Аналогичен следующий пример:

(46) *Anno 34 regni Chlotariae legatos tres nobiles ex gente langobardorum <...> ad Chlotario destinantur petentes ut illa duodece milia soledorum, quae annis singulis Francorum aerariis dissolvebant, debuissent cassare* (Fred., IV, 45) ‘На тридцать четвертом году правления Клотария к нему были направлены три знатных посланника из рода лангобардов, требовавших, чтобы отменили (буквально: должны были отменить) те двенадцать тысяч солидов, которые они ежегодно выплачивали в казну франков’.

Здесь также на линии речи дополнительное придаточное не контактно с главным, а отделено придаточным относительным. Глагол debēre уточняет смысловые связи между главным и придаточным, «напоминая» о причастии petentes — ‘требовавших’.

Глагол debēre в придаточном способствует уточнению его связи с главным предложением, если это последнее содержит глагол, способный лишь окказионально выражать волеизъявление:

> (47) *Aubedo legatarius* <...> *inter citera Chrotario regi suggessit quod illam parentem Francorum quam reginam habuerat, per quam etiam regnum adsumserat, non dibuissit umiliare* (Fred., IV, 71) ‘Посланник Аубедо <...> среди прочего намекнул королю Клотарию, чтобы ту родственницу франков, которая была его женой, благодаря которой он получил королевство, он не унижал (буквально: он не должен был бы унижать)’.

Главное предложение в примере (47) содержит глагол suggerere, в котором значение «внушать, советовать» — лишь одна из возможных реализаций многозначного глагола. Debēre в придаточном указывает на волитивную семантику suggessit.

> (48) *De id vero quod scripsistis ut, quam prospere nos divina pietas degere permittebat, vobis insinuare deberimus, cognoscite...* (Ep. S. Des., 57) ‘Что касается того, чтобы мы вам сообщили, насколько благополучно божественное милосердие нам позволило прожить, то узнайте...’

Глагол scribere ‘писать’ не выражает волеизъявления, поэтому debēre в придаточном способствует актуализации волитивной функции у данного глагола. Помимо того, здесь снова наблюдается значительный линейный разрыв между главным и придаточным предложениями.

Таким образом, глагол debēre, став важнейшим языковым средством ФСП долженствования, именно за счет лексической семантики служит средством скрепления определенного типа синтаксических сложноподчиненных структур. Лексическое значение языковой единицы позволяет ей выполнять синтаксические функции. Эта побочная ветвь ФСП долженствования замечена только в памятниках поздней латыни.

Подобное функционирование глагола debēre было, вероятно, нередким и в живой устной речи, поскольку Ф. Менар [Ménard 1976: 134] отмечает в старофранцузском языке возможность плеонастического употребления глагола devoir в придаточном дополнительном, зависящем от приказания в главном.

Рассмотренное пересечение микрополей долженствования и воли вызвано вторжением средств выражения долженствования (главным образом глагола debēre) в сферу волеизъявления.

4. Долженствование и время

Языковая семантическая категория долженствования, в отличие от логической необходимости, связана неизменно с проспективным представлением действия. При этом точка отсчета может находиться в любом из трех временных планов (настоящее, прошлое, будущее). Семантика предстояния действия по отношению к разным временным планам присуща, естественно, всем латинским средствам выражения долженствования. Помимо рассмотренных выше конструкций долженствования латинский язык располагал для выражения предстояния действия перифрастическим спряжением, состоявшим из спрягаемой формы глагола esse с активным причастием будущего времени на -urus. Это причастие совместно со значением предстояния могло выражать значение намерения, а также неизбежности действия.

Принципиально важно обратить внимание на разницу между семантикой предстояния действия и семантикой будущего действия. Предстоящее действие рассматривается только в перспективе, его осуществление никем не утверждается. Между тем действие плана будущего утверждается говорящим как реальность. Имеет место ментальный процесс опережающего отражения, связанный с высокой степенью интерпретации действительности [Сабанеева 1994: 41–55]. Оттенок сомнения, неуверенности, который иногда приписывают формам футурума, присутствует не в грамматическом значении формы, употребляемой субъектом речи, а в возможном варианте критического осмысления со стороны адресата речи. Между прочим, оттенок сомнения в истинности высказывания собеседника вполне может быть, даже если отраженная в высказывании ситуация относится к прошлому. Если ситуация локализована в будущем, то недоверие и сомнение вызваны не столько личным отношением к собеседнику, сколько неуверенностью в дальнейшем ходе событий. Если же ситуация локализована в настоящем или в прошлом, сомнение может быть связано с подозрением либо о недостаточной информированности автора высказывания, либо о его неискренности.

В независимых предложениях латинского языка конструкции типа ornaturus sum ‘намереваюсь украсить’ или dicturus sum ‘собираюсь сказать’ отличались не только формально, но и семантически от форм футурума: ornabo, ornavero ‘буду украшать, украшу’ или dicam, dixero ‘буду говорить, скажу’. В независимых предложениях по отно-

шению к моменту речи существовала дифференциация предстояния и будущего.

Между тем в составе конструкций «аккузатив с инфинитивом» единственным средством выражения как предстояния, так и будущего было participium futuri activi, т.е. активное причастие будущего времени. Дифференцирующим фактором была только среда, окружающая эту форму, иными словами, контекст:

> (49) *Ubi tu es, quae deblaterasti iam vicinis omnibus, meae me filiae daturum dotem?* (Pl. Aul., 261–269) 'Где ты, которая уже разболтала всем соседям, что я дам (или 'намереваюсь дать') приданое моей дочери?';
>
> (50) *Quod numquam opinatus fui neque alius quisquam civium sibi eventurum, id contigit* (Pl. Amph., 181–187) 'То, о чем я никогда не думал и о чем никто из граждан не думал, что оно случится, то случилось'.

В примере (49), где субъект действия является лицом, вполне возможно выражение намерения говорящего с помощью активного причастия будущего времени. В примере (50) неодушевленность субъекта, выраженного местоимением quod, при предикате eventurum указывает на футуральную семантику данного причастия. Итак, предстояние действия и действие будущее в составе оборота accusativus cum infinitivo имеют одну форму выражения, и только по некоторым признакам внешнего контекста (носитель признака — лицо / не лицо) или, отчасти, внутреннего контекста (контролируемость / неконтролируемость действия) может быть уточнен тот или иной вариант темпорального значения.

Не только в составе оборота «accusativus cum infinitivo», но и в конъюнктивных формах перифрастического спряжения, как правило, лишь знание ситуации помогает отличить предстояние действия от утверждения будущего действия:

> (51) *Diffidebam <...> satis animo certo et confirmato me posse in hac causa consistere. Sic cogitabam, quum contra dicturus esset Hortensius, et quum esset attente auditurus Philippus, fore uti permultis in rebus timore prolaberer* (Cic. Pro P. Quintio, XXIV) 'Я сомневался <...> что достаточно твердо и уверенно смогу держаться в этом деле. Я полагал, что когда Гортенсий будет собираться выступать против меня и когда меня будет внимательно слушать Филипп, случится так, что я сделаю много промахов от страха'.

Показательно, что Гортенсию предстоит говорить после Цицерона, в то время как Филипп будет внимательно слушать речь Цицерона, которую тот будет произносить. Во время речи и возможных

ее неудач (prolaberer) Филипп будет слушать. Причастие auditurus выражает действие в будущем по отношению к сомнениям и опасениям Цицерона в прошлом. Что же касается причастия dicturus, то оно выражает предстояние действия, так как Гортенсию предстоит говорить после Цицерона; во время произнесения Цицероном своей речи Гортенсий лишь будет собираться произносить свою.

Следовательно, есть все основания утверждать, что перифрастическое спряжение с participium futuri activi недостаточно четко позволяет дифференцировать утверждение кем-либо будущего действия, с одной стороны, и обозначение предстояния — с другой. Специальные языковые средства выработаются впоследствии в протороманский период, вследствие чего сочетание инфинитива с habere даст форму нового синтетического футурума в ряде романских языков, в то время как сочетание debēre с инфинитивом, наряду с выражением долженствования — обозначение предстояния действия[2].

Однако в памятниках поздней латыни эта будущая дифференциация глаголов habere и debēre еще не отражена. Вероятно, она еще имела место исключительно в устной речи, а может быть, вообще наступила несколько позже.

Единственное, что бесспорно отражают позднелатинские тексты, — это вытеснение активного причастия будущего времени модальными глаголами долженствования debēre и habere, причем без какой-либо избирательности по отношению к семантике предстояния или будущего.

Следующие примеры иллюстрируют употребления глагола debēre для выражения предстояния действия:

(52) *Porro inminente Childeberto, cum Amalaricus navem deberet ascendere, ei in mentem venit multitudinem se praetiosorum lapidum in suo thesauro reliquisse* (Gr. Tur., III, 10) ‘Поскольку Хильдеберт приближался, когда Амалариху предстояло (должен был) сесть на корабль, ему вспомнилось, что он оставил в своей казне множество драгоценных камней’;

(53) *. . . ubi iam in congressione certamene conflige debuerant, Willebadus <. . . > de hoc evasit periculum* (Fred., IV, 90) ‘. . . когда уже в завязавшемся бою им предстояло (они должны были) сразиться, Виллебад <. . . > избежал эту опасность’;

(54) *. . . ille cum ad fluvium <. . . > advenisset, in quo loco eum transire deberit, paenitus ignorabat* (Gr. Tur., II, 37) ‘. . . когда он подошел к реке, он совсем не знал, в каком месте ему предстоит (он должен будет) ее перейти’.

[2] В сардинском языке сочетание debēre с инфинитивом станет средством выражения будущего времени.

Как видно, debēre выражает предстояние действия преимущественно в формах конъюнктива в придаточных предложениях.

Глагол habere выражает предстояние действия как в независимых, так и в придаточных предложениях, обычно в формах индикатива:

(55) *Et antecedens abante ascendit in morum ut videret eum quia inde habebat transire* (Itala, 19, 4) 'И, выступив вперед, взобрался на тутовое дерево, чтобы увидеть его, потому что оттуда ему предстояло (он должен был) пройти';

(56) *. . . sed non ipsa parte exire habebamus, qua intraveramus* (Peregr., 4) '. . . но мы должны были выйти не с той стороны, с которой вошли'.

Наряду с предстоянием оба глагола в позднелатинских памятниках нередко обозначают будущее к прошлому, т.е. действие, утверждаемое лицом, создающим воображаемый мир, как реальность. Поэтому habere и debēre употребляются в дополнительных придаточных предложениях, зависящих от предикатов речемыслительной семантики. Наклонение в придаточных данного типа, вытесняющих оборот «аккузатив с инфинитивом», как правило, конъюнктив:

(57) *. . . Certas vos facere debui sciens quia libenter haberetis haec cognoscere* (Peregr., 24) '. . . я должна была вас известить, зная, что вы с удовольствием узнаете об этом';

(58) *Daniel praedicavit <. . . > quoniam post passionem Christi ista civitas exterminari haberet* (Tert. Adv. Iud., 8) 'Даниил предсказал <. . . > что после Страстей Христовых этот город будет уничтожен';

(59) *. . . sacramentum se constrinxit quod fidelis regi Chilperico esse deberet* (Gr. Tur., V, 26) '. . . связал себя клятвой, что будет верен королю Хильперику';

(60) *discesserunt, iurantes prius quod <. . . > redire deberent in Gallis* (Gr. Tur., IV, 42) 'ушли, предварительно поклявшись <. . . > что вернутся в Галлию'.

Существует множество исследований по генезису романских форм футурума, в которых только констатируется распространение конструкций с глаголами debēre и habere вместо активных причастий будущего времени, причем не различаются семантика предстояния действия и действия будущего [Benveniste 1968: 81–91; Clancy 1975: 541–554; Leumann 1962: 61–71 и др.]. Однако эти конструкции с глаголами долженствования не рассматриваются в ракурсе причинно-

следственных связей, не ставится вопрос о факторах, способствовавших внедрению глаголов долженствования в сферу темпоральности (предстояние и будущее). Представляется, что отмеченный диахронический процесс вполне может получить теоретическое объяснение.

Немаловажное значение имел, как кажется, тот факт, что в конструкциях с активным причастием будущего времени носителем лексического значения и выразителем грамматической семантики проспективности (или будущего) был один компонент (причастие), а выразителем того временного плана, от которого начинался проспективный отсчет времени, — личная форма глагола esse 'быть'. Следовательно, в выражении грамматического временно́го значения проспективности — футуральности участвовали оба компонента конструкции.

Между тем аналитическое направление в развитии от латинских структур к романским состоит в централизации грамматической информации внутри специализированного элемента [Репина 1974: 66]. Личные формы глаголов debēre и habere концентрируют в себе всю грамматическую семантику: лексическое значение долженствования, заключенное в этих глаголах, предопределяет проспективность отсчета времени, а временна́я форма этих же глаголов указывает на отправную точку отсчета времени, локализуя ее на темпоральной оси. В конструкции ornaturus eram грамматическая семантика распределена между ее обеими составными частями, а в конструкции ornare habebam (debebam) модальный глагол концентрирует сложное темпоральное содержание.

5. Долженствование и критическая модальность высказывания

Как известно, всякое повествовательное предложение передает один из двух типов эпистемических, т.е. когнитивных, установок говорящего: простого знания и мнения, различия между которыми устанавливаются с помощью вполне определенных процедур, причем специализированные средства выражения экспонентов мнения образуют языковую категорию критической модальности высказывания [Сабанеева 1999: 101–112].

В латинском языке критическая модальность высказывания имела, как можно судить по собранному материалу, три основных средства выражения:

1) глаголы модуса credo, opinor, puto ('полагаю', 'считаю', 'думаю') и др.;

2) модальные слова fortasse, forsitan 'может быть', certo 'наверняка, конечно' и др.;

3) модальные глаголы долженствования. Из всех многочисленных способов выражения долженствования в латинском языке толь-

ко безличный глагол oportere и чрезвычайно редко личный глагол debēre встретились в значении критической модальности высказывания, соответствующей эпистемической познавательной установке мнения, т.е. выводного знания, осознанного или неосознанного умозаключения [Величковский 1982: 111]:

(61) *. . . inprobum istunc esse oportet hominem* (Pl. Bac., 552) '. . . этот человек, должно быть, бесчестен';

(62) *. . . tibi hercle iratos deos esse oportet* (Pl. Rud., 1146) '. . . на тебя, должно быть, клянусь Геркулесом, боги разгневаны';

(63) *Ut demonstratae sunt mihi, hasce aedeis esse oportet ubi Demaenetus dicitur habitare* (Pl. Asin., 381–382) 'Как мне показали, это, должно быть, тот дом, в котором, говорят, живет Деменет';

(64) *Sed si ita est, ut tu sis Jahonis filius, signum esse oportet in manu laeva tibi* (Pl. Poen., 1071–1073) 'Но если ты сын Иахона, у тебя, должно быть, (должен быть) знак на левой руке'.

Следует обратить внимание на то, что во всех этих примерах глагол oportere управляет оборотом «аккузатив с инфинитивом», в котором инфинитив представлен исключительно глаголом esse 'быть'. Тем самым глагол oportere выражает долженствование не действия, а предицирования признака субъекту — предмету мысли. В примере (61) предмет мысли — istunc hominem 'этот человек', предицируемый признак — inprobum 'бесчестный'; в примере (62) предмет мысли — deos 'боги', предицируемый признак — iratos 'разгневанные'; в примере (63) предмет мысли aedeis 'дом', предицируемый признак — hasce ubi. . . 'тот, где. . . '; в примере (64) предметом мысли является signum 'отметина, знак', а предицируемым признаком — локализатор in manu laeva 'в левой руке'.

Таким образом, глагол oportere обозначает долженствование истинности элементарного ядра предложения с точки зрения говорящего.

Систематическое использование в инфинитиве связочного глагола esse свидетельствует о том, что в функции критической модальности oportere еще связан с простейшим предицированием признака, соответствующим логической модели «субъект + связка + предикат». По сути дела, oportere семантически управляет связкой.

Подобный «ментальный чертеж» для средств выражения критической модальности высказывания изначально присущ многим языкам. Сочетание глаголов долженствования (а в ряде языков и глаголов возможности) с глаголом-связкой и переход от чисто семантической зависимости к синтаксической на уровне поверхностной структуры находит отражение в таких модальных словах, обособленных от

диктальной части, как «может быть», «должно быть», франц. peut être, англ. may be, must be и др.

Постепенно в латинском языке происходит расширение семантического диапазона предикатов диктума. Так, у Петрония (I в. н.э.) наряду с инфинитивом esse встретился пример с инфинитивом facere. Вместе с тем параллельно с модальным глаголом oportere появляется debēre в функции критической модальности высказывания:

(65) *Neminem nihil boni facere oportet* (Petr. C. Trim., 14) 'Должно быть, никто ничего хорошего не делает';

(66) *Ego, crudelissimae severitatis, non potui me tenere, sed inclinatus ad aurem Agamemnonis «Plane, — inquam, — hic debet servus esse nequissimus: aliquis oblivisceretur porcum exinterare?»* (Petr. C. Trim., 49) 'Я, будучи чрезвычайно строгим, не смог сдержаться и, наклонившись к уху Агамемнона: «Поистине, — говорю, — это раб, должно быть, совсем негодный: кто-нибудь забыл бы вычистить внутренности у свиньи?»'.

Примечательно, что глагол debēre, в силу отсутствия у него управления аккузативом с инфинитивом, непосредственно подчиняет себе инфинитив esse. Таким образом, модальный глагол встраивается в синтаксическую организацию диктума, образуя нерасчлененный модус, т.е. утрачивая свою «синтаксическую независимость от диктума» [Балли 1955: 54].

В примере (67) глагол debēre тоже встроен в структуру диктума, а инфинитив уже не является связочным глаголом:

(67) — *Rogo, inquam, mater, numquid scis ubi ego habitem? <...> centonem anus urbana reiecit et: «Hic, — inquit, — debes habitare.»* (Petr. Satir., VII) '— Прошу, — говорю, — мать, не знаешь ли ты, где я живу? <...> услужливая старуха откинула занавеску и говорит: «Здесь, должно быть, ты живешь»'.

Таким образом, в латинской народной речи уже отражена наиболее абстрактная функция глагола debēre: выражение критической модальности высказывания. Безличный глагол oportere и в этой семантической сфере передает свои «полномочия» личному глаголу debēre. Рассмотренный материал позволяет заключить, что семантика долженствования в силу своей специфики образует обширные зоны пересечения с семантическими полями волитивности, темпоральности и эпистемической модальности высказывания. Семантика долженствования включается в каждую из указанных сфер благодаря изначально присущим ей компонентам: 1) принудительность, волевой импульс извне, исходящий от норм социума, обстоятельств, конкретных лиц; 2) проспективность, поскольку долженствование предпола-

гает первичный импульс к еще не реализованному действию; 3) долженствование мнения, вывода как ментального действия, вследствие чего эта семантика поднимается на уровень модальной характеристики высказывания в целом.

В плане соотношения «центр / периферия» микрополе долженствования обнаруживает развитие от лексико-грамматического и грамматического центров к центру лексическому с глаголом debēre. Принципиально важно, что ведущим импульсом данного процесса были синтаксические преимущества личного глагола debēre. Через посредство лексемы debēre восторжествовала более емкая синтаксическая структура; решающим оказался грамматический фактор. Эволюция микрополя долженствования свидетельствует о тесном взаимодействии лексического и грамматического уровней.

Сокращения

Cic. In Catil.	—	*Cicero.* In Catilina // Cicero Marcus Tullius. Discours. T. 10. Catilinaires. Paris, 1985.
Cic. In Verr.	—	*Cicero M. T.* In Verre // Cicero Marcus Tullius. Discours. T. 5. Seconde action contre Verres. Paris, 1991.
Cic. Lael.	—	Cicero Laelius // Cicéron. Lélius de l'amitié. Paris, 1993.
Cic. Or.	—	*Cicero M. T.* De oratore. Leipzig, 1969.
Cic. Pro Fl.	—	*Cicero M. T.* Pro Flacc // Œuvres complètes de Cicéron. T. 2. Paris, 1869.
Cic. Pro P. Quintio	—	*Cicero M. T.* Pro Publio Quinti // Cicero Marcus Tullius. Discours. T. 1. Paris, 1973.
Ep. S. Des.	—	Sancti Desiderii Cadurcensis Epistulae // Acta Universitatis Stokholmiensis. 1961. T. 6.
Fred.	—	Fredegarii Scholastici libri IV cum Continuationibus. Monumenta Germaniae historica. Hannoverae, 1989. T. 2.
Gr. Tur.	—	Gregorii Episcopi Turonensis Historiarum Libri Decem. Berlin, 1967. Bd. 1–2.
Itala	—	Itala. Das Neue Testament in altlateinischer Überlieferung. Berlin, 1938.
Peregr.	—	Peregrinatio ad loca sancta. Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum. Pragae; Vindobonae; Lipsiae, 1898. Vol. 39.
Petr. C. Trim.	—	*Petronius.* Cena Trimalchionis // Acta Universitatis Stockholmiensis. 1999. T. XLII.
Petr. Satir.	—	*Pétrone.* Le Satiricon. Paris, 1993.
Pl. Amph.	—	*Plautus T. M.* Amphitru // Plaute. Comédies. T. I. Paris, 1996.

Pl. Asin.	—	*Plautus T. M.* Asinari // Plaute. Comédies. T. I. Paris, 1996.
Pl. Aul.	—	*Plautus T. M.* Aululari // Plaute. Comédies. T. I. Paris, 1996.
Pl. Bac.	—	*Plautus T. M.* Bacchide // Plaute. Comédies. T. II. Paris, 1996.
Pl. Capt.	—	*Plautus T. M.* Captiv // Plaute. Comédies. T. II. Paris, 1996.
Pl. Cas.	—	*Plautus T. M.* Casin // Plaute. Comédies. T. II. Paris, 1996.
Pl. Epid	—	*Plautus T. M.* Epidicu // Plaute. Comédies. T. III. 1972.
Pl. Merc.	—	*Plautus T. M.* Mercato // Plaute. Comédies. T. IV. Paris, 1992.
Pl. Most.	—	*Plautus T. M.* Mostellari // Plaute. Comédies. T. V. Paris, 1970.
Pl. P.	—	*Plautus T. M.* Pers // Plaute. Comédies. T. V. Paris, 1970.
Pl. Poen.	—	*Plautus T. M.* Poenulu // Plaute. Comédies. T. V. Paris, 1970.
Pl. Pseud.	—	*Plautus T. M.* Pseudolu // Plaute. Comédies. T. VI. Paris, 1972.
Pl. Rud.	—	*Plautus T. M.* Ruden // Plaute. Comédies. T. VI. Paris, 1972.
Pl. St.	—	*Plautus T. M.* Stichu // Plaute. Comédies. T. VI. Paris, 1972.
Pl. Min. Ep.	—	*Plinius Minor.* Epistulae. Bloomington, 1962.
R. de Ren.	—	Roman de Renar // Шишмарев В. Ф. Книга для чтения по истории французского языка. М.; Л., 1955.
Sall. Catil. Conj.	—	*Sallustius Cr. C.* Catilinae Conjurati // Catilinae Conjuratio Salluste. Bristol, 1987.
Tert. Adv. Iud.	—	*Tertullianus.* Adversos Iudeo // Tertullianus. Opera // Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum. Vol. 20. Pragae; Vindobonae; Lipsiae, 1890.
T. L.	—	*Titus Livius.* Ab urbe condit // Titus Livius. Ab urbe condita: Liber XXI. M., 1948.
T. L.	—	*Titus Livius.* Ab urbe condit // Titi Livii. Ab urbe condita: Libri XXVI–XXVII. Leipzig, 1982.
V. R. Rust.	—	*Varro M. R.* Rerum Rusticarum libri tre // Varron. Economie rurale. T. I. Paris, 1978.

ГЛАВА XII

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КОЛИЧЕСТВЕННОСТИ В ИРАНСКИХ ЯЗЫКАХ: СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ*

Исследование произведено на материале персидского, курдского,[1] афганского (пашто/пушту), белуджского,[2] рушанского[3] языков. Рассматриваемые языки представляют обе главные ветви иранских языков — западноиранскую (персидский, курдский, белуджский) и восточноиранскую (афганский, рушанский).

Характер функционально-семантического поля (ФСП) количественности в системе имени определяется структурой категории числа имени в языке, от которой, в свою очередь, зависят также значения и функционирование форм этой категории. В современных иранских языках представлены два типа категории числа, противостоящие друг другу структурно, семантически и функционально. Один из них характерен для имен, обозначающих лица, другой — для предметных и неактивных одушевленных имен.

В иранских языках имеются две формы числа имени: единственного и множественного.[4] Особенностью формы ед. числа в иранских языках, в большинстве своем нефлективных, является ее неоформленность, т.е. отсутствие в ней, как правило, каких бы то ни было морфологических признаков. Эта форма совпадает с основой слова: перс. *pedär* ‘отец’, *xahär* ‘сестра’, *bärg* ‘лист’, *kuh* ‘гора’, *zämin* ‘земля’; курд. м. *žьn* ‘женщина’, *piaw* ‘мужчина’, *bərd* ‘камень’, *šəw* ‘ночь’, *mrišk* ‘курица’; курд. з. *xorṫ* ‘юноша’, *bьz* ‘коза’, *bon* ‘дом’, *kərg* ‘курица’; бел. *brās* ‘брат’, *gwār* ‘сестра’, *zām* ‘меч’, *gis* ‘дом’, *ādenk* ‘зеркало’; афг. *lur* ‘дочь’, *wror* ‘брат’, *stən* ‘игла’, *sərṫək* ‘дорога’, *las* ‘рука’; руш. *pi* ‘отец’, *virō* ‘брат’, *čēg* ‘нож’, *īd* ‘мост’.

---

*Данная глава подготовлена при финансовом содействии Фонда Президента РФ для поддержки ведущих научных школ, грант № НШ-1510.2003.6.

[1] Курдский язык представлен в настоящем разделе диалектами: южного ареала — мукри (курд. м.) (Иран), северного — заза (курд. з.) (Турция: провинция Дерсим).

[2] Язык белуджей Туркмении.

[3] Один из языков Памира.

[4] Арабские формы мн. числа, в большей или меньшей мере фигурирующие во всех иранских языках, из рассмотрения исключаются. Они представляют собой довольно обособленное явление и выступают в виде грамматически застывших вкраплений в строе иранских языков. Что касается арабских слов в форме ед. числа, то они, как и любые другие заимствования, в этой форме, попав в иранские языки, приобретают все черты иранского имени, т.е. входят в систему и поэтому рассматриваются в одной массе с чисто иранскими словами (например, в перс. *ketab* ‘книга’, в курд. *qətar* ‘караван’, в афг. *kalam* ‘ручка’ (для письма)).

© И. А. Смирнова, 2005

Из рассматриваемых систем лишь афганский язык и курдский диалект заза частично характеризуются флексией в группе имен женского рода, например: афг. *maṇ-á* ‘яблоко’, *koṭ-á* ‘комната’, *mʒə́k-a* ‘земля’; курд. з. *léy-ə* ‘дерево’, *rə̄́z-ə* ‘день’, *bə́z-ə* ‘коза’.[5]

При внешней идентичности имен, обозначающих лица (личные имена), и имен, обозначающих предметы (предметные имена), их морфологическая неоформленность в форме ед. числа, характерная для иранских языков, по своей сути, с точки зрения структуры ФСП количественности, принципиально различна. Она по-разному проявляется в значении и функционировании этих имен в плане числа, что и отражается на соотношении этих классов слов с понятием поля количественности.

В лингвистической литературе уже в течение ряда десятилетий заметен интерес исследователей разных языков к категории числа имени в аспекте значения и функционирования ее форм. При этом он отчетливо фокусируется на том факте, что формы числа имени во многих языках выражают не только числовые значения (единичности и множественности), но и значение общего (класс предметов, целостную совокупность и пр.), как, например: ‘книга — источник знаний’ ‘лошадь — домашнее животное’ [Холодович 1946; Ревзин 1969; Кумахов 1969; Меновщиков 1970; Гузев, Насилов 1975; Панфилов 1976 и др.]. Что же касается поля количественности в иранских языках, то определенный подход к этому аспекту темы числа имени впервые был намечен в публикации [Эдельман 1996].

Число имени издавна находилось в поле зрения исследователей иранских языков как часть грамматики. Уже в работах XIX в. и начала XX в. начали отмечаться те черты числа имени в современных иранских языках (в большей своей части нефлективных), которые составляют их своеобразие по сравнению с флективными языками [Березин 1853: 127; Bleek 1857: 70–72; Justi 1880: 246; Мирза Джафар 1901: 29; Horn 1895–1901: 100; Миллер 1962: 72 (перевод с немецкого работы, опубликованной в 1903 г.)].

Интенсивная же разработка вопросов грамматики, включая категорию числа имени, началась в иранистике с 50-х гг. XX в., когда стали всесторонне изучаться иранские языки Советского Союза [Соколова 1957: 89; Lazard 1957: 58–60; Рубинчик 1960: 55; Бакаев 1962: 37; Mac Kenzie 1961: 50; Грюнберг 1963: 21; Эдельман 1966: 25 и др.]. В. С. Соколова форму ед. числа в белуджском языке впервые представила как специальную форму для выражения общего. Ею же на материале памирских языков было дано наиболее последовательное определение неоформленного имени (формы ед. числа), которое вполне распространимо на все иранские языки, где «основной формой имени является неосложненная чистая основа, обозначаю-

[5] Знаки «ṇ», «ṭ» обозначают ретрофлексность.

щая то или иное общее (категориальное) понятие и не несущая в себе какой-либо дополнительной грамматической нагрузки» [Соколова 1966: 369]. Мысль о нейтральности формы ед. числа имени к числу, к количеству была также высказана в работах М. Н. Абдуллаевой и Ш. Рустамова по таджикскому языку [Абдуллаева 1971; Рустамов 1972].

Позднее автором настоящей главы были опубликованы исследования по категории числа имени на материале группы иранских языков: персидского, курдского (диалекты мукри — Иран, курманджи — Сирия), белуджского, афганского, рушанского [Смирнова 1974; 1980; 1981; 1996; 2000; Смирнова, Эйюби 1999]. Были также исследованы и опубликованы данные по категории числа имени в ранее не изучавшемся, малодоступном курдском диалекте заза [Смирнова, Эйюби 1998]. Перечисленные языки и диалекты охватывают исчерпывающий типологический диапазон иранских языков: от наиболее аналитических (персидский, рушанский) до сохранивших в определенной степени старую иранскую именную флексию (пушту, заза). Проведенные исследования категории числа имени в иранских языках в плане форм и их значений позволили подойти к этой теме с точки зрения теории ФСП [Бондарко 1984; 1999].

1. Структура функционально-семантического поля количественности

С позиций понятия ФСП категория числа имени (ед. число) в иранских языках может быть определена как ФСП, состоящее из двух частей: сложившееся количественное поле (для имен, обозначающих лица) и поле формирующееся, характерное для предметных имен и контекстуально возможное для имен, обозначающих лица. Соответственно выявляется и различное для этих классов имен соотношение с понятиями квантитативных семантических структур центра и периферии.

Для имен, обозначающих лица, квантитативным семантическим центром является их прототипическое значениие актуализованной единичности, а периферией — значение общего. Предметные же имена в форме ед. числа характеризуются четко выраженной безотносительностью к числу, представленной вариантами.

Таким образом, мы имеем здесь две противополагающиеся друг другу категориальные ситуации: квантитативную (количественную) — основную для имен, обозначающих лица, и отрицательно-квантитативную (внеколичественную) — характерную для предметных имен и ситуативно возможную для имен, обозначающих лица.

Особенностью формы ед. числа предметного имени в иранских языках является отсутствие в ней каких бы то ни было морфологи-

ческих признаков: она совпадает с основой слова, например: перс. *baẍ* ‘сад’; курм. м. *ǰьl* ‘одежда’; курд. з. *bon* ‘дом’; бел. *gis* ‘дом’; руш. *rūz* ‘окно’; афг. *kor* ‘дом’. Неоформленность (немаркированность) этого имени влечет за собой важные грамматические последствия, сказывающиеся на разных сторонах грамматического строя иранских языков, а также на значении самой формы ед. числа.

Под терминами «немаркированность», «немаркированное имя» понимается явление, принципиально отличающееся от формы имени с нулевым показателем, которая существует в определенном парадигматическом ряду (например, нулевой показатель в русском слове ‘брат’ в падежной парадигме: нулевой показатель и составляет его маркированность, т.е. форма с нулевым показателем выражает определенное грамматическое значение — именительный падеж). Имя с нулевым показателем в иранских языках представлено в виде класса имен, обозначающих лица (личные имена). В немаркированной же форме, свойственной предметным и неактивным одушевленным именам, отсутствует какой бы то ни было грамматический показатель, в том числе и нулевой. Эта форма существует вне парадигматического ряда и не несет в себе определенного грамматического значения, включая значение числа, т.е. сама эта форма безотносительна к числу (ср.: перс. *däst* ‘рука’, ‘руки’; курд. м. *sēw* ‘яблоко’, ‘яблоки’; бел. *pas* ‘овца’, ‘овцы’; руш. *mēx* ‘гвоздь’, ‘гвозди’; афг. *ẍāṣ̌* ‘зуб’, ‘зубы’). Однако поскольку немаркированное имя не исключает значения ед. числа и этим противостоит форме мн. числа (назначением которой является выражение множественности), составляя с ней коррелятивную пару, это дает основание сохранить за трактуемой формой традиционное название формы ед. числа.

2. Особенности корреляции предметных и неактивных одушевленных имен в форме единственного числа

Произведенный нами анализ языковых фактов показал, что неоформленное (немаркированное) имя в иранских языках не несет в себе не только значения числа, но и никакого другого грамматического значения. Оно является безотносительным (нейтральным, индифферентным) как к числу, так и к любой другой грамматической категории.

Неоформленное имя нейтрально к падежным отношениям: не заключая в себе никакого падежного значения, это имя в субстантивном своем употреблении, попадая во фразу, приобретает значение того или иного падежа, ср.: перс. ***ketab*** *häme čiz-ra bä ensan yad midehäd* ‘**книга** учит человека всему’ — слово *ketab* ‘книга’ выступает в функции именительного падежа (подлежащего); перс. *Täl’ät*

där xane kar mikärd, ***pirahän*** *miduxt* ‘Тал’ат работала на дому, шила **рубахи**’ (слово *pirahän* ‘рубаха’ — в функции винительного падежа (прямого дополнения)); перс. *sävar-e* ***olaï*** *bud* ‘ехал верхом на **осле**’ (букв. ‘был всадником **осла**’) — слово *olaï* ‘осел’ в особой (изафетной) конструкции выступает в функции родительного падежа.

Неоформленное имя нейтрально к выражению определенности / неопределенности, т. е. само по себе не выражая ни определенности, ни неопределенности, в контексте оно может свободно обозначать и то, и другое, в зависимости от сочетания с теми или иными словами: с указательными местоимениями это имя выражает определенность, с числительным ‘один’ — неопределенность. Ср.: афг. ***pṛāng*** *yaw ḍer ïat ʒanāwər dəy* ‘**барс** очень крупный зверь’ — слово ***pṛāng*** ‘барс’ не выражает ни определенности, ни неопределенности; афг. ***dā kor*** *loy dəy* ‘**этот дом** большой’ (определенность); афг. *lə liri cxa* ***yaw kor*** *šḳāra kedə* ‘вдали виднелся **какой-то дом**’ (неопределенность).

Неоформленное имя нейтрально также к субстантивности / несубстантивности, т.е. может употребляться и в субстантивной функции (как существительное), и в несубстантивных функциях — адъективной (прилагательного) и адвербиальной (наречия).

Адъективная функция: перс. *hälïe-ye* ***tela*** ‘**золотое** кольцо’ (*tela* ‘золото’); курд. *nānī* ***hərzьn*** ‘**просяной** хлеб’ (*hərzьn* ‘просо’); руш. ***čuxmā*** *xac* ‘родниковая вода’ (*čuxmā* ‘родник’); афг. ***xamtā*** *kāli* ‘бязевая одежда’ (*xamtā* ‘бязь’).

Адвербиальные функции: перс. ***zemestan*** *därs mixanäm* ‘**зимой** я учусь’ (*zemestan* ‘зима’); курд. ***šəw*** *čītmə qāwəxānə* ‘**вечером** я пошел в кофейню’ (*šəw* ‘ночь’, ‘вечер’); руш. *in-das-ta* ***wuxyōray*** *kinan* ‘вот так-то **разумно** поступают’ (*wuxyōray* ‘разумность’); афг. *majbur šwəm če* ***kor*** *pāta šəm* ‘мне пришлось остаться **дома**’ (*kor* ‘дом’).

Любое приглагольное употребление неоформленного имени в итоге ведет к утрате этим именем своего собственного, субстантивного лексического значения, т.е. к превращению имени в характеризатор, квалификатор глагола, ср.: перс. *ketab mixanäd* ‘читает книги’ (занимается чтением) и *ketab-ra mixanäd* ‘читает (данную, одну) книгу’. В примере *ketab mixanäd* субстантивное значение имени в значительной мере стерто, т.е. неоформленное имя с глаголом (*ketab xandän*) образует слитное понятие ‘чтение книг’ или даже ‘чтение’ (вообще): *u ziyad ketab mixanäd* ‘он много читает (книг)’.

Утрата неоформленным именем субстантивного значения в приглагольном употреблении — путь к образованию сложных глаголов, очень распространенных во всех иранских языках: перс. *ǰäng kärdän* ‘воевать’ (*ǰäng* ‘война’, *kärdän* ‘делать’), курд. *zīn kьrdьn* ‘оседлать’ (*zīn* ‘седло’, *kьrdьn* ‘делать’) и т. д. Здесь мы тоже имеем дело с несубстантивным употреблением имени.

В несубстантивных своих проявлениях, т.е. в роли прилагательного, наречия или именной части сложного глагола неоформленное имя в принципе не может нести в себе какой-либо грамматической нагрузки: ни признака падежа, ни признака рода, ни признака определенности / неопределенности, ни признака числа. Следовательно, широко распространенное в иранских языках несубстантивное употребление неоформленного имени является прямым доказательством отсутствия в нем той или иной грамматической категории.

При внешнем сходстве немаркированное имя принципиально отличается от имени с нулевым показателем, хотя внешнее сходство этих форм, состоящее в отсутствии в них выраженного показателя, может приводить к их отождествлению, что до сих пор встречается в иранистических работах (см., например [Эдельман 1996: 164] и сл.).

Как известно, главным в природе формы имени с нулевым показателем является то, что, находясь в определенном парадигматическом ряду (или имея корреляцию по нескольким рядам), эта форма выражает и определенное грамматическое значение. Отсутствие положительного показателя, реализующееся как выражение определенного грамматического значения в определенном ряду коррелирующих форм, объективно равнозначно положительному грамматическому показателю, почему оно и квалифицируется как грамматический показатель, хотя и нулевой [Фортунатов 1884–1885: 47–48; Бодуэн де Куртенэ 1963: 282–283 и сл.; и др.]. Следовательно, форма с нулевым показателем является формой маркированной, существующей в том или ином парадигматическом ряду, с обязательной корреляцией с другими формами этого ряда.

В немаркированном же имени отсутствие показателя не является формальным признаком, маркером какого-либо определенного грамматического значения. Напротив, отсутствие форманта указывает и на отсутствие в ней вообще каких-либо грамматических значений. Не неся в себе никакого грамматического значения, немаркированное имя, естественно, стоит вне того или иного парадигматического ряда, т.е. не несет в себе также признака корреляции. Однако грамматическая нейтральность немаркированного имени вовсе не исключает его использования для выражения той или иной грамматической категории. Напротив, его грамматическая нейтральность как раз и позволяет ему выражать любое грамматическое значение, поскольку ни одному из них оно не противостоит.

В плане числа немаркированное имя, не неся в себе самом значения числа, может выражать в контексте любое число, например: руш. *tar dum mis* ***čēb*** *wuδ* ‘ей тоже дай **ложку**’ — здесь весь контекст указывает, что речь идет об одном предмете; руш. *yim ïaδa bād zēzd* ***way pulk***... ‘тогда юноша берет **молот**...’ — обозначение одного предмета в данной фразе четко обусловлено указательным местоимением

way ‘этот’; руш. . . . ***yi gul*** *way-ri dā čūg* ‘. . . дала ему **цветок**’ — значение одного предмета вытекает здесь из сопутствующего имени числительного *yi* ‘один’; руш. *pīnʒ* ***gugird*** ‘пять **спичек**’ — та же форма имени выражает с количественным числительным значение множественности. Соответственно этому в принципе немаркированное имя может вступать в любую грамматическую корреляцию. Но для этого нужно, чтобы данный язык обладал маркированными формами, противостоящими по тому или иному признаку немаркированному имени.

Иранские языки обладают маркированной формой мн. числа, которая никогда не выражает единичности и тем самым противостоит немаркированному имени. Возникает, таким образом, коррелятивная пара: форма мн. числа — немаркированное имя, которое в составе этой коррелятивной пары и может быть названо формой ед. числа (перс. *ketab* — *ketabha* ‘книга’ — ‘книги’). Если же для той или иной грамматической категории не имеется маркированных форм, то в пределах этой категории немаркированное имя остается вне корреляций. Так, в аспекте падежных отношений в персидском и в языках шугнано-рушанской группы немаркированное имя остается вне падежных корреляций, поскольку эти языки не знают маркированных падежных форм, т.е. в этих языках отсутствует категория падежа. В языках же курдском, афганском и белуджском, где наличествует маркированный косвенный падеж (в белуджском три косвенных падежа), маркированные формы падежа вступают в корреляцию с немаркированным именем, могущим выступать — в отличие от косвенного падежа — в роли подлежащего. В этих языках немаркированное имя в составе вышеуказанной корреляции приобретает значение прямого падежа. Подобный тип корреляции — иной, нежели во флективных языках, где обе коррелирующие формы (или несколько форм) сами в себе несут закрепленную за ними определенную корреляцию, являясь одинаково полноправными членами коррелирующей пары (или ряда). В иранских и, очевидно, в других нефлективных языках, немаркированное имя не несет в себе никакой определенной обязательной корреляции, но зато благодаря своей потенциальной грамматической многогранности может стать членом любой корреляции, в зависимости от наличия в данном языке той или иной маркированной формы. Единственная универсальная для всех иранских языков маркированная форма имени — это форма мн. числа, которая никогда не выражает единичности и тем самым противостоит немаркированному имени. Таким образом, возникает коррелятивная пара: форма мн. числа — немаркированное имя, которое в этой паре и может быть названо формой ед. числа. Однако в паре «мн. число — немаркированное имя» корреляция на языковом уровне логически односторонняя. Так, в паре перс. *ketab* — *ketabha* форма мн. чис-

ла *ketabha* ‘книги’ противополагается немаркированной форме *ketab*, поскольку не может выражать ед. числа. Форма же *ketab* не противополагается форме *ketabha*, поскольку может выражать мн. число. Двустороннее же противоположение может возникнуть только в контексте, где немаркированная форма получает значение ед. числа: *pošt-e istegah* ***rudxane*** *miẍorrid* ‘за станцией рокотала **речка**’, где значение множественности для слова *rudxane* исключается. Но поскольку подобная полная корреляция возникает только в контексте, ее следует определять как опосредствованную (контекстом), или окказиональную.

3. Изменения в системе категории числа предметных имен

Приведенная выше схема односторонней корреляции не может стать основой для структуры категории числа и обеспечить в языке устойчивое равновесие. Она указывает на переходный этап, перестройку категории числа и других сторон грамматической системы иранских языков, а вместе с тем и на перестройку самого немаркированного имени и, следовательно, структуры поля количественности.

Нужное равновесие может быть достигнуто или утратой формы мн. числа (т.е. ликвидацией категории числа вообще), или выработкой маркированных форм ед. числа. Какого-либо движения по первому пути в иранских языках не наблюдается совершенно. Тенденция же к образованию маркированных форм ед. числа в них очевидна. Для этого используются различные языковые средства, которые уточняют числовое значение немаркированного имени и которые мы называем уточнителями. Среди них универсальными для всех иранских языков являются указательные местоимения и числительное ‘один’. Примыкая к немаркированному имени, они играют при нем роль формантов ед. числа, что означает вхождение немаркированного имени в поле количественности.

В персидском языке указательные местоимения не формализованы, т.е. сохраняют свое лексическое значение указательности: ***in šahr*** *kuček ast* ‘**этот город** невелик’. Зато числительное ‘один’ (*yek*) превратилось в персидском в законченный постпозитивный формант единичности (*-i*): *ketab-i* ‘одна книга’. Признать *ketab-i* формой сложившегося ед. числа мешает отделяемость форманта (*-i*) от имени, что проявляется в конструкции с определением (изафетная конструкция): *ketab-e kuček-i* ‘одна (какая-то) маленькая книга’ (где формант *-i* оформляет не имя как таковое, а весь комплекс). Кроме того, постпозитивное *-i* не единственное средство выражения единичности: в этой же роли в персидском языке одинаково часто употребляется и

полнозначное препозитивное числительное *yek* ‘один’. Ср.: ***yek hälӕe*** *bära-ye to xäridäm* ‘я купил тебе **кольцо**’.

В памирских же языках шугнано-рушанской группы и указательные местоимения, и числительное ‘один’ сильно грамматикализованы и могут быть определены как артикли, что дает оформленному этими показателями немаркированному имени статус формы ед. числа. Для выражения единичности из числительного *yīw* ‘один’ выработан особый приименный показатель *yi*: руш. *yi kitōb* ‘(одна) книга’. Указательные же местоимения сами по себе, без фонетических изменений, утратили свое лексическое значение: руш. ***dum žēr*** *zi xo* ***day mēx*** *ǰak* ‘возьми (**этот**) **камень** и забей (**этот**) **гвоздь**’. Значение же указательности выражается указательными местоимениями с дополнительным префиксом *ik-*: *ik-dum žēr* ‘(именно) этот камень’.

В этом же направлении — по пути образования аналитических форм — идет развитие указательных местоимений и числительного ‘один’ в афганском языке, но с меньшей степенью их грамматикализации на данном этапе, особенно указательных местоимений: *yaw kalam* ‘одна (какая-то) ручка’, *dā kor* ‘этот дом’. По-видимому, сдерживающим фактором грамматикализации уточнителей здесь является в известной степени сохранившаяся в форме ед. числа оформленность имени, продолжающая отражать старое противоположение форм числа (ед. число — мн. число), что создает конкуренцию способов оформления имени, замедляющую процесс грамматикализации указательных местоимений.

В белуджском языке числительное *yak* ‘один’ является полнозначным, самостоятельным словом, но зато имя с постпозитивным показателем *-e* (возникшим из числительного ‘один’ и этимологически равным персидскому *-i*) образовало в белуджском самостоятельную форму для выражения единичности (форма единственного числа): *aspe* ‘(один, какой-то) конь’. Указательные же местоимения в белуджском довольно четко развиваются как аналитические показатели артиклевого образца: *e murg* ‘(эта) курица’.

В курдском диалекте мукри[6] фактически уже выработаны новые, специализированные формы не только для единственного, но и для множественного числа (поскольку старая форма мн. числа — с окончанием *-ān* в курдском языке в прямом падеже в классе предметных имен не представлена). Форма ед. числа в мукри с показателями *-ēk*, *-əkə*, *-ə*: *ktēbēk* ‘одна, какая-то книга’ (где *ēk* $<$ числительное ‘один’); *ktēbəkə* ‘определенная, данная книга’; *əw ktēbə* ‘эта книга’ (где конечное *-ə*, очевидно, восходит к указательному местоимению *əw* ‘этот’); формы мн. числа: *ktēbəkān* ‘определенные, данные книги’ (суффикс

[6] А также — в других южнокурдских диалектах (сулеймани, горани, аврамани, сынэи) [Эйюби, Смирнова 1968; Смирнова, Эйюби 1998; 2001; Юсупова 1985; 1998; 2000].

мн. числа -*ān*, перенесенный из старой формы мн. числа, сохранившийся в классе предметных имен лишь в косвенном падеже) и *əw ktēbānə* ‘эти книги’. Следует сделать оговорку об отделяемости этих новых формантов числа при качественном определении к имени; ср.: *əsp-ə rəš-ə ǰûan-əkə hāt* ‘пришла (определенная) черная красивая лошадь’; *əw hərmē zərd-ānə gəīštū-n* ‘эти желтые груши — спелые’.

Таким образом, курдский язык (диалектально) представляет по сути уже почти законченную схему новых, маркированных форм ед. числа, хотя и недостаточно еще унифицированную (ср. однозначные варианты *ktēb-əkə* и *əw ktēb-ə*), причем форма *ktēbə* всегда сопровождается указательным местоимением — *əw* ‘этот’ или *hōw* ‘тот’; ср. также обязательное указательное местоимение при форме мн. числа *ktēbānə*: *əw ktebānə*. Новые формы мн. числа на -*əkān* и -*ānə* употребляются во всех функциях, несмотря на то, что в косвенных функциях представлено и старое иранское множественное число на -*ān*. При этом новые формы настолько явно вытесняют старую форму на -*ān*, что ее практически уже нельзя включать в категорию числа. Фактически она не выражает множественности, обозначая класс предметов (т.е. как бы выполняет роль немаркированной формы): *gōzəkār* ***gōzān*** *dəkā* ‘горшечник изготавливает **кувшины**’. Поэтому форма на -*ān* по преимуществу употребляется в функциях, где субстантивность значительно стерта — в роли обстоятельственных слов или в роли определения: *bə* ***pēyān*** ‘**пешком**’ (букв. ‘ногами’); *kulānəy* ***mrīškān*** ‘курятник’ (букв. ‘хлев кур’); *ətə həmū-mān* ***hāwīnān*** *dəčīnə* ***kārgān*** ‘мы все **летом** ходим **по грибы**’.

Образование новых, маркированных форм ед., а также мн. числа с полной корреляцией между ними, ведет к вытеснению немаркированного имени из сферы числа, что происходит в курдском языке: немаркированное имя здесь уже почти не выражает единичности и очень редко выражает множественность. Тем самым грамматическое значение немаркированной формы сужается: происходит ее специализация по обозначению общего. Логический исход этому, — к чему курдский язык (южные диалекты) весьма близок, — полная специализация немаркированного имени для выражения общего в противопоставлении формам единичности и считаемой множественности. Курдский язык, таким образом, близок к тройной корреляции: единичное — общее — считаемая множественность (*ktēbēk* — *ktēb* — *ktēbəkān*), где средний член корреляции уже не будет составлять немаркированной формы, неся в самом себе грамматическое значение общего, класса предметов.

Отметим, что перестройка в системе категории числа имени, а следовательно, и в структуре поля количественности идет неравномерно в разных иранских языках. Из рассматриваемых здесь языков она менее всего заметна в персидском и памирских языках, но и в

них элементы грамматикализации уточнителей очень сильны (полная функциональная грамматикализация уточнителей *-i/yek*, *-ra* в персидском, артиклевый характер указательных местоимений и числительного 'один' в шугнано-рушанской группе). В этих фактах можно усматривать ту же тенденцию к образованию специализированных форм ед. числа, а следовательно, и к ограничению грамматической многозначности немаркированного имени.

4. Границы поля количественности имен

Все сказанное об особенностях категории числа в языках с немаркированным именем относится в иранских языках только к предметным и неактивным одушевленным именам. Имена, обозначающие лиц (активных деятелей), этих особенностей не имеют и функционируют как во флективных языках. Именно они образуют поле количественности в иранских языках в системе имени, тогда как предметные имена находятся в состоянии перехода в статус маркированного имени и, следовательно, — в поле количественности.

Количественное ФСП имен, обозначающих активные лица в ед. числе, сопряжено с выражением единичности. Единичность, выражаемая именами, обозначающими лица, выявляется в конкретной ситуации, представленной в тексте (в речи): перс. ***doxtär*** *kif-e xod-ra baz kärd* '**девушка** открыла свою сумку'; курд. м. ***wəsta*** *bə ǰārē qəhār bu* '**мастер** очень рассердился'; курд. з. ***pi*** *amo* '**отец** пришел'; бел. ***čorīka*** *bi yak gwālage-tā putritī* '**парень** проворно забрался в мешок'; афг. ***dukāndār*** *wlāṛ* '**продавец** ушел'; руш. ***pōtx̌ō*** *awwal ayrōn sut* '**царь** сперва удивился'.

Выражение общего именами этого класса в ед. числе представлено двумя вариантами значений: как обозначение всего того или иного класса лиц и как называние какого-либо класса безотносительно к полноте охвата (назывная функция).

1. Обозначение всего класса: перс. *tänäffos-e čänin häva-yi halät-e nimmästi be* ***adäm*** *mibäxšäd* 'вдыхание такого воздуха делает **человека** полуопьяненным'; курд. м. ***mīwān*** *lə nēw kurdān lə həmū štēk xōšəwīstʊr-ə* '**гость** у курдов дороже всего'; бел. *ay bābā,* ***ǰinik*** *zabrint yā* ***zāg****?* 'ну, батюшка, **дочери** лучше (для отца) или **сыновья**?'; афг. *dʊ* ***mariz*** *wāk dʊ* ***hakim*** *pə lās ki dəy* 'власть над **больным** в руках у **врача**'; руш. *may zamōn* ***xawruč*** *lap dōnō* 'в наше время **ребятишки** очень учены'.

2. Назывная функция: перс. *in zän o šo͡uhär* ***bäčče*** *nädaštänd* 'эти муж и жена не имели **детей**'; курд. м. *əw šəwə* ***gōrānībēž*** *u* ***dəfəzən*** *bāng nākən* 'в этот вечер **певцов** и **музыкантов** не приглашают'; бел. *man yak waxte šār u kalāte dāšta un wa* ***siyād*** *u* ***brās*** *dāšta un* 'когда-то у меня были город и крепость, были **родные** и **братья**'; афг. *paṣtānə*

də ***melmə*** *sara ḍera mina lari* ‘афганцы очень любят **гостей**’; руш. *mīθō vawt idi, pōtx̌ō sāwt x̌ār ba x̌ār uf way pacēn-ri* ***x̌̈an*** *talēptōw* ‘и вот однажды царь идет из страны в страну своим сыновьям **жен** искать’.

Предметные и неактивные одушевленные имена в отличие от имен, обозначающих лица, как имена немаркированные, сами по себе, вне контекста, без каких-либо уточнителей вообще не выражают никакого числа, т.е. являются безотносительными к числу, к количеству. Даже контекст способен указать лишь на степень обобщения понятия, выражаемого немаркированным именем, что может бесконечно варьироваться в пределах между крайней степенью обобщения и единицей. Среди практически бесчисленного множества возможных степеней обобщения как базовые, поддающиеся классификации, нами выделены следующие.

1. Весь класс (вид, род) предметов, который в русском переводе может обозначаться равным образом как единственным, так и множественным числом: перс. ***ketab*** *häme čiz-ra be ensan yad midehäd* ‘**книга** учит (=**книги** учат) человека всему’; курд. м. ***mār*** *bərtāw-ī pē xōš-ə* ‘**змея** любит (=**змеи** любят) лежать на солнце’; бел. ***pas*** *ammā-rā šīr u pašm a-dant* ‘**овца** дает (=**овцы** дают) нам молоко и шерсть’; *афг.* ***lewə*** *tər* ***spi*** *loy wi* ‘**волк** бывает (=**волки** бывают) крупнее **собаки** (=крупнее **собак**)’; руш. ***bōdiring*** *bamazā namak qatay* ‘**огурец** вкусен (=**огурцы** вкусны) с солью’.

2. Чаще же, чем случаи предельного обобщения, в речи встречается просто называние класса (вида, рода) предметов безотносительно к полноте охвата (назывная функция). В одних случаях в русском переводе здесь допускается и единственное, и множественное число, а в других только единственное или только множественное: перс. *in šähr bazar-i däräd ke tabestan äz* ***mahi*** *vä* ***holu*** *ämbašte äst* ‘в этом городе есть базар, который летом полон **рыбы** и **персиков**’; курд. м. *kārwānəkə həmū-y* ***qatьr*** *bu* ‘караван сплошь состоял **из мулов**’; бел. *kasābānā gušt̄ī: šmā* ***pas*** *pkušit* ‘мясникам сказал: режьте **овец**’; афг. *dā ye* ***ẍāṣ̌*** *pə xula kṣ̌e zib kā* ‘это **зубы** ее красуются во рту’; руш. *sa,* ***mēx*** *mu-ri xarīd ki* ‘пойди, купи мне **гвоздей**’.

3. Возможно обозначение формой ед. числа так или иначе выделенной (ограниченной) группы из данного вида (рода, класса) предметов: перс. *sobh-e ruz-e dovvom häna-ra äz* ***däst*** *o* ***pa****-ye ärus o damad mišuyänd* ‘на другой день смывают хну с **рук** и **ног** невесты и жениха’; курд. м. *šūān lə xəw rā-pərī w dīt-ī kə* ***mər*** *lə dəwrəy wī kō bōtəwə* ‘пастух проснулся и увидел, что **овцы** собрались вокруг него’; бел. *mās-ī . . .* ***pas*** *kušt̄ī, goštān-iš pakkitī* ‘мать зарезала **овец**, сварила их мясо’; афг. *bāzār kṣ̌e* ***čārmaẍz*** *waxla* ‘купи на базаре **орехов**’; руш. *pōmīrayēn* ***čod*** *tar dum kučā* ‘**домá** памирцев на той улице’.

4. Неактуальность количественной стороны встречается даже в тех случаях, когда в контексте речь идет об одном предмете: перс.

olaẍ *häm nädašt sävar šäväd* ‘он не имел даже **осла**, чтобы поехать на нем’; курд. м. *həłdəstām lə xəw,* ***gəsk****-ьm həłdəgьrt u də-m-mātī* ‘(утром) я вставал, брал **метлу** и подметал’; афг. ***kamis****,* ***partug*** *ye də spini xamtā wu* ‘**рубашка** и **штаны** на нем были из белой бязи’; руш. *tar dum mis* ***čēb*** *wuδ* ‘ей тоже дай **ложку**’. В случаях такого употребления имени для говорящего важно указание на класс предметов (назывная функция), а не на их число. Об этом свидетельствуют случаи, когда невозможно определить (а для говорящего и нет нужды определять), идет ли речь об одном предмете или о множестве, например: бел. *bra, š-ā dunyā* ***gul*** *byār* ‘иди и принеси **цветок** (и **цветы**) с того света’; руш. *dum pišak may gūẍt fukaθ taduẍč at qōq-aθ* ***sitxōn****-i lā čūǰ* ‘кошка обглодала все мясо и оставила только голую **кость** (и **кости**)’.

Таким образом, то, что в вышеприведенных случаях речь идет об одном предмете, явствует только из контекста, который, как было показано выше, может равным образом служить опорой и для других значений, выражаемых немаркированной формой ед. числа. Поэтому, выявляя значение одного предмета, контекст в то же время не способен в достаточной мере выразить это значение, сделать его отчетливым, что, собственно говоря, в таких случаях и не требуется, поскольку значение единичности здесь не является коммуникативно важным, актуальным. Актуализация же значения единичности достигается употреблением немаркированной формы ед. числа со специально существующими для этой цели средствами.

Для единичности, опирающейся только на контекст, т.е. неподчеркнутой единичности, со стертым, неявным характером, нами применяется термин «неактуализованная единичность».

5. Индивидуализация, конкретизация предмета контекстом встречается очень редко, например: перс. ***čador*** *bä sär-äš xis šod* ‘**чадра** на ее голове намокла’; курд. м. ***dūkān*** *qāzānǰ-ī nədəkьrd* ‘**магазин** не давал прибыли’; бел. ***čallaw****-am zyān kurtun* ‘а **перстень** я потерял’; афг. *dehkān* ***kāẍaz*** *nẍəṣtay, lə ʒān sara rāwaxist* ‘крестьянин сложил **записку** и взял с собой’; руш. *um ma-qāp ānin* ***pulk*** *avūg-i* ‘она принесла в своих руках железный **молот**’.

Для таких случаев уже можно было бы говорить о выражении значениия актуализованной единичности немаркированной формой числа неодушевленных предметов. Однако во всех рассмотренных языках подобные примеры чрезвычайно редки и составляют крайнюю периферию значений, выражаемых формой ед. числа предметных имен.

Не все перечисленные выше значения, выражаемые формой ед. числа предметных имен, могут быть обязательны для каждого языка. То или иное значение может отсутствовать в языке, кроме обозначения класса (вида, рода), т.е. выражения указанной формой наибольшей степени обобщения во всех иранских языках (пункты 1, 2).

Значения же выделенной группы (неопределенной множественности, совокупности) и единичности могут и отсутствовать в составе выражаемых формой ед. числа значений, или они могут быть количественно несущественны.

Так, не отмечено значение выделенной группы предметов для формы ед. числа в афганском языке и в курдском диалекте заза, где наряду с немаркированным именем существует оформленное, маркированное имя женского рода, например: афг. *maṇá* ‘яблоко’ (окончание *-á*), *zə́rka* ‘куропатка’ (окончание *-a*); курд. з. *vórə̄* ‘снег’, *łámə* ‘лапа’ (окончание *-ə*). Но зато в этих системах данная форма более интенсивно выражает неактуализованную единичность.

Курдский диалект заза выделяется тем, что имена женского рода с окончанием *-ə* в нем обозначают только единичность, а без этого окончания — значение общего. Ср.: *o hər rə̄ž* ***съсəgə*** *dano тъ* ‘он каждый день дарит мне **цветок**’ и *o dayma* ***съсəg*** *dano тъ* ‘он всегда дарит мне **цветы**’.

В персидском и рушанском языках достаточно представлен весь диапазон перечисленных выше значений.

Распределение значений формы ед. числа, а значит, и структура соответствующего ФСП в иранских языках обусловливается системными особенностями каждого языка.

5. Заключение

С особенностями формы ед. числа как безотносительного к числу неоформленного имени — предметного и неактивного одушевленного — связаны многие явления в грамматике иранских языков, составляющие своего рода системную периферию развивающегося в иранских языках ФСП предметных и неодушевленных имен. Сюда относятся:

1) несогласование в числе сказуемого с подлежащим, что наблюдается во многих иранских языках;

2) обычное для иранских языков употребление имени в ед. числе при числительных и других количественных словах;

3) отсутствие в некоторых иранских языках формы мн. числа в прямом падеже, связанное со способностью неоформленного имени по мере необходимости выражать любое число;

4) наличие в иранских языках двух типов прямого дополнения — оформленного и неоформленного; при этом содержанием неоформленного прямого дополнения является безотносительность к числу;

5) переплетение категории числа с категорией определенности / неопределенности: формы определенности / неопределенности одновременно являются и средством выражения ед. числа (единичности);

6) переплетение категории числа с категорией рода в некоторых иранских языках, где род используется для выражения единичности;

7) чрезвычайная продуктивность во всех иранских языках сложноименных глаголов, в состав которых входит безотносительное к числу имя (форма ед. числа);

8) нерасчлененность именных частей речи (существительного, прилагательного и наречия), вытекающая из неиндивидуализированности (неактуализованности) имени в форме ед. числа.

IV. ТЕОРИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ВОПРОСЫ СИНТАКСИСА

ГЛАВА XIII
ВЫСКАЗЫВАНИЕ И КОММУНИКАТИВНОСТЬ

1. Исходные положения

Под высказыванием будем понимать, вслед за Н. Ю. Шведовой, «любой линейный отрезок речи, в данной речевой обстановке выполняющий коммуникативную функцию и в этой обстановке достаточный для сообщения о чем-либо»; при этом «признаками, общими для всех высказываний, являются: 1) организация формами слов — одной или несколькими, грамматически между собою связанными; 2) функция сообщения (коммуникативная); 3) интонация сообщения: повествование, побуждение, вопрос...; 4) способность соединяться с другими высказываниями в составе текста» [Русская грамматика 1980: 83–84]. Данное понимание в «Русской грамматике» характеризуется как «широкое» в противоположность «узкому», согласно которому термин «высказывание» закрепляется только за коммуникативными единицами, не представляющими собой грамматически оформленного предложения [там же]. Широкая трактовка высказывания имеет то очевидное преимущество, что она одним понятием охватывает весь круг речевых фактов («линейных отрезков речи»), объединенных ведущим признаком — способностью реализовать коммуникативную функцию.

Вместе с тем названное преимущество неизбежно оборачивается тем недостатком, что круг явлений, подводимых под понятие высказывания, оказывается неоднородным: в него включаются как отрезки речи, организованные по грамматической модели предложения, так и многообразные отрезки, не организованные по такой модели. Следует, кроме того, учесть, что модели предложений также обладают значительным разнообразием; что под моделями предложений в данном случае следует разуметь не только структурные схемы простого предложения[1], но и модели сложных предложений; что в сфере сложного предложения имеются явления, весьма различные по степени

[1] Смысловое наполнение понятия структурной схемы предложения, вообще говоря, может быть различным в зависимости от того, как трактуются понятие предложения и его соотнесенность с понятием высказывания. Известен целый ряд концепций структурной схемы (модели) простого предложения:

© М. Я. Дымарский, 2005

регулярности — в плане соотнесенности семантики и структуры; что, наконец, высказывание — сложное предложение может быть сильно разветвленным и представлять собой соединение нескольких минимальных моделей сложного предложения. Становится ясно, что круг явлений, охватываемых понятием высказывания в указанной трактовке, не просто широк: можно предположить, что этот круг имеет полевую структуру с характерными для нее отношениями центра и периферии, инвариантности и прототипичности. Проверка этого предположения — одна из задач настоящей главы.

2. Понятие модели высказывания

При всей своей уникальности высказывания как факты речи поддаются типизации и моделированию. Высказывание может не опираться на модель предложения, но за ним всегда стоит определенная модель коммуникативной организации. Например, реплика *Не пойду!* (фильм В. Меньшова «Любовь и голуби», Надя) обладает следующими признаками: 1) наличие грамматической модели, реализацию которой представляет собой данное высказывание (здесь — модели односоставного определенно-личного предложения); 2) элиминация темы (что выражается в синтаксической неполноте: опущен обстоятельственный компонент. Данная реплика появляется в диалоге героини с тетей Шурой в ответ на совет обязательно пойти на берег реки, куда Надю пригласил на свидание провинившийся муж; поэтому полная реализация модели предложения в данной коммуникативной перспективе должна была бы выглядеть примерно так: **На*

Н. Ю. Шведовой [Грамматика... 1970; Русская грамматика 1980], А. М. Мухина [1968], И. П. Распопова [1970], Н. Д. Арутюновой [Общее языкознание... 1972], Т. П. Ломтева [1972], Г. А. Золотовой [1982], В. А. Белошапковой [1977], группы чешских лингвистов [Русская грамматика 1979], Б. Ю. Нормана [1988] и С. А. Киселева [1990]. В. А. Белошапкова попыталась свести разнообразие подходов к понятию структурной схемы в две группы: 1) понимание структурной схемы как «предикативного минимума» предложения; 2) понимание структурной схемы как «номинативного минимума» предложения [Белошапкова 1977: 101–117]. При всей существенности расхождения в акцентах, все эти подходы опираются на представление о структурной схеме как о минимальной конфигурации структурных или структурно-семантических компонентов, необходимых для реализации предикативного значения предложения; различия же производны, в частности, от различий в трактовке сущности предикативности (об этом см. ниже). В данной работе структурная схема (модель) простого предложения понимается именно в таком — обобщенном — смысле. Показательно, что в новом словаре, описывающем семантические модели глагольных предложений, авторы опираются на то же представление и используют стандартный набор структурных схем (в уточненной нотации В. А. Белошапковой) [Русские глагольные предложения 2002: 35].

свидание [вариант: *на берег*] *не пойду!*)[2]; 3) характерный интонационный рисунок: реплика произносится как бы по слогам, с акцентным выделением первого и третьего слогов и резким понижением тона на втором; 4) отсутствие осложнения вводными и вставными компонентами, обращениями, модальными частицами, междометиями.

Если же рассмотреть следующую диалогическую реплику: *Ну что ты, конечно!* (пример из [Борисова 2001: 360]), — то выяснится, что данное высказывание 1) не реализует какую-либо из грамматических моделей предложения; 2) с формальной точки зрения, не обладает актуальным членением, так как включает только междометие и вводный компонент, акцентирующий подразумеваемую рему; 3) окрашено стандартной интонацией согласия-подтверждения. (Об осложнении вводными компонентами, обращениями и прочим здесь говорить не приходится, так как отсутствует осложняемое.) Тем не менее и в данном случае перед нами вполне полноценное высказывание, функционирующее в качестве диалогической реплики; ср. диалогический контекст (речь идет о собаке, которую хозяйке не удавалось увести с автостоянки):

> А. — *Мне эти мужики-охранники говорят/ <давайте мы его на руках отнесём>/ а я <да что вы/ он прикоснуться к себе не даст/*
>
> Б. — *Не даст//*
>
> А. — *. . . кабан такой/ он вас загрызёт>*
>
> Б. — *Ну что ты/ конечно//* [там же; сохранена оригинальная нотация].

Представляется очевидным, что в обоих случаях, несмотря на глубокие различия между ними, правомерно говорить об определенной речевой модели, стоящей за каждым рассмотренным высказыванием.

Введем определение.

М о д е л ь в ы с к а з ы в а н и я — это регулярно воспроизводимая в живой коммуникации совокупность следующих признаков отрезка речи:

а) способность быть отдельной репликой в диалоге; этот признак тесно связан с признаками (в) и (д);

б) наличие / отсутствие модели предложения (структурной схемы), реализацию которой представляет собой данное высказывание;

б′) в случае наличия — характер этой модели и полнота ее реализации;

[2] Известно, что некоторые специалисты видят в определенно-личном предложении лишь регулярную неполную реализацию двусоставной модели (ср. соответствующую статью в энциклопедии [Русский язык 1979]). Если согласиться с этой точкой зрения, приведенная экспликация должна включать подлежащее: *[*Я*] *на свидание* [вариант: *на берег*] *не пойду!*

б″) в случае отсутствия — степень воспроизводимости высказывания как готового речения;

в) типовая функция высказывания в контексте и обусловленный этой функцией характер реализации и распространения схемы (последнее — для высказываний, опирающихся на структурную схему предложения);

г) характер тема-рематической организации (полная / неполная реализация компонентов актуального членения, взаимное расположение компонентов);

д) интонационное оформление;

е) наличие и позиция вводных и вставных компонентов, междометий, модальных частиц, обращений.

Из названных признаков комментария требуют, по-видимому, только признаки (б″) и (в).

П р и з н а к (б″). Приведенные выше примеры реплик различаются по этому признаку следующим образом: реплика *Не пойду!* не является воспроизводимым речением, в то время как реплика *Ну что ты, конечно!* представляет собой относительно свободное соединение двух воспроизводимых речений, из которых первое обладает вариативностью первого компонента (***Ну*** *что ты* / ***Да*** *что ты* / ***Ой,*** *что ты* / *Что ты*), а второе невариативно.

П р и з н а к (в). Под типовой функцией высказывания в контексте следует понимать в самом общем виде назначение, которое предписывается высказыванию говорящим в данных коммуникативных условиях. Понятие типовой функции высказывания по своему содержанию близко к понятию речевого жанра: ведь любое высказывание представляет собой реализацию того или иного речевого жанра (последний в данном случае трактуется в духе концепции М. М. Бахтина [1979]). Для письменного текста применяемое к высказыванию понятие речевого жанра может быть модифицировано с учетом принадлежности к определенному типу речи[3]: функционально-смысловому (описание, повествование, рассуждение), композиционно-смыслово-

[3]Связь между речевыми жанрами и типами речи составляет проблему, требующую специального изучения. Жанры речи обычно рассматривают в связи с теорией функциональных стилей (например, Т. В. Матвеева считает функциональный стиль «сопоставительным родовым понятием» по отношению к жанру речи [Матвеева 2003: 68–70]). Симптоматична, однако, точка зрения В. В. Дементьева, который трактует речевой жанр как явление «переходное между языком и речью»: «Речевые жанры составляют буферное пространство между „отчужденной“ от человека системой языка и ее реальным использованием» [Дементьев 2000: 155]. Так или иначе, существование связи между речевыми жанрами и функционально-смысловыми типами речи представляется несомненным, хотя иногда такая связь искусственно ограничивается рамками только определенного типа коммуникации: в учебнике для вузов [Культура русской речи 2001], например, такая связь прослеживается только при описании ораторской речи (автор раздела Н. Н. Кохтев).

му (информационный, демонстрационный, сентенционный) [Ильенко 2003] — или коммуникативному регистру в понимании Г. А. Золотовой (репродуктивному, информативному, генеритивному, а также повествовательному или описательному подтипам репродуктивного или информативного регистров (в монологе) и волюнтивному или реактивному подтипам всех трех основных регистров — в диалоге)[4]. Понятие типовой функции высказывания в контексте может быть соотнесено, кроме того, с типологией речевых актов: думается, что существующие типологии речевых актов, с одной стороны, и жанров речи — с другой, имеют больше точек пересечения, чем можно было бы ожидать, опираясь на глубоко различные исходные положения соответствующих теорий. Наконец, следует учитывать и несомненную связь типовых функций высказывания с функциями языка — не только коммуникативной, но также когнитивной, экспрессивной, апеллятивной, фатической. Очевидно, что функциональное своеобразие конкретного высказывания в конечном итоге восходит к реализуемой им функции языка, и в этом смысле существенным может оказаться то, что данное высказывание реализует, допустим, апеллятивную функцию: в таком случае функция сообщения практически сводится к нулю, и, следовательно, вероятность того, что это высказывание будет опираться на структурную схему простого предложения, также очень мала.

Под характером реализации и распространения схемы подразумевается комплекс индивидуальных особенностей конкретного высказывания (поддающихся, однако, моделированию), которые не предусмотрены схемой предложения и детерминируются типом отображаемой внеязыковой ситуации и интенциями адресанта. В числе этих особенностей следует назвать, прежде всего, аспектуальную характеристику и субъектно-объектную перспективу высказывания.

Понятие модели высказывания не является принципиально новым. Еще три десятилетия назад Е. Н. Ширяев предлагал считать высказывание основной единицей «разговорного языка» и определял его через понятие фразы: «Фраза — любая интонационно законченная единица (с интонацией понижения на конце). Высказывание — это: а) несколько фраз, если они очевидным образом могут быть сведены в предложение (ср.: *Я зайду к тебе // Вечером // После семи // — Я зайду к тебе вечером после семи*) или б) одна фраза, если она не входит в состав а)» [Ширяев 1975: 131]. Говоря о высказываниях типа (б), ученый подчеркивал, что даже те из них, «которые нор-

[4] Перечень регистров дан не в своем первичном (см. [Золотова 1982]), а в уточненном виде по одной из новейших публикаций [Золотова 2003: 103], где автор указывает на «текстовую функцию» (именно в смысле принадлежности к определенному регистру) как на один из трех существенных признаков предложения: «...предложение, как и синтаксема, характеризуется взаимодействием трех признаков: модель, со своим типовым значением и текстовой функцией» [там же].

мально могут функционировать только в определенных конситуативных условиях», поддаются моделированию: «. . . есть основания думать, что строение конситуативных высказываний РЯ (разговорного языка. — *М. Д.*) не есть что-то совершенно стихийное и не регулируемое языком. Конситуативные высказывания имеют свои схемы» [там же: 131–132]. Рассматривая, например, высказывания: *Подождем на троллейбусе* // ('подождем троллейбуса и поедем на нем, а не на переполненном автобусе'), *Поставь до завтра* // ('молоко в холодильник, чтобы оно не прокисло до завтра'), *Напиши индекс побыстрее говорят* // ('напиши индекс на письме, чтобы оно пришло побыстрей'), — автор предлагал интерпретировать их общую схему так: «глагол в повелительном наклонении и приглагольный член, смысл которого соотносится не непосредственно со смыслом глагола, а через смысловые звенья, ясные из конситуации и потому не вербализованные; приглагольный член называет конечную цель, которая должна осуществиться, если будет выполнено действие, названное глаголом в императиве» [там же: 132] (семантизация примеров Е. Н. Ширяева).

Наш подход к понятиям высказывания и модели высказывания, как очевидно, шире: он не ограничивается рамками разговорной речи и ориентирован на все сферы литературного языка. Кроме того, модель высказывания в нашем представлении (нетрудно видеть, что использован предложенный Н. С. Трубецким принцип «пучка признаков») далека от модели (структурной схемы) предложения. Между тем Е. Н. Ширяев стремился построить аналог последней. Одно другого, впрочем, не исключает. Подход Е. Н. Ширяева заслуживает внимания и требует развития. Для нас важнее всего то, что вопрос о моделируемости высказывания (в том числе и не опирающегося на структурную схему предложения) был поставлен в синтаксической теории уже давно. Более того, работы Е. Н. Ширяева в этом плане развивают положения, высказанные в 1960-е гг. в ряде работ Ф. Данеша, К. Гаузенбласа, П. Адамца (подробнее об этих положениях см. ниже, п. 3.2).

Изучение моделей высказывания должно составлять центральную задачу синтаксиса речи, развитие которого все еще представляет собой дело будущего, несмотря на известный призыв В. Скаличка более чем полувековой давности[5], несмотря на предложение рассматривать и разрабатывать теорию высказывания как особую отрасль лингвистики, отличную от синтаксиса предложения, высказанное Ф. Данешем еще в 1964 г. [Daneš 1964], а также на ряд работ, в которых сделаны первые шаги к осмыслению предмета синтаксиса речи, — Ю. В. Ванникова [1979] и С. Г. Ильенко [1989].

[5] Имеется в виду статья В. Скаличка «The Need for a Linguistics of „la Parole“» [Skalička 1948].

Уточняя сформулированную выше задачу, можно сказать, таким образом, что данная работа преследует прежде всего цель осмыслить понятие коммуникативности, без чего невозможно говорить и о высказывании, и о моделях высказываний.

3. Коммуникативность и предикативность

Осмысление понятия коммуникативности невозможно без обращения к тесно связанному с ним понятию предикативности. Их соотношение обычно кажется ясным. Скажем, для В. А. Белошапковой в этом комплексе понятий очевиден примат предикативности. Говоря о фундаментальном характере различия между предикативными и непредикативными синтаксическими единицами, она добавляет: «Все другие различия или производны от данного, или не всеобщи. Так, производным от признака предикативности ~ непредикативности является признак различия в функциях предложения и словосочетания, а именно функция коммуникативной единицы у предложения и неспособность словосочетания выступать в этой функции» [Белошапкова 1989: 533–534]. Е. Беличова-Кржижкова расставляет приоритеты прямо противоположным образом: «Предложение как коммуникативная единица системы языка нуждается в структурном оформлении, т.е. в сигнализации коммуникативной функции. Сигнализация же коммуникативной функции, в свою очередь, нуждается в закреплении за ней строго фиксированных языковых средств. В русском языке, равно как и в чешском или в других языках индоевропейского строя, предложение как коммуникативная единица языка опирается на предикативность» [Русская грамматика 1979: 669]. Я. Г. Тестелец, автор учебника «Введение в общий синтаксис», занимает в данном случае нейтральную позицию, ограничиваясь указанием на связь обсуждаемых понятий, но не задаваясь вопросом о том, что от чего производно: «Грамматическое свойство предикативности, которое отличает предложения от прочих видов групп, связано с типичным употреблением предложений в качестве в ы с к а з ы в а н и й, т.е. речевых отрезков, уместных в конкретной с и т у а ц и и р е ч и, в которой есть говорящий, адресат, предмет, время, место и цель сообщения» [Тестелец 2001: 233].

Дело, однако, не только в подобных теоретических расхождениях. Проблема — в границах обсуждаемых понятий.

Любой носитель языка широко пользуется речениями типа *Еще бы!*, *Неужели?*, *Еще чего!*, *Да ну?!*, *Пожалуйста* и т.п. и без труда приведет в пример десятки ситуаций, в которых они уместны, осмысленны и адекватно воспринимаются адресатами, т.е. успешно выполняют коммуникативную функцию. Между тем из цитированных формулировок В. А. Белошапковой и Е. Беличовой-Кржижковой

вытекает, что такие речения не могут быть признаны коммуникативными единицами, так как лишены выраженной предикативности. Возникает парадокс, требующий решения.

3.1. Из истории вопроса о предикативности

В. В. Виноградов, с чьим именем в русистике принято связывать развернутое системное описание категории предикативности, признавал за речениями указанного типа статус и коммуникативных, и предикативных единиц. Характеризуя категорию предикативности как «совокупность таких грамматических категорий, которые определяют и устанавливают природу предложения как грамматически организованной единицы речевого общения, выражающей отношение говорящего к действительности и воплощающей в себе относительно законченную мысль» [Виноградов 1954: 76], он указывал на «многообразие форм и способов выражения предикативности», которые «бывают морфологическими, конструктивно-синтаксическими и интонационно-синтаксическими» [там же: 82–83]. Согласно концепции В. В. Виноградова, предикативность обнаруживается как в глагольных предложениях, так и в явлениях типа *Внимание!*, *Тише!*, *Разве?*, *Едва ли!*, *Может быть!* и т. п. [там же: 80], где морфологическая опора для определения значений модальности (объективной), времени и лица отсутствует или существенно ослаблена.

Полезно иметь в виду, что концепция предикативности В. В. Виноградова, по-видимому, складывалась в том числе и как ответ на вопрос, остро сформулированный Л. В. Щербой в докладе «Очередные проблемы языковедения» (черновой текст доклада был впервые опубликован в ИАН ОЛЯ в 1945 г.). Позволим себе привести пространную цитату из этой работы:

«Смешно спрашивать: „что такое п р е д л о ж е н и е ?“: надо установить прежде всего, что имеется в языковой действительности в этой области, а затем давать наблюденным явлениям те или другие наименования. Применительно к европейским языкам, а в том числе и к русскому, мы прежде всего встречаемся с явлением большей или меньшей законченности высказываний разных типов, характеризующихся разнообразными специфическими интонациями, — повествование, вопросы, повеления, эмоциональные высказывания <...> Далее, мы наблюдаем такие высказывания, где что-то утверждается или отрицается относительно чего-то другого, иначе говоря, где выражаются логические суждения с вполне дифференцированными S и P <...> Далее, мы наблюдаем такие высказывания, посредством которых выражается та или иная наша апперцепция действительности в момент речи, иначе говоря, узнавание того или иного ее отрезка и подведение его под имеющиеся в данном языке общие понятия <...> При таких обстоятельствах оказывается совершенно неясным,

что же имеется в виду, когда мы говорим о „предложении“» [Щерба 1974: 44].

Можно полагать, что в этом контексте учение В. В. Виноградова о предикативности предстает, помимо прочего, и как попытка вернуть понятию предложения единство, причем на собственно лингвистических основаниях, вне зависимости от интонационных типов высказывания, от его совпадения или несовпадения со структурой логического суждения, от его соотнесенности или несоотнесенности с конкретной ситуацией восприятия действительности. Именно в этом можно видеть смысл характеристики предикативности как грамматической категории, всегда присущей предложению. И именно по этой причине вопрос о способах выражения в предложении предикативного значения решается В. В. Виноградовым в самом широком плане.

Между тем ученики и последователи В. В. Виноградова прямо вводят в определения предикативности признак выраженности предикативного значения в предложении. Так, Н. Ю. Шведова пишет: «Предикативность — категория, которая целым комплексом формальных синтаксических средств соотносит сообщение с тем или иным временным планом действительности» (выделено мной. — *М. Д.*) [Русская грамматика 1980: 85–86]; В. А. Белошапкова подчеркивает: «Именно в комплексе грамматических значений, соотнесенных с актом речи, опирающихся на него и его отражающих, увидел Виноградов грамматическую сущность предложения. Этот комплекс грамматических значений, всегда имеющий формальное выражение, он назвал предикативностью» [Белошапкова 1989: 533]; Г. А. Золотова формулирует: «предикативность — сопряженность предикативного признака с субъектом — его носителем, выражающая в языковых категориях модальности, времени и лица отнесенность предложения к действительности» [Золотова и др. 1998: 104]. Как пишет Е. Беличова-Кржижкова в пражской «Русской грамматике», «Предикативность заключается в обязательном выражении того, как соотнесено с точки зрения говорящего с действительностью содержание предложения в плане реальности / потенциальности его реализации <...> и, как правило, также во временном плане <...> Предикативность реализуется посредством глагола и его морфологических категорий» (выделено мной. — *М. Д.*) [Русская грамматика 1979: 669]. Последняя из приведенных цитат демонстрирует тот факт, что внимание к способу выражения в предложении его предикативного значения вполне естественным образом влечет за собой понимание предикативности как категории, в первую очередь опирающейся на морфологические категории глагола. Отсюда вытекает сужение объема понятия предикативности, что, в свою очередь, ведет к ука-

занному выше противоречию: высказывания, успешно выполняющие коммуникативную функцию, не признаются коммуникативными единицами на том основании, что они лишены выраженной предикативности.

Ю. А. Левицкий дает следующее определение: «. . . предикативность — это ф о р м а приписывания признака предмету в соотнесенности с моментом коммуникации», или, если опереться на материал цитируемой главы его книги, предикативность — это форма предикации [Левицкий 2002: 48–49].

В. В. Виноградов, как известно, стремился преодолеть отождествление категорий логики и языка, поэтому предикативность в его трактовке — именно грамматическая категория, и о предикации как о логической основе высказывания он не говорит. Однако при отсутствии эксплицитного разведения понятий предикации и предикативности возникает возможность смешения этих категорий — не в сознании создателя концепции, но в сознании читателей. Не исключено, что именно этим обусловлена критика, которой подверг концепцию В. В. Виноградова М. И. Стеблин-Каменский [1956; 1971]. Процитированное утверждение Ю. А. Левицкого вскрывает сущность того пути дальнейшего осмысления категории предикативности, который преобладал в 70–80-е годы XX в.: разграничение предикации и предикативности, даже не обязательно столь ясно, как у Ю. А. Левицкого, декларируемое, естественным образом приводит к тому, что предикативность жестко прикрепляется к морфологической выраженности.

Убеждение в том, что предикативность есть только там, где предикативное значение выражено формальными средствами, иногда приводит современных синтаксистов к решениям, не лишенным парадоксальности: например, С. Н. Кузнецов считает, что в номинативных предложениях (*Мороз*) предикативности нет, но признает их тем не менее п р е д л о ж е н и я м и — на том основании, что они способны выполнять коммуникативную функцию [Кузнецов 1984: 50].

3.2. Понятие высказывания: из литературы вопроса

В отечественной традиции в той или иной мере утвердилась плодотворная идея о необходимости различать предложение как языковую единицу, модель (структурную схему) — и высказывание как факт речи, представляющий собой реализацию языковой модели. Однако понятие высказывания трактуется различно.

Различия связаны в первую очередь с вопросом о принадлежности высказывания (в качестве единицы) к системе языка или к речи. Наиболее широко распространено представление о том, что высказывание есть факт речи. Такое представление позволяет выстраивать стройную систему языковых единиц и их речевых реализаций: от соотношения «фонема — звук» до соотношения «предложение — выска-

зывание». В то же время ряд ученых склоняется к мнению о том, что высказывание, как и предложение, обладает воспроизводимыми признаками, поддается типизации и моделированию, а следовательно, принадлежит языковой системе, в которой целесообразно поэтому выделять особый уровень — уровень высказывания (в отличие от уровня предложения). Ф. Данеш в 1963 г. подчеркивал, что «понятие высказывания нельзя отождествлять ни с единичным речевым актом (и причислять к la parole), ни с предложением как грамматической структурой» [Daneš 1963]. Позднее совместно с К. Гаузенбласом он писал: «как высказывания, так и схемы высказывания относятся к системным формациям языка» [Данеш, Гаузенблас 1974]. П. Адамец считал, что теория высказывания может, с одной стороны, выводиться за пределы синтаксиса (при узком понимании последнего), а с другой — и включаться в сферу синтаксиса при широком его понимании [Адамец 1966: 10]. И. И. Ковтунова, развивая цитированные положения, замечает (причем с большей, по сравнению с предшествующими, определенностью формулировки): «„Теория высказывания“, понимаемая в духе Пражской школы, изучает главным образом системные (хотя и не собственно грамматические) средства формирования высказывания. Поэтому высказывание следует относить не к речи (la parole), а к языковой системе (la langue)». Далее: «. . . высказывание строится по определенным абстрактным моделям (структурным схемам высказывания) и является единицей языковой системы, а не ее речевой реализации» [Ковтунова 1976: 31–32].

Под моделями высказывания И. И. Ковтунова, в отличие от Е. Н. Ширяева, понимает схемы, образуемые компонентами конструктивно-синтаксического аспекта предложения (группа подлежащего, группа сказуемого, детерминант) в различных вариантах замещения ими коммуникативно-синтаксических позиций темы и ремы (подробнее см. [там же: § 48, 76]). В этом отношении наше представление о модели высказывания непосредственно опирается на концепцию И. И. Ковтуновой, хотя тезис о принадлежности этих моделей языковой системе представляется нам дискуссионным. С нашей точки зрения, модели высказываний следует относить к синтаксической системе речи (ср. [Ильенко 1989]).

Второй аспект различий в трактовке понятия высказывания связан с границами и содержанием самого понятия. Своеобразна позиция «Русской грамматики» [1980]: «Термин „высказывание“ может быть употреблен в широком или в узком смысле. В широком смысле слова высказыванием является любая сообщающая единица — как грамматически оформленное предложение, так и (при соответствующем интонационном оформлении) единица, грамматическим предложением не являющаяся. В узком смысле высказывание — это со-

общающая единица, не являющаяся грамматическим предложением <...> В „Русской грамматике“ термин „предложение“ сохраняется для сообщающих единиц, специально предназначенных языком для передачи относительно законченной информации и имеющих <...> грамматические характеристики („образовано по специально предназначенному для этого абстрактному грамматическому образцу...“ и т.д. — *М. Д.*); по отношению к высказываниям, не имеющим таких специальных характеристик, термин „предложение“ не употребляется» [Русская грамматика 1980: 7–8].

Особое место в литературе вопроса о высказывании занимает монография В. Г. Адмони «Система форм речевого высказывания». В системе, предлагаемой В. Г. Адмони, различаются прежде всего высказывания «цельные» и «элементарные». «Под цельными высказываниями <...> понимаются те, которые охватывают все высказывание (любого характера) полностью, от самого начала до самого конца. Это любой диалог, или любое полифоническое речевое единство, любой текст любого размера» [Адмони 1994: 7–8]. «Элементарные высказывания — это мельчайшие составные части цельного единства, образующие структурные единства. В диалоге это реплика или вопросо-ответное единство, в развернутых устных и письменных высказываниях это сверхфразовое единство, абзац, а как минимальная единица предложение» [там же: 8]. Кроме того, последовательно проводится различие между высказываниями «разовыми», не рассчитанными на последующее воспроизведение, и воспроизводимыми (текстами). Отдельные главы монографии посвящены типологии разового речевого высказывания и типологии воспроизводимых высказываний (текстов). Типология разового высказывания, как показывает автор, может строиться по нескольким основаниям. Во-первых, намечена тематическая классификация (высказывания бытового, производственного, научного или учебного диалога и т.д.); во-вторых, классификация по признаку целеустановки (повествовательные, побудительные, вопросительные); в-третьих, «в аспекте аффирмативности и модальности предложения (вопросительные, отрицательные, дубитативные — с разной степенью дубитативности — предложения)»; в-четвертых, «в аспекте эмоциональности предложения (нейтральные и эмоционально повышенные предложения)» [там же: 71–75].

Дифференцируя понятия предложения и высказывания, автор подчеркивает: «... предложения являются такой же языковой реальностью, как единицы высказывания (здесь, очевидно, подразумевается высказывание в самом широком смысле, включающем и „цельные“, не ограниченные в объеме речевые произведения. — *М. Д.*), но в отличие от них входят в определенную систему, складывающуюся по-своему в каждом языке и меняющуюся в процессе языкового развития <...> мы имеем здесь дело не с соотношением языкового конструкта

и языковой реальности, а с соотношением двух форм реальности, в которых существует речевая деятельность человека. И хотя непосредственно предстает эта деятельность всегда в форме высказывания <. . . > существует эта форма в ее конкретности лишь на основе грамматической реальности, свойственной данному языку в данный момент его развития» [там же: 70–71]. Один из важнейших тезисов автора — следующий: «Предложение в своей глубинной высвобожденности из конкретных ситуационных связей, с одной стороны, само по себе является основной единицей подлинной человеческой коммуникации, единицей реального подлинно языкового высказывания, т.е. человеческим речевым высказыванием как таковым, а именно высказыванием элементарным. С другой стороны, предложение служит той основой, на которой — в результате соединения двух или большего числа предложений — создаются многообразнейшие усложненные цельные высказывания. Наконец, оформляясь в многообразные типы по тем аспектам, в которых протекает реальная жизнь предложения, оно не только обслуживает все участки речевой коммуникативной деятельности человека, но нередко выступает в преображенном, даже деформированном виде в тех функциях, при которых оно подвергается сильнейшему воздействию условий ситуации и контекста — и все же служит основой для этих деформаций, которые в конечном счете, если это не специализированные ситуационно-закрепленные коммуникативные единицы — междометия, могут быть аналитически сведены к своим развернутым предложениям-праобразам» [там же: 44–45].

Таким образом, с точки зрения В. Г. Адмони, в основе практически любого минимального высказывания лежит предложение, которое «в принципе двусоставно и связь между его составами осуществляется прочным нерасторгаемым синтаксическим отношением, а именно предикативным» [Адмони 1994: 42]. Нельзя не отметить определенную близость в этом пункте позиций В. Г. Адмони и В. В. Виноградова: подобно тому, как В. В. Виноградов считает предикативными образования вида *Внимание!*, *Тише!*, *Разве?*, *Едва ли!*, *Может быть!*, В. Г. Адмони настаивает на том, что в основе любых, в том числе и таких, высказываний лежит предложение с присущей ему предикативностью.

Концепция В. Г. Адмони привлекает глубокой продуманностью основных положений, непротиворечивостью, внутренним единством и целостностью. Особенно ценным представляется, в частности, предложенное автором разграничение «разовых» и воспроизводимых высказываний, имеющее важное значение не только для общей теории высказывания, но и для лингвистической теории текста. Вместе с тем некоторые положения оставляют поле для дальнейших размышлений. Представляется дискуссионной интерпретация диалогического единства в качестве единого высказывания. В монографии не дано

общего определения высказывания, однако материал, которым оперирует автор, является по преимуществу монологическим. Это естественно: ведь в общее представление о высказывании, из которого, как можно полагать, исходит В. Г. Адмони, включается и представление о единстве с у б ъ е к т а в ы с к а з ы в а н и я. Но такое представление исключает трактовку диалогического единства как единого элементарного высказывания.

Побуждает к размышлениям утверждение автора о том, что в основе любого элементарного высказывания лежит предложение, пусть даже сильно деформированное, и что подобные высказывания «могут быть аналитически сведены к своим развернутым предложениям-праобразам». Слово «праобраз», употребленное здесь В. Г. Адмони, позволяет думать, что автор в данном случае ставит проблему в диахроническом плане; такое предположение оправдывается и материалом всей книги, на протяжении которой автор систематически обращается к диахронии (см. в особенности гл. 1, 3, 4, 7–9). Если это предположение верно, то цитированное утверждение не вызывает никаких возражений. Но следует иметь в виду, что в синхронном плане дело обстоит иначе: высказывания типа *Внимание!*, *Тише!*, *Разве?*, *Едва ли!*, *Может быть!* и многие им подобные при своем порождении не опираются на грамматические модели предложения и соответственно не представляют собой деформированные предложения. Многие из них допускают варьирование лексического состава и многочисленных модальных оттенков, т.е. не полностью воспроизводятся в качестве готовых речевых формул, а являются продуктом взаимосвязанных процессов производства и воспроизводства. Например, высказывание *Ну-у, друзья мои...* (с характерной интонацией недовольства, разочарования или обиды) допускает не только вариации в обращении (личное имя с уменьшительно-ласкательными суффиксами или без них, *ребята, ребятки, ребятишки, ребятишечки, брат, браток, братцы, господа хорошие, друг, дружок, приятель* и т.п.), в наличии или отсутствии притяжательного местоимения или прилагательного (*мой / мои, милый, любезный*), но и введение дополнительных частиц (*Ну во-от, братцы...*). Воспроизводится в подобных случаях модель высказывания (в очерченном выше понимании), но видеть за этой моделью еще и грамматическую модель предложения, особенно двусоставного, в синхронном плане невозможно.

Значительный интерес представляет концепция В. Г. Гака[6]. С одной стороны, автор утверждает: «Наиболее целесообразно, как нам представляется, использовать термин в ы с к а з ы в а н и е в пони-

[6]Позиция, о которой идет речь, была сформулирована автором в работе «Высказывание и ситуация», опубликованной в 1973 г. в томе «Проблемы структурной лингвистики» за 1972 г. Однако автор включил текст этой статьи в качестве главы в книгу «Языковые преобразования» [Гак 1998: 243–263], и это позволяет думать, что позиция автора сохраняла актуальность до самого последнего времени.

мании, близком к определению Матезиуса и его последователей» [Гак 1998: 245]. Это должно означать, что автор принимает соответственно и противопоставление высказывания «как простейшего языкового проявления, связанного с определенной ситуацией», и предложения «как обычной типизированной грамматической формы этого проявления» [там же]. Однако в собственной трактовке высказывания ученый отстоит от Матезиуса и его последователей дальше, чем может показаться. В. Г. Гак предлагает понимать высказывание «как функциональную единицу, равновеликую предложению, но отличающуюся от последнего тем, что анализ этой единицы преследует цель не вскрыть ее общую абстрактную схему синтаксической организации, но показать, как она связана с ситуацией, какими средствами и как эта последняя описывается» [там же: 245–246]. Далее автор посвящает несколько страниц доказательству того, что высказывание следует рассматривать как языковой знак[7] и в то же время — как единицу и речи, и языка; ср.: «. . . с точки зрения динамики языка — речи — <. . . > важнейшей единицей является высказывание, поскольку именно оно является коммуникативно значимым, имеет точный референт — ситуацию, — не представляющий собой результат условного языкового членения» [Гак 1998: 248]; «именно с точки зрения реального функционирования языка знаком в языке следует считать высказывание» [там же]; «мы полагаем <. . . > целесообразным относить высказывание к речи, как к сфере реализации языка в соприкосновении с ситуацией» [там же: 250, прим. 4].

Определяя высказывание как «функциональную единицу, равновеликую предложению» и отличающуюся от последнего *целями ее анализа*, В. Г. Гак тем самым существенно изменяет характер противопоставления высказывания и предложения. В его трактовке это уже не явление и его сущность, соответственно (ср. ниже цитату из чехословацкой «Русской грамматики»), а две операциональные единицы, используемые для описания разных аспектов *одного и того же явления*. Видимо, именно по этой причине автор в дальнейшем причисляет высказывание к единицам и языка, и речи и присваивает высказыванию характеристики, присущие предложению — если последнее действительно понимать в духе В. Матезиуса и блестящей плеяды его последователей. В частности, в качестве «отли-

[7] См. также статью В. Г. Гака «О двух типах знаков в языке (высказывание и слово)» [Гак 1998: 205–209]. Автор при этом исходит из «общего определения знака», что по отношению к *языковому* знаку представляется спорным, хотя сам автор утверждает: «Языковой знак не имеет <. . . > особой специфики по сравнению с другим знаком» [там же: 208]. Трактовка высказывания как языкового знака, по нашему мнению, не согласуется со следующим — справедливым — утверждением автора: «Высказывание обозначает конкретную ситуацию в определенный момент. Всякий раз оно заново организуется (хотя по одним и тем же принципам) и не закрепляется в языке» [там же: 259].

чительных свойств высказывания» (в противоположность слову, но без упоминания о предложении) В. Г. Гак называет предикативность и модальность [там же: 247].

Пафос цитированной работы заключается, судя по всему, не столько в определении онтологического статуса высказывания, сколько в исследовании соотнесенности высказывания с ситуацией («референтом высказывания является ситуация» [там же: 251]). В этом смысле самого пристального внимания заслуживают намеченная автором основа типологии ситуаций (ситуации-манифестации с преобладанием временной координации, ситуации-отношения с преобладанием пространственной координации и смешанные ситуации, в которых представлены оба типа координации [там же: 253]) и перечень «основных черт высказывания» с их развернутой характеристикой: ситуативность, избирательность, компрессия и избыточность, направленность, информативность, эфемерность, уровневая интеграция, внутренняя форма [там же: 257–263].

Понятие внутренней формы высказывания В. Г. Гак выводит из понятия внутренней формы языка, по В. Гумбольдту, уточняя последнее с опорой на концепцию установки Д. Н. Узнадзе: «Проблему внутренней формы и различия языков обычно рассматривали с точки зрения отдельного слова. Между тем в силу того, что установка определяет целостный подход к построению фраз, следует говорить и о «внутренней форме высказывания» [там же: 262]. От внутренней формы слова «внутренняя форма высказывания» отличается следующими особенностями: 1) высказывание «почти всегда мотивировано и, следовательно, обладает внутренней формой»; 2) она «подвижна, она заново создается в каждом новом акте коммуникации»; 3) она «обычно содержит указания на признаки ряда элементов ситуации и соотношения между ними» и отражает «а) отбор обозначаемых элементов ситуации; б) способ обозначения этих элементов; в) тип устанавливаемых отношений между ними» [там же]. Понятие внутренней формы высказывания, очевидно, не случайно завершает перечень его «основных черт»: ведь особенности «внутренней формы», по сути дела, охватывают большую часть этих черт, — и ситуативность (3), и избирательность (3а), и эфемерность (2), и информативность (1, 3а–в), и уровневую интеграцию (1), и направленность (3а-в); что же касается компрессии и избыточности, то это, в сущности, свойство любых языковых проявлений.

Наше представление о модели высказывания отличается от теории В. Г. Гака отрицанием положения о том, что высказывание является языковым (речевым?) знаком. Неотъемлемое свойство языкового знака — его регулярная воспроизводимость в единстве плана выражения и плана содержания. Высказывание, за исключением готовых речений, целиком воспроизводимых в речевой практике, этим

признаком не обладает. Даже модель предложения, если признавать ее языковым знаком, воспроизводится не так, как слово — несомненно, центральный и прототипический знак в столь сложной семиотической системе, каков язык. При воспроизведении слова возможны сдвиги в плане содержания (образование переносного значения), но план выражения остается неизменным[8], и это означает, что даже при наличии сдвигов в плане содержания последний также воспроизводится целиком, но с дополнительными наслоениями, которые обычно так или иначе индуцированы контекстом. При воспроизведении же модели предложения типичны и регулярны сдвиги не только в плане содержания, но и в плане выражения (модификации способа выражения компонентов предикативного центра, детерминация, характер распространения схемы), причем эти сдвиги обусловлены и друг другом, и особенностями референтной ситуации. Это означает, что при порождении высказывания параллельно и взаимосвязанно протекают процессы воспроизведения и производства. Высказывание — это минимальное речевое произведение, которое, как и любая манифестация языка, имеет знаковую природу, но само по себе не является языковым знаком. В речевой деятельности существуют как собственно языковые знаки, так и знаковые образования разной степени и разного характера воспроизводимости; некоторые из них в разной мере приближаются к прототипическому знаку — слову (и их соответственно можно именовать квазизнаками), — но превратиться в такой же прототипический знак эти «квазизнаки» могут только при условии их полного закрепления в лексико-фразеологической системе языка в качестве целиком воспроизводимых готовых речений, т.е. при полном взаимном закреплении планов выражения и содержания. Думается, что представление о сосуществовании в речевой деятельности явлений, так сказать, разной степени «знаковости» продуктивнее, чем стремление обосновать собственно-знаковый статус все более крупных объектов — не только высказывания, но и текста.

Возвращаясь к традиции дифференцированного употребления терминов «предложение» и «высказывание», заметим, что эта традиция недостаточно устойчива. Это, естественно, ведет к некоторой неопределенности позиций. Вот фрагменты из работ известных и пользующихся заслуженным авторитетом исследователей: «Конститутивным свойством предложения является предикативность <...> фундаментальное свойство языка — субъективность — локализуется в высказывании в виде его модуса — комплекса субъективных смыслов, грамматический минимум кото-

[8] Возможное варьирование плана выражения (*творо́г — тво́рог, калоша — галоша*) не сказывается на плане содержания и, следовательно, в данном случае может не учитываться. (Данное уточнение вместе с примерами принадлежит С. Н. Цейтлин, которую автор искренне благодарит за внимательное прочтение работы и ценные замечания.)

рых — предикативность — получает в нем обязательное выражение» (выделено мной. — *М. Д.*) [Белошапкова, Шмелева 1995: 147]. Судя по контексту, речь идет не о любом высказывании, а только о таком, которое обеспечено грамматической моделью предложения, однако авторы этого не оговаривают. Еще пример: «Предикативное значение — одно из важнейших в грамматической системе русского языка; это категориальное значение предложения. Оформление высказывания невозможно без выражения предикативного значения с помощью специализированных показателей» (выделено мной. — *М. Д.*) [Лекант 1995: 165].

Впрочем, в этом положении дел нет ничего удивительного. Термин «предложение» настолько старше, привычнее и понятнее, что многозначный термин «высказывание» не может ему не уступать. В высшей степени показательно, что авторы чехословацкой «Русской грамматики» (цитируемый раздел написан Е. Беличовой-Кржижковой), введя теоретические понятия предложения и высказывания, далее говорят: «Последовательное терминологическое разграничение предложения как сущности и высказывания как проявления сущности, т.е. как явления, в лингвистической литературе не всегда имеет место, чаще всего термин „предложение“ употребляется недифференцированно как в первом, так и во <втором> значении. Этой традиции следует описание синтаксиса в настоящей книге» [Русская грамматика 1979: 668].

Не менее показательно в этом же смысле решение, к которому приходит В. А. Звегинцев в своей известной монографии: отказываясь от терминологического противопоставления предложения и высказывания (в этом случае, по его мнению, неоправданно лишаются статуса предложения случаи типа *С добрым утром!* или *Пожалуйста*), он называет предложениями то, что в указанной выше традиции именуется как раз высказываниями, и считает их соответственно единицами речи, а единицу языка — предложение как пример или как модель (и то, и другое оторвано от реальной конкретной ситуации общения) — называет «псевдопредложением» [Звегинцев 1976: 176–186]. Ср. также точку зрения И. П. Сусова: «. . . большинство лингвистов пользуются этим термином [„предложение“. — *М. Д.*] недифференцированно. Думается, что в этом нет особой беды. В случае необходимости можно говорить о предложении в широком смысле, или предложении на коммуникативном уровне, имея в виду высказывание, и о предложении в узком смысле, или предложении на синтаксическом уровне, синтаксическом предложении, имея в виду абстрактную формулу» [Сусов 1975: 62].

Так или иначе, если мы принимаем разграничение высказывания и предложения в качестве плодотворного принципа, мы оказываемся

перед необходимостью заново осмыслить понятие предикативности и его соотношение с понятием коммуникативности.

3.3. Коммуникативная функция и коммуникативность

Ведущий признак высказывания — коммуникативность. Это очевидно[9], но констатация эта малоинформативна, поскольку признак коммуникативности приписывается всем высказываниям без раскрытия его сущности. Под этим признаком обычно понимается, собственно, коммуникативная функция, или, как уточняет Н. Ю. Шведова, функция сообщения.

Понятие коммуникативной функции высказывания, как очевидно, производно от понятия коммуникативной функции языка (или, в иной трактовке, речи). Однако и понятие коммуникативной функции языка, — видимо, в силу кажущейся прозрачности — чаще всего толкуется недостаточно отчетливо. Ю. В. Рождественский, например, раскрывает это понятие следующим образом: «Коммуникативная функция языка есть такой способ рассмотрения акта речи, при котором исследуются основные социальные условия осуществления речевого акта. Поскольку при этом изучаются внутренние признаки произведений словесности, эти условия сводятся к установлению общего для обоих участников акта коммуникации знания языковых форм и значений» [Рождественский 2000: 103]; «. . . использование говорящим слов и выражений, понятных слушающему, и адекватное распознавание языковой формы этого высказывания слушающим называют реализацией коммуникативной функции речи» [там же: 62]. Приведенные формулировки не лишены парадоксальности: в первой из них, в частности, функция языка трактуется как «способ рассмотрения акта речи», т.е. явление подводится под способ его постижения. Несмотря на эту парадоксальность, мысль автора ясна: если коммуникативная функция языка / речи реализуется тогда, когда языковые компетенции говорящего и слушающего совпадают (допустим, хотя бы применительно к данному конкретному высказыванию), то второе является условием первого. Однако сущность коммуникативной функции, по-видимому, не может быть сведена к условию ее реализации. Характерно в этом смысле следующее суждение Ю. В. Рождественского: «Что касается коммуникативной функции языка, которая предполагает равенство обоих участников коммуникации, то она не может объяснить, ради каких целей и как осуществляется акт коммуникации. . . » [там же: 103].

[9] Впрочем, это очевидно только с позиций оговоренного выше понимания высказывания. В. Г. Гак ведущей функцией высказывания считает номинативную: «Более точно было бы видеть во всех аспектах структуры высказывания номинативную функцию, различая внутри нее денотативную и коммуникативно-модальную» [Гак 1998: 252].

В. И. Кодухов, рассматривая предложение как коммуникативную единицу, разграничил «три понимания коммуникации — логико-психологическое, ситуативное и информативное (когнитивное)» [Кодухов 1975: 34]. П е р в о е «состоит в том, что коммуникацию понимают как отношение языковой единицы к форме мышления — суждению» [там же]. Автор различает три разновидности этого подхода. Формально-логическая разновидность прямо соотносит предложение с суждением. Психологическая разновидность заменяет термин «суждение» термином «психологическое суждение»; коммуникация в этом случае, согласно формулировке А. А. Шахматова, оказывается «сочетанием в мышлении представлений, приведенных говорящим в предикативную связь» [там же]. Третью разновидность логико-психологического понимания коммуникации В. И. Кодухов видит в теории актуального членения: в этом случае, по его мнению, «связь предложения и суждения усматривается $<\ldots>$ в актуализации формально-логических свойств предложения, в актуальном членении предложения» [там же: 34–35]. В т о р о е понимание — ситуативное — «опирается на учение о самом акте общения» и «чаще истолковывается психолингвистически. Предложение рассматривается как составной компонент ситуации речи» [там же: 35]. Т р е т ь е понимание коммуникации «состоит в том, что она понимается как формирование и выражение конкретной мысли, как передача самого содержания информации, а не ее языковой и логической формы» [там же: 36]. Подводя итог этому обзору, В. И. Кодухов заключает: «... предложение как коммуникативная единица обладает таким существенным для него свойством, которое дает ему возможность мобилизовать языковое содержание для передачи внеязыкового конкретного содержания в понятных формах мышления и обычных формах общения. Поэтому только логический, ситуативный и конкретно-содержательный признаки, вместе взятые, характеризуют предложение как коммуникативную единицу» [там же: 36–37].

Анализ, предпринятый В. И. Кодуховым, был нацелен на выявление наиболее существенных для интерпретации предложения аспектов его устройства (ср. название цитированной статьи): выделение трех подходов к пониманию коммуникативной сущности предложения оказалось удобным для того, чтобы вывести из них аспекты организации предложения и их изучения. Например, второй подход, рассматривающий предложение как «компонент ситуации речи», ведет к изучению форм и типов речи; при этом «диалогические формы речи признаются основными», а «категория лица и связанные с ней единицы языка и формы, почти не существенные и иногда вовсе исключаемые при формально-логическом понимании коммуникации, при ситуативном понимании коммуникации становятся необходимыми и важными» [там же: 35]. Однако даже сумма «признаков предло-

жения как коммуникативной единицы» не может рассматриваться в качестве сущности коммуникативности как свойства, позволяющего высказыванию успешно осуществить свое предназначение. Эти признаки представляют собой условия коммуникативности, причем, вероятно, не всегда в равной мере обязательные и способные к многообразным комбинациям в зависимости от реальных условий функционирования высказывания-предложения. Поэтому, когда автору по стилистическим соображениям потребовалась перифраза, он прибегает к испытанной формуле: «. . . сама по себе структура предложения не является единицей сообщения: сообщение может быть передано только при помощи взаимодействия коммуникативных и номинативных средств языка» [там же: 39; выделено мной. — *М. Д.*]. Показательна и осторожная формулировка в конце статьи: «коммуникативная функция связана с формами мысли, условиями общения и передаваемой информацией» [там же: 40; выделено мной. — *М. Д.*].

Таким образом, обзор существующих истолкований коммуникации как таковой не приводит к чему-либо принципиально отличному от привычного отождествления коммуникативности и способности быть единицей сообщения. То же представление обнаруживаем, например, и в определении, которое И. П. Сусов дает «предложению на коммуникативном уровне», т.е. высказыванию: «Предложением на коммуникативном уровне можно считать структуру, которая в формальном плане обладает оформленностью вообще, без дальнейшей ее конкретизации, а в семантическом плане является сообщением о какой-либо ситуации, имеющей место в действительности или конструируемой мыслительно» [Сусов 1975: 68]. Ср. перечисление признаков предложения-высказывания у Ю. М. Скребнева: «. . . оно является средством передачи сообщения, т.е. обладает коммуникативностью» [Скребнев 1975: 116]. Примеры можно было бы умножить.

По-видимому, для того чтобы проникнуть в сущность качества коммуникативности, т.е. понять, что же обеспечивает высказыванию способность реализовать коммуникативную функцию, целесообразно использовать отрицательный языковой материал — в данном случае примеры высказываний, по какой-либо причине не реализующих свою коммуникативную функцию. Значительное количество примеров такого рода накоплено в исследованиях по речевой конфликтологии, в которых эти явления часто именуются коммуникативными неудачами.

Уточним, что под коммуникативной функцией высказывания здесь, в соответствии с традицией, подразумевается собственно функция сообщения, или вопроса, или побуждения. Эту функцию можно считать реализованной в том случае, если содержание высказывания адекватно воспринято, понято адресатом в полном объеме. Комму-

никативные намерения говорящего и их реализацию следует отличать от прагматических намерений; соответственно нельзя смешивать коммуникативную и прагматическую функции высказывания. В работах по прагматике (а еще чаще — в университетских аудиториях) регулярно приводятся примеры типа: 1) — *Закрой окно.* — *Сама и закрой...*; 2) — *Мне кажется, становится прохладно...* — *Ну, если тебе прохладно, то закрой окно...* В обеих диалогических парах перлокутивный эффект, программируемый иллокутивной силой первых реплик, не достигнут, т.е. не реализована их прагматическая функция; но это вовсе не означает, что не выполнена коммуникативная функция первых высказываний: напротив, их содержание понято адресатами адекватно и полно, о чем содержание вторых реплик свидетельствует недвусмысленно[10]. Строго говоря, прагматическую функцию следует закрепить не за высказыванием (и тем более не за предложением), а за речевым актом (ср. работу [Вахтель, Голицына 2001]).

Уточним также, что нас не будут интересовать примеры, в которых высказывание адресанта не реализует коммуникативную функцию из-за явного несовпадения языковой компетенции говорящего и слушающего (употребление неизвестной адресату лексической единицы, использование по-разному оцениваемого стилистически окрашенного средства, неадекватное построение синтаксической конструкции и т.п.). При отборе всех приводимых ниже примеров в качестве обязательного условия выступало полное и адекватное понимание адресатом вещественного содержания высказывания адресанта.

Итак, среди множества разновидностей коммуникативных неудач (см., например [Аспекты речевой конфликтологии 1996]) особое место занимают ситуации непонимания, которые строятся по схеме: [Реплика-высказывание 1] — [Реплика-высказывание 2 — вопрос о соотнесенности высказывания 1 с данной ситуацией].

Стандартными реализациями реплики 2 являются вопросительные высказывания либо модального типа (*К чему ты это говоришь?*, *Почему ты говоришь это мне?*, *Зачем ты мне об этом говоришь?*), либо диктального типа (*Что вы имеете в виду?*, см. также ниже: *Какая свадьба?* и т.п.). В простейших случаях подобные диалогические единства имеют место, когда второму участнику коммуникации реплика 1 кажется неожиданной, так как неясна ее соотнесенность с самой ситуацией общения: ее обстоятельствами, участниками, предметом разговора (при том подчеркнем, что собственно предметное содержание этой реплики ему понятно). Рассмотрим в качестве примеров два диалогических единства из «Горя от ума» А. С. Грибоедова:

[10] Мыслью написать этот абзац я обязан Е. А. Быстрике, которую, пользуясь случаем, искренне благодарю.

(I) Ф а м у с о в . <. . . > Скажи, тебе понравилась она (София. — *М. Д.*)? / Обрыскал свет; не хочешь ли жениться? Ч а ц к и й . А вам на что? (д. II, явл. 2).

Чацкому, в этот момент поглощенному мыслями о Софии, непонятно не то, что́ говорит Фамусов, но то, почему именно Фамусов его об этом спрашивает, т.е. неясна соотнесенность содержания реплики говорящего с фигурой самого говорящего. Заметим, что Фамусову хватает чувства юмора оценить рассеянность Чацкого, ответить на его невежливый вопрос спокойно и прямо, с мягкой ироничной литотой («Меня не худо бы спроситься, Ведь я ей несколько сродни. . . ») — и коммуникативное недоразумение разрешено: к Чацкому возвращается способность ориентироваться в ситуации, и в следующей реплике он не только отвечает на исходный вопрос Фамусова (хотя в предположительной модальности), но даже подчеркивает свой интерес именно к его мнению («Пусть я посватаюсь, вы что бы мне сказали?»)[11].

(II) Л и з а . А вам, искателям невест, / Не нежиться и не зевать бы; / Пригож и мил, кто недоест / И недоспит до свадьбы. М о л ч а л и н . Какая свадьба? с кем? (д. IV, явл. 12).

Сходным образом, Молчалину вполне понятен смысл реплики Лизы, но, так сказать, в отвлеченном плане; ему совершенно неясно, какое отношение эта реплика имеет непосредственно к нему — второму участнику диалога, — поскольку ни о какой свадьбе он не помышляет и руки Софии не «ищет». Таким образом, высказывание Лизы — заметим, вполне дееспособное — не достигает цели.

Близкую ситуацию описывает Р. Киреев в романе «Подготовительная тетрадь»:

(III) Свечкин мыслил.

— Как было бы хорошо, — произнес он, напряженно усмехнувшись, — если бы все на земле думали только о хольнителях и пуговицах.

Сигарета замерла в моей руке. Ч т о п о д р а з у м е в а л С в е ч к и н ? Я п р я м о с п р о с и л е г о о б э т о м , и он, помедлив, ответил (выделено мной. — *М. Д.*).

[11] Еще более выразительный пример неясной для адресата соотнесенности высказывания адресанта с самим адресантом — знаменитая телеграмма, полученная Поплавским в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: *Меня только что зарезало трамваем на Патриарших. Похороны пятницу, три часа дня. Приезжай. Берлиоз.* В этом случае адресат обеспечивает удовлетворяющее его понимание рассуждением: «Очень просто. Произошла ошибка, и депешу передали исковерканной. Слово „меня“, без сомнения, попало сюда из другой телеграммы, вместо слова „Берлиоза“, которое приняло вид „Берлиоз“ и попало в конец телеграммы. С такой поправкой смысл телеграммы становился ясен. . . »

Здесь второму участнику коммуникации неясно, как соотносится высказывание Свечкина с предметом разговора — центральным компонентом акта общения — и его участниками.

Еще один пример (нумерация реплик здесь и в последующих примерах наша. — *М. Д.*):

> (III.I) — Пошли, — сказал Домарощинер. — Но я констатирую, что вы не ответили ни на один мой вопрос. Вы меня очень огорчаете, Перец. Разве так можно? — Он посмотрел на большой блокнот и, пожав плечами, сунул его под мышку. — Странно даже. Решительно никаких впечатлений, я уже не говорю об информации. Сплошная неясность.
>
> (1) — Так а что отвечать? — сказал Перец. — Просто мне нужно было здесь поговорить с директором.
>
> Домарощинер замер, словно застряв в кустах.
>
> (2) — А х , в о т к а к э т о у в а с д е л а е т с я , — сказал он изменившимся голосом.
>
> (3) — Что делается? Ничего не делается...
>
> (4) — Н е т - н е т , — шепотом сказал Домарощинер, озираясь. — М о л ч и т е и м о л ч и т е . Н е н а д о н и к а к и х с л о в . Я у ж е п о н я л . В ы б ы л и п р а в ы .
>
> (5) — Что вы поняли? В чем это я прав?
>
> (6) — Нет-нет, я ничего не понял. Не понял — и все. Вы можете быть совершенно спокойны. Не понял и не понял. И вообще я здесь не был и вас не видел. Я, если хотите знать, все утро просидел на этой скамеечке. Очень многие могут подтвердить. Я поговорю, я попрошу... (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Улитка на склоне).

Реплика Переца (1) заставляет Домарощинера резко изменить свою позицию по отношению к собеседнику. До этого он, состоящий в «группе Искоренения», чувствовал себя в разговоре с Перецом хозяином положения и вел беседу в слишком хорошо знакомом стиле: «... На вашем месте я бы прямо рассказал мне все. И все расставил бы на свои места. Откуда вы знаете, может быть, есть смягчающие обстоятельства и вам в конечном счете ничто не грозит. А, Перец?» и т.д. Теперь этот образцовый функционер так же убежден в существовании неведомой ему связи между Перецом и директором — и, следовательно, в своем непростительном служебном промахе, — как до реплики (1) был убежден в пока неведомой, но несомненной виновности Переца. Реплика (2) означает '*вот каким образом происходят ваши негласные встречи с директором*', причем местоимением *у вас* Домарощинер объединяет своего собеседника и директора в единое

целое; реплика (4) означает '*я понял мотивы вашего скрытного поведения, и вы были правы, не отвечая на мои вопросы, а я, наоборот, не имел права их задавать*'. Реплики же (3) и (5) свидетельствуют об искреннем недоумении Переца, которого на самом деле с директором ничто не связывает и который в предшествующем разговоре ничего не утверждал. «Сверхпонимание» и мнительность трусливого Домарощинера, таким образом, ведут его к столь резкому изменению своей позиции, что смысл его реплик (2) и (4), и прежде всего их соотнесенность с предметом разговора и позициями коммуникантов друг относительно друга, оказывается для собеседника неясным.

Приведем в качестве дополнительной иллюстрации фрагмент расшифрованной магнитофонной записи реального бытового диалога коммуникантов М. и ВВ. (оба рабочие; М. — 27 лет, студент заочного отделения филологического факультета, ВВ. — 46 лет, образование среднее специальное; разговор происходит в нерабочее время в подсобном помещении завода; ВВ. занят ремонтом спидометра автомобиля, М. время от времени ему помогает и ведет фатический диалог, одна из сквозных тем которого — правильность речи; ВВ. к этой проблеме относится скептически). По классификации Н. Д. Арутюновой, это в основном диалог-5, т.е. праздноречевая деятельность, в ее эмоциональной и артистической разновидностях, с ярко выраженными элементами диалога-3 («обмен мнениями с целью принятия решения или установления истины») и диалога-4 («установление или регулирование межличностных отношений») [Арутюнова 1999: 650–652]. Сохранена нотация источника[12] (выделено мной. — *М. Д.*):

> (III.II) М. Да конечно / откуда мне знать / я не обладаю под руками какой-то справочной литературой / не смогу объяснить конечно там что-то // ВВ. Ну не сволочь / вот и всё // М. Конечно / откуда мне что знать // ВВ. Понял // М. Ну значит поня′л / о! / сразу понял / я что не поня′л? ВВ. Как хочу так и говорю // М. Ну как хочу / ну я понимаю / к а ж д ы й х о ч е т / и л и х о т и т ? ВВ. Что хочет? / ты договаривай // М. Или хотит? ВВ. Что ты хочешь сказать? М. Ну ты сам знаешь // ВВ. Нет я не знаю // М. Каждый хочет // ВВ. Ну что хочет? / ну что хочет? М. Я забыл как там // ВВ. Ну что? / что хочет? М. Ну любимое твоё занятие-то // ВВ. Какое моё любимое занятие? / а? // М. Ерундой заниматься // ВВ. Какой ерундой? М. Слушай / ты меня уже достал / что ты ко мне привязался а?

Как видно из развития диалога после выделенной реплики, ВВ. не понял смысла вопроса о правильном образовании формы глагола

[12] Текстотека кафедры риторики и стилистики русского языка Уральского государственного университета.

хотеть, поэтому, для того чтобы соотнести этот вопрос с предметом разговора и его участниками, ему требуется дополнение (ср. следующую за выделенной реплику).

Сходный пример разбирает Ю. В. Рождественский, размышляя о коммуникативной функции речи: «Например, преподаватель, войдя в класс, видит запачканную классную доску и произносит с возмущением: „*Дежурный, что это?*“ Дежурный отвечает: „*А что это?*“ — к а к б ы н е д о у м е в а я , о ч е м в о п р о с. Экспрессивная функция высказываний различна: преподаватель возмущен тем, что доска не вытерта; дежурный успокаивает: „У нас все в порядке, стоит ли волноваться?“ Оценочная функция высказываний также различна. Дежурный: „Вот пристал, что особенного, забыли стереть!..“; преподаватель: „Хулиган, еще передразнивает!“» [Рождественский 2000: 62]. Здесь дежурный демагогически имитирует непонимание (ср. выделенный нами комментарий автора. — *М. Д.*), используя типичный вариант диалога с переспросом, нацеленным на «исправление» коммуникативной неудачи.

Несколько более сложный вариант такой ситуации описывает И. С. Тургенев в хрестоматийно известной сцене спора Базарова и Павла Петровича Кирсанова:

> (IV) — Позвольте вас спросить, — начал Павел Петрович, и губы его задрожали, — по вашим понятиям слова «дрянь» и «аристократ» одно и то же означают? <. . . > Вспомните, милостивый государь <. . . > английских аристократов. Они не уступают иоты от прав своих, и потому они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в отношении к ним, и потому они сами исполняют с в о и обязанности. Аристократия дала свободу Англии и поддерживает ее.
>
> — Слыхали мы эту песню много раз, — возразил Базаров, — но что вы хотите этим доказать? («Отцы и дети», X).

Здесь стандартный вариант развития диалога используется Базаровым с откровенным прагматическим расчетом: делая вид, что не понимает, какое отношение имеют к предмету разговора а н г л и й с к и е аристократы (разговор об аристократии начался, напомним, с пренебрежительного отзыва Базарова об одном из соседей Кирсановых), он вынуждает оппонента прямо сформулировать выдвигаемый тезис, что, безусловно, труднее ссылки на прецедент, к которой прибег Павел Петрович в своем монологе; в результате волнение Кирсанова усиливается, тем более что предполагаемая им убедительность аргумента уже дезавуирована Базаровым («Слыхали мы эту песню. . . »).

Еще более сложный случай, сочетающий пример сознательного использования все той же диалогической схемы в демагогических

целях и пример ее стандартной реализации, обнаруживаем в «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова:

> (V) Только тогда бедный страстный юнкер заметил мое присутствие.
>
> (1) — Ты видел? — сказал он, крепко пожимая мне руку. — Это просто ангел!
>
> (2) — Отчего? — спросил я с видом чистейшего простодушия.
>
> (3) — Разве ты не видал?
>
> — Нет, видел: она подняла твой стакан. Если б был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить на водку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу. . .
>
> — И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее?..
>
> — Нет.
>
> Я лгал; но мне хотелось его побесить («Княжна Мери», 11-го мая).

Печорин, как видно из ремарки к реплике (2), лишь делает вид, что ему неясно, отчего Грушницкий назвал княжну Мери ангелом (1); его прагматические намерения вполне раскрываются в последующем изложении. Однако Грушницкий в реплике (3) выражает искреннее непонимание; ему непонятно, как можно, будучи свидетелем гуманного поступка княжны, спрашивать, отчего она «ангел». Отсюда и его вопрос, нацеленный на выяснение тождества / различия пространственно-временной локализации обоих партнеров в ближайшем прошлом и, как следствие, владения / невладения предметом разговора.

Во всех приведенных примерах коммуникативные неудачи вызваны тем, что коммуникативная функция вполне дееспособных, грамматически правильных высказываний не реализована или реализована неполно — по причине неясной для собеседника соотнесенности предметного содержания высказывания (или даже его отвлеченного смысла) с данной конкретной коммуникативной ситуацией.

Из сказанного можно сделать вывод, что *способность реализовать коммуникативную функцию сообщается высказыванию его соотнесенностью с данным коммуникативным актом*. Ни наличие предикативной структуры, ни интонационная оформленность, ни актуальное членение и прочие признаки высказывания сами по себе еще не гарантируют ему заведомого выполнения коммуникативной функции, для

реализации которой оно предназначено. Такую гарантию может дать только ясная для адресата соотнесенность высказывания с коммуникативным актом, именно — с его базовыми компонентами: ego, tu, hic et nunc, — а также с предметом разговора. В примерах (I–III.II) мы видели неясную для адресата первой реплики ее соотнесенность с ego адресанта (I), с tu адресанта[13] (II), с тем и другим и с предметом разговора (III–III.II).

Каким же образом осуществляется эта соотнесенность, если даже правильно оформленная предикативная конструкция, как выясняется, не может ее гарантировать? Выдвинем следующую гипотезу.

Человеческая коммуникация опирается на фундаментальную презумпцию: если некто здесь и сейчас сообщает мне нечто, то это сообщение имеет непосредственное, прямое отношение ко мне, к нему, к нашему с ним общему положению во времени и пространстве, к тому, что нас с ним, помимо общей локализации во времени и пространстве, в данный момент связывает (например, к предмету разговора). Эта презумпция представляет собой инвариант, лежащий в основе огромного множества вариантов коммуникативных актов. На этот инвариант, в частности, опираются коммуниканты, использующие указанную презумпцию в демагогических целях (примеры IV–V). Именно эту презумпцию раньше всего усваивает ребенок через так называемый инпут — речевую продукцию матери и других близких, адресованную ему (ср. типичные высказывания инпута, в которых указанная прямая соотнесенность очевидна: *Вот и папа пришел!*[14], *Собачка делает ав-ав*; *Машенька очень хочет кашки*; *Вот Машенька ест кашку*; *Машенька молодец*; *Что машинка делает? Машинка едет*; *Мишка упал, ему больно* и т.п.). И. Н. Горелов, характеризуя первую стадию интеллектуально-речевого онтогенеза (стадия «сенсомоторного мышления», возраст до двух лет), предлагает именовать эту стадию «преимущественно рецептивно-репродуктивной» и подчеркивает, что в этом возрасте «дети почти не говорят вне ситуации, да и рецепция обращенной к ним речи успешно осуществляется также в типичной ситуации. Доказательством этому служит, например, тот факт, что, разговаривая по телефону, дети, как правило, не могут отвечать на хорошо знакомые им вопросы, выполнять просьбы, которые

[13]Если считать исходя из позиции адресанта первой реплики, адресат для него — tu.

[14]Заметим, что грамматическое значение прошедшего времени здесь нисколько не мешает соотнесенности высказывания именно с актуальным настоящим, поскольку форма прошедшего времени здесь имеет перфектное значение, близкое к англ. Present Perfect. Данное высказывание может иметь двойную адресованность, особенно в устах матери (она комментирует ребенку наблюдаемое им событие и одновременно выражает радость по поводу прихода мужа), но доминирует первая адресованность, так как мать использует номинацию *папа*, т.е. описывает ситуацию с позиций ребенка — так же, как и в дальнейших примерах (см., в частности, характерные деминутивы *собачка, Машенька, машинка*).

легко понимаются и выполняются ими в ситуации непосредственного общения» [Горелов 2003: 22–23].

Сходные представления обнаруживаем в учении Карла Бюлера об указательном поле языка. В книге «Теория языка», в параграфах, посвященных проблеме предложения, К. Бюлер неоднократно высказывает мысль о том, что наиболее древним является тип ситуативно зависимого предложения, которое, в силу неразрывной привязанности к ситуации общения, не нуждается в категориях, имеющих дейктическую природу. С этой точки зрения, развитие синтаксических систем индоевропейских языков предстает как процесс освобождения предложения от ситуативной зависимости: «... потребность в освобождении репрезентативного содержания речи от актуального указательного поля возникает в нарративной речи. Одноклассные системы дейктических призывов можно считать первым этапом великого процесса эволюции человеческого языка. Но в дальнейшем однажды появилась потребность включить отсутствующее, т.е. освободить высказывание от ситуативной зависимости. В языке, на котором мы говорим, даны средства такого освобождения для двух основных случаев. Высвобождение языкового высказывания из указательного поля наглядной демонстрации в нашем собственном языке начинается или в локально-темпоральной сфере, когда вводится специальный назывной знак, замещающий первоначально не оформленный (по причине ситуативной определенности) *здесь-сейчас*-дейксис..., или с первоначально также не оформленного (опять же по причине ситуативной заданности) *Я*–дейксиса (глагольное предложение)» [Бюлер 1993: 348]. Полностью солидарен с К. Бюлером в этом пункте В. Г. Адмони: «... для развития человечества значение внеситуационного предложения невозможно переоценить. Только в его рамках оказались возможными создание подлинно обобщенных высказываний, развитие теоретической мысли человека, возникновение науки во всех ее видах» [Адмони 1994: 48][15]. Полагаем, что концепция К. Бюлера может служить надежным фундаментом для предположения о «презумпции отнесенности», лежащей в основе любого коммуникативного акта.

В работах по прагматике неоднократно обсуждался ставший уже хрестоматийным пример из широко известной сказки о мальчике-шутнике, который несколько раз криками *Пожар!* обманывал односельчан, сбегавшихся к нему на помощь, а впоследствии остался без помощи, когда случился настоящий пожар. Этот пример использовался для подкрепления тезиса о презумпции истинности, лежащей в основе коммуникации. Однако очевидно, что он может слу-

[15] В. Г. Адмони возражает К. Бюлеру только по поводу «нарративной речи», считая, что она не могла служить средой, в которой возникает потребность освободить высказывание от ситуативной зависимости, так как «сама возможность повествования возникает лишь тогда, когда у человека появляется способность создавать предложения, не прикрепленные к ситуации» [Адмони 1994: 31].

жить не менее убедительным доказательством существования «презумпции отнесенности»: ведь соседи сбегались на помощь мнимому погорельцу не только потому, что принимали его высказывание за истинное, но и прежде всего потому, что воспринимали его как сообщение о том, что́ имеет место здесь, сейчас и прямо относится по меньшей мере к одному из односельчан (а следовательно, и ко всем остальным).

Пример противоположного, в определенном смысле, свойства обнаруживаем в своеобразном эксперименте, который описывают И. Ильф и Е. Петров в романе «Золотой теленок». Остап Бендер отправляет подпольному миллионеру Корейко телеграмму: *Графиня изменившимся лицом бежит пруду.* Подписи нет; никаких признаков отнесенности содержания телеграммы к данному адресату, даже косвенных, тоже нет — за исключением того, что она адресована Корейко. Но этого оказывается достаточно для того, чтобы последний задумался над смыслом. . . — которого нет, как и в случае с телеграммой *Грузите апельсины бочками.*

Отвлечемся от Корейко и представим себе, скажем, кошку, которая отдыхает (но не спит). Раздается некий звук — кошка внимательно прислушивается, пытаясь локализовать и идентифицировать его источник. Зачем? Очевидно, чтобы не пропустить опасность или нечто важное. Она не знает, имеет ли этот звук какую-либо связь с чем-либо опасным для нее или съедобным, является ли он сигналом чьих-либо намерений в отношении нее, и она не успокоится, пока не оценит раздражитель с этих позиций. Поведение животного диктуется инстинктами (прежде всего инстинктом самосохранения), действие инстинкта включается первой сигнальной системой.

Остроумие эксперимента Бендера можно видеть в том, что, используя код в т о р о й сигнальной системы (т.е. правильное языковое высказывание), он прямо апеллирует к сфере, которая изначально обслуживается п е р в о й сигнальной системой адресата, минуя вторую, т.е. апеллирует к инстинкту самосохранения[16]. Логика Корейко ничем не отличается от логики любого человека: если это адресовано мне, значит, это имеет ко мне какое-то отношение, т.е. Корейко исходит из «презумпции отнесенности», которая, как можно предположить, генетически связана с одним из базовых инстинктов[17]. Но поскольку смысла нет, постольку расшифровать его Корей-

[16] В то время как обычно противоположное: использование первой сигнальной системы и, соответственно, неязыковых знаков в качестве эквивалентов языковых сообщений, воспринимаемых второй сигнальной системой (например, цветок в окне как знак провала конспиративной квартиры).

[17] Данное предположение не должно казаться совершенно невероятным. Интереснейшие размышления о глубинных связях базовых инстинктов животных и константах человеческого поведения, в том числе и речевого, с опорой на исследования лауреата Нобелевской премии К. Лоренца, см. в [Формановская 2003].

ко не удается. Коммуникативная функция высказывания о графине не реализована и не могла быть реализована, так как отправитель и не вкладывал в него никакой коммуникативной функции: он послал подпольному миллионеру, так сказать, коммуникативный нуль (однако с ненулевым экспонентом!)[18]. Тем большее беспокойство испытывает получатель — на что и рассчитывал Бендер.

Не требуется, впрочем, особой проницательности, чтобы увидеть, что «презумпция отнесенности» имеет прямое отношение и к прагматике. Точнее, она имеет как грамматическую, так и прагматическую природу. В самом деле: отношение последовательности языковых знаков к участникам коммуникации и обратное отношение, согласно классическим определениям, составляют предмет прагматики; вместе с тем отношение той же последовательности к актуальному настоящему представляет собой один из классических вопросов грамматики; отношение высказывания к предмету разговора, т.е. к содержанию предыдущих высказываний, изучалось риторикой, стилистикой, грамматикой текста. Другими словами, коммуникативность есть то качество высказывания, которое органично соединяет в себе как прагматические, так и грамматические его аспекты.

Глубинная связь прагматики и грамматики — мысль не новая: сошлемся хотя бы на замечательную работу [Бергельсон, Кибрик 1981]. Однако выдвигаемый нами тезис, как кажется, вносит новый акцент в постановку этой проблемы. Если в указанной работе авторы ставят во главу угла «прагматический принцип Приоритета» и интерпретируют грамматические механизмы как продукты кристаллизации

[18] Это утверждение может быть оспорено на том основании, что телеграммы Бендера своим содержанием должны были вызвать у Корейко смутные, но тревожные ассоциации и мысли (*изменившимся лицом... к пруду... топиться? грузите бочками... чего от меня хотят? кто?* и т.п.), т.е., по замыслу отправителя, произвести впечатление (мнимой) многозначительности. Действительно, Бендер не мог отправить Корейко абсолютно произвольный текст: если бы это была традиционная телеграмма (*Тетя приезжает пятницу трехчасовым московским*), адресат счел бы ее результатом почтовой ошибки и не обратил бы на нее внимания; если бы это была фраза, вызывающая более приятные ассоциации (*Графиня торжествующим лицом входит залу*), эффект тоже был бы слабее желаемого. Однако это лишь сопутствующий фактор, которым Бендер и пользуется попутно; решающую роль играет все-таки факт последовательного отправления одному и тому же адресату бессмысленных телеграмм. Первая телеграмма адресата озадачила, но в конце концов он успокаивает себя тем, что это «какая-то ошибка». После получения второй телеграммы Корейко встревожен не на шутку, так как «списать» и ее на почтовую ошибку уже невозможно. Полное отсутствие смысловой связи между первой и второй телеграммами подтверждает нашу интерпретацию этих высказываний как «коммуникативных нулей». Подлинной коммуникативной функцией в данном случае обладает упомянутый факт последовательного отправления адресату бессмысленных телеграмм, т.е. ряд действий, включающих в себя речевые высказывания; но это не равносильно наличию коммуникативной функции у самих этих высказываний.

этого принципа в словесных образцах, то в нашем случае речь идет об органичном слиянии прагматики и грамматики высказывания в его важнейшем качестве, которое, собственно, и делает его высказыванием, — в коммуникативности.

Таким образом, именно наличие соотнесенности с актуальным временем-пространством, участниками и предметом данного акта общения обеспечивает высказыванию социально значимую коммуникативную функцию, является важнейшим и фундаментальным условием ее реализации. Исходя из этого, под коммуникативностью целесообразно понимать соотнесенность содержания высказывания с базовыми параметрами данной ситуации общения.

3.4. Соотношение коммуникативности и предикативности

В свою очередь, соотнесенность с данным коммуникативным актом есть первичное условие более широкой соотнесенности высказывания с действительностью.

Представляется целесообразным различать соотнесенность содержания высказывания с действительностью (эта соотнесенность шире, так как включает, по меньшей мере, разные модальные, временные и пространственные планы) — и с данным коммуникативным актом как несравненно более определенным и узким фрагментом действительности. Вторая соотнесенность более у́же еще и потому, что не предполагает варьирования модальных, временных и пространственных значений: если кто-либо говорит мне нечто, то это имеет место в действительности в данное время и в данной точке пространства[19]. Однако эта вторая соотнесенность имеет базисный характер: она наличествует в любом высказывании, первая же — только в таком, где вторая выражена грамматическими средствами. Это различие не вполне учтено, например, в формулировке: «... содержание предложения всегда актуализировано, соотнесено с действительностью, с актом коммуникации» [Белошапкова 1989: 533]. Здесь вызывает возражение представление понятий действительности и акта коммуникации как понятий одного порядка, почти синонимов.

Однако указанное первичное условие не является единственным.

Коммуникативность высказывания может быть подкреплена грамматически — предикативной структурой (предложением), лежа-

[19] Стихийное языковое сознание учитывает этот факт: ср. пословицу *Слово не воробей, вылетит — не поймаешь* и устойчивые формулы типа *На всякий случай: я тебе этого не говорил*; *Предположим, я говорю тебе сейчас следующее...* и т.п., которые представляют собой специализированные модусные рамки, отменяющие действительный статус последующего высказывания. Ср. также упомянутую реплику Чацкого: *Пусть я посватаюсь...*

щей в его основе. В этом случае высказыванию обеспечивается более широкая сфера функционирования, поскольку соотнесенность с данным коммуникативным актом в нем в ы р а ж е н а, а следовательно, высказывание может быть более или менее адекватно интерпретировано, с опорой на эту выраженность, третьими лицами — разумеется, при том условии, что им известна локализация данного коммуникативного акта во времени, пространстве и социуме. Заметим, что само по себе словосочетание «соотнесенность с данным коммуникативным актом» в буквальном смысле означает прежде всего отнесенность к актуальному настоящему и непосредственным участникам акта общения. Именно это значение автоматически прочитывается в любом высказывании, не содержащем спрягаемой глагольной формы (если предложение, конечно, не является неполным в структуре диалогического единства, например: — *Ты мне завтра когда позвонишь, в восемь или позже? — В три, конечно*).

Спрягаемая форма глагола есть именно то средство, которое сообщает содержанию предложения возможность быть соотнесенным с более широким кругом временных и модальных планов с опорой на актуальное настоящее и реальную действительность текущего коммуникативного акта (ср. концепцию К. Бюлера). Иначе говоря, наличие спрягаемой формы (в том числе и нулевой) является вторым условием более широкой, по сравнению с границами данного коммуникативного акта, соотнесенности высказывания с действительностью.

Однако коммуникативность высказывания может быть и не подкреплена предикативной структурой. Правомерно ли утверждать, что и в этом случае за высказыванием — на синхронном срезе — стоит грамматическая модель предложения? Такое утверждение оставляет в стороне глубочайшие различия между явлениями вида *Я ехал на перекладных из Тифлиса* (М. Ю. Лермонтов) и, скажем, *Вот еще!* (Н. В. Гоголь, «Ревизор», д. II, явл. VIII, часть реплики Хлестакова). Отсутствие спрягаемой формы глагола делает г р а м м а т и ч е с к о е в ы р а ж е н и е соотнесенности с действительностью в к о м п л е к с е к а т е г о р и й модальности, времени и лица невозможным (еще раз подчеркнем: невозможным становится в ы р а ж е н и е соотнесенности, а не сама соотнесенность). Соотнесенность может быть, как известно, неграмматически выражена лексическими средствами, однако и наличие таких лексических показателей (местоимений, обстоятельств времени, вводно-модальных слов, частиц и проч.) отнюдь не является признаком любого высказывания.

Сущность теоретических расхождений в данном случае сводится, повторим, к трактовке категории предикативности. Если трактовать предикативность как категорию, скорее, понятийного характера, опирающуюся на широкий спектр средств воплощения предикатив-

ного значения, не обязательно грамматических и в том числе контекстуальных и конситуативных, находящихся за рамками данного высказывания, — тогда следует признать, что ученики и последователи В. В. Виноградова сужают трактовку предикативности, «привязывая» ее к определенным средствам выражения. Тогда следует согласиться с тем, например, что высказывание *Вот еще!* обладает предикативным значением, которое аналитически выводится следующим образом. Это высказывание выражает нежелание что-либо делать, неприятие некоторой перспективы, отнесенное 1) к первому синтаксическому лицу, так как касается перспективы отправиться в тюрьму для говорящего и в ближайшем контексте фигурируют местоимения 1-го лица (*Хлестаков. Нет, я не хочу! Вот еще! мне какое дело? Оттого, что у вас жена и дети, я должен идти в тюрьму, вот прекрасно!*); 2) к ирреальному модальному плану (и тогда значение синтаксического времени не определяется), так как говорящий отказывается оценивать перспективу попасть в тюрьму как реальную, — или иначе: к реальному модальному плану, так как говорящий уверен в том, что его собираются препроводить в тюрьму, и в таком случае — 3) к настоящему, так как неприятие имеет место в момент речи (или будущему, так как неприятие относится к ближайшей перспективе?), синтаксическому времени. Искусственность и шаткость такой интерпретации «предикативного значения» становится особенно явной, если обратить внимание на то, что в следующей реплике Хлестакова снова встречается то же высказывание, которое, следуя тому же методу, придется отнести уже не к первому, а ко второму синтаксическому лицу: *... Я не знаю, однако ж, зачем вы говорите о злодеях или о какой-то унтер-офицерской вдове... Унтер-офицерская жена совсем другое, а меня вы не смеете высечь, до этого вам далеко... Вот еще! смотри ты какой!..* Если одно и то же высказывание в разных контекстах без всяких изменений своего состава выражает разные «предикативные значения», то есть ли у него это значение?

Если же интерпретировать предикативность как категорию грамматическую, то следует отказаться от признания предикативного статуса за всеми без исключения высказываниями и согласиться с тем, что во всяком высказывании коммуникативность (но не предикативность) находит свое полное или минимальное выражение.

В самом деле: в высказывании, которое опирается на предикативную структуру, коммуникативность находит полное выражение, так как соотнесенность с действительностью, и прежде всего с данным коммуникативным актом, в нем выражена грамматически, т.е. наиболее стандартным, прототипическим для языка способом. Однако в высказывании, которое не опирается на предикатив-

ную структуру и соответственно грамматическую модель предложения, коммуникативность также присутствует: его соотнесенность с данным коммуникативным актом закреплена и выражается интонационно, хотя предикативности нет.

Принципиальная особенность высказываний типа *Ни-ни!*, *Вероятно*, *Вряд ли* и т.п., не содержащих предикативного сочетания, заключается в том, что они наиболее жестко привязаны к конкретной речевой ситуации и потому «употребляются преимущественно в диалогической речи, в ответных и вопросительных репликах собеседников» [Виноградов 1954: 79]. Синтаксическое время таких высказываний, как правило, настоящее: *Вероятно* может означать 'сказанное вами *только что* вероятно', *Ни-ни* — 'просимое / предлагаемое / задуманное тобой невозможно', причем и то и другое — именно в данный момент времени[20]. Выраженные значения прошедшего и будущего, варьирование модальных значений для таких высказываний невозможны. Отнесенность к планам будущего или прошедшего и т.п. может возникать в таких высказываниях только благодаря контексту или иным специальным условиям — например, в диалогическом единстве: — *Вы поедете завтра на бал?* — *Вероятно*[21]. Следовательно, усматривать и какое угодно «особое» грамматическое выражение соотнесенности с актуальным настоящим в таких высказываниях нет оснований. Другими словами, они способны функционировать только в качестве ситуативно зависимых, теряющих качество коммуникативности при их изъятии из структуры коммуникативного акта. Важно отметить, что в последнем случае актуальный смысл, приобретаемый такими высказываниями в конкретной коммуникативной ситуации, становится неопределимым, так как допускает взаимоисключающие трактовки, а это равносильно едва ли не полной его утрате.

Высказывания этого типа по своей природе и не нуждаются в предикативной структуре — ее отсутствие вполне компенсируется их ситуативной привязанностью. Одни из них представляют собой готовые речения («коммуникативные фрагменты», по Б. М. Гаспарову [1996]), целиком или с незначительными вариациями воспроизводимые в речи, — хотя незначительность вариаций, что важно, не исключает их многочисленности. Каждый случай функционирования подобных высказываний представляет собой не что иное, как а к т у а л и з а ц и ю — в прямом, первичном значении этого термина: готовое речение извлекается из памяти и используется применительно к данной коммуникативной ситуации; собственно информация при

[20] Неполные предложения в ответных репликах (*Он сегодня заходил? — Вероятно*) здесь не рассматриваем. Случаи превращения частиц в эквиваленты предикативных слов (*С тех пор и до вчерашнего дня я к бутылке ни-ни*) также оставляем в стороне.

[21] Считаю приятным долгом выразить благодарность за это уточнение проф. В. С. Храковскому.

этом заключается прежде всего в факте применения именно данного речения, с его сравнительно несложным содержанием, именно к данной ситуации. Актуализация может сопровождаться незначительными модификациями (повторами, введением дополнительных частиц, междометий и междометных выражений, вплоть до комбинирования таких готовых речений: *Вероятно, вероятно...*; *Ну, вероятно...*; *Ни-ни-ни, что вы! Ни боже мой!*), вызванными особенностями конкретной ситуации — факторами преимущественно прагматической природы: эмоциональным состоянием говорящего, характером его взаимоотношений с партнером по коммуникации, личностной оценкой ситуации в целом и многими подобными. Другие высказывания этого типа представляют собой воспроизведение не готовых речений, а речевых моделей, предполагающих довольно широкие вариации знаменательного компонента: так, приведенный выше (в пункте 3.2.) пример *Ну-у, друзья мои...* реализует модель «Ну + обращение (+ определение к обращению)», в которой первый компонент невариативен и жестко связан с определенным типом интонации, второй, знаменательный, — вариативен, третий, тоже знаменательный, — также вариативен и, кроме того, факультативен. Причем изменения знаменательных компонентов в таких высказываниях прямо сказываются на их ситуативном смысле. Например, выбор типа обращения при реализации модели «Ну + обращение (+ определение к обращению)» может смягчить выражение недовольства (*дружок*), может подчеркнуть недовольство не референтной ситуацией вообще, а прежде всего действиями адресата (*господа хорошие*), может добавить высказыванию иронический оттенок (*друг милый*). Отсюда вытекает, что такие высказывания могут обладать выраженным модальным значением (точнее — субъективно-модальным), но этого тем не менее недостаточно для констатации предикативного статуса этих структур: наличие модальности не равносильно наличию предикативности.

4. Инвариант и прототип в сфере высказывания

Обобщим сказанное. Коммуникативность — сущностное свойство любого высказывания, заключающееся в соотнесенности содержания высказывания с данным актом коммуникации — с говорящим и слушающим, их временными и пространственными координатами. Проявления этого свойства могут быть различны: от минимального выражения (только интонация сообщения / вопроса / побуждения) до максимального (полная распространенная предикативная структура). В случае минимального выражения самый акт отнесения содержания высказывания к данному акту общения осуществляется на основе «презумпции отнесенности» — одного из фундаментальных начал человеческой коммуникации.

Присоединяясь к позиции Е. Беличовой-Кржижковой (в пражской «Русской грамматике»), можно сказать, что предикативность представляет собой структурно закрепленную, выраженную коммуникативность. Формально выражая указанную базисную соотнесенность, предикативность обеспечивает содержанию высказывания возможность более широкого соотнесения с действительностью, а самому высказыванию — ситуативную независимость. В синтаксической системе языка имеются модели предложений, обнаруживающие разную степень ситуативной независимости, что проявляется и в их грамматических свойствах. В русском языке, например, по этому признаку значительно отличаются друг от друга инфинитивные и безличные предложения, которые в других отношениях настолько близки, что в первых можно видеть своеобразный «неустойчивый изотоп» вторых.

В свете очерченных представлений особый интерес приобретает вопрос об инвариантности и прототипичности в сфере высказывания. Будем исходить из понимания инварианта как «абстрактного обозначения одной и той же сущности $<\ldots>$ в отвлечении от ее конкретных модификаций — вариантов», из того, что «в понятии инварианта отображены общие свойства класса объектов, образуемого вариантами», а «сам инвариант не существует как отдельный объект, это не представитель класса, не эталон» [Солнцев 1990: 80–81]. Следует, с нашей точки зрения, также учитывать исходное — и более общее — понимание инварианта в математике как «величины, остающейся неизменяемой при тех или иных преобразованиях» [Советский энциклопедический словарь 1981: 493]. С этими исходными позициями согласуется следующее определение: инвариант — это «признак или комплекс признаков изучаемых системных объектов $<\ldots>$ который остается неизменным при всех преобразованиях, обусловленных взаимодействием исходной системы с окружающей средой» [Бондарко 2003б: 5].

Под прототипом же будем понимать то, от чего В. М. Солнцев отграничивает понятие инварианта: прототип — это эталон, «образцовый вариант» для данного класса объектов; в отличие от инварианта прототип существует как отдельный объект, доступный непосредственному восприятию. Будем опираться на следующее определение: «... прототип — это наиболее репрезентативный (канонический, эталонный) вариант определенного инвариантного системного объекта, характеризующийся наибольшей специфичностью (концентрацией специфических признаков данного объекта), способностью к воздействию на производные варианты (признак „источник производности“) и (во многих случаях) наиболее высокой степенью регулярности функционирования» [Бондарко 2003б: 19].

При таком понимании соотношения инвариантности и прототипичности в сфере высказывания обнаруживается важная особенность. Высказывание, реализующее коммуникативность минимально (не обеспеченное предикативной структурой и опирающееся только на интонацию и «презумпцию отнесенности»), оказывается ближе всего к инварианту речевой коммуникации. Действительно, такое высказывание содержит только минимально необходимый комплекс признаков, способных обеспечить элементарную коммуникацию: 1) некоторая вербальная продукция (состоящая из слов данного языка), 2) оформленная интонационно, 3) соотнесенная с данным актом коммуникации (обладающая адресованностью, т.е. соотнесенностью с говорящим и слушающим, а тем самым и с ситуацией общения). Можно полагать, что главнейшая функция интонационного оформления высказывания состоит в выражении именно этой соотнесенности. Данный комплекс признаков образует инвариант высказывания как базовой коммуникативной единицы. Отсутствие любого из них уничтожает высказывание как таковое; вместе с тем все три признака неизменно присутствуют во всех существующих вариантах высказывания.

В свою очередь, высказывание-предложение (опирающееся на полную предикативную структуру) представляет собой в сфере речевой коммуникации прототип. Прототип с необходимостью включает в себя инвариантные признаки, но является — здесь — более сложным образованием. Существенно бóльшая, по сравнению с инвариантом, степень сложности прототипа в данной сфере вызывается необходимостью обеспечить высказыванию относительную ситуативную независимость; из этой независимости, в свою очередь, вытекает и «наиболее высокая степень регулярности функционирования» прототипа.

Н. Н. Болдырев пишет, что «инвариант — это понятие, скорее, гносеологического плана, в то время как прототип — понятие онтологического уровня» [Болдырев 2003: 56]. А. В. Бондарко, напротив, подчеркивает: «... инварианты относятся к плану онтологии»; „... базисные языковые инварианты <...> существуют в том слое языковой системы, который можно назвать глубинным. Инварианты не лежат на поверхности, их нужно извлечь из многообразных вариантов как то общее, что лежит в их основе» [Бондарко 2003б: 6–7]. За этими цитатами стоит принципиальный спор о природе инварианта — гносеологической или онтологической, — имеющий уже свою историю. Наш материал является аргументом в пользу онтологической трактовки природы инварианта.

Сказанное выше о коммуникативности и предикативности не следует, однако, понимать в том смысле, что отношения между коммуникативностью и предикативностью сводятся к прямолинейному вза-

имно-однозначному соответствию. В современных индоевропейских языках наличие предикативной структуры само по себе еще не означает реализации коммуникативной функции. Ведь коммуникативная функция сообщается высказыванию не наличием предикативности, а говорящим субъектом: только в его компетенции решать, чему придать функцию целостного сообщения, а чему — нет.

Как и в других сферах грамматики, на уровне предикативных структур регулярны преобразования, в результате которых сложное содержательно-формальное явление высшего, по отношению к своим конституентам, порядка само превращается в конституент явления еще более сложного. Так формируются и высказывания, в основе которых лежат полипредикативные структуры. Механизм подобных преобразований уже сравнительно давно описан как механизм номинализации (Н. Д. Арутюнова, В. Г. Гак). Роль предикативности в этом случае заключается в отображении ситуации в ее соотнесенности с другими отображенными в высказывании ситуациями, смежными или отстоящими во времени и/или пространстве. Соответственно грамматическое значение полипредикативной структуры представляет собой более сложную семантическую конструкцию. Коммуникативная же функция в этом случае опирается на это грамматическое значение, поддерживается им, но, повторим, придается высказыванию говорящим.

Таким образом, предикативная часть сложного предложения — это квазикоммуникативная единица.

Вместе с тем в рамках одной коммуникативной единицы (высказывания) возможна неоднократная реализация коммуникативной функции: речь идет о так называемых гиперкоммуникативных высказываниях, к которым мы относим бикоммуникативные, метакоммуникативные и транскоммуникативные. В подобных высказываниях параллельно реализуются разные типы коммуникативной функции (или разные модусы коммуникации).

1) В бикоммуникативных высказываниях совмещены функции сообщения и реакции на некий сигнал собеседника по поводу сообщаемого: — *Ну-с,* — *начала Марья Николаевна, снова опускаясь на диван,* — *так как вы попались и должны сидеть со мною, вместо того чтобы наслаждаться близостью вашей невесты...* ***не вращайте глазами и не гневайтесь — я вас понимаю и уже обещала вам, что отпущу вас на все четыре стороны,*** — *а теперь слушайте мою исповедь* (И. Тургенев).

2) В метакоммуникативных высказываниях совмещены функция сообщения и функция метаязыкового комментария: [Ирина] — <...> *Не светская женщина теперь перед вами, вам только стоит взглянуть на меня, не львица...* ***так, кажется, нас величают...***

а бедное, бедное существо, которое, право, достойно сожаления (И. Тургенев).

3) В транскоммуникативных высказываниях совмещены функции сообщения и транскоммуникативная, которая состоит в подчеркивании авторства приводимых чужих слов, что представляется говорящему необходимым в силу сложности субъектной перспективы основного высказывания: *Если, — повторила она* (Лолита. — *М. Д.*), — *у тебя нет карандаша, но если ты уже умеешь читать и писать* — ***вот что он*** (автор раздела в журнале. — *М. Д.*) ***хочет сказать, понимаешь теперь, балда?*** — *то попробуй нацарапать номер на земле при дороге...* (В. Набоков. Лолита. Ср. в английском оригинале: *'If,' she repeated, 'you don't have a pencil, but are old enough to read and write* — ***this is what the guy means, isn't it, you dope*** — *scratch the number somehow on the roadside'*).

Грамматически такие высказывания представляют собой простые или сложные предложения, дополнительно осложненные вставными конструкциями, которые, в свою очередь, реализованы полными или неполными предикативными структурами (подробнее см.: [Дымарский 2001б]).

Сказанное позволяет выдвинуть предположение о том, что, подобно разным уровням реализации предикативных структур, существуют различные уровни реализации коммуникативной функции. Можно говорить о трех уровнях реализации предикативности: нулевом (0); монопредикативном (1); полипредикативном (2). Можно также говорить о трех уровнях реализации коммуникативной функции: квазикоммуникативном (1); коммуникативном (2); гиперкоммуникативном (3). Очевидно, что различные комбинации указанных вариантов реализации предикативности и коммуникативности существенным образом характеризуют модель высказывания. Теоретически возможны 9 комбинаций, однако в реальной коммуникации функционируют следующие 6 типов:

1–1 — предикативная часть сложного предложения, предикативная синтаксема;

0–2 — непредикативное высказывание, высказывание «в узком смысле», по Н. Ю. Шведовой;

1–2 — простое предложение;

1–3 — «гиперкоммуникативное» высказывание;

2–2 — сложное предложение закрытой структуры;

2–3 — сложное предложение открытой структуры.

Представим реально возможные комбинации в таблице.

Модели высказываний по признаку соотношения реализации предикативности и коммуникативной функции

Уровни реализации предикативности	Уровни реализации коммуникативной функции		
	Квази-коммуникативный	Коммуникативный	Гипер-коммуникативный
Нулевой	—	Непредикативное высказывание	—
Моно-предикативный	предикативная часть сложного предложения	Высказывание — простое предложение	«Гипер-коммуникативное» высказывание
Поли-предикативный	—	Высказывание — сложное предложение закрытой структуры	Высказывание — сложное предложение открытой структуры

ГЛАВА XIV

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «СУБЪЕКТ» В СИНТАКСИСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

1. Существующие концепции и предлагаемая постановка вопроса

При анализе предложений в русской научной традиции кроме понятия «подлежащее» широко используется понятие «субъект». Оба понятия относятся к синтаксическому уровню предложения и необходимы для исследования синтаксических конструкций. Понятие подлежащего не требует особых комментариев: авторы почти всех грамматических описаний русского языка считают подлежащим имя (или именную группу) в именительном падеже, с которым согласуется предикат. Таким образом, определение подлежащего зависит от двух признаков: падежной флексии имени и согласовательных граммем предиката. Оба признака имеют в русском языке однозначное формальное выражение и могут быть без труда обнаружены при морфемном анализе предложения. Добавим, что все или почти все описания русского языка эксплицитно или имплицитно связаны с выше упомянутыми критериями.

По поводу трактовки субъекта нет согласия, поскольку это понятие не получило формального определения. Отсутствуют морфологические критерии, при помощи которых можно было бы обнаружить субъект в предложении. Поэтому, используя термин «субъект», каждый исследователь обычно уточняет, что́ именно он имеет в виду. Таких уточнений множество. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что в научной литературе встречаются термины «логический субъект», «семантический субъект», «семантико-синтаксический субъект», «структурно-смысловой субъект», «источник предикативного признака» и др. Для некоторых исследователей это понятие применимо только по отношению к имени одушевленного референта, который совершает действие или испытывает состояние. Для других ученых это понятие намного шире. В определении Н. Ю. Шведовой субъектом является «тот или то, от чего исходит действие, состояние, восприятие, отношение (в широком смысле, включая обладание) или признак» [Шведова 1973: 464].

Особое внимание уделяется понятию субъекта в работах Г. А. Золотовой. Подвергается критике чисто морфологический подход в традиционных описаниях, предполагающих, что только грамматическое подлежащее в именительном падеже связано с глаголом-сказуемым предикативной связью. По мнению автора, в предикативный центр предложения может войти любой косвенный падеж имени, если это

© М. Гиро-Вебер, 2005

имя обозначает «носителя предицируемого признака». Это утверждение не голословно: Г. А. Золотова подчеркивает, что трактуемый таким образом субъект не зависит от предиката, а вступает с ним в предикативное сопряжение. Иначе говоря, глагол-предикат не реализует функции управления. Поэтому нельзя считать такой субъект обычным управляемым дополнением глагола или приравнивать его к второстепенным членам предложения. Поскольку с именем в косвенном падеже предикат в русском языке не согласуется, эта черта для него нерелевантна. Впрочем, для Г. А. Золотовой «согласование не составляет важнейшего признака предикативной связи», оно факультативно. Автор справедливо отмечает, что «важнейшим выразителем предикативного единства предложения служит интонация» [Золотова 1973: 51–63].

Обратимся к истолкованию понятия «субъект» в трудах представителей петербургской (ленинградской) школы. В ряде работ С. Д. Кацнельсона термин «субъект» употребляется в двух значениях, четко различимых по контексту. В одном значении, как у многих других авторов, это семантическая категория, во многом напоминающая понятие агенса в ролевой грамматике. В другом значении это категория синтаксиса, синтаксическая функция в предложении. По мнению С. Д. Кацнельсона, субъект предложения не обязательно имеет форму именительного падежа: автор признает тождество функций имени в предложениях *Ребенок не спит* и *Ребенку не спится* [Кацнельсон 1972: 61–62].

Развивая мысли своих предшественников, В. Б. Касевич подробно рассматривает ряд теоретических проблем, связанных с категорией субъектности с учетом типологических данных в свете современных лингвистических теорий [Касевич 1992: 1–29].

А. В. Бондарко анализирует эту проблематику на русском материале и, учитывая расхождения в употреблении понятия «субъект» русскими лингвистами, высказывается в пользу более широкого и пока «нейтрального» понятия «носитель предикативного признака». Предложение расширить понятие подлежащего, распространяя его на косвенные падежи, А. В. Бондарко считает нежелательным, предпочитая «сохранить термин подлежащее в его четком каноническом истолковании» [Бондарко 1992: 21–71].

По мнению С. М. Кибардиной, несмотря на ряд ценных замечаний, внесенных сторонниками разных синтаксических школ, понятие «субъект» продолжает оставаться «одним из наиболее употребительных и в то же время наиболее спорных понятий современной синтаксической теории» [Кибардина 1998: 98]. Это происходит, по-видимому, из-за отсутствия формального определения понятия субъекта, тогда как понятие подлежащего формально определено, хотя оба понятия относятся, безусловно, к синтаксическому описанию.

На известные недостатки и противоречия, связанные с рассматриваемыми понятиями, указывал А. Е. Кибрик [1979: 301–310].

Цель последующего изложения — определить, каково соотношение субъекта-носителя предикативного признака в русском языке и канонического подлежащего. Для этого мы попытаемся применить формальные и семантические критерии, разработанные в научной литературе для выявления субъекта-подлежащего в разных языках.

Как известно, определение субъекта как носителя предикативного признака, входящего в предикативный минимум предложения, встречает ряд трудностей не только в русском, но и в ряде других, типологически различных языков, на что обратили внимание лингвисты-типологи. Эту проблематику затрагивают, в частности, Э. Кинэн, Д. Джонсон и Б. Комри [Keenan 1976; Johnson 1977; Comrie 1981].

2. Подлежащее, не выраженное именем существительным

Прежде чем перейти к анализу взаимосвязи понятий «подлежащее» и «субъект» в русском языке, необходимо рассмотреть те случаи, когда место канонического подлежащего в именительном падеже не занимает имя существительное. В лингвистической литературе нет единой трактовки этого вопроса. И здесь известную роль играет отсутствие явного морфологического признака, который однозначно указывал бы на подлежащее.

Как известно, на месте подлежащего могут быть употреблены слова, относящиеся к разным частям речи, или целое предложение. Большинство лингвистов признает статус подлежащего за инфинитивом или инфинитивной группой в предложениях: *Было бы безумием пропустить такой исключительный случай* (В. Катаев); *Быть оптимистом — значит держать руку на пульсе истории* (Спутник); *Поучать — не в вашем характере* (Лит. газета).

Подобным образом обычно анализируют другие случаи, в том числе подчиненную часть сложного предложения: *Из этого следует, как легко стать знаменитым в этой стране* (В. Короленко); *Оказалось, что кто-то бросил бомбу в Педагогический музей* (И. Эренбург).

Обычно признается, что в данной функции может выступать целое предложение и его аналог, т.е. прямая речь: *Сдавайся! — смутно донеслось до него* (М. Булгаков); *Почему разошлись-то? — вылетело у Кости* (В. Шукшин); *На обложке написано: «Сопротивление материалов»* (В. Панова).

Поскольку во всех подобных случаях подлежащее выражено не канонической формой имени в именительном падеже — формой, обладающей грамматическими категориями падежа, рода и числа, с которой способен согласоваться глагол, — здесь можно видеть другой

тип согласования, который мы называем д е ф о л т н ы м. Дефолтное согласование выступает регулярно в тех случаях, когда подлежащим является не имя. В русском языке дефолтное согласование находит выражение в форме 3-го лица ед. числа в настоящем / будущем времени и в форме среднего рода в прошедшем времени (ср. приведенные выше примеры). Затруднение вызывает тот факт, что дефолтное согласование и отсутствие согласования, которое наблюдается, например, в так называемых безличных[1] предложениях, формально совпадают: в обоих случаях финитный глагол имеет одинаковую форму (ср.: *Кате нездоровится*; *Отца не было*; *Ребенка рвет*; *На дворе похолодало*). Это формальное совпадение выражения разных языковых явлений нередко бывает причиной причисления рассматриваемых явлений к «безличным» конструкциям, что вносит много неясностей в понимание и толкование синтаксических связей.

Небезынтересно отметить, что факты функционального перехода одной части речи в другую в русском, как и в других европейских языках, частотны и обычны; ср., например, переход прилагательного в существительное, что отмечается в традиционной грамматике как субстантивация. Подобные факты были изучены во всем своем разнообразии французским лингвистом Л. Теньером в классической работе «Элементы структурного синтаксиса» [Tesnière 1969], где они получили название «трансляция» (*translation*).[2] Механизм функционального перехода обеспечивает не-именным элементам возможность выступать в роли любого глагольного актанта, в том числе в роли подлежащего. Мы склонны думать, что понятие трансляции вполне объясняет функционирование многих предложений русского языка, ошибочно причисляемых к безличным. Однако ясно, что выраженное таким образом подлежащее нельзя считать прототипическим.

3. Субъектные свойства

В известной статье «Towards a universal definition of subject» [Keenan 1976], посвященной поискам универсального определения подлежащего, американский лингвист Э. Кинэн обращает внимание на тот факт, что в зависимости от различных потенций данного языка подлежащее[3] обладает набором свойств, многие из которых совпадают в разных языках. Поэтому создание списка таких свойств

[1] Этот термин недостаточно четко определен в лингвистической литературе. Тем не менее, он отвечает международному терминологическому стандарту.

[2] В терминологии Ш. Балли эти факты были названы «транспозицией». Этот термин встречается и в научной литературе на русском языке.

[3] По-английски subject в зависимости от контекста может быть переведено и как субъект, и как подлежащее. В статье Э. Кинэна, судя по английским примерам, речь идет о подлежащем.

может быть полезным при идентификации одного из глагольных актантов как подлежащего в языках разных типов. Автор называет эти свойства «субъектными» (*subject properties*). Список субъектных черт у Э. Кинэна довольно длинный: он включает формальные, семантические и синтаксические характеристики. Хотя этот список подвергался критике со стороны других типологов, в частности в работе Д. Джонсона [Johnson 1977], тем не менее он содержит множество релевантных критериев, которые могут быть использованы для нашего анализа. Развивая мысли своих предшественников, Б. Комри настаивает на тематическом характере прототипического подлежащего [Comrie 1981].

Статья Э. Кинэна нашла отражение в работе И. Ш. Козинского, опубликованной в 1983 г. небольшим тиражом в «Предварительных материалах» Института русского языка и мало доступной русистам [Козинский 1983]. На нее опирается Я. Г. Тестелец в одной из глав своей книги «Введение в общий синтаксис» [Тестелец 2001: 311–359]. Оба автора детально рассматривают разные типы «приоритетных признаков», которыми могут (или не могут) обладать следующие разновидности языкового представления субъекта: подлежащее переходного глагола; подлежащее непереходного глагола; подлежащее в пассивной конструкции; агенс в пассивной конструкции; экспериенцер в личной и безличной конструкциях; прямое дополнение. В качестве приоритетных рассматриваются морфологические, трансформационные и контролирующие признаки, а также некоторые другие свойства, например, способность к словосложению с глаголом. Группировка «приоритетных признаков» создает довольно пеструю картину, что является аргументом в пользу дифференциальной трактовки самого понятия подлежащего.

Как уже было указано, мы ставим перед собой более скромную задачу. Находящийся в нашем рассмотрении довольно богатый фактический материал из области предложений без канонического подлежащего в именительном падеже[4] дает нам возможность проверить, каким образом некоторые из черт субъекта, указанных в работах Э. Кинэна, Д. Джонсона и Б. Комри, проявляются в косвенных падежах имени, характерных для разных типов безличных предложений в русском языке.

Перечень признаков субъекта, который мы предлагаем, не является ни исчерпывающим, ни единственно возможным. Насколько нам известно, кроме работ И. Ш. Козинского и Я. Г. Тестельца, проверкой распределения признаков субъекта в русском языке никто систематически не занимался, по крайней мере в области безличных конструкций. Поэтому предлагаемая трактовка рассматриваемых признаков

[4] Анализ этих предложений был темой нашей докторской диссертации [Guiraud-Weber 1984].

является предварительной и нуждается в дополнении. Мы не включаем в наш перечень те черты субъекта, которые либо представляются нам нерелевантными для безличных предложений, либо приводят к сомнительным результатам.

4. Проявление субъектных свойств у дополнений в косвенных падежах

Прежде чем перейти к рассмотрению признаков глагольных актантов в косвенных падежах, необходимо определить, какими свойствами обладает прототипическое подлежащее в русском языке. Совершенно ясно, что оно обладает всеми формальными свойствами канонического подлежащего: это именительный падеж имени; с ним согласуется предикат; подлежащее контролирует референцию рефлексивных местоимений *свой* и *себя*, а также референцию деепричастия. Кроме того, прототипическое подлежащее должно быть агенсом активного действия и занимать место темы в коммуникативной структуре предложения, т.е., как правило, стоять перед глаголом.

Мы предлагаем проверить, какими из этих свойств обладают актанты в дательном, винительном и творительном падежах в безличных предложениях, и тем самым определить степень их «субъектности» на некоей шкале, отсылку к которой предполагает понятие прототипа и когнитивный подход. Следует уточнить, что вышеупомянутые падежные формы интересуют нас только в том случае, если они выражают привилегированный, главный актант данной конструкции. Такой актант является неотъемлемой частью предложения (ср. признак *indispensability* в работе [Keenan 1976: 313]), т.е. входит в предикативный минимум. Если данный актант материально отсутствует, он должен восстанавливаться из контекста или на основе речевой ситуации.

5. Дательный падеж в функции экспериенцера в безличных предложениях

Дательный падеж выступает в семантической роли экспериенцера в большом количестве безличных предложений, обозначающих либо физическое, либо психическое состояние живого существа, чаще всего человека. Мы назвали эти предложения «дативными» [Guiraud-Weber 1984]. Датив экспериенцера в безличном предложении обладает большим количеством черт, свойственных прототипическому подлежащему: а) образует минимальное предложение, вступая в связь со сказуемым; б) всегда обозначает одушевленное существо (эту черту он разделяет с агенсом, по определению одушевленным); в) всегда

тематичен и при нейтральном порядке слов стоит перед сказуемым. Кроме того, рассматриваемая разновидность дательного падежа может (хотя не всегда) контролировать как рефлексивные местоимения, так и деепричастия. Тем не менее он не является агенсом, не требует согласования сказуемого и, конечно, не имеет грамматической формы именительного падежа.

Дативные предложения представляют собой формально несогласованные конструкции, что является общей чертой всех безличных предложений *sensu stricto*. Напомним, что уже А. М. Пешковский рассматривал несогласованность как отличительный признак этих предложений: «. . . безличное предложение есть прежде всего несогласованный ни с чем глагол» [Пешковский 1956: 348]. О том, что датив может контролировать референцию рефлексивов, свидетельствуют следующие примеры: *Ему не удалось увидеть ни одного своего произведения изданным* (И. Тургенев); *Ей было уже жаль своих вещей* (А. Чехов); *Ему стало как будто неловко за свою наивность* (А. Куприн); *Аркадию отлично спалось в своем предбаннике* (И. Тургенев); *Ему стало стыдно себя* (Л. Н. Толстой); *Людям для себя жить хочется* (В. Маяковский); . . . *мне хотелось поднять себя в мнении Настасьи Евграфовны* (Ф. Достоевский). Эта особенность дательного падежа давно отмечена в лингвистической литературе [Timberlake 1980; Падучева 1985: 181–209]. Тот факт, что в дативных предложениях встречаются также не-рефлексивы (ср. *Мне холодно в моем кабинете*), не является релевантным для нашего анализа, поскольку вариативность типа *мой* / *свой* возможна и при формальных подлежащих в номинативе (ср. *Я принесла свою статью для распечатки* / *Я принесла мою статью для распечатки*). В наши задачи не входит изучение этой вариативности. Для нас существенно лишь то, что датив, как и подлежащее в именительном падеже, может контролировать и, как правило, контролирует рефлексивизацию.

Заслуживает внимания возможность сочетания датива и рефлексива в предложениях с деепричастием. Нормативность конструкций, в которых деепричастие относится к актанту в косвенном падеже, всегда отвергалась грамматикой. Тем не менее, факты постоянного нарушения этой нормы общеизвестны. И. А. Ицкович предлагает подробный анализ разных типов ненормативных употреблений деепричастий и пытается их упорядочить на некоей шкале приемлемости / неприемлемости [Ицкович 1974]. Между прочим, автор приводит примеры из художественной литературы и прессы, в которых деепричастие соотносится с дативом безличного предложения: *Вспоминая эти замечательные встречи, мне думается, что они были для меня отличной школой* (пример из [Ицкович 1974]); *Выполняя деликатное поручение, Гирпатрику не хотелось, чтобы китолов знал его фамилию* (пример из [Ицкович 1974]). Вероятность употребления дее-

причастия в предложении заметно увеличивается при материальном отсутствии датива, т.е. в случаях, когда он обозначает либо самого говорящего, либо обобщенно-личный субъект: *Думая обо всем этом, обидно становится* (пример из [Ицкович 1974]); *Читая эту комедию, просто-напросто не верится, что она написана в наши дни* (пример из [Ицкович 1974]); *Не вставая с постели, можно было наблюдать работу кранов на западной дамбе* (В. Аксенов). Поскольку задачей лингвиста является скорее беспристрастное наблюдение за живым языком, чем защита литературной нормы, мы считаем эти примеры показательными. Здесь небезынтересно отметить, что случаи употребления деепричастных оборотов, кореферентных актантам, не являющимся формальными подлежащими, встречаются не только в русском языке. О. Йокояма в статье «В защиту запретных деепричастий» приводит ряд примеров из разных языков (в том числе из русского, сербо-хорватского, английского, французского, японского и других), где это явление возможно [Yokoyama 1983]. При этом автор отмечает, что в тех языках, где грамматическая традиция преимущественно описательная, а не нормативная, эти деепричастия не подвергаются запрету. В русском языке они считаются ненормативными, поэтому О. Йокояма называет их «запретными». Анализ таких конструкций позволяет автору сделать вывод, что это явление обусловлено двумя факторами: одушевленностью и тематичностью актанта в косвенном падеже.

Что касается порядка слов в предложении, то интересно подчеркнуть, что во всех наших примерах с эксплицитным выражением датива последний стоит слева от глагола и является темой в коммуникативной структуре предложения. Исключительное тяготение датива субъекта в безличных предложениях к роли темы (в отличие от датива бенефицианта, как в случаях типа *Я дал письмо Васе*) отмечена также в работе [Янко 2001: 271–273].

6. Аккузативные конструкции

Некоторыми чертами субъектности обладает также винительный падеж экспериенцера в предложениях, которые мы назвали «аккузативными». В аккузативных предложениях главный актант глагола не является его прямым дополнением и связь между глаголом и аккузативом не соответствует обычной связи между переходным глаголом действия и его объектом. Глагол трудно считать переходным, поскольку он обозначает не действие, направленное на объект (или его аналог), а болезненное, неприятное состояние, в котором находится живое существо (чаще всего человек): *Его* (*ее*, *меня*) *тошнит*, *рвет*, *мутит*, *знобит*, *лихорадит*, *слабит* и т.п. Кроме того, при таких глаголах невозможно выражение подлежащего в номинативе: ср.

неграмматичность фраз **Еда его тошнит*, **Озноб ее знобит* и т.п. Эти глаголы являются однократными, и их единственный обязательный актант — аккузатив или, при расщеплении валентностей,[5] аккузатив вместе с посессивным оборотом «у + генитив»: *У нее* (*у меня*, *у него*) *горло заложило*, *ноги подкосило*, *кости ломит*, *щеку раздуло*, *свело челюсти*, *дух захватило* и т.п. Аккузатив, по всей вероятности, не способен контролировать рефлексивизацию. Что касается деепричастия, нам встретились высказывания типа: *Глядя на это зрелище*, *меня просто тошнило* (из речи); *Пройдя калитку, Пьера обдало жаром* (Л. Н. Толстой). Эти примеры единичны, но и сама аккузативная конструкция гораздо менее частотна, чем дативная. Тем не менее она употребительна главным образом в разговорном языке.

Итак, можно сказать, что аккузатив в рассматриваемой конструкции обладает по крайней мере тремя субъектными чертами: он входит в состав минимального предложения и связан с глаголом предикативной связью; обозначает одушевленный актант; при нейтральном порядке слов он находится слева от глагола. В определенных условиях аккузатив может выступать в конструкциях с деепричастием. Поскольку на это свойство аккузатива наложены довольно строгие ограничения, мы его отмечаем в таблице пометой $-/(+)$.

7. Конструкции с творительным падежом

Самым сомнительным кандидатом на статус подлежащего оказывается творительный падеж имени в предложениях типа *Солнцем выжгло траву*; *Крышу сорвало ветром*; *Дорогу занесло снегом*; *Солдата ранило осколком*; *Его зацепило электропилой* и т.п. В нашем анализе безличных конструкций (см. [Guiraud-Weber 1984]) творительный падеж оказался привилегированным актантом, поскольку он вместе с глаголом образует минимальное предложение. В этих конструкциях предикатом всегда является переходный глагол действия, так что синтаксический статус актанта в винительном падеже ясен: он управляется глаголом, это его прямое дополнение.

Денотат актанта в творительном падеже всегда неодушевленный. Он обозначает стихийное явление или его последствия (ветер, грозу, солнце, снег, воду, песок и т.п.), а также действие механического орудия (электропилы, машины, трактора, бомбы, осколка). Конструкция в целом выражает, как правило, разрушительное действие денотата этого актанта и не предполагает целенаправленной и сознательной деятельности человека. Отсутствие актанта в творительном падеже обычно толкуется как действие неизвестной силы, но в большинстве наших примеров эта сила либо эксплицитно названа, либо

[5] Это понятие предложено Ю. Д. Апресяном [Апресян 1967] и используется в работе [Кибрик 2000].

может быть восстановлена по контексту или по семантике глагола. Так, например, лексическое значение глагола *залить* (*Нас залило*) предполагает действие некоей жидкости, а самой распространенной жидкостью в природе является вода (в терминах когнитивной таксономии вода — это прототипическая жидкость). Сходным образом можно трактовать отсутствие творительного падежа в определенных контекстах при глаголах *затопить*, *размыть*, *занести*, *разбомбить*, *ранить* и т.п. Из приведенных примеров видно, что неназванный актант представляет собой имя, вероятность появления которого при глаголе в данном контексте максимально велика: по общим законам синтаксиса пропуск такого актанта регулярен. О подобных явлениях писали Н. А. Янко-Триницкая (ср. понятие «лексического включения» в работе [Янко-Триницкая 1964]) и З. С. Хэррис в своей классической статье [Harris 1957]. Роман Мразек, анализируя безличные предложения данного типа, подчеркивал, что единственным активным элементом в них оказывается актант в творительном падеже [Mrazek 1964]. Тем не менее актант, о котором идет речь, не может претендовать на статус агенса, поскольку его денотат всегда неодушевленный и он неспособен контролировать действие глагола. С формальной точки зрения этому актанту не свойственны кореферентные связи предложения. Все это отличает его от агенса пассивной конструкции.[6] Кроме того, данный актант не занимает в предложении закрепленного места перед глаголом.

8. Результаты анализа

Результаты проведенного анализа могут быть наглядно представлены в виде таблицы, в которой PROT обозначает прототипическое подлежащее, а приглагольные актанты фигурируют под латинскими сокращенными названиями: NOM, DAT, ACC, INSTR. В таблице отражены следующие свойства: формальные — немаркированность падежной флексии и контроль согласования; семантические — агентивность, одушевленность; синтаксические — контроль рефлексивов и контроль деепричастия; коммуникативные — тематичность и предикативность (если иметь в виду, что предикация реализуется на речевом уровне высказывания).

Проведенный выше анализ в терминах субъектных свойств имеет лишь предварительный характер. Тем не менее он дает основания сделать некоторые выводы.

Синтаксические явления русского языка отражают действие разнонаправленных тенденций, среди которых некоторые явно противоположны. Эти тенденции давно отмечались в описаниях русско-

[6] Анализ субъектных свойств агенса пассивной конструкции предложен в работах [Козинский 1983; Тестелец 2001: 325].

Свойства	PROT	NOM	DAT	ACC	INSTR
Предикация	+	+	+	+	+
Немаркировнность падежа	+	+	−	−	−
Контроль согласования	+	+	−	−	−
Тематичность	+	+/−	+	+	−/(+)
Агентивность	+	+/−	−	−	−
Одушевленность	+	+/−	+	+	−
Контроль рефлексивов	+	+	+	−	−
Контроль деепричастия	+	+	+/−	−/(+)	−

го синтаксиса, что привело к известной терминологической дихотомии «подлежащее / субъект». Понятие «субъект» безусловно отвечает языковой интуиции русских грамматистов и восполняет своего рода «пустое место», в которое не укладывалось понятие подлежащего, определенного в дискретных, формальных терминах. Тем не менее «субъект» пока не получил адекватного описания и нуждается в точном определении. Я. Г. Тестелец сомневается, что это возможно, поскольку данный термин обладает слишком широким и неопределенным смыслом и «возник в результате смешения нескольких разнородных понятий: логического субъекта, подлежащего, агенса и темы» [Тестелец 2001: 348]. Именно поэтому автор отказывается от понятия «субъект» и оперирует лишь понятием «подлежащее». Как бы то ни было, это не избавляет нас от необходимости ответить на вопрос, почему термин «субъект» привился в грамматической традиции русского языка и зачем он нужен.

Частичным ответом на этот вопрос может быть анализ разных кандидатов на функцию подлежащего в безличном предложении в терминах субъектных черт. Напомним, что в типологических исследованиях указывается, что среди самых важных субъектных свойств находятся тематичность и агентивность (см., например [Comrie 1981]). Эти черты мы включили в потенциал прототипического подлежащего. Тем не менее каноническое подлежащее не обязательно обладает этими чертами (в таблице это обозначено пометой «+/−»). Как известно, подлежащее в русском языке может иметь любой денотат, одушевленный и неодушевленный, обозначающий активного производителя действия и его пассивный объект. Оно только факультативно является агенсом в семантической структуре предло-

жения и темой в структуре коммуникативной (ср.: *Дверь открылась*; *Вошел молодой мужчина*).

Анализ безличных предложений позволяет понять, почему некоторые признаки, характерные для прототипического подлежащего, могут в русском языке реализоваться и в актантах, выраженных косвенными падежами. Некоторые из этих актантов, как было показано, тематичны, имеют одушевленный денотат и выполняют семантическую роль экспериенцера. В нейтральном линейном порядке слов они занимают место канонического подлежащего, слева от глагола, поскольку русский язык принадлежит к языкам типа SVO. Однако эти актанты не идентичны: датив, например, обладает большим количеством субъектных черт, чем аккузатив, а этот последний является более субъектным, чем инструменталис.

Использование субъектных свойств для анализа актантов в безличных предложениях дает основания также утверждать, что нельзя поставить знак равенства между понятиями «субъект» и «подлежащее», а также между понятиями «субъект» и «носитель предикативного признака». Подлежащее в русском языке — это грамматикализованный носитель предикативного признака, поэтому только подлежащее может быть однозначно определено. Что же касается субъекта, то это такой носитель предикативного признака, который обладает некоторыми свойствами прототипического подлежащего и одновременно некоторыми свойствами формального подлежащего в русском языке. Примечательно, что главный актант дативной конструкции лишь в незначительной степени уступает прототипическому подлежащему: как видно из таблицы, он обладает его синтаксическими, семантическими и коммуникативными свойствами, не разделяя с ним только свойства формальные. Роль данного актанта в предложении давно признана; он получил в грамматической традиции название «дательного субъекта». Отметим, что в случаях употребления одушевленного датива и неодушевленного номинатива в одном и том же предложении, при нейтральном порядке слов место слева от глагола занимает именно датив (ср.: *Мне нравится этот фильм*; *Ему надоели твои жалобы*).

Таким образом, одушевленный актант в позиции темы, хотя он не удовлетворяет формальным требованиям, которые в русском языке предъявляются к подлежащему, может оказаться серьезным конкурентом морфологически правильно оформленного подлежащего. Если иметь в виду, что, по мнению многих лингвистов, подлежащее является — по происхождению — грамматикализованной темой предложения, то неудивительно, что в контексте безличности косвенный актант в позиции темы занимает «пустое место» подлежащего.

Итак, актант-носитель предикативного признака предстает перед нами как своего рода градуальное понятие, в котором, как во вся-

кой полевой структуре, существует центр и периферия. В центре находится каноническое подлежащее в номинативе. Другие элементы, допускающие истолкование в качестве подлежащего, могут оказаться на периферии поля. В описании, основанном на понятии полевой структуры, датив безличного предложения окажется ближе к центру, чем аккузатив, а последний ближе, чем инструменталис. Тем самым каждый элемент полевой структуры субъектности может получить адекватное определение в терминах субъектных свойств.

Поиски более точного определения понятия субъекта в русском языке привели нас к выводу, что синтаксические отношения в этой области не образуют строгих и четких противопоставлений, они носят, скорее, размытый характер. Мы констатировали, что, во-первых, это понятие не может получить единого определения, поскольку существуют разные типы субъектов, и что, во-вторых, оно не противопоставляется понятию подлежащего, так как эти понятия принадлежат одному структурному уровню и вместе образуют полевую структуру. Каждый тип субъекта является своего рода промежуточным звеном между каноническим подлежащим и таким носителем предикативного признака, который обладает минимальным количеством субъектных черт. Понятие «носитель предикативного признака» (см. [Бондарко 1992: 51–56]), а также понятие «носитель предицируемого признака» в истолковании Г. А. Золотовой [1973], опирающееся на другой вариант разграничения субъекта и подлежащего, представляют собой своего рода основание для интеграции синтаксических элементов, отличающихся друг от друга и вместе с тем имеющих нечто общее.

К сказанному добавим, что в свете приведенных фактов русский язык оказывается не типично «подлежащным» языком, в отличие от французского, английского и немецкого языков, в которых подлежащее, как правило, обязательно и его позиция может быть заполнена даже семантически «пустым» актантом, обладающим соответствующими формальными свойствами.

V. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЕВЫХ СТРУКТУР В ДЕТСКОЙ РЕЧИ

ГЛАВА XV
КАТЕГОРИЯ РОДА В ДЕТСКОЙ РЕЧИ*

1. Вступительные замечания

Русский язык относится к разряду языков, по выражению И. А. Бодуэна де Куртенэ, «отягощенных родо-половым кошмаром», поскольку «человеку, говорящему на одном из ариоевропейских (т.е. индоевропейских — *С. Ц.*) языков, род напоминает о себе беспрерывно и беспрестанно, наяву и во сне» [Бодуэн де Куртенэ 2000: 10–11]. Тем не менее рано или поздно дети, осваивающие русский язык как родной, перестают совершать ошибки в данной области, причем овладевают грамматической категорией рода без каких-либо видимых усилий со стороны взрослых. Это лишний раз свидетельствует о том, что языки, при всей сложности их устройства, достаточно хорошо адаптированы к возможности их освоения детьми. Если можно представить себе каждый язык как некий ларец, запертый на особый ключ, то надо признать, что ключи от этих ларцов каким-то удивительным образом оказываются в руках маленьких детей.

Освоение категории рода — одна из сложных проблем для иностранца и одна из достаточно простых для русского ребенка. Сложность для иностранца связана с необходимостью постижения правил определения рода, которые не так уж просты, в то время как ребенок постигает эти правила на интуитивном уровне в раннем возрасте без особого труда. Очевидно, этому немало способствует то, что, по цитированным словам И. А. Бодуэна де Куртенэ, «род напоминает о себе беспрерывно и непрестанно, наяву и во сне» — флексией самого слова, флексиями согласующихся (иногда одновременно нескольких) других слов в том же высказывании, формами координируемых по роду местоимений в том же или в соседнем предложении. Значит, задача ребенка заключается в том, чтобы, извлекая данную информацию из инпута, выстроить соответствующий фрагмент грамматической системы и вместе с тем закрепить «родовые характеристики» за каждым существительным, являющимся единицей формирующегося

*Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 03–04–00386-А — Семантические категории и их выражение в детской речи) и при финансовом содействии Фонда Президента РФ для поддержки ведущих научных школ, грант № НШ-1510.2003.6.

© С. Н. Цейтлин, 2005

ментального лексикона. Иным способом постигается категория рода в процессе структурированного обучения языку как второму: сведения о родовой принадлежности извлекаются прежде всего из самого слова, изолированного от контекста — с учетом ряда семантических, фонетических, морфологических факторов (к последним можно отнести как специализированные в отношении рода суффиксы, так и флексии, при этом особенно большую роль играет флексия основной формы — именительного падежа единственного числа). Можно сказать, что в процессе естественного освоения языка (эта ситуация является единственно возможной при освоении русского языка как первого, но может встречаться и при освоении его как второго в процессе погружения в русскую речевую среду) значимым является как контекст (главным образом формы согласуемых слов), так и семантические, фонетические, морфологические особенности самого слова.

Мы исходим из предположения, что в процессе конструирования собственной языковой системы (в данном случае — того ее компонента, который связан с категорией рода) ребенок выявляет правила родовой идентификации, опираясь на подсознательный анализ речевого инпута. При этом ребенок оказывается в состоянии учитывать контекст, т.е. ориентироваться на согласовательные потенции слова, а также основываться как на семантических, так и на разного рода формальных приметах рода, выявляемых в словоформе.

Исследование процесса построения ребенком данного компонента грамматической системы, рассмотрение трудностей, с которыми сталкивается ребенок, определение очередности освоения разных участков данной системы может пролить свет на внутреннее строение самой системы, позволить выявить в ней центр и периферию, расположить языковые факты по степени их прототипичности.

Материалом, на котором проверялись данные предположения, послужили записи, хранящиеся в Фонде данных детской речи кафедры детской речи Российского государственного педагогического университета (РГПУ) им. А. И. Герцена. Эти записи представляют собой диалоги детей со взрослыми, предварительно записанные на магнитофон, а затем расшифрованные и введенные в компьютер.[1] Использовались также материалы родительских дневников. Основными информантами были Аня С., Лиза Е., Ваня Я., Саша П., Оля М., Рома Ф. Возраст детей — от полутора до трех лет.

2. Категория рода в современном русском языке

В лингвистической науке давно ведется дискуссия о сущности категории рода в русском языке. Отсутствие семантической мотивиро-

[1] В организации Фонда данных детской речи большую роль сыграли сотрудники кафедры детской речи Е. К. Лимбах и Т. С. Лаврова, а также М. И. Аккузина.

ванности отнесения к роду неодушевленных существительных и значительной части одушевленных неличных (зоонимов), случаи употребления одушевленных личных существительных безотносительно к полу послужили основой для возникновения особой теории, суть которой состоит в постулировании некоторого инвариантного признака граммем рода; этот признак служит основой противопоставления родовых граммем и свойствен абсолютно всем существительным русского языка, независимо от наличия/отсутствия связи с так называемым «естественным» (биологическим) полом. В качестве такого признака выступает потенциальная возможность согласования с прилагательными и другими подобными им словами (местоимениями-прилагательными, порядковыми и некоторыми количественными числительными, причастиями), с глаголами в форме прошедшего времени и сослагательного наклонения, а также возможность координации с местоимениями в анафорической или дейктической функции. В таком случае род определяется как некий согласовательный класс чисто формального свойства. Именно так считал С. Д. Кацнельсон: «Каковы бы ни были основания именной классификации в том или ином языке, повсюду она выполняет формальные функции, которые и являются „смыслом ее существования“ во многих языках» [Кацнельсон 1972: 22]. В другой работе он называет род «максимально технизованной и формализованной категорией» и пишет, что «осуждающий приговор этой категории в плане мыслительной характеристики языка был вынесен еще рационалистической универсальной грамматикой XVII–XVIII вв.» [Кацнельсон 1986: 116]. Подобного взгляда на сущность категории рода придерживается и А. А. Зализняк [1964].

В указанном подходе, хотя он разделяется не всеми, есть важные преимущества: во-первых, он позволяет более логично вписать в данную систему средний род, который никак не связан с полом; во-вторых, он дает возможность учесть названные выше случаи употребления ряда существительных безотносительно к полу. Однако «ореол пола» — фактор, несомненно присутствующий в языковом сознании носителя языка, что ярко выявляется в художественной речи. На это обратил внимание академик Л. В. Щерба, анализируя лермонтовский перевод Гейне. Дословная точность перевода, уничтожившая противопоставленность женского и мужского начал (русские *сосна* и *пальма*, в отличие от соответствующих немецких эквивалентов, относятся к одному и тому же — женскому — роду), разрушила первоначальный настрой, заложенный в стихотворении, — тему мечтательной любви и трагической разъединенности мужчины и женщины. Многочисленные факты живой разговорной речи также свидетельствуют о том, что возможны «окказиональная семантизация» граммем рода, создание ненормативных родовых коррелятов, поскольку «семантическая

идея», основанная на соотношении рода и пола, является реальным фактом языкового сознания современного человека. Нельзя считать случайностью то обстоятельство, что поэты и прозаики часто экспериментируют именно с данной грамматической категорией, опираясь на возможности ее эстетического переосмысления [Гин 1992; Зубова 2000а; 2000б].

Различная «степень прототипичности» (см. трактовку этого понятия в [Бондарко 2003б: 20]) той или иной языковой единицы не может не быть актуальной для формирующегося языкового сознания ребенка. Степень прототипичности родовой характеристики той или иной лексемы мы предлагаем определять различным образом по отношению к двум лексико-грамматическим разрядам существительных: 1) существительным одушевленным, применительно к которым категория рода (за редкими исключениями) выступает как двучленная (двуграммемная); 2) существительным неодушевленным, применительно к которым категория рода выступает как трехчленная (трехграммемная). Можно, очевидно, говорить о двух подсистемах рода — рода одушевленных и рода неодушевленных существительных. Различия между этими подкатегориями лежат в двух сферах: во-первых, они определяются числом компонентов в каждой из подкатегорий, во-вторых, возможностью / невозможностью соотнесения с полом. Применительно к подкатегории рода одушевленных существительных можно говорить о ее коррелятивности, хотя и не проводимой последовательно, которая обнаруживается в существовании родовых коррелятов типа *медведь — медведица*, подобных до некоторой степени видовым коррелятам в системе глагола.

В то же время, несмотря на очевидные различия, обе подкатегории спаяны воедино двумя обстоятельствами: во-первых, наличием очевидной связи с формальными классами — типами склонения (для неодушевленных существительных они являются более строгими, что естественно в силу невозможности семантической мотивировки), во-вторых, своими согласовательными потенциями, а также возможностью координации с анафорическим / дейктическим местоимением *он*.[2]

Получается, что самыми надежными для определения рода являются именно формальные факторы, которые безотказно действуют в сфере как одушевленных, так и неодушевленных существительных. Возникает вопрос о том, каков механизм освоения этих факторов детьми.

[2]В большинстве работ термин «согласование» (agreement) используется расширительно, при этом его действие распространяется на воздействие родовых характеристик существительного на выбор формы рода местоимений, используемых в анафорической или дейктической функции (см., например [Kempe, Brooks, Mironova, Fedorova 2003]). Мы считаем более уместным использовать по отношению к выбору формы данных местоимений термин «координация».

Поясним, что́ мы понимаем под формальными факторами отнесения к роду. Они не однородны по своей природе. С одной стороны, это парадигма самого существительного, его отнесенность к определенному типу склонения. Связь между родом и типом склонения в русском языке имеет хотя и не жесткий, но вполне определенный характер. Выделяются первое (основное «женское») и второе (вбирающее существительные мужского и среднего рода) склонения, а также третье склонение (которое можно назвать дополнительным «женским»). Заметим, несколько забегая вперед, что маргинальное положение третьего склонения, а также отсутствие у существительных среднего рода собственной системы окончаний — это обстоятельства, которые не могут не влиять на характер освоения детьми данного фрагмента морфологической системы.

С другой стороны, к формальным факторам отнесения имен существительных к роду относятся согласовательные потенции слова и возможность координации с местоимениями в анафорической или дейктической функции. Именно согласовательные потенции являются фактором, однозначно свидетельствующим о родовой принадлежности существительного, что особенно четко проявляется применительно к несклоняемым существительным типа *колибри* или *шоссе*.

3. Освоение словоизменительных парадигм существительного, прилагательного и глагола как одна из важных предпосылок овладения родом

Самое сложное для анализа — то обстоятельство, что, конструируя собственную грамматику, ребенок создает одновременно многие блоки грамматической системы, относящиеся как к области морфологии, так и к сфере синтаксиса. Вместе с тем происходит формирование и расширение индивидуального лексикона. Можно предположить, что и здесь действует «островной» принцип, провозглашенный М. Томазелло применительно к освоению аргументной структуры глагола:[3] сначала осваиваются некоторые формы отдельных лексем, и только потом происходит их объединение, создание общей парадигмы, а также возникновение связей между элементами субстантивной и адъективной парадигм, субстантивной и глагольной и т.д. Судьба отдельных лексем в грамматическом отношении, очевидно,

[3] М. Томазелло [Tomasello 1992] убедительно обосновал точку зрения, согласно которой ребенок, осваивая глагол, овладевает его актантным окружением и вначале не делает обобщений относительно того, что все глаголы сходной семантики обязаны иметь тождественную актантную структуру. Первоначально постигается окружение каждого глагола в отдельности, и только впоследствии все сливается в единую картину («материк»).

складывается по-разному. Если лексема попадает в лексикон ребенка рано, например, на втором году его жизни, то он может освоить (не только при восприятии, но и при порождении речи) одну, две или три словоформы, пока еще не вписанные в формирующуюся в его языковом сознании общую сетку парадигматических отношений. Если же лексема попадает в лексикон на этапе, когда словоизменительные модели уже являются фактом языкового сознания ребенка, то он оказывается в состоянии вписать ее в систему, основываясь на установлении аналогий. О наличии в сознании ребенка словоизменительных моделей как таковых свидетельствуют известные опыты с квазисловами, которые проводились почти одновременно и в России, и на Западе (Д. Н. Богоявленский, J. Berko-Gleason). Об этом же свидетельствуют достаточно многочисленные в детской речи примеры формообразовательных инноваций.

Мы полагаем, что словоизменительные модели формируются в языковом сознании постепенно и представляют своего рода обобщения многих аналогичных случаев. Само постижение языковой системы ребенком основано прежде всего на установлении аналогий, решении своего рода уравнений с одним неизвестным методом пропорций: *река* (им. п.) — *реки* (род. п.) = *гора* (им. п.) : X (род. п.); X = *горы*.

Поскольку категория рода в русском языке выявляется в особенностях словоизменения как самих существительных, так и сочетающихся с ними слов, в данном случае речь идет о координации словоизменительных систем существительного и прилагательного (и других частей речи, способных к согласованию). Речь идет также о координации с фрагментом словоизменительной парадигмы глагола, включающей формы прошедшего времени (сослагательное наклонение мы в данном случае не учитываем, так как оно в когнитивном отношении еще недоступно для ребенка раннего возраста).

В процессе усвоения языка происходит одновременное и в известной степени согласованное построение парадигм существительного и прилагательного (здесь и далее имеется в виду прилагательное в широком смысле — включая местоимения-прилагательные, числительные *один* и *два*, порядковые числительные и причастия; для обозначения совокупности этих разновидностей используется условное название «адъектив»), а также существительного и глагола (применительно к прошедшему времени). Построение системы осуществляется «островным способом», т.е. появляются отдельные словоформы, сначала, по-видимому, «замороженные», но не конструируемые самостоятельно. Удивительно при этом, что функциональных «непопаданий» оказывается сравнительно мало, т.е. бóльшая часть морфологических форм используется в соответствии с контекстом и речевой ситуацией. Когда начинается период так называемой конструктивной грамматики, создаются первые противопоставления в области числа

и падежа существительных, вида и времени глагола и т.д., формы «размораживаются», становясь в настоящем смысле формами, т.е. грамматическими модификациями единой лексемы, словоформы инпута в языковом сознании ребенка начинают членится на основу и формообразовательные аффиксы. Вступают в силу правила детского формообразования, более простые и логичные, чем правила «взрослой» грамматики, и представляющие собой симплификацию (упрощение) последних. Симплификация и сверхгенерализация, а также «устранение пустот» — основные стратегии освоения детьми системы «взрослого» языка, отмечаемые при освоении языка и как первого (в нашем случае), и как второго [McLaughlin 1984].

Основной тенденцией, которой придерживается ребенок, является, как показывают наблюдения, стремление к симметрии языкового знака и приведение в соответствие плана выражения и плана содержания морфологической категории. Это может быть определено как генеральная линия детского «преобразования» нашего языка.

Остановимся подробнее на характеристике плана содержания категории рода.

Известно, что когнитивные факторы играют значительную роль в освоении ребенком родного языка [Слобин 1984; Кубрякова 2004]. Не случайно, освоив ту или иную закономерность в явлениях окружающей действительности, ребенок ищет способ выражения данной идеи в доступных ему единицах и категориях родного языка независимо от того, к какому ярусу языковой системы они принадлежат (лексике, просодике, морфологии, синтаксису). Так, например, осваивая количественные различия между предметами, ребенок начинает употреблять лексемы «много», «один» и в то же самое время овладевает категорией числа, использует повторы (редупликации) существительных для выражения множества предметов, пытается выразить идею множественности интонацией и т.д.

Содержание морфологической категории не сводится всецело к ее семантике. Возможным компонентом содержания категории является и так называемое структурное содержание — именно такой комбинацией семантического и структурного содержания, представленного согласовательной функцией, характеризуется категория субстантивного рода (см., например [Бондарко 1976]).

Анализ особенностей постижения ребенком данной категории может пролить свет на давно интересующий специалистов в области лингвистики детской речи вопрос: какие факторы играют роль в постижении ребенком языка определяющую роль — семантические или формальные. До сих пор мы придерживались той точки зрения, что в постижении языка ведущую роль играют факторы семантические и, в сущности, недостаточно учитывали роль факторов формальных (см., например [Цейтлин 2000]). Между тем, как оказывается, ребенок

чувствителен к форме не менее, чем к семантике языковых единиц.[4] Если бы это было не так, он не мог бы, например, освоить распределение существительных по трем склонениям (два из них, во всяком случае, осваиваются к двум годам — даже когда опора на семантику исключена, то есть применительно к неодушевленным существительным). Нам приходилось наблюдать удивительные способности ребенка, обнаруживающиеся при освоении некоторых формальных механизмов — например, правил соотношения открытой и закрытой глагольных основ с использованием так называемой йотовой корреляции. Открывая это правило, действующее на ограниченном пространстве взрослого языка (в пределах 1-го словоизменительного класса, по классификации «Русской грамматики», или 1-го и 2-го продуктивного классов, по традиционной классификации, восходящей, очевидно, к А. Н. Гвоздеву), дети расширяют его действие (в этом проявляется известная стратегия сверхгенерализации). Закрытые основы создаются ребенком путем прибавления *j*, а открытые — путем его устранения, что ведет к образованию соотношений: *борюсь — боремся*, *целовать — целуешь*, с одной стороны, и *клюет — клюл, целую — целуть* — с другой. Можно привести и другие примеры удивительной чувствительности ребенка именно к формальной стороне языка.

Суть постижения языка, точнее — построения каждым ребенком собственной языковой системы, во многом заключается в одновременном освоении формы и содержания языковых единиц и категорий, при этом, как мы попытаемся показать, ребенок исходит из представления о наличии более строгих взаимных соотношений между формой и содержанием языковых категорий, чем взрослые. Вместе с тем, дети в состоянии учитывать и достаточно тонкие формальные различия, не опирающиеся на семантику (как, например, взаимосвязь между системой флексий внутри определенного типа склонения существительного или типа спряжения глагола). Именно категория субстантивного рода, достаточно сложно организованная и в содержательном, и в формальном аспектах, предоставляет благодатный материал для выявления этих особенностей детского языкового сознания.

Чрезвычайно существенно, что при освоении категории рода происходит взаимодействие категории рода существительного с категориями рода прилагательных и глаголов, носящими словоизменительный характер. Мы попытаемся показать на примере категории рода, что ребенок строит свою языковую систему не поступательно, а одновременно — сразу всю, целиком, и отдельные ее фрагменты с самого

[4] Проблема чрезвычайно рано возникающей способности детей фиксировать внимание на формальной стороне языка активно обсуждается в литературе (см., например [Levy 1996]).

начала строго согласованы. При этом сначала появляются центральные, ядерные, фрагменты системы и лишь затем — периферийные.

В нашем случае речь идет о согласованности в построении словоизменительных систем существительного, прилагательного и глагола. Наивно было бы думать, что ребенок сначала «разбирается», например, до конца с существительным, затем переходит к глаголу или прилагательному и т.д. Получаемый им инпут достаточно разнообразен и включает разные формы различных частей речи, потребности коммуникации также вынуждают его использовать разнообразные, иногда непростые, языковые средства. При этом он постоянно координирует их по определенным признакам, в том числе в каждом случае использования существительного в форме единственного числа (эта ситуация является наиболее частотной) — по признаку рода. Необходимость решения данной задачи при программировании почти любого (или, во всяком случае, каждого второго) высказывания заставляет ребенка быть максимально внимательным ко всем проявлениям (семантическим и формальным) родовых характеристик слова.

Необходимым условием речевой деятельности для говорящих по-русски является определенный уровень синтагматической техники: необходимость осуществлять согласование и управление требует способности программировать высказывание с учетом иногда достаточно широкой перспективы — как и в любом другом флективном языке. В паре «опорное — зависимое слово» для неопытного производителя речи (не рискуем назвать его носителем языка) существенно умение предвидеть форму прилагательного, если оно продуцируется раньше существительного. Можно предположить, что в сочетаниях П–С (прилагательное-существительное) ошибок всегда оказывается больше, чем в сочетаниях С–П. Количество ошибок еще более возрастает, если компоненты словосочетания разделены другими словами. То же относится к предикативным сочетаниям С–Г и Г–С (сочетаниям существительного с формами глагола прошедшего времени).

Особого внимания заслуживают факты отсутствия в контексте опорного слова. Возникает вопрос: в какой форме при этом оказывается слово зависимое? Среди наших информантов есть дети (например, Лиза Е.), которые, не умея еще продуцировать цепочки из двух слов, т.е. элементарные словосочетания, оказываются, тем не менее, способными выбрать правильную форму прилагательного, ориентируясь на род существительного, которое имеется во внутреннем лексиконе, но остается непроизнесенным. Так, в возрасте 1 года и 10 месяцев среди однословных высказываний Лизы, не являющихся ответными репликами диалогических единств, зафиксированы следующие: *Гязий* (грязный); *Татай* (пустой) — о доме; *Пахай* (плохой) — о куличе; *Биная* (бедная) — о себе самой; *Дидитый* (сердитый) —

о луке; *Касия* (скользкая) — о горке и ряд других. Можно предположить, что в индивидуальном лексиконе таких детей слова получают свои родовые характеристики раньше, чем приобретаются необходимые навыки синтагматической техники. Вообще, дети чрезвычайно различаются в приоритетах, выявляющихся при конструировании ими собственных языковых систем: одни смело строят длинные высказывания, но при этом обращают мало внимания на морфологические характеристики слов; другие, напротив, очень чувствительны к морфологии, но при этом не спешат строить многокомпонентные высказывания, пока не отшлифуют в морфологическом отношении каждую единицу. Мы не ставим перед собой задачу провести сопоставление всех возможных стратегий освоения языка — для этого нужны исследования больших групп детей; мы лишь хотим обратить внимание на самое наличие этих серьезных различий.[5]

4. Ментальный лексикон и его грамматическая организация в индивидуальной языковой системе человека

С теоретической точки зрения, важно поставить вопрос о том, как соотносятся проблемы детской практической грамматики с проблемами формирования ментального лексикона. Для этого необходимо сначала выяснить, каким образом слова хранятся в ментальном лексиконе взрослого человека. Очевидно, каждое из них снабжено определенным набором грамматических характеристик, обеспечивающих слову возможность выполнять определенные функции в высказывании, сочетаясь с другими его компонентами. В ментальном лексиконе ребенка грамматические характеристики слов могут быть первоначально весьма бедными, размытыми, не вполне совпадающими с теми характеристиками, которые те же слова могут иметь в лексиконе взрослого человека. Освоение родного языка можно представить себе как одновременное возведение двух зданий (мы отвлекаемся в данном случае от освоения звуковой материи речи) — лексикона и «грамматикона» (термин Ю. Н. Караулова) в их взаимной соотнесенности.

В данном случае мы пытаемся осветить некоторые из возникающих при этом проблем на материале категории рода.

Мы исходим из следующих положений: та или иная «родовая» характеристика существительного является его внутренним качеством,

[5] Проблема различий в индивидуальных стратегиях постижения языка является одной из серьезнейших в онтолингвистике. Однако индивидуальные различия между детьми столь многообразны, что для их полного описания в настоящее время еще не хватает эмпирических данных.

которое имеет семантическую мотивированность лишь в разряде одушевленных личных и некоторых одушевленных неличных существительных. Однако это качество присуще абсолютно всем существительным, в том числе тем, у которых семантическая мотивированность (связь с полом) отсутствует; оно проявляется в их парадигматике (отнесенности к тому или иному типу склонения) и в согласовательных потенциях, а также в координационных связях с местоимением *он* (*она — оно*), выполняющим анафорическую или дейктическую функцию.

Факторы, определяющие отнесенность существительных к тому или другому роду, мы разделили на семантические и формальные (см. выше). Семантический фактор состоит в связи морфологического маркера с полом денотата. Его можно определить следующим образом: существительные, обозначающие лиц мужского пола, относятся к мужскому роду, существительные, обозначающие лиц женского пола — к женскому роду. Особые случаи представляют собой немаркированность половой идентификации (*дворник, учитель*), а также подвижность половой идентификации (*задира, умница*). В первом случае речь идет об использовании существительных без актуализации пола денотата, во втором — о так называемом общем роде, когда одно и то же существительное может быть использовано и как существительное мужского, и как существительное женского рода.

Семантический фактор действует не только в сфере одушевленных личных существительных, но и (ограниченно) в сфере одушевленных неличных существительных, обозначающих животных. Этот фактор находит свое выражение в существовании родовых коррелятов, образованных либо суффиксальным способом (*работник — работница, медведь — медведица, пионер — пионерка*), либо супплетивным (*бык — корова*), либо путем смены парадигм (*супруг — супруга*).

Родовые корреляты для разграничения самцов и самок имеются лишь у небольшой группы одушевленных неличных существительных, многие из одушевленных неличных существительных таких пар не имеют, при этом родовая характеристика слова определяется на формальных основаниях — как у неодушевленных существительных.

В сущности, вне этой области распределение существительных по трем родам имеет чисто формальный характер. Формальные приметы отнесенности к роду могут быть разделены на несколько разрядов.

Во-первых, это парадигматические признаки — они заключаются в традиционно устоявшейся связи между набором словоизменительных флексий и родовой характеристикой слова.

Во-вторых, это синтагматические признаки — сочетание с адъективами. Эти признаки являются универсальными, т.е. распространяются абсолютно на все существительные — как на обладающие семантической мотивированностью рода, так и на лишенные ее, как на

имеющие парадигму (склоняемые), так и на лишенные парадигмы (несклоняемые). Не случайно ряд авторов предлагают переименовать род в согласовательный класс: это было бы логичнее, но при этом исчезает «сексуальная составляющая», которая иногда дает себя знать даже в сфере неодушевленных существительных. Бодуэн де Куртенэ считал ее крайне важной в психологическом отношении: «У человека с родовыми или сексуальными представлениями в области языка более поводов к анимизму, к оживлению мира, к его очеловечению и „оживотнению“, чем у человека без этого языкового элемента» [Бодуэн де Куртенэ 2000: 11].

К синтагматическим признакам относится также согласование глаголов в формах прошедшего времени и сослагательного наклонения с существительными. Взаимоотношения с анафорическими местоимениями — прежде всего с местоимениями *он*, *она*, *оно* — назовем дискурсивными признаками.

Все эти признаки — семантические и формальные, парадигматические и синтагматические — могут быть рассмотрены как своего рода ключи, обеспечивающие человеку, осваивающему русский язык, возможность овладеть категорией рода. Этими ключами активно пользуются дети, причем для одних более информативным может оказаться одно, для других — другое.

5. Начальный этап освоения категории рода

Выше уже шла речь о том, что мы исходим из понимания субстантивного рода как морфологической категории, представляющей собой две сопряженные подсистемы: первой является двучленная подсистема личных существительных, которая представляет собой комбинацию двух граммем — граммемы мужского и граммемы женского рода. Противопоставление граммем применительно к данному разряду существительных является семантически мотивированным и основанным на противопоставлении так называемых естественных полов — мужского и женского. При употреблении одушевленных личных существительных отнесенность к полу в большинстве случаев актуализируется, и говорящий выбирает один из так называемых родовых коррелятов, которые представляют собой чаще всего деривационную пару, в некоторых (редких) случаях — пару, образованную супплетивным способом, в других (также очень редких) — пару, образуемую путем смены парадигм.

В другой подсистеме (неодушевленных существительных) категория рода выступает как трехчленная и лишенная семантической мотивированности. В качестве оснований для родовой характеристики выступает отнесенность к определенному парадигматическому классу (типу склонения). При этом, как известно, не наблюдается строго-

го однозначного соотношения между родом и типом склонения. Отсутствие изоморфизма между родом и типом склонения составляет известную трудность для освоения грамматики, поэтому дети первоначально осваивают данную систему в «урезанном» виде (два рода: мужской и женский — и два склонения: первое и второе). Названные формальные основания сохраняют свою силу и применительно к разряду одушевленных личных существительных, с тем только различием, что группа существительных мужского рода на *-а/-я* относится к мужскому роду, хотя и изменяется по первому (женскому) склонению.

Одушевленные неличные существительные ведут себя по-разному: существительные, в которых акцентирована идея принадлежности к полу, встраиваются в систему родовых коррелятов со всеми тремя указанными выше структурными разновидностями. Другие существительные данного подкласса, для которых идея пола оказывается не столь существенной, находятся вне системы родовых коррелятов и ведут себя аналогично неодушевленным существительным, с тем отличием, что фактически исключают граммему среднего рода, ср. *снегирь, журавль, комар* и *синица, цапля, муха*.

В сущности, единственным универсальным свойством любого существительного является его способность определять форму адъективов, а также глаголов в прошедшем времени. Поэтому закрепление за категорией рода статуса согласовательного класса кажется нам вполне правомерным. Даже несклоняемые существительные могут быть отнесены к тому или иному роду благодаря своему «согласовательному потенциалу»: *синее кашне*, *черное такси*, *черный кофе*, *веселый какаду*. Ср. также: *Кашне упало*; *Такси подъехало*; *Какаду вылетел из клетки*.

Еще одним существенным признаком, позволяющим разграничить существительные трех родов, является возможность их субституции местоимением *он — она — оно*. Данный признак можно считать дискурсивным, поскольку он является элементом связности текста. Выбор одной из форм рода так или иначе коррелирует со статусом существительного, соотносимого с данным референтом, в составе ментального лексикона говорящего (и слушающего).

Из признаков не столь существенных можно назвать различную сочетаемость с числительными *один — одна — одно*; *два — две* и *оба — обе*.

Перечисленные выше признаки весьма важны для нашего исследования по крайней мере по двум причинам.

Во-первых, в совокупности с семантическим признаком, действующим в ограниченном пространстве, они выступают в качестве своеобразных ключей, на которые ориентируется человек, конструирующий в своем языковом сознании грамматику русского языка. Имен-

но на основе бессознательного анализа получаемого инпута и осуществляемой каждым индивидом самостоятельно категоризации языковых единиц и возможно построение им собственной грамматики.

Во-вторых, учет данных признаков позволяет определить основные закономерности построения рассматриваемого фрагмента детской практической грамматики.

Поскольку в распределении существительных по родам в целом решающую роль играет характер парадигмы, остановимся на особенностях формирования субстантивной парадигмы.

По нашим наблюдениям, с самого начала в языковом сознании ребенка достаточно прочно формируется противопоставление двух основных форм — именительного падежа слов на *-а* и слов с нулевым окончанием. Эти формы являются наиболее частотными (по сравнению с другими падежными формами) в инпуте, они же господствуют и в речевой продукции ребенка. В течение определенного времени они не противопоставлены другим падежным формам тех же существительных, но с самого начала противопоставлены одна другой. В нашем материале практически нет примеров взаимозамены флексий между двумя этими формами, что, очевидно, свидетельствует о том, что они осваиваются целостно, холистически. В подавляющем большинстве случаев они используются в адекватных контекстах, т.е. выступают в функциях, выполняемых именно именительным падежом. Однако в речи ряда детей наблюдается период, когда данные формы могут использоваться и в тех функциях, для которых в языке взрослых предназначены иные падежные формы, т.е. для обозначения прямого объекта, адресата, посессора и т.п. В подобного рода случаях принято говорить о так называемом замороженном именительном падеже. Так, Аня С. (1.09.08[6]) говорит маме: *Ниська дай. Мама, сядь. Тай-тай* (Книжку дай. Мама, сядь. Читай); Она же (1.09.24), надевая сапожки, произносит: *Сунь нога!* Максим Е. (1.10.03), указывая на картинку, говорит: *Гусь сапоги* (Гусь в сапогах).

Трудно сказать (без проведения специальных экспериментов), на какой стадии возникают первые падежные противопоставления в восприятии речи, но в речевой продукции большинства обследованных нами детей стадия первоначального неразграничения падежей приходится на середину второго года жизни. Получается, что при отсутствии внутрисловных падежных противопоставлений уже возникают межсловные формальные родовые противопоставления, которые образуют определенную базу для дальнейшего развития и углубления формальной вариативности.

В речевом инпуте, получаемом ребенком, эти начальные словоформы (с флексией *-а* и с нулевой флексией) используются в окруже-

[6]После имени ребенка приводятся сведения о возрасте, которого он достиг к моменту цитируемой записи, в формате Г.ММ.ДД (годы-месяцы-дни).

нии согласуемых и координируемых с ними форм, которые призваны обозначить необходимые родовые характеристики, однако ребенок до определенного времени к ним нечувствителен.

Отметим, что уже в начальный период в сознании[7] ребенка закладывается возможность одной аномалии, а именно — конфликта между «женской» характеристикой формы (не только именительного падежа, но и всех остальных, которые постепенно начинает осознавать ребенок) и «мужским» типом согласования. Слова мужского рода на *-а* относятся к разряду чрезвычайно частотных и в инпуте, и в речевой продукции детей, однако данный конфликт еще не может восприниматься ребенком, поскольку и самые родовые характеристики еще не закрепились за определенными лексемами. Вместе с тем, в языковом сознании возникают некоторые согласовательные схемы, прикрепленные к конкретным лексемам, — схемы, основанные, в сущности, на семантическом признаке пола (*Папа пришел*; *Саша маленький*; *Дядя дал мячик*; *Мой дедушка*). Эти схемы могут оказаться достаточно устойчивыми и уцелеть под давлением схем формального согласования, хотя иногда формальное согласование одерживает верх, и в этом случае в дальнейшем возникают образования типа *твоя папа*, *с этой дедушкой* и т.п. Следующий пример из речи Лизы С. свидетельствует о том, что ребенок на определенных этапах своего языкового развития может полностью игнорировать семантические признаки пола. Отец купил Лизе С. (02.09.10) куклу-мальчика, она назвала ее Федей и восклицает: *Мама, смотри, какая Федя!* При этом, как следует из замечания в материнском дневнике, она хорошо знает, что Федя — мужское имя (так зовут ее друга — соседа по даче). Конфликт семантики и формы разрешается в данном случае в пользу формы, поскольку семантический критерий еще не является устойчивым.

Все дальнейшие процессы осуществляются параллельно: возникновение падежных противопоставлений (прежде всего — именительного и винительного падежей в роли прямого дополнения) и одновременно с этим — освоение фразовой речи, предикативных и непредикативных словосочетаний, требующее освоения синтагматической техники, одним из ведущих принципов которой является согласование в роде (наряду с согласованием в числе и падеже).

Постепенно начинают формироваться две раздельные парадигмы существительных, соответствующие I и II склонению. Первым, как уже было сказано, возникает противопоставление форм мужского и

[7] Термин «сознание» используем в широком смысле, т.е. в отвлечении от степени осознаваемости, а стало быть, имея в виду и сферу подсознания. См. обсуждение проблем соотношения понятий «сознание» и «подсознание» в монографии [Румянцева 2004].

женского рода внутри именительного падежа, вслед за ним — внутри винительного прямого объекта.

У большей части детей словоформы существительных I и II склонений с самого начала достаточно четко разделены, формы соответствуют нормативным. Приведем примеры из речи Лизы Е. в возрасте 1 года 9 мес. Существенно заметить, что в это время в речи девочки появились словоформы всех косвенных падежей, причем каждый из падежей использовался в разных семантических функциях. Чаще всего винительный падеж употреблялся для обозначения прямого объекта. На вопрос: *Что кот ел?* — Лиза отвечает: *Туу (*траву), на вопрос: *Что дать?* — отвечает: *Баяма* (барана), *апатю* (лопату). На вопрос: *Кого ты мне даешь?* — отвечает: *сятика* (зайчика). Винительный падеж используется также и в иных семантических функциях: директива, делибератива, дестинатива, фабрикатива, деструктива[8] и т. д. Таким же семантическим разнообразием отличались словоформы всех других падежей, причем падежные функции соответствовали нормативным.

Почти полное отсутствие формообразовательных аномалий на этом раннем этапе свидетельствует о том, что формы осваиваются холистически, ментальный лексикон включает целостные словоформы, не членимые на основу и словоизменительные аффиксы. Ближе к двум годам осваивается механизм словоизменения, формируются парадигмы как отвлеченные модели, схемы, которые используются в процессе речевой деятельности. У части детей (например, у Жени Г.) возникает общая и не зависящая от формы именительного падежа (и, следовательно, не связанная еще с типологией склонения) форма винительного падежа на *-у*. А. Н. Гвоздев, изучавший становление грамматической системы у ребенка на материале речи своего сына, первым отметил это явление — наличие «главенствующих» флексий в ряде падежей независимо от рода, однако не у всех детей оно проявлялось так ярко, как у Жени Гвоздева. Это явление позднее в работах Д. Слобина получило название «империализма флексий». Когда период «империализма флексий» заканчивается, выделяются три типа склонения существительных, причем III склонение формируется значительно позднее первых двух — очевидно, именно потому, что оно не имеет опоры на отдельный род. Унификация флексий наблюдается и в формах множественного числа, а именно — в формах именительного и родительного падежей (в именительном приоритетной является флексия *-и/-ы*, вытесняющая *-а/-я*, а в родительном — *-ов/-ев*, вытесняющая как нулевую флексию, так и флексию *-ей*). Примеры унификации флексий в именительном падеже множественного числа: *по́езды* (вместо *поезда*), *бо́ки* (вместо *бока*); в родительном паде-

[8]Пользуемся терминологическим аппаратом, предложенным Г. А. Золотовой [1988].

же множественного числа: *ушов* (вместо *ушей*), *глазов* (вместо *глаз*). Форма именительного падежа единственного числа характеризуется большой устойчивостью и подвергается иногда модификации только у существительных III склонения («эта болезня», «твоя скатертя»).

В целом можно сказать, что до определенного времени имеет место некоторая предельно упрощенная падежно-родовая система, в которой уже осуществляется дифференциация по падежам, но дифференциация по роду оказывается отчетливо представленной лишь в форме именительного падежа единственного числа.

Последние несколько месяцев второго года жизни (у некоторых детей это относится к первому, а иногда и второму полугодию третьего года жизни) — время активного освоения грамматики, причем на данном этапе наблюдаются существенные различия между детьми в стратегии ее освоения. Если отвлечься от различий в объеме лексикона и фонетической стороне речи и сосредоточиться на способах освоения грамматики, то можно выделить несколько основных стратегий.

Некоторых детей характеризует сосредоточенность на морфологических категориях, освоение их во всем многообразии — при том, что предложения в речи этих детей являются предельно короткими. Такой тактики из наблюдаемых нами детей придерживалась Лиза Е. Хотя ее высказывания являются на данном этапе в подавляющем большинстве случаев однословными, однако они могут рассматриваться как эллиптические варианты более полных структур, свойственных взрослому языку. Таких детей можно условно назвать «морфологистами».

Для речи других детей характерны развернутые предложения, содержащие достаточное число компонентов, не получающих, однако, нормативного морфологического оформления. К таким детям относится, например, Женя Г. Если качество, которое можно назвать «adult-likeness» (похожесть на речь взрослых), у Лизы проявляется в нормативной морфологической маркировке, то у Жени оно заключается в выборе лексем из числа реально существующих, в использовании синтаксических моделей, имеющихся в родном языке. Условно таких детей можно назвать «синтаксистами». Синтаксические отношения в речи этих детей выражаются преимущественно порядком слов и самим фактом наличия нужных лексем, которые могут быть лишены нормативного морфологического оформления.

При всех серьезных различиях в речи детей первой и второй групп, они могут формально совпасть по показателям MLU,[9] т.е. по

[9] Критерий MLU (mean length of utterance) предложен Р. Брауном [Brown 1973] и активно используется западными исследователями в качестве способа определения уровня речевого развития ребенка. Он основан на учете средней длины высказывания в морфемах.

среднему числу морфем в высказывании, поскольку структурированность словоформ в первом случае компенсирует длину высказывания в компонентах, и наоборот.[10]

И, наконец, есть категория детей, которые не могут считаться продвинутыми ни в морфологическом, ни в синтаксическом отношениях. Они относятся к разряду так называемых late-talkers (поздноговорящих). Поскольку их когнитивное развитие находится в пределах нормы и коммуникативные намерения ничем фактически не отличаются от коммуникативных намерений их сверстников, им приходится подчас изобретать собственные, иногда достаточно изощренные, способы выразить мысль и/или опираться на некоторые специфические языковые знаки, сложившиеся в сфере baby-talk и обслуживающие систему ранней коммуникации (мы имеем в виду разного рода ономатопеи и вокализации с постоянным смыслом, а также жесты). Таков, например, Ваня Я. Эти дети вынуждены строить свой особый синтаксис, чтобы выразить достаточно сложные мысли, и достигают иногда в этом большого успеха. Их высказывания в наименьшей степени характеризуются признаком adult-likeness. Поэтому верно интерпретировать содержание их высказываний могут, как правило, лишь постоянные партнеры по коммуникации. Подавляющая часть этих детей со временем догоняет своих сверстников в речевом отношении, поэтому, как нам кажется, здесь разумнее видеть не проявление какой бы то ни было патологии, а лишь одну из возможных стратегий освоения языка.

Разумеется, различие стратегий освоения языковой системы не может не сказываться на построении ее важнейшего компонента — системы морфологических категорий. Естественно, что наиболее успешно осваивают их дети первой группы. В нашем случае это Лиза Е., для которой на всех этапах развития характерно внимание к морфологическим деталям, при этом (если говорить о специфике освоения категории рода) она в равной степени чувствительна и к парадигматическим, и к синтагматическим аспектам данной категории.

Тем не менее, несмотря на наличие глубоких индивидуальных различий, есть некоторые общие закономерности, на которых мы хотим остановиться, прослеживая дальнейшие этапы освоения ребенком морфологической системы русского языка, в первую очередь — категории рода.

Формирование падежно-родовой системы, первую стадию которой мы видим в противопоставлении двух разных форм именительного падежа, осуществляется одновременно с формированием числовой

[10] См. введенное М. Д. Воейковой [2004: 92–93] важное понятие ПБФ (процент базовых форм), который сопоставляется со средней длиной высказывания в морфемах.

парадигмы (от чего мы в данном исследовании отчасти отвлекаемся), а также с формированием словоизменительной парадигмы прилагательных и глаголов, достаточно богато представленных в инпуте и обеспечивающих возможность дополнительного закрепления в языковом сознании ребенка родовых противопоставлений (Вон *птичка полетела* — Вон *мячик твой упал* и т.п.).

Как уже было отмечено выше, у большинства детей одним из первых отчетливых противопоставлений в падежной системе является противопоставление именительного и винительного падежей единственного числа, маркирующих разделение субъекта — агенса действия и прямого объекта. При этом у одних детей форма винительного падежа избирается с учетом родовой спецификации (*Дай книжку*, но *Дай мячик*), а у других наблюдается своего рода экспансия «женского» винительного (*Дай мячику*). Однако эта экспансия оказывается не очень заметной, поскольку на данном этапе бóльшая часть форм осваивается холистически. Период так называемой продуктивности наступает позднее и знаменуется наличием нескольких противопоставленных форм одного и того же слова,[11] а также появлением первых формообразовательных инноваций. Важность второго процесса и его позитивную функцию в освоении ребенком языка отметил еще А. Н. Гвоздев [1961]. Одним из проявлений формирования в сознании ребенка словоизменительной парадигмы существительного и является возникновение сверхгенерализованных форм, суть которых заключается в единообразном способе их конструирования — без учета различий в типологии склонений, за которыми скрываются, в первую очередь, различия в родовых характеристиках лексем. Д. Слобин [1984] справедливо отмечает, что замена флексий всегда происходит внутри одного и того же класса. Дети правильно выбирают падеж — в соответствии с его семантической функцией, но могут ошибаться (на этапе продуктивной грамматики) в конструировании формы, так как им еще неясны принципы выбора флексии из того или иного набора возможных (т.е. типа склонения). Этот выбор как раз и связан самым тесным образом с формированием категории морфологического рода.

Постепенно возникает разграничение и других падежей. По наблюдениям М. Б. Елисеевой (неопубликованное сообщение), последовательность появления падежей у разных детей может не совпадать полностью, но незыблемой остается следующая закономерность: первым среди косвенных появляется винительный падеж, последним — творительный.

Сопоставление нормативных и ненормативных падежных форм в речи детей позволяет сделать некоторые заключения о формирова-

[11] См. в работах В. Дресслера и его последователей понятие минипарадигмы ([First verbs: On the way to miniparadigms 2000; Воейкова 2004; Гагарина 2000]).

нии того, что можно условно назвать падежно-родовой парадигмой. Сложность заключается в том, что практически трудно, а иногда и невозможно разграничить воспроизводство формы и ее самостоятельное конструирование. Со стопроцентной уверенностью о самостоятельном конструировании формы можно говорить только в случае ее расхождения с формой, имеющейся во взрослом языке, но при этом нельзя утверждать обратного, ибо форма, самостоятельно построенная ребенком, может совпасть с нормативной, что и случается, очевидно, в подавляющем числе случаев.

Не вызывает сомнений, на наш взгляд, сам факт наличия ряда вре́менных (промежуточных) языковых систем ребенка, в соответствии с которыми и осуществляется речевая деятельность на конкретных возрастных этапах. Степень приближения каждой из таких систем к языковой системе взрослого человека увеличивается в соответствии с возрастом. Несомненно наличие индивидуальных различий, но в данном случае мы стремимся сосредоточить внимание в первую очередь на общих, универсальных закономерностях.

В течение некоторого времени в языковом сознании ребенка доминирует некая временная языковая система, которую можно считать упрощенной копией языковой системы взрослого языка. Ее принципы просты: два рода (мужской и женский) и, соответственно, две системы флексий. В эту систему не встроены существительные среднего рода, существительные женского рода, относящиеся к III склонению, существительные мужского рода, изменяющиеся по I («женскому») склонению, а также, естественно, несклоняемые существительные. Поэтому, попадая в лексикон, они вынуждены приспосабливаться к сложившейся в сознании парадигме, что ведет к возникновению инноваций.

Однако даже в этой системе уже сложившиеся противопоставления реализуются не вполне последовательно. У многих детей отчетливо ощущаются тенденции слияния «гендерной составляющей» в ряде пунктов — в частности, в винительном и творительном падежах (при этом формы именительного падежа всегда четко различаются): на определенном этапе они используют флексию *-ой* для всех существительных (не только *ложкой,* но и *ножикой, ведеркой*), а затем переходят к использованию флексии *-ом* также для всех существительных (не только *ножиком, ведерком*, но и *ложком*). Встречаются дети (гораздо реже), у которых с самого начала гендеры четко разведены — как, например, у Лизы: морфологических инноваций такого типа в ее речи крайне мало.

Эта временная детская система может быть рассмотрена как некое ядро падежно-родовой системы взрослого языка. Таким образом, она является, на наш взгляд, п р о т о с и с т е м о й одновременно в двух смыслах — в том смысле, что оказывается предшественни-

цей нормативной языковой системы (и, таким образом, оказывается в одном ряду с понятиями *протоглагол*, *протоадъектив* и пр.), и в том, что может рассматриваться как своего рода «лучший экземпляр» падежно-родовой системы, реально представленный в языковом сознании его носителей.[12]

В этой четкости построения двух параллельных рядов форм играет некоторую роль уже начавшаяся дифференциация по роду. Адъективы и глаголы прошедшего времени самим ребенком не используются или используются крайне редко, однако они присутствуют в инпуте, помогая возникновению и укреплению данной дифференциации в языковом сознании ребенка. Таким образом, истоки родовой дифференциации можно видеть уже на этапе голофраз и начальных многословных предложений. У Лизы эта исходная родовая дифференциация произошла очень рано: в ее первых падежных формах отчетливо просматриваются два исходных типа склонения. Для нее же характерна дифференциация по роду адъективов, возникающая еще на той стадии, когда в продуктивной речи отсутствовали двусловные высказывания. Присутствующие в диалоге адъективы отчетливо разграничиваются по роду, причем род избирается во всех случаях правильно — в соответствии с родом не называемого ею, но присутствующего в сознании существительного. Эти случаи позволяют утверждать, что парадигмы прилагательных формируются параллельно парадигмам существительных и обе парадигмы с самого начала являются внутренне взаимосвязанными. Словоформы существительного и прилагательного ориентированы друг на друга, как элементы детского «паззла»: каждая форма существительного возникает вместе со своим «сочетательным ореолом» — независимо от того, реализовано ли все сочетание в детском высказывании. О соотношении форм существительного с формами прошедшего времени глагола мы пока знаем меньше. Анафорическое местоимение *он — она — оно* на данном возрастном этапе занимает в инпуте весьма скромное место, поэтому и роль этого местоимения в закреплении родовых характеристик лексем, очевидно, менее заметна.

Таким образом, к возрасту двух — двух с половиной лет основы субстантивной парадигмы у большинства детей оказываются в общих чертах сформированными.

[12] Наши рассуждения касаются падежных форм единственного числа. В формах множественного числа различия между мужским и женским родом фактически уже не просматриваются вследствие унификации флексий в косвенных падежах (немногочисленными исключениями в данном случае можно пренебречь).

6. Трудности в освоении детьми категории рода

6.1. Проблема среднего рода

Детская субстантивная парадигма радикально отличается от субстантивной парадигмы взрослых носителей языка тем, что в ней фактически отсутствует средний род. В предшествующих работах мы указывали на некоторые возможные причины этого явления. Хотелось бы внести в ранее высказанные утверждения некоторые коррективы. Отсутствие среднего рода в начальной родовой системе ребенка связано, по-видимому, не только с тем, что его нет в подсистеме одушевленных личных существительных, но прежде всего с перцептивной невыпуклостью среднего рода и его малой частотностью в инпуте. Парадигма существительного среднего рода в целом совпадает с парадигмой существительного мужского рода, за исключением единственной (правда, самой частотной и очень важной) формы именительного падежа. Однако в случае безударности флексии эта форма неотличима от формы существительного женского рода (ср. *кошка* и *окошко*). С этим связаны два возможных способа приспособления существительных среднего рода к временной детской парадигме. Одним из способов является перевод их в мужской род, о чем можно судить (а) по измененной форме именительного падежа, (б) на основе местоименной субституции, (в) по форме адъектива именительного падежа и (г) по форме глагола прошедшего времени. Вторым способом является перевод существительных среднего рода в женский род, о чем также свидетельствуют местоименная субституция, формы адъектива в косвенных падежах, формы глагола прошедшего времени, — а в ряде случаев эти признаки сочетаются.

Примеры перехода среднего рода в женский из речи Ани С. (2.01.20): Хочет лечь между мамой и папой, кричит: *Моя места!* Она же, по наблюдениям матери (запись относится к возрасту 2.02.01), «устойчиво относит слово *колечко* к женскому роду: *мая калетька*». Что касается слово *озеро*, то оно, по наблюдениям матери, в языке ребенка относится к мужскому роду (запись, относящаяся к возрасту 2.06).

Деформация существительных среднего рода становится проблематичной при ударности флексии. В этих случаях форма оказывается более устойчивой и «выходит» из складывающейся системы. Модификация словоформы с перцептивно выпуклым окончанием оказывается затрудненной. Интересно, что в тех случаях, когда существительное сохраняет форму среднего рода, адъектив чаще всего также имеет форму среднего рода, которая в данном случае оказывается как бы «принудительно представленной», ср.: *Ведро какое!*, *твое окно* и т.п. Это, видимо, говорит о том, что формы среднего рода адъективов в пассивном «грамматиконе» уже имеются и могут

извлекаться оттуда по требованию стержневого слова, однако они еще не стали полноправным компонентом формирующейся грамматической системы.

Неприятие детьми среднего рода было в свое время описано М. И. Поповой [1958], оно же отмечается и А. Н. Гвоздевым [1961]. Известно, что средний род упраздняется в ряде русских говоров, отличается неустойчивостью в просторечии (*этот яблок* и т.п.). Все это свидетельствует о том, что причины указанного явления достаточно глубоки и связаны с полевым строением самой гендерной системы: ее ядро составляет оппозиция мужского и женского родов.

Любопытно, что в данном отношении процессы, наблюдаемые в детской речи, не соответствуют явлениям, наблюдаемым в современной поэзии: если поэты «сопротивляются утрате среднего рода, свойственной общеупотребительному языку» (см. [Зубова 2000б: 301]), то дети, напротив, активно участвуют в этом процессе.

6.2. Судьба III склонения

Другое явление, которое осложняет освоение языка, — это наличие двух наборов флексий для существительных женского рода (распределение их между I и III склонениями). Максимально ярким и надежно противопоставленным мужскому роду является I, а не III склонение, поскольку данное противопоставление прочно держится на оппозиции начальных, ключевых, форм. Формы именительного падежа, без всякого сомнения, наиболее частотны и в инпуте, и в речевой продукции ребенка. Кроме того, они и психологически превалируют в языковом сознании как представители лексемы в целом. Поэтому фонетическая противопоставленность ключевых форм играет при освоении языка большую роль. Гораздо меньше противопоставлены слова типа *тень* (ж.р., III скл.) и *день* (м.р., II скл.): хотя формы косвенных падежей у данных и подобных им слов различаются, однако положение начальных форм играет, как показывает анализ материала, огромную роль в языковом сознании носителя языка и человека, данный язык постигающего. Приведем в качестве подтверждения следующий эпизод, зафиксированный в дневнике известного психолога Н. А. Менчинской [1999], которая вела наблюдения за речью собственной дочери. Возраст ребенка — 5 лет и 2 месяцев.

«Называю существительные, Ляля (так Наташу звали в семье) определяет их „род“.

— Дом — мальчик, лампа — девочка, компот — мальчик, печка — девочка... Дедушка — ну он и есть дедушка. Бабушка — ну и есть бабушка (По-видимому, в двух последних случаях девочка имеет в виду очевидную связь рода существительного с полом. — *С. Ц.*). Шоколад — мальчик, шоколадка — девочка... Яблоко... (Не знает как отвечать, недовольно говорит): ну и есть яблоко. (В этом случае «ну

и есть» свидетельствует о другом — о том, что род данного слова неопределим с помощью предложенной методики. — *С. Ц.*). Наташу спрашивают: День — мальчик или девочка? Пауза, потом:

— Я не пойму...

Значит, лишь те слова, которые кончаются твердой согласной, обладают для нее признаком „мальчик“». (Это замечание самой Н. А. Менчинской, существенное для наших рассуждений). Отсюда — неустойчивое положение существительных III склонения и частые случаи их модификации в детской речи. Модификации могут быть подвержены как содержание, так и форма языковых единиц (иногда и то, и другое вместе). Изменение содержания можно видеть в тех случаях, когда происходит изменение рода (и, соответственно, парадигматики в косвенных падежах), а изменение формы — в тех случаях, где род (женский) сохраняется, но происходит полное изменение парадигмы. В первом случае изменения поддерживаются модификацией формы согласуемых слов.

6.3. Существительные мужского рода на *-а*

Третье явление, противоречащее детской простой системе, — это наличие слов типа «папа». Они представляют собой резкую аномалию в падежно-родовой парадигме, однако их частотность в инпуте и в составе начального детского лексикона столь высока, что родовые характеристики, закрепленные за конкретными лексемами, могут быть освоены достаточно рано: *мой дедушка*, *папа пришел* и т.п.

При этом можно отметить любопытное явление — случаи так называемого U-shaped development,[13] когда род подобных слов сначала как будто определяется верно (*мой папа, этот дядя*), но на каком-то этапе в речи ребенка начинают появляться случаи неверного согласования типа *моя папа*. Подобные случаи, на наш взгляд, свидетельствуют о продвижении в освоении основ падежно-родовой системы, о том, что грамматика ребенка приобретает черты продуктивности и повышается степень осознанности грамматических явлений. Ошибки такого рода не устойчивы, однако самый факт их существования, на наш взгляд, весьма знаменателен, поскольку убедительно свидетельствует о том, что каждый ребенок и в самом деле конструирует собственную грамматику, основанную на достаточно последовательно используемых правилах.

6.4. Маркирование семантической категории пола

Различия между мужским и женским полом могут быть обозначены только одушевленными личными существительными, а также

[13] Под U-shaped development в современной лингвистике детской речи понимают такие ситуации, когда ребенок, начиная с использования правильной формы, переходит потом к неправильной, и только после этого опять возвращается к правильной. Подробнее об этом феномене см. в статье [Цейтлин 1998].

частью одушевленных неличных (зоонимов). И те, и другие входят в единую подкатегорию рода, двучленную по своей структуре, при этом распределение по двум родам, мужскому и женскому, является в этом случае семантически мотивированным. По-видимому, это единственная область в пределах категории рода в русском языке, где действуют семантические правила.[14] М. Кронгауз считает возможным говорить о наличии особой семантической категории пола, которая в русском языке коррелирует с категорией рода, и даже о своего рода «сексуальных парадигмах» слов, обозначающих лиц и существа, которые различаются по полу [Кронгауз 2001]. Категория пола с большей определенностью проявляет себя в разряде существительных, обозначающих лиц, чем в разряде существительных, обозначающих животных. В последнем случае, по справедливому замечанию М. Кронгауза, обычно передается значение вида, «к которому может добавляться значение мужского или женского пола» [там же].

Осознать природу половых различий, как показывают наблюдения, ребенок оказывается в состоянии приблизительно к трем годам. Именно в этом возрасте, например, Женя Гвоздев перестал использовать по отношению к себе глаголы в форме женского рода, т.е. стал говорить *Я упал*, а не *Я упала*. Это не означает, что до этого времени в данной области царил хаос и все родовые характеристики существительных определялись наугад. Мы уже говорили о том, что ребенок в состоянии ориентироваться и на иные факторы — формы согласуемых слов, а также падежные формы самого существительного. Можно сказать, что после формирования надежной когнитивной базы ребенок получает возможность осознать семантическую мотивировку рода в сфере одушевленных существительных и таким образом закрепить их родовые характеристики. Вместе с тем, возникают некоторые проблемы, обусловленные тем, что ребенок, в соответствии со своей общей стратегией освоения языка, стремится расширить действие освоенного им семантического правила, распространяя сферу его влияния на все одушевленные существительные, способные передавать признак пола. Под действие данного семантического правила подпадают и те существительные, род которых в языке взрослых определяется независимо от пола референта, т.е. различия между полами оказываются нейтрализованными.

Рассмотрим это явление применительно к одушевленным личным и одушевленным неличным существительным (зоонимам).

Хорошо известно, что в современном русском языке ряд существительных мужского рода может служить для обозначения лица безотносительно к полу: *дворник, инженер, профессор* и т.п. Однако

[14] Иное положение наблюдается, например, в немецком языке, где семантическими правилами регулируется распределение по родам даже в пределах подкатегории неодушевленных существительных. См. об этом в книге [Mills 1986].

дети стремятся последовательно маркировать пол в любом случае, что приводит к двум явлениям — протестам против использования существительных мужского рода по отношению к лицам женского пола и к созданию окказиональных родовых коррелятов: *шоферка*, *дворница* (о женщинах).

Что касается одушевленных неличных существительных, то в этой области в русском языке наблюдается непоследовательность. Лишь у сравнительно небольшой группы существительных имеются родовые корреляты, либо различающиеся суффиксами, либо представляющие собой супплетивные образования (*медведь — медведица*, *бык — корова*). В большинстве случае применительно ко всему виду используется одно слово, которое по формальным приметам принадлежит к существительным либо мужского, либо женского рода (ср. *снегирь, журавль, жираф* и *синица, цапля, пантера*). Если в каком-либо контексте необходимо сделать акцент на признаке пола, то используются слова типа *самец*, *самка* и пр. Дети зачастую выходят из положения иным образом — создавая родовые корреляты суффиксальным способом или путем изменения типа склонения (*журавль со своей журавлицей*; *такой большой мух и муха у него такая*).

Данные факты можно рассматривать как проявление характерного для речи детей стремления к эквиполентным оппозициям и неприятия оппозиций привативного типа.

6.5. Освоение существительных общего рода

Периферийное положение в языковой системе существительных общего рода не вызывает никаких сомнений. Эти существительные, принадлежащие к I («женскому») склонению, могут употребляться в значениях как мужского, так и женского рода. Их родовые характеристики, таким образом, выявляются не только в денотативной соотнесенности, но и в изменении согласования.

Эти особенности естественным образом влекут деформации существительных общего рода в речи детей. Эти деформации происходят двумя способами.

Во-первых, может измениться согласование, поскольку ощущается давление «женской» парадигмы словоизменения (даже если эта модификация приводит к конфликту с реальным полом): *Мишка — такая ужасная жадина.*

Во-вторых, эти существительные могут устойчиво закрепляться исключительно за женским полом (в таком случае снимается нейтрализация формальных различий). Это иногда приводит к возникновению окказиональных родовых коррелятов, когда речь идет о мужчинах (*Я умница, а ты — умниц*).

И в первом, и во втором случаях восстанавливается симметрия языкового знака, форма приводится в соответствие с содержанием.

6.6. Освоение системы родовых коррелятов

Родовые корреляты имеют место только у одушевленных существительных, причем главным образом у личных. У неличных существительных они есть только в ряде случаев.

Если дети создают родовой коррелят, отличный от существующего в нормативном языке, то возникает возможность сравнить детский окказионализм с его нормативным эквивалентом.

В результате сопоставления выявились следующие факты: а) детские окказионализмы часто создаются с использованием более регулярного суффикса, чем нормативные (*король — королица* вместо *король — королева*); б) супплетивные образования последовательно заменяются несупплетивными (*бык — бычка* или *коров — корова* вместо *бык — корова*); в) значительно шире, чем в нормативном языке, распространен прием конверсии. Остановимся на последнем способе более подробно.

Путем конверсии в современном языке образовано всего несколько родовых коррелятов, практически не представленных в инпуте, получаемом ребенком (*кум — кума, супруг — супруга*). Следовательно, дети равняются на тип склонения, на самую систему падежных флексий как на экспонент родовой характеристики.

Подобным образом различаются родовые корреляты: *подруг — подруга, коз — коза*. Лиза С. (03.01.15) предлагает матери игру: *Давай ты будешь мамой-енотой, а я буду енотиком, крошкой енотом.*

Думается, что данное явление служит еще одним убедительным подтверждением того факта, что, строя собственную грамматику, ребенок опирается в первую очередь на глубинные правила языковой системы, тем самым и выявляя их реальное существование. Важнейшим средством маркировки родовых различий действительно являются флексии, а не суффиксы. Суффиксы играют в системном отношении второстепенную роль, хотя они и широко представлены в инпуте, получаемом ребенком. Можно сказать, что идеально правильной (в некотором смысле прототипической) родовой корреляцией является корреляция, основанная на противопоставлении флексий. Хотя эта корреляция крайне скупо представлена в современном языке и фактически отсутствует в инпуте, ребенок способен ее освоить и использовать при создании собственных родовых коррелятов.

7. Метаязыковые высказывания детей, связанные с осознанием категории рода[15]

Осваивая родной язык, дети постоянно его осмысливают. Язык становится для них таким же важным объектом познания, как и

[15] В данном параграфе приводятся высказывания детей в возрасте 3–6 лет.

другие явления и факты окружающего мира. Параллельно с речевой деятельностью, заключающейся в восприятии речи других и продуцировании собственных высказываний, протекает и так называемая метаязыковая деятельность, сущность которой как раз и состоит в рефлексии по отношению к языку (см., например [Якобсон 1996]). Степень осознанности языковых явлений может быть различной. Существует, как выявлено в психологических и психолингвистических исследованиях, возможность разной глубины осознаваемости языковых явлений: от бессознательного — к сознательному контролю и далее — к актуальному сознаванию (см. [Леонтьев 1999: 162]). При этом очень часто объектом внимания ребенка становится именно категория рода, что объясняется, по-видимому, тем, что она, по меткому выражению Л. В. Зубовой, «оказывается частично мотивированной, частично абсурдной» [Зубова 2000а: 195]. Ребенок склонен искать смысловую мотивацию в любом случае. В тех случаях, когда степень осознанности минимальна, дети «реформируют» язык, фактически не замечая этого, — таковы, в сущности, многие инновации из числа приведенных выше. Однако в ряде случаев (при так называемом актуальном сознавании) могут возникать недоуменные вопросы, в ряде случаев — метаязыковые высказывания, которые К. И. Чуковский метко обобщил в формулировке «критика языкового наследия взрослых». А. А. Потебня заметил: «О том, имеет ли род смысл, можно судить лишь по тем случаям, где мысли дана возможность на нем сосредоточиться, т.е. по произведениям поэтическим» [Потебня 1968: 483]. Поскольку ребенок, постигая язык, всегда в большей или меньшей степени его осмысливает, ребенка в данном случае вполне можно сопоставить с поэтом.

Приведем некоторые примеры, подтверждающие эту мысль.[16]

Категория рода становится объектом внимания ребенка начиная с двух-трехлетнего возраста. Так, ребенок подмечает связь рода с типом склонения и начинает протестовать против нелогичности словоизменения слов мужского рода по первому («женскому») склонению: Р.: *Мама, баран — он?* В.: *Он.* В.: *Овца — она?* Р.: *Она.* В.: *А почему папа — он? Надо бы пап, а не папа* (Вера, 4.00).

Не ускользают от внимания ребенка случаи нейтрализации значения пола у некоторых существительных: Р.: *Мама, скажи: «Я — молодец».* В.: *Я — молодец.* Р.: *А почему ты говоришь как мальчик? Ты ведь девочка.* В.: *А как надо девочкам говорить?* Р.: *Я — молодца!* (Антон Р., 4.05).

Дети протестуют и против безразличного к полу употребления одушевленных неличных существительных, создавая собственные

[16] Приведенные в данном параграфе примеры метаязыковых высказываний детей взяты из книги [Дети о языке 2001].

родовые корреляты: *Вот если тетя — кукушка, то дядя — кукук?* (Аня Г., 3.06).

Любопытно, что дети зачастую оказываются более внимательными к форме, чем взрослые, настаивая на формальном согласовании в тех случаях, когда взрослые склоняются к согласованию семантическому: Мама предлагает Алеше съесть яблоко: В.: *Доктор велела есть много фруктов.* Р.: *Почему доктор велела? Доктор велел.* В.: *Но ведь доктор — женщина* (Алеша Ш., 5.08).

Дети оказываются столь пытливы и внимательны, что бывают в состоянии самостоятельно обнаружить существование слов общего рода. Тот же мальчик увидел возможность двоякого употребления слова *бука*: В.: *Вот ты скажи слово, чтобы в нем жило и «он», и «она».* Р.: *Вот смотри: Бука — он, бука — она* (Алеша Ш., 6.06).

Многие дети сами обнаруживают «двуродовую природу» таких имен, как Саша, Валя, Женя и пр.

Дети иногда обращают внимания и на весьма сложные случаи согласования, представляющие подчас неразрешимые задачи и для взрослого. Одна девочка, например, поставила взрослых в затруднительное положение следующим вопросом: Р.: *Козодой — он?* В.: *Да.* Р.: *А птичка — она?* В.: *Да.* Р.: *А птичка-козодой — он или она*? (Наташа З. 4.08).

8. Выводы

При анализе закономерностей освоения ребенком категории рода (точнее — построения ребенком собственной падежно-родовой системы) отчетливо выявляются определенные стадии, в целом соответствующие иерархии ее строения в языке и позволяющие разграничить компоненты системы, различающиеся степенью прототипичности.

Поскольку различия между одушевленными и неодушевленными существительными, лежащие в основе разграничения двух основных подкатегорий рода (двухграммемной — в сфере одушевленных и трехграммемной — в сфере неодушевленных), осознаются ребенком, как показывают наблюдения, лишь к четырехлетнему возрасту, когда создается соответствующая когнитивная база, достаточная для разграничения живого и неживого, а внутри сферы живого — еще и половых различий, постольку главной опорой для выработки родовых характеристик лексем являются формальные признаки — контекст (согласование и координация с местоимениями) и система флексий самого слова, а также некоторые специфические суффиксы, связанные с родом.

Началом формальной дифференциации существительных мужского и женского рода можно считать противопоставленные формы

именительного падежа (с нулевой флексией и флексией *-а*). Формирование системы трех склонений осуществляется параллельно с формированием категории рода, причем прежде всего осваивается противопоставление двух родов — мужского и женского (первоначально без опоры на семантическую мотивированность) и двух склонений — I и II.

Детская падежно-родовая протосистема включает, таким образом, два рода и два склонения, причем наблюдается тенденция к установлению однозначных соответствий между флексиями и родовыми характеристиками словоформ.

Параллельно с формированием родовых противопоставлений и способов их формального выражения (системы флексий) существительных происходят формирование категории рода прилагательных и других адъективов, а также родовая дифференциация глагольных форм. Постоянный «согласовательный контекст», поддерживая константность формирующихся родовых отношений, способствует их закреплению в языковом сознании ребенка. Одновременно укрепляется и корреляция с личными местоимениями, поддерживающая родовую дифференциацию существительных.

Постепенно формирующееся осознание половых различий в сфере денотатов одушевленных существительных может вносить некоторые коррективы в языковое развитие ребенка, провоцируя случаи «мнимого регресса», когда, например, ребенок отказывается использовать существительные мужского рода по отношению к лицам женского пола, деформирует разряд существительных общего рода или стремится к гармонизации синтагматического и парадигматического рода.

Периферийные языковые явления, характеризующиеся своеобразием соотношения плана содержания и плана выражения, осваиваются в последнюю очередь, что можно рассматривать как доказательство их маргинального положения.

Основную причину того, что большая часть детей осваивает категорию рода в сравнительно короткий срок (по сравнению с иностранцами), мы видим в том, что дети могут опереться на синтагматические факторы, предоставляемые им контекстом (и не испытывают влияния межъязыковой интерференции). Поскольку род есть в первую очередь согласовательный класс, именно механизм согласования, богато представленный в русском синтаксисе, помогает овладеть родовыми характеристиками существительных.

В целом анализ усвоения ребенком категории рода и сопряженных с нею языковых явлений свидетельствует в пользу полевого строения языковой системы, подтверждает объективно существующее различие центральных и периферииных явлений и правил, доказывает многослойность (в понимании С. Д. Кацнельсона, А. В. Бондарко) данной системы.

ГЛАВА XVI

ВЫРАЖЕНИЕ СОГЛАСИЯ / НЕСОГЛАСИЯ В ДИАЛОГЕ «ВЗРОСЛЫЙ — РЕБЕНОК» (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА)*

1. Вступительные замечания

В данной главе анализируется становление и развитие одного из аспектов диалогической компетенции ребенка — система средств выражения с о г л а с и я / н е с о г л а с и я в высказываниях, представляющих собой ответы на общие (неместоименные) вопросы взрослого.

Системно-структурные аспекты анализа поля согласия / несогласия сочетаются с коммуникативно-функциональными аспектами и рассматриваются в их проекции на онтогенез речевой деятельности. Данные детской речи позволяют проследить формирование полевых структур в сфере согласия / несогласия. Приоритет в появлении определенного средства выражения согласия / несогласия в речевом онтогенезе, с одной стороны, и максимальная полнота и «интенсивность признаков», их «оптимальная концентрация» в данном средстве (языковой единице) — с другой (о соответствующих признаках полевых структур см. [Адмони 1964: 49, 51]), служат доказательством принадлежности этого средства к центру поля. Напротив, периферийным средствам выражения анализируемой семантики свойственна «некомплектность» и «факультативность» признаков при их меньшей интенсивности [там же: 49], а также более позднее появление в речевом онтогенезе.

Представленные примеры содержат средства выражения согласия / несогласия, которые наблюдаются в речи не только детей, но и взрослых, однако смысл этого ряда примеров и всей работы в целом заключается в рассмотрении п р о ц е с с а, результатом которого является полное овладение комплексом средств выражения согласия / несогласия:

Взрослый (В.): *Вань, а помнишь, как мы рыбу ловили? В Лисьем Носу?* Ребенок (Р.): ***А... Да*** (Ваня П., 2.06);[1]

В.: *А лягушка его не боится?* Р.: ***Да, боится*** (Женя М., 2.06);

В.: *Кашку будешь?* Р.: ***Буду*** (Полина Е., 2.07);

---

*Данная глава подготовлена при финансовом содействии Фонда Президента РФ для поддержки ведущих научных школ, грант № НШ-1510.2003.6.

[1] Здесь и далее в скобках указываются имя, начальная буква фамилии и возраст ребенка (в годах и месяцах).

© В. В. Казаковская, 2005

В.: *Наташа, а кто тебя обещал забрать? Мама?* Р.: ***Наверное, папа заберет.*** В.: *Почему?* Р.: *Потому что мама бы давно меня забрала* (Наташа Н., 3.06);

В.: *А у вас в садике есть ребята в очках?* Р.: ***Нету. Ребят в очках просто не бывает*** (Нюша Л., 4.03); ср.:

В.: *Я не умею читать. Почитай мне, Ваня, почитай.* Р.: *Я тебе дам очки.* В.: *Без очков мне что, думаешь, не почитать?* <...> Р.: ***Я тебе... сейчас свой магнитофон принесу*** (Ваня П., 2.06).

Как видим, функции ответных реплик в самом общем виде могут быть сведены к подтверждению / отрицанию того, о чем сказано в инициативных репликах. Для диалога взрослых характерно осложнение этой функции, свидетельствующее о высоком уровне коммуникативной компетенции. Речь идет, в частности, об осложнении реактивной реплики путем распространения или ограничения темы сообщения, ее перевода в иной модальный или временной план, а также о модусном осложнении: *Ты надолго, папа? — Раньше трех с совещаний не отпускают...* (Б. Васильев); *Может, помощь нужна? — Помощь?* <...> *Женщине может помочь только слепой случай или смерть* (Б. Васильев); *Поколение, не знавшее юности, не узнает и старости. Любопытная деталь? — Главное, оптимистичная* (Б. Васильев).[2] Ответные реплики в таких диалогических единствах отличаются от ответов, стимулированных частными (специальными) вопросами. Это обусловлено различием в пресуппозициях вопросных реплик. Целью частного вопроса является, как правило, получение новой информации. Целью общего вопроса — получение подтверждения / отрицания предположения, высказываемого говорящим, установление реальности / ирреальности предполагаемого в вопросной реплике факта [Добрушина 1997; Степанова 1993].

Для обозначения реплик-реакций, ожидаемых как ответ на общий вопрос, в литературе используются такие терминологические сочетания, как «высказывания, выражающие согласие / несогласие» и «верификативные высказывания» (термин П. Адамца). К последним относят высказывания, «актуальная информация которых представляет собой не новое сообщение, а реакцию на мнение собеседника, верификацию или коррекцию этого мнения» [Адамец 1966: 27]. При этом исследователи подчеркивают отсутствие определения, которое полностью описывало бы согласие / несогласие как предмет лингвистического исследования [Галактионова 1988: 145].

[2]Задачи, поставленные в данной работе, предполагают анализ не только диалога «взрослый — ребенок» (фонд данных лаборатории детской речи Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена и отдела теории грамматики Института лингвистических исследований РАН), но и диалога взрослых носителей языка; изучены записи современной петербургской разговорной речи (далее — РР), сделанные автором, а также тексты художественных (эпических и драматических) произведений.

Представляется, что свойственная диалогу взрослых неспециализированность и взаимозаменяемость в употреблении маркеров согласия / несогласия и верификации обусловлена главным образом общностью модальной природы рассматриваемых явлений. Оба явления обнаруживают п о з и ц и ю г о в о р я щ е г о, его отношение и оценки, направленные на отражаемую в речи действительность и на адресата. Данные значения и средства их выражения представляют собой сегменты полевых структур, входящих в функционально-семантическое поле модальности. Те оценки и отношения, которые характеризуют речевое взаимодействие партнеров по диалогу, принадлежат сфере с у б ъ е к т и в н о й модальности [Лекант 2002: 113 и сл.]. Ее семантический спектр чрезвычайно разнообразен, и в диалоге это проявляется особенно ярко. Вместе с тем, уточняя лингвистический статус категории согласия / несогласия, следует упомянуть, что В. Г. Адмони подчеркивал тесную связь, существующую между модальностью предложения, выраженной различными способами, и выражением у т в е р ж д е н и я / о т р и ц а н и я. Оба грамматических явления «выражают оценку реальности логико-грамматического содержания предложения со стороны говорящего и, наслаиваясь друг на друга, взаимодействуют в своем значении» [Адмони 1964: 47; 1968: 264 и сл.].

Частичное совпадение полей разных единиц («частный, но очень существенный случай полевой структуры» [Адмони 1964: 51]), а также наличие «переплетающихся» признаков [там же: 49], которыми обладают рассматриваемые нами полевые структуры согласия / несогласия и верификации, не позволяют в ряде случаев четко отграничить анализируемые явления друг от друга. Думается, данные категории могут быть отнесены к числу «не строго очерченных и замкнутых образований» с «трудно уловимыми», «зыбкими» и «текучими» границами [там же: 48].

Перечисленные обстоятельства интерпретируются рядом исследователей как основание не разграничивать эти значения (см., например [Озаровский 1974; 1977; Свиридова 1994]). Между тем существование довольно тонких различий, проявляющихся, в частности, в особенностях пропозиционального содержания стимулирующих реплик, мотивирует раздельное описание рассматриваемых языковых явлений, предпринятое в некоторых работах [Галактионова 1988; Добрушина 1997].[3] В настоящем исследовании используется термин «со-

[3] Методическим приемом для разграничения анализируемых значений служит возможность / невозможность использования при обозначении конкретной ситуации соответствующей формы глагола «согласиться». Однако заметим, что в русском языке данный глагол и его дериваты используются для выражения согласия не только с высказываемыми побуждением и мнением, но и в ответ на общий вопрос, что не упрощает «разведения» значений (в том случае, если признавать их нетождественность).

гласие / несогласие». Это объясняется преимущественно спецификой анализируемого материала — данными детской речи. Факты речевого онтогенеза показывают, что изначально в языковом сознании ребенка рассматриваемые отношения представлены нерасчлененно (см. понятие «с и н к р е т а» в концепции С. Д. Кацнельсона [2001: 344, 356 и сл.]). Более того, в речемыслительной деятельности ребенка «конкуренции» согласия / несогласия и верификации не возникает. На ранних этапах онтогенеза речи происходит усвоение именно общего сегмента рассматриваемых категорий в прототипических коммуникативных ситуациях, а их дифференциация начинается значительно позднее.

В современной русистике понятие согласие / несогласие трактуется в широком и в более узком смысле. В первом случае согласие / несогласие понимается как основа диалогического реплицирования, речевого взаимодействия. Во втором — как один из семантических типов диалогических реакций, выделяемых в зависимости от иллокутивной силы инициативной реплики. Так, согласие / несогласие может стимулироваться общим (удостоверительным, или — в другой терминологии — верификативным, презумптивным) вопросом с оттенками семантики предположения, уточнения, выяснения, удостоверения, предварения и т.п.: В.: ***И вы каждый выходной туда ездите?*** Р.: *Да* (Саша Н., 5.06); В.: ***Так у вас там свой дом?*** Р.: *Да. Голубой домик. У меня там есть свой дом, собственный! Маленький, деревянный. Его купили... построили для папы, а... папа в нем не играл. И он был мой.* В.: ***А***[4], ***когда папа был маленький?*** Р.: *Да* (Саша Н., 5.06). См. в диалоге взрослых: *Вы летом в Крым поедете? — Да. Как всегда* (ср. «собственно верификативные» реплики в работе [Добрушина 1997: 197]). Кроме того, реакция согласия / несогласия возможна в ответ на констатирующие реплики (мнение, суждение, оценка): *Скучноватый детектив. — Да, пожалуй* (РР) («верификативное согласие» [там же; Поройкова 1976: 104]), а также в ответ на побудительные реплики (требование, просьба, увещевание, совет, предложение, разрешение): *Давайте пойдем в парк! — Давайте* (РР) [Галактионова 1988; Добрушина 1997]. Типы согласия, высказанного в ответ на вопрос и на побуждение, оказываются довольно близкими разновидностями выражения реакции: ведь любой вопрос снабжен имплицитной волитивной модусной рамкой («Сделай так, чтобы я знал...»). Особенно ярко эта близость проявляется в вопросах взрослого, обращенных к ребенку раннего возраста. Дело в том, что вопросы взрослого часто содержат скрытое побуждение выполнить какое-либо действие, т.е. являются, по сути, псевдовопросами.

[4]Знак «_» под определенной буквой обозначает удлинение или утрированно четкое произнесение соответствующего звука.

2. Согласие / несогласие и структура коммуникативной компетенции ребенка

Наиболее типичной речевой структурой, в рамках которой функционирует согласие / несогласие, является диалогическое единство. Благодаря наличию отношений согласия / несогласия происходит объединение реплик в одно целое в различных функционально-смысловых типах диалогических единств [Холодов 1996: 441]. В данном случае мы имеем дело с согласием / несогласием в широком смысле, по отношению к которому верификация является более частным видом отношений.

В диалоге взрослых вопросо-ответное единство является основным, ведущим типом диалогического единства. Оно имеет наибольшую степень функциональной значимости и в процессе становления коммуникативной компетенции ребенка. Владение многообразными способами и средствами выражения согласия / несогласия в качестве ответа на общевопросительную реплику занимает существенное место в коммуникативной (в первую очередь, диалогической) компетенции языковой личности.

Под *коммуникативной компетенцией* мы понимаем совокупность системно-языковых и собственно коммуникативных (прагмалингвистических) навыков, определяющих способность индивида быть партнером в диалоге и строить монолог. В структуре коммуникативной компетенции выделяется подсистема, которую можно назвать *диалогической* компетенцией (см. понятие монологической компетенции ребенка [Базжина, Громова 2004], а также разграничение conversational / discourse, в другой терминологии — narrative skills в [Tomasello 2003: 244]). Компоненты системно-языковой и собственно коммуникативной компетенции развиваются, как правило, параллельно и взаимообусловленно: например, без владения минимальными системно-языковыми навыками (в том числе на уровне протознаков) затруднено освоение навыков прагмалингвистических. Наблюдение за процессом освоения ребенком навыков диалогического общения выявляет базовые компоненты диалогической компетенции человека, что обусловливает возможность более адекватного описания структуры коммуникативной компетенции в целом. Исследование «*грамматики диалога*» в онтогенетическом аспекте способствует выявлению того, как происходит речевое общение и каковы изначально те механизмы, которые связывают реплики партнеров в единое целое.

Осознание и выражение ребенком семантики согласия / несогласия является одним из значимых элементов его диалогической компетенции: не случайно речевое взаимодействие в наиболее общем виде принято определять именно как выражение партнерами согласия /

несогласия с высказываниями о предмете сообщения [Лекант 2002: 114]. Учась адекватно реагировать на общий вопрос взрослого (и в целом овладевая тактикой реагирования), ребенок вместе с тем овладевает способами и средствами выражения т о ч к и з р е н и я (авторства), непосредственно репрезентирующими сферу модуса (см. ниже, 6.3). Анализ диалога «взрослый — ребенок» позволяет говорить о некоторых закономерностях в усвоении ребенком способов языкового выражения отношений, составляющих сущность реплицирования.

Структура коммуникативной компетенции может описываться в разных аспектах. В данном случае имеется в виду уровень выражения значений модальности и модуса, которые являются важнейшим фактором, определяющим процесс становления коммуникативной компетенции вообще и ее диалогической составляющей — в частности. Применительно же к онтогенезу речи эти значения следует рассматривать еще и как своеобразное ядро процесса овладения ребенком начальными навыками диалога. Так, освоение побудительных / констатирующих / вопросительных высказываний (ср. понятие «коммуникативная модальность»), происходящее в диалоге, опирается на объективно-модальные значения реальности / ирреальности. Усвоение средств выражения согласия / несогласия и первичных способов обнаружения точки зрения ребенка в высказывании опирается на модусные, в том числе на субъективно-модальные, значения: (Р. расставляет книжки, ориентируясь на изображения слоников, оттиснутые в верхней части корешков книг.) В.: *Слоники должны быть, да?* Р.: *Да.* В.: *Все в одном направлении?* Р.: *Да.* ***Вот... вот я как считаю****. Как будет правильно. Если вот так* (ставит по-другому. — *В.К.*), ***конечно****, будет неправильно* (Нюша Л., 4.03).

3. Общий вопрос (анализ речи взрослого, обращенной к ребенку)

3.1. Роль вопросов взрослого в формировании коммуникативной компетенции ребенка

Поскольку реплика-реакция согласия / несогласия определяется в диалоге высказыванием говорящего лица и программируется коммуникативным содержанием инициативной (в данном случае общевопросительной) реплики, ее модальной сущностью, постольку следует рассмотреть характер реплики-стимула, несущей также и основную конструктивную нагрузку в рамках диалогического единства.

В современной лингвистике разработана общая концепция вопросительного предложения. Различные аспекты проблематики общевопросительных высказываний затрагиваются, в частности, в работах [Рестан 1969; Белнап, Стил 1981; Баранов, Кобозева 1983; Ме-

лиг 1991; Степанова 1993; Янко 2001]. Однако многое еще остается неизвестным о вопросах, обращенных к ребенку. Между тем трудно переоценить роль вопросов взрослого в процессе формирования коммуникативной компетенции ребенка. Количество вопросо-ответных единств в речевом взаимодействии взрослого и ребенка в рассматриваемый период очень велико. На ранних этапах это обусловлено «имитирующим» характером диалога, на более поздних — его обучающей направленностью, т.е. при одинаковом количественном показателе вопросная реплика со временем меняет свою доминирующую функциональную направленность. Такое положение дел наблюдается во всех изученных в данном отношении языках. На материале русского языка высокая частотность вопросов взрослого и ее последующее снижение по мере взросления ребенка отмечена в работах [Кузьмина 1995; Гаврилова 2002]; наблюдения, сделанные на материале других языков, см. в [Ervin-Tripp 1970; Dore 1977; Lieven 1978; Ingram 1989; Bloom 1992; Ninio, Snow 1996; Ervin-Tripp, Miller 1997; Tomasello 2003].

Вопросы, используемые взрослым в различных функциях с опорой на «зону ближайшего развития» (выражение Л. С. Выготского), оказываются существенными для становления системно-языковой и собственно коммуникативной компетенции. В первую очередь имеется в виду роль вопросо-ответных диалогических единств в развитии синтаксиса детской речи, поскольку вопросы предполагают осознание смысловых отношений между компонентами ситуации. С помощью вопросов осуществляется становление семантических категорий (локативности, посессивности, темпоральности, субъектности, объектности, обусловленности и др.) и средств их языкового выражения. (Об освоении локативности и средств ее выражения, а также о роли вопросов в этом процессе см. [Казаковская, Цейтлин 2000; Kazakovskaya 2001].) Благодаря вопросам взрослого в сознании ребенка осуществляется необходимое для его когнитивного и речевого развития первичное структурирование языковой материи и упорядочение языковых явлений — *категоризация* языковой действительности. Изучение вопросов матери позволяет отчасти проследить механизмы воздействия речи, обращенной к ребенку (инпута), на складывающуюся языковую систему ребенка.[5] На материале русского языка эти механизмы до сих пор остаются практически не изученными. Проблеме соотношения инпута (в том числе вопросов) и языкового развития ребенка посвящено значительное количество зарубежных исследований, выполненных на материале других языков

[5] Замечание Н. Д. Арутюновой о том, что говорящий формирует адресата [Арутюнова 1998: 649], в нашем случае может быть интерпретировано буквально, поскольку речеповеденческий потенциал адресата развивается в онтогенезе под воздействием фактора говорящего.

(см., в частности, [Newport, Gleitman, Gleitman 1977; Furrow, Nelson, Benedict 1979; Hoff-Ginsberg, Shatz 1982; Barnes et al. 1983; Wells 1983; Gleitman, Newport, Gleitman 1984; Hoff-Ginsberg 1985; Richards 1990]).

В связи с интуитивной направленностью взрослого на обучение ребенка языку и, естественно, на облегчение этого процесса [Snow, Ferguson 1977; Galloway, Richards 1994] необходимо обратить внимание на стратегию матери при моделировании интересующих нас ситуаций. Побуждая ребенка давать ответную реплику и одновременно обучая его этому, мать моделирует ситуацию таким образом, чтобы она оказывалась «подсказывающей». Например, она включает в вопрос актуализаторы (наиболее частотный из них — *да* [Русская разговорная речь 1973]): *Это зима, да?* (Ваня П., 2.06), использует нарочито утрированную интонацию, ответ-подсказку (и таким образом формируется «цепочка вопросов»): В.: *А вы, наверное, маме мешали работать? Нет, ничего?* Р.: *Нет* (Саша Н., 5.06).

Когда ребенок начинает понимать, чего от него ждут, и включается в диалог, поддерживая его и адекватно реагируя, он использует сначала протознаки и довольно любопытные «типично детские» ответы: (Ребенок ест мороженое. — *В. К.*) В.: *Холодное?* Р. (кивает головой и показывает глазами): *Сь-сь.* (Дует на мороженое и произносит утвердительно:) *Мамóма* [Мороженое] (Дима С., 1.08). В данном случае происходит повтор названия предмета вместо подтверждения предложенной взрослым характеристики (признака). Однако интонация свидетельствует о том, что это, вне всякого сомнения, ранний «утвердительный ответ», точнее — яркий пример пока не сформированного коммуникативного умения давать адекватный ответ на общий вопрос.

Довольно часто тактика взрослого включает и следующий прием. Взрослый констатирует наличие факта, а затем «требует» реакции согласия / несогласия (или верификации): В.: *Он у нас ныряет. Да, Володя?* Р.: кивает головой (Володя Б., 4.00).

3.2. Возрастная динамика функций общего вопроса

В диалоге взрослых у общего вопроса, помимо первичной функции — выражения запроса, — существуют, как известно, и вторичные функции: выражение просьбы, утверждения, сомнения, удивления, а также осуществление контроля (так называемые экзаменационные вопросы). Считается, что эти вторичные функции возникают в диалоге взрослых при «видимом нарушении» одного или нескольких из условий успешности речевого акта [Баранов, Кобозева 1983]. В диалоге с ребенком вопросы взрослого выполняют следующие основные функции: м е т а к о м м у н и к а т и в н у ю («налаживание» и поддерживание коммуникации, предотвращение или ликвидация коммуникативных неудач); м е т а я з ы к о в у ю (в некоторых случаях

осложненную выражением эмоциональной реакции; наиболее предпочитаемой формой общих вопросов с такой функцией являются распространенные повторы и повторы-переспросы; их задача — дать ребенку нормативный образец адекватной во всех отношениях реакции); собственно коммуникативную. Общие вопросы в первичной функции (собственно коммуникативной), направленные на получение информации, точнее — получение подтверждения / отрицания предположения, высказываемого говорящим, до определенного времени занимают в речевой продукции взрослого довольно скромное место. (Подробнее о вопросах взрослого в диалоге с ребенком см. [Казаковская 2004а].)

Охарактеризуем особенности возрастной динамики данных функций.

На этапе однословных высказываний (голофраз) при сравнительно небольшом количестве общих вопросов взрослого, заданных в форме повтора или переспроса, их типичной функцией является метаязыковая в следующих разновидностях:

а) реакция на неверный ответ или неправильно данную номинацию в ответ на тест-вопросы (такая реакция-вопрос может совмещаться с ответом-образцом): В.: *Вот это кто?* (на картинке изображены птички. — *В.К.*) Р.: *Мими* (имя куклы. — *В.К.*). В.: ***Птички?*** Р.: *Ти-ти* [птички] (Ира Л., 1.03);

б) «репетиция» определенного компонента (в частности, фонетического, лексического) языковой способности (дидактические реплики, их цель в данном случае — дать ребенку нормативный образец): В.: *Кто это?* Р.: *Тядя.* В.: ***Дядя?*** Р.: *<М..>* (Ира Л., 1.03). Как видим, ответить *да* или *нет* на этом этапе для ребенка оказывается затруднительно, поэтому такие ответы в данном возрасте отсутствуют.

Обычно в середине третьего года жизни ребенка в общих вопросах взрослого появляется модусная рамка, например: В.: *Это разве... это капуста? Разве это капуста* (в лапах у зайца морковка. — *В.К.*)*?* Р.: *Да* (Женя М., 2.06); В.: *А ты точно помнишь, что был крокодил?* (в сказке про доктора Айболита. — *В.К.*) Р.: *Угу* (Нюша Л., 2.10). Это обстоятельство может быть интерпретировано шире — как появление модусных вопросов. (Подробнее о модусных вопросах и их функциях в диалоге с ребенком см. [Казаковская 2004в].)

В это время также появляются:

1) собственно вопросы, т.е. требования выражения согласия / несогласия: В.: *Вань, а помнишь, как мы рыбу ловили? В Лисьем Носу... в речке?* Р.: *Да* (Ваня П., 2.06.); В.: *Пойдешь на улицу с бабой, да?* Р. (кричит радостно): *Пойдешь, пойдешь* [пойдет]*!* (Рома Ф., 2.02);

2) вопросы, осложненные выражением эмоциональной реакции (выражением подчеркнутой заинтересованности спрашивающего), которые выполняют доминирующую функцию поддержания диалога: Р.: *Ваня ей построил прекрасный-прекрасный дом.* В.: ***Другой, новый, прекрасный?*** (Ваня П., 2.06);

3) вопросы-подсказки, касающиеся цели (или причины) совершаемых ребенком действий: Р.: *Вытащу рыбу из воды.* В.: ***Чтобы она не пряталась?*** (Ваня П., 2.06.). Ср. следующий диалог подростков: *А если я к водопроводному крану примусную горелку присобачу? —* ***Чтобы чай был с керосином?*** *— Нет, чтобы подогревать. Чиркнешь спичкой, труба прогреется, и вода станет горячей. — Ну, собачь, — соглашалась Зина* (Б. Васильев). Аналогичная семантика может выражаться в репликах, представленных противительными конструкциями: В.: *Гуляют тут, а сыночек дома плачет?* Р.: *Да* (Женя М., 2.06). Для подобных повторов и переспросов типичной является именно метакоммуникативная функция в ее многообразных проявлениях.

Значительные изменения происходят в функционировании вопросов взрослого, обращенных к ребенку шестого года жизни. Так, на фоне собственно коммуникативных вопросов появляются вопросы, структура которых содержит двойное отрицание, а также вопросы с модусной рамкой во «вторичной функции» (метакоммуникативного характера): В.: *И кем?* (работает мама. — *В.К.*) *Что она делает на работе, ты знаешь?* Р.: *Сама не знаю* (Саша Н., 5.06). Варьирующиеся типы реплик-реакций взрослого образуют целостную систему, в которую входят вопросы, поддерживающие и развивающие диалог: В.: *Ах!* ***Украли?! У Летнего сада?! Скульптуру?!*** Р.: *Ага, играем мы так* (Саша Н., 5.06); Р.: *Потом сре... встре... сам стал царем.* В.: ***Да-а?*** Р.: *Гвидоном* (Даша П., 6.03); В.: *А летом где ты был?* Р.: *В Крыму.* В.: ***В Крыму?!*** *Как интересно!* (Вася С., 6.06). Вопросы-реактивы могут сопровождаться утрированным выражением удивления, недоумения и даже недоверия: Р.: *Достала* (о ящике. — *В.К.*), *а там котенок лежит.* В.: ***Котенок?*** Р.: *В инструментах* (Даша П., 6.03).

В речи взрослого, обращенной к шестилетнему ребенку, практически исчезают реплики-реакции на неверный ответ. Аналогичную функцию начинают выполнять реплики-уточнения и переспросы-подсказки — в тех случаях, когда ребенок затрудняется при выборе номинации или толковании лексической семантики слова: Р.: *... Ромашки обыкновенные и такие, без этих белых...* В.: *Аптечную ромашку и... душистую, да?* Р.: *Да, с лепестками и без* (Алеша Ш., 5.09).

3.3. Семантическая структура общего вопроса с точки зрения отношений «центр — периферия»

Полевая природа свойственна не только грамматическим категориям и формам [Адмони 1988: 28, 76], но и многим другим языковым явлениям. В частности, речь идет о семантике общего вопроса (модального, по Ш. Балли [1955]). Задавая общий вопрос, говорящий выдвигает версию (пропозициональное содержание) и апеллирует к слушающему, чтобы тот выразил свое согласие / несогласие, подтвердил / опроверг это (ср. [Степанова 1993]). Само значение грамматической формы вопроса обладает полевым строением. Согласно одной из существующих моделей описания семантики общего вопроса [Баранов, Кобозева 1983], здесь выделяются ц е н т р (тема-рематический и пресуппозиционный компоненты) и п е р и ф е р и я (установочный компонент, или ожидания говорящего, связанные с пропозицией вопроса и ответом). Представляется интересным выяснить, какие компоненты полевой структуры общего вопроса доступны ребенку на ранних этапах речевого онтогенеза.

Охарактеризуем тема-рематический компонент ц е н т р а. Рематический компонент является главным:

{(X) *Сделай так, чтобы я знал,*} {(Y) *P* или *не P*},

где (X) — это модальный показатель иллокутивной силы вопроса, а (Y) — это пропозициональный компонент.

Тематический компонент представлен показателем модальности темы и содержанием темы высказывания ($S_{(говорящий)}$ — $Pr_{(думая)}$ — $O_{(содержание)}$). Содержание темы — это некоторое мыслимое положение дел (пропозиция), неопределенное в том или ином отношении. Именно эту неопределенность говорящий и стремится уяснить, задавая вопрос. Следует учесть, что данное семантическое представление общего вопроса [там же] относится к «прямым», а не к вторичным общим вопросам, т.е. не к так называемым экзаменационным вопросам, и, следовательно, лишь частично применимо к нашему материалу.

В зависимости от содержания выделяются вопросы п о д л и н н ы е (без фокуса контраста: *Они уехали?*; здесь неопределенность пропозиции проявляется только в плане ее соответствия действительности) и ф о к у с и р о в а н н ы е (*Ты придешь к семи́?* — ср. *Когда́ ты придешь?*). На основании того, какую позицию занимает вопрос в дискурсе, — относительно независимую или относительно зависимую, — различают вопросы с ингерентной и неингерентной темой (разновидность фокусированных вопросов). Последний тип вопросов (в другой терминологии — интерпретирующий [Степанова 1993]) оказывается функционально близким к специальным (частным) вопросам о причине: *Вчера была в турагентстве.* — ***Вы в отпуск собрались?*** (РР); см. пример из диалога с ребенком: Р.: <...> *это то*

же самое, что и русский. (Речь идет об английском языке. — *В.К.*) В.: ***А ты умеешь читать?*** Р.: *И по-английски. Нет. Я знаю просто английские буквы* (Нюша Л., 4.03). В диалоге с ребенком оба типа вопросов (подлинные и фокусированные) используются в рамках одной реплики и выступают как монореферентные, что является типичной чертой такого диалога: В.: ***Кто это? Это медвежóнок?***

Пресуппозиция вопроса — это в известном смысле его предпосылка, то знание (мнение) говорящего, в истинности / достоверности которого адресат (по мнению говорящего) не должен сомневаться. Между тем пресуппозиция вопроса взрослого, обращенного к ребенку, — это не вполне то, чего в действительности не знает взрослый. Этот компонент (точнее, видоизменения в нем) в семантическом представлении вопроса мы связываем с направленностью такого диалога на интуитивное обучение ребенка языку (т.е. с так называемым лингводидактическим аспектом коммуникации с ребенком раннего возраста).

П е р и ф е р и й н ы й компонент семантической структуры общевопросительной реплики объединяет два типа установок по отношению к пропозициональному содержанию вопроса: аксиологическую (оценку в «терминах ж е л а т е л ь н о / н е ж е л а т е л ь н о») и эпистемическую (м н е н и е о сравнительной вероятности и п о н и м а н и е) [Баранов, Кобозева 1983]. В нашем случае выделение установочного компонента смысла чрезвычайно важно, ибо познание мира осуществляется человеком на основе усвоенных им внутренних схем, которые изменяются в ходе познавательной деятельности. Следовательно, установочный компонент вопроса, если рассматривать последний как средство получения знаний, соответствует той внутренней схеме, которую спрашивающий (взрослый) сопоставляет с действительностью. Для детской речи это тот когнитивный «багаж», опыт, которым обладает ребенок.

Анализ показал, что компонентом, на который ребенок реагирует в первую очередь, является центр полевой структуры общего вопроса, а именно модальный показатель иллокутивной силы вопроса («сделай так, чтобы я знал <...>») в его яркой просодической аранжировке. Косвенным подтверждением этому может служить и значительное количество вопросительных реплик в речи взрослого, обращенной к ребенку. Однако среди этих реплик настоящие вопросы составляют всего несколько процентов. Дело в том, что перцептивная «выпуклость» вопроса даже на общем фоне утрированной интонации взрослого (матери) способна привлечь и удерживать внимание ребенка, а форма вопроса оказывается своеобразной лингводидактической уловкой, с помощью которой взрослый скрывает всевозможные просьбы, запреты, предостережения.

3.4. Формальное представление общего вопроса

В диалоге взрослых существует связь между семантикой (а именно — категорией установки) и формой вопроса, которая влияет на ответ [Есперсен 1958; Баранов, Кобозева 1983]. Думается, подобная связь существует и в диалоге с ребенком, однако ее функциональная направленность, по-видимому, иная. Для выявления этой связи следует уделить внимание формальному представлению тех общих вопросов взрослого, которые наиболее типичны для диалога «взрослый — ребенок».

С точки зрения формального представления общего вопроса в данной работе рассматриваются в основном наиболее типичные для раннего онтогенеза простые позитивные вопросы (положительная форма общего вопроса) типа *У тебя есть машинка?* До определенного времени такие вопросы преобладают в диалоге с ребенком. Негативные вопросы, например: В.: *А ты ее не помнешь* (о книжке, которую взял ребенок. — *В.К.*)*?* <...> Р.: *Конечно, не помну* (Нюша Л., 4.03) — и так называемые *ли*-вопросы появляются в речи взрослого несколько позже. Объяснение можно видеть в следующем.

Позитивные (удостоверительные) вопросы отличаются от негативных (презумптивных) по ряду параметров: с точки зрения семантической специфики, лексико-грамматического наполнения и прагматических особенностей [Степанова 1993]. Так, позитивный вопрос задается обычно в тех случаях, когда представления говорящего о норме развития событий предсказывают некоторое положение дел (пропозицию), однако отсутствуют факты, свидетельствующие о согласовании реального хода вещей с должным (с идеализированной нормой развития событий). Пропозиция негативного вопроса не может быть предсказана говорящим при опоре на его представления (что, заметим, являлось бы крайне нетипичным для канонического диалога «взрослый — ребенок»). Вместе с тем она совместима с наличествующей ситуацией. Это обстоятельство оправдывает, на наш взгляд, более позднее использование взрослым негативных вопросов в речи, обращенной к ребенку.

В позитивных вопросах используются лексемы со значением достаточной и высокой степени проявления признака, т.е. лексемы, обозначающие нормы и положительную оценку; в негативных — лексемы, обозначающие аномалии, т.е. используется отрицательная оценочная лексика.

И наконец, позитивные вопросы конвенционализируются (превращаются в косвенные речевые акты, адекватное восприятие которых свойственно ребенку отнюдь не на ранних этапах речевого онтогенеза) только в определенных условиях. Другими словами, эти вопросы обладают иным косвенным иллокутивным потен-

циалом. Многие негативные вопросы употребляются, как известно, в качестве стандартных средств выражения косвенной просьбы (*Вы не передадите мне соль?*).

Вместе с тем, определенную роль в общем негативном вопросе играет и статус частицы *не* (негатора). Замечено, что, кроме стандартного отрицательного значения, которое негатор *не* реализует в вопросе, у этой частицы имеется «нетривиальная сфера действия» [Степанова 1993], довольно важная в контексте нашего исследования. Дело в том, что *не* может воздействовать «не на пропозициональное содержание общего вопроса, а на один из компонентов имплицируемого им модусного содержания (или «модальной рамки»)» [там же: 9]. Усвоение модусной семантики ребенком — процесс, не свойственный начальным этапам диалога «взрослый — ребенок» и представляющий собой особую тему.

Следует сказать также несколько слов о *ли*-вопросах (довольно редких на ранних этапах речевого онтогенеза). В семантическом и формальном представлении эти вопросы имеют элемент эксплицитной дизъюнкции и поэтому представляют собой особый тип. *Ли*-вопрос, в отличие от «канонического» общего вопроса, в диалоге взрослых не выражает прямого побуждения собеседника к ответу. Использование такого вопроса с целью получения ответа должно активно подкрепляться коммуникативной ситуацией, что мы и наблюдаем в диалоге с ребенком, однако на более поздних этапах речевого онтогенеза. На основании сказанного *ли*-вопросы могут быть отнесены к периферии формального представления общего вопроса и в дальнейшем рассматриваться не будут.

4. Поле согласия / несогласия: вопросо-ответные единства в диалоге «взрослый — взрослый»

4.1. Семантическая структура поля

К сфере согласия / несогласия применимо понятие п о л я. В анализируемой сфере обнаруживаются характерные признаки полевой структуры. Имеется в виду наличие а) инвентаря разноуровневых средств выражения — конституентов поля, б) общего значения, присущего всем конституентам, в) неоднородной и сложной структуры поля, а также г) противоположных микрополей (о соответствующих признаках поля см., в частности, [Гулыга, Шендельс 1969: 9–10]). Микрополя с о г л а с и я и н е с о г л а с и я находятся в оппозитивных (полярных) отношениях («диаметрально-логическая» оппозиция). Их противопоставление в диалоге может нейтрализоваться («сглаживаться») в тех случаях, когда эксплицируется колебание между основными маркерами этого значения — релятивами *да* и *нет*

(*едва ли*, *вряд ли*) (ср. *не знаю*). Однако, несмотря на «противостояние», данные микрополя составляют единство. Специфика функционирования маркеров заключается в том, что они взаимообусловлены и могут взаимозаменяться. Например, *нет*, выражающее несогласие, может в определенном контексте транспонироваться в высказывание, оформляющее согласие [Свиридова 1994].

Анализ процессов становления и развития полевой структуры согласия / несогласия в детской речи предполагает: 1) выявление лингвистической семантики (качественной специфики) поля и роли формы, структуры и системы в ее выражении; 2) обнаружение (в соответствии с имеющимися признаками) центральной и периферийной субструктур (и, следовательно, выявление дополнительных смысловых и эмоциональных оттенков значений, наслаивающихся на основную семантику), а также выявление конфигурации поля (термины «субструктура» и «конфигурация» используются в работе [Гухман 1968: 173]); 3) изучение континуальных переходов и частичных пересечений системных объектов — в первую очередь применительно к речи взрослых носителей языка.

В научной литературе согласие / несогласие рассматривается как самостоятельное модальное значение и как выражаемая разноуровневыми языковыми средствами модальная оценка высказывания партнера по коммуникации с точки зрения соответствия / несоответствия действительности [Лекант 2002; Поройкова 1976; Свиридова 1994]. Центральное значение, или доминанта (в терминологии, использованной в работе [Гулыга, Шендельс 1969: 10]), согласия / несогласия квалифицируется как субъективно-оценочное отношение.

Поскольку степень совпадения / несовпадения точек зрения партнеров (полнота и максимальная интенсивность проявления признака, однозначность) может быть различной, выделяются два вида согласия / несогласия — полное и неполное. Особым случаем является совмещение семантики согласия и несогласия, которое характеризуется диффузностью и ослабленностью проявления признаков. Полевое строение значения согласия / несогласия в самом общем виде может быть представлено как полное согласие / несогласие (центр) — неполное согласие / несогласие (ближняя периферия) — одновременная представленность согласия и несогласия (дальняя периферия). Постепенные переходы в этой сфере отчетливо прослеживаются, если принять следующую ее интерпретацию (в виде шкалы с двумя полюсами): согласие полное — согласие неполное — согласие и несогласие (одновременно) — несогласие неполное — несогласие полное. В пользу такой интерпретации говорит наличие градуальности, свойственной согласию / несогласию.

Ответ может быть положительным и отрицательным, полным и неполным, допустимым и недопустимым, прогнозируемым и непро-

гнозируемым, предпочтительным и непредпочтительным (см., например, классификацию типов ответа на вопрос в монографии [Падучева 1985]). Необходимо учитывать и ситуацию «ухода / уклонения от ответа» либо отсутствия ответа (ситуации «неответа», «не знаю-ответа»): *Хочешь быть максималисткой, с которой трудно дружить? — <...> Хочу, чтобы ты не ушла огорченной...* (Б. Васильев). См. в этой связи, с одной стороны, коммуникативные неудачи в речи взрослых [Городецкий, Кобозева, Сабурова 1985; Ермакова, Земская 1993; Йокояма 1998] и в диалоге с ребенком [Казаковская 2003], с другой — постулаты многозначной логики.

4.2. Выражение согласия / несогласия в речи взрослых

Средства выражения согласия / несогласия в речи взрослых включают интонацию, контекст, синтаксические конструкции, лексические компоненты. На материале современного русского языка[6] эти средства подвергались рассмотрению как в специальных работах [Красных 1970; Озаровский 1974; 1977; Поройкова 1976], так и при изучении реплицирования и «регулирующей» роли реплик в диалоге [Валимова 1955; 1971; Ширяев 1973; Галактионова 1988; Гастева 1991; 1993; Добрушина 1993; 1995], при разработке классификации коммуникативных единиц [Сиротинина 1974; Ом Сун Чон 1998], при описании русского речевого этикета [Акишина, Формановская 1978; Формановская 1982], коммуникативно-прагматических аспектов речевого общения [Формановская 2002], в рамках дискурсивного анализа [Романов 1988; 1995; Латощенко 2003]. Критерии, на основании которых строятся классификации, являются формальными [Озаровский 1974], формально-семантическими [Поройкова 1976], семантико-структурными или структурно-семантическими [Галактионова 1988; Белецкая 1999], лексико-синтаксическими [Свиридова 1994], функционально-прагматическими [Морозова 2000]. Многие классификации ограничиваются только рассмотрением определенного списка средств выражения и не учитывают особенности полевого строения данного языкового явления.

Совокупность рассматриваемых средств представляет собой систему, обеспечивающую экспликацию модального значения согласия / несогласия в речевом акте. Можно говорить о парадигме средств выражения согласия / несогласия, об элементарных и усложненных способах, о специализированных, типизированных, «стандартизованных» и «разовых» средствах (последние термины употребляются В. Г. Адмони [1968: 273; 1994: 73] и П. А. Лекантом [2002: 114]).

[6] См. также некоторые работы, выполненные на материале других языков — английского [Розанова 1994, Викторова, Петрова 2002; Нейленко 2002;], немецкого [Бровеев 1979; Сергеев 1992; Морозова 2000; Латощенко 2003], корейского [Ом Сун Чон 1998].

Все средства языкового выражения согласия / несогласия взаимодействуют друг с другом, связаны системными отношениями. В сложном взаимодействии выступают и частные значения, наслаивающиеся на основную семантику. В рассматриваемой сфере возможна синонимия конституентов согласия / несогласия.

Выделяются следующие основные способы («формально-смысловые разновидности», в терминологии В. Г. Адмони [1988: 76]) выражения согласия / несогласия: вербальные (прямые и косвенные) и невербальные. В этой связи следует учитывать большую роль в «разговорной устной диалогической речи жестикуляторно-мимической стороны»: «мимическое „высказывание“ может даже подменять звуковое — например, при согласии или несогласии, при выражении сомнения и т.д.» [Адмони 1994: 73].

Система разноуровневых средств выражения согласия / несогласия в русском языке обладает центральным и периферийным компонентами. При выделении в ней соответствующих субструктур необходимо учитывать следующие критерии: степень выраженности исследуемой семантики, специализированность конституента для выражения рассматриваемой семантики и, соответственно, прототипичность данного способа, степень однозначности (отчетливости) представления семантики, систематичность использования конституента в диалоге.

Еще несколько замечаний к обоснованию предлагаемой нами интерпретации полевого устройства согласия / несогласия. Наибольшей степенью отчетливости в выражении доминанты обладают те диалогические единства, в которых рассматриваемая семантика выражена прямым способом и при помощи типизированных, специализированных средств: *Я хочу вернуть Есенина. Можно мне* ***прийти*** *сегодня? —* ***Приходи*** *<...>* (Б. Васильев). (Ср. также ответ: *Можно.*); *Ты* ***правда*** *не обижаешься? —* ***Правда****. Даже, это... Хорошо, словом* (Б. Васильев); *У тебя это... неприятности? —* ***Да*** (Б. Васильев); ср. диалоги с ребенком: В: *Кашку будем кушать? Р.: Да, будем! В.: Гулять пойдем? Р.: Да*; Р: *Это часы? В: Нет, это барометр.* К числу таких конституентов относятся особые, синтаксически нечленимые и интонационно оформленные единицы — релятивы (термин Г. В. Валимовой [1971], используется в работах [Сиротинина 1974; 1980; Гастева 1993]), среди которых прототипическими являются *да* и *нет*, точные повторы, а также их сочетания, не отягощенные дополнительными значениями и стилистическими нюансами. Эти языковые средства однозначно (в максимально «чистом виде») выражают семантику согласия / несогласия и систематически используются взрослыми в диалоге. Именно по отношению к данным конституентам упомянутый выше методический прием применяется наиболее легко и естественно: *Гулять пойдем? — Пойдем, —* ***согласился*** *N.*

Некоторые релятивы находятся за пределами рассматриваемого ядра, поскольку им свойственны не все из названных признаков. Например, ряд релятивов — ментальных и эмотивных модусных рамок — не используется носителями языка систематически и обладает дополнительными смысловыми оттенками, которые обусловливают диффузность и, соответственно, неоднозначную интерпретацию реплики. Это ближайшее окружение центра, переходная зона между центром и периферией. Заметим, что В. Г. Адмони подчеркивал «глубокое внутреннее родство», «внутреннюю связь» рассматриваемых средств, заключающиеся в «их полном параллелизме в сфере диалогической речи» [Адмони 1968: 273]. Близость релятивов и вводных слов — по характеру передаваемой информации и «внепредложенческому статусу» — отмечает О. Б. Сиротинина [1974: 109]. Конституенты данного сегмента поля репрезентируют точку зрения говорящего, ибо модус в ответе — это, в первую очередь, знак речемыслительной рефлексии говорящего, оценка им собственного умозаключения, а также дополнительная оценка пропозиции, находящейся в стимулирующей реплике. Для некоторых взрослых носителей языка такие маркеры модуса в ответной реплике являются довольно типичным способом выражения согласия / несогласия. Есть основания говорить даже об излюбленных индивидуальных стратегиях их употребления в речи. Однако для ребенка подобный ответ означает довольно высокую ступень развития коммуникативной компетенции, к которой он приходит сравнительно поздно.

Специфика функционирования в диалоге релятивов — модусных рамок позволяет говорить об изменчивости смыслов, которые могут проявляться в определенном контексте и интерпретироваться адресатом в соответствии с его прагматическими установками. Ментальные *Я*–модусные рамки характеризуются градуальностью отношений, наслаивающихся на основную семантику. Это отчетливо иллюстрируется примерами градации по степени достоверности, ср.: *конечно — несомненно — само собой разумеется* и т.п. Возможны ситуации, в которых ответные реплики (целые конструкции) подвергаются переосмыслению: так, ответ «Отчего же не пойти!» выражает согласие [Свиридова 1994: 16].

К периферии рассматриваемого поля относятся разнотипные, но «функционально-однопорядковые», по выражению М. М. Гухман [1968: 172], единицы, в которых неполное согласие / несогласие выражается прямым способом при помощи неточного повтора или косвенными способами.[7] Конституентами в данном случае выступают менее «формализованные структуры»: двойной повтор и фразеологизиро-

[7] Поскольку семантический критерий является ведущим, некоторые структурно тождественные способы выражения согласия / несогласия попадают в разные фрагменты полевой организации.

ванные конструкции (в том числе формулы и штампы), имеющие разнообразный лексический состав. Языковая природа единиц периферийной субструктуры разнородна. Здесь возникают сложные переплетения основного значения с другими модально-экспрессивными элементами: уверенностью / неуверенностью, одобрением / неодобрением, допущением, целесообразностью, несомненностью, вынужденностью, предпочтением, готовностью, упреком, возражением, недовольством. Для периферийных конституентов характерна наименьшая степень выраженности семантической доминанты и отчетливости ее представления. Адресат молчаливо соглашается с пропозицией, содержащейся в реплике говорящего, а затем сообщает новую информацию: *Что-то случилось? — Да пока тебя не было, кот убежал* (РР). Этот пример иллюстрирует минимальную степень эксплицитного согласия. Оно проявляется лишь в том, что адресат не отрицает того факта, что что-то случилось, однако подтверждение этого факта заменяет сообщением о том, что именно произошло. Языковые средства периферийного сегмента поля — «неморфологизованные, свободные и полусвободные» структуры (о данном признаке полевой структуры см. [Гухман 1968: 173]).

Дальнюю периферию поля согласия / несогласия образуют диалогические единства, которые характеризуются отношениями согласия и несогласия одновременно. Сферой их употребления является «разовая устная диалогическая речь» — разновидности бытового диалога (в терминологии В. Г. Адмони [1994: 71–73]): *Кофе со сливками будешь? — Буду, но без сливок* (РР); *А их есть можно* (о «волчьих» ягодах. — *В.К.*)*? — Можно, только отравишься* (РР); см. также: *Петрович, а ты сам как насчет пива? Любитель? — Обижаешь!..* [пауза, соответствующая мимике] *Профессионал* (СМИ, реклама). Вне всякого сомнения, эти и подобные реплики функционально примыкают к средствам выражения согласия / несогласия. В последнем примере ответная реплика (до наступления паузы) не может быть интерпретирована однозначно: налицо многозначность (диффузность) и неполнота представления семантики. Перечень свойств, на основании которых подобные средства попадают на периферию поля, дополняется неморфологизованностью этих конституентов и несистематичностью их использования.

4.3. Ядерно-периферийная организация поля согласия / несогласия

4.3.1. Прямые способы выражения согласия / несогласия

С точки зрения характерных (типичных) речевых реализаций п о л н о г о согласия / несогласия выделяются наиболее распространенные (систематически используемые) способы выражения: повтор и релятивы (специфические конструкции нечленимых предло-

жений, или, в другой терминологии, непредикативные, непредложенческие коммуникаты [Сиротинина 1974; 1980: 95]). Повторы, релятивы (в том числе модусные рамки, часть которых рассматривается как дискурсивные слова) и их сочетания относятся к п р я м ы м способам выражения согласия / несогласия. Сущность этих способов заключается в максимально полной экспликации данной семантики. Причем наиболее полное выражение согласия / несогласия осуществляется чаще всего при помощи повтора (сравнение повтора с релятивами *да* и *нет* см. ниже 4.3.2).

Объем п о в т о р а зависит от объема эксплицитного диктума вопросной реплики. На этом основании выделяются различные виды повторов: точный, неточный; в рамках последнего — повтор синонимический, исправляющий и дополняющий [Добрушина 1997]. Например: а) точный повтор, точное копирование: *Опять что-то кому-то доказываем? — Доказываем*; точный повтор может быть полным и неполным, как в приведенном примере; б) синонимический повтор (в том числе опирающийся на контекстуальную синонимию): *В университете книгу купил? — Ага / у Нелли Ивановны* (о книжном киоске на филологическом факультете СПбГУ. — *В.К.*); в) исправляющий повтор — с учетом поправки, свидетельствующей о несколько иной, в отличие от данной адресантом, трактовке ситуации адресатом: *Ты по-прежнему в отделе кадров? — В Управлении кадров*; г) дополняющий повтор: *Это что / твой друг? — По институту*; *Как вижу / вы всё гранты пишете? — Пишем // с утра до ночи / не покладая рук* (РР). Как правило, при точном повторе в диалоге взрослых дублируется коммуникативно значимая часть — рема инициативной реплики с изменением значений лица. (О вариативности морфологических характеристик предиката в вопросо-ответных единствах см. [Воейкова 2000а].)

Выделяются следующие структурно-семантические типы реплик-повторов:

1) повторы, не осложненные и осложненные добавочными компонентами;

2) повторы с обязательным конструирующим лексическим элементом — частицей *не*: *Стоит ли нам, Алька, из-за таких пустяков ссориться? — Не стоит, — согласился мальчуган* (А. Гайдар); *Так мы не будем приглашать их? — Не будем* (РР). В реплике со значением согласия эта частица в сочетании с глаголом воспроизводится на основе инициативной реплики: *Не пойдешь в кино? — Не пойду* (РР) (см. также [Свиридова 1994]).

В повторе могут использоваться конкретизаторы эмоционально-качественной оценки (*ужасно, отлично, смертельно*): *Устал сегодня? — Ужасно устал* (РР).

Особый случай представляет собой двойной повтор, в структуру которого входит частица *так*: *В деревню на лето поедешь? — В деревню так в деревню*; *Обедать будем? — Обедать так обедать* (РР). Такие повторы могут осложняться частицами *ну*, *что ж* и некоторыми другими, вносящими дополнительные эмоционально-семантические оттенки. Лексический повтор является формальным признаком структуры, однако вместе со схемой построения конструкции он обусловливает ее значение. Повтор может выполнять акцентирующую функцию, а также выражать оттенки принятия, допущения, безразличия, которые наслаиваются на семантику согласия. Ограничение сочетаемости единиц в реальном речевом акте не позволяет данной схеме реализовать значение несогласия.

В качестве ответной реплики выступают р е л я т и в ы, например: *да, нет*; *ни за что, ну, вовсе нет, отнюдь нет*: *В библиотеку собираешься? — Да* (РР); *Я провожу тебя? — Ни в коем случае!* (Б. Васильев). Это специализированные средства выражения согласия / несогласия, являющиеся реакцией на реплику или ситуацию. В качестве ответной реплики на общий вопрос могут использоваться утвердительные, отрицательные и эмоциональные разряды релятивов. Особая черта релятивов — относительность их значения, понятного только в контексте.

В число релятивов иногда включают д и с к у р с и в н ы е с л о в а, большинство которых является эгоцентрическими модусными рамками (*конечно, разумеется, естественно, очевидно, безусловно* и др.). Вопрос о включении данных *Я*–модусных рамок в состав релятивов требует отдельного рассмотрения. Дискуссионным моментом в данном случае является соотношение «модус — релятивы — дискурсивные слова». Дело в том, что дискурсивные слова как часть специальных лексических средств выражения *Я*–модусной рамки отражают процесс взаимодействия говорящего и слушающего, а именно позицию говорящего: то, как он интерпретирует факты, о которых сообщает, как он оценивает их с точки зрения важности, правдоподобности, вероятности и т.п. Дискурсивные слова порождаются диалогическим дискурсом и связаны с широким контекстом. «Идея неслучайности значений» и «процедурный аспект семантики дискурсивных единиц» избраны в качестве модели описания дискурсивных слов в [Баранов, Плунгян, Рахилина 1993]. В этой связи полагаем, что некоторые модусные рамки-эгоцентрики, выступая в качестве релятивов, действительно, могут рассматриваться как дискурсивные слова, поскольку они вносят тонкие прагматические оттенки в информативное содержание реплики. (О дискурсивных словах в детской речи см. [Казаковская, Ягунова 1997].)

Релятивы *да* и *нет* выражают согласие / несогласие в стилистически нейтральном виде. В диалоге к релятиву *да* близки по коммуни-

кативно-семантическим функциям другие типы релятивов и модусных рамок: *ну да, ага, угу, не-а, конечно, разумеется, безусловно, без сомнения, факт, точно, именно, натурально*; к релятиву *нет* близки *да нет (!)*, *неправда, не может быть, как бы не так, (ну) вот еще (!)*. Модус сопровождает релятивы и в ответных репликах представлен практически всеми типами модусных рамок — например, ментальными: ***очевидно***, *нет*; ***думаю***, *да*; эмоциональными: ***к счастью***, *да*; ***увы***, *нет*; метаречевыми: ***честно говоря***, *нет*.

Эмотивные модусные рамки выражают одновременно согласие / несогласие и эмоциональную реакцию. Подобные средства включают различные эмоциональные разряды междометий, лексические единицы, приобретающие междометный характер: *чепуха, ерунда, пустое*, междометные фразеологические единицы: *еще чего, что вы (ты) (?)*, *где мне (тебе, вам, нам) (!)*, *где тут (там)*, *куда мне (нам, вам, тебе)*, *куда там (!)*, *а то (нет) (!)* и формулы речевого этикета: *с удовольствием, извините, пожалуйста, с радостью, спасибо* (последнее средство может передавать оба значения — и согласия, и несогласия). Они относятся к ближней периферии: *Кофейку хочешь? — С удовольствием* (РР); *Наши выиграли?* (Речь идет о футбольном матче. — *В.К.*) — *Где им!* (РР); *Сама сшила? — Еще чего! Иголки-то в руках отродясь не держала* (РР); *Ты обиделась на меня? — Господь с тобой!* (РР); ср.: — *Коли дружно возьмемся, где ж ему устоять, Колчаку-то? — Где устоять!.. — соглашались мужики* (Д. Фурманов). К этим средствам близки так называемые «застывшие» глагольные формы изъявительного и повелительного наклонений: *спрашиваешь, (да уж) (и) не говори(-те)*, *давай, изволь(-те)*, *скажешь (тоже) (!)*, использование которых осложняет семантику согласия / несогласия различными субъективно-эмоциональными оттенками: *В конце-то концов / они повесили шкаф? — Дожидайся!* (РР). Употребление этих средств иногда не позволяет однозначно интерпретировать реплику как выражение согласия или несогласия — вне учета дополнительных мимико-жестикуляторных компонентов (см. в 4.2. пример из рекламы).

К переходной между центром и периферией зоне в сфере выражения согласия / несогласия относятся фразеологизированные формулы и формулы-клише. Эти конституенты имеют некоторые черты сходства с косвенными способами выражения согласия / несогласия и обеспечивают, на наш взгляд, континуальность в этой сфере: *Ну что / доклад удался? — А ты думал!*; *Цветы — мне? — Как ты догадалась?!* (РР). Фразеологизированные конструкции характеризуются определенной схемой построения и обладают яркой эмоционально-экспрессивной окрашенностью. Факторами, облегчающими распознавание их семантики, являются контекст и интонация. В основном такие реплики функционируют в реальном диалоге

как вопросительные или восклицательные (с полувопросительной интонацией) конструкции. Фразеологизированные реплики согласия / несогласия могут содержать в своем составе языковые средства, утратившие прямое лексическое значение и выступающие в качестве частиц: *как (же)*, *где, (а) что (ж)*, *(а/да) чего (же)*, *отчего, зачем (же)*, *почему бы и нет, еще бы.* Кроме того, для них типично участие компонентов с усилительной семантикой *тут* и *там* [Свиридова 1994].

В выражении несогласия участвует интонация в сочетании со смыслоразличительным контекстом. Несогласие с оттенком возражения передается при помощи частицы с акцентирующим значением *как же*: *Он уже и убрался? — Как же! Еще и не начинал* (РР). При ответе с семантикой несогласия отсутствие репрезентирующего его релятива *нет* невозможно: в диалоге *Ты уже обедала? — Конечно* (РР) ответная реплика в отсутствие релятива *да* воспринимается как согласие, однако при отрицательном ответе *Конечно, нет* релятив обязателен. (О типизированных средствах выражения несогласия, входящих в формальную организацию высказывания, см. [Лекант 2002: 114–116].)

4.3.2. Косвенные способы выражения согласия / несогласия

Неполное согласие / несогласие часто выражается косвенными способами. В таком случае в ответной реплике присутствует какая-либо поправка или оговорка, содержание которой говорит о том, что согласие / несогласие выражается адресатом только в каком-то одном аспекте: *Значит, человек живет во имя истины? — **Мы — да**. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которой нас учит партия* (Б. Васильев); *Ты дома будешь? — **Пока да*** (РР).

При использовании косвенных способов выражения семантика согласия / несогласия существует в качестве пресуппозиции (это имплицитное и «прочитываемое», «выводимое» согласие / несогласие). В данном случае возможно сопровождение (эксплицитное или имплицитное) дополнительными смыслами, выражающимися в так называемых структурах расширения, или аугментативных структурах (термин М. Я. Дымарского). Частотные в диалоге аугментативные структуры (в том числе структуры аргументирования) оказываются востребованными именно как экспликаторы различного рода глубинных смыслов: *И все твои коллеги так щепетильны? — Которых я уважаю / все* (РР); *А Алеша был дома? — В студию убежал* (РР); *Вам не хотелось к ней еще раз прийти? — Давно мечтаю. <...> Вопросов накопилось море* (Д. Донцова).

Семантическая типология подобной аугментации охватывает широкий спектр смыслов (как диктумных, так и модусных). Диктумное расширение может эксплицировать, в частности, противительно-

ограничительную семантику и семантику причинной обусловленности: *А ты по-прежнему разбиваешь сердца и складываешь в копилку? — Нет / у меня каникулы* (РР); см. также следующий фрагмент диалога: *Только я, это... Не курю... — Чахотка, что ли? — Спортом занимаюсь... Легкая атлетика* (Б. Васильев). Интересны примеры аугментативных структур при имплицитном согласии / несогласии: *Бары Парижа без тебя переживут? — Особенно те, где я задолжал* (Ф. Саган, пер.); *Но ведь надо уметь спорить? — Надо учить самой истине, а не способам ее доказательства. Это казуистика* (Б. Васильев); *Значит, одна двоих вырастила? — Бабы, как выяснилось, существа двужильные* (Б. Васильев); *Кокоток растить будем? — Не кокоток, а женщин. Впрочем, вы не знаете, что это такое* (Б. Васильев).

Особого внимания заслуживает различие между двумя основными типами аугментации — «унисонной», или градуальной (*да / нет, и...*), и оппозитивной (*да / нет, но...*): *Любишь персики? — Обожаю* (да, и очень) (РР); *Редисочки не хотите? — Ну, немножко можно* (да, но немного) (РР); ср.: *Разве плохо быть максималисткой? — **Нет**, не плохо, и они, я убеждена, необходимы обществу. **Но** с ними очень трудно дружить, а любить их просто невозможно* (Б. Васильев).

Реплики, выражающие семантику несогласия, могут быть построены по закрепившейся в языке двухчастной модели. В первой ее части обязателен повтор знаменательного слова, объединенный частицей *-то*, вторая часть начинается, как правило, противительным союзом или его эквивалентами, например, *а, но, да, только*: *Чай будешь? — Чай-то чай, а много ль его выпьешь?* (РР). Вторая часть привносит в согласие модальный оттенок сомнения. Реплики данного типа могут выражать конкретно-оценивающую семантику, а также семантику возражения (см. [Свиридова 1994]).

Наблюдения за естественным диалогом взрослых обнаруживают любопытный факт: выражая согласие или несогласие, говорящие предпочитают обходиться без релятивов *да* и *нет*, которые, казалось бы, предназначены системой именно для этой роли: *А учиться-то на художника трудно, каверзно? — У живописи свои законы* (С. Лобозеров); *Поздно вернешься? — Ты уже будешь видеть сны* (Б. Васильев); *Ты не заболел? — Просто решил выспаться* (РР). Возможно, дело в том, что, в отличие от повтора, релятивы *да* и *нет* обладают гораздо более разнообразным и сложным комплексом значений, связанных с различными прагматическими аспектами семантики высказывания. К их числу относятся исходное предположение вопроса (категория установки), иллокутивное и презумптивное значения высказывания, его диктумные и модусные, имплицитные и эксплицитные компоненты, коммуникативная уместность речевого акта (реплики).

Иными словами, *да*/*нет*-ответы выражают согласие / несогласие с учетом точек зрения партнеров на истинность л ю б о г о компонента инициативной реплики. Следовательно, они отличаются от положительного / отрицательного повтора (или другого способа выражения согласия / несогласия) тем, что могут быть реакцией на глубоко спрятанное содержание инициативной реплики, а также могут быть связаны с субъективной точкой зрения партнеров. Повторы же — это реакция, главным образом, на диктум (диктумную пропозицию, пропозитивный смысл). Подобная реакция, как правило, не связана с субъективными мнениями партнеров, а значит, повтор не соотносится непосредственно с какими-либо скрытыми компонентами значения инициативной реплики.

Анализ показывает, что в диалоге взрослых выражение семантики согласия / несогласия сопровождается обычно каким-либо регулярным дополнительным прагматическим значением (как отмечают исследователи дискурсивных слов, часто трудно уловимым). При этом каждый способ выражения рассматриваемой семантики располагает собственным спектром смыслов. Стратегии выражения согласия / несогласия у взрослых не совпадают, как не совпадает, строго говоря, и уровень коммуникативной компетенции, отчасти выражающийся в умении вести естественный и непринужденный диалог, используя богатейший прагматический потенциал языковых средств. Одни носители языка чрезвычайно чутки к прагматической градуальности выражаемых смыслов и охотно используют языковые возможности. Другие, напротив, не чувствуют этих тонких различий и употребляют во всех контекстах несколько (два — три) «полюбившихся» средств, обесценившихся и стершихся от частого использования в различных ситуациях [Добрушина 1997].

5. Становление и развитие полевой структуры согласия / несогласия в речевом онтогенезе

5.1. Этапы развития ответного компонента реплицирования

В контексте нашего исследования целесообразно рассмотреть основные тенденции развития реплицирования, а именно этапы развития ответной продукции ребенка. (О типах когерентности и об интонационном оформлении ответных реплик ребенка в диалоге см. [Краузе, Люблинская 2000].) В становлении данного компонента диалогической компетенции ребенка могут быть выделены следующие этапы: 1) отсутствие ответной реакции, 2) имитация (на этой стадии весьма показательно явление, получившее называние «феномен-

эхо» [Кубрякова 1991: 151]), 3) вынужденная краткость,[8] 4) синтагматическое ограничение, 5) структурно-семантическая избыточность реплики и 6) нормативный (узуальный) этап. Кратко охарактеризуем эти этапы.

Успешное первичное реплицирование начинается на этапе однословных высказываний. По мнению Е. С. Кубряковой, анализировавшей эти простейшие акты референции, «общение начинается „без синтаксиса“ — синтагматической последовательности слов еще нет. Но уже есть „лексика“ (название) и уже есть прагматика (иллокутивное значение речевого акта) и, возможно, начатки грамматики» [там же: 166]. Однако в это время, помимо собственно голофраз-синкретов («замороженного» именительного падежа, слов «языка нянь», в том числе ономатопей), ответные реплики ребенка могут сопровождаться адекватным действием или его имитацией, а также содержать вокализации, которые ранее — еще на дословесном этапе — помогали ему реализовать первые коммуникативные интенции в диалоге (ср. также жесты, повороты головы и остановку взгляда на названном предмете). Такого рода реплики представляют собой этап вынужденной краткости в становлении реплицирования, а ответы являются «первоначальными актами референции» [там же: 176].

Обычно после двух лет начинается этап двусловных ответов, или этап соединения синкретов (по С. Д. Кацнельсону [2001: 357, 375]). Его особенностью является синтагматическое ограничение. В это время ребенку еще трудна сама операция соединения двух слов (или, позже, словосочетаний — применительно к многословному ответу).

После преодоления трудностей в построении синтагматической цепочки многословный ответ становится на определенной стадии избыточным. Структура вопроса может воспроизводиться ребенком в ответе практически полностью. Между тем избыточная информативность, полная тема-рематическая представленность ответной реплики, как известно, не свойственна естественному спонтанному диалогу взрослых. Видимо, основной причиной избыточности реплик-реакций ребенка является неумение использовать то, что принято называть общим фоном знаний (апперцепционной базой, по Л. П. Якубинскому [1986]), и учитывать пресуппозицию говорящего. Соответствующее влияние оказывает и практика обучения ребенка полным ответам.

Далее, приобретая соответствующие прагмалингвистические навыки, ребенок приходит в своих ответах к нормативной (узуальной) краткости взрослых — с умением, в частности, осуществлять контекстуальный эллипсис и использовать сложные синтаксемы. (О разгра-

[8] Имеется в виду то обстоятельство, что краткость бывает как вынужденная, так и иная, основанная на умелом эллипсисе, учете фактора адресата и ситуации общения, т.е. краткость, отражающая более высокий уровень коммуникативной компетенции; ср., например, ответные реплики разных детей на вопрос (о сказке): «*Понравилась?*» — «*Да*» / «*Понравилась*» и «*Очень*».

ничении синтаксем «раннего» и «позднего» онтогенеза см. [Цейтлин 2002: 122].) На фоне развития общего реплицирования происходит освоение ребенком семантики согласия / несогласия и средств ее языкового выражения в определенных коммуникативных ситуациях.

5.2. Коммуникативные ситуации согласия / несогласия в диалоге с ребенком: динамический аспект

Коммуникативные ситуации, предполагающие выражение ребенком согласия / несогласия, на ранних этапах представлены самыми простыми вариантами. Они могут касаться различных элементов диктумных пропозиций (сначала это действие, объект и субъект). Постепенно взрослый интуитивно начинает вовлекать ребенка в более сложные коммуникативные ситуации, которые находят отражение в глубинных, скрытых, модусных языковых структурах. Овладевая семантикой согласия / несогласия и средствами ее языкового выражения, ребенок движется не просто от элементарных коммуникативных ситуаций и начальных способов выражения полного согласия к более сложным, но к тому, что считается высоким уровнем развития диалогической компетенции — к адекватной краткости взрослых, к умению использовать неточные типы повторов и косвенные способы выражения полного и неполного согласия / несогласия.

Одной из типичных ситуаций раннего речевого онтогенеза, предполагающих выражение ребенком согласия, является к о р р е к ц и я. Как мы уже неоднократно отмечали, характерной особенностью коммуникативного взаимодействия с ребенком раннего возраста является лингводидактическая направленность диалогических реплик взрослого, в том числе и его общих вопросов. В данном случае имеется в виду одна из первичных функций вопроса взрослого, обращенного к маленькому ребенку, — выражение несогласия с его предыдущей репликой. Например, в следующем диалоге реакция на неверный ответ ребенка (неправильно данную номинацию) представляет собой ответ-образец матери: В.: *Вот это кто, Иришенька?* (На картинке изображены птички. — *В.К.*) Р.: *Мими* ([мышка]). В: ***Птички?*** Р.: ***Ти-ти*** [птички] (Ира Л., 1.03). Как видим, исходный запрос о номинации в конце концов увенчался правильным ответом, хотя и с некоторыми фонетическими «погрешностями», свойственными ребенку в данном возрасте. При помощи подобных реплик мать интуитивно «отрабатывает» определенный компонент системно-языковой компетенции ребенка — лексический, грамматический или фонетический, как в следующем примере: В.: *Кто это?* Р.: *Тядя.* В.: ***Дядя?*** Р.: <*М..*> (Ира Л., 1.03).

Метаязыковая «отягощенность» практически любой реплики взрослого прослеживается при интонационном анализе. Между тем вопросы, обращенные к ребенку двух с половиной лет и старше, уже

содержат эксплицитные маркеры несогласия (или сомнения в достоверности высказываемого ребенком мнения), представленные соответствующими модусными рамками: В.: *По-моему, его собака Авва нашла? Нет?* (Речь идет о Пенте. — *В.К.*) Р.: *Ах. Нет. Ава искала, искала рыбака... И не нашла* (Нюша Л., 2.10); В.: *А лиса разве испугалась его?* Р.: *Да* (Ваня П., 2.06); В.: *Так медведь ее тоже не выгнал, что ли?* Р.: *Да* (Ваня П., 2.06).

На ранних этапах речевого онтогенеза вербальное или невербальное выражение согласия / несогласия требуется также в ситуациях, имеющих самое непосредственное отношение к ребенку — например, к его самочувствию (как правило, физическому): В.: *Это что у тебя, царапина?* Р.: *Угу* (Володя Б., 2.11); В.: *Митька, нос-то дышит у тебя?* Р.: *Да, да* (Дима С., 2.00). Кроме того, в фокусе подобного вопроса могут находиться те качества объектов, которые доступны ребенку и воспринимаются им непосредственно.

Существенная часть ранних вопросов взрослого, предполагающих выражение согласия / несогласия, — вопросы о н а м е р е н и я х. Они относятся к планированию предстоящих действий взрослого и ребенка: В. (берет книжку «Лиса и заяц». — *В.К.*): *Давай вот эту почитаем? Давай?* Р.: *Да* (Ваня П., 2.06) — или могут комментировать настоящее: В.: *Никак? Ты хочешь поднять?* (Р. пытается поднять кожух коляски. — *В.К.*) Р.: *Да* (Надя Ж., 3.04). Большинство вопросов о намерениях предполагает предложение действий самому ребенку; меньшая часть — взрослому: В.: *Ты хочешь, чтобы я почитала?* Р.: *Да* (Надя Ж., 3.04).

На более поздних этапах речевого онтогенеза картина существенно меняется. Удостоверительные общие вопросы уже включают элементы подтверждения по отношению к событиям, происходящим с ребенком в настоящий момент (комментируют его действия): В.: *Так ты играешь с книжками, как с кубиками?* Р.: *Конечно, нет* (Нюша Л., 4.03), — либо произошедшим с ребенком в недавнем прошлом: В.: *А что, разве ни... мы с тобой никогда не купались на море?* Р.: *Всегда купались* (Нюша Л., 4.03). Общие вопросы используются также по отношению к событиям, как правило, повторяющимся: В.: *И вас отпускают* (одних в лес. — *В.К.*)*?* Р.: *Нас отпускают. У нас же там дом посередине леса стоит* (Саша Н., 5.06). Два последних примера показательны, поскольку в них отражается одна из типичных особенностей ответного реплицирования ребенка в этот период: ответ копирует структуру инициативной реплики.

Впоследствии количество коммуникативных ситуаций, предполагающих выражение семантики согласия / несогласия, значительно увеличивается. Выражение согласия / несогласия начинает «прилагаться» к умениям и увлечениям ребенка, его переживаниям; к ситуации обладания, к третьему лицу и его действиям, характеру и каче-

ству этих действий; к идентификации объекта и его наличию / отсутствию, а также к наличию у объекта различных качеств и свойств; к параметризации пространства (в частности, локализации). В целом развитие этой семантики в основном соответствует порядку появления в речи взрослого, обращенной к ребенку, монореферентных специальных (частных) вопросов [Казаковская 2004а].

Большинство вопросов взрослого, предполагающих выражение анализируемой семантики, как правило, сопровождается положительной реакцией ребенка (подтверждением), поскольку именно так взрослым смоделирована (см. выше 3.1.) коммуникативная ситуация: *Спать пойдем, да?* (например, вечером, когда ребенок уже капризничает и трет глаза руками). Чаще всего «согласие» ребенка следует и в ответ на метаязыковые «вопросы-поправки» взрослого. Однако заметим, что в некоторых случаях такие вопросы ребенок может понимать буквально: Р.: *Ты своими большими* (о спицах. — *В. К.*) *немножечко свяжи. Я ему по-настоящему хочу сшить.* В.: ***Сшить?*** (Вопрос-несогласие содержит поправку, поскольку ребенок намеревается все-таки вязать, а не шить. — *В.К.*) Р.: ***Да*** (Алеша Ш., 4.09), — между тем возможна и ситуация несогласия, отказа.

5.3. Становление системы средств выражения согласия / несогласия в диалоге; типы ответных реплик

Можно выделить следующие особенности формирования системы средств выражения согласия / несогласия и, соответственно, основные типы ответных реплик ребенка.

Выражение анализируемой семантики начинается с невербальных реакций ребенка: вокализаций, жестов, мимических действий и некоторых других типов протознаков: В.: *Аня, баночка может катиться?* Р.: (прокатывает баночку) (Аня С., 1.07). Попытка выразить согласие может быть осуществлена ребенком при помощи голофразы-синкрета: В.: *Аня, помнишь Валю?* Р.: *Будя-будя!* ([вода-вода!]) (Аня С., 1.06). В данном случае ребенок вербализует фрагмент ситуации, напоминая тем самым об обстоятельствах, при которых произошло знакомство с этим человеком (Валя принимала ванну). Это так называемый утвердительный ассоциативный ответ.

Использование языковых знаков начинается с п р я м ы х способов и специализированных средств выражения согласия / несогласия, а внутри них — с релятивов. Однословные р е л я т и в ы *да* и *нет* надежно «оснащены» традиционной жестовой культурой и очень часто сопровождаются соответствующими узуальными жестами: В.: *Аня, пойдем гулять?* Р.: *Да* (кивает головой. — *В.К.*) (Аня С., 1.04).

Отмеченное в различных лонгитюдных наблюдениях большое количество релятивов *да*, используемых ребенком, является, на наш взгляд, вполне оправданным обстоятельством, поскольку требование

выражения согласия / несогласия касается очевидной для ребенка ситуации или диктумного фрагмента отображающей ее вопросной реплики. Так, до трех лет релятив *да* занимает 15% ответных реплик ребенка, *нет* — 2% (в четырех-, пятилетнем возрасте удельный вес этих реплик, соответственно, — 11% и 3%; в шести-, семилетнем возрасте — 1,6% и 0,3%). Далее начинают функционировать ответы с использованием специфических «детских» средств (так называемые адекватно системные, или стандартные, ответы). Это точный повтор инициативной реплики взрослого или ее фрагмента с утвердительной интонацией, а также первые попытки соединения односложных релятивов *да* и повторов.

П о в т о р ы фиксируются в нашем корпусе данных с конца второго года жизни, а в сочетании с релятивами — после двух с половиной лет. Однако следует иметь в виду, что самые ранние типы повторов совпадают с существенными в это время имитацией и эхолалией (бессознательной имитацией, осуществляемой ребенком в доречевом периоде), подкрепляются ими. Самые первые из подобных реплик в этом возрасте не могут, строго говоря, считаться повторами как специализированным средством выражения данной семантики. В раннем возрасте типичными повторами являются: а) неполный повтор (предиката реплики), являющийся излюбленным способом выражения согласия у детей: В.: *А у мамы ты была на работе?* Р.: *Была* (Нюша Л., 4.03); б) полный повтор реплики взрослого (как со сменой субъектной перспективы, так и без нее, вплоть до так называемого синтаксического параллелизма): В.: *Большая вообще?* (О маме. — *В.К.*) Р.: *Вообще большая* (Нюша Л., 4.03). Впоследствии к повторам, сопровождаемым релятивом, добавляется уточняющий повтор атрибута: Р.: *Нарисуй вот такую вот шапку / железную такую / не такую вот / а другую / вот такую вот.* В.: *С забралом?* Р.: *Да. С забралом* (Алеша Ш., 4.09). В возрасте четырех–пяти лет количество повторов заметно снижается, однако важно, что в их структуру уже попадают частицы и наречия. В репликах шести-, семилетнего ребенка повторы практически отсутствуют, они вытесняются косвенными способами выражения согласия / несогласия; причем согласие / несогласие в редких повторах уже не дублируется, как ранее, релятивом. Ответные реплики становятся более краткими, а значит, и более экономными.

Примерно с третьего года жизни в речи ребенка фиксируются первые попытки внести в ответную реплику согласия / несогласия дополнительные смыслы (широкое распространение это явление получает, как правило, после четырех лет). Речь идет о создании ребенком первых а у г м е н т а т и в н ы х структур и, соответственно, о начальном освоении косвенных способов выражения согласия / несогласия. Семантика аугментативных структур в этом возрасте довольно про-

зрачна и включает следующие типы: 1) д и к т у м н ы й: а) с признаком причинной обусловленности действий (или их отсутствия): В.: *А бабушка тоже купалась?* Р.: *Конечно, нет. Она же уже стареньк*ая (Нюша Л., 4.03), б) с признаком причинной обусловленности состояний (реже), в) противительно-ограничительный; 2) м о д у с н ы й — ментальный, в первую очередь, персуазивный (с признаком уверенности / неуверенности).

Выявление семантических доминант аугментативных структур позволяет проследить когнитивное усложнение не только рассматриваемых ответов, но и вопросов. Ср.: В.: *Аня, а юбка-то чистая?* Р.: *Да, мама тиляф* ([стирала]) (Аня С., 1.11); В.: *А бабушка, наверное, боялась, что ты уплывешь далеко?* Р.: *Конечно, нет. Я ей говорила, что вернусь, и она не боялась* (Нюша Л., 4.03); В.: *Длинный был перерыв* (в театре. — *В.К.*)*?* Р.: *Коротенький, очень коротенький. Мы только успели дойти до туалета и пописать* (Нюша Л., 4.03); В.: *А грибы* (растут в том лесу. — *В.К.*)*?* Р.: *Ой. Мы с Борей вот столько находили. О...* (Показывает на уровне груди. — *В.К.*) *Ни в сказке сказать, ни пером написать. Вот сколько мы находили* (Алеша Ш., 5.09). Семантика расширения при выражении согласия отличается от семантики расширения при выражении несогласия.

На ранних этапах речевого онтогенеза, сопровождая согласие / несогласие аугментативной структурой с диктумной семантикой (например, с семантикой причинной обусловленности), ребенок включает в эту структуру и маркер соответствующих отношений (союз *потому что*). Однако со второй половины третьего года жизни он «убирает» его в подтекст. Процесс рассуждений ребенка над причинно-следственными явлениями частично и н т е р и о р и з у е т с я, т.е. они переводятся «вовнутрь», превращаются в умственные схемы. На наш взгляд, это один из показателей развития когнитивной деятельности ребенка, являющейся основой коммуникативных умений, а именно показатель того, что ребенок учится «сворачивать» информацию, говорить кратко. Конечно, в некоторых случаях получаются ошибочные умозаключения, поскольку устанавливается связь там, где она отсутствует (подобные умозаключения у Ж. Пиаже названы трансдукцией — «от частного к частному» [Пиаже 1932]), это обусловлено недостаточностью когнитивного опыта: В.: *Марк и Юля близнецы?* Р.: *Да, они живут в одном доме* (Наташа М., 5.01).

Если в возрасте четырех–пяти лет ответы, выражающие согласие с развернутой мотивацией, частотны, то после пяти лет их частотность резко снижается. Однако подобные ответы становятся основой для построения монологизированных реплик: В.: *Тебе было жалко?* (О собаке, которая умерла от чумки. — *В.К.*) Р. (сокрушенно кивает головой): *Потому что у нас была еще одна <...> еще одна была у *соседях наших. Ее звали Жулька... Эта Жулька испортила*

*наш... она тоже была *жаразная и вот она все сделала* (Даша Р., 4.08); В.: *Ты / что / заболела что ли?* (Ребенка не отвели в детский сад. — *В.К.*) Р.: *Да. Кашель. Ночью вообще / бабушке не давал мой кашель... спать* (Даша Р., 4.08).

Противительно-ограничительный тип аугментативной структуры («да, но...») в репликах согласия / несогласия ребенка в основном маркируется посредством *только, тоже* или при помощи соединительного союза *и*; союз *но* отсутствует (он, как известно, появляется поздно). Начало употребления такого рода расширений приходится на конец третьего года жизни (2.07), а «пик» — на возраст четырех–пяти лет: В.: *Ты спала?* Р.: *Я спала, только несильно* (Наташа М., 7.00), ср.: В.: *А в Краснодаре ты купалась?* Р.: *М? Один раз всего *купнулась* (Нюша Л., 4.03).

Аугментативные структуры модусной семантики сопровождают прямые способы выражения согласия / несогласия в речи детей после двух с половиной лет. Их комбинации прогнозируемы и, в принципе, исчислимы. Особого выяснения требует лишь вопрос о порядке появления и о самой разрешительной возможности сочетания этих средств в языковой системе ребенка на каждом этапе онтогенеза. В нашем корпусе данных отмечены примеры повтора, сопровождаемого ментальной *Я*–модусной рамкой (с семантикой уверенности) и мотивацией определенного положения дел: В.: *А дедушка хорошо водит машину?* Р.: *Хорошо, конечно. Конечно, он шофер. Он у нас шофер* (Нюша Л., 4.03) ('конечно, он делает это хорошо, потому что он шофер').

К пяти годам количество модусных расширений, ранее сравнительно небольшое, возрастает. Модусная рамка приобретает статус не имитируемого вслед за взрослым, а спонтанно используемого ребенком средства. В этом проявляется высокий уровень развития его коммуникативной компетенции. Ср.: 1) В.: *Так это бабушка, наверное, так столбы-то расшатала? Ну / может / скажи?* Р.: *Бабушка. Ну / может. Бабушка вот так, а я вот так* (Показывает. — *В.К.*) (Володя Б., 2.11); 2) В.: *А душа маленькая, да?* Р.: *Ну конечно* (Илья Ч., 7.03). После пяти лет ребенок способен, выражая согласие / несогласие, соединять два вида расширений — диктумное и модусное.

К о с в е н н ы е способы, в которых согласие / несогласие представлено имплицитно, а при помощи аугментативной структуры вербализуются различные диктумные и модусные смыслы, в ответных репликах ребенка начинают использоваться в целом несколько позднее: В.: *Быстро* (катал дедушка. — *В.К.*)*?* Р.: *Как ракета* (Нюша Л., 4.03); В.: *А в буфет вы ходили?* Р.: *Там вообще нет буфета!* (Нюша Л., 4.03); В.: *Хорошо тебе летом?* Р.: *Хорошо.* В.: *Лучше, чем зимой?* Р.: ***Зимой тоже хорошо*** (Наташа М., 9.03). В данном случае в аугментативных структурах выражаются, как правило, наи-

более актуальные для ребенка элементы коммуникативной ситуации (в этом также проявляется «ситуативность» детской речи).

Анализ показал, что ребенок при аугментации способен выражать унисонную и оппозитивную семантику. Ср.: В.: *Он тебя катал?* (На машине. — *В.К.*) Р.: *Конечно! Целых пятьсот раз!* (Нюша Л., 4.03); В.: *Слушай, а в бассейн вы ходите здесь?* Р.: *Будем ходить!* (Саша Н., 5.06); В. (несет ребенка на руках, стучит каблучками. — *В.К.*): *Ася, ты на лошадке едешь? А лошадка я?* Р.: *А когда за ручку *ведемся, тогда вместе лошадки. Я — *лошаденок, ты — лошадка* (Ася П., 3.06).

5.4. Динамические (возрастные) особенности функционирования типов вопросо-ответных диалогических единств с семантикой согласия / несогласия

До трех лет в подавляющем большинстве общевопросительных диалогических единств реакция согласия выражается ребенком при помощи релятива *да*. К концу третьего года жизни появляется вербальная реакция несогласия. Примечательно, что первые структуры-расширения зафиксированы при реплике-несогласии (вероятно, как некоторое обоснование ребенком своего *нет*). Кроме отмеченных выше типов общих вопросов (и коммуникативных ситуаций их использования), начинают функционировать диалогические единства с инициативной репликой — вопросом-предположением (неопределенно-вопросительным предложением в [Русская грамматика 1980, II: 394]): В.: *А может, его крокодил проглотил?* Р.: *Не-ет. Он где-то исчез. *Разбежал. Убежал Бармалей* (Нюша Л., 2.10); В.: *У тебя день рожденья был, да?* Р.: *Нет* (Надя Ж., 3.04); В.: *У вас там* (в Комарове. — *В.К.*) *дача что ли?* Р.: *Да* (Саша Н., 5.06). Возрастает количество вопросов, предполагающих отсутствие у взрослого информации.

Существенные изменения в диалоге «взрослый — ребенок» происходят, как правило, после трех лет. Обычно в это время начинает проявляться отчетливое стремление ребенка инициировать реплику. Причем в его собственном «диалогическом» багаже значительное место занимают именно общие вопросы. Способы выражения согласия / несогласия с аугментативными структурами (в количественном отношении теперь уже лишь немногим уступающие прямым, узуальным) представлены, в основном, полными ответами на метакоммуникативные вопросы взрослого, которые направлены на поддержку коммуникативного контакта либо на преодоление коммуникативной неудачи. Распространены также ответы ребенка с параллельным повтором структуры инициативной реплики.

К пяти годам ребенок способен не только выразить свое согласие / несогласие, но и аргументировать иное, не прогнозируемое взрослым,

мнение или знание. Семантика ответов пополняется отношениями условия и следствия, осложняется модусными и эмоционально-экспрессивными оттенками: В.: *Может быть, ты собачка?* Р.: *Если бы я была собачка, я бы лаяла* (Наташа М., 4.10); В.: *А вы берёте котёнка в лес?* Р.: *Ты что! Там же... страшно, она *заглудится* (Катя Б., 4.09). Последнее обстоятельство свидетельствует о достижении ребенком довольно высокого уровня диалогической компетенции.

После пяти лет в ответных репликах ребенка осознанно и довольно частотно начинают использоваться другие (помимо *конечно*) *Я*-модусные рамки: В.: *А ты б хотел, чтобы у вас дяденька был воспитателем?* Р. (усмехаясь): *Предположим, нет* (Вася С., 6.06). (О репрезентации ментального модуса в детской речи см. [Казаковская 1997; 2004б].)

Обычно на шестом году жизни типология ответных реплик ребенка пополняется уточнением, которое зачастую провоцируется особым типом вопроса — «от частного к общему» (так называемыми вопросами-цепочками, свойственными речи взрослого, обращенной к ребенку): В.: *А это кто? Брат твой?* Р.: *Нет. Друг* (Саша Н., 5.06).

Немаловажным фактом для диалогической компетенции ребенка является феномен предугадывания чужой точки зрения (спрашивающего / говорящего). Этот феномен начинает проявляться приблизительно после пяти с половиной лет; см. следующий фрагмент диалога: В.: *Так у тебя в Комарово бабушка и дедушка все время живут или...* Р.: *Все время.* В.: *А они все время...* Р.: *У них там корова* (Саша Н., 5.06). В первом случае, практически прерывая предполагающийся альтернативный вопрос, ребенок отвечает повтором фрагмента обращенной реплики; во втором — в ответе осуществляется аргументация имплицитного согласия.

Показательны немногочисленные примеры выражения ребенком неполного согласия: В.: *Будем варить макароны?* Р.: *Точнее, жарить* (Илья Ч., 7.03). В данном случае согласие сопровождается корректировкой высказываемого взрослым предположения (ср. неточный исправляющий повтор в диалоге взрослых).

Период в развитии диалогического реплицирования, когда ответы-релятивы *да* / *нет* ребенка в количественном отношении уравновешиваются с косвенными способами выражения согласия / несогласия, можно отнести к следующей, третьей, стадии — стадии узуальных «адекватных» ответов, которые являются довольно естественными в диалоге и непосредственно обусловлены системой средств выражения согласия / несогласия. Думается, высокий уровень коммуникативной компетенции носителя языка в диалоге проявляется в использовании преимущественно косвенных способов выражения согласия / несогласия (завуалированных, непрямых ответов). Именно в них актуализируется глубинная и прагматически обусловленная

семантика во всем многообразии диктумных и модусных смыслов, оттенков и нюансов, зависящая от общего типа диалога — диалога-унисона или диалога-диссонанса (об этих типах диалога см. [Соловьева 1965; Ильенко 2003: 505]).

5.5. Коммуникативные неудачи в сфере ответного реплицирования

Анализ коммуникативных неудач и их причин в сфере ответного реплицирования показывает, что зафиксированные «неответы» ребенка вытесняются впоследствии чаще всего репликами-комментариями по поводу его собственных игровых действий. Вполне естественно, что для ребенка это кажется, безусловно, более интересным и важным: В.: *Две подружки, да?* (Об игрушечных зайцах. — *В.К.*) Р.: *Прилипла ты. Ой* (Вынимает зацепившегося за бортик коляски зайца и комментирует происходящее. — *В.К.*) (Надя Ж., 3.04); В.: *Посмотри-ка, все ли у него в порядке?* Р.: *Сейчас я тебе все сниму... Только один свитер сниму. Свитер сниму. Остальные *пугочки... *расстегаваются* (Начинает раздевать зайца. — *В.К.*) (Надя Ж., 3.04). Думается, подобные явления можно рассматривать как случайный, непосредственный, но не намеренный речевой конфликт. Ситуация намеренного ухода от ответа (возможно, «специального» речевого конфликта) возникают позднее: В.: *Расскажи, как ты Роки боялась.* ***Ты рассказывала Эльвире Ивановне?*** Р.: ***Это наш секрет*** (Нюша Л., 4.03).

В некоторых случаях ситуация ухода от ответа (т.е. от выражения согласия / несогласия) тесно соприкасается с ее косвенным выражением: В.: *А какие он глупости говорит?* Р.: *Не могу даже сказать...* Р.: ***Грубые слова, да?*** В.: *И грубости говорит* («и не только») (Даша Р., 4.08). Как своеобразный вариант ухода от ответа можно рассматривать и так называемые встречные вопросы ребенка: В.: *Так же не наливают.* Р.: *А Боря так делал...* В.: ***Боря так делал?*** Р.: ***Да. Почему бы и нет?*** (Алеша Ш., 4.09) (ср. фразеологизированные формулы взрослых). Встречные вопросы отмечены в нашем корпусе данных уже в возрасте 2 г. 4 мес., позднее они возникают в тех случаях, когда ребенок не знает ответа и «переадресовывает» вопрос взрослому: В.: *Может быть, можно сделать так, чтобы он не таял* (о снеге. — *В.К.*)*?* Р.: *Ну, как же нам сделать, чтобы он не таял?* (Даша Р., 4.08).

Поверхностная семантика согласия / несогласия может быть непрозрачной даже в рамках определенной речевой ситуации: В.: *Может быть, это волк был?* (О собаке, встреченной на улице. — *В.К.*) Р.: *Так мы все равно хотели стрелять. Но он нас не тронул* (Алеша Ш., 4.09); ср. В.: *А я пожилой* (отец спрашивает о себе. — *В. К.*)*?*

Р.: *Не такой... полупожилой.* В.: *А я* (вопрос матери. — *В. К.*)*?*
Р.: *Ты *молодее* (Наташа М., 5.11).

***

Таким образом, в развитии средств выражения согласия / несогласия в диалоге «взрослый — ребенок» наблюдается следующая последовательность: от невербальных средств и протознаков — к релятивам и точным повторам, далее — к сочетаниям релятивов и повторов, затем — к релятивам и повторам, сопровождающимся аугментативными структурами, позднее — к аугментативным структурам (диктумным и модусным), а на последнем этапе — к неточным повторам, фразеологизированным формулам и клише.

Можно наметить следующую количественную динамику использования ребенком способов выражения согласия / несогласия. До трех лет в качестве ответной реплики преобладает релятив *да* (либо его невербальный протознак-аналог); на втором месте находятся различные повторы (в том числе сопровождаемые релятивом); на третьем — аугментативные структуры (в основном диктумной семантики) с релятивами и без них, а также крайне немногочисленные монологизированные ответы и встречные вопросы. Косвенные, а также монологизированные способы выражения данной семантики появляются в речи ребенка, как правило, после трех лет. На четвертом году жизни на фоне по-прежнему доминирующего релятива *да* второе место занимает релятив, сопровождаемый аугментативными структурами, а третье — примерно уравновешенные в количественном отношении сочетание релятива с аугментативными структурами и повторы. Позднее в речи ребенка частотные характеристики использования средств выражения согласия / несогласия существенно меняются. Становится значительно больше (в сравнении с повторами) аугментативных структур (не только диктумной, но и модусной семантики), увеличивается количество встречных вопросов, косвенных способов выражения согласия / несогласия и монологизированных ответов.

6. Репрезентация модуса в ответных репликах ребенка

6.1. Точка зрения говорящего: модус и авторство

Заключительный раздел настоящей главы посвятим анализу некоторых аспектов выражения т о ч к и з р е н и я говорящего (авторства[9]) в диалоге. В центре внимания в данном случае оказываются

[9]Применение понятия авторства к детской речи является, разумеется, условным, поскольку здесь следует говорить лишь об усвоении средств, сигнализиру-

средства выражения модуса, так как в языке они специально предназначены для реализации рассматриваемой функции. Обращение к этому вопросу обусловлено тем, что появление анализируемых языковых средств в диалоге возможно прежде всего в ответных репликах с семантикой согласия / несогласия в силу их модальной природы.

Применительно к становлению коммуникативной компетенции ребенка в диалоге со взрослым проблема модуса заслуживает особого внимания. При исследовании рассматриваемого аспекта коммуникативной компетенции мы опираемся на идею диктумно-модусного устройства семантической структуры высказывания [Балли 1955], а также на положения, высказанные Н. Д. Арутюновой [1970; 1998] в связи с исследованием модуса в диалогической речи взрослых.

Соотнесем понятия модуса и авторства, а также проанализируем систему средств выражения авторства (как в речи взрослых, так и в детской речи) с учетом особенностей полевого строения этой системы. Если содержанием м о д у с а принято считать языковое выражение переживаний и рефлексии говорящего, связанных с объективной действительностью и отражающих ситуацию ее познания (процессы восприятия, мышления, образования суждений, мнений, квалификаций и собственно речевую деятельность) [Гак 1978], то а в т о р с т в о понимается как одна из сторон модусной характеристики высказывания, лежащая в основе сообщения и содержащая указание на лицо (социум) как на автора / источник информации или на способ ее получения.[10] Например: — ***По нашему медицинскому рассуждению,*** — *говорит он* (фельдшер. — *В.К.*), — *ты скипидар и больше ничего* (А. Чехов); — ***По-вашему***, *если механик или чертежник, то уж непременно мужик и невежа. А это умнейшие люди!* (А. Чехов); *Бедными,* ***по моим тогдашним понятиям***, *могли быть только нищие и мужики* (Л. Толстой); *Оркестр не заиграл, и*

ющих авторство. Полноценное функционирование этих средств развивается на поздних этапах речевого онтогенеза.

[10] Авторство находит свое отражение в разных научных парадигмах, получая в них различное терминологическое обозначение: а в т о р и з а ц и я — в коммуникативной грамматике (Г. А. Золотова), с р е д с т в а о б н а р у ж е н и я к о м м у н и к а т и в н о й у с т а н о в к и — в работах по логическому анализу языка (Н. Д. Арутюнова, М. А. Дмитровская, Н. К. Рябцева, И. Б. Шатуновский, Анна А. Зализняк), м о д у с н а я р а м к а — в работах по семантике (Т. В. Шмелева, В. Г. Гак, Т. А. Колосова, М. И. Черемисина, Е. М. Вольф), с п о с о б ы п р е д с т а в л е н и я «о б р а з а а в т о р а» — в работах по структуре образа автора (В. В. Виноградов, Н. А. Кожевникова, Е. И. Иванчикова, С. Г. Ильенко), т о ч к а з р е н и я автора или героя — в структурной поэтике и семиотике текста (М. М. Бахтин, Б. А. Успенский, Ю. М. Лотман), с р е д с т в а р а з г р а н и ч е н и я и п о с т а с е й с у б ъ е к т а г о в о р я щ е г о — в теории нарратива (Е. В. Падучева, Ю. Д. Апресян). Разграничение наиболее близких понятий а в т о р с т в а и а в т о р и з а ц и и позволяет осмыслить а в т о р с т в о как свойство высказывания быть отмеченным печатью «автора-творца» (по М. М. Бахтину [1979а]), а а в т о р и з а ц и ю — как процесс осложнения модели, обнаружения авторства в высказывании.

даже не хватил, а именно, ***по омерзительному выражению кота****, урезал какой-то невероятный... марш* (М. Булгаков); — *Надеюсь, ты не станешь утверждать, что это вредные стихи? — Это замечательные стихи...* ***Я думаю, нет, я уверена,*** *что скоро их оценят и Сергею Есенину поставят памятник* (Б. Васильев), ср. также: У.: *Боржомчика хотите?* М.: *Нет* ***наверно*** [Китайгородская, Розанова 1995].[11] Любой говорящий является «автором» по отношению к собственному высказыванию. «Понятно, что не может быть речи без авторства, — отмечает Д. Н. Шмелев, — но проявление „авторства“ в различных случаях различно. Разговорная речь предполагает непосредственное участие обоих первых лиц, и говорящий и адресат здесь конкретны и индивидуальны, причем — что существенно — соотношение между ними устанавливается в самом акте речи» [Шмелев 1977: 57]. Д. Н. Шмелев особо подчеркивает, что «определенность 1-го и 2-го лица заключается не только в их непосредственном присутствии, но и в их непосредственной „индивидуальности“» [там же: 57–58]. Отнесенность содержания высказывания к сфере говорящего может быть грамматически обязательной (см. понятия предикативности и актуализационных категорий), однако при этом носители языка не всегда осознают эту отнесенность к сфере говорящего, и говорящий остается как бы за кадром. Чтобы говорящий мог (намеренно, подчеркнуто, нарочито) обнаружить себя в высказывании и тем самым «заявить» свое авторство (либо, наоборот, подчеркнуть чужое авторство), в языке существуют специальные лексико-грамматические показатели, которые мы и называем средствами выражения авторства. Учитывая модусную природу авторства, в качестве таких средств рассматриваем эксплицитные варианты модуса — модусные рамки. Типология модусных рамок определяется семантикой образующего их предиката, отражает этапы когнитивного процесса (по Н. Д. Арутюновой [1998], это перцептивные, ментальные, волитивные, эмотивные и речевые рамки) и позволяет представить внутреннюю организацию системы средств выражения авторства в связи с разными «образами» говорящего (см. также [Дешериева 1988: 13 и сл.]).

6.2. Система средств выражения авторства в речи взрослых

Система способов и средств выражения авторства в современном русском языке богата и может быть описана в терминах ядра и периферии, т.е. как полевая структура [Казаковская 1996]. Совокупность

[11] Иллюстрируя авторство, мы намеренно используем более широкий (нежели реплицирование в условиях канонического режима интерпретации языка) контекст функционирования данного явления, подчеркивая тем самым идею диалогичности любого высказывания (М. М. Бахтин) и делая акцент на том, что авторство «обслуживает» также область взаимодействия диалога и монолога.

модусных рамок и их редуцированных вариантов,[12] обнаруживающих точку зрения говорящего / другого лица, охватывает широкий круг языковых средств — от сложного предложения до модальных частиц.[13] Кроме названных конституентов, это поле включает вводные компоненты, квазиусловные конструкции, синтаксические дериваты модусных моделей и «модусно» осложненные простые предложения. Например: ***По-моему***, *для вас самое лучшее,* ***знаете ли***, *сейчас поехать ко мне* (А. Чехов); ***Все говорили, что*** *она очень подурнела в эти последние дни и была под венцом не так хороша, как обыкновенно; но* ***Левин не находил*** *этого* (Л. Толстой); А.: ***Вы*** *меня что?* ***За*** *круглого* ***идиота принимаете?*** Б.: ***Почему за идиота?*** (В. Розов).

К ядерным способам репрезентации авторства в речи взрослых относятся «рамочные» средства выражения исследуемой семантики. Это вводные конструкции, сложноподчиненные предложения нерасчлененной структуры с изъяснительно-объектными придаточными, частицы (*мол, де, дескать*). Вводно-авторские компоненты системно предназначены для осложнения предложения по линии авторства: они передают семантику авторства в форме, специально предусмотренной для экспликации модуса (обладают морфологизированной «внепредложенческой» техникой), полной личной парадигмой (обнаруживают все субъектные зоны в модусе) и в целом типичны для естественного диалога: А.: *А он не врет?* Б.: ***По-моему***, *нет* (РР). Вокруг данных конституентов группируются другие семантические разряды вводных компонентов — с семантикой авторства, осложненной различными модальными и эмоциональными оттенками, а также с неполной личной парадигмой (*конечно, кажется, возможно, видимо, к счастью* и др.).

Выражая согласие / несогласие в диалоге, интерпретируя факты, говорящий выступает как субъект знания или мнения. Результат его ментальной деятельности (подобно мнению других и, в частности, собеседника) может быть намеренно обнаружен. Однако обна-

[12] Тенденция модуса к редукции обусловливает существование системы структурно-семантических вариантов модусных рамок.

[13] Функциональные возможности модусов для выражения авторства существенно различаются. Так, ментальный модус — с выделяющимися внутри него сферами знания, мнения и оценки, памяти и т.п. — в наибольшей степени предназначен для выражения связи суждения (квалификации, номинации) с субъектом — его источником — и является доминирующим при выражении авторства (ср. перцептивный модус, характерной особенностью которого для русского языка является невыраженность воспринимающего лица). В силу этих причин основное внимание в работе уделяется сфере ментального модуса и результатам его взаимодействия с другими модусами. Тесная взаимосвязь ступеней процесса познания делает невозможным в некоторых случаях проведение четкой границы между модусами (в частности, между ментальным и речевым) и обусловливает проявление в этой области континуальности и частичных пересечений.

ружен не развернутой конструкцией (в некотором смысле нарушающей законы реплицирования в диалоге), а компактным элементом («меткой»). Таким маркером являются именно вводные компоненты. С одной стороны, это подкрепляется универсальной тенденцией к экономии языковых средств, а с другой — общей тенденцией модуса к имплицитности. Сокращение любого знака модуса обусловлено также тем, что объективный и субъективный типы информации, как правило, не могут быть равновеликими в рамках одного высказывания. В зависимости от интенций говорящего редукции (в том числе номинализации) подвергается либо один, либо другой пласт информации. Актуализируя авторизацию, говорящий подчеркивает значимость источника информации — или, напротив, акцентируя представляющуюся ему более важной объективную информацию, сворачивает модусную рамку. Особенно это характерно для ментального модуса в информативном регистре (в терминологии, используемой в работе [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004]).

Периферия анализируемой системы представлена способами выражения авторства, не сохраняющими границу (рамку) между модусом и диктумом или имеющими «затемненную» границу. Это квазиусловные конструкции и синтаксические дериваты модусных рамок: *Но мой добрый ротмистр не был сплетником, да и, сверх того, презирал всех женщин,* ***называя*** *их, Бог знает почему,* ***салатом*** (И. Тургенев). К периферии принадлежат также модусно осложненные простые предложения с единой структурой внутренних синтаксических связей. Такие конструкции являются результатом структурного взаимодействия двух моделей — авторизуемой и авторизующей: *Сад, цветущий и благоухающий за высоким забором под его окном, вдруг* ***показался ему почему-то странным***... (Ф. Сологуб). В последнем случае средством выражения авторства оказывается система субъектных синтаксем, включающая субъектно-локативные и субъектно-темпоративные их типы [Золотова 1988]: *А меж тем первоначальное ее образование было более чем скудно, ибо образование девиц* ***считалось тогда*** *ненужной роскошью* (И. Бунин). Система синтаксем взаимодействует с авторизующими глаголами-связками (компликаторами), обладающими различными типовыми связочными значениями [Лекант 2002].

6.3. Экспликация модуса в речи ребенка

Экспликация модуса всегда связана с определенными целями, всегда «умышленна». Проблема обнаружения целей экспликации модуса, выявления ипостасей его субъекта (и, соответственно, авторства) актуальна при исследовании не только «взрослой», но и детской речи, однако в уже более сложном ракурсе — с учетом особенностей

определенной «вре́менной» языковой системы ребенка.[14] Как известно, эксплицитный модус порождается диалогом (внутренним или явным). Модусная рамка в речи взрослых отражает взаимодействие диктума и модуса, диалогизирует монолог. Стремление личности к самопознанию, самооценке и самовыражению в психологии рассматривается как мотив вступления человека в коммуникацию. Тем не менее наблюдения показывают, что осознанный и эксплицированный модус в репликах ребенка до определенного возраста довольно редок, за исключением, пожалуй, просодических коррелятов эмотивного и волитивного типов.[15] Объяснение такого положения дел можно видеть в следующем.

Концепция «вербального эгоцентризма» отрицает осознание ребенком различия между собственной точкой зрения и точкой зрения другого. Это обусловлено спецификой детской языковой личности: отсутствием в сознании ребенка д р у г и х точек зрения, непротиворечивостью и целостностью его мировосприятия. Поэтому появление эксплицитной модусной рамки в речи ребенка можно рассматривать как свидетельство формирования нового плана отражения действительности и начала этапа интеллектуальной д е ц е н т р а ц и и: осознания своего *Я* и своей точки зрения, их координации через взаимодействие с другими (ср. *Я* и *Другой* в концепции Н. Д. Арутюновой [1998]). Такое толкование проблем, связанных с модусом в детской речи, согласуется с современными исследованиями в области когнитивной психологии, в частности, с теми из них, которые направлены на изучение становления модели п с и х и ч е с к о г о [Flavell 2000; Wellman, Lagatuta 2000; Baron-Cohen 2000; Сергиенко 2003; Сергиенко, Лебедева, Герасимова, Прусакова 2004]. Важно отметить, что большинство российских и зарубежных психологов не считают младенцев тотально эгоцентричными и отмечают очень раннюю организацию ментального опыта [Сергиенко 2002]. Отношения «кооперации» порождают у ребенка потребность приспособить свою позицию к окружающему миру; столкновение с чужим опытом приводит к возникновению сомнений и осознанию существования д р у г и х точек зрения [Пиаже 1932; Фрумкина 2001].

[14] Согласно концепции Л. С. Выготского, в процессе овладения языком в сознании ребенка последовательно формируются несколько — «вытекающих» одна из другой — языковых систем, полностью удовлетворяющих его коммуникативные потребности [Выготский 1956]. Следовательно, становится возможным исследование фактов детской речи в н у т р и и в н е этих систем — т.е. с позиций «взрослого» языка. Эти направления находятся в отношениях дополнительности.

[15] Известно, что младенцы способны использовать эмоции «в качестве основной коммуникативной операции вполне адекватно содержанию их общения с окружающими» [Лисина 2001: 367]; о волеизъявлении в детской речи см. [Черемисина 1997]. Просодические средства выражения модуса в данной работе не рассматриваются.

6.4. Становление системы средств выражения авторства (данные речевого онтогенеза)

Система средств выражения авторства, отражающая соответствующий уровень коммуникативной компетенции ребенка и функционирующая в первую очередь при выражении ребенком согласия / несогласия, формируется постепенно. На начальных этапах речевого онтогенеза происходит усвоение ядерных (изосемических) средств выражения авторства, однако в рамках ядра наблюдается определенное переразложение. Центр поля представлен редуцированными ментальными и эмотивными эгоцентрическими модусными рамками (*Я*–модусными рамками) в форме вводных компонентов.[16] Наиболее ранними из них являются вводно-модальные и вводно-контактные компоненты, используемые ребенком в фатической функции. Они появляются в репликах ребенка, как правило, на третьем году жизни [Казаковская 1997]: Р.: ***Видишь***, *машинка едет?* ***Слышишь***, *стучит?* (Аня С., 2.01); Р.: *Мама, красиво,* ***правда****?* (Аня С., 2.02); Р.: *Мам, кто ел конфетку?* ***Наверное***, *Анька* (Аня С., 2.03); Р. (приехавшей маме): *Ты,* ***конечно***, *привезла мне что-нибудь интересненького?* (Варя П., 2.08).

Анализ этих показателей свидетельствует о том, что они обычно начинают активно развиваться после исчезновения эгоцентрической речи. Это обстоятельство принято трактовать как переход ребенка к объективной оценке вещей. Вместе с тем это означает и тот факт, что ребенок осознает и способен выражать принадлежность различного рода умозаключений (мнений, квалификаций, оценок, номинаций) себе или — позднее — кому-нибудь другому:[17] В.: ***Может***, *понравится?* (О еде, которую отказывается есть ребенок. — *В.К.*) Р.: ***Навряд ли. Очень сомневаюсь*** (Алеша К., 8.06). Особенно интересны ранние проявления речевого модуса, обнаруживающие элементы метаязыковой деятельности ребенка: В.: *Наташа, <...> кто тебя привел* (в детский сад. — *В.К.*)*?* Р.: ***Можно сказать***, *что папа. Да,* ***скажем***, *папа привел.* В.: *Почему «можно сказать»?* Р.: *Папа меня до забора довел и вот так помахал* (показывает) (Наташа Н., 3.06); В.: *И что же вы делали-то, преступники?* Р.: *А что? Врывались в кабинеты,* ***я вам говорила*** (Саша Н., 5.06).

[16] В этой связи особого внимания заслуживают отмеченные А. Н. Гвоздевым случаи интонационной немаркированности в речи ребенка вводных компонентов. Сравнивая это замечание с традиционной интонационной характеристикой вводных конструкций, можно предположить, что выделение названных конструкций паузами и опущением тона, как отметил А. Н. Гвоздев [1961], отнюдь не является для детской речи закономерным и обязательным явлением. См. также замечание об интонационной неотмеченности вводных слов в разговорной речи, сделанное О. Б. Сиротининой [1974: 128].

[17] Это обстоятельство дает нам основания говорить о роли «чужого опыта» и «чужого слова» в детской речи.

Не останавливаясь подробно на функционировании в диалоге «взрослый — ребенок» традиционно исследуемых и описываемых в литературе маркеров категорической и проблематической достоверности с целью выражения их основной семантики,[18] выскажем некоторые замечания, касающиеся усвоения неосновных функций этих модусных средств. (В данном случае речь идет об авторстве вводно-модальных оценок.[19])

До определенного времени в речи детей преобладают маркеры проблематической достоверности: Р.: *Дождь-то вчера не пошел.* ***Верно***, *он раздумал вчера* (Женя Г., 4.00). На фоне их использования в ситуации предположения эти маркеры могут употребляться ребенком при моделировании ситуации припоминания: Р. (раздумывая): *Я,* ***кажется***, *говорил* (Женя Г., 3.10).

Следующей ситуацией, в которой ребенок может использовать рассматриваемые маркеры, является ситуация логического вывода, обнаружение причинно-следственных связей: Р.: *Белый одуванчик,* ***наверное***, *очень горячий: потому что бабуля на него дует* (Алеша Д., 2.06) — и экспликация отношений мотивации: Р.: *Листва упала, а яблоко осталось.* ***Видно***, *у него вешалка крепкая была...* (Алеша Е., 6.05).

Весьма типичными являются ситуации построения гипотезы, отражающие развитие гипотетического мышления ребенка: Р. (строит из кубиков дачу, сарай, потом сарай ломает): *Это,* ***наверно***, *Москва будет, без сарая* (Варя П., 2.09); Р.: *У папы будет,* ***наверно****: он меня целовал* (о насморке. — *В.К.*) (Женя Г., 6.06).

Любопытны ситуации выражения ребенком иронии, которая отнюдь не является изосемической для данного средства выражения модальных оценок: Р. ждет в гости свою приятельницу и спрашивает у мамы, почему ее еще нет. В.: *Она пироги делает.* Р.: *Это ее мама,* ***может***, *делает. А Лена-то сама разве может?* (Женя Г., 3.10).

[18] См., например, работы [Гвоздев 1961; Coates 1988; Столярова 1992; Вимер 1992; Stephany 1993; Шахнарович, Арама 1997; Седов 1998; Овчинникова, Угланова, Краузе 1999; Bascelli, Barbieri 2002; Краузе 2004]. Пристальное внимание исследователей к усвоению ребенком модальных отношений объясняется отчасти и тем фактом, что даже самые яростные сторонники нативизма в онтолингвистике не относят модальность к «врожденным» категориям [Pinker 1984]. Модальная семантика и средства ее языкового выражения усваиваются детьми постепенно и индивидуально [Tomasello 2003: 224]. Маркеры эпистемической модальности и в филогенезе, и в онтогенезе появляются после маркеров деонтической модальности [Kuczaj, Maratsos 1975; Fleischman 1982; Traugott 1989; Sweetser 1990; Bassano 1996].

[19] Поскольку каждому режиму интерпретации языка присуща собственная стратегия «прочтения» его дейктических и эгоцентрических элементов (*Я*–модусных рамок), авторство модальных оценок в канонической (речевой) ситуации конвенционально приписывается говорящему. В нарративе модусные рамки являются знаком диалогичности (и полифоничности) высказывания и текста и обнаруживают взаимодействие точек зрения автора, героев и рассказчика.

Зафиксированные случаи употребления маркеров данной семантики в ситуациях непосредственного восприятия явления, о котором ребенок располагает необходимым минимумом предварительных знаний, обнаруживают внутреннюю точку зрения автора-ребенка. Например: В.: *На велосипеде поедешь кататься?* Р.: ***Кажется***, *мокрый* (накануне прошел дождь. — *В.К.*) (Сережа К., 5.00). В данном примере *Я*-модусная рамка *кажется* является «генетически» перцептивной. Аналогичными являются, на наш взгляд, и ситуации перцептивного наблюдения: Р.: *С мое,* ***наверно*** (о принесенном яблоке. — *В.К.*) (Женя Г., 4.02).

Операторы категорической достоверности менее разнообразны, однако довольно частотны в диалоге «взрослый — ребенок». При этом сложно провести четкую границу между употреблением этих маркеров ребенком при номинативных затруднениях, авторефлексии (в случае оценки собственных действий или квалификации собственных ощущений), с одной стороны, и их употреблением в качестве заполнителя паузы, с другой. См., например: В.: *А кто это — Кешка?* Р.: *Собака. Она беленькая,* ?***конечно***, *но добрая* (Катя Б., 4.09) (некорректность возможна также и ввиду неусвоенности семантики противительного союза); В.: *А Алена, два года,* ***разве ж*** *она была моряк?* Р.: ***Конечно***, *она девочка,* ***только*** *...* ***видно***, *у нее папа был капитан* (Нюша Л., 4.03). Не случайно А. Н. Гвоздев обращал особое внимание на факт правильного (осознанного) употребления ребенком подобных языковых единиц [Гвоздев 1961; 1981].

Модусные рамки могут использоваться ребенком также для подчеркивания (усиления) основных модальных значений — при употреблении «в унисон» с ними, т.е. при модальном согласовании: Р.: *Этот,* ***конечно***, *нельзя брать, и этот ластик папин от резинки нельзя брать. А это цветные,* ***конечно***, *можно брать* (о карандашах. — *В.К.*) (Варя П., 2.01); Р.: *Я пойду посмотрю, не пришел ли к Кате серый волк. Он может Катю съесть. Это,* ***конечно***, *шутка. Можете смеяться* (Миша Т., 3.11). С их помощью ребенок может акцентировать сему общеизвестности и «отводить» потенциальные сомнения собеседника: В.: *А у тебя сейчас нет дырявых носков?* Р.: ***Конечно***, *нет* (Нюша Л., 4.03); В.: *А ты кукол меряешь* (сантиметром. — *В.К.*)*?* Р.: ***Конечно***, *нет. Я им обвязываю кукол* (Нюша Л., 4.03).

В сфере рассматриваемых явлений оказывается и такой вариант ментальной *Я*-модусной рамки, как персуазивные частицы (модификаторы эпистемической модальности).[20] Несмотря на выполнение семантических функций, близких к функциям ядерных средств выражения авторства, они отличаются от последних более низкой степе-

[20]Использование частиц, указывающих на чужую речь, ребенку до определенного времени не свойственно.

нью осознанности и корректности употребления ребенком: Р.: ***Вряд ли*** *нет на участке грибов,* ***вряд ли*** (Варя П., 2.10) (ср.: *Вряд ли на участке есть грибы*).

Таким образом, при выражении ребенком согласия / несогласия в диалоге со взрослым происходит усвоение не только основных функций вводно-модальных модусных рамок, связанных с реализацией эпистемической семантики, но и неосновных функций этих маркеров. Эти функции связаны с актуализацией фигуры говорящего при полной / частичной нейтрализации основного значения или же при его осложнении добавочными оттенками прагматического характера. Важно, что столь тонкая дифференциация свойственна ребенку практически с момента появления показателей модуса в его речи вообще. Когнитивные способности ребенка делают возможным раннее усвоение функций модальных маркеров не только в русском, но и в других языках, изученных в данном отношении, — естественно, при учете частотности их использования в инпуте и типологических особенностей соответствующего языка [Aksu-Koç, Slobin 1986; Choi 1991; Stephany 1993]. Весьма разнообразный репертуар модальных оценок в репликах ребенка накапливается, как правило, к пяти–шести годам; в это же время, по данным экспериментальных исследований, ребенок способен определять разницу между модальными высказываниями (различную степень силы модальных высказываний) [Hirts, Weil 1982].

К числу наиболее ранних средств выражения модуса, используемых ребенком, относятся также вводно-контактные компоненты. Они объединяют фатические и метатекстовые операторы. Основной функцией фатических операторов является привлечение внимания собеседника и поддержание контакта: Р.: ***Знаешь***, *есть такая рыбка — лосось? Он растет, растет, но он же не знает, что он растет, и откладывает икру* (Варя П., 2.07); Р.: ***Помнишь***, *я тебе рассказывала про такую страну — Иранду?* (Варя П., 2.11); Р. (показывает зайцу картинки в книжке): *А вот...* ***видишь***, *ребенок?* ***Видишь****? Дятел.* ***Видишь***, *дятел на елочке сидит? На дереве... сидит. Это же де́рево. Нет, это елка* (Надя Ж., 3.04) (последний пример интересен также тем, что в нем обнаруживаются отношения согласия / несогласия с только что высказанным собственным умозаключением). В диалоге эти реплики могут использоваться ребенком в качестве «иллокутивного самовынуждения» (термин из [Баранов, Крейдлин 1992]). Владение этим приемом составляет определенное коммуникативное умение ребенка.

Метасредства модуса появляются в репликах ребенка значительно позже. Это, по сути, первые попытки оценить собственную манеру речи: Р.: *А листья грустят, потому что они падают, и после того как они красные, желтые, коричневые... оранжевые,* ***я хотел***

сказать... *теряют свою окраску... они серые. А так они очень красивые* (Алеша Е., 6.08); Р.: *А король Ирод такой плохой, злой, нечеловечный* ***даже***, ***можно сказать*** (Алеша Е., 6.09). Наши материалы фиксируют случаи модально-экспрессивной квалификации стиля высказывания: Р.: *Все-все было хорошо в Пасинье. Лето* <...> *было необыкновенно засушливым. Необыкновенно много грибов было там. Мы целый матрас набрали,****что могу сказать, по правде*** (Саша Н., 5.06).

Собственно вводно-авторские операторы представляют в диалогических репликах ребенка несколько типов ситуаций. Так, наиболее частотная ментальная *Я*-модусная рамка *по-моему* способна выражать внутримодусное взаимодействие сфер — собственно-авторской семантики и семантики недостоверности (оттенок неуверенности): Р. (глядя в окно): ***По-моему***, *завтра будет солнце. Я не сомневаюсь* (Алеша К., 8.03); Р.: ***По-моему***, *все* (пора вставать с горшка. — *В.К.*) (Варя П., 1.09). В последнем примере рамка акцентирует семы субъективности мнения и проблематичности соответствия высказывания действительности. Уже ранние случаи использования рассматриваемой модусной рамки могут отражать желание ребенка выделить себя в качестве субъекта сознания, а свое мнение — в ряду других, причем в некоторых случаях «в противовес собеседнику»: В.: *По-моему, это шар.* Р.: ***По-моему***, *мяч* (Варя П., 1.08). С помощью данного средства ребенок может также выражать семантику «автор как критерий оценки», свидетельствующую об особом подходе к восприятию действительности, которым он руководствуется при высказывании своего мнения: Р.: *От какого зверя у куклы волосы?* В.: *А по-твоему, от какого?* Р.: ***По-моему***, *от лошадиного хвоста.* В.: *Ну да* (Женя Г., 5.08).

Особенность функционирования ментальных модусных рамок в речи взрослых состоит в том, что они соединяются только с предложениями логико-информативного типа. В ситуации естественного диалога говорящий обычно указывает на принадлежность к определенной ментальной сфере элемента знания или мнения (т.е. информации), но не констатации непосредственно наблюдаемого. Однако в речи ребенка эти модусные рамки чаще используются как «перцептивные»: Р.: ***Кажется***, *сиденье мокрое* (о велосипеде, стоявшем накануне под дождем. — *В.К.*) (Сережа К., 5.00). Это является характерной чертой их усвоения в процессе становления коммуникативной компетенции.

Кратко остановимся на других средствах системы обнаружения точки зрения и, соответственно, репрезентации модуса — ее ближайшей и дальней периферии. Сферой функционирования речевых и ментальных *Я*– и *Он*–модусных рамок, полностью эксплицированных конструкциями сложноподчиненных предложений (см. 6.2), яв-

ляются, в первую очередь, детские тексты (монологи, пересказы) и в том числе наиболее значимые для нас монологизированные диалоги. В так называемых монологизированных диалогах (жанр интервью) ответные реплики ребенка плавно переходят в монолог и могут провоцироваться обоими типами вопросов взрослого — частным и общим. Например: В.: ***Где ты отдыхала летом?*** Р.: *В Псковской области. Когда я приехала в Пасинью, мы первым делом встретились с девочками — Машей и Надей. Когда мы приех... Ну, в общем, когда мы приехали с Кирюшей, мы первым делом н...чали смотреть у...часток. Участок там был здоровенный. И все это время целую неделю мы прожили с девочками в Пасинье, и, пока... это было, я успела познакомиться с многими животными, особенно с кошками и собаками, которых я очень люб...ила там. Это были коровы, телки, собаки, козы, кошки, куры — ну, в общем... скот разный. Там ш-ш-ш я... мы купались, в речках отражался закат. Все время... Мы играли там с девочками. Девочки, Маша и Надя, были очень общительные и всегда любили поиграть. Там была больша-ая бочка... на которой мы залезали и играли там, на ней. Все-все было хорошо в Пасинье. Лето... лето было там не...обыкновенно засушливым. Необыкновенно много грибов было там. Мы целый матрас набрали, что могу сказать, по правде. Через некоторое время, ну, в общем, через три дня, начали приходить старушки и спрашивать: «Это... у вас живет девочка Саша? Така-ая девочка! Така-ая девочка! У нас такой еще не бывало». Так интересно было. Да. Так интересно было там. Мне очень нравилось* (Саша Н., 5.06).

Ср.: В.: ***И ты сама собирала*** (о клюкве. — *В.К.*)***?*** Р.: *Это мы собирали. Потом... мы там кра-асим, все раскра-ашиваем. Там у нас календари... висят. Там у нас даже *игрушная плита. Мы ее так поворачиваем: чи-чи-чи. А в плиту... достаем воды... кипяченой... Плита у нас вымыта. Ну, в общем... все вымыто. Чисто-начисто. Дом у нас прямо там блестит. От сияния чистоты. И кстати, фа... посуда там настоящая, не железная, а фарфоровая. Мы ф... в этой фарфоровой посуде... у нас суп — из хвои. Хвою можно есть. И вот мы эту хвою... едим. У нас там чистые тарелочки, мы эти... из этих тарелочек по-настоящему едим. И до позднего вечера играем там. И все время мы в преступники. Или бандиты. Ну, мы все время так играем. Ну, один раз, мне просто не хотелось говорить, что... пропала скульптура, которую мы украли...* (Саша Н., 5.06).

Способность продуцировать подобные ответы появляется у ребенка обычно после пяти лет. Наиболее частотны в таких репликах речевые модусные рамки (типичной формой их репрезентации является сложноподчиненное предложение), которые дифференцируются с точки зрения функционально-семантического статуса союзных

средств, интенсиональных предикатов и вводимых ими пропозиций. Позднее появление модусных рамок с союзами обусловлено в целом более поздним усвоением самих союзных средств: Р.: ***Я потрясаюсь, как*** *вы умны!* (Миша Т., 7.04). Названные типы рамок характерны для выражения эмотивных и волитивных модусных смыслов: Р.: ***Нам надо, чтобы*** **поезды ехали* (Варя П., 3.06); Р.: *Аня, а Галич умер?* В.: *Да.* Р.: ***Жаль***, *он, наверное, был очень хороший человек* (Миша Т., 5.01). Эти средства относятся к ближайшей периферии рассматриваемого поля.

Средства обнаружения точки зрения, принадлежащие к дальней периферии (см. 6.2), до определенного возраста нечастотны и в диалоге «взрослый — ребенок». В нашем корпусе данных отмечены отдельные ситуации использования ребенком «нерамочных» модусных структур, выявляющих взаимодействие авторизующих предикатов и синтаксем. В последнем случае наиболее интересным представляется функционирование неизосемической субъектной синтаксемы так называемого дательного этического (на материале примеров речи вхрослых, см. в частности [Клобуков 1987; 1988]). До определенного возраста в речи ребенка практически полностью отсутствуют авторизующие модусные рамки — вставки, квазиусловные конструкции и средства дополнительной предикации.

Таким образом, учет и анализ модусных средств, способствующих обнаружению точки зрения ребенка в его ответных репликах и интерпретированных в данной работе как средства выражения авторства, предоставляет более широкие возможности для адекватного рассмотрения системы средств выражения согласия / несогласия в диалоге.

7. Заключение

Подведем итоги.

1. Становление системы структурно-семантических вариантов выражения согласия / несогласия в речевом онтогенезе осуществляется в процессе диалогического взаимодействия ребенка со взрослым при использовании вопросо-ответных диалогических единств с инициативной репликой — общим вопросом. Первые общие вопросы взрослого направлены на совершенствование компонентов системно-языковой компетенции ребенка. Поскольку собственно диалогическая компетенция ребенка на ранних этапах онтогенеза предельно мала, существенной является и метакоммуникативная (поддерживающая диалог) направленность общих вопросов взрослого. В метаязыковой и метакоммуникативной функциях общих вопросов взрослого проявляется его интуитивная установка на обучение ребенка языку.

2. Одним из доказательств принадлежности определенного средства выражения семантики согласия / несогласия к центру или пери-

ферии поля является очередность появления данного средства в онтогенезе речевой деятельности. Освоению ребенком узуальных вербальных средств выражения семантики согласия / несогласия предшествует функционирование невербальных знаков, а также протознаков и специфически «детских» способов выражения этой семантики. Собственно освоение ребенком семантики согласия / несогласия в ее языковой интерпретации начинается с центрального фрагмента системы и прямых способов экспликации полного согласия (в самых простых для когнитивного и собственно речевого развития ситуациях). Положительные (утвердительные) ответы ребенка, как правило, прогнозируемы, допустимы и предпочтительны. На этом этапе онтогенеза обязательна связь между формой задаваемого взрослым вопроса и предполагаемого ответа.

3. Анализ данных речевого онтогенеза показывает, что к центру рассматриваемого поля относятся релятивы *да* и *нет*, точные повторы и их сочетания (т.е. прямые способы выражения согласия / несогласия); к ближайшей (переходной между центром и периферией) зоне — релятивы-модусные рамки (ментальные и эмотивные); к ближней периферии — неточный и двойной виды повтора и фразеологизированные конструкции; к дальней — такие конституенты поля, в которых согласие и несогласие представлены одновременно.

4. Косвенные способы выражения согласия / несогласия, репрезентирующие периферию анализируемого поля, появляются в речи ребенка одновременно с активно функционирующими в это время прямыми способами. В этом заключается одна из особенностей усвоения ребенком языковых средств выражения согласия / несогласия. Спорадическое продуцирование аугментативных структур диктумной и модусной семантики доступно ребенку уже на третьем году жизни.

5. Модальная природа семантической категории согласия / несогласия — обнаружение позиции говорящего — обусловливает появление в рамках реплики модусных средств, репрезентирующих точку зрения ребенка, его отношение к действительности и ее оценку.

ЛИТЕРАТУРА

Абдуллаева М. Н. Категория числа в таджикском и русском языках (именные части речи): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Душанбе, 1971.

Адамец П. Порядок слов в современном русском языке. Praha, 1966.

Адмони В. Г. О многоаспектно-доминантном подходе к грамматическому строю // Вопросы языкознания. 1961. № 2.

Адмони В. Г. Основы теории грамматики. М.; Л., 1964.

Адмони В. Г. Синтаксис современного немецкого языка: Система отношений и система построения. Л., 1973.

Адмони В. Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. Л., 1988.

Адмони В. Г. Система форм речевого высказывания. СПб., 1994.

Адмони В. Г. Типология предложения // Исследования по общей теории грамматики. М., 1968.

Акаткин В. М. «Мне на плечи кидается век-волкодав...» (Поэт и время в лирике Мандельштама) // Воронежский край и зарубежье: Платонов, Бунин, Замятин, Мандельштам в культуре XX века. Воронеж, 1992.

Акимова Т. Г., Козинцева Н. А. Аспектуально-таксисные ситуации без элементов семантики обусловленности // Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.

Акимова Т. Г., Козинцева Н. А. Значение качественной характеризации в конструкциях с глагольными предикатами // Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. Компаративность. СПб., 1996.

Акишина А. А., Формановская Н. И. Русский речевой этикет. М., 1978.

Аксаков К. С. Сочинения филологические. Ч. II. М., 1880 (Собр. соч.: В 3 т. Т. III).

Акуленко В. В. Лексические средства выражения интенсивности качественного признака в современном русском языке (на материале имен прилагательных): Дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1987.

Анисимова Н. П. К интерпретации теории прототипов Э. Рош во Франции // Психолингвистические исследования слова и текста. Тверь, 1997.

Анисимова Р. В. Отражение категории времени как одного из элементов картины мира // Сб. науч. трудов Московского пед. ин-та ин. яз. Вып. 341. М., 1989.

Антонов И. К. Поэтика названия и временные мотивы книги Мандельштама «Шум времени» // Инновационные проблемы филологической науки и образования. Уфа, 1999.

Апресян Ю. Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967.

Апресян Ю. Д. Значение и употребление // Вопросы языкознания. 2001. № 4.

Арутюнова Н. Д. Некоторые типы диалогических реакций и «почему»-реплики в русском языке // Науч. доклады высшей школы. Филологические науки. 1970. № 3.

Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1998; 2-е. изд. М., 1999.

Аспекты речевой конфликтологии: Сб. статей. СПб., 1996.

Афифи С. Н., Саенкова Н. А. О союзах «пока» и «пока не» в сложноподчиненном предложении и способы их перевода на арабский язык // Современный русский язык: Актуальные вопросы лексики и грамматики. М., 1975.

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969.

Бабайцева В. В. Явления переходности в грамматике русского языка. М., 2000.

Бабенко Л. Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке. Свердловск, 1989.

Баженов М. Н. Анна Ахматова — Осип Мандельштам. Биобиблиография // Советская библиография. 1991. № 2.

Базжина Т. В., Громова О. Е. Детские монологи: провокация экспериментатора или реальная языковая практика? // Детская речь как предмет лингвистического исследования: Материалы междунар. науч. конф. СПб., 2004.

Бакаев Ч. Х. Говор курдов Туркмении. М., 1962.

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.

Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961.

Баранов А. Н., Кобозева И. М. Семантика общих вопросов в русском языке (категория установки) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1983. Т. 42, № 3.

Баранов А. Н., Крейдлин Г. Е. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога // Вопросы языкознания. 1992. № 2.

Баранов А. Н., Плунгян В. А., Рахилина Е. В. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. М., 1993.

Барбачаков А. С. Потенциальная парадигма В. А. Жуковского и идейно-образный мир «Стихов о Прекрасной Даме» А. Блока // Проблемы метода и жанра. Воронеж, 1993.

Барентсен А. А. 'Вид' и 'Время' в предложениях, содержащих слово *пока* // Dutch Contributions to the Seventh International Congress of Slavists. Hague; Paris, 1973.

Барентсен А. А. Наблюдения над функционированием союза *пока* // Dutch Contributions to the Eight International Congress of Slavists. Lisse, 1979.

Барентсен А. А. Об особенностях употребления союза *пока* при глаголах ожидания. Studies in Slavic and General Linguistics 1. Amsterdam; Rodopi, 1980.

Барентсен А., Пупынин Ю. О союзах предшествования в русском и английском языках // Semantyka a konfrontacija językowa, 2. Warszawa, 1999.

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979а.

Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979б.

Бегун Б. Я., Волощук Е. В. Образ времени в стихотворении О. Мандельштама «Сестры — тяжесть и нежность...» // Начало. Вып. 2. М., 1993.

Белецкая О. Д. Когнитивно-коммуникативная интерпретация вопросно-ответных единств: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 1999.

Белнап Н., Стил Т. Логика вопросов и ответов. М., 1981.

Беловольская Л. А. Категория недискретного количества и ее грамматический статус. Таганрог, 1999.

Белошапкова В. А. Современный русский язык. М., 1989.

Белошапкова В. А. Современный русский язык. Синтаксис. М., 1977.

Белошапкова В. А., Шмелева Т. В. В. В. Виноградов и современный синтаксис // Междунар. юбилейная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения акад. В. В. Виноградова: Тезисы докладов. М., 1995.

Бельская Е. В. Интенсивность как категория лексикологии (На материале говоров Среднего Приобья): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2001.

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.

Бергельсон М. Б., Кибрик А. Е. Прагматический «принцип Приоритета» и его отражение в грамматике языка // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. 1981. Т. 40, № 4.

Березин И. Н. Грамматика персидского языка. Казань, 1853.

Беренштейн Е. П. Человек и время в художественном миропонимании О. Э. Мандельштама // Человек и культурно-историческая традиция. Тверь, 1991.

Беркович М. Система временных отношений в лирике О. Мандельштама // Гуманитарные науки. Ташкент, 1989.

Бирюлин Л. А. Диатезы русских глаголов, обозначающих атмосферные явления. Л., 1984.

Бирюлин Л. А. Семантика и синтаксис русского имперсонала: Verba meteorologica и их диатезы. Хельсинки, 1994.

Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. 2. М., 1963.

Бодуэн де Куртенэ И. А.: ученый, учитель, личность. Доклады научно-практической конф. «Лингвистическое наследие И. А. Бодуэна де Куртенэ на исходе XX столетия». Красноярск, 2000.

Бойко А. А. Предикативные инфинитивные сочетания в современном русском языке: Словарь-справочник. СПб., 1998.

Болдырев Н. Н. Инварианты и прототипы в системной и функциональной категоризации английского глагола // Проблемы функциональной грамматики: Семантическая инвариантность / вариативность. СПб., 2003.

Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика. Тамбов, 2000.

Большой толковый словарь русского языка. СПб., 1998.

Бондарко А. В. Вид и время русского глагола. М., 1971а.

Бондарко А. В. Грамматическая категория и контекст. Л., 1971б.

Бондарко А. В. К теории поля в грамматике — залог и залоговость // Вопросы языкознания. 1972. № 3.

Бондарко А. В. Теория морфологических категорий. Л., 1976.

Бондарко А. В. Грамматическое значение и смысл. Л., 1978.

Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983. (2-е изд. М., 2001а; 3-е изд. М., 2003а.)

Бондарко А. В. Функциональная грамматика. Л., 1984.

Бондарко А. В. Аспектуальность // Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987а.

Бондарко А. В. Введение. Основания функциональной грамматики // Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987б.

Бондарко А. В. Общая характеристика семантики и структуры поля таксиса // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987в.

Бондарко А. В. Модальность. Вступительные замечания // Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Л., 1990.

Бондарко А. В. Носитель предикативного признака (На материале русского языка) // Вопросы языкознания. 1991а. № 5.

Бондарко А. В. Общая характеристика семантической категории и поля персональности // Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. СПб., 1991б.

Бондарко А. В. Субъектно-предикатно-объектные ситуации // Теория функциональной грамматики. Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность / неопределенность. СПб., 1992.

Бондарко А. В. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. СПб., 1996.

Бондарко А. В. Основы функциональной грамматики: Языковая интерпретация идеи времени. СПб., 1999. (2-е изд. — СПб., 2001б.)

Бондарко А. В. Системные и коммуникативные аспекты анализа грамматических единств // Проблемы функциональной грамматики: Категории морфологии и синтаксиса. СПб., 2000.

Бондарко А. В. Инварианты и прототипы в сфере грамматической семантики (на материале текстов А. С. Пушкина) // A. S. Puškin und die kulturelle Identität Rußlands. Trir, 2001в.

Бондарко А. В. К вопросу о системе анализа аспектов языка и речи в функциональной грамматике // Традиционное и новое в русской грамматике. Сб. памяти В. А. Белошапковой. М., 2001г.

Бондарко А. В. К истолкованию понятия модальности // Язык. Литература. Эпос. СПб., 2001д.

Бондарко А. В. К истолкованию семантики модальности // Язык, литература, эпос (к 100-летию со дня рождения академика В. М. Жирмунского). СПб., 2001е.

Бондарко А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка. М., 2002.

Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии: 3-е изд. — М., 2003а.

Бондарко А. В. Инварианты и прототипы в системе функциональной грамматики // Проблемы функциональной грамматики: Семантическая инвариантность / вариативность. СПб., 2003б.

Борисова И. Н. Русский разговорный диалог: структура и динамика. Екатеринбург, 2001.

Бровеев О. Г. Вопросно-ответные диалогические единства с репликами подтверждения и отрицания в современном немецком языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Калинин, 1979.

Булыгина Т. В. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982.

Бюлер К. Теория языка. М., 1993.

Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. М., 2001.

Валимова Г. В. Об основных типах ответных предложений диалогической речи // Учен. зап. Ростовского-на-Дону пед. ин-та. Юбилейный сборник. Ростов-на-Дону, 1955.

Валимова Г. В. К вопросу о коммуникативных единицах // Вопросы синтаксиса русского языка. Ростов-на-Дону, 1971.

Ванников Ю. В. Синтаксис речи и синтаксические особенности русской речи. М., 1979.

Вахтель Н. М., Голицына Т. Н. Предложение, высказывание, речевой акт // Традиционное и новое в русской грамматике. Сб. памяти В. А. Белошапковой. М., 2001.

Вежбицкая А. Сравнение — градация — метафора // Теория метафоры. М., 1990.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1997.

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001.

Вейлерт А. А. К употребительности футурума I в немецком языке // Вопросы строя немецкой речи. Вып. 5. Владимир, 1976.

Величковский Б. М. Современная когнитивная психология. М., 1982.

Викторова Е. Ю., Петрова Н. Г. Формулы выражения согласия / несогласия в английской разговорной речи и в художественном диалоге // Романо-германская филология. Вып. 2. Саратов, 2002.

Вимер Б. Овладение модальными значениями в онтогенезе (на материале русского и английского языков) // Детская речь: Лингвистический аспект: Межвуз. сб. науч. трудов. СПб., 1992.

Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М.; Л., 1947. (2-е изд. М., 1972.)

Виноградов В. В. Введение // Грамматика русского языка. Т. II. Синтаксис. Ч. 1. М., 1954.

Виноградов В. В. Избранные труды: Поэтика русской литературы. М., 1976.

Винокур Г. О. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. М., 1990.

Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI: Лингвистическая прагматика. М., 1985.

Воейкова М. Д. К анализу бытийности: высказывания о существовании субстанции в ограниченной сфере (на материале рус. яз.) // Лингвистические исследования. М., 1986.

Воейкова М. Д. О разграничении двух типов квалитативных ситуаций (на материале рус. яз.) // Лингвистические исследования: Языковые единицы и методы их исследования. Л., 1988а.

Воейкова М. Д. Семантическая вариативность глагольных бытийных конструкций в современном русском языке: Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1988б.

Воейкова М. Д. Бытийность // Теория функциональной грамматики: Локативность. Обусловленность. Бытийность. СПб., 1996.

Воейкова М. Д. Вариативность морфологических характеристик предиката в вопросо-ответных единствах (на материале русского языка) // Проблемы функциональной грамматики: Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб., 2000а.

Воейкова М. Д. Неакциональные предикаты существования и проблема грамматической избирательности в современном русском литературном языке // Aspect and aspectuality, tense and temporality: Essays in honour of Alexander V. Bondarko on the occasion of his 70th birthday. München, 2000б.

Воейкова М. Д. Понятие дисфункции и усвоение русского языка детьми и иностранцами // Исследования по славянским языкам. Корейская ассоциация славистов. Вып. 6. Сеул, 2001.

Воейкова М. Д. Типы и разновидности квалитативных отношений на ранних этапах речевого развития ребенка (анализ речи взрослого, обращенной к ребенку) // Проблемы функциональной грамматики: Семантическая инвариантность / вариативность. СПб., 2003.

Воейкова М. Д. Квалитативные семантические комплексы и их выражение в современном русском литературном языке и в детской речи: Дис. ... в виде науч. докл. СПб., 2004.

Воейкова М. Д., Пупынин Ю. А. Предикативная качественность // Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. Компаративность. СПб., 1996.

Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. М., 2002.

Воробьева Л. В. Средства выражения интенсивности признака, обозначенного именем прилагательным, в современном французском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1958.

Воротников Ю. Л. Категория меры признака в смысловом строе русского языка: Дис. ... д-ра филол. наук. М., 1999.

Всеволодова М. В., Го Шуфень. Классы моделей русского простого предложения и их типовых значений: Модели русского предложения со статальными предикатами и их речевые реализации (в зеркале китайского языка). М., 1999.

Выготский Л. С. Мышление и речь // Избранные психологические исследования. М., 1956.

Гаврилова Г. Ф. Категория интенсивности и способы ее выражения в сложноподчиненном предложении // Единицы языка в коммуникативном аспекте. Ростов-на-Дону, 1993.

Гаврилова Т. О. Регистр общения с детьми: структурный и социолингвистический аспекты (на материале русского языка): Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2002.

Гагарина Н. В. Возникновение глагольных форм в речи ребенка // Речь ребенка: Ранние этапы. Труды постоянно действующего семинара по онтолингвистике. Вып. 1. СПб., 2000.

Гак В. Г. О категориях модуса предложения // Предложение и текст в семантическом аспекте: Межвуз. тематический сборник. Калинин, 1978.

Гак В. Г. Языковые преобразования. М., 1998.

Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. М., 2000.

Галактионова И. В. Средства выражения согласия // Идеографические аспекты русской грамматики. М., 1988.

Галкина-Федорук Е. М. Безличные предложения в современном русском языке. М., 1958.

Гаспаров Б. М. Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996.

Гастева Н. Н. Диалогические единства с побудительной исходной репликой // Актуальные проблемы лексикологии и стилистики. Саратов, 1993.

Гастева Н. Н. Роль прагматических факторов в формировании структуры диалогического единства // Активные процессы в языке и речи. Саратов, 1991.

Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. М., 1961.

Гвоздев А. Н. От первых слов до первого класса: Дневник научных наблюдений. Саратов, 1981.

Гегель Г. В. Ф. Наука логики // Гегель Г. В. Ф. Сочинения: В 13 т. Т. VI. М., 1939.

Герасимова Л. Я. Усилительные наречия в современном английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1970.

Гин Я. И. Поэтика грамматического рода. СПб., 1992.

Гин Я. И. Проблемы поэтики грамматических категорий. СПб., 1996.

Гиро-Вебер М. Бисинхронный метод описания прилагательного в предикативной позиции в современном русском языке // Теория функциональной грамматики. Качественность. Количественность. Компаративность. СПб., 1996.

Гловинская М. Я. Семантика, прагматика и стилистика видо-временных форм // Грамматические исследования. Функционально-стилистический анализ. Суперсегментная фонетика. Морфологическая семантика. М., 1989.

Горелов И. Н. Избранные труды по психолингвистике. М., 2003.

Городецкий Б. Ю., Кобозева И. М., Сабурова И. Г. К типологии коммуникативных неудач // Диалоговое взаимодействие и представление знаний. Новосибирск, 1985.

Грамматика 1970 — Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.

Гриднева Т. В. Фразеологические средства выражения категории интенсивности: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 1997.

Грюнберг А. Л. Язык североазербайджанских татов. Л., 1963.

Гузев В. Г., Насилов Д. М. К интерпретации категории числа имен существительных в тюркских языках // Вопросы языкознания. 1975. № 3.

Гулыга Е. В., Шенделъс Е. И. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке. М., 1969.

Гухман М. М. Грамматическая категория и структура парадигм // Исследования по общей теории грамматики. М., 1968.

Данеш Ф., Гаузенблас К. К семантике основных синтаксических формаций // Грамматическое описание славянских языков: Концепции и методы. М., 1974.

Дементьев В. В. Непрямая коммуникация и ее жанры. Саратов, 2000.

Дети о языке. Приложение № 2 к Трудам постоянно действующего семинара по онтолингвистике. СПб., 2001.

Дешериева Т. И. Категория модальности в нахских и иноструктурных языках. М., 1988.

Добрушина Е. Р. Верификация в современной русской диалогической речи: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1993.

Добрушина Е. Р. О видах поддакивания // Вестник Моск. гос. ун-та. Сер. 9. Филология. 1995. № 2.

Добрушина Е. Р. Способы выражения верификации в современной русской диалогической речи // Синтаксис: изучение и преподавание. Сб. работ учеников В. А. Белошапковой. М., 1997.

Душечкина Е. В. Предикатив наличия в поэзии Ф. И. Тютчева и поэтика начала // Материалы Второй конф. «Литературный текст: проблемы и методы исследования». Тверь, 1998.

Дымарский М. Я. Бикоммуникативность, метакоммуникативность, транскоммуникативность в структуре высказывания // Говорящий и слушающий: языковая личность, текст, проблемы обучения: Материалы междунар. науч.-метод. конф. (СПб., 26–28 февраля 2001). СПб., 2001.

Ермакова А. Н. Определение лексических групп глаголов с общим формальным признаком (на примере приставочных глаголов с *раз-, на-, пере-* со значением интенсивности): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1982.

Ермакова О. П., Земская Е. А. К построению типологии коммуникативных неудач // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993.

Ермолаева Л. С., Неласова Е. В. Безличные глаголы в современных германских языках (на материале немецкого и исландского языков) // Вопросы романо-германской филологии: Сб. науч. трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. Вып. 91. М., 1975.

Ерофеева Е. А. Фразеологизмы-интенсивы: Семантика и сочетаемость // Филология = Philologica. Краснодар, 1996. № 10.

Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958.

Жирмунский В. М. История немецкого языка. М., 1965.

Жирмунский В. М. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973.

Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.

Залевская А. А. Различные подходы к трактовке значения как достояния индивида // Психолингвистические исследования слова и текста. Тверь, 1997.

Зализняк А. А. К вопросу о грамматических категориях рода и одушевленности в русском языке // Вопросы языкознания. 1964. № 4.

Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи. М., 1976.

Зеленщиков А. В. Пропозиция, модус и модальность // Актуализация предложения. Т. 1: Категории и механизмы. СПб., 1997.

Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 1973.

Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.

Золотова Г. А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М., 1988.

Золотова Г. А. Композиция и грамматика // Язык как творчество. М., 1996.

Золотова Г. А. Текст как главный объект лингвистики и обучения языку // Русское слово в мировой культуре. Материалы X Конгресса МАПРЯЛ. Пленарные заседания. Сб. докладов: В 2 т. Т. I. СПб., 2003.

Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998. (2-е изд. М., 2004.)

Зорихина-Нильссон Н. В. Семантика высказываний с союзом *пока* и признаки длительности и контролируемости ситуации // Теоретические проблемы функциональной грамматики. СПб., 2001.

Зорихина-Нильссон Н. В. Еще раз о семантике высказываний с союзом «пока» // Scando-Slavica. 48. Odense, 2002.

Зубова Л. В. Категория рода и лингвистический эксперимент в современной русской поэзии // Проблемы функциональной грамматики: Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб., 2000а.

Зубова Л. В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. М., 2000б.

Иванов Вяч. Вс. Проблема именного стиля в русской поэзии XX века // Slavica Hierosolymitana. 1981. Vol. 5/6.

Иванов Вяч. Вс. О поэтическом синтаксисе // Исследования по структуре синтаксиса. М., 1987.

Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 2. М., 2000.

Иванова И. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. М., 1981.

Игнатюк Ю. С. Безличные предложения и особенности их функционирования в современном английском языке. М., 1978.

Ильенко С. Г. Синтаксические единицы в тексте. Л., 1989.

Ильенко С. Г. Русистика: Избранные труды. СПб., 2003.

Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким: Морфология. Ч. II. Братислава, 1960. (2-е изд. М., 2003.)

Ицкович В. А. Очерки синтаксической нормы // Синтаксис и норма. М., 1974.

Йокояма О. Коммуникативные неудачи в рамках трансакционной модели дискурса // Лики языка: Сб. к 45-летию научной деятельности Е. А. Земской. М., 1998.

Кадыров Ш. К. Аспектуальная характеристика временных предложений с союзом *пока не* // Спорные вопросы синтаксиса. М., 1974.

Казаковская В. В. Способы выражения авторства в структуре предложения: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1996.

Казаковская В. В. Модусная рамка в онтогенезе // Проблемы детской речи: Материалы межвуз. конф. СПб., 1997.

Казаковская В. В. Коммуникативные неудачи в зеркале детской речи (ранние этапы) // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Труды междунар. конф. Диалог-2003. М., 2003.

Казаковская В. В. Вопросо-ответные единства в диалоге «взрослый — ребенок» // Вопросы языкознания. 2004а. № 2.

Казаковская В. В. Ментальный модус и средства его языкового выражения в диалоге «взрослый — ребенок»: центр и периферия (на материале русского языка) // Слово. Словарь. Словесность: Материалы науч. конф., посвященной 80-летию С. Г. Ильенко. СПб., 2004б.

Казаковская В. В. Модус в детской речи: вопросо-ответные единства // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Труды междунар. конф. Диалог-2004. М., 2004в.

Казаковская В. В., Цейтлин С. Н. Локативные вопросы в диалоге «мать — ребенок» и их роль в синтаксическом развитии // Материалы XXIX межвуз. Науч.-метод. конф. преподавателей и аспирантов. Секция общего языкознания. СПб., 2000.

Казаковская В. В., Ягунова Е. В. Дискурсные слова в детском диалоге: лексико-семантический, синтаксический и интонационный анализ // Проблемы онтолингвистики: Сб. работ молодых исследователей. СПб., 1997.

Казанцева Л. В. Категория хронотопа в структуре художественного произведения: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1991.

Карповская Н. В. Категория интенсивности атрибутивного признака в испанском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 1998.

Касевич В. Б. Языковые структуры и когнитивная деятельность // Язык и когнитивная деятельность. М., 1989.

Касевич В. Б. Субъектность и объектность: проблемы семантики // Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность / неопределенность. СПб., 1992.

Кацнельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение. М.; Л., 1965.

Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.

Кацнельсон С. Д. Общее и типологическое языкознание. Л., 1986.

Кацнельсон С. Д. Категории языка и мышления: Из научного наследия. М., 2001.

Квасова Л. В. Художественное время в разноязычных текстах (на материале лирики Ф. Тютчева и П. Шелли) // Речевое мышление и текст. Воронеж, 1993.

Кедров Б. М. Классификация // Философская энциклопедия. Т. 2. М., 1962.

Кибардина С. Н. Понятие субъекта в синтаксической концепции С. Д. Кацнельсона // Общее языкознание и теория грамматики. СПб., 1998.

Кибрик А. Е. Внешний посессор как результат расщепления валентностей // Слово в тексте и словаре. М., 2000.

Кибрик А. Е. Подлежащее и проблема универсальной модели языка // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1979. Т. 38, № 4.

Киселев С. А. Коммуникативная значимость синтаксических моделей: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 1990.

Китайгородская М. В., Розанова Н. Н. Русский речевой портрет: Фонохрестоматия. М., 1995.

Кихней Л. Г. Поэзия Анны Ахматовой. Тайны ремесла. М., 1997а.

Кихней Л. Г. Философско-эстетические принципы акмеизма и художественная практика Ахматовой и Мандельштама: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1997б.

Клобуков Е. В. Типы падежных значений в русском языке // Болгарская русистика. 1987. № 4.

Клобуков Е. В. Шкала модальной значимости русских падежных форм // Актуальные проблемы русской морфологии. М., 1988.

Клобуков Е. В. Уровни категоризации и строение системы семантических категорий (из наблюдений над концептуальной базой функциональной грамматики) // Теоретические проблемы функциональной грамматики. СПб., 2001.

Князев Ю. П. Пассивный перфект в русском языке // Основные проблемы русской аспектологии. СПб., 2002.

Кобрина Н. А., Лийв С. С. Сравнительно-сопоставительная типология безличных предложений в русском и английском языках // Сравнительно-типологические исследования родного (русского) и иностранных языков. Л., 1984.

Ковтунова И. И. Современный русский язык: Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 1976.

Кодухов В. И. О двух основных аспектах предложения // Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л., 1975.

Козинский И. Ш. О категории *подлежащее* в русском языке // Предварительные публикации Института русского языка АН СССР. М., 1983.

Козинцева Н. А. Таксисные конструкции в русском языке: одновременность // Studies on the Syntax and Semantics of Slavonic Languages. Oldenburg, 2001.

Колесникова С. М. Категория градуальности в современном русском языке: Дис. ... д-ра филол. наук. М., 1999.

Колосова Т. А. Русские сложные предложения асимметричной структуры. Воронеж, 1980.

Комиссаров Л. М., Халина Н. В. Время как индивидуализирующий принцип. Его лингвистическое описание (Данте, Мандельштам, Шукшин) // Творчество В. М. Шукшина. Метод, поэтика, стиль. Барнаул, 1997.

Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М., 1975.

Королькова А. В. К лексико-грамматической характеристике безличных форм глагола и их функционирования // Функциональный анализ грамматических единиц. Л., 1980.

Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. СПб., 1999.

Котнюк Л. Г. Выражение градуальности признака в семантике имен прилагательных со значением размера (на материале английского языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1986.

Красных В. И. Выражение согласия — несогласия с высказыванием собеседника // Русский язык за рубежом. 1970. № 1.

Краузе М. Модальные маркеры в речи детей: становление функций и системы // Детская речь как предмет лингвистического исследования: Материалы междунар. науч. конф. СПб., 2004.

Краузе М., Люблинская В. В. Ответные реплики ребенка в диалоге со взрослыми: типы когерентности и интонационное оформление // Когнитивное моделирование в лингвистике: Сб. докладов междунар. конф. Переславль-Залесский, 2000.

Кржижкова Е. Количественная детерминация признака в русском языке // Синтаксис и норма. М., 1974.

Кронгауз М. А. Семантика. М., 2001.

Кубрякова Е. С. Проблемы онтогенеза речевой деятельности // Человеческий фактор в языке. М., 1991.

Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.

Кубрякова Е. С. О формировании языковой картины мира у ребенка // Детская речь как предмет лингвистического исследования: Материалы междунар. науч. конф. СПб., 2004.

Кузина Н. В. Осип Мандельштам: от образа времени к историософии // Русская филология (Учен. зап. Смоленск. гос. ун-та. Т. 1). Смоленск, 1994.

Кузина Н. Имя собственное и поэтический мир (Мандельштам и Пастернак) // Русская филология-6. Тарту, 1995.

Кузнецов С. Н. Теоретическая грамматика датского языка: Синтаксис. М., 1984.

Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка. М., 1989.

Кузьмина Т. В. Некоторые особенности диалогического взаимодействия матери и ребенка // Усвоение ребенком родного (русского) языка: Межвуз. сб. работ молодых авторов. СПб., 1995.

Культура русской речи: Учебник для вузов / Под ред. Л. К. Граудиной и Е. Н. Ширяева. М., 2001.

Кумахов М. А. Число и грамматика // Вопросы языкознания. 1969. № 4.

Лакофф Дж. Лингвистические гештальты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X: Лингвистическая семантика. М., 1981.

Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII: Когнитивные аспекты языка. М., 1988.

Лакофф Дж. Когнитивное моделирование (из книги «Женщины, огонь и опасные предметы») // Язык и интеллект. М., 1996.

Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении. М., 2004.

Лангаккер Р. В. Модель, основанная на языковом употреблении / перев. с англ. // Вестник Моск. гос. ун-та. Сер. 9. Филология. 1997. № 4.

Латощенко Ю. В. Системные свойства *да*-высказываний в функции подтверждения (на материале русского и немецкого языков): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 2003.

Лебедева Г. Ф. Употребление глагольных форм прошедшего времени совершенного вида в перфектном значении в современном русском литературном языке // Вопросы истории русского языка. М., 1959.

Лебедева Л. А. Устойчивые сравнения русского языка во фразеологии и фразеографии. Краснодар, 1999.

Левин Ю. И. О частотном словаре языка поэзии (Имя существительное у Мандельштама) // Russian Literature. 1972. № 2.

Левин Ю. И. О. Мандельштам. Разбор шести стихотворений // Левин Ю. И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998.

Левицкий Ю. А. Основы теории синтаксиса: Учеб. пособие по спецкурсу. 2-е изд., стереотип. М., 2002.

Лекант П. А. Связка в грамматической системе русского языка // Междунар. юбилейная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения акад. В. В. Виноградова: Тезисы докладов. М., 1995.

Лекант П. А. Очерки по грамматике русского языка. М., 2002.

Лексина Е. В. Деривационное поле степени проявления признака в русском и белорусском языках: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 2000.

Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. М., 1999.

Леонтьева А. Ю. Пространство и время в «Египетской марке» О. Мандельштама // О Мандельштаме. Даугавпилс, 1991.

Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения // Общение, личность и психика ребенка. М.; Воронеж, 2001.

Ломтев Т. П. Предложение и его грамматические категории. М., 1972.

Лосев А. Ф. Введение в общую теорию языковых моделей: Учебное пособие для студентов и преподавателей факультетов русского языка и литературы педагогических институтов. М., 1968.

Лотман М. Ю. Мандельштам и Пастернак (попытка контрастивной поэтики). Таллин, 1996.

Лукьянова Н. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления (Проблемы семантики). Новосибирск, 1986.

ЛЭС 1990 — Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Магун А. Сдвиг. Революционная темпоральность в поэтике О. Мандельштама // Вестник филологического факультета Ин-та ин. языков в СПб. 1999. Вып. 2/3.

Максимова Т. Д. Категория безличности в современном английском языке. М., 1984.

Мальчуков А. Л. Опыт исчисления таксисных значений (на материале тунгусских языков) // Исследования по языкознанию. СПб., 2001.

Маманова Г. И. Существительные и прилагательные со значением степеней признака и оценки в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Алма-Ата, 1978.

Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 4 т. М., 1991.

МАС — Словарь русского языка: В 4 т. 3-е изд. М., 1985–1988.

Маслов Ю. С. Глагольный вид в современном болгарском литературном языке (значение и употребление) // Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959.

Маслов Ю. С. Система основных понятий и терминов славянской аспектологии // Вопросы общего языкознания. Л., 1965.

Маслов Ю. С. Очерки по аспектологии. Л., 1984.

Маслов Ю. С. Перфектность // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.

Матвеева Т. В. Учебный словарь: Русский язык, культура речи, стилистика, риторика. М., 2003.

Матханова И. П. Высказывания с семантикой состояния в современном русском языке. Новосибирск, 2000.

Матханова И. П. Вариативность высказываний с семантикой состояния в современном русском языке // Проблемы функциональной грамматики: Семантическая инвариантность / вариативность. СПб., 2003а.

Матханова И. П. Выражение состояния предикатами типа *работается, поется* // Проблемы интерпретационной лингвистики. Новосибирск, 2003б.

Медриш Д. Н. Структура художественного времени // Некоторые вопросы русской литературы (Учен. зап. Волгоград. гос. пед. ин-та им. А. С. Серафимовича. Вып. 21) Волгоград, 1967.

Межкатегориальные связи в грамматике. СПб., 1996.

Мейор А. Г. Пространство и время: Г. Р. Державин и А. С. Пушкин // XVIII век. СПб., 1996. Вып. 20.

Мелиг Х. Р. Экзистенциальные и экспликативные вопросы // Russian Linguistics. 1991. Vol. 15, № 2.

Мельчук И. А. **Glaza Mashi golubye* vs. *Glaza u Mashi golubye*: choosing between two Russian constructions in the domain of body parts // Мельчук И. А. Русский язык в модели «Смысл ⇔ Текст». М.; Вена, 1995.

Мельчук И. А. Курс общей морфологии. Т. II. М.; Вена, 1998.

Меновщиков Г. А. Способы выражения единичности и множественности в языках различного типа // Вопросы языкознания. 1970. № 1.

Менчинская Н. А. Психологическое развитие ребенка от рождения до 10 лет. М., 1999.

Миллер Б. В. Язык осетин. М.; Л., 1962.

Мирза Джафар. Грамматика персидского языка. М., 1901.

Михайлов В. А. Смысл и значение в системе речемыслительной деятельности. СПб., 1992.

Михайлов В. А., Павлов В. М. Когнитивные структуры и порождение речи // Языковые единицы в речевой коммуникации. Л., 1991.

Михайлова Е. М. Художественное время как категория текста: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1983.

Мишайкина М. Н. Специфика хронотопа в лирическом цикле А. Ахматовой «Венок мертвым» // Художественная индивидуальность писателя и литературный процесс XX века. Омск, 1997.

Морозова О. Н. Функционально-семантические свойства реплик со значением согласия — несогласия в диалогическом общении: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 2000.

Москальская О. И. Грамматика текста. М., 1981.

Мусиенко В. П. Категория интенсивности в структуре русского глагола: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1984.

Мухин А. М. Структура предложений и их модели. Л., 1968.

Мыркин В. Я. Трудные вопросы немецкой аспектологии и темпорологии. Архангельск, 1993.

Напетваридзе Л. Д. Становление норм употребления будущего времени в немецком литературном языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тбилиси, 1984.

Нарустранг Е. В. Практическая грамматика немецкого языка. СПб., 2004.

Насрулаева С. Ф. Хронотоп в ранней лирике Анны Ахматовой (Книги стихов «Вечер» и «Четки»): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1997.

Недялков В. П., Отаина Т. А. Типологические и сопоставительные аспекты анализа зависимого таксиса (на материале нивхского языка в сопоставлении с русским) // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.

Недялков И. В. Проблемы классификации и иерархии грамматических категорий // Язык и речевая деятельность. Т. 3, Ч. 1. СПб., 2000.

Нейленко Л. Л. Средства выражения и семантика высказываний со значением согласия — несогласия в английском диалоге // Вопросы романо-германской и русской филологии. Пятигорск, 2002.

Никитина Э. Г. Типы временных придаточных предложений с союзом *пока* и отрицательной частицей *не* // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1964. № 2.

Николс Дж. Падежные варианты предикативных имен и их отражение в русской грамматике // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV: Современная зарубежная русистика. М., 1985.

Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 2 / Под общ. руководством Ю. Д. Апресяна. М., 2000.

Норман Б. Ю. Универсальное и специфическое в синтаксических моделях славянских языков. Минск, 1988.

Общее языкознание: Внутренняя структура языка. М., 1972.

Овчинникова И. Г., Угланова И. А., Краузе М. Оценка уверенности — неуверенности высказывания детьми двух возрастных групп // Проблемы детской речи-1999: Материалы Всероссийской конф. СПб., 1999.

Огольцов В. М. Устойчивые сравнения в системе русской фразеологии. Л., 1978.

Озаровский О. В. Способы выражения согласия — несогласия в современном русском языке // Русский язык в национальной школе. 1974. № 6.

Озаровский О. В. О десемантизации высказываний согласия — несогласия (*Да* и *нет* в функции акцентуаторов) // Материалы по русскославянскому языкознанию. Воронеж, 1977.

Ом Сун Чон. Функционирование релятивов *да* и *нет* в разговорной речи и художественной литературе: Автореф. дис.... канд. филол. наук. М., 1998.

Оцуки А. О стихотворении «Возьми на радость из моих ладоней...»: время и любовь // Japanese Slavic and East european studies. Vol. 17. Kyoto, 1996.

Павлов В. М. О разрядах имен прилагательных в русском языке // Вопросы языкознания. 1960. № 2.

Павлов В. М. Проблема языка и мышления в трудах Вильгельма Гумбольдта и в неогумбольдтианском языкознании // Язык и мышление. М., 1967.

Павлов В. М. Понятие лексемы и проблема отношений синтаксиса и словообразования. Л., 1985.

Павлов В. М. Качественность и субстанциальная семантика // Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. Компаративность. СПб., 1996а.

Павлов В. М. Полевые структуры в строе языка. СПб., 1996б.

Павлов В. М. Полевой подход и континуальность языковой системы // Общее языкознание и теория грамматики: Материалы чтений, посвященных 90-летию со дня рождения Соломона Давидовича Кацнельсона. СПб., 1998а.

Павлов В. М. Противоречия семантической структуры безличных предложений в русском языке. СПб., 1998б.

Павлов В. М. Принцип поля в грамматическом исследовании и идея противоречия // Исследования по языкознанию. СПб., 2001.

Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.

Падучева Е. В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива). М., 1996.

Падучева Е. В. Парадигма регулярной многозначности глаголов звука // Вопросы языкознания. 1998. № 5.

Панова Л. Г. Пространство и время в поэтическом языке О. Мандельштама // Изв. АН. Сер. лит. и яз. 1996. Т. 55, № 4.

Панова Л. Г. Пространство и время в поэтическом языке О. Мандельштама: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1998.

Панова Л. Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии Осипа Мандельштама. М., 2003.

Панфилов В. З. Типология грамматической категории числа и некоторые вопросы ее исторического развития // Вопросы языкознания. 1976. № 4.

Петрова Н. Н. Структура художественного хронотопа в поэтическом тексте (на материале англоязычной поэзии XX века): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1987.

Петрухина Е. В. Функционирование презентных форм глаголов совершенного и несовершенного вида (с точки зрения грамматических категорий вида и времени) в чешском языке в сопоставлении с русским // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. М., 1983.

Петрухина Е. В. Сопоставительная типология глагольного вида в современных славянских языках (на материале русского, западнославянских и болгарского языков) // Типология вида. Проблемы, поиски, решения. М., 1998.

Петрухина Е. В. Аспектуальные категории глагола в русском языке в сопоставлении с чешским, словацким, польским и болгарским языками. М., 2000.

Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М., 1956.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М.; Л., 1932.

Полянский А. Н. Категория интенсивности признака в русском языке: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1987.

Попова М. И. Грамматические элементы в речи детей преддошкольного возраста // Вопросы психологии. 1958. № 4.

Поройкова Н. И. Функционирование средств выражения согласия — несогласия в диалоге // Функциональный анализ грамматических категорий и единиц. Л., 1976.

Поспелов Н. С. Синтаксический строй стихотворных произведений Пушкина. М., 1960.

Поспелов Н. С. Синтаксис Пушкина // Поспелов Н. С. Мысли о русской грамматике. М., 1990.

Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905.

Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 3: Об изменении значения и заменах существительного. М., 1968.

ПФГ 2000 — Проблемы функциональной грамматики: Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб., 2000.

ПФГ 2003 — Проблемы функциональной грамматики: Семантическая инвариантность / вариативность. СПб., 2003.

Пупынин Ю. А. Функциональные аспекты грамматики русского языка: Взаимосвязи грамматических категорий. Л., 1990.

Пупынин Ю. А. О семантическом инварианте пассивных форм СВ в русском языке // Functional Grammar: Aspect and Aspectuality. Tense and Temporality. Essays in Honour of Alexander Bondarko. München; Newcastle, 2001.

Распопов И. П. Строение простого предложения в современном русском языке. М., 1970.

Рассудова О. П. Употребление видов глагола в русском языке. М., 1968.

Расторгуева Т. А. История развития безличных предложений в современном английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1954.

Рахилина Е. В. Основные идеи когнитивной семантики // Фундаментальные направления современной американской лингвистики. М., 1997.

Рахилина Е. В. Когнитивная семантика: История, персоналии, идеи, результаты // Семиотика и информатика. Вып. 36. М., 1998.

Рахилина Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. М., 2000.

Ревзин И. И. Так называемое «немаркированное множественное число» в современном русском языке // Вопросы языкознания. 1969. № 3.

Редькин В. А. Поиски форм организации времени и пространства в поэмах А. Ахматовой // Ахматовские чтения. Тверь, 1991.

Репина Т. А. Аналитизм романского имени. Л., 1974.

Рестан П. Синтаксис вопросительного предложения. Общий вопрос. Oslo, 1969.

Рождественский Ю. В. Лекции по общему языкознанию. М., 2000.

Розанова Л. Г. Выражение согласия / несогласия в научных дискуссиях (на материале английского языка) // Сопоставительная лингвистика и проблемы преподавания иностранных языков. М., 1994.

Романов А. А. Системный анализ регулятивных средств диалогического общения. М., 1988.

Романов А. А. Диалогический текст и его иллокутивная структура // Семантика слова, образа, текста. Архангельск, 1995.

Рсалдинов К. Т. Категория интенсивности признака в современном немецком языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1980.

Рубинчик Ю. А. Современный персидский язык. М., 1960.

Рулева М. А. Первичная и вторичная интерпретация говорящим своего состояния // Языковая компетенция: Грамматика и словарь. Новосибирск, 1998.

Румянцева И. М. Психология речи и лингвопедагогическая психология. М., 2004.

Русская грамматика. Т. II. Praha, 1979.

Русская грамматика. Т. I–II. М., 1980.

Русская разговорная речь. М., 1973.

Русские глагольные предложения. Экспериментальный синтаксический словарь / Под общ. ред. Л. Г. Бабенко. М., 2002.

Русский язык конца XX столетия. М., 1996.

Русский язык: Энциклопедия. М., 1979.

Рустамов Ш. Имя существительное в современном таджикском литературном языке (именные части речи): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Душанбе, 1972.

Сабанеева М. К. Генезис косвенных наклонений французского глагола. Л., 1980.

Сабанеева М. К. О сущности наклонения // Вопросы языкознания. 1994. № 5.

Сабанеева М. К. Эпистемическая модальность высказывания в ракурсах прагматики и формальной логики // Язык и речевая деятельность. 1999. Т. 2.

Сабанеева М. К., Щерба Г. М. Историческая грамматика французского языка. Л., 1990.

Садовская Г. Н. Русские префиксальные глаголы, обозначающие степень проявления действия, и их соответствия в английском языке: Дис. ... канд. филол. наук. Ташкент, 1978.

Сафонова С. С. Местоименно-союзные предложения с семантикой интенсивности в языке современной прессы: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2002.

Свиридова Т. М. Выражение согласия–несогласия лексико-синтаксическими средствами: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1994.

Седов К. Ф. Структура устного дискурса и становление языковой личности: Грамматический и прагматический аспекты. Саратов, 1998.

Седых О. М. Философия времени в творчестве Мандельштама // Вопросы философии. 2001. № 5.

Семейко А. М. Эмоционально-усилительные прилагательные в современном английском языке: Опыт лексикографического исследования: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1975.

Семчук Ю. О. Пространство и время в поэзии О. Мандельштама (1915–1921 гг.) // О Мандельштаме. Даугавпилс, 1991.

Сергеев А. И. Коммуникативный аспект однословных реакций на местоименные вопросительные реплики // Лексические единицы в различных функциях. Саранск, 1992.

Сергеева Е. Н. Степени интенсивности качества и их выражение в английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1967.

Сергиенко Е. А. Когнитивное развитие // Когнитивная психология. М., 2002.

Сергиенко Е. А. Когнитивное развитие // Психология XXI века. М., 2003.

Сергиенко Е. А., Лебедева Е. И., Герасимова А. С., Прусакова О. А. Развитие модели психического у детей дошкольного и младшего школьного возраста // Первая российская конф. по когнитивной науке: Тезисы докладов. Казань, 2004.

Сильман Т. И. Заметки о лирике. Л., 1977.

Сиротинина О. Б. Современная разговорная речь и ее особенности. М., 1974.

Сиротинина О. Б. Лекции по синтаксису русского языка. М.,1980.

Скорик П. Я. Грамматика чукотского языка. Ч. I. М.; Л., 1961.

Скребнев Ю. М. Несколько замечаний по поводу проблемы универсальной единицы синтаксиса // Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л., 1975.

Скребцова Т. Г. Американская школа когнитивной лингвистики. СПб., 2000.

Слобин Д. Когнитивные предпосылки развития грамматики // Психолингвистика: Сб. статей. М., 1984.

Смирницкая С. В. Грамматизация словообразовательных элементов в истории немецкого языка // Смирницкая С. В. Труды по германистике и истории языкознания. СПб., 2002.

Смирницкий А. И. Объективность существования языка. М., 1952.

Смирнов И. Н. Типы временной нелокализованности действия в русском языке (на материале высказываний с формами настоящего и простого будущего времени): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1987.

Смирнов А. А. О двух романтических концепциях времени (А. С. Пушкин и А. А. Фет) // Проблемы исторической поэтики. Вып. 2. Петрозаводск, 1992.

Смирнов И. Н. Семантика качественности и временная локализованность // Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. Компаративность. СПб., 1996.

Смирнова И. А. Формы числа имени в иранских языках. Л., 1974.

Смирнова И. А. Категория числа имени в иранских языках: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Л., 1980.

Смирнова И. А. Категория числа в языках с немаркированным именем // Вопросы языкознания. 1981. № 2.

Смирнова И. А. Категория числа и определенность / неопределенность в современных иранских языках // Межкатегориальные связи в грамматике. СПб., 1996.

Смирнова И. А. Категория числа имени в курдской классической поэзии XVI–XVII вв. // Проблемы функциональной грамматики: Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб., 2000.

Смирнова И. А., Эйюби К. Р. Курдский диалект заза. М., 1998.

Смирнова И. А., Эйюби К. Р. Историко-диалектологическая грамматика курдского языка. СПб., 1999.

Смирнова И. А., Эйюби К. Р. Курдский диалект сынэи. СПб., 2000.

Советский энциклопедический словарь. М., 1981.

Современный русский язык. Морфология. М., 1952.

Современный русский язык. СПб., 1999.

Современный толковый словарь русского языка. СПб., 2001.

Соколова В. С. Белуджский язык // Современный Иран: Справочник. М., 1957.

Соколова В. С. Шугнано-рушанская языковая группа // Языки народов СССР. Т. I. М., 1966.

Солнцев В. М. Вариантность // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Соловьева А. К. О некоторых общих вопросах диалога // Вопросы языкознания. 1965. № 6.

Стеблин-Каменский М. И. О предикативности // Вестник Ленингр. гос. ун-та. 1956. Вып. 4, № 20.

Стеблин-Каменский М. И. Предикативность? // Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков: Тезисы докладов. Л., 1971.

Степанов Ю. С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Язык и наука конца 20 века: Сб. статей. М., 1995.

Степанова Е. Б. Значение русских общевопросительных предложений: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1993.

Столярова И. В. Выражение субъективно-модальных отношений в детской речи // Детская речь: Лингвистический аспект. Межвуз. сб. науч. трудов. СПб., 1992.

Строева-Сокольская Т. В. Развитие будущего времени в немецком языке // Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та. Сер. филол. наук. Вып. 5. Л., 1941.

Суворина К. М. Интенсивы в современном английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1976.

Сусов И. П. Формальные и семантические аспекты предложения // Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л., 1975.

Сущинский И. И. Словарь усилительных словосочетаний русского и немецкого языков. М., 1997.

Тарановский К. Пчелы и осы (Очерки о поэзии О. Мандельштама) // Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2000.

Таривердиева М. А. Эксплицитное выражение модальности в латинском и итальянском языках: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1973.

Телетова Н. К. Категория времени в трагедиях Шекспира и Пушкина // Символизм и русская литература XIX века. Пушкин и Шекспир. СПб., 2002.

Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. М., 2001.

Титова Л. Г. Имена прилагательные со значением оценки и степени качества в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1964.

Топоров В. Н. Об историзме А. Ахматовой // Russian Literature. 1990. Vol. 28, № 3.

Трофимов В. А. О выражении отрицания в современном русском литературном языке // Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та. 1952. Вып. 15, № 156.

Трошкина А. Н. Номинативный аспект категории интенсивности действия в разноструктурных языках (на материале русского и английского языков): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 2001.

Туранский И. И. Семантическая категория интенсивности в английском языке. М., 1990.

ТФГ 1987; 2001; 2003 — Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987; 2-е изд. М., 2001; 3-е изд., М., 2003.

ТФГ 1990 — Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Л., 1990.

ТФГ 1991 — Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. Л., 1991.

ТФГ 1992 — Теория функциональной грамматики: Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность / неопределенность. СПб., 1992.

ТФГ 1996а — Теория функциональной грамматики. Качественность. Количественность. СПб., 1996а.

ТФГ 1996б — Теория функциональной грамматики. Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. СПб., 1996б.

Тэк-Гю Хонг. Русский глагольный вид сквозь призму теории речевых актов. М., 2003.

Убин И. И. Лексические средства выражения категории интенсивности (на материале русского и английского языков): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1974.

Убин И. И. Словарь усилительных сочетаний русского и английского языков. М., 1987. (2-е изд. М., 1995.)

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1996.

Фаустов А. А. Этюд о художественной реальности О. Мандельштама: Время, фактура бытия и автогенез «пчелиного» текста // Филологические записки. Вып. 2. Воронеж, 1994.

Фетискина М. Д. Способы действия со значением интенсивности и видовая соотнесенность глаголов в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1977.

Формановская Н. И. Употребление русского речевого этикета. М., 1982.

Формановская Н. И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. М., 2002.

Формановская Н. И. Ритуалы вежливости и толерантность // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности. Екатеринбург, 2003.

Фортунатов Ф. Ф. Лекции по сравнительному языковедению. М. Курс 1884–85 гг.

Фрумкина Р. М. Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? // Язык и наука конца 20 века: Сб. статей. М., 1995.

Фрумкина Р. М. Вокруг детской речи: методологические размышления // Изв. АН. Сер. лит. и яз. 2001. Т. 60, № 2.

Фэвр-Дюпэгр А. Бергсоновское чувство времени у раннего Мандельштама // О. Мандельштам. К 100-летию со дня рождения. Поэтика и текстология. М., 1991.

Хализева В. С. Семантический анализ союзов предшествования // Русский язык за рубежом. 1969. № 2.

Халина Н. В. Категория градуальности в словоформе, слове, тексте: Дис. ... в виде науч. докл. Барнаул, 1997.

Холодов Н. Н. Сложные формы организации монологической и диалогической речи // Современный русский литературный язык. М., 1996.

Холодович А. А. Категория множества в японском в свете общей теории множества в языке // Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та. 1946. Вып. 10.

Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979.

Храковский В. С. Пассивные конструкции // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. СПб., 1991.

Храковский В. С. Параметры таксиса // Система языка и структура высказывания: Материалы чтений, посвященных 90-летию со дня рождения Владимира Григорьевича Адмони (1909–1993). СПб., 1999.

Храковский В. С. Классификация таксисных конструкций: валентностный таксис, невалентностный таксис, фоновый таксис // Язык и речевая деятельность. 2001а. Т. 4, Ч. 1.

Храковский В. С. Семантика основных значений СВ и НСВ в русском языке // Studies on the Syntax and Semantics of Slavonic Languages. Oldenburg, 2001б.

Храковский В. С. Буквально два слова о слове *буквально* // Языковые функции: семантика, синтактика, прагматика: Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Нов. серия. VIII. Тарту, 2003а.

Храковский В. С. Категория таксиса (общая характеристика) // Вопросы языкознания. 2003б. № 2.

Храковский В. С. Таксис следования в русском языке (конструкция с союзом *прежде чем*) // Сб. памяти академика Ференца Паппа. Дебрецен, 2004.

Цвинария М. Е. Древнеанглийский глагол motan: семантика и прагматика // Материалы междунар. филологической конф. Вып. 7. Секция истории языка (романо-германский цикл). Ч. 1. Филологический фак-т СПбГУ. СПб., 2003.

Цейтлин С. Н. Необходимость // Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Л., 1990.

Цейтлин С. Н. U-shaped development при освоении ребенком родного языка (анализ случаев мнимого регресса) // Материалы XXVII межвуз. науч.-метод. конф. преподавателей и аспирантов. Вып. 13. Секция общего языкознания. СПб., 1998.

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. М., 2000.

Цейтлин С. Н. К вопросу об онтогенезе синтаксем // Коммуникативно-смысловые параметры грамматики и текста: Сб. статей, посвященный юбилею Г. А. Золотовой. М., 2002.

Цой Т. А. Способы выражения интенсивности действия в современном русском языке: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1989.

Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике // Фундаментальные направления современной американской лингвистики: Сб. обзоров. М., 1997.

Червенкова И. В. Общие адвербиальные показатели меры признака: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1975.

Чередниченко В. И. Типология временных отношений в лирике: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Тбилиси, 1987.

Черемисина М. И., Колосова Т. А. Очерки по теории сложного предложения. Новосибирск, 1987.

Черемисина Н. В. Волеизъявление и принципы экономии в становлении детской речи // Проблемы детской речи-1997. Материалы межвуз. конф. СПб., 1997.

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь: В 2 т. М., 1999.

Шапиро Я. Н., Чистович И. А. Руководство по оценке уровня развития детей от 1 года 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев по русифицированной шкале RCDI. СПб., 2000.

Шахнарович А. М., Арама Е. Б. Интонация и модальность. М.; Тамбов, 1997.

Шведова Н. Ю. О соотношении грамматической и семантической структуры предложения // Славянское языкознание. М., 1973.

Шейгал Е. И. Интенсивность как компонент семантики слова в современном английском языке: Дис. канд. ... филол. наук. М., 1981.

Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. Волгоград, 2000.

Широканов Д. Необходимость // Философская энциклопедия. Т. 4. М., 1967.

Широкова А. Г. Отношение маркированных многократных глаголов к категории славянского глагольного вида (образование, семантика, особенности функционирования) // Исследования по глаголу в славянских языках. Глагольная лексика с точки зрения семантики, словообразования. Грамматика. М., 1996.

Ширяев Е. Н. Некоторые средства актуализации высказываний в разговорной речи // Русская разговорная речь. М., 1973.

Ширяев Е. Н. Об основной синтаксической единице разговорного языка // Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л., 1975.

Шмелев Д. Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. М., 1977.

Шубик С. А. Категория времени в немецких текстах древнейшей поры // Проблемы функциональной грамматики: Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб., 2000.

Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957.

Щерба Л. В. Очередные проблемы языковедения // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

Щур Г. С. Теория поля в лингвистике. М., 1974.

Эдельман Д. И. Язгулямский язык. М., 1966.

Эдельман Д. И. Поле количественности и категория единичного / общего // Теория функциональной грамматики. СПб., 1996.

Эдельман Д. И., Поцелуевский Е. А. Изафет // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Эйхенбаум Б. Анна Ахматова: Опыт анализа. Париж, 1980.

Эйюби К. Р., Смирнова И. А. Курдский диалект мукри. Л., 1968.

Юсупова З. А. Курдский диалект аврамани. М., 2002.

Юсупова З. А. Курдский диалект горани. СПб., 1998.

Юсупова З. А. Сулейманийский диалект курдского языка. М., 1985.

Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975.

Якобсон Р. О. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика. М., 1983.

Якобсон Р. О. Избранные труды. М., 1985.

Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М., 1987.

Якобсон Р. О. Вклад Энтони в лингвистику // Якобсон Р. Язык и бессознательное. М., 1996.

Якубинский Л. П. О диалогической речи // Избранные работы. Язык и его функционирование. М., 1986.

Янко Т. Е. Коммуникативные стратегии русской речи. М., 2001.

Янко-Триницкая Н. А. Процессы включения в лексике и словообразовании // Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М., 1964.

Яхонтов С. Е. Конструкции, называемые пассивными в китайском языке // Категория залога: Материалы конф. Л., 1970.

Admoni W. Der deutsche Sprachbau: Теоретическая грамматика немецкого языка. М., 1986.

Aksu-Koç A., Slobin D. A psychological account of the development and use of evidentials in Turkish // Evidentiality: The linguistic coding of epistemology. Norwood, 1986.

Barentsen A. Over conjuncties van anterioriteit in het Nederlands en het Russisch // Язык и культура. Материалы конф. «Бельгия — Нидерланды — Россия». Bd. 2, Moscow, 1999.

Barnes S., Gutfreund M., Satterly D., Wells G. Characteristics of adult speech which predict children's language development // Journal of Child Language. 1983. № 10.

Baron-Cohen S. Theory of mind and autism: a fifteen year review. Oxford, 2000.

Bartschaft B. Die semantische Beziehungen zwischen *пока* und *пока не* und ihr Einfluss auf die Aspektwahl // Zeitschrift für Slavistik. 1976. № 2.

Bascelli E., Barbieri M. S. Italian children's understanding of the epistemic and deontic modal verbs *dovere* (must) and *potere* (may) // Journal of Child Language. 2002. № 29.

Bassano D. Functional and formal constraints on the emergence of epistemic modality: A longitudinal study of French // First Language. 1996. № 16.

Benveniste E. Mutations of linguistic categories // Directions for historical linguistics. London, 1968.

Bhat D. N. S. The adjectival category: criteria for differentiation and identification. Amsterdam, 1994.

Blackburn F. The English Future, its origin and development. Leipzig, 1892.

Blasé H. Geschichte des Plusquamperfekts im Lateinischen. Giessen, 1894.

Bleeck A. H. A concise grammar of the Persian language. London, 1857.

Bloom L. Language development from two to three. Cambridge, 1992.

Bogner I. Zur Entwicklung der periphrastischen Futurformen im Frühneuhochdeutschen // Zeitschrift für deutsche Philologie. 1989. Bd. 108.

Brandt W. Zukunftserzählen im Muspilli // Althochdeutsch. Bd. 1 / Hrsg. von R. Bergmann, H. Tiefenbach, L. Voetz. Heidelberg, 1987.

Brinkmann H. Die deutsche Sprache: Gestalt und Leistung. 2. Aufl. Düsseldorf, 1971.

Brown R. A first language: the early stages. Cambridge, 1973.

Choi S. Children's answers to yes-no questions: A development study in English, French and Korean // Developmental Psychology. 1991. № 27(3).

Clancy P. The rise of the synthetic future tense in Romance // Romance Philology. 1975. Vol. 38. № 4.

Coates J. The acquisition of meaning of modality in children ages eight and twelve // Journal of Child Language. 1988. № 15.

Comrie B. Language universals and linguistic typology. Oxford, 1981.

Costello D. P. The Conjunction *пока* // Slavic and East European Journal. 1962. № VI/3.

Dal I. Kurze deutsche Syntax: Auf historischer Grundlage; 2. Aufl. Tübingen, 1962.

Daneš F. Syntaktický model a syntaktický vzorec // Československé přednašky pro V mezinárodni sjezd slavistů v Sofii. Praha, 1963.

Daneš F. A Three-Level Approach to Syntax // Travaux linguistiques de Prague. L'école de Prague d'aujourd'hui. 1. Prague, 1964.

Daneš F. The Relation of Centre and Periphery as a Language Universal // Travaux linguistiques de Prague, 2: Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue. Prague, 1966.

Dixon Robert M. W. Where have all the adjectives gone? Berlin; New York; Amsterdam. 1982.

Dore J. "Oh them sheriff": a pragmatic analysis of children's responses to questions // Child Discourse. New York, 1977.

Ernout A., Thomas F. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. Paris, 1939.

Ervin-Tripp S. Discourse agreement: How children answer questions // Cognition and the Development of Language. New York, 1970.

Ervin-Tripp S., Miller W. Early discourse: some questions about questions // Interaction, Conversation, and the Development of Language. New York, 1997.

First verbs: On the way to miniparadigms // ZAS Papers in Linguistics. 2000. Vol. 18.

Flavell J. H. Development of children knowledge about the mental world // International Journal of Behavioral Development. 2000. Vol. 24, № 1.

Fleischman S. The future in thought and language: Diachronic evidence from romance. Cambridge, 1982.

Furrow D., Nelson K., Benedict H. Mothers' speech to children and syntactic development: Some simple relationships // Journal of Child Language. 1979. № 6.

Gagarina N., Voeikova M., Gruzincev S. New version of morphological coding for the speech production of Russian children (in the framework of CHILDES) // Investigations into Formal Slavic Linguistics. Contributions of the Fourth European Conference on Formal Description of Slavic Languages (FDSL-4). Frankfurt am Main; Berlin; Bern et al., 2003.

Galloway C., Richards B. J. Input and interaction in language acquisition. Cambridge, 1994.

Gasser M., Smith L. Learning nouns and adjectives: a connectionist account // Language and Cognitive Processes. 1998. Vol. 13 (2/3).

Givón T. Prototypes: Between Plato and Wittgenstein // Noun Classes and Categorization. Typological Studies in Language. Vol. 7. Amsterdam; Philadelphia, 1986.

Givón T. Functionalism and Grammar. Amsterdam, 1995.

Gleitman L. R., Newport E. L., Gleitman H. The current status of the motherese hypothesis // Journal of Child Language. 1984. № 11.

Guiraud-Weber M. Propositions sans nominatif en russe moderne. Paris, 1984.

Handford S. A. The latin subjunctive. London, 1947.

Harris Z. S. Co-occurrence and transformation in linguistic structure // Language. 1957. Vol. 33, № 3.

Havránek B., Jedlička A. česká mluvnice. Praha, 1960.

Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 17. Aufl. Leipzig; Berlin; München, 1996.

Hinsdale E. Über die Wiedergabe des lateinischen Futurums bei den althochdeutchen Übersetzern des 8–10 Jahrhunderts. Göttingen, 1897.

Hirts W., Weil J. Acquisition of the epistemic and deontic meaning of modals // Journal of Child Language. 1982. № 9.

Hoff-Ginsberg E. Some contributions of mother's speech to their children's syntactic growth // Journal of Child Language. 1985. № 12.

Hoff-Ginsberg E., Shatz M. Linguistic input and the child's acquisition of language // Psychological Bulletin. 1982. № 92.

Horn P. Neupersische Schriftsprache. Grundriss der iranischen Philologie. Bd. 1. Strassburg, 1895–1901.

Ingram D. First language acquisition. Cambridge, 1989.

Johnson D. On Keenan's definition of "subject of" // Linguistic inquiry. 1977. Vol. 8, № 4.

Justi F. Kurdische Grammatik. СПб., 1880.

Kalinovski G. Un aperçu élémentaire des modalités déontiques // Langages. 1976. № 43.

Kantorczyk U. Der Satztyp *V gorode (est') universitet / U Igorja (est') mashina* in der russischen Sprache der Gegenwart. Eine Komplexbeschreibung unter formal-grammatischem, semantischem, kommunikativem und referentiellem Aspekt // Slavistische Beiträge. Bd. 300. München, 1993.

Karcevski S. Système du verbe russe. Prague, 1927.

Kazakovskaya V. Initial syntax development: ontogenesis of spatial syntax structures (based on the language of Russian-speaking children) // Psychology of Language and Communication. 2001. Vol. 5, № 2.

Keenan E. Towards a universal definition of subject // Subject and topic. New York, 1976.

Kempe V., Brooks P., Mironova N., Fedorova O. Diminutivization supports gender acquisition in Russian children // Journal of Child Language. 2003. Vol. 30, № 2.

Kempe V., MacWhinney B. The acquisition of case marking by adult learners of Russian and German // Studies in Second Language Acquisition. 1998. Vol. 20, № 4.

Ketchian S. The poetry of A. Akhmatova: A conquest of time and space. München, 1986.

Kopečný F. Slovesný vid v češtině. Praha, 1962.

Kuczaj S., Maratsos M. P. What children can say before they will // Merrill-Palmer Quarterly. 1975. № 21.

Lakoff G. Women, fire and dangerous things. What categories reveal about the mind. Chicago; London, 1988.

Langacker R. W. Foundations of cognitive grammar. Vol. I. Theoretical prerequisites. Stanford, 1987.

Lazard G. Grammaire du persan contemporain. Paris, 1957.

Leiss E. Zur Entstehung des neuhochdeutschen analytischen Futurs // Sprachwissenschaft. 1985. Bd. 10.

Leiss E. Die Verbalkategorien des Deutschen: Ein Beitrag zur Theorie der sprachlichen Kategoriesierung. Berlin; New York, 1992.

Leumann M. Lateinisch *habere* mit Infinitiv // Museum Helveticum. 1962. Bd. 19, fasc. 1.

Levy Y. Why are formal systems early to emerge? // Children's Language. Vol. 9. New Jersey, 1996.

Lieven E. V. M. Conversations between mothers and young children: Individual differences and their possible implications for the study of language learning // The Development of Communication. Chichester, 1978.

Mac Kenzie D. N. Kurdish dialect studies. № 1. London, 1961.

Mathesius V. Čeština a obecný jazykozpyt. Praha, 1947.

McLaughlin B. Second Language Acquisition in Childhood. Vol. 1: Preschool Children. New Jersey; London, 1984.

Ménard Ph. Syntaxe de l'ancien français. Bordeaux, 1976.

Mills Anne E. The Acquisition of Gender. Berlin; Heidelberg; New York et al., 1986.

Mrazek R. Синтаксис русского творительного. Praha, 1964.

Neustupný J. On the Analysis of Linguistic Vagueness // Travaux linguistiques de Prague, 2: Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue. Prague, 1966.

Newport E. L., Gleitman H., Gleitman L. R. Mother I'd rather do it myself: Some effects and non-effects of maternal speech style // Talking to children: Language input and acquisition. Cambridge, 1977.

Nichols J. Predicate Nominals: a Partial Surface Syntax of Russian // Linguistics. Vol. 97. Berkeley; Los Angeles; London, 1981.

Ninio A., Snow C. Pragmatic Development. Boulder, 1996.

Orban C. Words, images and simultaneity in "Zang tumb tumb" and "Prose du Transsiberien" // Romance notes. 1992. Vol. 33, № 1.

Palmer F. R. Modality and the English Modals. New York, 1979.

Pavlov V. M. Die substantivische Zusammensetzung im Deutschen als syntaktisches Problem. München, 1972.

Pinker S. Language learnability and language development. Cambridge, 1984.

Pottier B. Sur la formulation des modalités en linguistique // Langages. 1976. № 43.

Príruční mluvnice češtiny. Brno, 1995.

Richards B. J. Language development and individual differences: A study of auxiliary verb learning. Cambridge, 1990.

Rosch E. Natural categories // Cognitive Psychology. 1973. № 4.

Saltveit L. Studien zum deutschen Futur. Bergen; Oslo, 1962.

Schmid H. Die Ausbildung des werden — Futurs: Überlegungen auf der Grundlage mittelalterlichen Endzeitprophezeiungen // Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. 2000. Bd. 67.

Schmitt T. Weicheier, Warmduscher und Wochenendrasierer. Das Wörterbuch für Anfänger und Fortgeschrittene. München, 2000.

Sehrt E. Notker=Glossar: Ein Althochdeutsch — Lateinisch — Neuhochdeutsches Wörterbuch zu Notkers des Deutschen Schriften. Tübingen, 1962.

Skalička V. The Need for a Linguistics of "la parole". Bratislava, 1948.

Snow C. E., Ferguson C. A. Talking to children. Cambridge, 1977.

Stephany U. Modality in first language acquisition // Modality in Language Acquisition. Berlin; New York, 1993.

Sweetser E. E. From etymology to pragmatics. Cambridge, 1990.

Terras V. The Time Philosophy of Osip Mandel'štam // Slavonic and East European Review. 1969. Vol. XLIII.

Tesnière L. Elements de syntaxe structurale. Paris, 1969.

Thieroff R. Das finite Verb im Deutschen: Tempus — Modus — Distanz. Tübingen, 1992.

Timberlake A. Oblique control of Russian reflexivisation // Morphosyntax in Slavic. Ohio, 1980.

Tomasello M. First verbs: A case study of early grammatical development. Cambridge, 1992.

Tomasello M. Constructing a language: a usage-based theory of language acquisition. Cambridge, 2003.

Traugott E. On the rise of epistemic meanings in English: An example of subjectification in semantic change // Language. 1989. N 65.

Travaux linguistiques de Prague, 2: Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue. Prague, 1966.

Uspensky B. A. and Zhivov V. M. Center-periphery opposition and language universals // Linguistics. 1977. Vol. 196.

Verheul K. The Theme of Time in the Poetry of Anna Axmatova. The Hague; Paris, 1971.

Voeikova M. D. Russian existential sentences: a functional approach // LINCOM Studies in Slavic Linguistics. München, 2000.

Walde A. Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1938; Bd. II. Heidelberg, 1954.

Wellman H. M., Lagatuta K. H. Developing understandings of mind // Understanding Other Minds. Perspectives From Developmental Cognitive Neuroscience. Oxford, 2000.

Wells G. Learning through interaction: The study of language development. Cambridge, 1983.

Wittgenstein L. Philosophical Investigations. New York, 1953.

Yevseyev V. Ikonizität und Taxis. Ein Beitrag zur Natürlichkeitstheorie am Beispiel des Deutschen und Russischen // Europäische Hochschulschriften. Reihe XXI, Linguistik. 2002. Bd./Vol. 254.

Yokoyama O. В защиту запретных деепричастий // American contributions to the ninth International Congres of Slavists. Ohio, 1983.

Именной указатель

Абдуллаева М. Н., 279
Адамец П., 297, 302, 377
Адмони В. Г., 13, 14, 169, 172, 252, 303–305, 320, 376, 378, 386, 391–394
Акаткин В. М., 114
Акимова Т. Г., 35, 36, 197, 202, 207
Акишина А. А., 391
Аксаков К. С., 173, 201, 202
Акуленко В. В., 151
Анисимова Н. П., 103
Анисимова Р. В., 114
Антонов И. К., 114
Апресян Ю. Д., 63, 341, 412
Арама Е. Б., 418
Арутюнова Н. Д., 156, 293,
Афифи С. Н., 48
Ахманова О. С., 158, 164 316, 330, 382, 412, 413, 416

Бабайцева В. В., 238
Бабенко Л. Г., 105
Баженов М. Н., 115
Базжина Т. В., 380
Бакаев Ч. Х., 278
Балли Ш., 152, 191, 274, 336, 386, 412
Баранов А. Н., 381, 383, 386–388, 396, 420
Барбачаков А. С., 114
Барентсен А. А., 37, 48, 66, 196
Бахтин М. М., 295, 412, 413
Бегун Б. Я., 114
Белецкая О. Д., 391
Беличова-Кржижкова Е., 160, 298, 309, 328
Белнап Н., 381
Беловольская Л. А., 151, 155
Белошапкова В. А., 293, 298, 300, 309, 323
Бельская Е. В., 151
Бенвенист Э., (*см.* Benveniste E.) 26
Бергельсон М. Б., 322
Березин И. Н., 72, 278
Беренштейн Е. П., 114
Беркович М., 114
Бирюлин Л. А., 234
Богнер И., (*см.* Bogner I.) 249
Богоявленский Д. Н., 351
Бодуэн де Куртенэ И. А., 282, 346, 357
Бойко А. А., 235
Болдырев Н. Н., 107, 155, 329
Бондарко А. В., 18–20, 23, 25, 45, 88, 89, 103–105, 107, 109, 124, 128, 129, 139, 148, 154, 155, 158, 177, 207, 219, 224, 234, 236, 244, 252, 256, 279, 328, 329, 334, 345, 349, 352, 375
Борисова И. Н., 294
Браун Р., (*см.* Brown R.) 362
Бровеев О. Г., 391
Булыгина Т. В., 108
Бюлер К., 320, 324

Валгина Н. С., 150

Валимова Г. В., 391, 392
Ванников Ю. В., 297
Вахтель Н. М., 313
Вежбицкая А., 150, 152, 153, 163, 234
Вейлерт А. А., 247
Величковский Б. М., 273
Викторова Е. Ю., 391
Вимер Б., 418
Виноградов В. В., 12, 13, 114, 116, 131, 170, 182, 299–301, 304, 325, 326, 412
Винокур Г. О., 116, 117
Витгенштейн Л., (*см.* Wittgenstein L.) 17, 109
Воейкова М. Д., 89, 105, 194, 197, 202, 363, 364, 395
Волощук Е. В., 114
Вольф Е. М., 157, 168, 248, 249, 412
Воробьева Л. В., 151
Воротников Ю. Л., 151, 155
Всеволодова М. В., 107, 108
Выготский Л. С., 382, 416

Гавранек Б., (*см.* Havránek B.) 225
Гаврилова Г. Ф., 151
Гаврилова Т. О., 382
Гагарина Н. В., 364
Гак В. Г., 256, 305–307, 310, 330, 412
Галактионова И. В., 377–379, 391
Гаспаров Б. М., 326
Гассер М., (*см.* Gasser M.) 201–203
Гастева Н. Н., 391, 392
Гаузенблас К., 104, 297, 302
Гвоздев А. Н., 353, 368, 417
Гегель Г. В. Ф., 253
Герасимова А. С., 151
Герасимова Л. Я., 416
Гивон Т., (*см.* Givón T.) 16, 17
Гин Я. И., 127, 349
Гиро-Вебер М., (*см.* Guiraud-Weber M.) 197
Гловинская М. Я., 207
Го Шуфень, 107, 108
Голицына Т. Н., 313
Горелов И. Н., 319, 320
Городецкий Б. Ю., 391
Гриднева Т. В., 151, 163
Гримм Я., 188
Грюнберг А. Л., 278
Громова О. Е., 380
Гулыга Е. В., 13, 389, 390
Гумбольдт В., 307
Гузев В. Г., 278
Гухман М. М., 13, 390, 393, 394

Данеш Ф., (*см.* Daneš F.) 12, 104, 297, 302
Дементьев В. В., 295
Демьянков В. З., 108
Дешериева Т. И., 413
Джонсон Д., (*см.* Johnson D.) 337
Дмитровская М. А., 412
Добрушина Е. Р., 377–379, 391, 395, 400
Дресслер В. У., 196, 364
Душечкина Е. В., 124
Дымарский М. Я., 331
Дюрье Г., 196

Едличка А., 225
Елисеева М. Б., 364
Ермакова А. Н., 151
Ермакова О. П., 391
Ермолаева Л. С., 234
Ерофеева Е. А., 151
Есперсен О., 388

Живов В. М., 12
Жирмунский В. М., 115, 247

Залевская А. А., 107
Зализняк А. А., 348, 412
Звегинцев В. А., 309
Зеленщиков А. В., 263
Земская Е. А., 391
Золотова Г. А., 110, 114, 234, 293, 296, 300, 334, 345, 361, 412, 415
Зорихина-Нильссон Н. В., 48
Зубова Л. В., 115, 349, 368, 373

Иванов Вяч. Вс., 114, 123
Иванова И. П., 233
Иванчикова Е. И., 412
Игнатюк Ю. С., 234
Ильенко С. Г., 296, 297, 302, 410, 412
Исаченко А. В., 22, 25, 117
Ицкович И. А., 339, 340

Йокояма О., 340, 391

Кадыров Ш. К., 48
Казаковская В. В., 382, 384, 391, 396, 404, 409, 413, 417
Казанцева Л. В., 114, 129
Караулов Ю. Н., 355
Карповская Н. В., 151
Касевич В. Б., 259, 334
Кацнельсон С. Д., 174–176, 179, 334, 348, 375, 379, 401
Квасова Л. В., 114
Кедров Б. М., 171
Кибардина С. М., 334
Кибрик А. Е., 322, 335, 341
Кинэн Э., (*см.* Keenan E.) 336, 337
Киселев С. А., 293
Китайгородская М. В., 413
Кихней Л. Г., 115
Клобуков Е. В., 104
Князев Ю. П., 91
Кобозева И. М., 381, 383, 386–388, 391
Кобрина Н. А., 234
Ковтунова И. И., 302
Кодухов В. И., 311
Кожевникова Н. А., 412
Козинцева Н. А., 35, 36, 69, 197, 202, 207
Козинский И. Ш., 337, 342
Колесникова С. М., 151, 155, 156
Колосова Т. А., 104, 412
Комиссаров Л. М., 114
Комри Б., (*см.* Comrie B.) 335, 337
Кондаков Н. И., 253, 256
Копечный Ф., (*см.* Kopečný F.) 231
Королькова А. В., 234, 235
Костомаров В. Г., 150
Котнюк Л. Г., 151
Кохтев Н. Н., 295
Красных В. И., 391
Краузе М., 400, 418
Крейдлин Г. Е., 420
Кронгауз М., 370
Кубрякова Е. С., 15, 108, 156, 157, 352, 401
Кузина Н. В., 114
Кузнецова Э. В., 157
Кузнецов С. Н., 157, 301
Кузьмина Т. В., 382
Кумахов М. А., 278

Лакофф Дж., (*см.* Lakoff G.) 15, 16, 104, 108–110, 112, 262
Лангаккер Р. В., (*см.* Langacker R. W.) 15
Латощенко Ю. В., 391
Лебедева Г. Ф., 89
Лебедева Е. И., 416

Лебедева Л. А., 163
Левин Ю. И., 114, 116
Левицкий Ю. А., 301
Лекант П. А., 309, 378, 381, 390, 391, 398, 415
Лексина Е. В., 151, 164
Леонтьев А. А., 373
Леонтьева А. Ю., 114
Лийв С. С., 234
Лисина М. И., 416
Ломтев Т. П., 256, 293
Лоренц К., 321
Лосев А. Ф., 13
Лотман М. Ю., 122, 123, 127
Лотман Ю. М., 412
Лукьянова Н. А., 153, 157, 161
Люблинская В. В., 400

Магун А., 114
Максимова Т. Д., 234
Мальчуков А. Л., 30
Маманова Г. И., 151
Маслов Ю. С., 87, 88, 91, 92, 131, 224, 244
Матвеева Т. В., 295
Матезиус В., 156, 306
Матханова И. П., 106, 110, 111
Медриш Д. Н., 123
Мейор А. Г., 114
Мелиг Х. Р., 382
Мельчук И. А., 29, 197
Менар Ф., (*см.* Ménard Ph.) 267
Меновщиков Г. А., 278
Менчинская Н. А., 368, 369
Миллер Б. В., 278
Мирза Джафар, 278
Михайлов В. А., 177
Михайлова Е. М., 114
Мишайкина М. Н., 114
Морозова О. Н., 391
Москальская О. И., 124
Мусиенко В. П., 151
Мухин А. М., 293
Мыркин В. Я., 247

Напетваридзе Л. Д., 248–250
Нарустранг Е. В., 247
Насилов Д. М., 278
Насрулаева С. Ф., 114
Недялков В. П., 31
Недялков И. В., 242
Нейленко Л. Л., 391
Неласова Е. В., 234
Неуступный И., (*см.* Neustupný J.) 12
Никитина Э. Г., 48
Николс Дж., (*см.* Nichols J.) 197
Норман Б. Ю., 293

Овчинникова И. Г., 418
Огольцов В. М., 163
Озаровский О. В., 378, 391
Ом Сун Чон, 391
Онипенко Н. К., 415
Отаина Т. А., 31
Оцуки А., 114

Павлов В. М., 14, 177, 179, 184, 189,
Падучева Е. В., 26, 49, 53, 105, 117, 339, 391, 412
Панова Л. Г., 114, 116, 119, 134, 335
Панфилов В. З., 278 191–193, 195, 198, 210, 233, 252
Петрова Н. Г., 391
Петрова Н. Н., 114
Петрухина Е. В., 221, 224, 232
Пешковский А. М., 219, 234, 339
Пиаже Ж., 406, 416
Плунгян В. А., 396
Полянский А. Н., 151, 164
Попова М. И., 368
Поройкова Н. И., 379, 390, 391

Поспелов Н. С., 128, 131
Потебня А. А., 123, 177, 373
Поцелуевский Е. А., 192
Прусакова О. А., 416
Пупынин Ю. А., 37, 87, 91, 197

Распопов И. П., 293
Рассудова О. П., 223
Расторгуева Т. А., 234
Рахилина Е. В., 15, 109, 200, 212, 396
Ревзин И. И., 278
Редькин В. А., 114
Репина Т. А., 272
Рестан П., 381
Рождественский Ю. В., 310, 317
Розанова Л. Г., 391
Розанова Н. Н., 413
Романов А. А., 391
Рош Э., (*см.* Rosch E.) 15, 103, 108, 109
Рсалдинов К. Т., 151
Рубинчик Ю. А., 278
Рулева М. А., 110
Румянцева И. М., 360
Рустамов Ш., 279
Рябцева Н. К., 412

Сабанеева М. К., 253, 256, 265, 268, 272
Сабурова И. Г., 391
Садовская Г. Н., 151, 164
Саенкова Н. А., 48
Сафонова С. С., 151, 158, 165
Свиридова Т. М., 378, 390, 391, 393, 395, 398, 399
Седов К. Ф., 418
Седых О. М., 114
Семейко А. М., 151
Семчук Ю. О., 114
Сергеев А. И., 391
Сергеева Е. Н., 151
Сергиенко Е. А., 416
Сидорова М. Ю., 415
Сильман Т. И., 123
Сиротинина О. Б., 391–393, 395, 417
Скаличка В., (*см.* Skalička V.) 297
Скорик П. Я., 192
Скребнев Ю. М., 312
Скребцова Т. Г., 15
Слобин Д., 352, 361, 364
Смирницкая С. В., 245
Смирницкий А. И., 177, 178
Смирнов А. А., 114
Смирнов И. Н., 133, 202
Смирнова И. А., 279, 285
Смит Л., (*см.* Smith L.) 201–203
Соколова В. С., 278, 279
Солнцев В. М., 328
Соловьева А. К., 410
Стеблин-Каменский М. И., 301
Степанов Ю. С., 152
Степанова Е. Б., 377, 382, 386, 388, 389
Стил Т., 381
Столярова И. В., 418
Суворина К. М., 151
Сусов И. П., 309, 312
Сущинский И. И., 151, 160

Тарановский К., 114
Таривердиева М. А., 254
Телетова Н. К., 114
Теньер Л., 336
Тестелец Я. Г., 298, 337, 342, 343
Титова Л. Г., 151
Тома Ф., (*см.* Thomas F.) 254
Томазелло М., (*см.* Tomasello M.) 350
Топоров В. Н., 114
Трофимов В. А., 59
Трошкина А. Н., 151

Трубецкой Н. С., 297
Туранский И. И., 151
Тэк-Гю Хонг., 223

Убин И. И., 151, 160
Угланова И. А., 418
Узнадзе Д. Н., 307
Успенский Б. А., 12, 412

Фасмер М., 153
Фаустов А. А., 114
Фетискина М. Д., 151
Формановская Н. И., 321, 391
Фортунатов Ф. Ф., 282
Фрумкина Р. М., 152, 416
Фэвр-Дюпэгр А., 114

Халина Н. В., 114, 151
Хализева В. С., 48
Холодов Н. Н., 380
Холодович А. А., 256, 278
Храковский В. С., 30, 35, 36, 48, 49, 54, 81, 326
Хэррис З. С., 342

Цвинария М. Е., 258
Цейтлин С. Н., 263, 308, 352, 369, 382, 402
Цой Т. А., 151, 164

Ченки А., 16, 109, 110
Червенкова И. В., 151
Чередниченко В. И., 114
Черемисина М. И., 412, 416
Черемисина Н. В., 104
Черных П. Я., 153
Чистович И. А., 194

Шапиро Я. Н., 194
Шатуновский И. Б., 412
Шахматов А. А., 311
Шахнарович А. М., 418
Шведова Н. Ю., 292, 293, 300, 310, 331, 333
Шейгал Е. И., 151, 152, 155
Шендельс Е. И., 13, 389, 390
Широканов Д., 253
Широкова А. Г., 224
Ширяев Е. Н., 296, 297, 302, 391
Шмелев Д. Н., 309, 413
Шмелева Т. В., 412
Шмид Х., 249
Шмитт Т., 204
Шубик С. А., 245
Шутова Е. И., 234

Щерба Г. М., 256
Щерба Л. В., 108, 299, 300, 348
Щур Г. С., 13

Эдельман Д. И., 192, 278, 282
Эйхенбаум Б. М., 115, 123, 125
Эйюби К. Р., 279, 285
Эрну А., 254

Юсупова З. А., 285

Ягунова Е. В., 396
Яхонтов С. Е., 24
Якобсон Р. О., 116, 168, 203, 220, 373
Якубинский Л. П., 401
Янко-Триницкая Н. А., 342
Янко Т. Е., 340, 382

Aksu-Koç A., 420

Barbieri M. S., 418
Barnes S., 383
Baron-Cohen S., 416

Bartschaft B., 48
Bascelli E., 418
Bassano D., 418
Benedict H., 383
Benveniste E., 271
Berko-Gleason J., 351
Bhat D. N. S., 203
Blackburn F., 245
Blasé H., 265
Bloom L., 276, 382
Bogner I., 249, 250
Brandt W., 245, 246
Brinkmann H., 247
Brooks P., 349
Brown R., 362
Buscha J., 244, 247

Choi S., 420
Clancy P., 271
Coates J., 418
Comrie B., 335, 337, 343
Costello D. P., 48

Dal I., 244
Daneš F., 12, 252, 297, 302
Dore J., 382

Ernout A., 254, 258
Ervin-Tripp S., 382

Fedorova O., 349
Ferguson C. A., 383
Flavell J. H., 416
Fleischman S., 418
Furrow D., 383

Gagarina N., (*см.* Гагарина Н. В.) 206
Galloway C., 383
Gasser M., 194, 202
Givón T., 15, 17, 252
Gleitman H., 383
Gleitman L. R., 383
Gruzincev S., 206
Guiraud-Weber M., 337, 338, 341

Handford S. A., 264
Harris Z. S., 241, 342
Havránek B., 225, 231
Helbig G., 244, 247
Hinsdale E., 246
Hirts W., 420
Hoff-Ginsberg E., 383
Horn P., 278

Ingram D., 382

Johnson D., 335, 337
Justi F., 278

Kalinovski G., 256
Kantorczyk U., 197
Karcevski S., 259
Kazakovskaya V., (*см.* Казаковская В. В.) 382
Keenan E., 335, 336, 338
Kempe V., 203, 349
Ketchian S., 114
Kopečný F., 231
Kuczaj S., 418

Lagatuta K. H., 416
Lakoff G., 15, 16
Langacker R. W., 15
Lazard G., 278
Leiss E., 245, 249
Leumann M., 271
Levy Y., 353
Lieven E. V. M., 382

Ménard Ph., 267

Mac Kenzie D. N., 278
MacWhinney B., 203
Maratsos M. P., 418
Mathesius V., 156
McLaughlin B., 352
Miller W., 382
Mironova N., 349
Mrazek R., 342

Nelson K., 383
Neustupný J., 12
Newport E. L., 383
Nichols J., 197
Ninio A., 382

Orban C., 114

Palmer F. R., 258
Pavlov V. M., (*см.* Павлов В. М.) 189
Pinker S., 418
Pottier B., 256

Richards B. J., 383
Rosch E., 103

Saltveit L., 246, 249
Schmid H., 246, 249
Schmitt T., 204
Sehrt E., 246
Shatz M., 383
Skalička V., 297
Slobin D., (*см.* Слобин Д.) 420
Smith L., 194, 202
Snow C. E., 382, 383
Stephany U., 418, 420
Sweetser E. E., 418

Terras V., 114
Tesnière L., 336
Thieroff R., 247
Thomas F., 254, 258
Timberlake A., 339
Tomasello M., 350, 380, 382, 418
Traugott E., 418

Uspensky B. A., (*см.* Успенский Б. А.) 12, 13

Verheul K., 114
Voeikova M. D., (*см.* Воейкова М. Д.) 202, 206

Walde A., 254, 258
Weil J., 420
Wellman H. M., 416
Wells G., 383
Wittgenstein L., 17

Yevseyev V., 31
Yokoyama O., (*см.* Йокояма О.) 340

Zhivov V., (*см.* Живов В. М.) 12, 13

Предметный указатель

Агенс, 34, 44, 45, 70, 236, 256–260, 262, 263, 334, 337–339, 342, 343, 364
Актант, 48, 63, 236, 336–342, 344, 345, 350
Активность / пассивность, 21, 23–25, 169, 224, 257
Артикль, 186–188, 190, 191, 196, 204, 285
Аспектуальность, 18, 219, 222, 234
Атрибут, 27, 108, 110, 169, 176, 178, 181–183, 185–191, 405
  предметно-относительный, 169
  препозитивный, 186, 188, 190

Бенефициант, 340
Безличность, 26, 27, 234, 236, 238, 256, 344
Бытийность, 18, 89, 104

Вариант, 13, 19, 20, 58, 64–66, 86, 92, 94, 96, 99, 101, 108, 118, 119, 126, 129, 130, 132, 133, 137, 138, 140, 148, 149, 151, 177, 181, 189, 201, 206, 241, 242, 254, 268, 269, 279, 286, 287, 294, 302, 317, 319, 328, 329, 331, 345, 362, 402, 410, 413, 414, 419, 423
Вневременность, 128, 132, 133, 141, 145, 149
Вопрос
  модусный, 384
  негативный, 388, 389
  общий, 377, 378, 381, 383, 384, 386–389, 396, 402, 403, 408, 423
  позитивный, 388
  риторический, 118, 223
  удостоверительный (верификативный), 388
  частный, 194, 377, 386, 404
Время, 18, 29, 32, 33, 92, 93, 114, 115, 120–122, 125, 127–131, 136, 141–143, 148, 173, 180, 181, 194, 219, 226, 227, 244, 247, 250, 253, 265, 268, 272, 298–300, 319, 323–326, 330, 352, 382, 384, 419
  будущее, 32, 64–67, 94, 101, 117–125, 128, 134–137, 139–141, 149, 196, 231, 232, 244–250, 257, 268–272, 336
  настоящее, 13, 14, 32, 67, 117–126, 128–130, 133, 134, 140, 147, 148, 210, 211, 246, 248, 355
  прошедшее, 32, 64, 66, 67, 87–91, 94, 117–125, 127, 128, 132, 134, 135, 137, 139, 140, 146, 148,

149, 220, 222, 231–233, 244, 319, 336, 348, 351, 354, 357, 358, 366, 367
Высказывание, 12, 18, 19, 22, 46, 82, 92, 104–107, 110, 112, 118, 155–158, 163, 166, 168, 169, 171, 181, 193–195, 197, 198, 200–202, 205, 208, 214, 215, 219, 222, 225, 232, 233, 242, 256, 268, 272–275, 292–310, 312–315, 317–332, 341, 342, 346, 354, 355, 362, 363, 366, 372, 373, 376, 377, 381, 384, 386, 390, 392, 398, 399, 401, 412, 413, 415, 418, 420, 421
бикоммуникативное, 330
гиперкоммуникативное, 330
транскоммуникативное, 330
верификативное, 377

Гиперболизация, 158
Глагол, 14, 18, 20, 22, 25–27, 29, 32–36, 40, 41, 44, 47–49, 52, 54–80, 84, 85, 87–90, 92–101, 107–109, 111, 117, 119–125, 127–136, 139–141, 148, 160, 161, 164–167, 174, 194–196, 204, 205, 207, 208, 219–241, 244–247, 250, 254–268, 270–275, 281, 282, 291, 297, 300, 316, 324, 333–342, 344, 348–354, 357, 358, 364, 366, 367, 370, 378, 395, 415
имперфективный / перфективный, 244–246, 250
переходный / непереходный, 89, 90, 257, 337, 340, 341
Голофраза, 366, 384, 401, 404
Говорящий, 16, 26, 42, 43, 60, 92–94, 100, 105, 107, 110, 112, 123, 128, 153, 154, 157–160, 166, 168, 169, 178, 194–196, 198–200, 205, 209, 212, 214, 219, 220, 223, 231, 233, 247, 264, 268, 269, 272, 273, 289, 295, 298–300, 310, 311, 313, 314, 325, 327, 329–331, 340, 354, 357, 358, 377, 378, 381, 382, 384, 386–388, 393, 394, 396, 399, 401, 409, 411–415, 418, 420, 421, 424
Грамматикализация, 249, 250, 285, 287

Деепричастие, 32–36, 120–125, 132, 137, 145–147, 207, 338–343
Деиконизация, 259
Дейксис, 92–95, 100, 101, 320
Делимитатив, 225–227
Диалог, 71, 93, 94, 142, 293, 294, 296, 303, 314, 316, 317, 347, 366, 376–389, 391–402, 404, 408–416, 418–423
Диалогическое единство, 304, 305, 313, 324, 326, 354, 377, 380–382, 392, 394, 408, 423
Диктум, 44, 274, 395, 398–400, 402, 406, 407, 410–412, 415, 416, 424
Дискурс, 41, 152, 386, 396

Залог, 18, 20–23, 25, 256

Залоговость, 18
Значение, 13–16, 24–27, 29–32, 36, 47, 49, 51–54, 56, 57, 59, 62, 63, 66, 68–72, 78, 86–88, 90–95, 98, 101, 105, 106, 110–113, 116, 118–122, 124–129, 131, 136, 137, 139–149, 152, 153, 156–169, 172–180, 182–186, 188, 190–193, 195, 197, 200, 204–207, 210, 219–222, 224–232, 238, 240, 244–248, 252, 257–259, 263–265, 267–269, 272, 273, 277–285, 287, 289, 290, 293, 296, 299–301, 308–310, 320, 323–326, 334, 370, 371, 373, 378, 381, 386, 388–390, 392, 394–401, 415, 420
  актуализованной единичности, 279, 289
  грамматическое, 257, 268, 280, 282, 286, 300, 319, 330
  категориальное, 20, 178, 220, 309
  лексическое, 91, 95, 104, 105, 107, 112, 151, 160, 173–179, 184, 256, 258, 263, 267, 272, 281, 284, 285, 342, 398
  модальное, 111, 240, 259, 326, 327, 381, 390, 391, 419
  общее, 48, 389
  общефактическое, 220, 222, 223
  перфектное, 86–92, 94–97, 101, 124, 127, 128, 131, 132, 135, 145, 148, 149, 319
функция, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 49, 54, 57–59, 62, 63, 94, 103, 104, 124, 128, 148, 150, 155–158, 164, 168, 169, 176, 178, 180, 182–186, 191, 193, 194, 197, 200, 205, 220, 226, 232, 234, 236, 245, 247, 248, 259, 261, 267, 273, 274, 280, 281, 286–289, 292, 295, 296, 298, 304, 310, 312, 313, 317, 329, 330, 334, 335, 338, 343, 348, 352, 355, 359, 361, 364, 377, 382–385, 396, 397, 402, 412, 417–420, 423
  дейктическая, 129, 348–350, 356
  коммуникативная, 292, 298, 301, 310, 312, 313, 317, 318, 322, 323, 329–332

Идентификация, 95, 119, 337, 347, 356, 404
Идиостиль, 114, 116, 123, 124, 126, 128, 131, 136, 148
Имитация, 400, 401, 405
Имя, 62, 69, 70, 73, 74, 77–80, 82, 84, 109, 120–122, 164, 167, 169, 170, 173–178, 180, 186–188, 190, 194, 196, 202, 206, 207, 209, 215, 233, 257, 260, 261, 277–291, 333–338, 341, 342, 350, 359, 360, 384, 398
  личное, 278, 280, 305
  нарицательное, 186, 187
  предметное, 180, 260, 278, 279, 284–287, 289
  собственное, 84, 175, 191

Инновация, 116, 351, 364, 365, 373
Инпут, 319, 346, 347, 352, 354, 359, 360, 364, 366–369, 372, 382, 420
Интенсификация, 150, 152, 154–160, 162–168
Интенсификат, 159, 160, 166
Интенсификатор, 151–155, 157, 159–161, 163, 166, 167
Интенсивность, 13, 150–162, 165, 166, 173, 177, 185, 227–229, 261, 376, 390
Инвариант, 20, 49, 103, 104, 106–108, 113, 319, 327–329

Категория, 12–17, 20–23, 25, 28, 29, 103, 104, 106, 107, 110, 151, 152, 154–158, 161, 166, 173, 177, 181, 186, 190, 202, 219, 234, 247, 252, 253, 256, 263, 265, 272, 277–279, 283, 284, 286, 287, 291, 299–301, 311, 320, 324, 325, 334, 346–349, 351–353, 355, 357, 358, 362–364, 367, 370, 372–375, 378, 379, 388, 399, 413, 418
грамматическая, 12, 14, 18, 20, 26–29, 104, 105, 258, 280, 282, 283, 299–301, 335, 346, 349, 386
семантическая, 15, 17, 19, 27, 103, 105, 108, 110, 113, 151, 152, 154–158, 234, 236, 252, 263, 268, 334, 369, 370, 382, 424
Категоризация семантики, 28, 105
Качественность, 18, 104, 105, 154–156, 170, 172, 173, 178, 193–195, 197, 198, 200, 202–204
Качество, 14, 15, 59, 105, 122, 127, 151, 152, 154–157, 165, 170, 173–176, 182–184, 193, 201, 218, 345, 355, 356, 362, 403, 404
Класс, 12, 16, 20, 21, 23, 26, 48, 105, 106, 108, 109, 113, 157, 169–172, 175–177, 180, 181, 183, 194, 197, 201, 204, 205, 211, 278–280, 285–289, 328, 349, 353, 357, 364
грамматический, 89, 173, 174, 176, 194
предметный, 175, 181
согласовательный, 348, 357, 358, 375
Количественность, 18, 154–156, 277–279, 284, 286, 287
Коммуникативная компетенция, 377, 380–382, 393, 400, 401, 407, 409, 412, 417, 421
Коммуникативная неудача, 312, 317, 318, 391, 408, 410
Коммуникативность, 292, 298, 310, 312, 322–329, 331
Компаративность, 154–156
Композит, 187–191, 198, 202–205, 208, 212
Конструкция, 16, 21–25, 29, 32, 33, 35–45, 47–74, 77, 78, 82, 85, 86, 88, 91, 93, 103–113, 117–125, 127, 128, 130, 137–140, 143–148, 165, 189–192, 194, 195, 197, 205, 207, 221, 223, 224, 229, 233, 235–240, 245–250, 254, 256–259, 261–265, 268,

269, 271, 272, 281, 284, 313, 319, 330, 331, 333, 336–341, 344, 385, 391, 393, 394, 396–398, 414, 415, 417, 421, 423, 424
односубъектная, 59, 64
описательная, 245, 246, 264
пассивная, 23, 24, 45, 88, 237, 337, 342
таксисная, 36–38, 41, 43–48, 69, 70, 72, 77, 78, 82, 84, 85
Контекст, 56, 62, 90, 96–101, 112, 118, 119, 123, 124, 129, 130, 136, 137, 139, 168, 179, 183, 186, 197, 204, 206, 211, 213, 214, 219–229, 232, 235, 246, 247, 259, 261, 265, 269, 281, 282, 284, 288, 289, 294–296, 300, 304, 308, 309, 325, 326, 334, 336, 338, 342, 344, 347, 351, 354, 359, 371, 374, 375, 389–391, 393, 396–398, 400, 413
минимальный, 220, 244, 246
расширенный, 221, 222
Континуальность, 12, 15, 171, 397, 414
Конверсия, 372
Корреляция, 280, 282–284, 286, 353, 372, 375
односторонняя, 284
Коррелят, 226, 348, 349, 356–358, 371, 372, 374, 416
Квазислово, 351

Лицо, 18, 20, 21, 25–28, 64, 110, 118, 175, 186, 193–196, 198, 206, 208, 212, 214, 233, 246, 247, 258, 260, 261, 265, 269, 277–280, 287, 288, 299, 300, 311, 324, 325, 336, 356, 370, 371, 375, 395, 403, 412–414
Локативность, 18, 110, 382

Маркированность / немаркированность, 109, 164, 166, 225, 280, 342, 356, 417
Ментальный лексикон, 212, 216, 347, 355, 358, 361
Мера признака, 151, 152, 155, 156, 158, 164
Местоимение, 26, 27, 64, 70, 73, 75, 77, 169, 187, 190, 204, 208, 240, 246, 256, 262, 269, 281, 282, 284–287, 305, 315, 324, 325, 338, 339, 346, 348–351, 356–358, 366, 374, 375
Микрополе, 25, 234, 238, 252, 258, 262, 268, 275, 389
Модальное будущее, 245, 247, 248, 250
Модальность, 13, 18, 234, 253, 258, 260, 263, 272–274, 299, 300, 303, 307, 314, 324, 327, 378, 381, 386, 418
деонтическая, 240, 253, 256, 258, 418
субъективная, 378
эпистемическая, 274, 418, 419
Модус, 44, 272, 274, 308, 323, 330, 377, 379, 381, 384, 385, 389, 393, 395–399, 402, 406, 407, 409–424
Модусная рамка, 323, 379, 384, 385, 393, 395–397, 403, 407, 409, 412, 413, 415–419, 421–424

Мотивированность
семантическая, 347, 356, 357, 375

Нситель предикативного признака (НПП), 21–25, 233, 334, 335, 344, 345

Обусловленность, 18, 382, 399, 406
Объектность, 18, 382
Однократность / неоднократность, 220
Одновременность / неодновременность, 29–32, 47, 49, 52, 54, 68, 220
Онтогенез речи, 379, 381
Определенность / неопределенность, 12, 18, 23, 26, 174, 183, 184, 187, 223, 281, 282, 291, 302, 308, 320, 370, 386, 413
Ответ, 173, 194, 209, 303, 326, 376–380, 382–386, 388–398, 400–412, 422–424
полный / неполный, 401, 408
положительный / отрицательный, 223, 398

Пациенс, 44, 236, 256, 257, 260
Парадигма, 16, 188, 203, 244, 246, 250, 280, 350, 351, 356, 357, 359–361, 363–367, 369–371, 391, 412, 414
Перфектность, 86–93, 95, 96, 98–101
акциональная, 95, 100
статальная, 95, 130
Периферия, 12–15, 17, 18, 20, 25–29, 88, 103, 112, 113, 117, 123, 128, 148, 154, 159, 165, 166, 184, 233, 234, 236–238, 245–248, 250, 252, 256, 258, 262, 263, 275, 279, 289, 290, 293, 345, 347, 386, 389, 390, 393, 394, 397, 413, 415, 421, 423, 424
Перифраза, 245, 246, 248, 249, 312
Персональность, 18, 20, 25–28, 116, 234, 256
Подлежащее, 21–23, 25–27, 35, 45, 62, 118, 169, 171, 233, 238, 246, 257, 259–262, 280, 283, 290, 294, 302, 333–345
Поле, 13–15, 17–20, 25–29, 86–91, 103–105, 107, 108, 112, 113, 116, 117, 128, 146, 148, 155, 158, 159, 164, 165, 169, 170, 182, 183, 191, 193, 219, 234, 244, 247, 248, 252, 274, 277–279, 284, 286, 287, 320, 345, 376, 378, 389, 390, 393, 394, 414, 417, 423, 424
Полевая структура, 12–15, 17, 19–21, 23, 25, 26, 28, 86–88, 134, 171, 184, 191, 233, 252, 293, 345, 346, 376, 378, 386, 387, 389, 390, 394, 400, 413
Посессивность, 18, 104, 112, 203, 382
Повтор, 110, 134–137, 145, 165, 327, 330, 331, 352, 383–385, 393–396, 399, 400, 402, 405, 407–409, 411, 424
дополняющий, 395
исправляющий, 395, 409
синонимический, 395

точный, 392, 395, 405, 411, 424
Повторяемость, 133, 141, 149, 210, 224, 232
Предел, 13, 16, 53, 70, 77, 95–98, 100, 101, 105, 143, 161, 177, 179, 188, 190, 206, 213, 221, 226, 227, 229, 283, 288, 302, 353, 362, 363, 370, 393, 423
Предикандум, 22, 169
Предикат, 22, 89, 101, 105, 106, 117, 120–122, 124, 135, 138, 143, 180, 194, 202, 219, 241, 253–255, 262, 269, 271, 273, 274, 333, 334, 338, 341, 395, 405, 413, 422, 423
Предикатив, 14, 18, 22, 110, 117, 170, 202, 233, 235, 299, 301, 304, 309, 311, 318, 319, 323–327, 329–331, 333–335, 338, 341, 354, 360
Предикативность, 293, 298–301, 304, 307–310, 323–332, 342, 413
Прилагательное, 92, 108, 113, 119, 143, 145, 151, 154, 160, 164, 167, 169, 170, 172, 173, 177–180, 182–184, 191, 194–197, 199–203, 206, 208–212, 214–216, 218, 263, 281, 282, 291, 305, 336, 348, 350, 351, 353, 354, 364, 366, 375
качественное, 170, 172, 173, 176–178, 180, 183–185, 193, 201, 202
относительное, 14, 170, 179–186, 191, 193, 203
Проспективность, 272, 274
Протосистема, 365, 375
Прототип, 15, 17, 20, 23, 103, 104, 107–109, 112, 113, 129, 132–134, 149, 262, 327–329, 338
Прототипический подход, 14–16
Прототипичность, 16, 17, 20, 92, 108, 109, 293, 328, 347, 349, 374, 392
Протознак, 380, 383, 404, 411, 424
Псевдовопрос, 379

Референция, 175, 181, 182, 338, 339, 401
Референт, 37, 39, 43–45, 157, 158, 180, 181, 185–187, 190, 220, 306–308, 327, 333, 358, 370
Референтность / нереферентность, 181
Релятив, 212, 389, 392–399, 404, 405, 408, 409, 411, 424
Реплика, 94, 264, 293–295, 303, 313–319, 323–325, 377–382, 384, 385, 387, 391, 393–399, 401, 402, 405–410, 416, 417, 420–422, 424
инициативная, 377, 379, 395, 400, 403, 405, 408, 423
констатирующая, 379
ответная, 94, 326, 354, 377, 383, 393, 394, 396–398, 400, 401, 404, 405, 407, 409, 411, 412, 422, 423
побудительная, 379
вопросительная, 326, 387
Результативность / нерезультативность, 96, 165, 220, 221

Речевой акт, 260, 261, 264, 296, 302, 310, 313, 383, 388, 391, 396, 399, 401
Речь, 12, 19, 26, 29, 32, 33, 92–96, 100, 101, 105, 128–130, 132, 141, 143, 150, 158, 160, 167, 193, 200, 203–205, 208, 210, 212, 215, 222, 230, 242, 246–248, 250, 253, 254, 264–270, 274, 287, 288, 292–302, 306, 309–311, 316, 317, 319, 320, 325, 326, 341, 346–348, 351, 352, 354, 355, 359–362, 364–369, 371, 373, 376–379, 381, 382, 385, 387, 388, 390–394, 396, 404, 405, 407–409, 411–421, 423, 424
  прямая, 142, 335

Семантический примитив, 152, 153
Симплификация, 352
Синкрет, 379, 401, 404
Ситуация, 19, 29–46, 48–60, 62–65, 67–82, 84–86, 95–102, 104, 106, 110–113, 119, 127, 129–131, 134, 137, 140, 147, 148, 150, 153, 154, 156–159, 164, 168, 194, 199, 205, 220–222, 228, 234–241, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 263–265, 268, 269, 287, 296, 298, 300, 304–309, 311–313, 318–320, 323, 326, 327, 329, 330, 347, 354, 369, 378, 379, 382, 383, 388, 389, 391, 393, 395, 396, 400–405, 408, 410, 412, 418, 419, 421, 423, 424
  категориальная, 17, 19, 252, 279
  речевая, 86, 92, 179, 247, 326, 338, 351, 410, 418
Следование, 19, 29–32, 35, 36, 38, 41, 47, 57, 59, 63, 68–72, 74, 84, 139, 207
Словосочетание, 14, 22, 104, 154, 160, 166, 169, 176–180, 182–190, 198, 205, 212, 213, 215, 231, 298, 324, 354, 360, 401
  определительное, 169, 176, 179, 180, 182, 183, 187
  усилительное, 151
Слушающий, 26, 90, 92–94, 154, 157, 194, 310, 313, 327, 329, 358, 386, 396
Содержание, 14, 26, 87, 91, 92, 95, 112, 116, 117, 131, 137, 151, 155, 156, 163, 173–177, 179, 180, 183–185, 187, 192, 195, 198, 252, 253, 265, 272, 290, 295, 300, 302, 307, 308, 311–314, 318, 320–324, 327, 328, 352, 353, 363, 369, 371, 375, 378, 381, 386, 387, 389, 396, 398, 400, 412, 413, 416
  семантическое, 172, 178–180, 184, 187
  структурное, 352
Согласие / несогласие, 254, 294, 333, 376–381, 383, 384, 386, 389–400, 402–412, 414, 417, 420, 423, 424
  неполное, 390, 393, 398, 402, 409
  полное, 390, 402, 424
Согласование, 219, 334, 336, 339, 342, 343, 348, 349,

351, 354, 357, 360, 369, 371, 374, 375, 388, 419
формальное, 360, 374
семантическое, 219, 221, 222
Состояние, 14, 24, 59, 89, 90, 103–113, 124, 133, 140, 146, 153, 156, 175, 194, 225, 227, 230, 231, 234, 235, 237–239, 287, 327, 333, 338, 340, 351, 370, 374, 406
Способ действия, 73, 219, 221, 244, 245
Стиль, 87, 122, 123, 127, 148, 167, 198, 204, 247, 295, 315, 421
глагольный, 123
именной, 122–124, 127, 148
Субструктура, 390, 392, 394
Субъект, 18, 21–25, 27, 59, 63, 94–101, 106, 107, 109–112, 117, 123, 124, 129, 137, 168, 196, 197, 202, 225, 233–235, 245, 253, 256, 263, 264, 268, 269, 273, 296, 300, 305, 330, 331, 333–338, 340, 342–345, 364, 402, 405, 412, 414, 415, 421, 423
Субъектность, 18, 334, 338, 340, 345, 382

Таксис, 18, 29, 30, 45, 47–49, 63, 64, 68, 147
предшествования, 29–31
следования, 30, 31, 35, 38
Темпоральность, 18, 116–123, 125–127, 134, 148, 272, 274, 382
Транспозиция, 93, 123, 336

Употребление, 16, 24, 33, 36, 41, 48, 49, 51, 52, 54–56, 63, 66, 73, 89, 91, 94, 96, 99, 101, 128, 129, 131, 133, 140, 142, 150, 154, 162, 164, 167, 177, 179–183, 185, 186, 197–200, 211, 212, 214, 215, 220–225, 230–233, 235, 245–250, 259, 266, 267, 270, 280–282, 289, 290, 308, 313, 339, 340, 344, 348, 357, 373, 374, 394, 397, 419
нереферентное, 180–182, 190, 191
референтное, 180, 185, 187
Узуальность, 133, 141, 145, 194, 197, 225

Футур, 245–250, 268, 270, 271

Центр, 12–15, 17, 18, 20, 21, 23, 25–29, 87–91, 103–105, 107, 108, 112, 113, 128, 148, 182, 191, 201, 219, 233, 234, 236, 245, 247, 248, 250, 252, 258, 262, 263, 275, 279, 293, 308, 333, 345, 347, 376, 386, 387, 390, 393, 397, 411, 417, 423, 424

Эхолалия, 405
Экспериенцер, 337, 338, 340, 344
Экспрессивность, 157–159, 161, 168, 242

Ядро, 12, 18, 26, 105, 112, 117, 133, 159, 164, 174, 175, 191, 263, 273, 365, 368, 381, 393, 413, 417

CONTENTS

Preface 10

Introduction. Field Structures in the System of Functional Grammar (*A. V. Bondarko*) 12

I. Centre and Periphery in the Structure of Functional-Semantic Fields

Chapter I. Taxis of Sequence in the Modern Russian Language (*V. S. Khrakovsky*) 29

Chapter II. Problems of Actualization of Perfect Semantics in the Russian Language (*Yu. A. Poupynin*) 86

Chapter III. Field of State in Modern Russian: Prototype and its Environment (*I. P. Matkhanova*) 103

Chapter IV. Regular and Occasional Means Expressing Temporality in Poetic Idiostyle (*Ya. E. Akhapkina*) 114

Chapter V. Semantics of Intensity and its Expression Means in Modern Russian (*S. E. Rodionova*) 150

II. Comparative Analysis of Functional-Semantic Fields

Chapter VI. Object-related Attribute as a Typological Constant (*V. M. Pavlov*) 169

Chapter VII. Qualitative Characteristics of a Person in Russian and in German (*M. D. Voeikova*) 193

Chapter VIII. Verbs and Contexts Expressing Aspectual Semantics in Russian and in Czech (*E. V. Petrukhina*) . . . 219

Chapter IX. English and Russian Impersonal Constructions: Field Structures, Centre and Periphery (*I. V. Nedjalkov*) . . 233

III. Field Structures in Diachronic Perspective

Chapter X. Field of Future in the History of the German Language (*S. A. Shubick*) 244

Chapter XI. Field of Obligation in the Latin Language (*M. K. Sabaneeva*) 252

Chapter XII. Field of Quantitativity in Iranian Languages: Its Structure and Dynamics of Development (*I. A. Smirnova*) . . 277

IV. Theory of Utterance and Problems of Syntax

Chapter XIII. Utterance and Communicativity (*M. Ya. Dymarsky*) 292

Chapter XIV. To the Definition of the Concept „Subject" in Russian Language Syntax (*M. Guiraud-Weber*) 333

V. Process of Forming of Field Structures in Child Language

Chapter XV. Category of Gender in Child Language (*S. N. Cejtlin*) 346

Chapter XVI. Agreement / Disagreement in a Dialogue "Adult — Child" in Modern Russian (*V. V. Kazakovskaya*) 376

Literature 426
Name Index 460
Subject Index 468